



Геннадий Головин родился в 1940 году в Москве. После окончания факультета журналистики МГУ работал на Центральном телевидении, в различных журналах.

Автор повестей «Джек, Братишка и другие», «День рождения покойника», «Анна Петровна», «Чужая сторона».

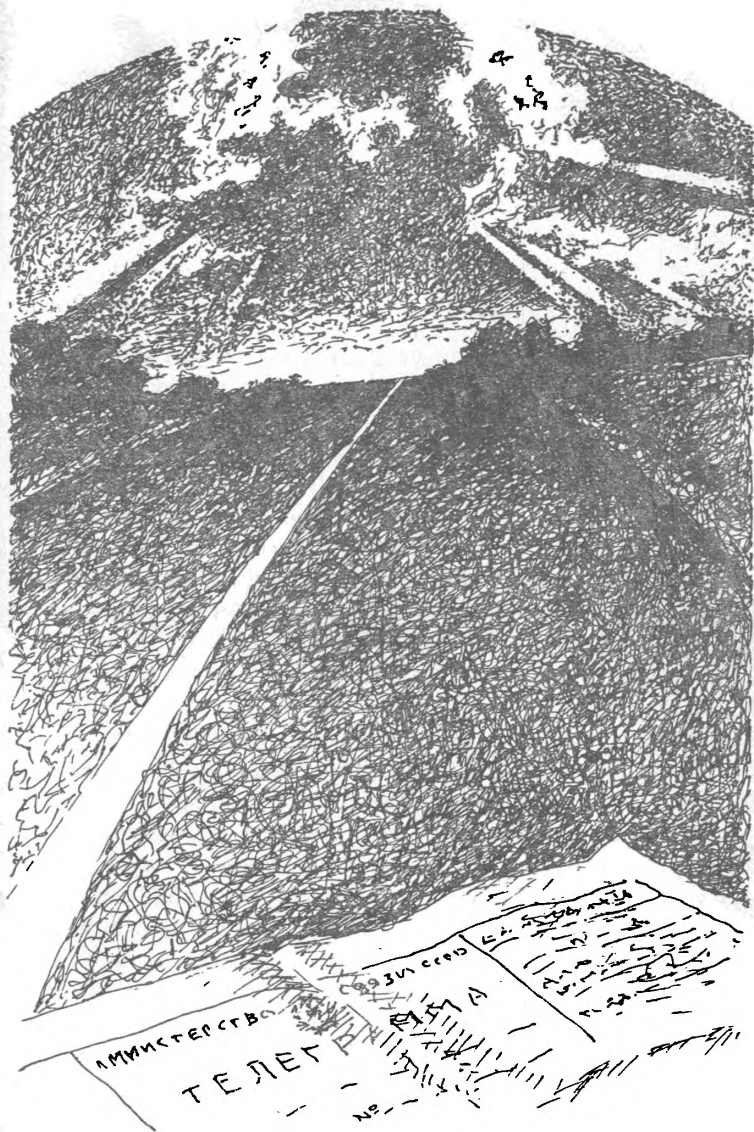
Повести «Анна Петровна» и «Чужая сторона» были экранизированы.

Г $\frac{4702010201 - 088}{Л 66 (03) - 94}$ без объявления

ISBN 5-8498-0080 — 8

© Г. Головин, 1994

© Оформление СП «Квадрат», 1994



ЧУЖАЯ СТОРОНА



1198207x

ДЖЕК, БРАТИШКА И ДРУГИЕ

Все началось с того, что у нашего соседа Роберта Ивановича Закидухи родилась внучка.

И хотя назвали ее Наташкой, а не Домной, как того хотелось деду, он этому событию обрадовался очень.

Тотчас закупил вина, созвал гостей. Не каждый же день рождаются внучки. Котлет нажарил.

Гости пили вино, котлетами хоть и пренебрегали, но восхищались и наперебой говорили, какой Закидуха молодец, что у него родилась внучка. Тем более такая замечательная — сорок девять сантиметров, три кило пятьсот — прямо Эдита Пьеха, а не внучка! Молодец, говорили, Роберт Иванович!

Наливай, не жидись!

То ли гостей собралось слишком много, то ли гости чересчур уж радовались, какой молодец Роберт Иванович, что у него родилась внучка, но только вино стало вдруг, конечно, заканчиваться. А вместе с ним и праздник начал чахнуть и угасать.

И тогда Закидуха снова взял мешок и снова отправился на станцию купить немножко винца. Без винца какой же праздник? Вот с этого все и началось.

Ноябрь месяц уж был, а в ноябре в нашем дачном поселочке не ахти как весело: дома заколочены, холодно, грязно. Закидуха, впрочем, взирал окрест, как всегда бодро-радостно. Он и в ноябре любил наш поселочек. И в декабре-январе любил. И даже в никудышном беспросветном феврале месяце считал его лучшим на земле местечком для жизни.

У него была квартира в Москве. Мог бы, казалось, жить и по-человечески — в двух комнатах, с газом, с теплым сортиром и ванной, — но он круглый год обретался здесь. А квартиру отдал сыну, чтоб тот не терпел притеснений от тещи.

В город Закидуха не ездил вовсе. Разве что за гвоздями, или за пенсией, или кто на похороны пригласит... А когда из Москвы возвращался — жалко было на человека глядеть: бледненький, встревоженный, а походочка — как у простуженного побирушки — жалобная. Валился поперек кровати, хлебал из бутылки мытищинский вермут, глазами, еще полными ужасов городской жизни, пялился на экраны четырех своих телевизоров, включенных каждый на свою программу.

Телевизоры оставляли ему на хранение дачники, и Закидуха любил смотреть все программы сразу. При этом он слушал еще и «Маяк», чтобы быть в курсе, не началась ли война и не пора ли перебираться жить в баню.

Кроме телевизоров жизнь ему скрашивали еще и собаки.

Возле Закидухи постоянно жили несколько псов. Он давал им имена — Брюнет, например, Зуев, Сундук, Вермут, — изредка кормил, но очень изредка. Вообще — никак о них не заботился. Тем не менее преданы они ему бывали на удивление. Он хороший был, наверное, человек.

В тот год возле Закидухи жили Братишка и Джек. А в сентябре подбросили ему еще и Фельку — черного веселого щенка породы, как определил Роберт Иванович, «мордель-терьер».

Итак, Роберт Иванович Закидуха с большим мешком шел на станцию купить немножко винца. Он шел и думал, конечно, о внучке. О том, что надо будет построить ей отдельный домик в саду — этакий резной теремочек, — чтобы внучка тайком от родителей могла приезжать туда вместе с хахалем.

Он живо представил, как среди зимы заявляется к нему внучка с хахалем под ручку — такая вся ладненькая, в дубленочке — звонко кричит: «Здравствуй, деда!» — а глазки у нее так и сияют! — и настроение у Роберта Ивановича, и без того замечательное, стало еще замечательнее, хотя в винный отдел стояла, конечно, очередь.

Роберт Иванович вздохнул. Сигарету, почти что недокуренную притушил и в карман сунул — пристроился в хвост. Вот тут-то все окончательно и началось.

...До Фаины-продавщицы оставалось человека три с половиной, когда услышал вдруг Роберт Иванович, что грызет ему ногу чуть ниже колена какая-то ужасающая, очень оживленная боль. Он даже носом засвистел. Хотел было, не отходя от прилавка, штаны спустить и полюбопытствовать, что это за гангрена у него

такая, но — Фаину пощадил: все-таки женщина как никак, хоть и продавщица в винном отделе... Кое-как мужественно достоял.

Из магазина, ремень расстегивая, вылетел — а тут тоже какие-то женские особи шляются! Просто так штаны не сымешь. Пришлось еще метров сто ковылять до кустиков.

Там-то, наконец, он ватные свои штаны рассупонил, спустил и — дым, товарищи! — прямо-таки страшными клубами рванул оттуда!!!

Он, оказывается, все это время потихоньку горел.

Он горел до этого момента потихоньку, а когда штаны спустил, и образовался доступ кислорода к очагу загорания, то польхаться принялся уже натуральным, буйным пламенем!

Пока скидывал сапоги, пока пытался стянуть штаны (а завязки на щиколотке завязались, понятно, намертво), пока шарахался по кустам в поисках лужи, — огонь горел. Рана получилась за это время — ладонью не прикроешь.

Он окурок недокурный, вместо того чтобы в урну кинуть, в карман сунул. К тому же и не погасил. Вот и результат.

Домой он прихромал через час. Гости уже нервничать стали, скучать. Но когда он им рассказал про пожар, они снова развеселились. Стали наливать и давать наперебой советы.

Один, например, сказал, что очень моча помогает.

Другой сказал, ерунда. Только сода. А вот какая — каустическая или питьевая — так и не вспомнил.

Третий сказал, что лучше всего помогает ото всего — зола. Можно — снаружи. Но можно и внутрь. Если размешивать ее понемножку с портвейным вином и принимать по чайному стакану как можно больше раз в день.

Четвертый не знал, что и посоветовать. Не унывай, сказал. Внучка подумает, что это так и надо: одноногий дед.

А пятый уже спал.

Закидуха горел впервые, а в медицине был не очень силен. Поэтому всем советам он последовал сразу. А сверху он рану облил еще и детской болтушкой от диатеза, которая года три стояла в сарае без дела. И праздник продолжили.

Праздник продолжили, а дня через три, под вечер, Роберт Иванович Закидуха постучал в двери нашего дома.

Лицо его стеариново светилось в сумерках. Шага за два было слышно, как от него пышет жаром.

Он сказал, что у него температура какая-то — тридцать девять

и восемь — и что надо бы, наверное, съездить в Москву, что ли, чтобы наложили хоть хорошую повязку... В общем, сказал, не можем ли мы до завтра приютить у себя Феньку. Джек-то с Братишкой не пропадут, а Фенька еще маленький, он привык в тепле. А ливерную колбасу для него, не беспокойтесь, он сейчас притащит.

Он притащил колбасу, уехал и — вернулся из Москвы чуть не через пять ли месяцев. Поскольку, как и следовало ожидать, угодил в больницу.

Вот так Джек, Братишка и юный Федя оказались на нашем попечении. И все вместе мы стали коротать зиму.

А рассказ мой о том, как замечательно мы коротали эту нашу веселую, грустную, тревожную, счастливую зиму, а вовсе не о Роберте Ивановиче Закидухе, как, может быть, подумали некоторые из вас. Это вовсе, кстати, не означает, что когда-нибудь я не расскажу и о нем — о пылком пьянице и мрачном добряке, которого не зря, конечно же, дарили своей любовью такие разборчивые в людях звери, как Братишка и Джек.

* * *

Братишка и Джек были родные братья. В это трудно было поверить, видя их рядом друг с другом.

Братишка был весь чисто-белый, лишь с черным седлышком на спине и неким подобием темных очков на морде. Джек — был окрашен в тот ровный и словами непередаваемый пего-бурорыжий колер, который присущ большинству русских дворняг и который мне больше всего хотелось бы определить словом «муругий», если бы я в точности знал, что это прилагательное означает.

Родила их безымянная огненно-рыжая вислоухая маманя в начале лета поддомом Ангелины Ильиничны Моевой, милейшей и тишайшей старушки-хромоножки, отставной художницы.

Не могу сказать, какой художницей была в свои лучшие годы Ангелина Ильинична, но дом ее в описываемые времена пребывал уже в большой некудышности. Трухлявые, старчески дрожащие лестницы, полупроваленные полы, а под домом — сырость, мрак и дружные заросли каких-то поганых, покойницкого цвета грибов, словно бы из бледных кошмаров возникших...

Все же, думаю, не случайно рыжая роженица выбрала для своих занятий именно этот дом. Все же, думаю, она вниматель-

нейшим образом изучила окрестный дачный народ, прежде чем остановить свой выбор именно на Ангелине Ильиничне, сказав себе: «Не поднимется рука у хромой, влюбленной в прекрасное старушки на моих прекрасных детей! — так сказала себе маманя Джека и Братишки. — Больше того! Последнюю простоквашу отдаст, старая, за ради здоровья моих замечательных щенков!»

Так оно и получилось.

Джек и Братишка, несмотря на окружающую антисанитарию, появились на свет божий благополучно, и никаких разговоров о том, чтобы покласть их, например, в мешок и бросить в речку Серебрянку, даже не возникало.

А месяца через два — после многих хождений по соседям и хитромудрых с ними бесед о животных, об уме животных, о любви к животным и т.д. — Ангелина Ильинична определила братьев «в хорошие руки». И совершенно всерьез потом огорчилась, простая душа, когда и Братишка, и Джек напрочь отказывались хоть чем-то отличать ее от всех прочих жителей поселка.

«Уж каплю-то благодарности, — поражалась старушка, — могли бы сохранить они к той, кто стоял у их колыбели и делился с ними, если не последней, то уж во всяком случае предпоследней, простоквашей!..»

Джеку с самого начала баснословно пофартило. Безродный дворняга, он попал ни много ни мало — в профессорскую семью. Молоком его там паивали исключительно шестипроцентным. Мясом кормили, ей-богу, из магазина «Диета». Чтобы этот балбес гармонично развивался, хозяйева чуть что принимались листать толстую английскую книгу под названием «Май дог» и при этом вежливо, по-профессорски язвили друг другу.

Автора той книги звали Джек. Не долго думая, точно так назвали и Джека.

Братишка определился жить неподалеку от профессоров. Его выклянчил внук Закидухи малолетний Митька. Как раз в то время он упорно и безуспешно домогался от родителей хоть какой-нибудь завалыщенькой сестренки себе, не говоря уж о братишке. Вот ему и взяли «братишку».

Осенью жизненные дороги братьев разошлись.

Братишка остался зимовать с Закидухой. (Уже через неделю после приобретения Братишки Митька о нем напрочь забыл, ударившись в капитальное строительство шалашей и вигвамов.

Щенок, естественно, принялся хвостиком бегать за Робертом Ивановичем, безоговорочно признав его и отцом, и мамашей родной и повелителем, и кормильцем, и вообще дружкой на все времена.)

Что касается Джека, то он в голубой профессорской «Водге», досадливо вертя лобастой башкой от новенького, импортного, натуральной кожи ошейника, отправился на жительство в Москву.

Жизнь его в столицах продолжалась, впрочем, до обидного недолго.

То ли монография английского кинолога трактовала о каких-то совсем особенных собаках, то ли (и это вероятнее всего) собачий тот Спок никогда не сталкивался с российскими дворянами, но только Джек — язвительнейшим образом, абзац за абзацем, страница за страницей, с упорством веселого дебила опровергал в корне все рекомендации, наблюдения и размышления своего английского тезки.

Ну, начать с того, что гадить он предпочитал только в доме.

Я-то думаю, что как провинциал он попросту стеснялся перед москвичами. На прогулке изо всех сил терпел, а возвращаясь домой, мчался сломя голову в гостиную на индийский пушистый ковер и там с облегчением делал. Когда ковры по всей квартире скатали, он облюбовал для этих занятий рабочий кабинет профессора, чем, естественно, создавал старику невыносимо специфические условия для научного творчества.

Во-вторых, с самых младых своих ногтей Джек был попрошайка.

Миска его всегда была полна самой что ни на есть деликатесной жратвой. Тем не менее Джек предпочитал по нескольку раз на дню унижаться возле стола, выклянчивая ту же самую несчастную буженину или кусок какой-нибудь колбасы языковой, суетливо работая для этого хвостом, нежно заглядывая в глаза и — даже! — становясь на задние лапы.

В-третьих, он был жулик.

Стоило домработнице оставить хотя бы на минуту продукты без присмотра, как Джек тут же карал старушку за рассеянность. Вылетал из засады, махровый махновец, хватал, что можно было схватить, и тотчас уносился в потаенные углы свои, где и сжирал добычу с фантастической скоростью и аппетитом. Однажды, к

примеру, он в считанные секунды уничтожил полтора килограмма свежемороженой клубники — вместе с целлофаном — после чего несколько дней хрипло перхал и виновато икал.

Его, конечно, стыдили, увещевали, строго ему выговаривали (бить собак англичанин Джек не советовал), но толку, разумеется, было мало. Я-то думаю, что Джеку было попросту скучно, а может быть, и совестно — жрать буженину, не заработанную собственным трудом. Он ведь был чистокровный дворняга, а дворнягам легкий хлеб есть не пристало.

Он обожал ко всему прочему звон бьющейся посуды. Особенно, было подозрение, хрустальной. Очень он уважал потянуть за уголок скатерть с сервированного стола...

Об изгрызенных туфлях, о безвозвратно попорченных ножках у мебели, о неистребимых пятнах на паркете... — о многом еще можно было бы сказать, перечисляя те убытки, которые понес профессорский дом за время пребывания в нем Джека.

И все же, как ни странно, его любили. Стонали, но любили!

Он был такой простодушный балда. Он так распахнуто радовался всему и всем на свете. Такая обаятельная восторженная глупость сияла в его карих глазах! Такое ликующее удовольствие б ы т ь на этом свете — бегать, грызть, мочиться, красть, попрошайничать, гоняться за кошками, облаивать машины, крушить посуду, рыться в помойках, валяться на полу, — такую ослепительную дикарскую радость бытия излучал он, что — когда не стало его в профессорском доме — стало в профессорском доме сумрачно и тихо. Чинно, чисто и скучно стало — как в никем не посещаемом музее.

А профессор-старик, самый из всех не кичливый и веселый, который больше других понимал Джека, — вдруг непонятно почему загрустил. Подолгу не мог сосредоточиться на своей работе. Да и сама работа — страшно сказать — вдруг стала казаться вовсе не такой уж важной и нужной людям, как думалось раньше...

А дочка профессора сделалась вдруг ни с того ни с сего раздражительной и беспокойной — после того, как не стало Джека. Потом вдруг опасно притихла. Сонно, смиренно и сыто стала усмехаться на все вопросы, все позднее и позднее возвращалась с бесчисленных своих семинаров, симпозиумов и конференций...

А у жены профессора, — должно быть, от тишины и покоя, воцарившихся после Джека, разыгрались вдруг мигрени. А потом стал пошевеливаться камень в почке. Она как-то разом вдруг подурнела, пожелтела, скисла. При любимейшем раньше слове «диета» махала теперь рукой с озорством и бесшабашностью совсем уж старушки.

А зять профессора — еще тоньше и обидчивее стал поджимать по всякому поводу губы. Чуть что — запирался в своей комнате. Работать якобы над диссертацией. Добывал там из-за книг бутылку коньяку и подолгу мрачно принимался пить, косясь на свое отражение в зеркале и сладко-ехидно рисуя в воображении картины своего дерзкого ухода из этого дома — дома, куда шесть лет назад он пришел исключительно ради диссертации, до сих пор, кстати, не написанной, — подавив в себе и собственную гордость (которая еще была в нем в те годы), и брезгливую неприязнь к профессорской дочке, — все в себе подавив, кроме лаксйства.

С самого, конечно, начала ясно было: Джек не жилец в этом доме.

Список совершаемых им злодеяний рос день ото дня. Преступления приобретали все более тяжкий, даже, можно сказать, циничный характер. Час расставания Джека с профессорской средой обитания надвигался неумолимо.

...В тот роковой день он чинно прогуливался с домработницей на поводке вдоль улицы и вдруг увидел, что мимо него с воем сирены несется машина «скорой помощи». Это и был конец.

Джек, как нетрудно догадаться, рванул на перехват ненавистного врага! Да ведь так, обалдуй, рванул, что выдернул бедной старушке домработнице ручку из плечевого сустава!

Старушку, конечно, следует пожалеть. Ни в чем не повинна старушка. Но нужно ведь и Джека понять!.. Чистокровнейший дворняга, у него в крови была эта плотейшая неприязнь ко всякого рода самобеглым коляскам. А тут — представьте себе — несется четырехколесное, да еще завывая, да еще мигая фонарем, да не соблюдая еще при этом правила уличного движения!.. Всякий бросился бы, согласитесь, будь он на месте Джека. Я бы лично — непременно бросился.

Домработнице плечико вправили, но она предъявила ультиматум: «Или — я, или — этот...»

Смешно было рассчитывать, что в споре с такой дефицитной старухой победит безродный пес. Поэтому Джек, коротенько погрузив, взбодрился затем и вдарился в чудовищное, отчаянное, развеселое безобразие!

«Мы расстаемся, но вы меня запомните надолго!» — такая, мне думается, идея руководила Джеком, когда он в последний свой день громил профессорскую квартиру. Драл занавеси на окнах, жевал покрывала; в мелкие клочья растерзал драгоценную (за 20 лет) телефонную книжку хозяев; обрушил со шкафа ящики с коллекционной керамикой; изгрыз четыре тома Всемирной литературы; оборвал, где мог, провода; повалил торшер в спальне и разодрал абажур; когтями истерзал обивку на антикварном полукресле работы Гамбса (Да, да! Того самого, который у Ильфа-Петрова!..), повсюду, насколько хватило пузыря, расписался и, наконец, в крайнем изнеможении свалился на коврик у дверей.

Конечно, это была истерика.

И один только старик профессор понял это.

Женщины, откуда-то вернувшись, дружно завизжали, что Джек — бандит, хулиган и хам, каких свет не видывал.

Зять своего тестя, обозлившись на Джека за пустые бутылки, которые тот выкатил из-под дивана на всеобщее обозрение, предложил свезти пса на улицу Юннатов, чтобы его там усыпили.

И только профессор, долго молчавший и только хмыкавший при виде окружающего разора, сказал вдруг Джеку: «Экий ты, оказывается, нежный, брат...» — и положил ему руку на лобастую голову.

Джек не пошевелился и даже не открыл глаза. Лишь вздохнул прерывисто — как ребенок после долгого плача.

И вот среди зимы Джека привезли к Роберту Ивановичу Закидухе и с бурными извинениями попросили повоспитывать собаку до лета.

На расходы по воспитанию («Мы же понимаем, это вам — лишние хлопоты...») положили двадцать рублей в месяц. Это — не считая тех костей и мяса, которые раз в две недели обязан был привозить на голубой «Волге» смиренный зять своего тестя.

Роберт Иванович согласился и горячо принялся за порученное ему дело. На двадцатку накупил «Молдавского розового». Мясо пустил на закуску. Сел к столу и стал, прихлебывая, мучительно размышлять на темы воспитания.

Через час-полтора раздумий он подозвал к себе Джека. Снял

с него ошейник, импортный, натуральной кожи, и церемониальным жестом отправил в печь.

— Видишь? — сказал он Джеку, — Ты рожден свободным. И потому — я решил — живи свободным! А улица тебя воспитает.

И на этом педагогический процесс раз и навсегда закончился, хотя стипендию Джека и спецпак ему Роберт Иванович продолжал принимать без возражений.

Уже через пару дней никакого столичного лоску в Джеке было не отыскать. Перевоплощение комнатной профессорской собаки в уличного полубездомного пса произошло безболезненно и мгновенно. По натуре весельчак, Джек на первых порах впал прямо-таки в эйфорию от восхитительной безграничности здешней жизни: «Беги — куда хочешь! Мочись — где хочешь! Делай — что хочешь! Четыре стороны на белом свете, и все они — твои! Ни единого запора! Мир настезь распахнут! Во-оля!!!»

Братишка появление Джека воспринял спокойно. В компанию к себе взял. Однако, судя по всему, он никогда не забывал об ущемленном профессорском прошлом своего братца: чуть что, напоминал, кто тут испокон веков, а кто — приезжий.

Лидером в этом дуэте стал Братишка. И даже впоследствии, когда они окончательно подросли и оказалось, что Джек и покрупнее и посылнее Братишки — Джек все-таки к миске своей приближался только после того, как начинал трапезу его авторитетный братец, и даже самую сладкую кость уступал ему без ропота. А в играх, едва только чувствовал, что Братишка начинает сердчать всерьез, тотчас покорно кувыркался кверху лапами и подставлял брательнику горло — лишний раз демонстрировал беспрекословность своего подчинения.

Братишке этих знаков покорности было достаточно. Властью он не злоупотреблял. Время от времени было, конечно, необходимо напоминать этой столичной штучке, кто есть кто, но, в общем-то, он сразу полюбил Джека, и зажили они дружно.

(Джек-то, мне кажется, вообще никакого значения этой своей подчиненности не придавал. Ему была любя любая жизнь — жизнь вообще, — а уж такая, какая началась для него в поселке, — вдесятеро! И если для такой жизни нужны какие-то смешные формальности: «Ты — первый, я — второй...» — то, Господи, ради Бога!! Разве жалко?!.)

Так, неразлучной парой, они и стали теперь бегать по поселку — друженько, профиль в профиль, — как Маркс и Энгельс

на плакате. Джек — на полголовы впереди, Братишка — чуть сзади.

И когда они вот так, шаг в шаг, бежали — вот тогда, пожалуй, можно было поверить, что это родные братья.

Братишка — особенно в соседстве с Джеком — выглядел псом многодумным, не по возрасту серьезным.

Любил подолгу глядеть в огонь. Вокруг глаз у него наведены были темные актерские тени, и от этого во взгляде Братишки постоянно чудилась некая философическая печаль, удивительная в собаке.

Он был умница. Разбирался в выражениях человеческого лица. Четко чувал оттенки в настроениях людей. Если чувствовал, к примеру, что сейчас не до него, — тотчас скромно исчезал. Когда видел, что ему рады, — сам становился весел и радостен.

Был он и очень самолюбив, даже обидчив.

Когда появился у Закидухи Федька, Братишка отнесся к нему, как все взрослые собаки, — без особого интереса, но, в общем-то, снисходительно. Позволял Федьке играть с собой и — уж конечно же — не обижал.

Но вот однажды, Федька, бесцеремонный, как и подобает щенку, переступил в своем озорстве какую-то, только собакам ведомую грань. Братишка, натурально, тут же поставил молоко-соса на место. Может, пристукнул лапой. Может, слегка прикусил. Федька заорал. Роберт же Иванович, не разобравшись в чем дело (и вообще, будучи в то утро в расстроенном самочувствии), ударил Братишку.

И — все!

Братишка повернулся, ушел. И с этого дня стал ночевать на нашем крыльце.

Закидуху, если встречал на улице, обходил стороной. Как неодушевленный предмет. Даже морду отворачивал.

Так продолжалось с неделю, даже больше.

Закидуху мучало раскаяние. И вот однажды, выбрав из спецпайка мозговую кость покрупнее, Роберт Иванович пришел мириться.

Братишка в ожидании кормежки лежал на крыльце.

— Брат! — с чувством сказал Роберт Иванович, стоя у подножия лестницы и глядя на Братишку снизу вверх. — Извини

дурака старого! Ей-богу, больше не буду! Пальцем больше не трону!

Братишка слушал, глядя прямо в лицо своему хозяину.

На кость, которую Закидуха положил перед ним, он только посмотрел. Даже не понюхал. Хвост его лежал неподвижно.

— Мда... — вздохнул Роберт Иванович, видя такое к себе отношение. — Не хочешь, значит, простить? Ну и правильно! Так мне и надо, дураку старому! — и пошел очень огорченной походкой к калитке. Братишка слегка встревоженно смотрел ему вслед.

И только тогда, когда хозяин вышел на улицу, Братишка поднялся и неспешно побежал следом.

Кость, между прочим, он так и не тронул. Дескать, не подкупишь, а ежели прощаю, то единственно из великого моего человеколюбия и природного благородства души.

А Федьку с той поры Братишка вообще отказался замечать.

Щенок (о происшествии том, конечно же, забывший) уж и так и этак насакивал на Братишку, разыгравшись. И тьякал на него обидно, и чуть ли не за уши теребил! А тот только отворачивал морду и даже смотреть на Федьку избегал. Даже зажмурился... Ну а когда Федька начинал чересчур уж докучать, Братишка поднимался и переходил лежать на другое место, до того не обращая внимания на щенка, что иной раз даже наступая на него. Вот такой был Братишка.

Здоровый, жизнерадостный дворняга, он во все собачьи игры играл, как и полагается собакам, с азартом и удовольствием. Но — как бы это попонятнее объяснить? — забавам этим Братишка предавался, словно бы снисходя до них. Словно бы уступая какой-то необходимости, традиции какой-то.

Для Джека, несомненно, во всех этих собачьих играх жизнь, собственно, и заключалась. А для Братишки — нет. О, конечно же, нет! Для него Жизнь — это было что-то совсем иное, что-то грустное и важное, о чем, как казалось со стороны, он постоянно и неотступно размышляет.

Он был значительный пес, наш Братишка. Не зря же Роберт Иванович в подпитии назвал его «брат Спиноза...»

Летом, когда поселок был полон дачниками, Братишка и Джек с утра до вечера пропадали по чужим домам. Везде их знали, везде привечали, везде считали своими, везде их ожидали

заботливо оставленные недоедки, иной раз весьма аппетитные. Хлопот хватало на всякий день — беги, попробуй, не один десяток дач! — но особый азарт, особая беготня начинались в конце недели.

Пуще всего на свете уважали наши дворняги именно выходные, когда съезжаются на дачи компаниями, когда чуть ли не из-за каждого забора начинает тянуть шашлычным дымком, когда орут магнитофоны, народ смеется, в изобилии пьет и, главное, в изобилии закусывает.

Собаки были тут как тут — на веселье и на потеху гостям. Однако можно ли повторить вслед за недобрыми поселковыми языками, что Джек и Братишка, вертевшиеся среди приезжих, были просто-напросто кусочники? Нет. Конечно же, нет.

Они честно и весело отработывали свой хлеб.

Если бы подсчитать все те положительные эмоции, которые они порождали в людях своим пребыванием среди них, — все эти растроганные улыбки, умиленные словечки, добрые воспоминания и прочее, — так вот, если бы подсчитать все это да как-нибудь перевести на ливерную, к примеру, колбасу, то, я думаю, невиданная получилась бы колбаса. Величайшая, я думаю, в мире.

Вертясь среди людей, и не видя от них никакого зла, Джек с Братишкой прямо-таки изнывали от желания тоже сделать им что-нибудь приятное. Будь они хоть сколько-нибудь более образованны, они бы и в магазин им за бутылкой бегали, я думаю, и костер разжигали, не говоря уже о том, чтобы к столу мясо приготовить. Однако, надо признаться, что никаким собачьим образованием они, увы, не блистали. Даже лапу не давали.

Единственно, чем они могли улестить людям, так это тем, что были они всегда рьяно, самозабвенно гостеприимны, ко всем без исключения доброжелательны, веселы и покладисты. Другого-то, впрочем, от них и не требовалось. Их и любили-то, я думаю, больше всего именно за неотесанность их, за натуральность, так сказать.

По крайней мере, беленькую болонку Несси, которая время от времени срывалась от своих хозяев и присоединялась к Братишке с Джеком (вот уж кто была кусочница по призванию!), — так вот, эту самую Несси люди привечали гораздо более сдержанно, нежели наших дворняг. Иной раз даже гнали от себя, невзирая на все ее лакейские достоинства: она умела подолгу

стоять на задних ножках, умиленно глядя в лицо и высунув язычок, умела не просто давать лапку, но и обе-две сразу, умела притворяться мертвой, умела высоко подбрасывать кусок, прежде чем съесть его...

Приезжим, однако, как ни странно это было для Несси, — явно больше нравилось, если Джек, например, вдруг бухал им на колени свою лобастую башку и начинал силло, некультурно дышать, сглатывая слюну и глядя прямо в рот кушающему человеку. А иной раз и того хуже — забирался передними грязными лапами на колени человека и в порыве лобвеобилия норовил с поцелуями добраться до морды клиента.

Его спихивали: «Джек! Балда! Уйди!» — но ни в криках этих, ни в том, как его сталкивали, не было ни раздражения настоящего, ни грубости. «На, обалдуй, и отстань!» — и Джек получал тот же самый кусок шашлыка, ради которого культурной и высокообразованной болонке приходилось выдрючиваться Бог знает сколько времени.

Все это, впрочем, довольно понятно. Уж коли приезжим горожанам наш поселочек представлялся уголком неимоверно какой заповедной природы — шутка ли, тридцать верст от Москвы... — то и дворняги наши казались им, натурально, почти что дикой фауной. А какому человеку не лестно, когда его дарит вниманием и преданностью зверь?

Джек с Братишкой к тому же были и большими дипломатами. Они так вели себя с людьми, что каждому из них казалось: именно он вызывает в собаках совершенно особенную приязнь и расположение. Но еще раз повторяю: не одной корысти ради притворствовались собаки. У них в крови было желание сделать людям хорошее. Сделать их веселее, добрее, смешнее, натуральнее. Стоило только взглянуть на собак, когда люди начинали ссориться между собой, — так уж неподдельно, так уж по-детски они огорчались! И немедленно уходили прочь, грустно поджав хвосты. Будто это их обидели.

Долгом своим почитали Джек с Братишкой сопровождать гостей в прогулках по лесу.

Едва переходили хлипкий дощатый мостик через Серебрянку, псы резко становились на себя непохожими.

Встревоженно принимались рыскать в стороны от тропинки — явно в поисках опасности, которая может подстергать их подопечных.

Затем начинали бегать кругами — все более расширяющимися кругами, все более настойчиво и упорно, — пока в глубине леса не раздавались, наконец, жалобные визги чьей-нибудь собачонки, настигнутой Джеком и Братишкой и строго наказанной за тайные ее помыслы повредить прогулке любезных им людей.

Чрезвычайно довольные честно исполненным собачьим долгом, они опять возвращались к компании. Начинили возню уже почти под ногами гуляющих — явно на потеху.

Джек непременно находил в лесу какую-нибудь драгоценную рвань — башмак, тряпку, валенок, — и они носились с нею, отнимая друг у друга, валяя друг друга. Обязательно на виду у людей. Явно воспламеняясь веселием, которое они вызывали у зрителей своей возней.

А то — исчезали вдруг надолго.

А потом — из глубины леса — вырывался вдруг ужасный, полный боли и муки страдальческий вопль Джека.

Дамы охали, хватаясь за сердце: «Что с ним?! В капкан попал?..»

А предсмертный крик Джека все метался по лесу, то приближаясь, то удаляясь, и всем уже казалось, что Джек — полуслепленный от страданий, с какой-нибудь браконьерской стрелой в боку мечется по кустам и ельникам, бедолага, в тщетной и отчаянной надежде вырваться к ним, к людям, к спасению!

Наконец, с буреломным треском вылетал из ближайших кустов — абсолютно живехонький, невредимый, однако, по-прежнему визгливо голосащий, — («Джек! Джекушка! Милый!!!» — раздавались сердобольные крики) — и вновь, завывая, уносился — вслед за сиротски-сереньким невзрачным зайчишкой, который мгновением раньше Джека бесшумно и деловито выскакивал на тропинку и, не успев вызвать ни восторгов, ни визгов, не всеми даже замеченный, сосредоточенно припускал дальше, сначала по тропке, потом — круто в сторону, заплетая только ему одному ведомые петли и восьмерки, в которых очень скоро дворняга наш окончательно запутывался, теряя след, одинаково, кажется, свежий во все стороны.

Братишка, разумеется, тоже принимал участие в этих гонках. Однако, в отличие от Джека, он всегда гнал молча.

Впечатление было такое, что он едва ли не по принуждению преследует ту зайчатину. Или — просто за компанию. Или — вероятнее всего — только затем, чтобы Джек не возмнил, будто Братишка слабее его в охоте.

А между тем он и в самом деле был послабее. Но, будучи не в силах держаться вровень с братцем, вскормленным, как известно, на профессорских харчах. Братишка проявлял гораздо большую сноровку и сообразительность. Не мчался очертя голову только по следу, а старался отрезать зайцу возможность улепетнуть в глубь леса. Лаем, отсекающими движениями по сторонам вынуждал зверя гонять по кругу, с тем, чтобы в конце концов тот выскочил напрямиком на гуляющих.

После этого он свою звероловскую миссию почитал исполненной и преследование прекращал.

Но еще долго, правда, возбужденной побегом шастал по окрестным зарослям, страстно вынюхивая землю. Старался, мне кажется, отыскать на будущее хоть какую-нибудь логику в заячьих абсолютно, конечно, бестолковых передвижениях.

Джек смысл охоты за зайцем видел в погоне за зайцем.

Братишка — в том, чтобы выпнать зайца на человека. И любой охотник вам скажет, что Братишка был несравненно более ценный для охоты пес, нежели Джек. Хотя охотничьего запала было в Джеке на целую свору гончих, а Братишка к этому виду спорта относился явно пренебрежительно.

Была у наших дворняг и еще одна обязанность, которую они исполняли с трогательной серьезностью. Тех приезжих, к кому они преисполнялись особой симпатией, Джек с Братишкой непременно провожали до поезда.

...Когда воскресный день начинал катастрофически быстро клониться к вечеру и люди чуть не со слезами ли на глазах принимались собираться назад в город, кляня во всеулышание судьбу, — чем, скажите, могли тут помилосердствовать им наши дворняги?.. Бестолково толкались среди людей. Ласково и грустно, словно бы с сочувствием, заглядывали им в глаза. Преданно помахивали хвостами, но не бойко, не бодро-радостно, как всегда, а с приличествующим моменту минором... А когда компания в похоронном темпе направлялась, наконец, к станции, обычной беготни по окрестным садам и огородам не устраивали — бежали чинно, деловито, рядышком, чтобы каждый, когда захочет, мог подозвать или Джека, или Братишку, положить руку на голову им и произнести что-нибудь мужественно-значительное вроде: «...Видишь, брат, уезжаем. Такая вот жизнь... Но ты не грусти тут без меня, ладно?»

На битком набитой платформе псы чувствовали себя как дома. Шныряли среди толпы, отыскивая знакомых. С жгучим интересом тянулись носами к хозяйственным сумкам. Беспрепятственно и дружелюбно размахивали во все стороны хвостами.

Иной раз и пропадали куда-то, но появлялись вскоре — так что у тех, с кем они пришли к поезду, сомнений, что провозжат именно их, возникнуть не могло.

Побегав, ложились у ног. Благодарно — но уже и несколько рассеянно — принимали поглаживания отъезжающих. Вместе со всеми ждали электричку на Москву.

Если случалось в это время проходить через станцию товарному или дальнего следования поезду, то Джек непременно демонстрировал коронный свой номер, от которого, сколько бы раз его не наблюдать, у всех обмирало сердце.

Номер назывался: «Отважный Джек обращает в бегство железнодорожное идолице поганое».

Когда состав приближался и уже слышался от переезда его предупреждающий гудок, знающие пса начинали торопливо его уговаривать:

— Джек! Не надо... Ты же умный пес, хоть и балда. На кой тебе леший эта дура железная?!

Джек лежал индифферентно и, казалось, со всеми был согласный. Наморде — равнодушие. Хвост отброшен расслабленно. В глазах — скука.

Этим он, конечно, усыплял паровозу бдительность. Потому что стоило составу ворваться на станцию и поравняться с Джеком, в миллионную долю мгновения ока от мирной добродушной дворняги не оставалось и помина!

Нечто яростно взерошенное, оскаленно-клыкастое, убийственно хрипящее и люто ненавидящее взлетало вдруг в воздух, как выстреленное катапультой, и летело напрямик на кабину машиниста.

— Ах! — ахали оборвавшись сердца. В ужасе зажмурились очи.

Когда же люди отворяли глаза, ожидая и страшась увидеть что-то отвратное душе, мучительное и ужасное — то, что осталось от Джека, — то видели пса живехонького, который с бешеным лаем несся вдоль кромки платформы, изо всех сил стараясь держаться вровень с кабиной машиниста.

Машинист, как правило, свисал из своего окошка, одобри-

тельно ржал и что-то поощрительное, подзуживая, кричал собаке.

Джек пронесился вдоль платформы. Каким-то чудом, скрежеща по асфальту когтями всех своих лап, умудрялся-таки вовремя затормозить и не врезаться в ограждение — поворачивался и бежал теперь навстречу движению поезда, продолжая гавкать, но гораздо менее непримиримо... Затем ему снова попался на глаза вагон, чем-то особенным его возмущающий, и он опять припускал вровень с ним, — гавкая, брызжа слюной и делая угрожающие скачки, которые почти достигали мощно, ровно, со страшной скоростью струящейся стены вагонов.

Состав обрывался. Последний вагон, суетливо виляя, уносился вдаль.

Джек мгновенно успокаивался.

Снова милый и мирный, ласково помахивая хвостом, возвращался к своим.

Ложная скромность героя, свершившего немалый подвиг, была отчетливо написана на его морде. И — чувство большого морального удовлетворения...

Я абсолютно уверен: Джек самым искренним образом бывал убежден в эти минуты, что поезд умчался к Москве исключительно его стараниями, что, не будь Джека, железные дороги давно бы уже заросли лопухами и крапивой и что вообще — министру путей сообщения давно пора бы обратить внимание на роль Джека в деле интенсификации грузоперевозок по Ярославской железной дороге, и будь этот министр хорошим хозяйственником, он давно бы уже вошел с соответствующим ходатайством в Колбасный фонд страны, дабы килограммчика два, пусть ливерной, а ему, беззаветному железнодорожному погоняле, каждый день выдавали.

Я уже говорил, что именно транспортное движущееся средство (выражаясь изящным словом ГАИ) роковым образом поломало профессорскую будущность Джека. Удивительно ли, что прямо-таки классовая непримиримость чудилась в его ненависти ко всяческому многоколесным авто-, вело-, мото-, тепло-, электротаратайкам?..

(Однажды, вспоминая, мы с женой самым серьезнейшим образом даже испугались за психику Джека — когда мимо нас вдруг вздумал мчаться, нагло лязгая, воняя мазутом, громыхая и словно бы даже улюлюкая, состав из платформ, на которых в

два этажа — представьте себе только! — были наставлены еще и автомобили. Словами тут не описать, что творилось с бедным Джеком! После того как поезд ушел, еще с полчаса шерсть на нем стояла свирепым дыбом, и какие-то замысловатые судороги — отвращения, ненависти, негодования — прямо-таки сотрясали его, бедолагу...)

...Наконец появлялась электричка.

Псов начинали торопливо тормошить, ерошить, гладить.

Они вертелись во все стороны, виляя грустно приспущенными хвостами. Ей-богу, самая натуральная растерянность и горечь разлуки были написаны на их физиономиях.

Им и в самом деле было жалко с людьми расставаться. А может быть — жалко людей, с которыми они должны были расставаться.

Два пса на опустевшей платформе, растерянно высматривающие знакомые лица за сомкнувшимися дверями электрички... — эту картину горожане увозили с собой в Москву. И еще очень долго воспоминание это ласково грело им души. Потому что, Господи, людям так ли уж много надо? Чтобы — радовались, их встречая. Чтобы — грустили, расставаясь с ними. Ну и кое что, конечно, еще.

Горожане, стоймя втиснутые в коробки вагонов, уезжали. И им, конечно же, воображалось, как псы сейчас возвращаются на опустелую дачу, как понуро вынюхивают они по дорожкам дорогие им следы уехавших, как улягутся они сейчас на крыльце и примутся, как в книжках про зверей, тосковать и скучать по горожанам, может, даже поскуливать... Ничего, конечно, этого не было и в помине!

Приезжавших-отъезжавших было в поселке много, а Джека с Братишкой — раз-два и обчелся. Никакой нервной системы (даже собачьей) не хватило бы оплакивать каждую разлуку. А если бы и хватило, то очень нервная сделалась бы вскорости та система.

Едва поезд исчезал, и платформа скучно пустела, псы бодровесело отправлялись восвояси.

Джек, конечно, опрокидывал по дороге все мусорные урны, услаждаясь их дребезгом и содержимым. Братишка — трусил целенаправленно и задумчиво, словно впереди у них была еще масса недоделанных дел.

Он держал в памяти десятки дач, где к ним благоволят, и в эти минуты, я думаю, прикидывал, кого бы еще им нынче навестить.

Почти всегда в этот час они прибегали к нам.

Они и на дню у нас появлялись — и не раз, и не два. И рано утром. И поздно вечером. Но мы особенно ценили их появление именно вечером воскресного дня. К этому времени собаки были сыты до последнего уже предела, и никакой, стало быть, корысти не могло быть в их визите, единственно — желание дружески пообщаться с людьми, им симпатичными...

Джек и Братишка действительно относились к нам с симпатией. Более свойски, я бы сказал, нежели к другим жителям поселка. И этому были, безусловно, причины.

Я думаю, что собаки уже давно догадались, что мы — на особицу среди прочего дачного люда, что через месяц-другой, едва зарядят дожди, мы не бросимся, как все остальные, тикать в Москву. Знакомство с нами, чуяли Джек с Братишкой — это знакомство надолго. Может быть, даже, чем черт не шутит, — на всю зиму.

И они, конечно, не ошибались. Мы и в самом деле никуда не собирались тикать. По той простой и веской причине, что тикать-то нам было некуда.

Мы недавно поженились. Жилья в городе не было, если не считать девятиметровой комнатенки, жить в которой вдвоем (а к тому времени можно было уже говорить «втроем») не было никакой возможности. Так что мы решили перезимовать, если сумеем, в этом поселке — в доме, куда нас из милости пустила пожить престарелая тетка жены.

Мы не сразу решили это. А когда все же решили, интересный момент, что-то быстро и ловко изменилось — и вокруг нас (мы, должно быть, на все стали смотреть новыми глазами, глазами не дачников), и в нас самих. А собаки, конечно, перемену эту мгновенно почуяли. И относиться к нам стали совсем по-иному, чем к остальным. Я уже говорил: «Как к своим...»

* * *

Уже наступала осень. А с нею и хлопоты, о которых мы понятия не могли иметь, живя в городе. Нужно было запастись на зиму продукты, дрова. Дом необходимо было хоть как-нибудь

подготовить к холодам. Завезти надо было газ в баллонах, перетащить из Москвы книги и словари для работы... Забот хватало, что там говорить, но надо сознаться, что все это были ужасно приятные заботы — робинзоновские.

Дел было невпроворот и у наших псов.

Пришла пора переездов, и что ни день в тишайшем нашем поселочке ревели, оскорбительно и бесцеремонно, грузовики, доверху заваленные дачным скарбом.

Джек срывал себе голос, по нескольку раз на дню ввязываясь в сражения с ненавистными своими врагами.

Машины, грузно переваливаясь, ползли по тесным улочкам, исторгая (явно в желании побольше напакостить напоследок) избыточные клубы сизого выхлопа... Джек бросался им прямо под колеса. Норовил впиться клыками в шины, хрипел, безумствовал. Просто чудо, что каждый раз он оставался в живых.

...Машины подползали к шлабгауму на краю поселка. Натужно взбирались там на асфальт.

Секунду, будто собираясь с духом, стояли и, — скрежетнув сцеплениями, воодушевленно взыв моторами, — вдруг уносились прочь!

С освобожденной радостью какой-то. С торопливостью — ужасно обидной для нас, остающихся... Напоминало какое-то бегство. Эвакуацию напоминало — в преддверии неумолимых ненастий, жуткого неуюта, дождей, холодов.

Что скрывать, нам тоже хотелось в те дни уехать. Все нас покидали.

Собаки появлялись на нашем крыльце изредка. Словно бы только показаться: «Вот мы. Никуда не девались. Просто, извините, дел по горло!»

И снова убегали — вертеться под ногами у отъезжающих, принимать избыточные прощальные ласки и, что конечно, немаловажно, помогать по мере сил в очищении холодильников.

Холодильники, разумеется, интересовали Джека с Брагишкой очень. Но скажите, сколько могли съесть даже такие brave обжоры, как наши дворняги? Два, три, четыре кило колбасы? Две-три кастрюли какого-нибудь борща? Пожалуй. Но не больше. (Молоком, заметьте, и кондитерскими изделиями они пренебрегали.)

И вот будучи уже до безобразия сытыми, с боками, круглящимися, как мандолины, они все же продолжали крутиться среди

отъезжающих, самое деятельное участие принимая в хлопотах и сборах. Почему, спрашивается?

Я так думаю, что им ужасно нравилась сама атмосфера предотъезда. И не только суетня-беготня, похожая на игру, не только взвинченность, почти праздничная, голосов, жестов и походок. Им — нравились люди! Именно такие, какими они становятся перед всякой разлукой — трогательные, добрые, маленько беспомощные, чуть встревоженные, грустно-ласковые...

Если у псов существовала в воображении некая модель идеального собачьего мира (а она, несомненно, существовала), то люди, я думаю, населяли его именно такие. Я уже давно заметил, что Джек с Братишкой стараются, чтобы вокруг них не было глупых, жестоких, эгоцентричных людей. Не то чтобы они их боялись или избегали. Они их просто старались не замечать. (Как Братишка обидевшего его Закидуху.) И прямо-таки восхищения достойно, с какой быстротой и пронизательностью разбирались они в людях.

Разумеется, ктонибудь скажет, что можно и нужно все в собачьем поведении объяснить проще — инстинктами там, рефлексами и пр.

Все можно объяснить проще. Для таких занятий тьма нынче развелась шизофрейдов. А я этим заниматься не хочу. По одной очень простой причине: я Джека с Братишкой знал.

* * *

Итак, народ разъезжался.

Все меньше загоралось по вечерам окон в поселке.

Ночи стали черны и беспокойны.

Осень пришла — непоправимая осень.

Она не вдруг, конечно, упала. Не так, как приходит, например, зима. Ее присутствие мы и раньше замечали, но... Но — не желали замечать.

(Ну, к примеру, как женщина, которая не может не видеть в зеркале всяких досадных ненужностей на лице — морщинок, складочек, мешочков, — не может не видеть, ежедневно глядясь в зеркало, но не в и д и т. И лишь через время, — когда грянет вдруг одиночество, неудача, болезни какие-нибудь, когда опустятся внезапно уставшие руки, — наступит вдруг этакий декабрь-

ский тусклый скверный вечерочек, и наконец взглянет она, милая, с жалкой и горькой отвагой в ледяное то зеркало и — рискнет, наконец, увидеть...)

Так и мы. Солнце поднималось все позже и позже. Уже глядело оно на землю не пристально, а словно бы вскользь — без прежнего, без живого интереса. Уже и листва, словно бы украдкой, и там и сям желтела. И вяла ботва на пустеющих огородах. И лес вокруг поселка светился все безуютнее с каждым днем и жалче. Птицы заметно примолкли... А мы все пытались уверить себя, что это — еще лето.

Конечно, говорили мы себе, не пылкое, не бодро текущее лето июня или даже июля, но все же — лето. Пусть уже вялое, августовское, пресыщенное, грузно замедляющее свой ход, но все же — лето.

И только когда народ стал торопливо разъезжаться, уже нельзя было не видеть: лето кончилось.

И чем бесплоднее, тем осеннее становилось в поселке.

Люди уезжали, покидали дома, но едкий озноб расставаний — этот спутник всякой разлуки, — казалось, не исчезал никуда. Как горьковатый туман, он оставался витать возле сразу же почернелых, плохо заколоченных дач, ступени которых уже через день-два нежило заносило всяким захолустным осенним мусором.

Словно бы грубая тень — сиротства, заброшенности, забвения — ложилась на лица домов. Но они долго еще, эти покинутые дома, с недоумением и острой, никак не заживающей тоской продолжали смотреть в пустующие сады свои, где рассеянно покачивались на ветру забытые детские качельки, или — торчала, покосившись, лопата в наполовину вскопанной и брошенной грядке, или осыпался, жалко хирея, букетик болезненных блекло-лиловых астр в какой-нибудь мутнеющей бутылке из-под молока на колченогом каком-нибудь столике под голым кустом сирени...

Осень показала нам поначалу очень печальной.

Но это была какая-то очень хорошая печаль.

Псы все чаще возникали на нашем крыльце.

Стремительно и жадно вылакав миски, не устремлялись, как раньше, в бега, а уже подремывали на ступеньках подолгу.

Школярской беспечности в них, даже в Джеке, поубавилось.

Каникулы кончились, и они это понимали.

Оставались, конечно, кое-какие еще с лета недоделанные дела и, маленько повалявшись на крыльце, они снова убегали. Но уже без прежней, подплясывающей прыти убегали, без взбудораженной уверенности, что за первым же поворотом их непременно ждет что-то восхитительное: изумительно щедрые какие-нибудь люди, или сучонка какая-нибудь, необыкновенно готовая к любви, или что-нибудь еще, не менее по-собачьи прекрасное... Убегали теперь тяжеловатой, чуть ли не степенной рысцой умудренных, даже несколько утомленных светской жизнью псов.

Поселочек наш в те осенние дни напоминал тающую льдинку, которая быстро — прямо-таки на глазах — уменьшается в размерах. К началу октября едва ли в десяти домах оставались жить люди.

Некоторые из них держали своих собак, так что волей-неволей маршруты Джека и Братишки становились все короче и короче. Все чаще они прибегали к нам и все более подолгу оставались на нашем крыльце.

А потом мы вдруг заметили, что они — целыми днями уже с нами, а если вдруг исчезают, то мы уже волнуемся: «Куда это псы запропастились?»

К Закидухе они приходили разве что ночевать.

Надо признаться, что, оставшись в пустом поселке, мы первое время чувствовали себя не совсем уютно: слишком уж непривычно все было.

Да и как, скажите, могли ощущать себя мы, прирожденные горожане, если выпадали дни, а иной раз и несколько дней подряд, когда мы не видали в глаза ни е д и н о г о ч е л о в е к а?

Безплодые были роскошным, что и говорить. Оно нас не тяготило, нет, мы, напротив, — упивались им, но трудно было к нему привыкнуть.

То же следует сказать о тишине.

Порой такая мощная тишь падала на поселок, что становилось тревожно и беспокойно на сердце. Будто в предвестье беды... Не поверите, слышно было, как жужжит лампочка на фонаре в двадцати шагах.

Восторг, с которым мы взирали на творящуюся вокруг нас

осень, был восторгом, но нам причиняло почти надрыв, почти страдание — чрезмерность и разноликость красоты, не виданной нами доселе. Чересчур уж всего было.

И еще одно чувство преследовало: так хорошо долго не может продолжаться. Вот-вот все это рассыплется, оборвется.

Потом это прошло. Не сразу. И тут, как ни странно, немалую роль сыграли наши дворняги.

Для них настолько естественно было то, что творится вокруг, они настолько не удивлялись тому, что мы тут живем, когда в поселке уже никто не живет, они с такой уверенностью ломались по утрам в наши двери, ни на секунду, видимо, не допуская мысли, что мы можем, например, сбежать, они с такой простотой и безусловностью включили наше житье-бытье в свое собачье житье-бытье, что, ей-богу, совестно было, как ни смешно это звучит, да и стыдно было выглядеть в их глазах по-иному.

«Они тут живут... — думали о нас псы. — Чего может быть проще?»

Мы тут живем — решили и мы. И что, действительно, могло быть проще сказано в оправдание этой нашей незаслуженно райской жизни?

Правда, иной раз мне казалось, что Джек с Братишкой посматривают на нас несколько иронически. Особенно в первое время — когда чуть ли не ежеминутно мы по-городскому ахали, не в силах сдержаться, при виде, например, какого-нибудь факельно пламенеющего клена на фоне мрачно-зеленого, почти погребального бархата еловой хвои, или — при виде заката, который вдруг в единое неуловимое мгновение окатывает небеса тончайшим, бледнейшим, нежнейшим малиновым отсветом, или... Да мало ли по каким поводам мы ахали, охали и эхали в ту первоначальную пору осени?

Мы впервые оказались с осенью вот так — лицом к лицу. Не поодаль, а словно бы внутри нее.

Впервые осень разворачивалась — внутри нас. Творила свои грустные чудеса — вокруг нас. И мы жили тогда, смешное сравнение, словно на цыпочках, словно бы крадучись. Так неправдоподобно было хорошо, так тихо все было, что боязно было каким-то слепым словом, неосторожным жестом что-либо нарушить в этом хрупко и тонко организованном ходе вещей и событий.

Это уж потом, как сказано, мы обрели достоинство. Стали просто жить. Стали просто молча глядеть, боясь отвести глаза. Иногда только вздыхали друг другу: «Хорошо...»

А в тот год, действительно, была какая-то необыкновенная осень.

Что ни вечер, по телевизору выступали с прогнозами погоды не очень на вид научные сотрудники Гидрометцентра, водили указками по мутно-дымным фотографиям, сделанным из космоса, и задумчиво говорили, что подобной осени не упомнят даже долгожители.

Почти не было дождей. Тех самых, которых мы так тоскливо ждали и боялись — монотонных, холодных, заунывно льющих неделями.

Было много солнца, рассеянно-ласкового и тихого. Много спокойной, благородной, опрятной голубизны в небесах. Эта чуть блеклая тишайшая голубизна стала как бы фоном, на котором текла наша монотонно-сказочная здешняя жизнь.

Ребенок должен был родиться ранней весной, и нам несказанное счастье было чувствовать, что он растет в такой вот золотисто-голубой тиши, в покое и, наверное, чувствует это.

Было много простора. Во все концы. Это ощущение, ужасно странное, не покидало нас даже в самых глубоких чащобах, куда мы забредали в поисках грибов.

А грибов в ту осень уродилось тьма.

В августе, в начале сентября мы брали обычные для Подмосковья крохи: сколько-то сыроежек, десяток свинушек, пяток моховичков.

Но вот народ разъехался, и где-то в середине сентября грибной бог вдруг щедро потрянул мошной.

Словно бы грибные взрывы стали сотрясать лес. Сначала — свинушечий взрыв. Недели две нежно-бежевые, крепенькие, будто аккуратненько отлитые в каких-то формочках свинушки повергали нас в жадный веселый азарт. Их мы уносили из леса столько, сколько могли унести. Затем, как по команде сверху, они в один день исчезли. Даже червивые перестали попадаться.

На смену свинушкам разрозненными полчищами пошли польские...

Вдруг, совсем уж неожиданно для нашего лета, высыпали лисички.

А потом — на болотах — вновь, как и в начале августа, но несравненно более изобильно, пошли подберезовики.

Мы ходили по грибы чуть ли не до начала ноября. И я отчетливо помню один из последних грибов той осени.

Это был мощный, грубо сработанный гриб, из тех черных, слегка как бы закопченных, тяжелых даже на вид подберезовиков, которые встречаются только на болотах — не во мху, а на твердых, заросших сосенками островках, — с огромной бархатно-черной шляпкой, напоминающей солдатскую каску, несколько помятую по краям. Я помню, как радостно, удовлетворенно, хотя уже и привычно, скакануло сердце в груди, когда вдруг (грибы всегда «вдруг») я увидел его, ничуть не скрывающегося, а просто и с достоинством поджидающего меня... И помню, что все вокруг уже пестрело от снега, присыпавшего непомерно яркую зелень травы и мха, а на голове у гриба, поверх каски и чуть сползая с нее набекрень, серебрилась ледяная корка, вся в мириадах остреньких игольчатых трещинок, по структуре своей напоминающая тот ясный морозно-сияющий дребезг, который возникает в ветровом стекле автомобиля, испытавшем удар.

Псы с нами не расставались.

Собираясь в лес, они, кажется, больше нас радовались этому.

Вряд ли их жизнь можно было назвать праздничной. Но жили они — словно бы в постоянном предвкушении праздников.

В лес мы уходили всегда надолго. Меньше шести часов никак почему-то не получалось, даже если мы и хотели вернуться раньше.

Жена моя, молодчина, несмотря на положение свое, на усталость никогда не жаловалась, а грибником она была алчным. Так что двенадцать-пятнадцать километров (считая по прямой) мы делали непременно.

Сколько же делали наши дворняги? Километров шестьдесят? Сто шестьдесят? Они ведь никогда не шли рядом с нами — носились кругами.

Когда мы возвращались, наконец, домой, Джек с Братишкой валились наземь в изнеможении полнейшем.

Всем своим видом они как бы говорили в эту минуту: «Видите, как честно потрудились мы? Надеемся, вы учтете это и про похлебку, надеемся, не забудете?»

Не забывали, конечно.

Полутораведерная кастрюля день и ночь стояла на плитке, и в ней перманентно кипела похлебка.

По мере того, как содержимое кастрюли убывало, туда доливалась вода, высыпалась пара-другая пакетов «Суп вермишелевый с мясом», кидались мелко нарезанное старое сало, срезки с мяса, кости, остатки жаркого, недоеденная картошка, макароны, вызывающая сомнения колбаса, жир с ветчины, остатки консервов и многое другое прочее. Все это постоянно бурлило, было наваристо и густо, и распространяло, как это ни странно, весьма аппетитный (даже для моих ноздрей) запах.

Что уж говорить о псах, аппетит которых был безразмерен.

Об аппетите. Однажды случилось так, что жена уехала в город к врачу, а мне тоже приспела вдруг срочная нужда отвезти на службу работу. Короче говоря, псы должны были остаться без нас не менее суток. И, короче говоря, я решил накормить их впрок.

Поскольку ели они у нас, как в санатории, три раза в день, я для начала трижды налил им по миске их фирменного хлеба. Несколько удивившись, они три эти миски съели.

Снова стали смотреть на меня — с любопытством и недоверчивым, слегка даже юмористическим ожиданием: «Ну-жто еще даст?»

В кастрюле еще немало оставалось, и я дал им еще. Одну миску, вторую миску... Они съели и это. Азарта, правда, особого не проявляли, но хорошо съели, спокойно.

Я наскреб им еще по две миски и понял, что этих псов до отвала накормить не удастся никому и никогда.

После такой трапезы Джек с Братишкой словно бы тупо опьянели. Бродить принялись вокруг крыльца какими-то странными кругами, то и дело натыкаясь друг на друга. Лежать, видимо, им было трудновато.

Тем не менее провожать меня на поезд — святое дело! — они отправились. И когда они старческой трусцой бежали впереди меня по дорожке, я не мог без смеха смотреть на них. Трусили два непомерно раздутых бурдюка на тоненьких ножках. А морды их в сравнении с раскачивающимися животами выглядели так, ну, как если бы к тулову бульдога приделали вдруг мордашку востроносенькой левретки. Вот так они выглядели.

Мне, признаться, было немного стыдно за эту шутку.

На платформу по лестнице они взошли с немалым трудом. На каждой ступеньке вздыхая. Повалились у ног и даже хвостами едва шевелили, когда я разговаривал с ними, упрекая их в обжорстве и, одновременно же, оправдываясь перед ними.

Нет, конечно,— семь мисок за раз это было даже для них многовато. Я это понял, когда налетел на станцию товарняк — шесть десятков гремящих, черных, грязных, воняющих бензином цистерн. Джек — и это был единственный случай в его биографии — сумел лишь томно поднять от асфальта голову и скорбным взглядом проводить машиниста.

Машинист, мне показалось, ездил здесь не в первый раз и Джека знал. Я заметил, как изумленно отвисла у него челюсть при виде столь кроткого поведения пса. И я даже испугался, что от удивления он наедет со всеми своими цистернами на какой-нибудь столб, устроит аварию, и я в Москву к назначенному сроку не успею.

Что и говорить, псы у нас голодными не бывали.

Ни жиринки, конечно, у них не завязывалось при их бегучем-то образе жизни, но и ни малейшей худобы даже самый придирчивый глаз не смог бы в них отметить.

Среди бездомных своих собратьев, которые во множестве крутились возле магазина, Джек с Братишкой выглядели прямо-таки принцами крови.

У большинства тех собак хоть и были ошейники, но выглядели они распоследними люмпенами.

Тусклая клочковатая шерсть; суетливое безостановочное рыскание в поисках чего бы пожрать — печать, в общем, нищеты и бесправия, сплошная, можно сказать, тревога за завтрашний день. И — никакой надежды, что придет какая-нибудь собачья Армия Спасения и спасет...

В магазин мы старались уходить украдкой от псов.

Выжидали момент, когда они отлучались куда-либо, бегренько собирались и кружными улицами, чуть не на цыпочках ли, уходили.

Впрочем, обмануть их удавалось редко.

На какой-нибудь из улочек мы слышали вдруг сзади мягкий тупой топоток, развеселое шумное дыхание, оборачивались, — конечно же! — наступают нас наши обормоты, чрезвычайно счастливые от того, что сумели разыскать нас, что не произошло

постыдного прегрешения по собачьей службе, не ушли хозяева на станцию без их бдительного конвоя.

Джек тут же норовил с налету лизнуть меня в лицо. Потом, развернувшись и распахнув объятия, бросался к жене, которая привычным уже жестом защищая живот, кричала ему — тоже уже привычно: «Джек! Обалдуй! Уйди!» — и смеялась.

Братишка — сдержанно, словно бы даже случайно лизнув мне руку, устраивался впереди, и к магазину мы подходили как некая маленькая эскадра. Братишка-сторожевик — впереди. Жена моя — грузный дредноут, и я — некий тощий фрегат — позади. А Джек, как торпедный неистовый катер, рыскает галсами вдоль дороги в надежде отыскать хоть какую-нибудь завалыщенскую в кустах опасность, грозящую нашему плаванью.

Украдкой мы ходили в магазин по двум причинам.

Во-первых, магазин был за линией железной дороги. А у нас уже, ей-богу, не доставало нервов смотреть, как кидаются собаки (в первую голову Джек, конечно) прямо под колеса пронесящихся поездов. Прوماхнись ведь они на какой-нибудь миллиметр в смертельных своих играх с железной дорогой, и тогда...

А вторая причина была в том, что возле магазина, как сказано, постоянно крутилась банда бродячих собак, и появление наших гладких, с буржуазно лоснящейся шерстью, сытых и довольных жизнью Джека с Братишкой не могло не вызывать, как вы сами поминаете, взрывов классового антагонизма.

Зачинщиком драк, впрочем, всегда бывал Джек.

Осторожности он не знал. Некогда ему было приглядываться, силен или слаб, опасен или труслив тот или иной пес. Достаточно было того, что он оказывался несимпатичен Джеку. И Джек поступал без раздумий: мгновенно налетал, сшибал с ног, начинал катать по земле (без особой, кстати, злобы), сколь можно свирепо рыча при этом.

И тут же отпускал, едва пес просил прощенья.

Братишка ввязывался не всегда и далеко не сразу. Ему, похоже, претила драка. Но когда он видел, что Джек выбрал себе жертву явно не по зубам, Братишка, конечно, тоже вступал в сражение. И тут ни одна поселковая собака не могла выдержать напора наших мощных, хорошо кормленных, дружных бойцов.

Впрочем, один такой пес был.

Его звали Мухтар. Мелкий — вполовину Джека или Братиш-

ки — черно-рыжий кобелек, похожий на какую-то карликовую лаечку. Вечно раздраженный, ненавидяще щерящий мелкие, часто растущие, как у хищной рыбы, зубы — этот пес не был бездомным. Однако поскольку хозяин его вечно торчал или в винном отделе магазина, или около магазина со стаканом в руке, или в пивном ларьке «Колосок», то и Мухтар с утра до вечера болтался возле, и они — Джек, Братишка, Мухтар — почти всегда сталкивались между собой, когда мы приходили за покупками.

И ни одна встреча не проходила мирно.

Чуяли они друг друга еще на дальних подступах к магазину: шерсть на загривке у Братишки вдруг поднималась горбом, он начинал утробно, грозно, словно бы под нос себе ворчать. Джек тут же прекращал свои вольные кругалы, пристраивался поближе к брату, от веселого возбуждения начинал аж подпрыгивать.

И вот Мухтар и наши собаки, наконец, замечали друг друга. Тотчас же, ни секунды не мешкая, устремлялись навстречу друг другу — словно бы даже торопясь, словно опасаясь, что кто-нибудь может помешать их встрече. И мгновенно вскипала драка.

Наши дворняги вдвоем, конечно же, были сильнее Мухтара. Но ни разу Мухтар не отступил!

Я даже думаю, что если бы однажды мы почему-либо не разняли их, то он погиб бы под клыками своих врагов, но пощады так и не попросил.

Своим неистовством он каждый раз обескураживал, казалось, даже Джека с Братишкой.

«Все ведь ясно! Мы — сильнее. Взвизгни, подожди, как полагается, хвост, и мы тебя отпустим. Что мы, звери, что ли?.. Нет же!.. — и что за характер такой склочный? — опять бросается!..»

С явным, мне казалось, облегчением встречали они каждый раз наше вмешательство.

Они ведь были добродушные, в общем-то псы. И им нечего было делить с околomagазинной братией. Ну а дрались они потому, что так уж полагалось в этой собачьей действительности: ты не схватишь за горло, тотчас схватят тебя.

Мы их разнимали, уходили. А Мухтар еще некоторое время брел следом — встопорщенный, маленький, аж шкварчащий от злобы и ненасытной ненависти — готовый сразиться и еще раз, и еще тысячу раз.

И только тогда, когда я делал вид, что поднимаю что-то с

земли и замахиваюсь на него, — он отступал. Ему, наверное, это было важно: не перед собаками отступить, а перед человеком.

Что сделало его таким оголтелым ненавистником, не ведаю. Хозяин Мухтара, хорошо мне знакомый, и во хмелю, и в похмелье был добрейший мальчик. Точно знаю, что никогда не голодал Мухтар, и вряд ли когда-нибудь били его... Не знаю, что с ним творилось и отчего.

Да и мыслимо ли вообще докопаться до источников собачьей ненависти к миру, когда и среди людей-то иной раз ахаешь от растерянности: «Это ж откуда такая гадина могла появиться?!»

* * *

Ох, не зря обмирали наши сердца, когда Джек с Братишкой затевали свои смертельно рискованные игры с железнодорожным транспортом! Не могло это кончиться добром. И не кончилось.

Однажды поздно вечером мы отправились на станцию позвонить в Москву. Звонок был срочный, очень для нас важный, и мы торопились.

Джек с Братишкой, натурально, тоже увязались с нами.

Мы торопились — позвонить нужно было с точностью чуть ли не в четверть часа — и, разумеется, поэтому возле перехода через линию нам пришлось встать.

Сначала длиннющий, вагонов на восемьдесят, порожняк из Москвы неспешно громыхал через станцию. А потом, когда он стал уже заканчиваться, подошла к платформе электричка. Прodelала все свои грузопассажирские манипуляции — открыла, выпустила, впустила, закрыла — и неспешно тронулась к Москве, преградив нам опять дорогу к телефону.

Чем занимались в это время собаки, думаю, объяснить не нужно. Мы старались не смотреть на них.

Итак, мы стояли у перехода и смотрели, задрав головы, как мимо нас высокой стеной течет электричка.

Джек, мы заметили, помчался вдоль канавы по насыпи ругаться с машинистом.

Братишка гавкал невдалеке, на бетонном мостике через кювет.

Электричка набирала ход. Звук ее возвысился уже до нестерпимого, страдающего воя. Окна слились в одну заунывно-желтую полосу, кратко и все чаще перебиваемую черными

вспышками междуоконий... И вот, наконец, резко оборвав эту муку грохота, скрежета, завывания, — упала тишина.

Сразу же вздохнулось освобожденно: отворился путь.

Мы шагнули идти — и вдруг увидели, что возле самых рельс сидит Братишка. Как-то ужасно странно сидит.

В гимнастике, в вольных упражнениях есть такой элемент, не знаю, как называется: гимнаст, оперши руки о ковер, делает так называемый «угол» — сначала параллельно земле, а затем сомкнутые ноги устремляет прямым вверх. Вот так же нелепо сидел Братишка. Опираясь в землю передними лапами, он старательно подтягивал задние, судорожно и неестественно выпрямленные, к морде, которую тоже все невероятнее и истовее тянул к небу.

Мы не успели ни ахнуть, ни крикнуть.

Глаза Братишки остекленели и мертво отразили свет перронных фонарей, и он аккуратно упал с края мостика в канаву. Исчез.

Я не позволил жене броситься к нему. Не позволил грубо, но она даже не заметила этого. Подбежал.

Братишка лежал неудобно, вниз головой. Все так же судорожно подтянув к груди задние лапы.

И был он уже — каменеющий. Чужой всему. Чужой всем.

И, со стыдом слыша в себе эту внезапно возникшую чуждость, слыша никак и ничем не управляемую неприязнь — меня, живого, к нему, мертвому, — и не только неприязнь, но и опаску, и брезгливость, и холодность, и полное отсутствие хоть сколько-нибудь острой горечи, — слыша в себе эту многоголосую гамму ощущений, не делающих мне чести (и оттого наполняясь еще большей тошноты и неприязни), я спустился, оскальзываясь по грязи, на дно кювета.

Не рукой — мне стыдно вспоминать об этом! — какой-то щепочкой попытался пошевелить морду Братишки.

Голова была, как каменная, и не шевельнулась. Глаза пуговично смотрели в черную, как деготь, грязь. Он не дышал. Я стал вылезать.

Под откинутым набок хвостом собаки темнело немного экскрементов, вытолкнутых, как это и бывает, с последней судорогой агонии.

— Пойдем куда шли, — сказал я жене. — Я потом с тачкой приду, заберу.

Она заплакала.

— Его, наверное, стукнуло подножкой.

— Ой, дуралей-дуралей! — плакала жена.

Из темноты вылетел жизнерадостный, как всегда, и воодушевленный сражением Джек. Крутанулся возле нас. Заметив белеющий в канаве труп Братишки, столь же весело подбежал, внимательно понюхал под хвостом у брата, и с равнодушием, которое поразило нас до глубины души, отвернулся. Бодро задрал хвост, побежал впереди нас к магазину, где стоял телефон-автомат.

Это равнодушие к смерти ближнего своего не просто поразило — оно возмутило нас! «Как он может так пренебрежительно, так цинично-спокойно отнестись к гибели друга своего, неразлучного спутника своего, брата наконец, единокровного и единоутробного!»

Смешны мы были, конечно... Смешны и очень несправедливы, когда, стоя в очереди к телефону, гнали Джека от себя и попрекали: «Братишка погиб, а тебе и дела нет! Иди-иди... Хотя не веселился бы!»

А между тем, скажите, что должен был предпринять бедолага Джек, дабы не пасть в наших глазах?.. Делать Братишке искусственное, что ли, дыхание? Начать выть, созывая людей? (Люди-то были рядом...) Бежать, может быть, к телефону и вызывать собачью «скорую помощь»? Усесться возле трупа и начать гражданскую панихиду? Копать могилу? Что?..

Несправедливы мы были к нему — как люди.

Мы позвонили. Домой возвращались понуро. Тошно нам было.

Я повел жену новой дорогой. Не хватало, подумал я, чтобы из-за несчастного Братишки и с ней, на шестом месяце, стряслась какая-нибудь беда.

Но она умолила меня свернуть к переходу.

— Я не буду подходить, не бойся! — говорила она. — Ты только сходи и посмотри. Может быть, он жив еще?

Она осталась стоять под фонарем у платформы, а я пошел к месту Братишкиной гибели.

Братишки — н е б ы л о!

Убрали? Но это смешно: ночью кто-то будет убирать никому не мешающий труп...

Значит, Братишка был ранен. Значит, очнулся и пополз. Вряд

ли у него достало сил выбраться из глубокого кювета, — значит, пополз по канаве...

Я крикнул жене. Я услышал ее счастливый смех в ответ.

Мы пошли вдоль железной дороги и, взглядываясь в темень придорожного кювета, в два голоса окликали: «Братишка! Братишка!»

Джек, где-то задержавшийся, догнал нас.

К чести его нужно было сказать, что первым делом он сунулся под мостик, где только что валялся брат его. Братишку не обнаружил, успокоенно махнул хвостом и побежал вместе с нами.

— Джек, ищи! Он где-то здесь!

В ответ Джек только вилял хвостом и норовил, прыгнув повыше, облобызать каждого из нас в уста.

Мы свернули к дому. Решено было, что назавтра, едва рассветет, мы вернемся к поискам.

Путь наш лежал мимо дома Закидухи.

— Господи! — воскликнула жена. — Когда он выйдет из больницы, что мы ему скажем?!

И в этот самый момент из дыры под забором вылезла белая собака с черным седлышком на спине и побежала к нам, приветственно, хоть и несколько виновато, махая хвостом.

— Братишка!!

Это был, разумеется, он. Целый и невредимый. Если не считать опухоли с кулак величиной, увенчанной короткой и глубокой ссадиной — с левой стороны, на скуле.

Спросите у Братишки, что было потом. Спросите у него, едал ли он когда-нибудь — и до, и после — такую восхитительную похлебку!

Жена, впад в какой-то экстаз умиления, распахнула холодильник настезь и творила ту похлебку с таким вдохновением и восторгом, словно это было жертвоприношение железнодорожному богу, пощадившему милого нам Братишку.

Досталось и Джеку.

Мы все же чувствовали себя виноватыми за наши клеветы в его адрес. Возможно, что попросту он был и мудрее и опытнее нас в подобных делах. Сунулся к лежащему Братишке, мгновенно поставил диагноз: «Шарахнуло крепко, однако оклемается...» — ну и повел себя соответственно.

Шарахнуло Братишку, действительно, крепко. Его спасло,

как я понимаю, только то, что электричка лишь набирала скорость и поэтому удар, к тому же косвенный, хоть и поверг его в глубочайший нокаут, но не убил.

Рана, конечно, не могла не причинять ему страданий. Было заметно, что ему трудно раскрывать пасть. Он стал неулыбчив, молчалив. В играх поворачивался к нападавшему боком, морду прятал, не огрызался.

Джек мгновенно уловил эту слабинку. Наскакивал на брата вроде бы и играючи, но все более и более настойчиво. И все меньше шутливости становилось в его наскоках.

Джеку, видимо, показалось, что пришел его час, когда он может по праву взять над Братишкой верх.

Братишка, сколь было возможно, уклонялся от прямых столкновений. Джек же, напротив, преисполнялся все большего нахальства и порой, уже всерьез свирепея, норовил во время игр повалить Братишку, ухватить за горло, кусал даже — верх наглости! — за корень хвоста.

Братишка терпел. Но всегда наступал момент, когда долее терпеть без ущерба для авторитета было уже нельзя, — и тогда Братишка взрывался!

Вдруг переднами предстал Братишка — зверь. Устрашающе взрычав (от рыка этого Федька с визгом мчался к нам под ноги), вздыбив загривок, беспощадно и свирепо сморщив морду — это не могло не доставлять ему боли и от этого, быть может, он свирепел еще больше, — Братишка, подловив момент, одним внезапным кратким ударом опрокидывал Джека наземь и тотчас впивался ему в горло. Без всяких шуток. Чтобы убить.

Джек тотчас вдарился в панический крик, а когда Братишка отпускал его, отбегал в сторонку со всей возможной верноподданностью, но словно бы и говоря при этом: «Вот бешеный, шуток не понимает... Я же шутил!»

Хоть и нам, и Братишке яснее ясного было: шутками тут и не пахнет. Здесь — извечная борьба за власть, со всей ее подлостью, вероломством и безжалостностью.

И грустно было видеть, сколь похожими на людей становятся в эти минуты наши милые псы...

После удара поездной подножкой (мы потом отыскивали ее, эту смертоносную для собак подножку, остро и опасно торчащую невысоко над землей в начале и конце каждой электрички) — после того удара Братишка стал мучаться и головными болями.

Мы очень скоро научились определять начало приступа. У него наливались кровью белки глаз. Он становился беспокойным и беспомощным, с виноватым видом начинал проситься к нам в комнаты. Там он ложился головой в темный угол и замирал.

Боли, видимо, бывали иной раз совсем нестерпимыми, потому что Братишка иногда и лежать даже не мог. Беспокойно бродил из угла в угол. Ложился, тут же вставал.

Мы пытались давать ему анальгин. По большей части безуспешно. Во время приступов ему было совсем не до еды, а как еще, скажите, можно всучить собаке растолченное лекарство.

Как ни странно, больше всего ему помогало ощущение человеческой руки, спокойно возложенной на голову. Он клал морду ко мне на колени, я совершал рукоположение, и так мы сидели.

Братишка лишь постанывал иногда сквозь дремоту. Скорее — изможденно побряхтывал.

Интересно, что и Федька в такие минуты разительно менялся. Обычно бесцеремонный и озабоченный единственно лишь щенячьими своими играми, он в периоды Братишкиных страданий вел себя на удивление тихо и смиренно. Ложился где-нибудь в сторонке и глаз не сводил с Братишки. Словно бы соперничал. И казался в такие минуты почти взрослым.

Одна только Киса не испытывала к Братишке ни малейшего сострадания.

Сначала из-под дивана настороженным зеленым светом горели лишь глаза ее, следящие за Братишкой. Затем — высывалась черно-белая, тоже еще настороженная, но уже и любопытствующая мордочка (это когда Братишка укладывал морду ко мне на колени и замирал). Потом — черная лапка, обутая в белый лапоточек, быстренько высывалась, как выстреливала, из-под дивана, касалась кончика Братишкина хвоста и вновь исчезала.

И только после этого, замирая от страха и собственной отваги, Киса появлялась вся.

На всякий случай угрожающе растопорившись, выгнув спину, она для начала трогала шерстинки хвоста, затем принималась похаживать рядом... Бог знает, какие подвиги, какие победы над собачьим племенем воображались ей! Она уж и подкрадывалась к хвосту, и налетала на него неумолимо и стремительно (чтобы тут же улепетнуть в поддиванную темень от вообразившейся ей опасности)! И снова — теперь уже

победной поступью — выходила на поле брани.

В конце концов, в озорстве своем, — и чувствуя, конечно же, полнейшую свою безопасность, — Киса ложилась с хвостом в обнимку и начинала самые бесцеремонные с ним игры, даже грызла.

Братишка в такие моменты приоткрывал глаза, косился, перекладывал хвост на новое место, чем вызывал у Кисы одно лишь буйное удовольствие и новые приступы игривости.

Киса, как вы догадались, была совсем еще маленький котенок. И чего уж скрывать, в доме она появилась наперекор нашим желаниям. Сломив, можно сказать, наше неприязненное равнодушие к этим животным. А произошло это так.

...В конце октября на нашем крыльце вдруг появилась Нефертити (в просторечии — Нефертя) — черная как тьма, ужасно независимая и гордая, аж до какого-то пренебрежения к людям! — кошка.

Она приходила иногда еще и летом. Очень редко, правда. Ее, конечно, подкармливали, но из-за Братишки с Джеком наше крыльцо не могло ей казаться приятным. Тем более удивителен был этот визит — глубокой осенью, поздним вечером. Впрочем, относительно позднего вечера Нефертя рассчитала точно: на ночь Джек и Братишка, дабы у Закидухи не возникало сомнений, кого они считают хозяином, спать уходили к нему в опилки.

Так вот Нефертя явилась. Ей налили, конечно, молока. Она, конечно, попила. Но, не допив больше половины блюдца, потершись о наши ноги, поурчала и — исчезла.

Какой странный визит, сказали мы друг другу. И ведь совсем даже не голодная. Может, присматривает себе убежище на зиму?

Через полчаса все разъяснилось. Мы вышли на крыльцо и увидели двух котят — черно-беленького и серо-беленького, — которые старательно, хотя и не очень умело, лакали из блюдца молоко. А рядом с ними, строгая, заботливая мамаша, восседала Нефертя.

Так и повелось с того вечера. Собаки — спать к Закидухе, и тотчас из-под дома появляется кошачья семейка: Нефертя, притворно и приторно ласковая, а следом за ней — котята, очень милые и смешные, как все, впрочем, котята на белом свете.

Не любили мы кошек. Не хотели мы в доме кошек! Еще и потому не хотели, что кто-то из нас где-то когда-то читал, что

в доме, где ожидают ребенка, присутствие кошек вредно. Тем более бродячих. Тем более — от них, говорят, пахнет. Стригучий лишай у них...

Да вообще! — не симпатичны нам были эти звери! Чересчур уж высокого они о себе мнения. Людей не любят, а всего лишь терпят, *используют* их для удобства своей кошачьей жизни. Еще неизвестно, кто для кого домашние животные: кошки для нас или мы для кошек.

Нефертя, однако, знала свое дело. Людей, судя по всему, она изучила за свою жизнь досконально. И тех, кто при виде кошек начинает приседать и умиленно сюсюкать: «Кис-кис-кисонька!» — и тех, кто, услышав «мяу», хватается за кирпич.

Мы, должно быть, для задуманного Нефертей дела годились. Не кискисали, правда, но при виде котят тянулись все же не за камнем, а за пакетом с молоком...

В общем, довольно приличные люди, рассудила, видимо Нефертя. Водят, правда, дружбу со здешней собачьей бандой, ну да зима на носу! — выбирать не приходится.

Вначале во время трапез Нефертя сидела с котятами безотлучно. Быстренько (и, между прочим, в первую очередь) наевшись, она, словно строгая бонна, следила за тем, чтобы дети кушали хорошо и правильно и не шалили возле миски.

Потом она начала понемногу отлучаться. Сначала — буквально на минуту-другую. С таким видом, будто в подвале у нее некое неотложное дело, о котором она впопыхах запомнила: уют, например, не выключен, или кастрюлька, например, выкипает... Затем отлучки стали продолжительнее. Котята вначале беспокоились, но быстро привыкли. Они были совсем еще маленькие. Настолько, что почти равнодушны были к миру, который их окружал.

Нефертя, не торопясь, но и не медля, приучала и нас, и котят своих к новому жизненному порядку. Исчезала все более надолго. И разумеется, настал в конце концов такой вечер, когда она ушла и не вернулась вовсе.

Котята восприняли это как должное. Попив молока, рьяно умылись, поджали под себя лапки и стали сидеть — два таких бездомных маленьких сфинкса, безмятежно и сонно глядящих в осеннюю тьму.

Среди ночи я встал посмотреть, как они. Утром прибегут собаки, рассудили мы с женой, не хватает нам для полного счастья

только смертоубийства. Пустим-ка их на ночь на террасу...

Но котят уже не было на крыльце. То ли Нефертя вернулась и увела их в подвал, то ли сами ушли.

Но на следующий вечер они опять явились — уже сами, без мамаш. Потом стали появляться даже днем. Джек мгновенно загонял их назад в подzemелье, и нам приходилось блюдце с молоком совать им под дверку подвала.

Один из котят, серенький был не жилец. Горбатенький, колченогий («родовая травма» — со знанием дела определила жена, прочитавшая к тому времени уйму акушерских книг) — на нем словно бы лежала печать обреченности. Он и вправду очень скоро сгинул.

Остался — один. Черненький, в белых валеночках, с белым, будто бы фразным вырезом на груди. Очень аккуратненький и забавный. Он нам еще и тем понравился, что оказался ужасно бесстрашным.

В один прекрасный день он решил, что хватит ему улепетывать в подвал при каждом появлении собак (хлопотно, надоело, да и вообще, негоже хищнику), и, когда псы прибежали, остался сидеть на крыльце, как сидел.

Братишка внимательно обнюхал (не слишком, впрочем, приближаясь) это отважное чудо природы, иронически хмыкнул и, отвернувшись от котенка, стал приветствовать нас.

Джек, натурально, аж задохнулся от такой невиданной наглости. Гавкнул, бросился и вдруг — в растерянности, что ли? — остановился.

Тут вот что произошло. Котенок, растопорщившись и увеличившись от этого чуть ли не втрое, напоминая в эту минуту более всего мультипликационного ежа, вдруг потешно зашипел и принялся, с трудом удерживая равновесие, суматошно махать перед носом Джека обеими своими передними лапками, на которых грозно топырились полупрозрачные, нежно-розовые коготочки.

Джек, конечно, не испугался. Он просто очень удивился.

Мы тут же постарались отвлечь его похлебкой, и он с готовностью отвлекся. Справедливо рассудил, что глупо менять миску изумительно калорийного хлеба на какого-то паршивого котенка, с которым, честно-то говоря, толком-то и неизвестно, что делать, даже разорви он его на маленькие кусочки...

И котенок, таким образом, завоевал себе право восседать,

когда ему вздумается, на излюбленном ящичке слева от входа — в бдительной близости от личного блюда.

Он (вернее — она, поскольку это оказалось девочкой) и сейчас там сидит. Цепляет каждого входящего-выходящего растопыренной лапкой, кратким мяуканьем напоминает всем и каждому о своем существовании и о неотъемлемом праве на все субпродукты в нашем доме...

Сцены с Джеком, правда, время от времени повторялись, но это было так... исполнение какого-то ритуала, дань традициям скорее, нежели проявление истинной вражды.

Я вообще убежден, что не существует никакого кошачье-собачьего расизма. Вернее, расизм этот ни в коей мере не заложен в них природой.

Конечно, собака, завидев кошку, чаще всего бросается к ней. И чаще всего кошка улепетывает. Собаку — толкает в погоню охотничий инстинкт преследования дичи. А кошку? Если ей лень или если она по рассеянности не наметила себе заранее лазейки (что бывает с ней крайне редко), она никуда и не побежит. Она не боится собак. Скорее, собака должна опасаться ее когтей, молниеносных и снайперски точных. Тем не менее собака гонится, а кошка соответственно удирает... Но я что-то не могу припомнить ни единого случая, чтобы собака разорвала взрослую здоровую кошку. (Возможно, такое и случается. Но, уверен, что в тех драмах — либо собака была какая-то особенная, не по-собачьи уж жестокая, либо кошка была чересчур юная или больная, либо собака была не одна, а в компании себе подобных...)

Почему же все-таки кошка удирает? Да единственно потому, что им наслаждение, я уверен, прямо-таки жгучее женское наслаждение доставляет в тысячу первый раз одурачить глупого пса! Вы только взгляните в лицо кошке, когда она, взлетев под самым носом собаки на дерево, по домашнему сидит там на ветке и поглядывает на беснующегося внизу пса! На этом лице все написано...

Мальчишки в младших классах любят (и я их понимаю) дергать девочек за косички. Но это же не означает, что ими движет желание снять со своих прекрасных половинок скальп. Так и с собаками, которые вот уже который век без устали гоняются за кошками. Нет в них жажды убийства. Одна лишь, по большей части, игра в догонялки.

На месте собак и кошек я испытывал бы обиду, слыша

сравнение какой-нибудь сладостно скандальной людской пары с ними : «..живут, как кошка с собакой...»

Да если бы люди жили между собой, как жили, например, Киса с Федькой, то не нынешняя жизнь творилась бы на Земле, а прямо-таки рай в шалаше. Очень они трогательно и мило сосуществовали.

Как вы уже догадались, котенок в конце концов оказался в доме. Начались холода, ветер, и с крыльца его перевели, конечно, на террасу.

Ну а через пару дней нам надоело выгонять его из теплых комнат, куда он неукротимо рвался (и конечно же, прорывался) едва открывали двери.

И мы смирились с кошкой в доме. Назвали ее после долгих раздумий Кисой, поставили ящик с песком. И сразу заметили вдруг: уютно стало в доме. Тем стародавним хрестоматийным уютом, воспоминание о котором живет в каждом, наверное, человеке: за окнами — непогода, гудит в печи огонь, стреляют дрова; теплый оранжевый свет падает из-под абажура на белую скатерть... А возле печки, на диване, старательно дремлет котенок, с чувством большого удовлетворения жизнью трещит-трещит себе под нос — точно как трансформатор.

Кроме Кисы право постоянно жить в доме имел и Федька.

Федька был еще... никакой. То есть никакого еще характера в нем не было. Один лишь безоглядный щенячий восторг, умилительная растяпость, добродушие, доверчивость и непрекращаемая уверенность, что все в мире приспособлено исключительно для его, Федькиных, игр.

Он был смешной, косопалый, упитанный ребенок.

Конечно же, к дворнягам он не имел никакого отношения: густая черная крупно-курчавая шерсть; как бахромой занавешенные уморительные глазки; с младенчества бородатая, карикатурно-стариковская, квадратом вытянутая вперед морда... В нем была порода, это было сразу заметно, но какая именно, увы, не знаю. Что-то терьеристое, скотч-терьеристое,— это я могу сказать более-менее точно, а на большее, однако, эрудиции не хватает.

Он обещал быть умницей. За конфетку (но только в фантике) с готовностью давал лапу, по команде садился. Этой премудрости

он выучился едва ли не со второго раза.

Когда с ним разговаривали, умел делать необыкновенно заинтересованную, словно бы даже все понимающую морду, склоняя при этом голову то на один бок, то на другой.

Но во всем он был, конечно, еще щенок щенком. И хоть хлопотно с ним было (проситься, например, на улицу он долго не мог научиться), хоть и приходилось тревожиться за него постоянно (он мог по глупости и заблудиться, и под поезд из любопытства сунуться), но мы его полюбили.

Право, едва мы только взглянули в эту потешно заросшую морду, в эти юмористически поблескивающие черные глазки — мы сразу же впустили его себе в душу!

Федька рожден был, конечно, не для дворянской жизни. Вот уж кто в профессорской квартире чувствовал бы себя на месте! Спервоначалу он не слишком-то охотно покидал жарко натопленный дом даже для того, чтобы выйти на улицу и справиться там необходимые нам нужды.

Однако довольно скоро зазывать его назад стало все труднее и труднее. Вольная воля, шутя и играючи, и его забирала в полон.

Братишка, как сказано, замечать его отказывался. Так что естественно получилось, что наперсником в жизни и напарником по играм стал для Федьки Джек-обалдуй. Мы диву давались, как быстро перенимал Федька все Джекины замашки. Впрочем, чему тут удивляться?.. Джек хоть и выглядел взрослым псом, но по характеру, по взглядам на жизнь был совсем еще мальчишка. И не трудно ему было найти общий язык с таким же, как он, развеселым лоботрясом Федей.

Федька бегал за Джеком хвостом, постоянно задирая его — Джек с готовностью затевал свалку, — и ни минуты не проводили они в покое, когда были рядом.

Покуда игры эти проходили в саду, смотреть на это кипение собачьего оптимизма доставляло нам одно лишь удовольствие. Но вот Федька стал увязываться за Джеком на улицу, и мы затревожились. Слишком уж мал и несмышлен он был для таких экспедиций. Федька и сам вначале словно бы чувствовал это. Провожал Джека с Братишкой до какой-то определенной черты, а затем сломя голову мчался назад. Потом — возвращаться стал медленнее, толково исследуя по дороге все, достойное, видимо, исследования. А затем стал пропадать и по полчаса, и по часу, возвращаясь то в одиночку, то в компании со старшими

товарищами... Одно было хорошо: он по-щенячьи боялся темноты и поэтому, когда начинало смеркаться, в дом звать его не составляло труда.

Он врвался в комнаты, как в дом родной, мгновенно, кажется, забывая об улице со всеми ее прелестями. Деловито загонял котенка на диван. В одну секунду дочиста вылизывал все кошкины плоски и падал на пол отдохнуть. Однако тотчас же, увидев неосторожно оставленный среди пола тапок или наполовину обглоданную любимую свою чурку, со вздохом поднимался и принимался за щенячьи свои дела, подзапущенные в связи со светской суетой дворовой жизни.

Киса с неудовольствием и недолго терпела Федыкино равнодушие к своей персоне. Спрыгивала с дивана. Начинала прохаживаться возле Федыкиной физиономии, держась все ближе и все дерзостнее.

Тот воодушевленно грыз замурзанную какую-нибудь стельку и не замечал ее.

Затем Киса принималась забавляться с хвостом собачьим и таки добивалась того, что Федыка наконец отрывался от своих дел и посовывался к ней пастью, злобно якобы ощеренной. Кисе только того и надо было.

В буйном, восторженном испуге уносила она куда-нибудь под диван, чтобы сию же секунду высунуться снова и снова приняться следить за возлюбленным своим недругом.

Федыка продолжал заниматься, но глаза уже покашивал в сторону Кисы.

И тогда — выгнувшись неимоверной дугой, распушившись и вознеся к потолку напоминающий столб дыма хвост, Киса опять выскакивала из укрытия!

Боком, гарцуя, подлетала к лежащему Федыке и, стукнув его игрушечной своей лапкой, тут же снова улепетывала в засаду.

Федыка поднимался. С придурковатым видом совал нос под диван, сопел. Снова ложился. И тут Киса вновь налетала — с другой теперь стороны. И так повторялось множество раз.

Потом Киса позволяла себя поймать, и Федыка начинал притворно сердито терзать ее. Сонно, но словно бы и смакуя, прикрывал глаза, для удобства обнимал ее лапами.

Он беззлобно и лениво жамкал ее — иной раз даже голову целиком забирал в пасть! — а Киса только урчала, явно услаждаясь этими звериными ласками... Впрочем, время от

времени она для этикету стукала Федьку по носу. Дескать, знай, мужлан, рамки-мерки! Но коготочки, заметьте, не выпускала.

На улице было уже далеко не тепло. И мы, новоиспеченные пейзане, с большим рвением, по два-три раза на дню, надо или не надо, топили.

Нам нравилось, как горит в печи огонь. Нравилось незнакомое, ужасно приятное и, должно быть, очень древнее чувство защищенности, спасенности, которое рождалось в нас при виде живого огня.

В комнатах у нас всю зиму было двадцать шесть — двадцать восемь градусов. До какой температуры раскалялась печь, не знаю, но однажды у нас даже запалился, как под утюгом, пододеяльник на постели, близко придвинутой к печной стене.

Киса нас поражала. Она всегда норовила улечься поближе к теплу, как бы жарко ни было. Однако случалось, что и она не выдерживала: в полуобмороке сползала на пол охолонуться и — становилась на это время любимейшей Федькиной игрушкой.

Он таскал ее в эти минуты по полу, как тряпку (очень бережно, правда, держа зубами за тощую Кисину шкурку), заволакивал под диван и будто бы забывал ее там на время. Снова вытаскивал, клал в самые неподобающие места: в грудку дров, например, или на журнальный столик, или в блюдце, из которого в обычное время Киса пила свое молоко... Он, кажется, воображал ее какой-то своей добычей, что ли? А ей — ей, несомненно, доставляло удовольствие воображать себя именно добычей какого-то жуткого зверя, не Федечки, конечно...

Вскоре на ночь мы стали отправлять их на террасу.

Во-первых, Федьке было безусловно вредно спать в такой жаре. Во-вторых, как сказано, он упорно забывал проситься на двор. Ну а в-третьих, Киса поимела обыкновение затевать свои шумные игры с бумажками и щепками непременно среди ночи, а на рассвете спать укладывалась нигде, кроме как на драгоценном животе моей супруги — оглушительно к тому же треща-мурлыкая при этом.

Но им прекрасно было и на террасе, вдвоем.

Среди ночи я выходил к ним, Федька, спавший на кушетке, тотчас поднимал голову и принимался преданно, хоть и лениво, постукивать хвостом. Мгновением позже где-то под брюхом его зажигались два зелененьких кошачьих огонечка, и тоже приветственное, безмерно довольное, начинало звучать мурчание Кисы.

Вот так они жили, Федька с Кисой. Как кошка с собакой.

А Нефертя, Кисина мамаша, между прочим, еще раз навес-тила нас, уже среди зимы.

У меня создалось впечатление, что это было нечто вроде инспекторской проверки. Все ли, дескать, необходимые условия созданы для жизни и произрастания ее ненаглядных деточек?.. И мы, вспоминая, с интонациями прямо-таки извинительными объясняли ей, что серенький котенок пропал, а куда пропал, не ведаем, и нашей вины в том, честное благородное слово! — нет.

Вряд ли, однако, Нефертей руководили материнские чувства. Кису, изрядно подросшую к тому времени, она явно восприни-мала как незнакомую кошку-подростка. Они даже коротенько и свирепо сцепились возле миски, когда Киса, забыв о суборди-нации, сунулась туда первой.

Нефертью мы заманили в дом и не выпускали до утра. У нас тогда завелась мышь, которую Киса то ли по малолетству, то ли по лености ловить отказывалась. Нефертя нам мышку среди ночи изловила, утром ушла, и больше я ее никогда не видел и что с ней — не знаю.

* * *

В начале декабря лег, наконец, настоящий снег.

Он и до этого выпадал несколько раз и несколько раз довольно изрядно — приходилось даже расчищать дорожки в саду. Но тому снегу у нас почему-то не было веры. И в самом деле, полежав с полдня, он уходил в землю. Бесследно. Назавтра даже странно было вспоминать о нем.

Но этому снегу, декабрьскому, мы поверили сразу.

И со странно одинаковой улыбкой — полурадостной, полу-тревожной — сказали друг другу: «Все! Зима!»

Мы, признаться, побаивались ее. Не уверены были, как выдержит наш дощатый домик, как выдержим мы все эти трескучие морозы, завывающие метели и прочее.

Зима, однако, повела себя первоначально удивительно мирно и скромно. Словно успокоить норвила: «Зря вас пугали мною, горожане калориферные!»

Дня два-три с серенького, совсем низко опустившегося неба шустро, словно бы даже торопясь, сыпал снежок — невзрачный,

деловитый, мелкий. Он быстренько и умело преобразил все окружающее на потребу новым зимним веяниям: понастроил башенок, карнизиков, бордюрчиков. Все, что можно, оконтурил белым. Цвета, кое-где еще жившие, придушил, а сверху припудрил...

И вот черно-серый, мрачноватый графический мир воцарился вокруг нас.

Мы приуныли.

Странное, тягостное было чувство — будто глазам душно.

Зима, впрочем, и вправду не имела, кажется, намерения отравлять нам жизнь. Сжалилась. Ободрила через денек-другой. Устроила праздничек.

Однажды утром вдруг ударила легким морозцем, от которого тотчас: заскрипел под ногами снег — весело! запели ступени на крыльце — звонко! завизжали половицы на террасе — по воскресному бодро!

Разогнала с небес хмарь. А потом так ударила по картине — косо ударила, мастерски! — солнечным светом, что снег в единую секунду вдохновенно воссиял, засинели глубокие тени, небо сделалось — акварельно-голубым... Мы глянули — и дружно ахнули: «Ах, красота-то какая!»

...Ну и, конечно же, принялись на разные лады повторять: «Мороз и солнце. День чудесный...»

Какое ободряющее наслаждение было повторять Пушкиным расставленные слова!

Для нас-то главное чудо в этих стихах было вот где:

*Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит наполненная печь... —*

и, ей-богу, нам уже не так страшна была предстоящая зима!

— А знаешь? — сказал я жене. — Не велеть ли в санки кобылку бурую запречь?

— Велеть, — согласилась она. — И посетим поля пустые, леса, недавно столь густые... — и вздохнула грустно.

Нам все-таки было жаль ушедшей осени.

Как было жаль осенью ушедшего лета.

Как будет, наверное, весной грустно — оттого, что зима прошла.

Итак, выпал снег. Тысячи следов запестрели в поселке.

Беспомощно и растерянно взирали мы на эти письма. Кроме собачьих, все следы были незнакомые.

До чего же, Господи Боже, безграмотны мы были, горожане несчастные! Даже стыдно иной раз становилось, честное слово!

Спасибо, что нашлись в сарае старенькие номера детского журнальчика «Юный натуралист» с картинками. По этому букварю мы стали учиться. Довольно скоро уже уверенно отличали кошачьи, например, следы от лосиных.

Вообще, ужасно мучительна была эта наша городская слепоглухота! Слышим летом в лесу чей-нибудь потешный, затейливо выводящий сложнейшую фиоритуру голосок. «Кто это?» — с улыбкой спрашиваем друг у друга. «Птичка...» — с грустным стыдом отвечаем друг другу.

Один из писателей удивительно сказал, что человека от всего другого сущего на земле отличает, может быть, единственно это в первую очередь: стремление, необходимость, жажда давать имена окружающим его вещам. Он же совершенно гениально заметил, что человека втрое больше мучает вещь, названия которой он не знает.

В самом деле... Ну какой мне, казалось бы, прок от того, что я буду знать имя вот этой изящной птички, хлопчущей под окном над кистью рябины? Не знаю.

Но я знаю, что, когда, почти нечаянно, я вспомню: «Свиристель!» — и словно это перестанет вдруг быть просто слогосочетанием, гениально кем-то придуманным (тут вам и «свист», тут и «свирель», тут вам и «трель»), а станет именем вот именно этой птички, чье одеяние, выдержанное в благороднейших серо-ореховых тонах, столь живописно точно украшено двумя очень сдержанными цветными ударами кисти — синим и красным, — на чьей головке так неожиданно и экстравагантно, дерзко и весело торчит хохолок, словно бы рифмующийся с тонко оттянутым клювиком ее, — когда «свиристель» станет именем вот этой и никакой другой птички, я знаю, мне станет почему-то легче жить на свете. Почему-то радостнее жить и веселее.

Видимо, в такие мгновения я становлюсь менее чужд окружающему меня миру. А я, видимо, — сам того не сознавая, — от этого отчуждения очень и очень страдаю.

Первыми мы научились отличать заячьи следы.

То ли в тот год было какое-то заячье нашествие, то ли теперь

для Подмосковья это обычное дело (тогда честь и хвала охотохозяйствам!), но только зайцев в ту зиму мы навидались вдоволь. Не меньше, осмелюсь сравнить, чем современный ребенок, регулярно глядящий мультфильмы. По поселку они прыгали даже среди белого дня.

Вот уж раздолье стало для Джека!

Когда мы выходили погулять по поселку, его страдальческий, словно из-под пытки, визг-стон доносился до нас беспрестанно — то слева, то справа, то со всех, казалось, сторон одновременно.

Он вылетал к нам из-под какого-нибудь забора — едва живой, мучительно взбудораженный безрезультатным гоном, но, судя по морде, всегда донельзя счастливый. Да, это было е г о д е л о!

Убедившись, что с нами все в порядке, что мы по-прежнему продолжаем наше довольно величавое, церемониальное, я бы сказал, шествие по аллее, Джек торопливо исчезал снова. И снова раздавался его индейский вопль.

Братишка с ним редко бегал. Я с лета заметил, что он с некоторой даже иронией относится к охотничьим талантам своего брата. Но однажды Джек не только нас озадачил, но, похоже, и Братишку немало поразил, а случилось это так...

Джек, как обычно, гонял по окрестным садам зайца, а мы, как обычно, потихонечку себе гуляли. На визги Джека не обращали уже никакого внимания, но вдруг — будто по команде — враз остановились!

Какая-то новая, ликующая нота зазвучала в голосе Джека: он явно догонял! Он, слышали мы, вот-вот должен был схватить за хвост свою сладостно ненавидимую добычу!

Все произошло у нас на глазах.

Заяц выскочил из-под забора и вовсе даже не испуганно, скорее просто деловито, помчал через пустырь.

Джек отставал от него на два скачка.

Заяц мчался напрямик к лесу. Лес был за пустырем, за крайними дачами. Дачи были поставлены недавно и, естественно, что дорогу зайцу преграждали заборы — совершенно новехонькие, лишь этой осенью построенные. Никаких лазеек в них быть не могло — ни для зайцев, ни для собак. Разве что — для кошек, да и то для не шибко кормленных... Заяц, таким образом, был обречен.

Он, видимо, и сам почуял неладное. Еще издали, в беге,

сделал пару-другую поисковых движений вправо-влево, выискивая подходящую щель между штакетинами.

Удивительно, как во всем полотне забора он сумел-таки заметить две доски, прибитые (я потом ради интереса измерил) на расстоянии одиннадцати сантиметров друг от друга, а не десяти, как везде.

С треском вломился он именно между ними. Со стороны показалось, что в отчаянии он шархнулся напрямик в забор.

Как ни странно, он головой и грудью не застрял. Застрял задом. Но все же успел — отчаянным виляющим движением — высвободиться, прежде чем схватит собака! Молодцом оказался заяц.

Однако самое невероятное, самое непостижимое и фантастическое произошло дальше.

Джек — не замешкавшись даже на миллионную долю мгновения ока — с треском, от которого качнулся весь забор целиком, — т о ж е п р о с к о ч и л!

Мы ахнули. Сначала — от ужаса. Он непременно должен был расшибиться. Потом ахнули — от изумления.

Ну не мог он этого совершить, товарищи дорогие! Ну никак не мог!

Щель была в одиннадцать сантиметров, как сказано. Когда Братишка сунулся следом за Джеком, он едва только морду — до глаз — сумел в эту щель просунуть. А Джек — проскочил!

Ни тогда, ни сейчас я не могу объяснить себе, даже предположить не могу, к а к он умудрился это совершить.

Между прочим, зайца он и в тот раз не поймал.

Через пару-другую минут уже оживленно крутился возле нас, остолбенело взирающих на щель в заборе.

Я взял его со спины под лапы, подтащил.

— Ну, покажи, балбес! Как ты это сделал?

Он вырвался. Понюхал забор. Отошел с таким видом, словно хотел сказать: «Нашли дурака! Сами лезьте, если охота есть...»

Когда первый снег лег, Закидуха вот уже недели три как маялся в ожоговой больнице. К этому времени собаки хозяевами уже окончательно признали нас.

После исчезновения Роберта Ивановича они дней десять исправно забегали в его сад. Не сказать, что очень уж тревожились, — скорее, удивлялись... Ночевать, замечу, непременно уходили в закидухинские опилки.

Было похоже, что собаки дали себе какой-то определенный срок, в течение которого будут преданно ждать хозяина. Наконец срок минул — дней, как сказано, через десять, — и они мгновенно, напрочь выкинули из своей памяти светлый образ Закидухи.

Теперь, пробегая мимо закидухинского сада, они показывали удивительное и даже, кажется, подчеркнутое равнодушие к месту, где прошло их мохноное детство, где совсем недавно еще функционировал их обожаемый владыка, где там и сям еще можно было сыскать, если покопаться, не вовсе догрызенные кости времен их счастливого отрочества.

Ночевать в тот вечер они дружно явились к нам на крыльцо.

Спалось им неважно. Да и нам — тоже. Всю ночь они гремели дверью, привалившись к которой спали. Гавкали почему зря. Гоняли по зазеленелой земле пустые миски. А на рассвете затеяли по всему саду веселенькую игру с моими штанами, которые кто-то из них (Джек, конечно, кому же еще?) сдернул с веревки.

Было ясно, что оставлять их на крыльце нельзя. Да и холодно там было, ветрено.

Я стал устраивать им жилище под крыльцом.

Заколотил дыры, чтобы не гулял ветер. Убрал битое стекло, банки из-под краски, прочий хлам. Получилась изрядная по величине каморка с выходом под лестницу. Принес несколько охапок сена — сделалось и вовсе уютно, тепло, хорошо.

Чтобы самолично проверить новые условия их жизни, я тоже забрался к собакам.

Они пустили меня и, словно бы понимая юмор ситуации, заулыбались во весь рот. Я лег, и они легли. Один с одной стороны, другой — с другой.

Жена еле дозвалась меня из-под крыльца.

Я лежал там, упиваясь запахом сена, совершенно восхитительным среди зимы, и вспоминал, как в детстве, обиженный родителями, ушел из дома и ночь провел с незабвенным псом моим — Челкашом, в его будке.

Челкаш, помню, совсем не удивился моему появлению. Лизнул в щеку, дал место. И всю ночь грел меня, обнимая лапой и тяжело приваливаясь ко мне всем теплом. И ни разу даже не залаял во всю ночь.

А я... — а мне так славно, так легко спалось под его доброй защитой, как не спалось, мне кажется, никогда больше в жизни.

— Если мы, не дай Бог, когда-нибудь поругаемся и я хлопну

дверью, ты теперь знаешь, где меня искать... — сказал я жене, вылезая из-под лестницы.

— Я заведу на всякий случай еще одну миску, не возражаешь? — ответила мне жена.

Собакам их новый дом тоже понравился. Спать они теперь заваливались, едва стемнеет, а утром, лодыри, даже не сразу и вылезали, когда кто-то из нас выходил на крыльцо.

...Вылезали заспанные, выпавшиеся, благоухающие дивным парфюмерным запахом сеновала, довольные.

Долго и лениво потягивались: то вытягиваясь и ложась всем телом на передние лапы, то проседая сладко дрожащим задом — на далеко отставленные задние.

Они жмурились морды на белый свет и улыбались в предвкушении жизни.

А на террасе уже дымились, остывая, до краев налитые миски — собаки знали об этом, еще и поэтому жизнь была светла, проста и прекрасна.

Они — возьму на себя смелость сказать — были счастливы в те дни. Были счастливы и мы. Оттого, что сумели сделать их такими.

К тому времени дворняги наши сделались неопишимо писаными красавцами.

Однажды к нам в сад забежала собака одного из дальних наших соседей — сорвалась с привязи.

Это была рыжеватая молодая сучка — не слишком-то чистопородная, но все же овчарка. Из тех слегка нескладных, слишком долгих в корпусе, узкомордых, желтоглазых овчарок, которых почему-то непременно называют Дианами.

Она, конечно, была крупнее, нежели наши псы, несомненно благороднее происхождением, но — Боже мой! — до чего же жалкое впечатление она производила в соседстве с Джеком и Братишкой!

Вся какая-то чересчур легкая, жидкокостная, с жалобно проступающими сквозь тусклую шерсть ребрами — она была ужасно суетлива, лихорадочно, я бы сказал, рассеянна.

Все рыскала-рыскала по саду в поисках неизвестно чего, и чувствовалось, что она прямо-таки клянет себя за дерзость, в порыве которой порвала цепь и выскочила на волю.

А на миску с похлебкой она набросилась так уж неприлично жадно, что наши псы из деликатности даже отвернулись.

Когда явился хозяин, она хоть и поджала виновато хвост, но сунулась к его ногам с явной радостью и облегчением.

Не знаю, может, это была и хорошая собака. Но это была цепная собака.

Наши ребятки в сравнении с ней выглядели такими молодцами-физкультурниками: сытые на много дней вперед, крепко сбитые, а главное — веселые и уверенные в себе.

Зимой они перестали наконец линять, и шерсть их теперь прямо-таки сияла — вернейший у собак признак здоровья и беспечальной жизни.

Особенно хорош стал Братишка — жемчужно-белый. На солнце шкура его так и брызгала искрами! Недурен был и Джек. Серо-бурая плебейская шуба его, конечно, уступала по красоте Братишкиной, но была зато и гуще и мощнее.

— Ах, хороши собачки! — то и дело слышали мы, когда все вместе выходили в белый свет. — Посмотри, какие красавцы!

Нам было приятно, чего уж скрывать. Но и мы, и собаки делали вид, что это не нас касается.

Так безмятежно упивались мы общественным восхищением довольно долго. Пока не встретился на нашем жизненном пути — а если точнее, у магазина — человек, который в единое мгновение внес в наши ряды панику, смятение и ужас.

Это был обыкновеннейший бич. Из тех самых, что обретаются с утра до вечера возле винных магазинов и уже не вызывают своим привычным видом ни раздражения у окружающих, ни безразличности даже — одну только кислую жалость и досаду на человека.

Вы таких видывали, конечно. Паршивенькое какое-нибудь пальцецо румынское на нем, тощенькое, негреющее. Брючата дудочками, на коленях вспученные, до смешного коротковатенькие. На ногах — «колеса» — развратно стоптанные, расхлябанные, непременно какого-нибудь ярко-халтурного цвета — красного ли, поносно ли желтого, — завязанные, вместо шнурков, бечевкой какой-нибудь, а то и проволокой. Жгутом скрученный ворот почернелой рубахи, шарфа нет, а из воротника — тощая кадыкастая, лиловая, как у оципанного петуха, шея в маленьких белых зернышках...

У них, как правило, плохо запоминающиеся лица: истраченные пьянством, грязно-небритые, и сизый портвейный отсвет словно бы лежит на них.

Он сидел на покосившемся фруктовом ящике и играл с нашими собаками.

Надо бы нам было умилиться, как в старину умилялись: вот, дескать, человек, до последних пределов опустившийся, уже и не человек почти, а вот поди ж ты, играет с собачками. Стало быть, есть еще в нем светлая струя, тронув которую, и т.д. ...

А жена моя — вдруг обомлела от внезапного вешего страха.

— Ты посмотри! — шепнула она в ужасе. — Что он делает!

Он их гладил.

Он их жадно оглаживал, и было что-то непристойное, растленное в том, как он оглаживает их — торопливо, сладко, — как щупает бока, загривки, как, постоянно ликуя, заглядывает в свои ладони, не обнаруживая в них линяющего подшерстка.

— Ах, хороши собачки!

Он повернул к нам лицо, в котором все было нечисто — и кожа, и глаза, и губы, — и улыбнулся, как соучастникам, беззубой улыбкой ласкового гаденьша.

— Какие шапочки получатся! Ваши собачки?

Он видел, что это наши собачки. И наш испуг видел. Потому-то и продолжал цапать, и гладить, и скубать за шкуру то Джека, то Братишку. А они, веселые дурачки, так и вертели вокруг него хвостами!

Особенную гадливость вызывали его озябшие руки. По-бабьи лиловые, они далеко и жалостно высовывались из коротеньких рукавчиков пальтеца, и было противно, что он греет их в шкуре наших собак — эти пухленькие от пьянства, покрытые золотисто-гнойным налетом цыпок руки уже давно не рабочего человека, руки прихлебалы, руки лодыря.

— Вы за ними в оба глядите! — посоветовал он и снова улыбнулся, показав корешки желто-черных выбитых передних зубов. — Народ-то нынче знаете какой? И на шапочку обдерут за милую душу... и на шашлычок переделают — такие уж они у вас жирненькие!.. Ну, иди, иди сюда, шашлычок ты этакий!.. — и он схватил вдруг Джека по-новому, нагло и цепко.

— Тебя — самого — гада — на шашлык!

Жена в испуге схватилась за мой рукав.

— Джек! Братишка!

Собаки без всякого сожаления оставили бича и побежали с нами.

Им, конечно же, невдомек было, о чем шла речь. Но, если бы мы даже и сумели растолковать им смысл нависшей над ними угрозы, они все равно, мне кажется, не поверили бы нам! Они людей — любили.

Мы возвращались в молчании и тревоге. То, что нами было услышано, ощущалось как тошнота, как тягостное в чем-то разочарование, как унылый стыд за весь род человеческий.

Бич не преувеличивал. Угроза собакам была.

Я вспомнил рассказ Роберта Ивановича о том, как погиб Зуев.

Он приполз к порогу дома весь в крови, с простреленным животом. Закидуха вместе с собутыльником, оказавшимся в тот момент в доме, бросился по кровавому следу собаки, потом по следам человека, который стрелял. Схватили. Они даже не отколотили его — решили благородно сдать в милицию. А милиция его отпустила. Свидетелей преступления не было. Да и самого преступления, как оказалось, не было. Убить бродячую собаку не грех. Единственное, за что можно было покарать шкуродера, — за незаконное пользование ружьем. Но и ружья не было (тот успел выкинуть обрез в снег).

Еще вспомнился мужичонка в электричке, который молодецкато рассказывал своей спутнице о том, как в прошлом феврале на день Советской Армии он был приглашен соседями по лестничной площадке — молодыми парнями, братьями — на шашлычок. Как они посидели, выпили-закусили, а потом как братаны с гоготом повели его смотреть на «барашка» — на останки собаки в окровавленной ванне.

«Они думали, конечно, что меня тут же... того... — похвалялся мужичонка женщине. — А я им спокойненько так говорю: — Ну и что?»

И конечно же, опять — с тоской и досадой — вспомнил я четырехлетнюю девчущку, с которой нечаянно познакомился этим летом. Она играла со щенком. Рассказала, что ее зовут Лена, а щенка — Гена, в честь знаменитого крокодила. И еще она сказала, что, когда Гена вырастет, папа (он обещал ей) сделает из Гены красивую шапку.

«Ну как же так можно?! — говорил я девочке. — Смотри, как он тебя любит! Ты ведь ему как мама! Он тебе верит, а ты его — раз, и на шапку!»

А она мне спокойненько так ответила: «Ну и что?..»
Я потом часто и подолгу думал об отце этой девочки.

— ...Руки опускаются! Не могу! — сказала в отчаянии жена, села к столу и заплакала, глядя в окно.

За окном — в сереньких скверненьких сумерках уныло зяб наш поселок. Придавленные слежалым снегом крыши. Заколоченные окна. Серые заборы.

Была середина зимы, самая ее глухая сердцевина: серые дни, серый снег, серое оцепенение.

Дни сменяли дни, а время, казалось, остановилось.

Усилие требовалось, чтобы жить.

Тогда, в январе, мы впервые пожалели себя, живущих так.

Конечно, что-то должно было случиться. Чересчур уж счастливо и тихо нам тут жилось. А мир не любит счастливых (это всякому известно, поскольку всякий, хоть однажды, пытался быть счастливым). И люди вмешались. И кончилась неправдоподобная наша идиллия. И вот жена моя бедная сидела на руинах и горько плакала.

...Продержаться нам нужно было месяца полтора — до весенней линьки. Уже в начале марта, как нам объяснили, собачья шкура становится невыгодной для выделки, и шкуродеры свой охотничий сезон закрывают. Но — как продержаться?

Мы надели на собак ошейники. Какой-никакой, а все же знак: собака не бродячая, живет при хозяевах, не трожь...

Наивно было полагать, что кусок ремня на шее собаки остановит убийцу. Все же мы во что-то верили.

«Он же видит, что у собаки — хозяева! — горячо рассуждала жена. — Неужели он сможет?! Человек он или кто?!»

Вот именно: «...или кто...»

В магазин я стал теперь ходить один. Жена начинала кормить псов, а я в это время, воровски озираясь, спешил на станцию. Быстренько покупал хлеба, молока, еще что-нибудь и с чувством облегчения, с чувством человека, которого миновала погоня, бежал домой.

Я попытался заделать дыры в заборе. Провозился целый день — заколачивал досками, заматывал проволокой. Собаки вертелись вокруг меня и откровенно веселились. Когда им приспела необходимость побегать на улице, они мгновенно на улице оказались. Правда, замечу, что из уважения к моим плотничьим прилежаниям они ни в одном месте не разрушили

возведенные мной препоны — новые лазейки проделали в метре, в полуметре от старых.

Одно, хоть и немного, приглушало нашу тревогу. Собаки вели себя безмятежно. Будто были абсолютно уверены, что им-то лично ничегошеньки не грозит.

«Слушай, может, мы просто вообразили все эти шкуродерские страсти-мордасти? — говорили мы иногда друг другу. — Если бы опасность реально существовала, они бы ее почувствовали. А если бы сами не почувствовали, то другие собаки непременно сообщили бы им о ней. Собачий-то телеграф должен работать. Вон, в Москве возле метро «Водный стадион» живет себе поживает собачья компания — голов в шесть, кормится бутербродами, которые приносят рабочие близлежащего завода, днюют и ночуют на люках теплоцентрали, здесь же воспитывают щенков, здесь же играют свадьбы... И только два-три раза в году куда-то на неделю-другую пропадают. Именно на ту самую неделю-другую, когда появляется в этом районе «чумовоз» с синим крестом и начинается облава на беспризорных собак и кошек...»

Разумеется, мы могли это просто вообразить — что нашим собакам что-то угрожает... Но разве воображаемой была та шеренга торговцев шапками, которая каждую субботу — воскресенье выстраивалась у ворот рынка в соседнем райцентре?

Да, наши собаки вели себя безмятежно. Да и среди остального дворняжьего населения никакого беспокойства не было видно.

Может, все они были фаталистами? Как мы, люди? Фаталистами поневоле?

Мы ведь тоже уже не беснуемся в ужасе, не бежим куда глаза глядят — от той опасности, которая вседневно висит над нашими головами не одно уже десятилетие? Живем ведь... Дышим, влюбляемся, зарабатываем деньги, заводим детей. И конечно же, это — единственное и самое мудрое, что мы в силах реально противопоставить грозящей нам смерти — свою жизнь.

И вот настал день, когда жена вернулась из магазина в страшном волнении. Из разговора двух тетушек в очереди она поняла, что в поселке уже исчезают собаки. Своего пса одна из тетушек посадила на цепь, что настоятельно советовала сделать и своей подруге. Тем более что на днях, как она сказала, придут из райцентра охотники и будет отстрел. Конец месяца, санэпи-

демстанция (или кто там этим занимается) выполняет план, стрелять, стало быть, будут направо и налево.

Паника воцарилась в наших рядах.

Особенно зловеще и убедительно звучали слова «конец месяца...план...»

В конце месяца за ради плана в нашем сельпо даже цейлонский чай выбрасывали! Можно ли было сомневаться, что в таких же обстоятельствах санэпидемстанция не перестреляет, если надо, все живое, бегающее на четырех ногах по улицам поселка?

Я разыскал в сарае цепи. Они были противны даже на ощупь — в рыжей мокрой ржавчине, прилипающей к рукам.

...Я приколачивал цепи к крыльцу — огромными двенадцатидюймовыми гвоздями — и вдруг заметил: никак не могу совладеть с гримасой брезгливости на лице.

— Вы уж простите меня, ребяташки! — сказал я псам, пристегивая цепи. — Это ненадолго. Для вашей же пользы. Сами будете потом кланяться и благодарить.

Собаки никак не протестовали. С грустным любопытством обнюхали оковы. Джек, конечно, пару раз дернулся — к вороне, которая быстро сообразив, что происходит, слетела с яблони и начала расхаживать под носом у собак, явно издеваясь и злорадствуя.

Убедившись, что цепи крепки, Джек маленько поскулил, но, поскольку дело было к вечеру, полез под крыльцо.

Братишка забрался туда сразу. Может, для того, чтобы обдумать новую жизненную ситуацию. А может, — просто решил с присущим ему философизмом, что утро вечера мудренее.

У наутро жена разбудила меня чуть не плача.

— Скорее! Посмотри, что с ними! По-моему, они мертвые!

...Они действительно лежали, как два трупа. Мордой обратившись к морде друг друга. И уже — едва дышали. Как они умудрились так перепутаться цепями, ума не приложу. Они чуть не задушили друг друга.

Лежали, мертвецки измученные, и были такие незнакомо-грустно-покорные, что я чуть не пустил слезу, ей-богу, когда осовождал их от оков.

Федька крутился рядом. Обнюхивал то одного, то другого собрата. Был растерян, взволнован и преисполнен самого искреннего, хоть и бестолкового участия. Вдруг сорвался и сломя голову помчался на соседний участок, где он недавно обнаружил под

снегом залежи восхитительного коровяка, и вскоре примчался назад, неся огромную мерзлую лепеху. С ложной скромностью положил ее перед собаками. И очень, кажется, был поражен равнодушием, с каким отнеслись они к этому царскому, без сомнения, подарку.

Что там Федькина лепеха! Они и похлебку-то в то утро ели еле-еле. Нет, конечно, вычистили миску до обычного блеска, но — скучно хлебали, без энтузиазма, без азарта.

Они поели, и я снова посадил их на цепь.

«Пусть считают меня каким угодно негодяем, вивисектором и садистом! Пусть после этого даже лапы мне не подадут (все равно не умеют)! Пусть обегают наш дом стороной! Но я свершу этот подвиг жестокости! Они отсидят у меня, как мыленькие, ровно столько, сколько нужно для их же безопасности!» — так твердил я сам себе. Твердил тем более горячо и убежденно, что, когда они понуро хлебали свой завтрак, я отчетливо услышал: на дальнем конце поселка у д а р и л в ы с т р е л.

Я пошел искать стрелявших. (жене сказал, что — за сигаретами.) Не знаю, что я хотел. Я взял с собой, помню, деньги.

Хотел напоить, что ли, до поросычьего визга этих охотников за скальпами? А потом — показать им Джека с Братишкой и попросить не трогать? Не знаю. Может быть.

Сейчас мне кажется, что больше всего мне хотелось единственного — увидеть их в лицо наконец!

Невыносима, тягостна была опасность — именно безликая! Она была, она бродила где-то вокруг нас, эта опасность, мы чувствовали — а увидеть воочию не могли!

Но я никого не нашел. И выстрелов больше не было. А когда я вернулся, Джек с Братишкой снова валялись у крыльца, полузадушенные и смирные, Джек, вокруг шеи которого цепь захлестнулась петлей, уже хрипел...

Я снова терпеливо разобрался в их кандалах. Устало объяснил Джеку, что сидение на цепи — дело ответственное и серьезное, несовместимое с прыжками и ужимками вольной жизни, к которой он, обалдуй, привык.

Затем снова пристегнул цепи.

Интересно они вели себя. О н и н е д е р ж а л и н а м е н я о б и д ы!

Братишка даже, успокоительно этак, лизнул мне руку. Дескать, не журись, хозяин, понимаем... Хотя, конечно же,

ничегошеньки они не понимали. В одном, пожалуй, были уверены: то, что делается, делается не во зло им. И потому терпели.

Ужасно трогательны были и вера эта, и терпение это.

Но, конечно, они не могли не впасть в уныние. К вечеру производили впечатление больных: вялые, замусоренные сеном, с грустными глазами...

У них даже носы стали горячими.

К мискам вылезли лениво. Поели и, не глядя по сторонам, с каторжной повадкой в движениях снова полезли в конуру.

Среди ночи я несколько раз выходил к ним. Мне все чудилось, что они опять перепутались цепями, передушили друг друга.

Ко мне они даже не вылезли. Лениво шуршали хвостами по сену. Смотрели из полутьмы своего убежища — как из печального большого далека.

Если это продлится еще день-два, мы собак погубим. Это было мне ясно. Жизнь, может быть, мы им и сохраним, но душу искалечим. Будь что будет! Но долее терпеть эту муку невозможно — ни нам, ни им.

И на следующее утро я вышел к собакам с манифестом об освобождении.

Откуда, интересно, мог знать Федька о моих намерениях? Он словно бы слегка рехнулся в то утро. Носился кругами возле меня. То и дело благодарно бодал мне ноги. Даже руку ухитрился лизнуть. Всем своим видом он будто бы говорил мне: «Какой ты благородный, какой добрый, какой чуткий и собаколюбивый, мой хозяин! Ты — вот уж истинно! — человек с большой буквы «Ч»! Мы тебя любим!»

А я ведь, между прочим, еще и слова не произнес.

Несколько оживились и Джек с Братишкой. Вылезли на волю. Даже попытались отряхнуться от сена, густо запорошившего их шкуры. Сели. Стали внимать.

— Ребятки! — сказал я. — Я пришел дать вам волю. Ура, товарищи! Я, как и всякий человек, — эгоист. И у меня всего лишь два сердца — мое и моей любимой жены. И оба этих сердца разрываются при виде ваших страданий. Поэтому я и пришел дать вам волю.

Я прошу вас простить меня покорно за некоторое надругательство над вами. Никто не давал мне права сажать вас на цепь.

(А если бы кто-то и дал, то ему самому надо было бы дать — по шее, ибо — запомните, друзья мои! — никто никогда никого не имеет права сажать на цепь!) Ура, товарищи!

У меня, разумеется, готово оправдание: я посадил вас на цепь, дабы сберечь вам жизнь. Но вы, дорогие друзья, помогли мне вспомнить одну маленькую, но важную истину: не всякая жизнь есть Жизнь. Настоящую жизнь нельзя купить ценой унижения. Потому-то я и пришел дать вам волю. Потому-то еще разочек: ура, товарищи!

Живите отныне как жили. Но, убедительная просьба, любите, как и прежде, людей! Даже зная, что кто-то из них охотится нынче за вашей единственной и потому особенно драгоценной шубой. Людей, братцы мои, н а д о л ю б и т ь. Потому что, если их, горемычных, перестанут любить даже собаки, произойдет катастрофа.

Сейчас участникам и гостям нашего торжественного митинга будет подан горячий товарищеский завтрак, так что в ваших же интересах, балбесы, не разбежаться после церемонии снятия оков, а сидеть смирно и ждать, поскольку миски уже остывают. На этом позвольте мне закончить, обожаемые товарищи,— ура! и — спасибо за внимание!

Речь моя, замечу без ложной скромности, была выслушана с огромнейшим вниманием. Даже Федька безотрывно смотрел мне в рот. Мне потом и жена говорила (она подслушивала): ничего себе получилась речь, доходчивая.

Я щелкнул карабинами цепей. Оковы пали. И, честное слово, Братишка в этот момент улыбнулся! Успокоенно этак улыбнулся, будто все это время тяжело и скрыто беспокоился — за меня.

Они тут же отпраздновали обретение свободы бешено-веселой гонкой по всему саду. Братишка гнался за Джеком. Джек гнался за Братишкой. Кто за кем гонится, понять было невозможно. А сзади, ни за кем не поспевая, с головой уха в снег, но тоже ликуя, восторженно размахивая тряпичными своими ушами, неся Федька.

Все были счастливы.

В этот день, кажется, и в природе что-то неуловимо, на самую крохотную малость сдвинулось.

Чутьочку посветлело вроде бы. Небо немного повыше стало. Чуть белее сделался снег.

Не объяснить почему, мы одновременно вдруг почувствова-

ли: зима миновала мертвую точку. Дело пошло к весне.

О, конечно! — это было всего-навсего еще только слово «весна», — настолько далекой, настолько невысказанной она нам казалась тогда среди омертвевших, заскорузлых, грузно возлежащих огромных снегов, под теми безнадежно-заунывно-серыми небесами.

Но — дело пошло! Самое страшное и гнетущее, что есть в зиме — недвижность, — кончилось. Мы услышали это, как погибающий от удущья слышит ничтожнейший, только ему одному слышимый ветерок. Да и какой там ветерок?! — колебание некое, намек на дуновение... Но мы и это услышали.

* * *

В поселке было тихо. Ни людей, ни выстрелов. Но вот по ночам стало трудно спать. Собаки лаяли беспрестанно, очень тревожно, бессильно и злобно.

Долго не могли мы понять, в чем дело, пока однажды утром не заметили на свежем снегу незнакомые нам следы.

Это были, как засвидетельствовал «Юный натуралист», лоси.

Судя по следам, они ничего не боялись. Выходили даже к железнодорожному полотну.

Похоже, что в поселок их влекло одно только любопытство, но отнюдь не голод: один-единственный раз мы заметили обглоданную кору на ольховых деревьях.

Поразительно было их умение избегать встречи с человеком. Я, заслышав среди ночи лай собак, не один раз выходил, шел по свеженьким лосиным следам. Слышал (казалось, совсем вблизи) их треск. Крупная картечь помета попадалась мне на дороге, еще дымящаяся. Но самих лосей — так ни разу и не увидел тогда. Лишь месяца через полтора он нам явился.

Явился сам. Среди бела дня подошел почти вплотную к забору.

Мы взирали на него с почтительным восхищением.

Какое все-таки ни с чем не сравнимое, благородное удовольствие — видеть зверя на воле!

Он был величав. Он был спокоен

Он казался гораздо более высоким — более вознесенным, я бы сказал, — чем мы его себе представляли. Тело его и голова (в

профиль похожая на голову режиссера Товстоногова) покоились на сухих непомерно длинных ногах-ходулях — на двухметровой, не меньше, высоте!

Он смотрел на нас без удивления и без страха.

Я вынес ему кусок батона. Он подпустил меня шагов на десять. Затем развернулся и не слишком поспешно побежал прочь. Удалился, надо бы сказать, — как-то так довольно смешно раскачивая палевый зад, что на память сразу же пришло сравнение с бегущей дамой в кринолине.

Итак, в поселке было тихо.

Нам даже стыдно было вспоминать о той панике, в которую мы столь дружно ударились, неведь какие ужасы нагородив в воображении друг друга.

Собаки веселились. Все же большую часть дня они проводили теперь невдалеке от дома. Может, некуда было бегать. А может, вняли нашим предостережениям.

Однажды к нам в сад завернула собачья свадебная кавалькада. Станным образом ее появление успокоило нас больше всего. Все, стало быть, идет своим чередом, рассудили мы. Вряд ли им было бы до любовных игр, если бы за ними гонялись шкуродеры...

Главная героиня процессии — кривоногенькая косопузая сучонка, белое с черным, без труда нырнула под нашу калитку и, ни капли не робея, направилась к крыльцу, где белели миски и из-под которого, страшно оживленные, тут же начали вылезать наши кавалеры.

Сопровождающие красавицу лица, невелики росточком, тоже нырнули под калитку, приблизились к крыльцу, но вели себя боязливее.

Джек с Братишкой устроили возле сучки вдохновенный хоровод. Сладостно сопели, внимая запахам. Наперебой лезли знакомиться, отталкивая друг друга.

Кривоногая была царственно равнодушна. Впрочем, она, судя по виду, не имела ничего против, если и эти два красавчика присоединятся к ее свите.

Может быть, она каким-то образом дала им знать об этом. Может быть, как-то чересчур уж обещающе улыбнулась, не знаю, но только в этот самый миг мы услышали вдруг от калитки страшную ругань, возмущенный хрип и треск.

Там в припадке ревности неистовствовал герой-любовник.

Огромный лохматый дворняга (если бы он был наш, мы назвали бы его Бармалеем, и никак иначе) — он, как ни старался, никак не мог протиснуться в дыру под калиткой.

Бедолага! Он изворачивался и так и этак. Пытался проползти на боку. Пытался копать. А в это время — у него на глазах! — косопузая бестия флиртовала с двумя балованными красавчиками, кокетничала, коварная, и явно обещала им то, что принадлежало в первую очередь только ему!

Негодование его было страшно. И когда оно достигло всех мыслимых и немыслимых пределов, он совершил вот что... Он стал, один за другим, выламывать снизу брусья, из которых сколочена была калитка! Мощные, 70-миллиметровые бруссы он обхватывал бешено ощеренной пастью, дергал и — ломал, словно это были тощенькие карандаши!

Он выломал все восемь брусьев понизу калитки (хотя вполне хватило бы и трех, чтобы пролезть), ворвался, как справедливое возмездие, готовый разнести в пух и прах все и всех на пути к своему личному счастью!

Разносить, впрочем, некого было.

Собачья мелкота послушно брызнула по сторонам. А сучка вполне преданно вильнула ему навстречу хвостом. Дескать, все в порядке, мой милый, не кипятись.

Наши братья, хоть плечом к плечу и отступили к лестнице, готовые к драке, но тоже глядели на Бармалея красноречиво: «Мы — чего? Мы — ничего... Нешто не понимаем, кто — первый, а кто — второй?..»

Черно-белая красotka еще раз рассеянно обнюхала миски и потрусилась на улицу. Все остальные — за ней.

И Джек с Братишкой — тоже.

А когда они все были уже на улице, между ног у нас выскочил Федька и припустил следом с видом страшно опаздывающего куда-то человека.

И больше мы его не видели. Никогда.

Ужасная, непростительная наша вина, — что не бросились тотчас за ним, не зазвали в дом, не почували опасности. Так ведь знать бы, где упадешь, там соломки подстелил.

В последние недели-две он гулял у нас почти свободно. То ли Джек с Братишкой прогоняли его от себя, то ли дела старших

стали для Федыки малоинтересны, не знаю, но в последнее время он за ними почти не бегал.

Единственно, куда он отлучался из сада, — на соседний участок, где целыми днями копался в обнаруженной им куче коровьего навоза, ведя там раскопки вдохновенно, с кладоискательским прямо-таки азартом и терпением.

Он заметно подрос у нас, но не настолько, чтобы представлять интерес для шкуродеров. Из него разве что варежка получилась бы. Ну, может, полторы.

Мы хватились Федыки в середине дня, когда после неудачного свадебного путешествия вернулись Джек с Братишкой.

Бармалей оказался, видать, ретроградом и не оставил никаких надежд нашим донжуанам попользоваться симпатиями его косопузой избранницы.

Они, впрочем, не очень-то переживали. Бодро поели. Затеяли воню с обрывком резинового шланга. А Федыки все не было.

Мы растерялись.

Мы ждали какой-нибудь беды с собаками. Почти уверены были, что беда придет. Но как-то ни разу не связывали ее — с Федыкой. «Уж его-то (может быть, единственного) убереем...» — так мы думали.

И вот именно Федыка пропал.

«Прибежит! — говорили мы друг другу чересчур бодро. — Куда он денется?»

На наше несчастье, пошел снег. Чем гуще он валил, тем меньше оставалось надежд, что заблудившийся Федыка сможет найти дорогу домой по собственным следам.

Мы отправились искать его. До темноты ходили по улицам, окликая его и высвистывая.

Домой возвращались торопясь, — почти уверенные, что навстречу бросится с крыльца наш мохнатый толстячок, примется бодать в ноги, потешно подскакивать и словно бы вопрошать с укоризной: «Куда ж вы подевались? Я прибежал, а никого нету. Дверь закрыта...»

Но никто не бросился нам навстречу с крыльца.

Тяжелый был вечер, тяжелая ночь. Будто покойник в доме.

То и дело выходили на крыльцо. Слушали, всматривались в темноту. С каждым часом все яснее становилось: мы Федыку потеряли.

Собачья свадьба, наверное, закатилась куда-нибудь на самый

дальний край поселка. Может быть, даже за железную дорогу. Ну а там — или Федьке самому надоело, или его пугнули взрослые псы, когда он сдуру сунулся к невесте, — он от кавалькады отстал.

Случилось это, наверное, светлым еще днем. Поэтому-то Федька и не бросился домой сразу, а решил, по своему обыкновению, еще побродить маленько... А когда стало смеркаться, на земле уже лежал новый снег, следы запорошило, и где искать свой дом, Федька определить уже не смог.

«Утром пойдем по домам!» — решили мы. Федька наверняка должен был прибиться к жилью. Он ведь не привык без людей.

На следующий день мы обошли все дома, где зимовали люди. Это оказалось совсем не трудно. Таких домов всего-то было — восемь.

Еще в нескольких дачах топились печи, были протоптаны дорожки, у заборов стояли машины. Но это были не зимники, а любители выпить в выходной день на свежем воздухе.

И тут Федьки не было. И тут никто Федьку не видел.

Мы по-прежнему отказывались думать, что Федька попал к шкуродерам. Менее других нас ранила такая версия Федькиного исчезновения: заблудился, прибился к дому, где веселилась какая-нибудь городская компания, а в воскресенье утром, когда горожане рассаживались по машинам, чтобы ехать домой, кто-нибудь из них спьяну позвал Федьку с собой. А он, дуралей, конечно же, пошел...

Такая картина мучала нас, повторяю, меньше других. И мы сделали вид, что верим в нее. И пусть все было именно так!

Но мы еще очень долго, вопреки всякому здравому смыслу, ждали его.

Больно мне было глядеть на жену. Она больше всех любила Федьку. Наверное, потому, что он был совсем еще ребенок. А она — через полтора месяца — должна была стать матерью.

Она много плакала по Федьке. Джека с Братишкой то всерьез попрекала: «Где Федька? Где вы его потеряли?» — то гладила по головам и просила: «Вы-то хоть, дурачки, будьте поосторожнее!»

Мы оборонились от нашей прежней жизни в этом глухом поселке еще и потому, что очень хотели оберечь наше еще неродившееся дитя от нервозности, бестолочи, злой суеты Города. Они, как зараза, неминуемо проникали бы в него через кровь матери, останься мы в Москве.

Мы хотели, чтобы хоть в начале жизни — а он уже жил! — осеняла его, пусть и ненадолго, великая тишь и великая гармония Природы, которых, возможно, уже и в помине не будет, когда он повзрослеет. И мы были счастливы, что это нам удастся. Он жил под сердцем матери тихонько и благодарно. А когда пришла пора ворочаться и кувыркаться, делал это так деликатно и осторожно, словно боялся доставить боль.

Но, видно, не в наших силах было оберечь его. Начались беды с собаками — взволновался и он. Стал биться неожиданно зло— словно в обиде на нас. Словно в обиде — з а н а с.

А Джек с Братишкой довольно равнодушно отнеслись к пропаже Федыки.

Мы, однако, тревожились — затревожились и они.

«Где Федька? Ищите Федьку! Где вы его потеряли?» Они не могли не понимать, в чем дело. Честно говоря, я очень надеялся на них.

Несколько раз после наших «ищите!» они куда-то срывались. Может, навещали какие-то свои собачьи притоны? Может, справки наводили? Слухи собирали?.. Возвращались с недоумением на мордах: «Нет нигде вашего Федыки! Как в воду канул!»

Им-то, конечно,— что бегал Федька, что пропал Федька, — было все едино. Но они видели, что мы переживаем из-за пропавшего щенка, и вели себя соответственно. Чересчур буйных игр не устраивали. С сочувствующей миной на мордах то и дело лезли ласкаться. На удивление послушны стали. Далеко от дома почти не убегали.

Мы, разумеется, не сидели целыми днями пригорюнившись по Федыке. Жили — как жили. Примирились, что уж тут поделать,— с тем, что Федыки уже никогда не будет.

Но обида — как тонкая горькая трещина — прошла сквозь все, чем мы жили здесь, на что смотрели. И когда мы даже вовсе и не думали о Федыке, обида эта звучала. Она и до сих пор звучит, если прислушаться.

* * *

Однажды, дело было под вечер, я сказал жене:
— Взгляни, Джек, по-моему, заболел.

Джек действительно был странен в то вечер. Не в себе.

Беспокойно вертелся возле крыльца в ожидании кормежки, жалобно поскуливал, а сам то и дело нетерпеливо поглядывал на забор, будто кто-то ждал его там.

Было впечатление, что он с превеликим трудом сдерживается, чтобы не бросить все и не улепетнуть по загадочному своему делу, и единственное, что удерживает его,— это миска похлебки, которая ни в какое сравнение ни с какими делами, конечно же, идти не могла.

Он прямо-таки изнемогал от своего болезненного возбуждения.

— Джек! У тебя болит что-нибудь?

В ответ он снова проскулил что-то жалобное. Облизал мне руку — торопливо, преданно, — будто хотел что-то сказать.

Странно, хвост у него был поджат.

Даже Братишка слегка встревожился, глядя на брата. Подошел. Обнюхал внимательно и зорко. С рассеянной приветливостью Джек лизнул Братишку и снова стал будоражиться в этой непонятной своей лихорадке.

Болен он не был, конечно. Больные собаки с таким аппетитом не едят. Миску он очистил, как и всегда, за считанные секунды.

После этого он обычно дожидался, когда доест Братишка, чтобы вылизать и его миску. Такой у них был ритуал. Братишка соответственно любопытствовал, не осталось ли чего в Джекиной плошке.

Однако в тот вечер Джек, проглотив свою порцию, тотчас бросился к калитке.

Ему еще кость полагалась. Но он даже не обернулся на наши призывы. Должно быть, и в самом деле важнющие дела его ждали. Какие?..

Братишка долгим задумчивым взглядом посмотрел Джеку вслед. Однако за ним, к нашему удивлению, не побежал.

Ночевать Джек не вернулся.

Не появился он и наутро.

Удивительно, но мы не особенно-то и встревожились. В какую-то высшую справедливость верили, что ли?

Чересчур уж жестоко, непомерно зло повела бы себя судьба, нанеси она (сразу же после пропажи Федьки) еще один, такой же удар. Так мы полагали, наивные люди.

Потом-то мы вспомнили, конечно, и про ворота, которые

следует распахивать настежь, ежели в дом пришло несчастье. И про то, что по какой-то иезуитски вывихнутой, пыточной логике жизни беда никогда не ходит одна. Но это мы потом вспомнили.

А когда в то утро Джек не явился, мы, скорее, удивились, чем переполошились. И почему-то (должно быть, вспомнив недавнюю свадебную кавалькаду у нас в саду) необыкновенно дружно решили, что Джек где-то закрутил любовь.

«Ты только вспомни! — говорили мы друг другу. — Он ведь точно был похож на влюбленного, который опаздывает на свидание.»

Но в тот же день, идя на станцию за молоком, я вдруг заметил за собой: что-то напряженно высматриваю в железнодорожном кювете... Джека, конечно, высматриваю! Потому что в глубине-то души, на самом ее доньшке, уже жила во мне заунывная тухлая уверенность: Джека мы уберечь не смогли.

И еще на одном, очень странном чувстве поймал я себя. Мне было бы легче, заметил я (чуть было не сказал «приятней»), если бы Джек именно под колесами поезда погиб. А не от рук какого-нибудь гада-шкуродера.

Первым ударил тревогу Братишка.

Оставшись вдруг без Джека, он явно недоумевал. Никуда с крыльца не отлучался. Лежал напряженно, как на иголках. Глаз не сводил с калитки, из-под которой должен был появиться Джек. Если он должен был появиться...

А Джека все не было.

В середине дня Братишка все же не вытерпел. Сорвался с крыльца, нырнул под калитку, озабоченным галопом ударил вверх по улице. Похоже, что какая-то идея, где искать Джека, вдруг осенила его. И он решил проверить. Проверил. Идея оказалась пустой. Братишка тотчас вернулся и снова улегся на крыльце.

Видно было, что ему все труднее (хотя почему-то и необходимо) вот так, лежа на крыльце, дожидаться Джека.

Под вечер он опять куда-то бегал. И опять очень ненадолго. Когда вернулся, тотчас бросился под крыльцо, словно бы в полной уверенности, что Джек уже дома. Но брата по-прежнему не было.

Терпение стало покидать Братишку.

Когда вечером, услышав чей-то лай на улице, я вышел на

крыльцо, Братишка уже взвизгивал потихоньку от нетерпеливой досады.

Но почему-то на поиски брата он отправился только на следующий день.

Братишка повел поиск методически, по концентрическим, как я полагаю, кругам, возвращаясь всякий раз к нашему крыльцу как к исходной точке. Сначала отлучался на десять, на двадцать минут. Затем стал пропадать по два-три часа.

Ничего утешительного поиски не приносили. Стоило только взглянуть на Братишкину все более мрачающую физиономию, чтобы понять это.

Ел он эти дни озабоченно, рассеянно. И похоже, процесс еды каким-то образом наводил его на мысли о Джеке, потому что пару раз, даже не дохлебав, он срывался и снова убегал в поиск.

С нами, непонятно почему, он стал держаться вдруг отчужденно и хмуро. Мы обижались. Понятно, конечно, что пропажа Джека заботит его больше всего, но все же — при чем здесь были мы? И разве в чем-нибудь он мог нас упрекнуть?

К вечеру второго дня Братишке, видимо, все стало ясно. Часу в двенадцатом с улицы послышался тоскующий, горестный, погребальный вой. Выл Братишка.

Он выл неумело. Начинал с обычного лая: «Гав-гав-га-а-а...» и лишь потом это «...а-а...» переходило в неизменно-скорбную, жалобную, что-то проклинующую горловую руладу, которая заканчивалась на низах особенно беспомощной, недоуменно открытой нотой, — нотой неприкаянности, осиротелости, досады на жизнь.

— Братишка! Милый! Что с тобой?

Он взглянул на меня снизу вверх, словно бы через плечо. Снова обратил морду к уличному фонарю, желтенько и чахло светящему невдали от дома:

«Гав-гав-га-а-а-а...»

А в комнатах, лицом в подушки, плакала жена.

Тут я по-настоящему перепугался. До родов ей оставалось всего-ничего — какой-то месяц. Не хватало еще, подумал я, чтобы из-за передряг с собаками все, что должно было произойти, случилось с ней раньше срока. А главное, здесь случится, где до ближайшего телефона полтора километра и куда в случае нужды никакая «скорая помощь» не проберется.

Я стал уговаривать ее уехать.

Следующим на очереди был Братишка. Я чувствовал, что его-то гибель жена просто так не перенесет. Случится и с ней беда.

И на следующий день я отвез ее в Москву, к ее матери.

Братишка не провожал.

Он куда-то исчез с раннего утра. Даже не ел.

...Ужасна была в том феврале Москва — с ее грязноватыми потемками среди бела дня, с чавкающей желтенькой слякотью под ногами. Унылая толчея царила на улицах. Раздраженные, толсто одетые люди по-старушечьи брели, увязая и скользя в рыхлых наметах грязного снега, который, судя по всему, никто уже давно не расчищал. Всем на все было наплевать, похоже. Всем все надоело. Все устали. Все махнули рукой — на все, на всех, на себя в первую очередь.

А мелкий нафталиново посверкивающий снежок с надоедливой настырностью все сыпал и сыпал.

Моторы взывали у светофоров с тоскливой надсадой. И всякая машина, прежде чем стронуться, мелко и долго юлила задом, полируя колесами и без того неимоверно скользкие, жирно блестящие раскаты, в которых тупенько отражались мертвые сиреневые огни фонарей.

Ужасна была Москва. И ужасно было оставлять здесь бедную жену мою. Она-то больше, чем я, отвыкла от здешней жизни.

У меня было чувство, что я совершаю предательство, оставляя ее здесь. Но, ей-богу, не было у нас никакого другого выхода!

...И с какой же несказанной отрадой вышел я из электрички после городской толчеи на совершенно пустой перрон нашей маленькой станции! С каким облегчением вздохнул! — чуть не до обморока, — сразу и остро ощутив чистоту э т о г о воздуха как ясный покой, жгуче потекший по моим жилам!

На платформе горели фонари — точно такие, как в городе. Платформу обступали пятиэтажные, тоже городские, коробки домов. (Муторную тупую тоску на сердце наводили они своим одинаково безликим видом и обилием одинаково повторенных, одинаково горящих окон.) Я повернулся к ним спиной.

На другой стороне полотна, к югу, подобием низко осевшей в снега хмурой грозовой тучи, таким закоулочком мрачного захолустья и густой черной тишины — ждал меня наш поселочек.

Я впервые подумал, какое это невероятное везение, что нам удалось пожить здесь всю осень и зиму. И тут же, впервые со страхом почувал, какая жестокая будет мука — возвращаться.

Братишки не было.

Судя по снегу, который ровно засеял крыльцо и ступени, он и днем не появлялся.

Придет, подумал я неуверенно и вяло. Куда он денется? И тотчас вспомнил, что именно эти слова мы говорили друг другу, когда сначала пропал Федька, а потом исчез Джек.

Что за напасть нам такая, Господи, терять собак?!

...Я сидел один-одинешенек в пустом доме, смотрел на огонь в печи и всюю предавался грусти.

Даже Киса не выдержала этой надрывающей душу картины. Хотя спрыгнула с дивана, походила-помурлыкала возле ног. Потом, посчитав, что долг милосердия ею исполнен, снова устроилась дремать — теперь уже на моих коленях.

Ночью я вышел в сад.

Светло было от снега. Все было неподвижно и строго. Серебро по черни. Лишь фонари вдоль улицы, оранжево, уютно светящие, скупо веселили картину.

Очень новогодняя была ночь.

Я уловил вдруг какое-то движение в дальнем конце сада. Я скорее угадал, чем разглядел, что это — Братишка. В снегу да еще ночью он почти сливался с фоном.

Он сидел на дорожке, несомненно видел меня, но почему-то не подходил.

— Братишечка! Пес ты мой милый! — я пошел к нему.

Он замахал хвостом и сделал пару неуклюжих скачков мне навстречу. Казалось, что у него спутаны задние лапы.

Я подошел к нему. Стал гладить по голове, стал наговаривать ему, как всегда наговаривал: «...умный... красивый пес... самый умный, самый красивый...»

Обычно, чтобы лучше внимать этим словам, он вставал на задние лапы, передние клал мне на живот, утыкался мордой в одежду и словно бы коченел от удовольствия. Он и на этот раз попытался встать, но не сумел.

Я понял, что задние лапы у него либо перебиты, либо отнялись.

Я взял его на руки, как ребенка. Понес в дом. Он не вырывался. Грустно и благодарно лизнул меня в щеку.

Я внес его в дом, устроил на ковре. Осмотрел, осторожно ощупал лапы. Ни крови, ни следов от ударов не было.

— Что же с тобой случилось, брат?

Он шевельнул в ответ хвостом.

Я заметил, что он почти не сводит глаз с моего лица. И почему-то, когда мы встречались взглядами, мне становилось не по себе. Такая черная боль, такая душевная мука, такая укоризна смотрели на меня этими глазами!

— Ты нашел Джека, так? И после этого с тобой-то все и случилось? Так?

Я до сих пор уверен, что все было именно так. Хотя к Джеку (вернее, к тому, что оставили от него те негодяи) он привел меня лишь через месяц, уже по весне. Ничем другим я не могу и не хочу объяснить ту — и презрительную, и жалеющую, и разочарованную, и высокомерную, и мучительную — укоризну, которая была в его глазах в тот вечер.

«Как вы, люди, могли сделать такое?»

...Я дал ему кусок ветчины, дал кусок жареной курицы. Он не стал есть, только понюхал. Немного попил из блюдца.

Вскоре ему стало совсем плохо. Он стал дышать часто, прерывисто. Голову откинул, как отрубленную.

Это могло быть и просто от жары. В тот вечер, засидевшись у огня, я натопил в доме градусов до тридцати.

Я перенес Братишку на террасу. И когда я его нес, он опять лизнул меня в щеку. Мне стало легче. Он словно бы прощение лично мне даровал.

Я уложил его на диван, где спали когда-то Федька с Кисой, прикрыл тряпьем.

— Доживи уж до утра, постарайся! — попросил я его на прощание. — Завтра в ветлечебницу поедем. Не помирай, ладно?

Он вяло постучал хвостом по матрацу. Дескать, постараюсь. Как получится, дескать...

Часа через два меня разбудил звук упавшего тела, раздавшийся на террасе.

«Братишка! Умер!» — эти два слова колотились во мне, пока я спросонья влезал в валенки, шарил по вешалке в поисках телогрейки.

Выскочил. Включил свет. Братишки не было. Я выглянул на крыльцо.

Он спускался, волоча зад по ступенькам. Я заметил, что левая задняя лапа у него, хоть и плоховато, хоть и подгибаясь, все же действует. Это приободрило меня.

Братишка зашел в сугроб и стал мочиться. Даже больной, чуть

ли не умирающий, он не мог позволить себе напачкать в доме. Вот какой был Братишка!

Он долго стоял по брюхо в снегу — словно бы в размышлении. А может, просто — собираясь с силами. Наконец, кое-как выбрался. Постоял перед ступеньками. Понял, видимо, что эту лестницу ему не одолеть, и пополз под крыльцо, в сено.

Я вздохнул с облегчением. Бог даст, все обойдется... Ах, если бы сейчас было лето! Он бы мигом отыскал какую-нибудь нужную травку, которая бы вылечила его. Собаки, говорят, большие мастаки по этой части.

Весь следующий день он не вылезал из конуры. Но зато — ел! Почти так же исправно, как и раньше.

А еще через день, когда неожиданно-негаданно приехала жена, сбежав от ужасов городской жизни, Братишка встречать ее выбежал хоть и на трех ногах, но к самой калитке. И радовался ей почти так же как раньше.

Но он изменился очень.

Никогда больше я не видел его ни беспечным, ни безудержно-веселым. Глаза его навсегда стали печальны.

...После того что люди сделали с Джеком, он мог озлобиться на них (и был бы прав по-своему). А Братишка, напротив, сделался грустно-ласков с нами. Необыкновенно заботился о нашей безопасности везде: и в лесу, и в доме, и по дороге на станцию.

Мне кажется, что после гибели Джека он по-настоящему стал жалеть нас — людей, живущих среди людей.

Без Джека Братишке стало не просто одиноко, но и гораздо хлопотнее жить.

Джек с его никогда не иссякавшим веселым любопытством к жизни выполнял, должно быть, огромнейшую черновую работу, когда они бегали вдвоем. Обследовал все подряд заброшенные сады. Первым обнюхивался со всеми встречными собаками. Заводил знакомства с людьми. Обследовал все помойки. Первым бросался на машины, на поезда... Братишка же — всегда спокойный и даже слегка величавый в своем спокойствии — тем не менее зорко следил за всеми изысканиями брата. И когда он по каким-то признакам определял, что обнаруженное Джеком достойно и его внимания, он тотчас присоединялся к

Джеку, мгновенно оттесняя его, если была необходимость, на второе место... Джек являлся как бы автономно живущим слухом, нюхом, зрением Братишки, и можно было далеко и много видеть, слышать, обонять, не затрачивая лишних усилий, и главное, — сведя к нулю риск получить, например, по шее от какого-нибудь прохожего или быть покусанным своим же четверногим психопатом.

И вот теперь все собачье Братишке приходилось делать самому.

Но он и просто — скучал по Джеку. Они ведь с детства жили бок о бок. Джек погиб. Осталась зиять в мире пустота, которую никто другой уже не смог бы заполнить. И Братишка, конечно же, тосковал.

* * *

...Сначала я услышал радостный вскрик. Потом ударили в ладоши. Жена отворила ко мне дверь и почему-то не сказала, а прошептала:

— Посмотри! Там — Федька...

За калиткой стоял человек и держал в руках черного щенка. Издали трудно было определить, Федька ли это, но человека я узнал. Это был один из тех зимников, к кому мы заходили в поисках Федьки. Мы тогда всем оставляли наш адрес — на случай, если щенок появится. И вот не зря, оказывается, оставляли.

Оскальзывая по тропинке, я заторопился к калитке.

Увы! Уже за десять шагов мне стало ясно, что это не Федька.

— Ваш? — Благодетель наш так и сиял. Ему было радостно, что он принес людям радость. Ужасно неловко было разочаровывать его.

— Так ведь ваш же! И черный. И с белым галстуком... Все как вы описывали. — Он даже немного обиделся, мне кажется. — Вчера вечером прибился. Уж мы его и гоняли и что только ни делали — не уходит, и все! А потом жена про вас вспомнила...

— Ну ладно. Все равно — спасибо!

У меня было сильное подозрение, что он бросит щенка в ближайший сугроб, если мы не возьмем его.

— Давайте! Спасибо вам большое!

Кобелек переключал с рук на руки. Его прямо-таки сотрясала безостановочная больная дрожь.

На руках у меня, пока мы разговаривали с соседом о том и о сем, он вроде бы угрелся, притих, но едва я спустил его на доски крыльца, опять затрясся.

На тощеньких, чересчур высоких ножках, с шерстью, свалившейся, как пыльный войлок, с тоскливыми мокро блестящими глазами — он был до того убог, что даже не вызывал жалости.

Господи, сколько же надо было голодать, чтобы так наброситься на еду! Он очистил миску со скоростью, не побоюсь сказать, Джека. Ему еще налили. Еще...

Потом испугались, что он может помереть, и сделали перерыв. Но сами не вытерпели глядеть на это воплощенное недоедание и опять дали миску.

В отличие от наших псов аппетит у новобранца был какого-то истерического свойства. Лишь через месяц он научился, да и то не вполне, относиться к еде более-менее спокойно.

На всю, однако, жизнь осталась привычка прятать куски на черный день. Когда сошел снег, весь сад наш был усеян костями и раскисшими корками хлеба. «Кто знает, как еще повернется жизнь...» — так рассуждал, должно быть, наш новый жилец. А то, что жизнь может повернуться по-всякому, это он уже весьма прекрасно знал, несмотря на юный возраст.

— Знаешь, на кого он похож? — задумчиво проговорила жена, глядя на нашего новобранца. Он только что очистил очередную миску и снова принялся по-актерски дрожать, устремив на нее слезный взгляд своих скорбно-горючих глаз.

— Знаю...

Он был похож на Шлемку Аронова — нашего приятеля, вечно зябнувшего, вечно шмыгающего носом, худенького и худо (хотя и не бедно) одетого репортера. В общем-то неудачника. К тому же еще и поэта, бессовестно подражающего почему-то Уолту Уитмену.

Щенок наречен был Шлемкой. И стал с нами жить. Сначала с опасливой оглядкой, долго еще не веря в свалившееся на него счастье. А потом — все увереннее, все нахальнее и веселее.

И весело нам было глядеть, как из никудышнего доходяги получается вполне симпатичная дворняжка, кудлатая, бойкая — тоть-в-точь та черненькая Жучка, которую рисовали раньше в букварях.

Перед Шлемкой стояла, конечно, трудная и почти невыполнимая задача: заменить нам двух таких псов, как Федька и Джек.

Он старался вовсю. Был весел и предан. На прогулках восхищал нас необыкновенным талантом отыскивать под глубоким снегом недоедки, брошенные лыжниками. Потешно гонялся за кошками, за воронами. Он был хороший зверь. Но мы не торопились впускать его в свое сердце — сердце все еще занято было, — и Шлемка, конечно же, чувствовал это. И не то чтобы обижался он на нас, нет, — тихо, по-щенячьи огорчался.

Братишка встретил появление Шлемки без неприязни, но, уж конечно, и без восторгов. До игр со Шлемкой он не снисходил. Вообще, мало замечал, как кажется. Но по поселку они бегали теперь вдвоем и спали в одной конуре.

Когда Шлемку принесли к нам, на шею у него красовался ошейник. Какое-то время, значит, он жил с хозяевами. Большие, видать, сволочи были те хозяева.

Даже через месяц и через два Шлемка, едва к нему протягивали руку, чтобы погладить, униженно пригибал голову к земле — в ожидании удара.

Он был очень милый пес. Но жестокое, судя по всему, детство непоправимо исказило его характер.

Он был ласков, но это отдавало лезвием. Был весел, но за всяким весельем чувствовалась оглядка: «А не попадет ли?..» Он искренне радовался нашему приходу, но стоило сделать неосторожно-резкое движение, как он уже с визгом отскакивал в сторону, искал, куда бы забиться.

Мы звали его «трудный подросток». Самое плохое, что, несмотря на все наши старания, он так и не поверил, кажется, в доброту людей.

Дальнейшая судьба Шлемки такая. С конца весны он стал жить у Закидухи. Ближе к осени он к Роберту Ивановичу почему-то охладел и прибился к некоему Толику, который был тем замечателен, что целыми днями шаркал по маршруту «дом — магазин» с авоськой, полной то пустых, то не пустых бутылок. А Шлемка, надо заметить, обожал ходить в магазин. Звать его стали Цыган.

Когда Толик куда-то сгинул, Шлемка-Цыган так и остался возле нашей торговой точки в стае себе подобных. Он, наверное, и сейчас там. Если, конечно, ни шкуродеры, ни санэпидемстанция не вмешались в плавное течение его собачьей жизни.

Но мы были рады, что появился Шлемка. Перестали так

болезненно зиять бреши в наших рядах. Какая-то видимость той, прежней жизни появилась. Веселее стало.

Да и в мире уже веселело. Февраль заканчивался. Кончалась зима.

Днями, когда стояло солнце, уже можно было, остановившись где-нибудь в затишке, поймать щекой осторожное дружеское нежное тепло, идущее к нам из весеннего, еще очень далекого далека.

«Мы одолели зиму!» — уже можно было сказать.

...Мы оглядывались. Зима представлялась сумрачным, без конца и без краю, снежным полем, скучно и низко освещенным предвечерним солнцем. И очень редко невеселые вешки чернели в заунывно-нудной той равнине: какой-нибудь замтенный снегом, едва заметный кустик; какое-нибудь омертвелое от стужи кривоватое деревце; полусгнившая, почти с головой осевшая в снег прошлогодняя копейка...

Тяжкого труда стоило одолеть это унылое поле.

Несправедливы мы были, конечно. Нами зимой было славно. Просто — кончался февраль. Мы стояли на краю поля, повернувшись уже спиной к нему. Начиналась весна, и все нутро наше аж рвалось навстречу ей, изжаждавшись света, цвета, живых запахов, солнечного тепла!

Это потом только — утоливши первый, самый жестокий весенний голод, — мы смогли оглянуться на зиму спокойно. И сказать друг другу: «А все-таки хорошо было, правда?»

Хорошо было — протянуть окоченелые руки пламенному огню. Слушать, как сначала тупо, а потом все более едко начинает пронзать он мириадами мелких игл оглохшую плоть окостенелых с мороза пальцев. Как, тоненько жужжа, чуть не закипая, начинает толкаться по капиллярам жгучая кровь, — сначала снаружи, под сухо шуршащей пленкой кожи, а затем все глубже, глубиннее. Как сладко мозжит суставы, все нестерпимее, и вот, когда кажется, что уже не выдержать эту странную сладость-боль! — она вдруг проходит...

И вот — руки твои возвращены тебе. Они живы, горячи, сухи.

Но ты все сидишь у печи, и медлишь, и ждешь, и ладони твои, обращенные к огню, — как жадные, как чуткие антенны, которыми ты с первобытной надеждой внимаешь.

Хорошо было — шагнуть из комнаты на мороз. Из горячо и душно натопленной комнаты шагнуть на улицу, в едкий мороз — с неохотой шагнуть, преодолевая в себе надоевшее вялое сопротивление, каждый раз возникающее, когда из теплой комнаты тебе нужно шагнуть на мороз.

В этот миг каждая клеточка твоя, каждая жилочка словно бы ожесточалась и суровела. И весь ты тоже становился напряженно зажатым, добра не ждущим, потому что из теплой комнаты шагнуть тебе надо было в мороз, шагнуть —

и вдруг нежно, благодарно обмануться, ахнув сердцем при виде снежно-голубого, блистательно сверкающего под солнцем веселого великолепия, сочиненного за ночь морозом и снегом!

Шагнуть за порог и — не пленником зимы, а ж е л а н н ы м почувствовать себя тут. И с облегчением развеселиться, почти без причины — от одного только бодрого капустного хруста снега под ногами.

Хорошо было — серым вечером, метельным жемчужным вечером возвращаться домой.

По-корабельному грозно и шумно ходили из стороны в сторону сосны, светлые на мутно-белом текучем небе. Ветер — то ломил упрямо (тогда приходилось ложиться на ветер грудью), то — мелким бесом принимался суетиться вокруг, швыряя пучками снега спереди, сбоку, сзади. А над головой — в желтеньком пространстве вокруг фонаря — было видно: снег неостановимо несется сплошной полосой, почти параллельно земле, не различимый на отдельные хлопья. И было страшновато от этого изобилия и злой устремленности снега, но все же невзавраду страшновато, потому что метель была теплая и слишком уж напоминало кино.

По-киношному подвывало в штакетинах заборов, посвистывало в кустах, гудело в кронах. Как по режиссерской команде, вдруг свивались с крыш и, свившись в смерчи, улетали в серую мглу бледные призрачные нити, ленты, полотнища снега. Все казалось не очень взавраду, но весело сделано, и все же...

И все же — самое настоящее счастье торкалось в твое сердце, когда сквозь пеструю бестолочь метели вдруг оранжево и нежно начинали светить окна, за которыми ждали тебя.

Хорошо было — сесть, не зажигая света, возле чернильно-

синего окна и смотреть, как идет на улице снег, вот уже который день все идет и идет снег, неспешно, но и не мешкая, деловито горюдит все более дремучие завалы между тобой и где-то живущим миром. И сладка была грусть твоя — сладостью уютного милого захолустья. И строгая, стройная тишина царила в душе.

Ты протягивал руку. Вспыхивала лампа, больно и кратко ударив в зрачки.

Мир за окном исчезал. Оставался лишь круг горячего, деятельно ждущего света, бьющего из-под абажура на белый лист бумаги, еще не тронутый пером...

Хорошо было — встревожиться лютым морозом, обещанным к утру, и с веселым азартом в душе начать суетиться, готовясь к тридцатиградусной осаде. Натаскать в комнаты наколотых дров, занести воду, заделать последние щели в окнах, навесить теплые шторы на двери... А потом — то и дело выходить с нетерпением на улицу, глядеть на переливающие синим огнем звезды, густо засеявшие серое, почти черное небо, слушать, как густеет от мороза воздух, как он уже саднит на вдохе верхушки легких, как при дыхании слипаются ноздри, как то тут, то там уже начинают постреливать деревья, а снег под ногами — уже не скрипит, а визжит... Прогрнуть, но только слегка, и, словно спасаясь от погони, весело дрожа, векочить в дом и быстро захлопнуть за собой двери — и вдруг ошутить себя в крепости — в жарко натопленной, уютно освещенной, никакому морозу не доступной крепости, — крепости, которую ты сам возводил... Прижаться спиной к раскаленному боку печки и слушать, как, помедлив, с натугой пробивая толстую вату стеганки, начинает струиться сквозь тебя мощный, победительный ток тепла — от огня, зажженного тобой.

Хорошо было... Много хорошего было.

* * *

Ближе к весне зайцы совсем заполнили поселок. Наверное, голод гнал их поближе к человеческому жилью.

Я, правду сказать, не представляю, чем они могли бы разжиться в нашем почти безлюдном поселке и чем уж таким особенным отличались здешние кусты и деревья от тех, что росли

в лесу. Скорее всего, у зайцев работал инстинкт, выработанный поколениями предков: в весеннюю бескормицу жаться поближе к деревьям, где есть и гумна, и сено, заготовленное впрок, — в общем, есть чем поживиться... Как бы то ни было, зайцы в начале марта прыгали по нашему поселку, абсолютно не ведая, казалось, страха.

Даже Братишка, на что уж равнодушен он был к охотничьим забавам, и тот не мог спокойно взирать на творящееся вокруг безобразие. То и дело срывался с крыльца, а чем он занимался во время отлучек, нетрудно было определить по знакомому страдающему визгу, который доносился до нас то с одной, то с другой стороны поселка.

И однажды ему удалось-таки затравить зайца!

Правда, это был тот самый случай, когда зверь сам бежит на ловца, но, в сущности, какая разница? То ли по глупости, то ли по рассеянности заяц заскочил напрямиком в наш сад — ну и тотчас же, конечно, расплатился за свою то ли рассеянность, то ли глупость.

Как именно все произошло, я не видел. Вышел из дома за дровами — возле крыльца ничего не было. Через пару минут — возвращаясь из дровяника, — уже увидел: лежит на снегу роскошно-белый (лишь кончики ушей черные), крупный, очень плоско распростертый, будто бы придавленный к земле заяц. А рядышком — с притворно-скромной и все же горделивой мордой — Братишка.

Чтобы ни у кого не возникало сомнений, кто именно добыл зверя, Братишка то возбужденно колотит хвостом, то с нарочито свирепым рычанием тычет мордой в бок зайца...

Было, впрочем, отчетливое впечатление, что Братишка несколько озадачен одержанной им победой и понятия, в общем-то не имеет, что ему делать теперь с этой странной добычей.

— Мне отдашь? Или — сам будешь? — спросил я у него для порядка.

Братишка всем своим видом показал, что ихнее дело — дело простецкое, охотничье — зверя добыть. А что со зверем тем будете делать — забота хозяйская, собаке не интересная...

Я разделал зайца, и с неделю Братишка со Шлемкой питались дичиной. Заяц был весенний. Ни жиринки я в нем не нашел. В похлебку пришлось крошить сало, чтобы хоть какой-то получил-ся навар.

Ох уж и нахваливал я Братишку за охотничий его подвиг! Ох уж не пожалел я эпитетов, самых высоких, расписывая его доблесть и отвагу! Хотелось мне, чтобы победа над незадачливым этим зайцем как-то встряхнула Братишку, вернула ему уверенность в себе, развеяла то тоскливое оцепенение, в котором он пребывал со дня гибели Джека.

Заячью голову я отдал ему в качестве трофея. Посоветовал украсить этой лопаухой башкой стены конуры, как это водится у охотников, но он меня не послушал. Приспособил ее для каких-то муро-свирепых воинских игр...

То он, подкравшись, набрасывался со зверским рычанием на эту вполне безучастную головенку; то — подкидывал высоко, чтобы тотчас, преисполнившись дикой подозрительности и гнева, вновь атаковать ее, едва она падала в снег; то — зарывал в сугроб, а сам неподалеку устраивался в засаде, искренно полагая, что голова непременно предпримет попытку к бегству, и вот тогда-то он ее примерно покарает... Голова спокойно почему-то продолжала лежать под снегом, и Братишка, подождав, вновь откапывал ее и начинал носить по саду, пренебрежительно ухватив то за одно ухо и вид имея при этом цинично-триумфаторский... Следом за ним брел Шлемка и униженно вымаливал хоть на минуточку и ему дать поиграть с головой. Братишка на Шлемку не обращал внимания, но когда ему надоедало это нытье, он на мольбы Шлемки отвечал таким вдруг свирепым, доселе нами не слыханным от Братишки рыком, что Шлемку приходилось потом немалыми трудами и уговорами извлекать откуда-нибудь из подвала или из-под сарая, куда он в ужасе забивался.

Я думаю, что во время описанных забав в душе Братишки происходили немаловажные перемены — нарождался х и щ — н и к — кровожадный, не ведающий жалости, свирепый. Попадись ему в эти дни еще один заяц, не сомневаюсь, он уже знал бы, что ему с ним делать, и в похлебку его он вряд ли уже отдал...

Не очень-то приятно, честно говоря, было нам смотреть на такую эволюцию Братишкиного характера — мы его любили другого... Но мы не могли не понимать и того, что — пусть хоть и другим манером — Братишка должен вернуть себе мужество жить в этом мире. А то ведь доходило уже до того, что в своем печальном равнодушии он стал уступать дорогу не только

лобому встречному псу, даже самому ничтожному, но и, стыдно признаться, он даже от пристававшей Кисы с каким-то болезненным жалобным скулежом лез искать защиты у нас!

Особенно мучительны стали теперь для Братишки встречи с Мухтаром.

Теперь-то Мухтар сполна реваншировался за все прошлые поражения.

...Как и прежде Братишка чуял его издалека. Но, если раньше он принимался грозно ворчать, по-бойцовски дыбил шерсть на загривке в ожидании встречи с закадычным врагом, то теперь он сразу же делал уши жалкими лопухами, поджимал хвост и начинал обреченно, тоскливо подвизгивать. Даже не страх звучал в этом поскуливании, а усталая досада на жизнь: «Опять, Господи, встречаться с этим бешеным... опять — унижения...»

А Мухтар — не крови, а именно Братишкина унижения всякий раз жаждал.

Налетал — неумолчный, легкий, как половецкий воин-кочевник, — раскрашен в жутковатые, не сулящие пощады цвета: черный и яростно-рыжий, почти красный. Ненавидяще скалил мелкозубую хищную бешеную пасть!.. И Братишка, — грустно и покорно оборотив к Мухтару виноватую морду, — униженно полз на брюхе в ближайший сугроб.

Мухтару было мало сугроба. Он загонял Братишку дальше, в самый глубокий снег. Заставлял, как щенка, повалиться там кверху брюхом — в позе самой крайней беззащитности и постыдности — и только после этого вновь выбирался на дорогу, чтобы, получив от меня снежком, не очень-то даже и торжествуя, удалиться...

Ужасный стыд переживал я в эти минуты за Братишку. Ужасный стыд испытывал и он сам. Но я видел: он ничего не может поделать с собой. Он безоружен сейчас против этого оголтелого бешенства, деятельной злобы и прямо-таки припадочной ненависти, воплощенных в этом легконогом и довольно тщедушном кобельке.

Однако после истории с зайцем Братишка, как я сказал, уже стал каким-то другим. И наконец настал день нашего с ним торжества!

В тот прекрасный день при виде летящего к нему с ликующей злобой Мухтара Братишка (а до этого он, как и раньше,

похныкивал с тоской) вдруг не стал трусливо пластаться по снегу, не поджал хвост, не разлопушил виновато уши, а в единое мгновение вздыбил шерсть и с а м рванул навстречу Мухтару!

Сбил его на лету ловко подставленным плечом и, не давая времени подняться, опасно впился в горло!

Мухтар взвизгнул, вывернулся и тотчас угодил в глубокий снег, где мгновенно оказался беспомощным и жалким. Отчаянным усилием он все же выскочил на твердый наст, но тут же был опрокинут мощным ударом Братишкиной лапы и снова попал в клыки.

Он был проворен и увертлив, этот Мухтар, но Братишка, будучи и сильнее, и крупнее, владея к тому же инициативой, не давал ему ни времени, ни пространства для маневра. Гнал в снег, а когда тот с невероятным трудом выбирался, тотчас опрокидывал и начинал терзать клыками.

В один из моментов клык Братишки угодил, должно быть, в какое-то особенно чувствительное место. Потому что случилось невероятное: Мухтар, никогда не отступавший даже под натиском наших двух псов, вдруг с ужасным страданием заголосил, отчаянно рванул через снег на другую сторону канавы и ударился в бегство, — точно так, как ударяются в бегство все собаки, потерпевшие и признавшие свое поражение: тесно поджав между ног хвост и беспокойно ежесекундно оглядываясь.

Братишка преследовать не стал.

Он кинулся ко мне. На его весело-оживленной морде было написано: «Ну? Как?..»

Ясно было — «как».

Я без утайки поведал Братишке все, что о нем думаю. Он, в общем-то, остался, по-моему, доволен. Хотя число превосходных степеней (было видно по его физиономии) могло бы, на его взгляд, быть побольше...

А заячью голову он в тот же день уступил Шлемке, чем вверх того в буйный восторг.

Шлемкина, впрочем, радость недолго длилась. Две вороны, опекавшие с осени территорию нашего сада, без труда облапошили Шлемку-малолетку. Пока он гонялся за Карпушей, который посягнул якобы на его миску, другая ворона — Машка — схватила голову и унесла. Сначала на крышу беседки, а потом вообще неизвестно куда.

Шлемка, ей-богу, чуть не плакал.

О воронах наших, наверное, тоже надо хоть немного рассказать.

Эти имена — Карпуша и Маша — не мы им давали. В поселке они поселились гораздо раньше нас.

И того, и другого, каждого в свое время, подобрали люди. Машку — несмышленным вороненком, выпавшим из гнезда. А Карпушу — уже вполне взрослым, у него было сломано крыло.

Люди их выкормили. Карпушу — вылечили. И вороны не забыли добра, сотворенного для них. Хранили с тех пор верность и привязанность, если и не конкретным людям, то уж во всяком случае конкретным домам. С начала лета воцарялись каждый на своем участке и до поздней осени жили рядом с людьми, становясь на время почти ручными и по-своему служа своим благодетелям, — то есть разрывая и растаскивая по саду помойки, разгоняя всяческую живность, начиная птичками и кончая кошками, и с утра до вечера услаждая людской слух криками чрезвычайно искренней непреходящей благодарности.

Поздней осенью, а затем и зимой, поскольку мы расположились рядом с их вотчинами, они свое внимание обратили на нас.

Людей они и вправду совершенно не боялись. Однако никакого панибратства в отношениях не допускали.

По саду разгуливали с чрезвычайно забавным ревизорским видом и очень походили на каких-то носатых чиновников времен Гоголя — руки заложивших за спину и деловито косолапящих по вверенному департаменту.

Собаки, разумеется, мешали им чувствовать себя полнокровными хозяевами сада. Поэтому в меру вороньих сил они псам всячески досаждали, порой прямо-таки издевались над ними. То утащат черт-те куда, почти на улицу, пустую миску, то раскопают только что запрятанную кость, то затеют с какой-либо из собак игру, которая способна довести (Джека в особенности) до полного физического и нервного истощения.

Игра была проста и заключалась в том, что вороны для начала рассаживались по разные стороны от лежащего пса и принимались дразнить его: то прохаживались с вызывающим видом, то прикидывались чуть ли не смертельно ранеными, едва ковыляли, крыло распластывая по земле...

Собака, конечно, не выдерживала смотреть и бросалась. Ворона перед самым собачьим носом взлетала, и тут же раздавался окрик другой птицы. Пес бросался снова. В это время

первая птица опять слетала на землю... И так — до бесконечности. Вернее, до того момента, когда Маше с Карпушей это занятие не надоедало, и они с отчетливым презрительным криком: «Дурак!» не улетали по своим неотложным делам.

Точно такие же игры затевали вороны с Кисой. И хотя Киса не носилась за ними столь же бестолково, как Джек или Шлемка, результат был тот же. Уж Киса и ползком к ним подбиралась, и спящей прикидывалась, и спиной к ним садилась, чтобы потом неожиданно прыгнуть, — ничего не получалось! Однажды я своими глазами видел, как она, прежде чем начать подкрадываться к воронам, тщательно вывалилась в снег, справедливо рассудив, что ее, черную, слишком уж хорошо видно на белом снегу. Но и это ей не помогло.

Мы как-то задумались, сколько же пропитания требуется такой крупной птице? И как, наверное, трудно добывать им корм зимой в заснеженном бесплодном поселке, какие наверняка огромные концы надо делать птицам ежедневно — на помойки, на железную дорогу, на свалки какие-нибудь, — чтобы не пропасть с голоду!..

И, задумавшись об этом, мы большого преисполнились уважения к Маше с Карпушей.

Особенное восхищение вызывала у меня быстрота, с какой они обнаруживают съестное. Стоит выкинуть с крыльца мышку из мышшеловки — через десять минут, смотришь, ее как не бывало! Причем я намеренно старался проделывать это незаметно и именно в те минуты, когда ворон поблизости не было.

Не знаю, что говорит по этому поводу орнитология, но я лично пришел к убеждению, что у ворон, по всей видимости, гениально устроенная зрительная память. Прямо-таки фотографическая память. Они хранят, мне кажется, в своих черепушках до ничтожнейших мелочей подробную карту района, в котором обитают. И — вот что самое главное — они ежеминутно сверяются с ней, этой картой, когда в очередной раз оглядывают местность. Не случайно, кстати, что они всегда усаживаются на строго определенных ветвях строго для себя определенного дерева, на одном и том же столбе, на одном и том же коньке крыши. Это и понятно: ракурс-то должен соблюдаться точно...

Ворона садится на свой излюбленный столб. Окидывает полководческим взглядом окрестности и вдруг, сверяя увиденное

со своей аэрофотопамятью, говорит себе: «Эге... Вот этого предмета, похожего — тьфу, тьфу! чтоб не взглянуть — на мертвую мышку, полчаса назад здесь не было. Надо проверить...» Не мешкая и не лентяя, снимается с излюбленного столба и, будьте любезны, мышка у нее в клюве!

Умная птица ворона. Ее трудно любить — чересчур уж она независима и криклива — но уважать очень стоит. Хорошая птица.

* * *

После победы над Мухтаром Братишка значительно оживился. Повеселели и мы.

А через несколько дней и вовсе праздничное случилось в нашем доме событие. Лаская Братишку, я вдруг обнаружил у себя между пальцев его подшерсток. Братишка снова линял!

Я думаю, он так и не понял, что, собственно, случилось. С чего это вдруг хозяева сделались такие развеселые? Отчего чуть ли не целовать бросились?.. В дом зазвали, оладьями до отвала накормили, гладили и говорили наперебой: «Ну, слава Богу! Ну, теперь-то хоть вздохнуть можно!»

Много радостей он нам доставлял, милейший наш Братишка, но такой полной, т а к о е облегчение приносящей — никогда.

Он начал линять, и это означало, что шкура его отныне уже не годится ни на какие шапки. И стало быть, шкуродеры должны теперь оставить нас в покое. До следующей зимы, по крайней мере.

Подумать только — до следующей зимы!

— Спасибо, Братик! — с чувством сказала жена. — Теперь я могу рожать со спокойной душой.

А на следующий день он исчез.

Неудовольствие, что ли, стали мы вызывать у Судьбы чересчур уж счастливой своей жизнью?! Похоже, что именно так.

Федька, Джек... Этого, видите ли, показалось мало! Потребовалось еще и Братишку доконать! Ладно.

Но — зачем, скажите?! Ради какого, скажите, пыточного удовольствия нужно было — буквально накануне исчезновения! — устраивать для нас этот радостный спектакль с линяющей

шкурой Братишки? Как ни рассуждай, а получается одно: только для того и устраивался спектакль, чтобы уязвить — побольнее! чтобы если уж ударить, то ударить вот так — в душу, безмятежно-радостную, доверчиво открывшуюся, не ожидающую уже никакой подлости или вероломства!

Жена твердила:

— Он объявится, вот увидишь! Братишка не может пропасть! Тем более сейчас...

Она немного не в себе сделалась. Что-то, наверное, загадала на Братишку. Известно, что...

Ей нужно было переезжать в Москву. Все мыслимые сроки прошли, а она умоляюще твердила:

— Ну не сегодня! Давай завтра? Я же чувствую, э т о еще не скоро. Я подожду, когда он объявится.

А он не появлялся, конечно. Ни через день, ни через два.

— ...Ну не сейчас! Давай вечером? Я почему-то уверена, что он сегодня объявится...

Почему-то именно это слово она повторяла: «объявится».

Бедная, она загадала, что если Братишка не пропадет, то у нее в с е будет нормально. А он пропал. И — нужно уезжать.

Мы ждали дотемна. В молчании собрались. Погасили свет. Вышли.

Безрадостно было и тошно.

Снег уже не скрипел под ногами, а по-весеннему, чуть сыро шуршал.

Зажглись фонари. Их свет был чахл и убог. И таким же убогим казалось сейчас все, чему мы так радовались в эту зиму.

Понуро и медленно — надо бы сказать каторжно — брели мы расхлябанной скользкой тропинкой. Нельзя было идти рядом; шли каждый в одиночку.

«Какого черта! — ругал я себя. — Дались нам эти собаки! Это просто — собаки. А мы — люди. И нужно было держать дистанцию. И все было бы хорошо... В телевизоре, как ни взглянешь, люди — живые люди! — гибнут, горят, падают под пулями. А тебе — ничего, пьешь чай... А из-за каких-то несчастных беспризорных псов ударяешься в скорбь, как старая дева!» — и сам не верил, что я прав.

Шлемка беззаботно бежал вперед.

Он лишь недавно научился расписываться, как взрослый пес, и теперь самозабвенно занимался только этим. Иной раз ему не

удавалось устоять на трех, как полагается, лапах, и пропись он заканчивал по-щенячьи, на четвереньках. Тем не менее и после этого долгом своим почитал ногу одну приподнять.

Я смотрел на Шлемку, и мне было стыдно, что я чувствую к нему неприязнь из-за его неуместной беспечности. Он-то, несмышленьши, чем был виноват?

Какой-то грубый звук остановил меня.

— Слышишь? Что это?

Чем-то тупым, раздирая, скребли по дереву.

Затем послышался тихий визг — досадливый и болезненный. Вновь заскребли...

—! — свистнул я. И вдруг по наитию крикнул: — Братишка!

Из-под забора появился Братишка.

Подбежал к нам, виновато пригибаясь к земле и несмело почему-то виляя хвостом. Он успел очень исхудать и вообще выглядел странно.

— Жив! — услышал я за спиной счастливый вскрик жены. — Я же знала, что ты жив!

Братишка не дал нам как следует порадоваться его чудесному появлению. Рассеян был, отчужден.

Поприветствовал нас кое-как. Снова нырнул под забор.

Я перелез через ограду и пошел следом.

Вот в чем дело! Братишка когтями, зубами, снова когтями пытался расщепить толстенный брус под дверью дома. За дверью, призывно повизгивая, сидела взаперти Альма — старая двенадцатилетняя сука, к которой Братишка воспылал вдруг любовью.

— И все три дня ты занимаешься э т и м? — спросил я с сочувствием. Дело, которое он затеял, было заведомо безнадежным.

Братишка, тоскуя, завизжал, снова бросился на приступ.

Я осмотрел его лапы. Все подушечки были в крови. Вот это страсть!

— Ты бы хоть, сукин сын, на минутку забежал к нам показаться! Разве ж можно себя так вести?

Братишка слушал рассеянно, запаленно водил худыми боками.

— Я бы, конечно, помог тебе, индеец Джо. Как мужчина мужчине. Но, видишь ли, я не уверен, что Лешка Семенов

правильно истолкует взлом своего дома. (Лешка был хозяином Альмы и раз в неделю приезжал кормить ее.) И вообще, на кой тебе леший эта старуха?..

Братишка глянул кратко и красноречиво. Много ты, дескать, понимаешь... Снова принялся за свой вдохновенно-мучительный труд.

Если бы он знал, бедолага влюбленный, что дверь-то в дом вовсе не заперта! Она просто плотно прихлопнута (это уж потом Лешка мне рассказал), и стоит только Альме ударить изнутри лапами — ничто не будет мешать их собачьему счастью!..

Альма, однако, старая кокетка, вовсе не спешила облегчать Братишке жизнь. Знай себе поскуливала, ввергая и без того осатаневшего поклонника в еще большее неистовство.

Провожать нас Братишка, понятно, не пошел. Но мы и не обиделись даже. Нам достаточно было знать, что он жив-здоров, что с ним все в порядке. Все в порядке, стало быть, будет и у нас.

Возвращаясь уже совсем поздним вечером из Москвы, я свистнул, проходя мимо Лешкиного дома. Братишка возник.

— Пойдем, герой-любовник, поешь хоть чего-нибудь! Никуда твоя принцесса не денется, не бойся.

Он согласился. «...Но только если по-быстрому...»

Ему мерещились, видать, какие-то жутко нахальные соперники на крыльце у Альмы. Он едва-едва смог дождаться, пока еда разогреется. То и дело с тревогой вслушивался в темноту.

Он был, без сомнения, зверски голоден, но миску свою не доел — снова помчался к дульцинее.

А я-то хотел посидеть, поболтать с ним — о его хозяйке, которую я только что оставил, дрожащую и нервно подхихикивающую от страха, в Москве, о том, как тяжело ей, наверное, будет, и как мне жалко ее, и как по-сволочному все-таки устроено все в жизни моей, если я не могу быть с ней рядом даже в такие дни.

Чем закончился Братишкин роман с Альмой, не знаю, но уже на следующий день к вечеру он прибежал и был со мной безотлучно до самого моего отъезда. А когда мы по два раза в день стали ходить с ним на станцию звонить в Москву, то мимо Альминого дома он рысил с видом полнейшего равнодушия и даже, может быть, презрения.

В один из таких походов он и показал мне место гибели Джека.

Джека, должно быть, заманили в густой кустарник, на бугре возле железной дороги, и тут убили. А может, убили где-то в другом месте, а сюда — спрятались, чтобы обделать свое торопливое жалкое дело.

С тех пор прошло много снегопадов, но вороны не давали снегу погresti под собой Джека. (Через месяц, когда стаяло, я пришел с лопатой и сделал могилу.)

— Скажи мне, — заговорил я с Братишкой. — Мне не дает покоя одна мысль. Почему в тот вечер Джек вел себя так тревожно? Помнишь? — было впечатление, что он куда-то торопится. Ну ладно, согласен, ему всегда было куда торопиться. Но почему, скажи, он так обреченно скулил в тот вечер? Он знал, что с ним должно произойти?.. И еще скажи, только честно, почему в тот вечер ты не пошел вместе с ним? Ты — тоже знал?

Братишка хмуро трусил чуть впереди. Несомненно, слушал меня, но отмалчивался.

Какой прок, думал, наверное, он, объяснять человеку то, что и не всякой собаке объяснишь...

...как падает вдруг на все окрест предгрозовый свет угрозы...

...как вдруг все в страхе видят: жестокое светлое око шарит взглядом по земле, выискивая жертву, и все живое в этот миг в страхе прижимает уши и старается стать незаметным...

...как зрачок этот убийственно и спокойно останавливается на ком-то, как остановился на Джеке, и тотчас — черная тень, как прозрачный дым, окутывает его, и он принимается скулить, и издает жалкий запах, и все разбегаются от него, отрекаясь, потому что теперь на нем знак и куда бы отныне он ни устремлялся, — это все равно будет лишь приближением к неминуемой гибели...

* * *

Все в том же задрипанном румынском пальтеце он все так же зяб на том же кривеньком хлипком ящичке. Будто и дня не прошло с нашей первой встречи.

За это время он успел сломать себе ногу. Толсто обмотанную тряпьем ступню с привязанной к ней галошей он бережно и гордо покоил на далеком от себя отлете и время от времени с

признательностью посматривал на нее.

Несомненно, что и обладание новеньким, лаково блестящим костылем тоже доставляло ему удовольствие.

Он не забыл нас. Тотчас заулыбался дырчавым нищенским ртом.

— Собаськи! — Было заметно, как он старается, чтобы голос его звучал как можно глумливее. — Собасеньки! А у вас... — он взглянул мне в глаза чуть ли не с насмешкой. — А у вас вроде бы и другая еще была? Я помню... Неужели подохла? Ай-яй-яй, какая беднязеська!.. —

и все цапал, почти не глядя, своими багрово-синими клешнями то Братишку, то Шлемку, которые, конечно же, весело сустились возле него.

— А черненький тоже хорош... когда подрастет... — наговаривал он явно в расчете на мой слух. — Ну, иди-иди, Цыган! Тебя ведь Цыган звать? Не уберезет тебя хозяин, ой не уберезет...

Я смотрел на бича и ничегошеньки не испытывал к нему, кроме тоскливой муторной жалости, от которой и зябко и скушно становилось на сердце.

— ... А может, его на шапоську израсходовали? — вспомнил он о Джеке. — Я же вам честно говорил, слушаться надо было.

— Рубль хочешь? — спросил я грубо.

— А как же, командир? Всегда готов!

— Выпей за упокой Джека. Ту собаку Джеком звали.

— В обязательном порядке! Не извольте сумлеваться! — он затараторил все в том же зло-шутовском тоне, но, без сомнения, очень обрадовался рублю. — За упокой души! Как приказано! За упокой Цыгана! — бу-сделано, бу-исполнено, премного благодарны, командир!

Телефон они опять доломали. Трубку вырвали вместе с проводами.

Черт бы, что ли, подрал этих юных техников, коли отцы родные не дерут!

А звонить было надо. Я был уверен, что именно сегодня, больше чем когда-либо, надо позвонить.

— Пошли, ребята, домой — сказал я собакам. — Сегодня я вас покину. Можете обижаться. Можете жаловаться (благо, есть кому: завтра приедет Закидуха), но я вас покидаю.

Уже одетый для Москвы, я стоял у крыльца и ждал, когда собаки доедут.

Я знал, что скоро опять вернусь сюда. Но было отчетливое чувство, что я — прощаюсь. Зима кончилась. Завтра все будет по-новому.

На платформе Братишка встал, положил передние лапы мне на живот, прижался мордой к полушубку и долго, тихо стоял, слушая, как я глажу его по голове и ласково наговариваю:

— Брат,— говорил я ему,— братишка мой лопоухий... брат мой...

Загудел у переезда поезд. Братишка быстро поднял голову и посмотрел мне в лицо. Горе мелькнуло в его глазах.

Нагрязнул поезд. Я спустил Братишкины лапы на землю, вошел в тамбур.

Я боялся, что в последний момент он вскочит следом за мной. Но он стоял и смотрел — неподвижно, укоризненно и печально.

... В Москве, в гулком, промозглом, как погреб, вокзальном тоннеле я нашел телефон.

Долго разыскивал по карманам двушку, наконец отыскал — мокрую, облепленную табачными крошками. Позвонил.

Было занято. Я снова набрал номер. Разболтанный телефонный диск ходил в гнезде полукруглыми, плавно-корявыми движениями; трубку сняли, и я узнал, что сегодня родился мой сын.

*пос. Заветы Ильича,
зима 1983/84 г.*

ПОКОЙ И ВОЛЯ

Колька родился в марте, шестнадцатого числа, в серенький тусклый подслеповатый денек, и весь март месяц этому дню подстать — хоть воем вой, хоть лирику пиши, хоть анонимку от лица народа на вредительскую деятельность Ю.Израэля, преступно стоящего во главе Гидрометцентра.

И даже когда настал день исторический — когда в вестибюле роддома №20 появилась красавица-нянечка с красавцем-кулечком на руках, а следом и долгожданная жена моя, бледная, замученная, незнакомыми мне заботами уже заметно-боязливо озабоченная, — даже и в тот, вполне знаменательный день погода не расстаралась. Все так же надоедно сыпал пасмурный мокрый снежок, все так же под ногами что-то желто чавкало, и разливанно стояли жирные от талого снега лужи. Народ дружно шваркал носами, народ остервенело чихал, зло щерясь на небо, а по улицам брел, еле волоча ноги, как вконец заблудившийся, как вконец потерявший надежду Жить мы вознамерились у матери жены.

Нам отвели симпатичный чуланчик с тусклым оконцем, тупо упертым в шелудивую стену соседнего дома. Свет в чуланчике горел, как ворованный. На малиновых обоях были нарисованы бурые с позолотой розочки. Колька разомкнул вежды, глянул на розочки и — горестно заорал.

Спать мне постелили на полу. Среди ночи я слушал, как по мне ходят, то и дело говоря: «Ой, извини!», и думал о том, что с меня уже хватит, пожалуй, городской коммунальной жизни, что наутро, пожалуй, в самую бы пору уже и тикать. Молока у меня не было (как, впрочем, и у нее), в доме толклась чертова уйма женщин, жаждущих помочь Леночке и «маленькому», — так что

тикать я мог с относительно чистой совестью. Никто и не подумал меня упрекать. Меня вообще, по-моему, мало кто замечал.

Я дал жене последние ценные указания, как надобно правильно пеленать детей, я полюбовался в последний раз на важного китайчонка в кружавчиках — он был несомненно красавец (если не обращать внимания на нижние конечности) и несмотря на возраст несомненно даровит, по крайней мере в той области знаний, которая требуется для мочеиспускания; я поцеловал жену, тещу, трех сестер жены, бабушку, бабушку, соседку, заодно и дочку соседки, и — сделал, как нынче говорят, ноги: в поселочек наш ненаглядный, поскорее готовить хоромы наши к тому обстоятельству, что под их кровлей отныне жить будет еще один, очень важный, хотя и очень молодой человек по имени Колька.

Мы с женой удивительно согласно и быстро порешили именно так: в городе сын наш жить не будет. Мы не звери.

... А за городом, само собой и сама собой, тоже шла весна. Только в отличие от Москвы творилась она тут куда как опрятнее, неторопливее, пристойнее.

Снег в лесу лежал, чудилось, совсем нетронутый. Издали он казался совсем зимним, чистым, но только издали. Вблизи — это было грубо кристаллическое, до последнего уже предела набрякшее влагой нечто, мелко замусоренное хвоинками, чешуйками, древесной бежево-нежной пудрой, уже и не на снег похожее, а на злую коросту. И даже там, где наст проламывался, вы обнаруживали что-то, на снег уже не похожее — порошкообразное, беленькое, с готовностью превращающееся в перстах в нежный хлюп.

Он уже не скрипел, этот весенний снег, только шуршал. И даже когда подмораживало, звук им издавался вовсе не зимний — не хруст, не хруп, а раздраженный игольчатый треск не льда даже, а ледяной как бы слюды...

Было весело неуютно, тревожно на сердце.

В небесах, постоянно пасмурных, теплых, тоже было неспокойно.

Облачная рвань все куда-то поспешала: то сгущаясь в непроглядные мрачности, и тогда опять принимался сыпать снежок, то наверху вдруг легчало, и тогда казалось, еще чуть-чуть, еще самая малость, и грянет солнцем!

Пришел апрель, и уже в первой его неделе выдались кряду

несколько дней совсем уже светлых, благостно теплых, покойных.

Мощный ток тепла сквозь тоненькую туманную кисею принялся бить настойчиво и упорно. Снег расквасился и поплыл.

Ну, а еще через пару дней небеса в одно прекрасное утро окончательно приподнялись, засияли синевой и — солнце ударило!

С зимой, даже с воспоминаниями о зиме, было покончено в считанные три дня.

Между тем, словно бы не в силах остановиться, солнце продолжало все палить и палить, и вот тогда-то (москвичи помнят тот год) чуть не в середине ли апреля установилось лето.

Все, чему полагалось распуститься, мгновенно распустилось и ударилось в торопливый рост. Все, что должно было зацвести, буйно зацвело. В цвет, казалось, пошло даже и то, чему полагалось бы по всем законами расцветать лишь в июне.

И вот тут-то жена моя, которая во время редких моих приездов поднывала вполголоса: «Может, поедем?..» — поднывала скромненько, с оттенком даже боязливости: «Может, поедем, а?..» — тут уж она возопила с запредельным уже отчаянием: «Едем! Я тут больше не могу. Едем!»

И вправду — оставаться по доброй воле в этом городе в такую погоду мог только очень уж извращенный самоизвер.

Мы были хитрые. Мы в крестные отцы Николаю выбрали, оказывается, автовладельца. Таинство крещения было у него еще свежо в памяти; за бензин мы обещали заплатить, выпить-закусить посулили — и вот уже через день покатали домой. «Домой» — именно так, бездомные, мы и говорили теперь друг другу о теткиной халабуде, в которой отзимовали зиму.

Мы летели в машине, и в нас на все лады распевало ликующее чувство благополучно совершенного побега.

Березовые рощи по сторонам от шоссе по-воскресному зеленели. Было жарко, как летним летом.

Из боязни сквозняков окна в машине было приказано не открывать. Мы обливались потом.

Из одеял, которыми был закутан Колька, несло доменным жаром.

Сначала он, видно, думал, что это так и надо, и первые пятнадцать верст только кряхтел и досадливо вертелся. Потом он догадался, что так не надо, и другие пятнадцать оскорбленно проорал, прервавшись лишь на пару минут испить водички.

Когда наконец мы прибыли и распахнули дверцы, и выползли наружу, и когда наконец нас обступил, обнял, приветил несказанно сладкий, спокойно-радостный, добродушнейший воздух загородного полудня — Колька тотчас же, словно бы в недоумении, умолк.

Я заглянул в одеяла: спит?

Нет, он не спал. Он очень сосредоточенно, очень вдумчиво и проникновенно — ды ш а л.

Его быстренько переобернули в сухое — он серьезно молчал. Дали поесть. Он с жадным свистом опорожнил бутылку, маленько поглазел на небеса пьяненьким от сытости взором и проворно заснул — прямо в коляске, тут же в саду — всем видом своим являя убедительное олицетворение абсолютнейшего довольства жизнью.

Мысленно я тоже улегся рядом с ним, навзначь, и поглядел на мир. Он был прекрасен.

...Я лежал как бы на самом доньшке мира. Мир был синий и зеленый, а от стволов сосен, длинно и косо растущих в небо, еще и янтарно-золотой.

Мир был спокойно просвечен рыжим неспешным солнечным светом.

Неостановимо и неустанно шумело все вокруг — как в раковине, прижатой к уху. Поспешая, шла в рост трава. Лопались все новые и новые почки, и всякий листок, едва выпроставшись из глубокого утеснения, тотчас возглашал о себе как бы крохотным вскриком — новеньким зелененьким зарядиком едкой свежести.

То и дело на цыпочках пробегал по саду осторожный теплый ветерок — нежный пуховкой обмахивал щеки сына.

Над коляской, как опахало, по-матерински покачивалась смородиновая ветвь, вся уже в небольших лаковых резных листочках — впрядала в сияющий серебристый ток воздуха, слоняющийся над коляской, длинные пряди, празднично дразнящие носопырку нашего сына абсолютно новехонькой для него новизной.

Я отчетливо представлял, каково хорошо ему сейчас в этом саду — в этой обжитой уже коляске, в тепле, уюте, сухости и благости — и мне тоже сделалось хорошо и спокойно.

— Здравсте! — сказала жена. — Давно не виделись.
Неизвестно откуда возникла Киса.

Коротенько потерлась о ноги каждого из нас, мурчанием обозначила, что нашему приезду рада. Тотчас же, ясное дело, получила кусок колбасы, остервенело расправилась с ним и вспрыгнула на посылочный ящик возле входа.

Уселась и принялась рьяно умыться.

Мы будто никогда и никуда отсюда не отлучались.

Сидели рядышком на ступеньке, уже изрядно пригретой солнцем, и просто — смотрели, насыщая взгляды, все еще не состоянии насытиться.

Жена уезжала отсюда в мозглый, пасмурный, почти совсем еще зимний мартовский денек. А вернулась — сразу же в лето. И вот, то и дело постанывая от наслаждения, все вздыхала — не могла навздыхаться на тутошнюю красоту.

Не Бог вещь какая была красота. Однако что могло быть прекраснее и целительнее для наших, все еще запорошенных городской пыльной серостью глаз, нежели яично-желтый праздничный крап расцветших одуванчиков на мокром изумруде пылко и юно зеленеющей травы?..

Мы тихо сидели рядом, не сильно прикасаясь друг к другу плечами и слушали и слышали, как нас покидает, как из нас с покорной готовностью испаряется городская толкотливая муть, место уступая тишине, свежести и покою.

— Ну, что? — спросила она с легким вздохом. — Давай жить?

— Давай жить.

И мы снова — но теперь уже как бы заново — стали жить.

В доме мы занимали две комнатки — те, что обогривались печкой. В одной — ели, читали, работали, травились телевизором, в другой спали.

Отныне большую и лучшую занял Колька.

Я утеплил там полы, настелив поверх досок еще и слой древесностружечных плит. Точно так же утеплил стены, для пущей красы обклеив их кусками обоев, обнаруженными в сарае.

Обоев одного рисунка и даже цвета никак не набиралось на всю комнату, и я наклеил их наугад — в стиле, быть может, модерн: одна полоса желтая, рядом — голубая, одна — рябенькая, другая — в цветочек, третья — кубиками... Получилось дико, но смешно.

По крайней мере, успокаивал я себя, это лучше, чем золоченые розочки на малиновом фоне. Кольке не будет скучно глазеть на этакую белиберду. Ну, а к тому времени, когда начнет разбираться, что к чему, глядишь, купим новые.

На пол я постелил еще и великолепный, старый толстый ковер, все в том же сарае обнаруженный. Он был, правда, в мазутных каких-то разводах и с белесыми следами плесени, но видит Бог, я и вымыл его и на солнышке посушил, прежде чем стелить.

— Это что? — спросила жена с привередливо-зловещими интонациями приемочной комиссии.

— Ковер. Ему же надо где-то ползать...

Она посмотрела свысока.

— А во сколько они начинают ползать, ты знаешь?

Я знал, но забыл.

— ...И неужели ты думаешь, что я позволю ему ползать по этому??

— Убрать! — последовал приказ.

— Яволь! — последовал ответ.

Но, в общем-то, приемка нового жилища прошла более-менее удовлетворительно. Я даже был удостоен похвалы и прохладного поцелуя в щеку.

Затем она принялась за дело сама: нацепила на окна занавесочки, неведомо откуда взявшиеся, что-то передвинула, что-то чем-то застелила, одуванчики в вазочку воткнула — ать-два! — и Колькина комната за пятнадцать минут вид обрела, как это говорится, гнездышка, чистенького и уютного.

Мне и самому нестерпимо захотелось вдруг забраться в зарешеченную эту кроватку, под белоснежный этот пододеяльник, и дрыхнуть там, и чтоб меня тоже кормили из бутылки (но из большой), и чтоб я тоже имел право, чуть что, безнаказанно и о чем угодно орать во всю глотку.

— Чего это он спит? Все спит и спит. Ему уже есть пора.

Мы сидели на ступеньках и терпеливо, хотя уже и с некоторой

тревогой, ждали Колькиного пробуждения. А он, дорвавшись до свежего воздуха, просыпаться, судя по всему, и не собирался.

Возле калитки раздалось движение, мы глянули и, разом заулыбавшись, увидели, как по дорожке со слегка виноватым видом припозднившегося гостя поспешает к нам Братишка, друг наш дорогой.

— Братик!

Он был искренно рад видеть нас.

Он даже слегка подскуливал от обуревающей его радости.

Хвост мотался из стороны в сторону с такой скоростью, что становилось боязно, не оторвался бы.

Он даже слегка приседал на задние ноги от радости, и он — улыбался! Весело, облегченно.

Давненько не видали мы Братишку столь откровенно ликующим.

Я-то с ним надолго не расставался, так что нечего было сомневаться: весь этот взрыв чувств адресован, конечно, жене моей — ее-то он не видел больше месяца.

У меня создалось впечатление, что он не просто скучал о ней. Он — переживал за нее, как-то по-своему, видимо, истолковывая ее отсутствие в доме.

Как пес деликатный он иногда и обо мне вспоминал. На секунду отрывался от лицемерия моей жены, походя лизал мне руку, боком облакачивался, а потом вновь — весь пыл своей радости обращал к ней.

Взаимной, что уж тот говорить, была радость. Братишку и трепали, и гладили, и обнимали, и целовали в уста.

Затем, натурально, появилась миска с городскими деликатесными недоедками. Братишка, натурально, пренебрегать миской не стал. Однако то и дело отрывался от еды, чтобы еще разок помахать жене моей хвостом и еще разок одарить ее нежным своим карим взором.

Пробудился Колька.

Но совсем не так, как в Москве пробуждался, а беззвучно.

Мы просто увидели, как закачалась коляска. Подошли.

Он не спал, а спокойненько созерцал все окрест.

— Погляди, Братишка! Это — Ко-ля... — с уважением произнесла жена. — Видишь?

Братишка глянул, но не слишком внимательно.

Колька заплакал, и жена засуетилась:

— Сейчас, сейчас! Сейчас, козлик мой! Сейчас ам-амочки будем!

Я посмотрел на Братишку.

Хвост у него был внимательно вытянут поленом, обозначая раздумье. Не отрываясь, он глядел, как жена моя бережно и нежно потрясывает возле груди драгоценный сверточек, как восхищенно, любовно, тревожно заглядывает в глубину сверточка этого...

Он был умный пес, наш Братишка, и он мгновенно все понял. Отныне, он понял, вся жизнь этого дома, все самое сладкое внимание в этом доме — вот этому крикливому кулечку.

Он не обиделся — что вы?! — он просто понял это.

Я неловко выражаюсь, но он как бы сразу переключил регистр наших с ним отношений с одной тональности на другую. Сразу переключил.

Жена унесла Кольку в дом пеленать и кормить, а Братишка спокойно улегся на крыльце, рассеянно, как на полупустое место, поглядел на зашипевшую вдруг Кису, и стал задумчиво глядеть в сад.

— Ну, что, Брат? — сочувственно спросил я его. — Такие вот теперь дела...

Он посмотрел на меня точно так же, как только что смотрел на Кису. Из вежливости, впрочем, слегка постучал хвостом по крыльцу. Смотрел в сад, будто сквозь неотвязное размышление...

Его хорошее к нам отношение не изменилось, совсем нет.

По-прежнему раза два на дню он появлялся на нашем крыльце, его ласкали и кормили, и радовались ему, казалось, по-прежнему. Но, как бы поточнее сказать, поубавилось пылкости в наших отношениях.

Волей-неволей внимание, которое обращалось на Братишку, к которому он привык и которого всегда искал у нас — ласковое это внимание хочешь-не хочешь было теперь остаточным.

Что тут говорить, мы не всегда и беспокоились, когда Братишка на день-другой вдруг пропадал. Раньше с нами такого не было. А он пропадал теперь довольно надолго и довольно часто. Впрочем, шло ведь лето...

А наша жизнь и в самом деле естественнейшим образом

вращалась теперь вокруг одной — единственной оси.

Мы очень быстро на собственной нежной шкуре убедились, насколько же это тяжкая, тягловая, занудная работа — растить ребенка. Именно — работа.

Мне-то — ладно. Мне не нужно было по два раза за ночь вставать и кормить его титькой (хотя с тем же малым успехом мог бы заниматься этим и я), а потом, насытив это прожорливое существо детолаком из бутылки, еще часа полтора со слезами и стонами сцеживать жалкие миллиграммики в кружку, свято и глупо веря, что капелюшечки эти насущно Кольке необходимы.

«Если пять грамм наберется, все равно — буду!» — чуть не плача, а иногда и плача, твердила жена, занимаясь этим самоистязанием. Ей почему-то ужасно стыдно было, что молока в ней кот наплакал.

Мне не нужно было вставать по ночам. Мне не нужно было целыми днями стирать пеленки и подгузники нашего мочеобильного отпрыска. Не нужно было варить, подметать, делать еще тьмущую тьму всякой иной рутинной домашней работы... Но даже и я, освобожденный ото всего этого вечно чувствовал себя невыспавшимся, вечно на каком-то нервном взводе — из-за ночных криков, из-за неугасающей, неуправляемой тревоги за благополучие и здоровье этого самовластительно воцарившегося в доме сварливого человечка.

Мы его не любили, нет. Он был просто болезненно-нежной частицей каждого из нас.

Все так. Но и радости, которые перепали нам теперь в галерном этом существовании, верьте слову, были дотоле не чувствованные, новыми, незнакомыми усладами преисполненные.

Вне зависимости от нас и наших желаний мир вокруг нас и внутри нас изменился.

Ну, к примеру, совершенно новая эстетика царила теперь в наших музыкальных пристрастиях...

Лучшей музыкой безусловно почиталась ныне музыка жадных, спешных, с утробным урчанием плотков, какими чудо-чадо наше, спеша и волнуясь, опрастывало бутылку с молочной смесью.

А апофеозой той музыки — это без шуток — был тот сладостный момент, когда ты брал на руки уже осоловевшего от

сытости, до полуобомления обожравшегося пантагрюэльчика этого и начинал носить его туда-назад по комнате — непременно вертикально — боязливо поддерживая ладонью его тщедушный, трогательно горячий затылочек, смотрел ему в лицо и ждал долгожданного: когда мутновато глянув тебе в глаза, он наконец-то благосклонно рыгал, и ты вместе с ним — именно, что вместе с ним! — испытывал в тот миг ни с чем не сравнимое наслаждение вызволения, освобождения от зряшного воздуха, которого обжора этот наглотался во время прилично жадной и поспешной своей трапезы.

Однако без всякого сомнения самой изумительной, самой мелодичной, самой глубокой и гармоничной музыкой была тишина спящего этого Господина, лишь чуть-чуть нарушаемая вкуснейшим причмокиванием, с каким смаковал он одну из излюбленных своих сосок — самую, как правило, на вид противную, аж до мертвенной бледности обесцвеченную бесчисленными мусолениями.

В этой тишине можно было наконец перевести дух и хотя бы поглядеть в глаза друг другу, изнуренно улыбнуться друг другу.

Братишка, прибегая к нам на крыльцо, подчеркнуто даже демонстрировал отсутствие какой бы то ни было обиды со своей стороны.

Никаких претензий он и к Кольке, тоже подчеркнуто, не предъявлял.

Когда того выносили в сад, Братишка оказывался рядом, и ему, естественно, показывали Кольку, говоря при этом: «Ну, поздоровайтесь», — Братишка старательно изображал... ну, если и не восхищение этим чудом природы, то уж, по меньшей мере, глубокую симпатию. Хвостом вовсю размахивал, норовил обнюхать (чего ему не позволяли), однако некая неискренность все же сквозила во всем этом. Он все же, думается, никак не мог взять в толк, чего же это они такого необыкновенного нашли в этом еле подвижном, неприятно крикливом человечке...

Он не переставал переживать, что тут сомневаться.

Однажды — наверняка в пику мне, а главное, в пику жене моей — появился к нам вдвоем с подругой, с Нюркой. Дескать, не на вас одних свет клином сошелся.

Мы едва глянули на эту пару и в один голос воскликнули:

— «Братишка женился!»

Ей-ей, трудно было подобрать другое сравнение, когда вы глядели на него и на Ньюрку. Точно, супружеская пара.

Причем было ощущение, с большим стажем супружеская пара, серебряную, по меньшей мере, свадьбу отметившая.

Я много видал собак на своем веку, но таких взаимоотношений между ними — тем более, между кобелем и сучкой — не могу припомнить.

Они были неразлучны. Вернее сказать, Ньюрка была безотлучно при нем.

Красотой она, честно сказать, не блистала. Тем более, рядом с белоснежным мощным красавчиком Братишкой. Черненькая, с ржавыми подпалами на боках, кривоногенькая, длинноухая и востроморденькая, она являла собой тип явной простолюдинки — причем, я бы сказал, слободской простолюдинки, — живущей замужем за «фабричным».

Братишка был с ней довольно пренебрежителен. Но позволял ей оказывать ему знаки внимания (беспреданно, не в силах сдерживать чувства, она норовила облобызать его, головку на плечико преклонить...) — позволял ей сопровождать себя всюду, кроме таких сомнительных с точки зрения супружеской морали предприятий, как собачьи свадьбы.

На свадьбы эти она отпускала его безропотно. На прощанье даже целовала в щеку. Дескать, что с тобой, с ветрогоном ненаглядным, делать? Иди уж. Я подожду...

И — ждала!

Женская гордость не позволяла вертеться на чужих свадьбах, а может, и по протоколу не разрешалось, — и вот, проводив Братишку, она ложилась и начинала ждать, ни на сантиметр не сдвигаясь с того места, где они расстались с супругом. Даже и кушала без охоты.

Лежала пригорюнившись, лупала вокруг глупейшими, светленькими своими глазками. Иной раз задремывала, размышляя, должно быть, сквозь сон о горькой своей бабьей доле.

А Братишка, надо отдать ему должное, всегда за ней возвращался.

Ньюрка радостно вскакивала ему навстречу, целовала, и они друженько убегали. Под супружеский, так и хочется думать, кров.

В этих совместных с Нюркой визитах я еще и некоторую Братишкину похвальбу прозревал: «Смотри, баба, как меня тут уважают».

...Странно двигалось для нас время в тот, начальный год Колькиной жизни.

Первые месяцы вспоминаются сейчас как тяжкий, занудный, жилы вытягивающий тягун. Конца краю, казалось, не видать этому ни на день не отпускающему, туло изнуряющему, тягловому усилию.

Первые месяцы были — как по грудь в воде. Против течения.

Не помню уж почему, но мы постоянно твердили друг другу: «Погоди. Вот три месяца исполнится, полегче будет...»

То ли с трех месяцев каши можно будет давать, то ли что-то еще, не менее замечательное ожидалось, не помню.

И, как ни странно, месяца через три и в самом деле — полегчало.

Вряд ли в кашах дело. Хотя, быть может, и в кашах. Я-то думаю, что за этот срок мы уже втянулись, притерлись к хомуту, попали в тот мерный монотонный ритм, который единственный и был нужен для нового уклада жизни.

И только тогда дружно и согласно заскрипели уключины, только тогда галера наша пошла, хоть и грузно, но уже заметно ходко.

А мы новое уже повторяли друг другу: «Погоди. Вот скоро полгода исполнится. Совсем взрослый будет, легче будет...»

День полугодового юбилея грянул, а мы и не заметили, как дожили до него. Впрочем, шло ведь лето, и время бежало полетному, под уклон.

Ну, а затем обступили холода. Время опять пошло нога за ногу.

Зимние досады стали во множестве досаждать. Пеленки не сохли. Стирать жене приходилось на террасе, считай на улице. (Ужас был глядеть на ее голубеющие от стужи пальцы!)

Баллонный газ уже при минус пяти гореть отказывался.

Пришлось свистать всех наверх, перестраиваться, пристраиваться, прилаживаться: вставили вторые рамы на террасе, приспособили мощный армейский электрокамин для обогрева, обзавелись маленькой газовой плиткой, чтобы готовить в комнате...

И опять заскрипели уключины, и опять время пошло, хоть

и гораздо более натужно.

В январе-феврале оно, как водится, и вовсе замерло.

Живешь-живешь, упираешься, рвешь жилы, а оглянешься на календарь — всего-то навсего неделя прошла. По прошлому зимованию мы уже знали про этот фокус. Молча, стиснув зубы, претерпевали эту мертвую точку.

Ну, а потом — потихонечку, полегонечку — уже навстречу весне — время вновь зашагало поживсе, все шире в ногу и веселее. В иные, особенно в солнечные недели чуть ли не бегом припускалось.

Однако не всякую же минуту мы сидели, весь слух свой и взоры оборотив к колыбельке? Конечно же, нет.

Природе нет никакого резона за появление каждого нового младенца расплачиваться появлением в мире двух свеженьких неврастеников — родителей. Именно поэтому она, природа, строжайше предписывает младенцам, особенно в первые их месяцы, спать как можно дольше и чаще с единственной, я уверен, целью, чтобы их не очень умные и очень уж пылкие родители окончательно не свихнулись от хронического недосыпа и чересчур уж психического переутомления. Чтобы они могли, хотя бы время от времени, дух перевести, оглянуться вокруг и увидеть, что вокруг-то Мир Божий и, ей-ей, это не самый худший из миров.

Мы уже вжились в эту природу — мы здесь жили. И совсем по-иному гляделось все вокруг.

Вокруг нас была, вот что я вам скажу: р о д н я . И эти сосны — родня. И сизый от старости забор — родня.

И вертлявая речка-ручеек серебрянка, и лес зарекой — родня.

Мы были здесь свои, и жили — среди своих. И необычайно отраднo чувствовать нам это было, бездомным в сущности.

...Мир, как мог, благоволил нам.

Нам иной раз даже не по себе становилось, насколько ненавязчиво складно все образовывается: и с питанием для Кольки (при том безобразии, которое и в те времена царило с этим продуктом, нам почему-то ужасно везло: мы что-то случайно покупали, кто-то где-то нам случайно доставал...) и с поликлиникой для него повезло (мы, строго говоря, не имели права на здешнее медобслуживание, ибо были не местные, но случайно обнаружилась у подруги жены какая-то милая облас-

тная медначальница с милым именем Аргентина, ей позвонили, она позвонила, и все утряслось...) и с погодой везло.

Добродушнейшая погода стояла в то лето в нашем поселке.

После необыкновенно жаркой и бурной весны наступило обыкновенное, в меру теплое, в меру дождливое, самое что ни на есть классическое, без каких-либо катаклизмов, лето, будто бы специально предназначенное для того, чтобы Колька с раннего утра до сумерек пребывал в саду, здоровая день ото дня и мордея.

Бывали и дождички, но вовсе не злые, не наводящие хмуры на сердце, а легонькие, пусть иногда и довольно затяжные, но все же светлые.

Нам не легко жилось, что говорить, и на то были свои причины. Но мир, окружавший нас — и я всю жизнь буду с благодарностью помнить об этом — благоволил, как мог, нам, двум своим детям, неумело и старательно растящим крохотное чадо-чудо свое...

Каждый день в десятом часу с отчетливым ощущением совершаемого дезертирства я оставлял жену один на один сражаться с многоголовой гидрой домашнего хозяйства и отправлялся в сарай, где поджидала меня старенькая пишущая машинка «Мерседес» — на колченогом столе в завале исписанных листов, в окружении блюдец с окурками и чашек с окаменелой дегтярно-рыжей чайной гущей на донцах. Там, если было холодно, я затапливал железную печку (если стояла жара, распахивал окошко) и охая, стелая, кряхтя, садился за стол.

Я, видите ли, писал.

Я, видите ли, решил во что бы то ни стало продрасть в сплоченные ряды российских изящных словесников.

Здесь-то лежала одна из главных причин нашей трудноватой жизни.

За первые три года нашей с женой жизни (теперь-то можно признаться) я не заработал и сотни рублей.

Я сидел в сарае и часов по десяти брэнчал на лире. Причем отчетливо ясно было всем (кроме меня и моей жены), что брэнчать мне с этаким-то успехом до самого печального конца.

Первую повесть, написанную еще до рождения Кольки, отвергали во всех журналах с необыкновенным, прямо-таки даже трогательным единодушием.

Это сейчас повестушку ту прочитало миллионов несколько,

и перевели ее, милую, на иноземные языки, а тогда... А тогда от нее и ее автора шарахались, как от парочки прокаженных побирушек.

Первую повесть отвергли. Я утерся и отправился все в тот же сарай сочинять новую. Она тоже, как вскоре выяснилось, никому не была нужна.

Я снова размазал по чувствительной своей физиономии розовую юшку и вновь принялся колотить по разболтанным клавишам старушки моей «Мерседес». Старушка, хоть и жалобно брэнчала, но терпела. Она была железная. А вот как терпела все это жена моя?

Трудно было выбрать более неподходящее время для занятий изящной словесностью, чем те год-два. Я не имею в виду ожидание и появление Кольки — хотя и он, мягко говоря, совсем не споспешествовал мне в моих письменных занятиях.

Я имею в виду именно Время. Аховые были времена, кто не забыл, беспробудно глухие.

Редакторша, читавшая «Джека, Братишку и других», дойдя в тексте до слов «сука», хлопнулась в обморок. А обнаружив, что одну из наших собак звали Шлемка, аж задрожала губами и спросила зазвеневшим от слез голосом: — Вы хотите, чтобы наш журнал обвинили в шовинизме?

— Мало того, что в шовинизме, — отвечивал я, — но еще и в русофобии — другого-то пса зовут Федька. А еще вас обвинят в злостном намерении подорвать нежные англо-советские отношения, поскольку один из главных-то героев — Джек! — так отвечивал я не без яда, но, как сами понимаете, мысленно, рукопись жестом забирал гордым — жестом уже привычным — и первым делом глядел, много ли пометок на полях.

Пометки те я старательно, со змеиным шипением на устах уничтожал ластиком, прежде чем нести детище свое на очередное поругание.

Меня тошнило от этих пометок. Я все бился в поисках ответа: «Или это я такой умный и талантливый, или это они — такие тупые и бездарные?»

После того, как один из журнальных судей бестрепетно и жирно исправил в моем тексте пушкинскую строку: «А знаешь? Не велеть ли в санки Кобылку бурую запрячь?...» — мне все с ними стало ясно.

Это я — умный, а они — дураки.

...Времена для сочинительства были аховые, обстоятельства жизни — аховые. Я тем не менее ежедневно сидел в сарае и писал-писал-писал — до отвращения, до болей в позвоночнике, до мозговой тошноты.

Спросите у жены, какого цвета я бывал, когда выползал наконец из приюта муз и вдохновения на свет Божий. Я был с лица зелененький. Иногда, для разнообразия, желто-зелененький.

Объяснение этому самоистязательному героизму было простейшее. Просто-напросто в один не особо прекрасный день я с последней ясностью осознал: «Или сейчас, парень, или — никогда!»

Можете считать, что это мне Г о л о с был, именно с такими беспрекословными интонациями: «или — или...»

В биографии каждого, кто вознамерился литераторствовать, такой вот момент неминуем. И один лишь Бог знает, сколько писательских судеб пресекалось именно на этом, самом изуверском этапе — я называю его «этапом игольного ушка». И, что самое занятное, от тебя самого (кроме, разумеется, каждодневного исполнения каторжного урока, кроме наличия способностей каких-то и пр.) — в это время ничего не зависит. В эти моменты судьба твоя целиком зависит от близких тебе людей.

Вот и в тот год, в те годы, тонюсенькую нить моей писательской будущности держала в своих, слегка подпухших от бесконечной стирки перстах, моя нежная, моя умная жена.

Если бы она, хотя бы единожды, намекнула мне, что финансового проку от меня, как от нее грудного молока, — о! я мгновенно бы выбрал второе «или» и забросил бы к чертовой матери письменные эти занятия! — с облегчением бы забросил, ибо я ковылял по ухабистой той тропе едва не из последних уже сил, едва ли земло не паша ноздрями. Но ни единого попрека, но ни единого намека на попрек я от нее не дождался.

Она в меня верила.

Одним из самых больших грехов на свете она почитала грех уныния и потому, как могла, и во мне укрепляла веру. Вы не поверите, но она не позволила мне выстирать ни единой пеленки, ни единого подгузника. Это — не мужское дело, давала она понять. Твое мужское дело — сидеть в сарае и писать.

Чего уж тут удивляться, что в конце концов я сделал то, что в общем-то не могло быть сделанным в утрямые те годы: я — таки

продолбился своими повестушками сквозь замшелые трудно-доступные стены манившего меня тогда литературного острога.

В одиночку никогда я бы не сумел этого сделать.

Мы никогда никому ни на что не жаловались.

— Как поживаете? — спрашивали нас.

— Прекрасно! — отвечали мы.

Есть хорошая человеческая гордость — с такой вот неизменностью и не всегда искренней бодростью именно так отвечать на подобные вопросы.

И пусть жизнь твоя не вовсе прекрасна, и пусть сам ты не в полном порядке — в сомнениях, в поражениях, в досадах, в раздрае от несправедливостей, которым конца краю не видно, — и пусть дом твой нищ, и пусть стол твой убог, и ботинки в дырах, и нет денег не только пачку бумаги купить, но даже и пачку сигарет — все равно отвечай:

«Прекрасно!» — и выиграешь от этого только ты.

Поражения начинаются с уныния. Ищи азарт в пресоборении. Верь! Никогда еще не бывало, чтоб за веру не воздавалось по полной мере.

Душе вашей противно, понимаю, но все же почаще избегайте воображением сцены вашего у х о д а с этой земли, из этой жизни. Гладите почаще о т т у д а, с последней той точки на нынешнее житье-бытье — много спокойствия обретете.

Не заноситесь в претензиях. Не унижайте себя, но и не требуйте непомерного себе.

Этот мир не вы создали. Этот мир ничем вам не обязан. Вы не первые на этой земле, и вы не последние.

Предназначенное вам исполните — это ваш долг Миру, в который вас пустили из непонятной, неслышанно щедрой милости.

Этот Мир — для радости. Не унижайте себя проклятиями. Не разрушайте себя унынием.

«Как жизнь?» — спросят вас.

«Прекрасно!» — отвечайте. Вы даже не подозреваете, насколько вы правы и правдивы в таком ответе.

Время от времени в нашем окружении, среди меньших наших братишек и сестреноч появлялись новые персонажи — иной раз весьма живописные. Например, Чанга.

Мы звали ее «актриса императорских театров».

Это была старая-престарая сука — вульгарно ярко-рыжая,

словно бы хной поверх седины крашенная — длинношерстная, со смутными признаками ирландских сеттеров в родословной, но малорослая, с кудрым почему-то хвостом — необычайно тихая, как бы даже пришибленная к земле чересчур уж долгой своей жизнью — с прекрасно-печальными умными все понимающими глазами в светлых ресничках. У нее был хозяин. Хозяина звали Рустем и был он — натура, если и не сказать, что артистическая, то артистически-безалаберная, это точно.

На исходе каждой весны он приезжал в поселок с неукротимым и буйным намерением наконец-то начать строительство нового дома — взамен вот уже многие годы дряхлеющего, медленно погружавшегося в землю.

Однако каждую весну стройка эта по роковому стечению неизменных обстоятельств обязательнейшим образом затихала, едва начавшись. Уже на стадии вбития кольшкков в землю.

Должен засвидетельствовать (да и все подтвердят), что из Москвы Рустем являлся всегда во всеоружии: каждый раз имея на руках подробнейший, аж в рисунках акварелью, в дотошных чертежах проект будущего своего строения. Он был архитектор. Он даже, случалось, и макеты привозил завтрашних своих бунгалов. Сделанные со строгим соблюдением масштаба из крохотных пенопластовых кирпичиков, с игрушечной даже мебелью внутри — они чудо как замечательны были! Сердце радовалось за Рустема, который жить будет в этаким-то уютном великолепии.

Но, как сказано, увы. Всякий раз что-то... нет уж, будем точны, кто-то (друзей у него было пруд пруди) — уже на пороге нулевого цикла заглядывал на огонек в творческую лабораторию Рустема и — все тут же заканчивалось, заканчивалось единообразно — арией Каварадосси из оперы Дж. Пуччини «Тоска» — печально-точным симптомом того, что Рустем принял внутриутробно никак не меньше семисот миллилитров. И бельканто это радовало слух посельчан до начала лета. По осени рецидив строительной лихорадки постигал Рустема вновь. Он брал на работе отпуск. Он громогласно и персонально каждому объявлял о своей приверженности сухому закону и с остервенелым вдохновением принимался копать по тщательной разметке яму под фундамент и, главное, под погреб нового своего дома.

Погреба были слабостью Рустема-архитектора.

Они-то, смею предположить, и губили каждый раз на корню

все его замечательные начинания.

Каждый его проект всенепременно предусматривал наличие глубокого, казематного типа подпола, в котором предполагались: кухня, место для хранения сельхозпродукции, душевая, мастерская по ремонту чего-то, студия, где в подземной тишине хозяин мог бы создавать зодческие шедевры, лаборатория для опытов в области органической химии (его, в частности, интересовало, что за таинственный продукт получается в результате возгонки перебродившей смеси сахара, дрожжей и воды), помещения для хранения коллекционных вин, марочной браги и пустых бутылок, туалет и что-то еще, не помню, кажется, вертолетная стоянка...

Итак, естественно, Рустем начинал с котлована для будущего погреба. Отпуска ему аккурат хватало на эту яму, всегда просторную и глубокую. Волей-неволей всю остальную работу приходилось откладывать на следующую весну.

Рустем укреплял стенки бункера спинками старых раскладушек, бросал последний полководческий взгляд на фронт работ и убывал.

К весне, натурально, яма, несмотря на раскладушечную защиту, напрочь заплывала глиной. И все по новой весне надо было начинать вновь и на новом месте.

Весною, весь погружен в творческие замыслы, да и осенью, уезжая в Москву, Рустем о Чанге, как правило, забывал. И она не столько от голода (ела она по-старушечьи мало), сколько от отсутствия общества перекочевывала жить на крылечки соседских домов.

В тот год она обосновалась у нас.

Киса, понятно, пошипела для порядку — Чанга устроилась рядом с ее посылочным ящиком, — но быстро успокоилась. Впервые, Чанга по ветхости своей была уже как бы и не собака. А во-вторых, Киса в то лето была уже не та, что раньше: она ждала котят.

Так что они вполне мирно и вполне добрососедски лежали теперь полеживали рядышком на крыльце, одинаково благодушно жмурясь на солнышко.

Чанга была собака кроткая и потрясающе преданная ветреному хозяину. До холодов оставаясь у нас на крыльце, она глаз не сводила с соседнего участка, и при каждом появлении человека возле рустемовского забора мгновенно вздевала голову и начи-

нала с подслеповатой надеждой всматриваться, на всякий случай уже подергивая куцым своим хвостиком.

Ну, а когда Рустем или кто-то из его домашних действительно появился, бежала опрометью! Ничто не в силах было ее удержать.

Появления Кисиного приплода мы ждали с настороженностью и с некоторой даже опаской. В особенности я — уже имевший отвратительный опыт избавления от кошачьего потомства. Киса и всегда-то была существом не слишком любимым. Нас она, как мы подозревали, всего лишь кое-как терпела в доме. В преддверии же материнства она и вовсе превратилась в даму, совершенно надменную, людей ни в грош не ставящую. Ее уже и погладить-то было нельзя. С раздраженным шипом она выныривала из-под ладони и переходила сидеть на новое место, поглядывая на тебя при этом как на существо, в высшей мере бестактное и вульгарное.

Но в тот прекрасный жаркий день, о котором я рассказываю, она нас с самого утра стала безмерно удивлять своим поведением. Бродила за нами и с а м а напрашивалась на ласку, даже надоедала.

Было, как сказано, очень жарко в тот день, и в полдень жена с Колькой устроилась в саду под яблоней. Киса тотчас тоже неуклюже сползла со ступенек и отправилась к ним. Опять стала ластиться к жене нежно-назойливо, с требовательным, настырным мурчанием.

— Что это с тобой, Киса? — Жена не успела как следует и удивиться — тотчас вдруг другое вскричала: — Смотри! Она рожает!

Если она думала, что я брошусь к Кисе, то ошиблась. Никуда я не бросился. Что-то удержало меня. Любопытно, конечно, было, но таинство — есть таинство. Пусть это и с кошкой происходит.

Жена тоже глядела недолго. «Ничего интересного. Скорее, противно».

...Киса возилась на одеяле под яблоней с чем-то, уже пищащим, и вдруг мы увидели: с двух сторон сада, как два черных истребителя-пикировщика, несутся к ней Машка с Карпушей, две аккредитованные при нашем саду вороны.

— Кыш! — заорали мы на диво слаженным дуэтом. Нельзя было не догадаться, что все это может означать.

Киса метнулась к одной из ворон, совсем уже близко подскочившей, — та отпрыгнула. В это время другая — уже чуть было не ухватила котенка. Киса едва подросла.

Ясно было, как день — ей не справиться в одиночку с этой хорошо срететированной разбойничьей парой.

И вот тут-то всех поразила Чанга! С проворством, которое и предположить-то было невозможно в трухлявеньком этом создании, она скатилась по ступенькам, бросилась к яблоне, и тут мы впервые услышали ее дребезжащий, немощный, однако вполне свирепый лай. Женская солидарность оказалась куда как сильнее природной неприязни к кошачьему племени. Чанга тощей грудью встала на защиту Кисы.

Она гоняла их безостановочно и бесстрашно, издавая при этом что-то даже вроде рычания, и мы уже стали беспокоиться: как бы старушку нашу не хватил удар. Шибко уж рьяно предавалась она страсти и чересчур уж резво гоняла поганых тех стервятников.

Вороны быстро сообразили, что с наскоку тут вряд ли поживишься.

Расселись по ближним яблоням и стали хладнокровно ждать, когда притомится эта огненно-рыжая добровольца и когда юная мамаша, хочет не хочет, вынуждена будет перетаскивать куда-нибудь свое потомство. Трех котят, рассудили вороны, за один прием ей нипочем не перенести. И вот сидели ожидаючи — хладные, безжалостные, терпеливые. *

Даже и на меня, сколько ни кидал я в них палками и камнями, сколько ни махал руками, они не обращали внимания. Пару раз перелетали с ветки на ветку, и все.

Жена быстренько смастерила все в том же посылочном ящике мягкое гнездо для котят. Мы дождались, когда Киса управится с пуповинами и тщательно вылизет каждого из малышей, ну, а затем — собственноручно перенесли их в новое местечко для жительства, оставив таким образом в круглых дураках и Карпушу, и Машку. С матерной, не иначе, бранью они улетели.

Киса с неудовольствием и сварливостью замыкала, когда мы брали котят в руки (они напоминали мокрых, скушавших что-то кислое льят) — но особо не возражала, понимала, что другого выхода нет. Потом, уже в гнезде, снова их всех тщательно перелизала и сразу же принялась кормить, сразу же хищно прижмурились и сразу же со свирепым удовольствием замурлыкав.

Чанга изможденно взобралась по ступеням, искала, где бы приткнуться (ее место занимал теперь ящик с котятками), кое-как умостила и вновь стала лежать, даже ни разу и не взглянула, по-моему, ни на Кису, ни на Кисино потомство, спасенное ею для жизни...

То лето и та осень были последними в жизни Чанги. Глубокой осенью, почти уже зимой, она умерла — уже в Москве. Рустем как-то рассказал — аккуратно перед тем, как взять первое ля в избалованной арии, — как он тайком хоронил ее ночью в полосе отчуждения Окружной железной дороги, и как он чуть не плакал при этом.

Я вообще-то думаю, что — плакал. Чанга была верная, кроткая, умная собака и любила Рустема, как никто другой, и он-то знал об этом и знает.

...Сейчас он, ясное дело, занят постройкой нового дома. Поскольку сооружение многоэтажного погреба он отложил на неопределенно будущие времена, появился грандиозный шанс украсить нашему поселку исключительно замечательным архитектурным перлом. Я верю в это, несмотря на то, что армия Каварадосси нет-нет да и оглашает наши окрестности.

Колька много времени требовал от нас, что уж говорить. Но мы довольно быстро обнаружили, что если он не вредничает, не качает права попусту с единственной целью покрепче закабалить нас, то у нас даже и свободное время выпадает. Вечера, например, были наши.

Днем, когда он спал, по два-три часа выпадало тишины и спокойствия.

Опять же — когда он не спал, можно было отправиться куда-нибудь с коляской, благо путешествовать он любил, только бы потрясывало пошибче.

Один из самых длинных и колдобистых маршрутов был — к бабке-молочнице, Максимовне, которая жила на дальнем конце поселка и у которой мы стояли на молочном довольствии.

Молоко от Максимовны было прекрасное, причем чем дальше, тем прекраснее: корова у нее должна была к декабрю отелиться и продукт выдавала день ото дня все более напоминающей сливки.

Максимовна была старуха простая, добрая и только одним обладала крупным недостатком: она никак не могла взять в толк,

а чем я, милоч, занимаюсь... А поскольку (несмотря на то, что сын ее был врачом в «кремлевке») она страдала отчетливым склерозом, то я чуть ли не каждый день вынужден был мучительно мычать и краснеть вместо того, чтобы просто отвечать на простой вопрос: «Я че-то забыла... А ты кем работаешь-то, милоч?»

Именно во время одной из поездок к Максимовне Колька впервые произнес свое знаменитое: «Карр!» — с магнитофонной точностью отчетливо-хрипло передразнив каркнувшую невдалеке ворону, чем окончательно укрепил меня во мнении, что в коляске, которую я толкаю по раздолбанной дороге, валяется не иначе, как вундеркинд. (Жена, впрочем, не имела на этот счет сомнений уже с самых первых его дней.)

А первым полноценным, так сказать, словом, которое он изрек, было слово «полотенце». Именно так. Не «мама», не «папа», а «полотенце».

С тех пор я смотрю, как он растет и очеловечивается, с неким опасливо настороженным ожиданием. Согласитесь, человек, первым словом которого в этом мире было слово «полотенце», обещает черт-те в кого вырасти. Может быть, даже в члена какого-нибудь корреспондента. Может, даже в академика... Впрочем, не исключено, что это всего лишь будущий банщик растет.

Между карканьем и полотенцем был довольно долгий период, который мы условно называем «такен-бакен».

Я как-то придумал — чтобы Колька не скучал в одиночестве и чтобы попусту не отрывал никого от дел — ставить рядом с его кроваткой включенный транзисторный приемник. Ему нравилось.

Больше всего он уважал оперетки и трансляции из Кремлевского дворца съездов.

Выслушав очередную речь на очередном пленуме, он непременно вставал в кровати и, сотрясая ограждение ее, как, бывает, сотрясают трибуну, на полчаса раздражался темпераментной речью, всегда глубокой и яркой, даром что словарный запас оратора состоял из трех всего лишь слов: «акен», «такен», «бакен».

Главное, как вы сами понимаете, было не в лексическом богатстве, а в той силе партийной убежденности и страсти, с каким доклад произносился. — Такен-бакен (Товарищи)! Акентакен... (Позвольте мне...) Бакен-такен... акен-бакен! (Продолжи-

тельные аплодисменты.)

Тут я стал подозревать, что за решетками той кровати вовсе не вундеркинд растет, а обыкновенный демагог. Впрочем, не слишком-то и огорчился. По многим трудноуловимым признакам наступали времена говорливых глотников и, стало быть, за будущность сына можно было оставаться спокойным.

Мы тосковали по лесу.

Вокруг нас и так, считайте, был лес. Столетние сосны, ели, березы обступали дома вплотную. В Москве это называли бы не иначе, как лесопарком.

Но мы не об этом лесе тосковали, а о настоящем, о том, что начинался сразу же за Серебрянкой и мощной зеленой рекой тянулся на север вдоль железной дороги и где-то там, за Сергиевым уже Посадом сливался с дремучими озерами владимирских, ярославских, уже по-настоящему вековых чащоб.

Мы ужасно страдали, что уже не можем подняться часиков в пять, в половине шестого, когда весь сад в лучах еще невысокого и еще неотчетливого солнца, весь еще сумрачно, мокро зелен, хмуроват и как бы не вовсе еще проснувшись, подняться в столь непривычно ранний час и, делая спешные спорые движения, но — осторожные, дабы не разбудить домашних, быстренько собраться, с каждой потраченной на сборы минутой все явственнее ощущая в себе лихорадку спешки — оттого, что время уходит, что кто-то уже давным-давно в лесу, на ваших заповедных местах и, небось, уже косит косой в а ш и грибы, — в быстрой азартной спешке собраться, невнимательно глотнуть чаю и, оставив чашку недопитой, вдруг броситься прочь, схватив загодя приготовленную корзину, на дне которой нож, сверток с бутербродами, а на случай жажды огурцы вы рвете уже на ходу, слепо пошарив в градке, по-ночному наглухо укрывшейся под плотно сомкнутыми грубыми листьями, аж седыми от крупной едкой росы.

Шумно прогромыхивая сапогами — по кротко спящему поселку — такому прелестно опрятненькому, свеженькому, спящему словно бы в предвкушении праздника — самой короткой дорогой — к лесу!

С чувством все нарастающей спешки перебежать по мокрой от росы ржавой вагонной ферме, которая заменяет здесь мост, и наконец-то, отодвинув привычным жестом еловую низкую

ветвь, загораживающую вход в чащу, шагнуть на тропу, сразу бойко и маняще побежавшую из-под ваших ног в глубину нелюдимого еще леса.

И тут ты вдруг обнаруживаешь, что глаза твои начинают жить совершенно особенной, от тебя отдельной жизнью — обшаривают все вокруг быстро и жадно и зорко тем движением, каким шарит миноискатель по поверхности земли, — и главнейшее искусство искусного грибника именно в том и состоит, чтобы дать своим глазам и жить, и действовать, как им хочется.

Если вы будете и с к а т ь грибы, высматривать их — наберете вы от силы куку с макой. Глаза сами найдут. Ваша же забота — искать те места, где вы, будь вы грибом, непременно устроились бы расти. Только и всего.

Грибы любят, чтобы их собирали. Ни в коем случае не ругайтесь на них, если вам не везет. Если в лесу есть грибы, они к вам сами выйдут.

Они, повторяю, любят, чтобы их собирали люди. Заберитесь в самый урожайный год куда-нибудь в чащобу, в бурелом, в глухомань леса, куда редкий забредает человек. Там вы не найдете гриба. Им не интересно расти там, где нет шансов быть найденным.

Не стесняйтесь, если вдруг поймаете себя на том, что разговариваете с грибами. Они, ей-богу, слышат вас.

Как-то нам попалась книжонка, в которой некто, за какие-то свои заслуги допущенный в мир грибов, приобщенный к их тайнам, рассказывал, как у них там поставлено дело, как устроена их И м п е р и я , кто есть кто в грибной иерархии. Мы запомнили одного — Мароболая — верховнокомандующего над подберезовиками. И вот с тех пор, входя в лес, мы первым делом кличем: — Мароболай-ай! Мы пришли! Укоряем его: — Чего это ты, Мароболаюшка, скуписься? Благодарим: — Ну, спасибо, батюшка родной! Ну, уважил! Мароболай, мы заметили, ужасно падох на похвалы в свой адрес, и мы на превосходные эпитеты, даже на самую грубую лесть никогда не скупимся. Намекаем даже (когда, в особенности, кладка вдруг прекращается), что Мароболай с его-то умом, добротой и мудростью вполне, на наш взгляд, достоин чина аж самого Императора всея Грибной Империи.

Я, между прочим, заметил: или моя жена такая уж чересчур обаятельная, или вообще Мароболай к женскому полу не

равнодушен, но факт есть факт. Ее он слушает куда внимательнее меня и на ее славословия куда более отзывчив. Ее корзинка всегда подберезовиками с верхом, а у меня, в лучшем случае, вровень с краями.

Мы настолько изнывали от желания сходить в лес, что однажды попытались даже отправиться за грибами вместе с Колькой.

Экспедиция с треском провалилась, едва начавшись. Ну, во-первых, корни. Их такое оказалось множество в лесу, что коляска с первых же метров стала прыгать и скакать, как на взбесившемся вибростенде. Даже Кольке — любителю, как я отмечал, тряской езды, — это показалось слишком.

Ну и, во-вторых и в главных, — это, конечно, комарье. Оно слеталось, как казалось, со всего леса в неукротимой жажде вдоволь напиться младенческой сладкой кровушки. Комаров не останавливали даже смрадные клубы гвоздичного масла, которые валили из коляски нашего сына.

Комары, как я предполагаю, затыкали ноздри, зажмуривались и с восторгом камикадзе пикировали один за другим на аппетитно буржуинские румяньки Колькины щечки. Какие там грибы! То и дело роняя колясочные колеса, семафорно размахивая руками, мы бежали из леса.

Последней, пятясь, отступала жена, размахивая не очень большой, но и не маленькой березой, которую она вырвала с корнем.

Я все ожидал, когда же она закричит нам, как в кино про войну:

— Бегите! Я вас прикрою! — но, кроме кошачьего фырканья и мясницкого хеканья, я так ничего с ее стороны не услышал.

Потом долго еще мы зашпугатуривали комариные укусы друг на друге содовой кашкой и нервно веселились: — Вот так сходили!

И все-таки однажды в то лето нам удалось вырваться в лес.

Приехала погостить сестра жены из Москвы, и мы уговорили, улестьили, уломали бедную девочку всеми честными и не совсем честными способами, чтобы она посидела с Колькой.

Она согласилась, хотя не в состоянии была скрыть панически-тихого ужаса, засветившегося во глубине синих глаз, и

крупной дрожи в руках.

Инструктаж — как и чем кормить, во что пеленать, во сколько гулять, какую соску совать и что говорить при этом, какое выражение лица иметь во время кормежки и что именно петь в каждом конкретном случае — инструктаж продолжался весь вечер накануне. Жена попробовала продолжить его и на рассвете, перед уходом, уже после того, как чуть не рыдая от предстоящей разлуки, она собственноручно накормила полусонного принца.

— Слышь? Да проснись же! — Принялась она расталкивать сестренку. — Подгузники на столе. В бутылочке с красной соской — гречка, а с желтенькой — кефир. Не перепутай!

Сестра вдруг свирепо замычала.

— Я все поняла, — сказала она леденящим душу голосом, не открывая, впрочем, глаза. — Подгузники перед кормежкой взбалтывать, обязательно подогреть. Гулять одевать красную сосочку, а какать — в зелененькую, не перепутать. В случае, будет кричать, связать две пеленки, лучше всего байковые, и повеситься. У-у-уйди! Укушу!

— Все-все-все! — очень кротко согласилась жена. — Мы уже ушли. Целую, милая! Ты знаешь, ты такая милая, но все же не перепутай: с красной соской... — тут сестрица отворила глаза, глянула, и мы с дружным топотом стада, несущегося к водопою в засушливое лето, бросились из дома!

Конечно же, в лес надо ходить, напрочь отрешившись от всех, в том числе домашних, забот.

Собирать грибы второпях — все равно, что второпях слушать музыку.

— Ой! — вскрикивала время от времени жена. — Как он там?

— Догладывает твою сестрицу.

— Тебе смешно, а вдруг у него опять — живот?! А вдруг она все перепутает? Господи! Я же не сказала ей, что сахара в водичку нужно самую малость! Она же, дура, бухнет! Все! Запор обеспечен.

— Ты же сама приготовила водичку.

— Мда? Как интересно... — и тут же, без перехода: — Ох ты, миленький! Ох ты, хорошенький! Ну, иди-иди, красавчик! — Переживания о вероломно брошенном сыне ничуть не мешали ей щелкать польские один за другим.

Польские — это были е е грибы.

Я, сколько бы ни старался, никогда не мог набрать, даже и на хорошем месторождении, половину того, что она набирала. Их плохо видел.

У каждого человека своя острота зрения, единственно ему присущий угол, под которым он зрит землю, очень индивидуальная способность воспринимать цвета. Вот почему вы стоите рядом с человеком, вдвоем смотрите на растущий гриб, но он его — не видит, а вы его — видите. Или, конечно, наоборот.

И не убивайтесь, ради Христа, если вдруг обнаружите на «вашем месте» грибника-конкурента. Ваш-то гриб, не сомневайтесь, ляжет только в вашу корзину. Вы найдёте друга ...

... как нашли мы друг друга с тем Белым во время той нашей вылазки.

Он до сих пор снится мне. Я вспоминать его буду до самой своей преклонной старости. Та кой гриб попадаетея грибнику лишь один раз в жизни. Не чаще.

...Он рос у самого края тропинки. Тропка в этом месте сворачивала, и вот на этом свороте, у самого края рос тот Гриб. Всем грибам гриб.

Он рос на самом краю, клянусь! Небрежно полуприкрывшись еловой веткой, он вышел прямо под ноги.

Два-три-четыре десятка человек прошли в тот выходной по тропинке, жадно шаря глазами по земле, но ни один из тех грибников не увидел его!

Ну, нельзя было его не заметить! А все — словно ослепли. Ибо это был мой гриб, и найти его мог и должен был только я.

Вначале мой взгляд, рассеянно и уже утомленно ищущий по земле, услышал как бы толчок, как бы стук чего-то постороннего, попавшего в полосу зрения, — то была грязноватая, цвета старого сала, несомненно грибная белизна, глянувшая мне в глаза из-под хмурой еловой зелени. Взгляд мой мгновенно заострился и тотчас же пригас, испытал разочарование: из-под еловой ветви глядел комель молодой березки. Глаза вновь принялись веерно шарить вокруг. Однако некоторое раздражение, беспокойство тупой занозой осталось во мне: что-то там было не так.

Я вновь вернулся взглядом под елочку и, взволнованный, сразу же понял, что именно там было «не так». Никакой березки

в том ельнике и в помине не было. «Неужели все-таки гриб?» — и сердце мое скакануло в груди.

Белизна, мелькнувшая мне, была, повторяю, несомненно грибной белизной, я не мог обмануться, но чересчур уж толстым, непомерно огромным было то, что белело из-под ветки, чтобы и в самом деле оказаться грибом. Таких грибов не бывает, знал я, но все же сделал быстрый шаг, чуть пригнулся, и мощный колокольный гуд неимоверной охотничьей удачи проник всего меня, как если бы я вдруг оказался внутри огромного торжествующе воскликнувшего колокола.

Я увидел невысоко от земли неглубокую, с трудом выеденную улиткой каверну, формой и размером с небольшую фасолину, увидел в рыжевато-серой патине светящееся тело гриба и мгновенно понял: это белый гриб. Какой-то чудовищно огромный, совершенно неимоверный Белый Гриб. Жена шла за мной шагах в пяти.

Очень небрежно я спросил ее, заслонив дорогу:

— Тебе такой грибочек нравится?

— Где?? — Она мгновенно взяла стойку.

Я показал.

— А! А-а-а!! — Это был вопль смертельно раненного восторгом, восхищением, завистью человека.

— Дай мне его срезать, а? — попросила она умоляюще, вся аж слегка колотясь от возбуждения. •

С очень лживым равнодушием (дескать, мне такие грибы не в новинку) я пожал плечами: — Пожалуйста. Только пониже бери! Много не оставляй!

— Только бы не червивенький! Только бы не червивенький! — заклинала она, стоя перед грибом на коленях, — Смотри!! И она показала мне срез, сияющий ослепительной жирной белизной, без единой червоточкины!

Она поднялась с земли, держа его в руках, как небольшого младенца.

Пальцы ее рук едва сходились, обхватывая ножку.

— Что же это такое? Разве такое может быть?

Что угодно вы можете говорить о счастье, но в ту минуту мы были именно счастливы.

После такого Гриба нельзя было оставаться в лесу.

После такого Гриба искать грибы было нелепо. Мы пошли домой.

Я — с двумя нашими корзинками — шествовал впереди. Жена, прижимая к груди Гриб, как драгоценный переходящий кубок, — чуть позади.

Навстречу нам то и дело попадались дачники, недавно лишь пробудившиеся, только-только собравшиеся по грибы.

И — ах! — какое же это было восхитительно-низменное наслаждение смотреть, как на их заspanных лицах, едва они взглядывают на то, что несет жена, начинают быстро-быстро перелистываться самые разнообразные мимические знаки: недоуменное удивление, настороженность, неверие, обиженное восхищение, ревность и яркая зависть, трудно смешанная с почтением к нам.

В том Грибе весу оказалось девятьсот граммов. Это не считая того огромного куска комля, который жена оставила в земле, второпях, вслепую, дрожащими руками срезая гриб. Мы сфотографировали соседского мальчонку с этим чудо-юдищем (что нам никто на слово не поверит, мы это сразу догадались...), ну, а затем употребили по назначению. Больше мне никогда не найти такой гриб.

Когда я опять оказываюсь в лесу, меня словно бы за шиворот кто-то берет и приводит на ту самую тропочку.

Я брожу по окрестным елочкам и чувствую почему-то ужасную грусть при этом. Никогда, никогда больше не найти мне такой гриб!

Лишь однажды — через год — попался мне на той грибнице один беленький — крепенький, толстенький, граммов на двести. В любом другом месте найденный, он бы мне одну только радость доставил. Но там... там я испытал только лишь разочарование.

Неблагодарный, я даже иногда думаю: «Лучше бы ты и вовсе не попадался мне!»

Точно так же, неблагодарный, я вспоминаю иной раз о временах, которые описываю, со странной, несомненно кощунственной, ядовито-едкой досадой — особенно в нынешние дни: — Уж лучше бы и не было тех зим и лет, полных Покоя, Трудов, Воли, Счастья!

...Я вспоминаю себя в какой-то летний августовский день сидящим на знойной, густо-медно-рыжей от солнца террасе, босиком, в драных портах, в расхристанной до пупа рубахе — полуразрушенно и блаженно развалившемся на расхлябанном

диване, таким удовлетворенно, таким добротнo усталым, что глаза мои то и дело дремотно слипаются, и мне требуется долгое многосложное побуждение, чтобы даже пошевелить рукой: стряхнуть пепел с сигареты, серо-голубой дым с которой исходит тоже лениво: неспешно и нехотя, как бы по принуждению, медленно распадаясь на сизые тончающие волоконца, плавно уплывающие в сторону окна, настезь распахнутого в сад, где недвижно и как бы ожидающе стоит солнечно-пестрое, словно бы до голубых краев налитое, лениво густеющее величавое вещество августовского жаркого полудня, в которое, помню, я вступил, едва лишь выйдя из зябкой темени сарая, где с утра горбатился над машинкой, — вступил, как в душно перегретую плотную воду, — с веселием и удовольствием сразу же ощутив босыми хладными ногами ярую наждачную раскаленность бетонной дорожки, ведущей от сарая к крыльцу, и прежде чем подняться на крыльцо, помню, я еще несколько, всласть, помедлил, стоя под тяжким напористым солнцетоком, как стоят под дождем, и слышал и слушал, как меня всего проникает свирепая нежная рыжая тяжесть солнца, обрушенная на землю с тихо-голубеньких, словно бы белесо припорошенных зноем небес.

Усталостью, как мрачной гнетущей водой, я весь был переполнен.

Я усталостью был душно отравлен. Но полуразрушенно и разломанно развалясь на диване, я уже слышал, как усталость и с х о д и т из меня, смену уступая тишайшей опустошенности, покою и превосходительной, слегка даже надменной уверенности, что все, сделанное мною сегодня, насущно угодно людям.

«Какая чепуха, — думал я в полудреме, — что кто-то еще мешает людям прочесть то, что я написал. Это уже написано. И мир уже стал лучше оттого, что это уже написано. А все остальное — чепуха. Все остальное — будет. И в этом нет никакого сомнения. Покуда веришь — ты, покуда верят — в тебя, покуда вы вместе: и ты, и она, и он, так трогательно торопливо растущий в подмогу тебе».

Медовая мгла склеивала веки; с подобием медленного гуда темно и влажно покидала меня усталость; и Покой, несуетно воцаряющийся в душе, был как смутное, из далекого далека выплывшее воспоминание о теплых больших ласковых ладонях, в которых тебя по-отцовски держит кто-то — Большой, Ласко-

вый, Добрый и Всесильный.

...Я вспоминаю огонь в печи и себя, глядящего в этот огонь — уже не в пламень, а в яро-сиятельное, чистое, пылкое золото многосложно и хрупко нагроможденной груды бестелесных уже углей, которая напоминала, конечно же, сказочный дворец, и сказочная, прозрачно-призрачная, праздничная, но почему-то грустная, творилась там некая Жизнь, ни на миг не замирающая, трепетная и поспешная — потому грустная и потому поспешная, что с каждой новой секундой словно бы прозрачной ветхой тенью, словно бы напоминанием о хмурых сумерках все повелительнее раз за разом оведало веселую дружность и деятельную сказочность этой жизни, сладко и мучительно знакомой, казалось, мне жизни, как бы уже житой мною жизни, и прекрасный смысл которой, и странно-печальные, светлые законы которой я в оцепенелом своем усилии все старался и все не мог никак припомнить, усиливаясь памятью чуть ли не до страдальческого, бессловесного стога.

...Веселый и как бы вечно теперь изумленно ликующий от недавно обретенного умения ходить ногами, подковывывал ко мне сын, приткнулся головенкой подмышку и вдруг — как очарованный — тоже замер, взгляд устремив на это золотокованое невесомое пылкое чудо в печи.

Я украдкой глянул ему в лицо. С непонятно-остро поразившим меня чувством вины и откровенным, почти что грубым чувством зависти я увидел в его серьезных, немигающих и повзрослому спокойных глазах, какая прекрасная, какая загадочная, какая заманчивая, какая драгоценная Жизнь открывается ему, едва лишь начинающему жить. Я боялся пошевелиться.

Я хотел, чтобы этот миг в его жизни все длился и длился — длился без конца.

...Я вспоминаю, как осенью — уже непоправимо далеко зашедшей, растерянной жалкой осенью — уже в пору покорства и отчаяния, и едкого, ничем не оборимого чувства одиночества в мире — я стоял среди мокрого, голого, нищего сада и, до боли в затылке запрокинув голову, смотрел в небо — впервые в жизни глядя на улетающих журавлей. Это не высказать словом, как они летели — как прекрасно и грустно, как п е р е л и в ч а т о плыл в хмуреньких, грязновато-оловянных небесах этот слегка растрепанный, неторопливый, церемониально печаль-

ный, небрежным углом построенный клин... Какая прощальная, какая добрая печаль была в этих неспешных движениях крыл... какой пронзительно сладкой тоской сразу же наполнилось, о ж и л о небо, едва возник в небе этот зыбкий, зябкотрепещущий (от несказанного, чудилось, сострадания к тем, кого они оставляют) строй этих очень крупных, даже на отдалении, птиц.

Они, пролетая, прощались. Это было явно.

Они не стремились улетать, но улетали, так было заведено, и потому-то — столь грустен и безысходен и даже, казалось, замедлен был этот полет.

Но — странное дело — было в их лете и что-то такое, что рождало не одну лишь печаль, но и надежду: на их неперменное возвращение, они не обманут, а стало быть, и на возвращение лета, на возвращение той животворящей жизни, которая с каждым днем все иссякала и иссякала в безнадежно осенней этой стране.

Я смотрел не один. Мы смотрели все вместе. Мы смотрели растроганно, строго и тихо.

— Помахай им... — шепотом сказала жена Кольке и коротенько замахала крохотной его ручонкой, упрятанной в комбинезон.

Они заметили нас!

Мы вдруг — мы оказались как бы под светлым дождиком — как бы осыпанными странными, стекловато чуть позванивающими, чуть гортанно и чуть скорбно звучащими звуками. Мы услышали нежное, мы услышали опечаленное. Простите, прощайте, ждите, дождитесь, простите, прощайте! — Это были журавли ведь? — спросила жена, и я увидел слезы в ее глазах.

— Наверное...

А Колька все смотрел и смотрел в небо, уже опустевшее.

Осенью и зимой жизнью мы начинали жить поневоле замкнутой.

Тем большее удовольствие нам доставляли и тем большую праздничность обретали редкие для нас выезды в свет: в магазин, к примеру, дабы постоять часок-другой за очередным каким-нибудь дефицитом, в поселковую поликлинику, например, дабы продемонстрировать Николаю врачу, сделать необходимые обмеры его и завесы, драгоценные какие-нибудь анализы сдать, прививки сделать...

Мне ужасно нравилась эта поселковая поликлиника. Не знаю, как они там взрослых лечили (наверное, хорошо лечили: никогда там не видел ни толчеи у кабинетов, ни очередей в регистратуру). Всегда там было пусто. Свежевымытые, сияли дощатые, крашенные охрой полы... И детский врач там была замечательная — Калерия Ивановна, как сейчас помню — огненно-рыжая старуха, с грубоватыми сноровистыми ухватками врачихи, лет сорок, если не больше, отдавшей возне с детишками.

Она всю жизнь была сельский врач, а это значит — обладала неиссякаемыми запасами терпения, спокойствия и доброжелательства, просто проистекавшими, несомненно, от знания своей насущной необходимости людям.

Ходить по вызовам из одного конца поселка в другой — под дождем, по грязи, под снегом, по сугробам — она явно, ни за какой-такой гражданский подвиг не почитала. От всегдашнего отсутствия то тех, то других нужных лекарств в аптеках в отчаяние никогда не впадала (вообще, по-моему, химию лекарственную недолюбливала) — с удовольствием и убеждением прописывала снадобья простые, старинные, испытанные.

Кольку, как нам казалось, она любила. (Не удивлюсь, впрочем, если все другие родители той поликлиники тех времен то же самое скажут об отношении Калерии Ивановны к их чадам.)

Ш т у ч н о е было к пациенту отношение в той поликлинике — вот что прельщало необыкновенно. Прямо-таки очаровывало, как просто, добротнo, легко и с видимым удовольствием исполняли и доктора и медсестры свое предназначение тут.

(В городе, мы уже привыкли, врач встречает вас с плохо скрываемым раздражением: «Еще один!!» Он смотрит на вас белесыми от неприязни глазами как на наконец-то обнаруженного им виновника и невысокой своей зарплатой, и плохого жилья, и адской своей загруженности. Он осматривает и выслушивает вас, ничуть даже не стараясь скрыть абсолютного своего пренебрежения к вашим хворобам и болям. Для него вы — досаду доставляющее, время отнимающее Ничто. В нем даже и врачебный соревновательный азарт начисто уже выветрился (если, конечно, был когда-то): обнаружив в больном болезнь, он не воспламеняется страстью померяться с нею силами и во что бы то ни стало одолеть ее — поскольку Врач и Болезнь, встретившиеся лицом к лицу, н е и м е ю т п р а в а разойтись мирно,

это испокон веку заведено... Нынешний же лепила с готовностью, чуть ли не с облегчением делает шаг в сторону, обнаружив более-менее сложный недуг в больном, он уступает Болезни дорогу и ни малейших при этом угрызений совести не испытывает.) В той поселковой бедной поликлинике мы застали и с т и н н ы х, истинно здоровьем людей, как своим собственным здоровьем, озабоченных, будто бы из светлой тьмы российского прошлого пришедших настоящих сельских лекарей. До сих пор вспоминаем о них добро и благодарно.

Колька любил ездить в поликлинику. Он вообще обожал всяческое общество. Сидючи в коляске и едучи по улице, непременно норовил цапнуть любую из проходящих мимо старушек. А увидев скопление (больше двух) людей, тотчас начинал восторженно почему-то орать: «Ура!», чуть не вываливаясь при этом из своего ландолета.

Попав в кабинет Калерии Ивановны — беспрестанно строил умильные и, как считал, трудноотразимые гримасы, улыбался во весь рот и непременно, конечно, пускал струю от нестерпимого восторга своего общения с медициной.

«Ну, вот и дождик пошел...» — неизменно и неизменно добродушно комментировала этот салют Калерия Ивановна, отряхивая халат.

Педиатр она была, мне кажется, от Бога, Я н и р а з у не слышал, чтобы за дверями ее кабинета ребенок — не грудничок, конечно, — плакал.

В отличие от нас с Колькой жена посещения поликлиники не очень любила.

— Там все такие толстенькие, там все такие жирненькие... Один только наш — худоба заморенная! — чуть не со слезами ли переживала она. — Там есть один — на два месяца младше, а весит уже!.. (не помню, сколько).

Калерия однажды даже вполне всерьез осерчала на нее:

— Вы что — кабанчика взяли на дорацивание? Ваш Николай, успокойтесь, развивается нормально. Мне, наоборот, перекор-мышы спать спокойно не дают!

Больше жена вслух не переживала, но это вовсе не значит, что переживать перестала. Ей, как большинству мамаш, понятное дело, хотелось, чтобы Колькина физиономия была один в один с тем обжорой, который изображен был на коробке с детским комбикормом «Мальш».

Колька, как сказано было Калерией Ивановной, развивался успешно. Довольно нормально и мы, родители, развивались возле него.

К полугоду своего пребывания в нашем обществе Колька раскусил, что этими двумя услужливыми человеками можно вертеть, пожалуй, как пожелаешь.

Не сказать, что желания и капризы его отличались какой-то изощренной чрезмерностью. Что-то он (из еды, например) не любил, но кое-как терпел. Что-то терпеть не мог, но мы в него впахивали, истово веря в благотворность подобного насилия. Что-то вообще впахнуть в него было невозможно, несмотря на все уверения литературных источников, что этот вид пищи для него чуть ли не мальвазия.

Он был не дурак поспать, но с определенной поры процесс транспортировки его в царство Морфея приобрел вдруг совершенно скандальный и ужасно утомительный характер. Так однажды он недвусмысленно объявил, что засыпать отныне намерен исключительно только на мамкиных руках и исключительно под вокализ: «Ох, ты котинька-коток...»

Мамка, натурально, возразить не посмела, и это продолжалось месяц-другой, пока я не обратил внимания на то, как подозрительно стеариново стала светиться лицом жена моя, как изможденно ввалились прекрасные глаза ее, а походка, я заметил, стала слишком уж напоминать походку каторжно бредущего, от сквозняка качающегося человека. По два раза за ночь по часу-полтора ходить с Колькой на руках да еще мурлыкать при этом «Котинька-коток» — это даже и для Колькиной, самоотверженно любящей мамашки, было слишком.

По моему жестокому настоянию была объявлена война этой вредной для всех привычке.

Война вспыхнула ожесточенная. Она длилась в течение ночей четырех, во время которых Пушкинский район Московской области вряд ли спал спокойно. А закончилась схватка полумирным соглашением: Колька согласился засыпать в постели, но с тем, чтобы его кроватку непременно в это время катали туда-назад.

Было это, понятно, немного полегче, чем таскать его на руках, но тоже не сахаром оказалось, а занятием нудным, многотерпе-

ния требующим. К тому же, непременно задремывая, жена то и дело с грохотом падала челом на ограждение кровати — пару раз и на пол брякалась — Колька мгновенно и возмущенно отворял вежды, вдарялся в скандальный крик, и процесс усыпления приходилось начинать сызнова.

Одно время мы с ним вроде бы сошлись на таком варианте: я его пару минут покачиваю, потом укладываюсь на кушетку рядом, и мы, как бы за компанию, друженько засыпаем. Вначале ему это понравилось.

Главное в новой технологии было в том, чтобы после его погружения в сон выкрасться из комнаты без малейшего шума-шороха. Я жирно смазал все петли на двери, подколотил пол, чтоб не скрипел под ногами, — казалось, наконец-то, выход найден.

Но однажды этот индюшкин кот, переворачиваясь во сне с боку на бок, разомкнул глазки и вдруг с вполне понятным возмущением обнаружил, что — обманут, что никто рядом с ним за компанию не дрыхнет! «Обман! — заорал он во всю глотку, — Измена! Вот вы — какие!»

Пришлось мне с бесконечными извинениями возвращаться и всю процедуру повторять с начала до конца.

Однажды обманутый, он после этого стал ужасно недоверчив. Даже обидно, ей-богу: покачаешь его, ляжешь рядом, дождешься, когда пошлышится с его стороны мирное размеренное посапывание, только соберешься красться на волю, покосишься на всякий случай в его сторону, а крохотная эта фигурка в пижаме уже стоит на коленях и, цепляясь за решетку, пристально и пронзительно вглядывается в тебя. Поглядит-поглядит, потом — бах! — головой на подушку и снова спать. А тебе — снова лежать и ждать подходящей минуты для побега.

Самое изнурительное в этой технологии было в том, как бы самому и в самом деле не заснуть — потому-то жене доверять этот процесс было никак не можно — а спать хотелось всегда.

Однажды меня осенило. Колька засыпал, я лежал на кушетке, а из-за двери, приглушенные, доносились звуки хоккейного репортажа. Болельщики поймут чувства, которые я испытывал: наши играли то ли со шведами, то ли с чехами. Меня раздирало на части. И вот именно тут-то меня и осенило. Из одеяла, лежащего на кушетке, я потихоньку смастерил что-то вроде чучела, положил с Колькиной стороны, а сам — вдоль стеночки, ползком, слез на пол и — на осторожных четвереньках — шмыг за дверь!

Несомненно, Колька не раз и не два, на миг просыпаясь, бросал инспекционные взоры на соседнее ложе — каждый раз обнаруживал там силуэт спящего и удовлетворенно почивал дальше.

Потребовалось неделя, чтобы он обнаружил обман. Возмущению его не было предела. И вот тогда состоялось генеральное сражение.

Выглядело это так. Кольку укладывали, для проформы десяток раз покачивали и удалялись. Он принимался орать в своей комнате во всю силу голосовых связок, а я держал в охапке жену, рвущуюся побаюкать своего козлика. Часа через полтора крика, когда уже можно было уловить нотки утомления в Колькином голосе, перед ним появлялся я: подчеркнуто молча менял пеленки, давал попить, совал пустышку.

Он снова принимался за крик. Через время я снова появлялся, снова проделывал все вышеописанные действия, и вот тогда-то, наконец, он облегченно засыпал.

Идти к нему должен был я, потому что при виде матери Колька снова вдохновлялся, и ему не составляло особого труда мигом оказаться опять на маминых ручках, послушать «Котинька-коток» вперемежку с виноватыми всхлипами — мигом то есть отвоевать все то, что было им потеряно в ходе предшествующих боевых действий. Он, конечно же, чуял, что мама готова уступать ему до бесконечности. И нещаднейшим образом пользовался этим.

Во мне-то он (с откровенным неудовольствием) чувствовал некое подобие твердости и предпочитал делать вид, что покорился.

(Однажды, когда он раскапризничался совсем уж безобразно, я шлепнул его по попке. Не шлепнул, конечно, а обозначил шлепок. Он — изумился. От изумления он даже замолчал. Он вдруг ошарашенно задумался. Мир, в котором для него все было ясно-понятно: поори как следует, и получишь все, что хочешь — этот мир вдруг повернулся к нему новой, не шибко-то приятной гранью...) Кто из нас мучился больше во время тех ночных противоборств — неизвестно. У меня, например, почему-то мытарно ныли все мышцы — как после тяжелой грузчицкой работы.

Жалко его было — кричащего, беспомощного, бесправного — аж до слез!

Сомнения язвили: «А вдруг у него что-нибудь болит? Вдруг не просто так кричит?»

Стыдно было: «Два взрослых человека, нашли с кем воевать, с младенцем!»

Совестно было: «Льзя ли ломать в столь нежном возрасте характер? Кто же из него вырастет?»

И все же — мы прошли через это. Думаю, обязаны были пройти. И, думаю, в с е м стало легче.

Колька быстренько научился засыпать по-новому. Легко теперь, с видимым даже удовольствием устремлялся в сон — для того, несомненно, чтоб пробудившись, сразу же оказаться как бы под солнечным торопливым веселым дождиком нежности, ласки, привета, который обрушивали на него мать с отцом, бессонницей теперь не замученные, пробуждения его с нетерпением дожидаящиеся, одно лишь теперь добродушнейшее биополе источающие, естественнейшим образом — без каторжно-истерических насадов, без малейших внутренних каких-то преодолений — о б о ж а ю щ и е е г о .

Я сейчас уже не помню, что гласили по этому предмету бенджамини спокки, мюллеры и прочие классики младенческого педагогизма — по-моему, они нас не одобряли, — но здравый смысл был на нашей стороне. Стало быть, и правы в конечном счете оказались мы, а не они.

Но, что уж скрывать, никогда не избыть мне из памяти те пыточные ночные крики. До сей поры они, нет-нет, да и воспаляются в душе — как старые струнья от хлыста. И я вовсе не уверен, что горчайшие младенческие те слезы не занесены-таки в пухлый залистанный кондуит моих прегрешений перед небом. Несмотря на всю нашу правоту.

На Дальнем, а может, и Ближнем, а может, и просто на Востоке так говорят: «Роди сына, дорогой, посади дерево, построй дом — совсем джигит будешь!»

Сына я родил. Правда, кое-какое участие тут и жена принимала.

Дерево, вернее, деревья, яблоньки, восемь штук, в честь Кольки посаженные, — с этим тоже было в порядке. Для того, чтобы считать свой джигитский долг на планете исполненным, оставалось мне, как нетрудно сообразить, построить дом. Всего-то навсего.

Понятие «дом» я, поневоле лукавя, решил толковать как можно расширительнее. Ну, не дом, а что-нибудь, знаете, этакое... Чтоб — крыша, чтоб — стены, чтоб — дверь... (Следуя столь смутному проектному заданию, проще всего, конечно, было возвести сортир. Но сортир, увы, был. И даже не один.)

Проблема, как это водится в жизни, была разрешена самой жизнью.

Я уже вскользь говорил о финансовых обстоятельствах нашего бытия. Обстоятельства были суровенькие, а главное, собаки, так и норовили взять за кадык. Поэтому-то мы никакой работы не чурались: переводили техдокументацию для какой-то ГЭС, возводимой в очень дружественной, не помню какой, пустынной стране (иногда я с ужасом думаю, неужели они с помощью наших переводов ту ГЭС все ж таки построили?!); переводили, не улыбайтесь, некую многостраничную монографию парижского мэтра сантехники Ж-Ж.Мари об унитазах, писсуарах, ваннах и биде; с безграмотных подстрочников я пытался транскрибировать на язык И.А.Бунина шедевры тьмутараканской и всякой прочей горско-дикарской изящной словесности («Гюльчехра в сердцах отбросила ноги...» — фраза одного из тех рассказов до сих пор не дает мне спокойно спать) — короче, когда один симпатичный лакированный журнальчик предложил мне тряхнуть журналистской стариной и выскочить на недельку в глубь страны, дабы написать художественный очерк о выдающейся кукурузоводке (а может, и свекловодке — самогон-то у нее, точно был свекольный...) — я, натурально, тут же выскочил.

Беседа с очень симпатичной той хохлушкой заняла часа два, включая дегустацию, а все остальное время я провел, самым бесстыдным образом валяясь на пляже под Одессой, страдая от солнечных ожогов и угрызений (не чересчур, правда, мучительных) совести. Угрызения были от сознания собственного безделья.

Кара последовала незамедлительно!

Для начала меня скрючил радикулит, а затем, почти одновременно, карающие инстанции с тщательно продуманным развеселым ехидством наградили меня еще и бурным расстройством желудка. (Если вы не забыли туалеты тех мест, рассчитанные, как известно, на позу в глубоком раздумии присевшего орла, если вы

имеете хотя бы приблизительное представление о радикулите — вы поймете, о каком ехидстве я толкую...)

Я вернулся домой раньше срока в довольно жалком, хотя и загорелом виде. Ноги я еле таскал.

Спас меня Роберт Иванович Закидуха. Он как раз только-только в очередной раз усовершенствовал свою баньку и, как всякий творец, насущно нуждался в объективных восторгах и искренних панегириках его строительному гению.

Он истопил для меня баню, я проковылял туда, старчески кряхтя и безотрывно держась за поясницу, а через час — выпорхнул оттуда человеком, совершенно почти новехоньким, свежееотремонтированным, какую-то бодро-веселую чепуху без усталости лепетавшим! Выпорхнул я оттуда, дорогие товарищи, человеком окончательно конченным, банной страстью насквозь пронзенным!

В тот же вечер, воспользовавшись случаем и приглашением Закидухи, по моим следам отправилась и жена моя с оказавшейся в гостях сестрицей. И вот, когда они вернулись, по-кустодиевски румяняенькие, с ласково сияющими щечками, убажанные, кротко умиротворенные, тихо благостные, — и вот, когда я глядел на них, вальяжно, покойно восседающих за нескончаемым вкуснейшим ненасытным чаепитием, — вот тут-то я и понял, чуя погибельный восторг в душе, что я просто-таки обречен теперь построить баньку.

Не будет мне отныне ни сна, ни покою, ни личного счастья, покуда я ее не построю!

Ни хрена не было. Ни бревен, ни досок, ни гвоздей, ни инструментов.

Ну, в этом-то, положим, я мало чем отличался от большинства отечественных самостройщиков. Существенно я отличался от них другим: ни разу в жизни я никогда ничего не строил. Даже скворечника.

Гвоздь, правда, я забить мог, это у меня не отыметь. Иногда. Если у гвоздя оказывался хороший стойкий характер, а я бил его по шляпке несколько чаще, нежели по собственным пальцам.

Чистейшей, родниковой воды идеализмом было надеяться, что я смогу выстроить свою баньку. Никто, даже жена, не верил в это.

Я тоже, пожалуй, не очень верил, но нужно принять во

внимание, человек я был уже конченный, банной идеей насквозь отравленный, следовательно, и мир вокруг, и мои возможности в этом мире представлялись как бы в горячечной мутной дымке, и единственное отчетливое, до скрупулезных деталей резкое, что я видел перед собой, — была она — махонькая аккуратненькая банечка, которую я построю своими руками. Обязан, приговорен. Обречен.

Тут вещи начались удивительнейшие.

Вдруг обнаружилось, что я з н а ю, как надо ее строить. Я знаю, теоретически, разумеется, что для этого надо делать! Во мне, оказывается, уже б ы л о это знание. И даже не просто знание, но как бы даже и навык — в зрительную память отчетливо впечатанный, но вот в памяти мышечной, увы, никак не запечатленный.

Оказывается, что со времен моего детства — со времен, когда я хотел или не хотел, с утра до вечера видел вечно что-то мастерящего отца своего, — с тех еще времен я ужасно многое, оказывается, запомнил.

Удивительно это. Я ведь никогда не пытался что-либо запоминать. Да и отец никогда ведь не старался приобщить сына, явного лоботряса, к топору или пиле. Удивительно это. Не генетически же это передается...

Сколь помню себя, отец вечно что-то строил. Или перестраивал. Или надстраивал. Или пристраивал.

Он в одиночку сладил большой, шестикомнатный дом с террасами, сарай в саду, беседку, летнюю кухню. Выкопал колодец. Возвел ограду... Дня не помню, чтоб он сидел без дела. Не буду врать, что он плотничал с шиком. Есть, знаете, такие мастера, которые не просто что-то сработают, но еще и каждую фасочку снимут, каждую дощечку в глухой стык пригонят, нигде ни заусенчика не оставят, ни гвоздика гнutoго... Еще и прикрасы по ходу дела не упустят случая наверетенить. Отец не из этого числа был, это я не отрицаю. Он делал все добротнo, на совесть (чего-чего, а этого качества у него было с лихвой) — кроил, может, и не шибко ладно, но шил зато крепко, надолго.

Бате моему, кажется, никогда не интересно было наводить мелкий скрупулезный марафет на смастеренное им. Свершение задуманного куда как важнее ему казалось совершенства свершенного.

Все, что сделано его руками, стоит вот уже по тридцать-сорок

годов и простоит еще, даст Бог, не меньше.

Итак, господа, я начал строить.

Самое для меня изумительное — и до сих пор изумляющее — что я Ее, баньку эту, все ж таки построил. И не менее изумительное, что она вот уже который год стоит и исправно действует, даруя каждому, кто ей приобщится, наслаждения, право слово, неземные.

...Навестила нас как-то в нашем зимнем уединении институтская подруга жены Марина. В честь подвига ее и в благодарность истоплена была баня, к тому времени уже всюду чуть ли не ежедневно функционировавшая.

Городское еврейское дитя, Марина ни разу, оказывается, не причащалась этому чуду человеческой цивилизации. Искреннейшей радостью было даровать ей широким жестом это дармовое удовольствие.

За сорок минут нагнал я ей фирменные сто четыре градуса (больше моя банька не накапливает), притащил два ведра кипятку, дровишек на подтопку, объяснил, как, чем и зачем мыться, и ушел.

И стали мы ее ждать.

Мы ждали ее час. Мы ждали ее два. Когда пошел третий час ожидания, мы начали волноваться. Комплекция нашей гостьи в те времена была впечатляющей, и мы без труда и мгновенно навоображали себе и гипертонические кризы, и угорелость, и какие-то немислимые кардиологические ужасы — короче, не выдержав беспокойства, жена пошла искать свою подругу. Или — как минимум — владеющее тело ее. Что же она обнаружила?

Она обнаружила Марину посереде сада гольшом гуляющей в сутробах и распевающей немислимые какие-то русско-еврейские частушки. Причем после каждого куплета с захватским «У-ух!» она плюхалась в снег и начинала производить там руками-ногами некие плавательные движения.

В дом она идти отказалась. «У меня там еще дровишки остались», — довольно придурковато хихихнув, объяснила она жене и вновь нырнула в баньку, как в дом родной.

Объявилась лишь через час, и несть числа было блаженным ахам и сладостным охам, и восхищенным восторгам, и восторженным восхищениям.

Потом она рассказывала, что не могла заснуть до утра, совсем не мучаясь из-за этого, а напротив — вкушая совершенно неземное удовольствие от парения в каких-то совершенно

поднебесных эмпиреях.

«Я и не подозревала, что может быть т а к о е...» — так оценивала она свои ощущения, а заодно и баньку мою ненаглядную, которую я сочинил вот этими руками, не ведая до этого, чем отличается «обвязка», скажем, от «опушки», и ни одной своей повестью я так не горжусь, как этим произведением. Честно.

Итак, я начал строить.

Со стороны глядеть, я напоминал кого угодно, но только не строителя. Более всего, полагаю, я смахивал на роденовского мыслителя. Чуть что садился думать думать: «черт-те знает, как поведет себя эта вот штуковина, если я приколочу к ней вот эту хреновину?..»

Все законы сопромата (или как это называется) я выводил сам, совершенно первобытным способом, и ужасно радовался, ежели угадывал правильно. Ну, а если давал маху, скромно утирался, тихонько удивлялся: «Мда?» и снова садился думать, чело охватив дланью, чурбан на чурбане. Колька мне не мешал. Стук молотка, вжик пилы, как ни странно, очень нравились ему, и он преспокойно спал рядом со стройкой, куда спокойней, чем в комнатах. И только когда задумчивые перекуры мои затягивались, он начинал сварливо вякать, несомненно требуя интенсификации папенького труда.

Колька мне был помощник. С прогулок теперь мы редко когда возвращались порожняком. Всякую реечку, всякую бесхозную досочку, встреченную на пути, я с восторгом крохобора тащил домой.

Коляска оказалась, к моему удивлению, довольно приспособленным для этого транспортным средством. Внизу, между колесами, можно было везти даже и двухметровые горбыли. Колька не возражал, если приходилось и поверху, поперек короба коляски, наваливать кое-что из добычи.

«Курочка по зернышку клюет и сыта бывает». Эта да еще другая, совершенно изумительная русская поговорка: «Глаза боятся, а руки делают» — были эпиграфами строительной той эпохи. Не считая, понятно, общеизвестного и расхожего: «Не боги горшки обжигают.»

Милое человеческой душе это — строить. Столько удовольствия, дикарского восторга, наслаждения даже — ничто мне никогда не приносило. Ну, может быть, сочинительство иногда.

(Впрочем, как я подозреваю, два этих ремесла — родня по крови.)

Дивно было — переборов совсем нешуточную робость в душе, наконец-то, н а ч а т ь.

Ну, во-первых, ошкурить привезенные знакомым лесником бревнышки. Бревнышки были считанные, в строгих пределах нашей покупательской способности, — еще и из-за этого была робость, ошибиться-то никак было нельзя... Итак, начать ошкуривать — сначала с робостью, как сказано, и косорукой несправностью, с виляющим топором в руке, с многотрудным пыхтением и вмиг сбивающимся дыханием, а потом — все более сноровисто, все более скупыми усилиями, с размеренностью, с некоторым даже неведомо откуда явившимся щегольством в повадках.

Затем, во-вторых, раскатить в редкий рядок уже очищенные, сливочно желтеющие стволы по заранее поперек уложенным бревнышкам и о т х л о п а т ь их — сажей черненной, туго натянутой на двух гвоздиках бечевкой хлопнуть, как тетивой, по телу ствола, обозначив идеально прямую линию, и начать в соответствии с нею стесывать лишнее, дабы придать бревнам надобную, брусовидную форму («полубрус» называется это по научному) — начать стесывать, предварительно, разумеется, делая по мере продвижения две-три нужной глубины насечки, чтобы, отслаиваясь щепка не получалась чересчур уж длинной и, как бы сказать, неуправляемой, и не прихватывала «по-живому», — так вот тесать-тесать потихоньку, ликуя от того, что у тебя получается и то и дело с теплой неуклюжей нежностью вспоминать об отце, ухватки которого ты, оказывается, повторяешь и каждый раз ловишь себя на этом.

Наконец-то, денька через два-три многотрудных пыхтений и полуприпадочного трудового энтузиазма завершить, наконец, эту, самую неподъемную, пожалуй, часть дела и — вот где самая прелесть! — с наслаждением измождения усесться в сторонке, плохо гнущимися от топорной работы пальцами добыть сигарету из пачки, закурить и всласть залюбоваться — не в силах налюбоваться — на эту дюжину уже вполне готовых в дело (корявых, конечно, по-ученически, но т в о и м и руками отесанных) бревен, которые по твоему разумению будут образовывать костяк уже живейшим образом живущего в твоём воображении строения... Подозвать неплохо и жену, чтобы и она полюбовалась вместе с тобой. Она мельком глянет, скажет: «Восхитительно», —

не скрывая абсолютного непонимания причин твоего (и тебе-то самому не очень понятного) победительного довольства, а ты скажешь: «То-то...» — или что-нибудь вроде этого, и тебе плевать, что тебя в твоём тихо-идиотическом восторге никто понять не может: это уже сделано и сделано тобой. А чем дальше, тем веселее и слаще.

А дальше — с отчетливо-трусоватенькой, однако развеселенькой отвагой нахала, вторгающегося не в свое дело, начать уже, собственно, строить. Первым делом сладить четыре нижних бревна в венец — в основание будущего пола — сладить «в лапу» («Компрэ нэ ву?») — опять же нечаянно вспомнив, как это делал отец, и, не переставая удивляться, насколько это придумано предками просто, хитро и прочно.

Потом накрепко сшить углы скобами, с залихватским шиком вгоняя их ударами обуха и без стеснения, с удовольствием оглашая окрестности развеселой музыкой тяжелого железа, бьющего в звонкое тонкое железо...

Вслед за этим, вдоволь наразмышлявшись о сложностях, недостатках и преимуществах крепления «в шип» («Ду ю андестэнд?»), поставить в углах уже готовой нижней с в я з и вертикали — угловые столбы — будущие боковые грани строения твоего, также, понятно, крепко пришив их стальными скобами, и — не подумайте, что забыл — предварительно с т р е л ь н у т ь их издали, каждый столб в отдельности и все четыре вместе, проверяя строгость их вертикальности (и без того тщательно выверенной ватерпасом) — прежде чем намертво насквозь пригвоздить их к нижним бревнам чудовищными двенадцатидюймовыми гвоздями.

Все это, ясное дело, уже в укосинах и временных стяжках, и уже достаточно фундаментально — когда вы начинаете вязать верхние четыре бруса — боковины будущего потолка, моля Бога, чтобы все это не перекошилось и не рассыпалось и не жалея поэтому скреп (благо, тебе улыбнулось счастье и ты обнаружил в сарае целую гирлянду, пусть и поржавелых, но вполне годных скоб)...

И вот — и вдруг — и вот вдруг в один прекрасный момент вы, мысленно ахнув, обнаруживаете — с восторгом, с восхищением, неверием и изумлением — что перед вами уже дом, то есть, вернее сказать, уже некий о б ъ е м, и не хватает-то всего малой малости, стен, потолка, крыши, дверей, окошка...

Я же говорю, в строительном деле я был дикарь дикарем, и восторги, как вы могли убедиться, постигали меня дикарски-наивные, жгучие. Я разве только в пляс не пускался, убедившись в очередной, пусть и самой махонькой, плотницкой победе.

Куратором моей стройки был Роберт Иванович Закидуха. Он, должно быть, испытывал что-то вроде смущения и угрызений, быть может, совести. Все-таки после посещения именно его бани я воспылал стройлихорадкой. Как ни крути, а ведь это он был в какой-то степени виновник того, что влип я, как муха в повидло, в это прекрасное, тяжкое, нервотрепкое, сладостное и, на взгляд многих, безнадежное дело.

И все-таки, невзирая на сомнения, многие помогали. Без них, конечно же, я не сумел бы в столь героические сроки за два, почитай, месяца — аккуратно к знаменательной дате, а именно ко Дню тогдашней Конституции — в полном согласии со взятыми на себя сообразительностями — в едином трудовом порыве — завершить эту стройку века. Володя Бубнов — царствие ему небесное! — отстегнул ведро прекрасных, 150 мм, гвоздей, именно тогда, когда я от нехватки их, ей-богу, чуть не голосил. Всего лишь за бутылец отвалил из личных запасов больше чем полкуба шпунтованной листовничной вагонки, и когда сейчас, сидючи в парилке, я лбуюсь на изумительно изощренную, янтарем светящуюся фактуру стен, всегда его вспоминаю: и то, как он был доволен, что я хорошо справедливо описал его Мухтара в «Джеке, Братишке и других» (а заодно и о нем упомянул), и то, как он радовался первой книжке моей, которую я подарил ему с автографом, и то, как несправедливо-мучительно, на мой взгляд, тяжело и долго он умирал... Царство ему небесное!

Многие помогали. Лешка Семенов одарил опилками, а их рваная прорва требовалась для засыпки стен. Георгий, бывший поселковый конюх, добрейший мужик с изуродованным волчанкой лицом (он обеспечивал поселковых обрезками с мебельной фабрики — на топливо), узнав, что я строю, свалил мне почти задаром машину таких «обрезков», что мне их с лихвой хватило на всю наружную обшивку.

Но, повторяюсь, куратором был Закидуха. Он же был и Верховный Авторитет в решении всех как теоретических, так и практических вопросов. Крупный педагог (об этом я в «Дже-

ке...», кажется, упоминал), он не злоупотреблял своим положением, с поучениями не лез. Не вмешивался даже и тогда, когда я, слепу или по рассеянности (но не подумайте, что по убеждению), гвоздь забивал шляпкой к стене. Когда я просил — помогал. И советом, и делом, а главное, инструментом. Считайте, что каждая досочка в моей баньке обстругана на его фуганке.

Сам-то он был самостройщик хоть куда.

Зайдите к нему в любой день любого времени года, и вы непременно застанете его, что-либо создающим: сортир ли в форме сказочного терема с петухом на крыше, баню ли в виде подземного бункера, способную выдержать прямое ядерное попадание, ветряную ли мельницу — на предмет энергетического кризиса в стране или парник с хитромудрым подогревом — в помощь очередной продовольственной программе...

Я — человек наивный и не перестаю дивиться, откуда что берется. Откуда, к примеру, у того же Лехи Семенова, профессорского сынка, всем воспитанием своим, казалось, обреченного быть белоручкой, — откуда у него этот талант, не преувеличиваю, к рукотворчеству, безошибочное знание и умение: как, из чего, чем? Одно из самых высоких наслаждений, данных нам, — наслаждение любоваться талантливо делаемой или сделанной работой. В этом мире, который так и норовит рассыпаться в прах, превратиться в кучу дерьма, оживленно кишашую простейшими, беспозвоночными и рептильными, — единственно противостоящая этому сила — талант человека, любой талант человека, ибо любой талант человека в конечном счете — талант быть и оставаться человеком. И, слава Господи, что обильной мерой выпадает мне на моей земле возможность и поводы восхищаться э т и м в людях.

...Прошлым годом шел я на станцию за молоком, и вдруг поманил меня из-за забора на свой участок шапочно знакомый, один из летних соседей наших.

Что я о нем знал? Да почти ничего. Кандидат наук. Автор какой-то трудноиздающейся монографии о кристаллах, кажется. Дочка у него — ленивая чернобровая красавица-школьница. Жена — вечно куда-то поспешающий колобок — улыбчивая, говорливая, умудрившаяся и до сей поры сохранить и в облике своем и повадке студенческие, я бы сказал, какие-то черточки: кипучего оптимизма, легкости на подъем, добродушной расположенности к людям.

Сосед повел меня в сарай — о, нет! Оскорблением было бы сказать так. Это была мастерская мастера: десятки полочек, инструмент на полочках — в неммыслимом порядке, кругом всякие тисочки, станочки, электромоторчики...

И показал он мне там, господа хорошие, собственноручно сделанную (уж не выпытывал, из какого и где добытого материала) рентгеновскую портативную установку, уместающуюся в кейсе. Не больше и не меньше. И это был — д е й с т в у ю щ и й образец.

А звал он меня не затем, чтобы похвалиться, а для того, чтобы спросить, не знаю ли я кого-нибудь из нынешних «прытьпринимателей», кто смог бы рискнуть пятьюдесятью тысячами на создание промышленного образца — ибо ни сил уже, ни нервов у него не хватает на общение с новорожденными промышленниками нашими, которые вот уже пять лет дальше «купить-перепродать» и разучивания слова «менеджмент» никак продвинуться не могут.

Тот же Лешка Семенов, о котором я упоминал, не дожидаясь, когда кончится дискуссия о том, кто и когда и почему наладит выпуск мини-тракторов, и возмев в этом транспортном средстве нужду, поступил просто: покопался в своих закромах (а там, свидетельствую, можно найти почти все — от вагонной колесной пары до слегка поломанного счетчика Гейгера, и от примуса времен Регентства до фрагментов колонны промышленной ректификации), покопался там, за недостающим сбродил на ближайшую свалку, сел, маленько задумался, маленько выпил-закусил — создал то, что ему нужно было и что никак не могут создать ни государственные, ни уж, тем более, нынешние, непонятно чьи, предприятия.

Назвал он свое изделие нежно и таинственно — «Корова» — и разезжает на ней второй или третий год: на Корове можно и за самогончочкой сбегать, и поваленное дерево из леса приволочь, и пару тонн картошки с поля, напрочь забытого селянами по причине метеонепогоды...

А я ведь чуть ли не наобум назвал двух-трех человек, живущих в пределах одной-двух улочек нашего маленького поселка. Что уж тут сказать об огромной нашей, талантами (но и к сволочам доверчивостью) изобильной державе...

Тогда-то еще недели и недели оставались до исторического момента, когда будет пущена в строй моя банька. Тогда-то она

была жива только в воображении моем, и воображением тем я был увлечен, как повелительным, беззастенчивым вихрем.

Ни о чем другом я думать уже не мог. За эти два месяца я не написал ни строчки. Господи! Да мне смешно и дико даже представить было, что я сижу в сарае, тюкаю по клавишам, чешу в затылке, пытаюсь извлечь оттуда какую-нибудь завалищенькую метафору или эпитет почти что ненадеванный... И это — в то время, когда нужно срочно возводить хотя бы временную кровлю?! Ведь дожди же вот-вот грянут!!

Два этих месяца (жена — свидетель) я был человек не в себе. Глаза мои то и дело подергивались пустынной дымкой. По ночам я сучил ногами: не иначе, как пер, изо всех сил упираясь, какую-нибудь тесину.

В гостях, если видел без дела лежащий гвоздик или шурупчик, невозмутимо прятал в карман. Посреди вполне интеллигентной беседы об амбивалентности какой-нибудь мне ничего теперь не стоило вдруг выпасть из разговора, полезть на стул и начать прощупывать углы комнаты, интересуясь, каким именно образом соединяется там обшивка.

Ни анекдоты, ни политика, ни сплетни, ни последние новости в областях литературы и искусства — меня не интересовали. Вот о секретах крепления вагонки в п о т а й или о сравнительной г в о з д и м о с т и оштукатуренной и древесностружечной стен — вот об этом я мог разговаривать всласть.

По утрам я просыпался теперь, как ребенок — с отчетливым ощущением заманчивости жизни, которая сегодня предстоит.

Сказано Львом Толстым, на свете нет счастья, есть лишь отсветы его. И — ох, как светло жилось мне в те месяцы! Воспитаю сына, вырасти дерево, построй дом...

Сын блаженно похрюкивал в коляске в двух шагах от меня. Саженьцы яблонь, посаженные в его честь, принялись, и хоть с запозданием, но уже зеленели. Ну, а я — я строил дом.

По утрам непременношим образом забегал Братишка. Врывался в сумрачную внутренность моего строения, и сразу же теснее и словно бы светлее становилось от белизны его шубы, от весело улыбающейся морды его, от суматошно барабанящего во все стороны хвоста, которым, злодей, он так и норовил смахнуть на пол все мои жестянки с драгоценным гвоздём и развалить

строгий порядок выстроенных вдоль стен, приготовленных к обшивке строганых досок.

Мы выходили наружу и усаживались перекурить. Он ложился рядом — не под ногами, но и не в отдалении — в пределах досягаемости ласки, которую он воспринимал от меня с некоторой как бы даже рассеянностью, но я-то знал, что именно за ней-то он и прибежал к нам каждый день ненадолго.

С ним что-то неладное творилось в последнее время. Дело было не в том, что в доме появился Колька — предмет для обожания, с которым, ясное дело, Братишка конкурировать не мог... И не в том даже дело было, что мы вынуждены были взять в дом Дика (хозяйкину собаку) и появился, стало быть, какой-никакой соперник в притязаниях на хозяйские харч и ласки... Другое тут было.

Я все чаще, глядя на Братишку, с суеверным страхом вспоминал Джека — в тот самый день, накануне гибели, когда он был жалобен и беспокоен и словно бы траурной аурой обреченности окутан, а глаза его — глаза были полны тоскливым и покорным з н а н и е м своей печальной ближайшей будущности.

Что-то отдаленно схожее бродило теперь и в глазах Братишки.

Закидуха рассказывал, что Братишка верховодит сейчас небольшой собачьей стаей возле санаторской столовой. Там, ясное дело, было в избытке недоедков (и были они, не сомневаюсь, самого высшего качества), но там, в том околосанаторском собачьем раю, постоянно присутствовал и нешуточный риск чуть что, ни за что ни про что оказаться в чумовозе санэпидемстанции, которая располагалась в километре от санатория и кошкодавы которой, не утруждая себя дальними езками и всемерно к тому же борясь за экономию горючего, облавы совершали у заднего крыльца санаторской обжорки чуть ли не каждые две недели.

Я удивляюсь, как мог Братишка (с его-то умом! с его-то знанием людей и жизни!) не понимать этого риска. Или — он, возглавив стаю, уже и сам не в силах оказался противиться этому коллективному слабоумию? Или — почитал себя обязанным, коли уж заделался вожаком, быть вместе со всеми, даже если это и противоречит собственному инстинкту самосохранения и здравому смыслу?..

(Увести свою банду на какое-то другое, более безопасное место обитания — было не под силу даже ему. Санаторий был богатый, легочный, а туберкулезники кушали без особой охоты: целые груды едва надкусанных шницелей и котлет, бифштексов и лангетов, не говоря уж о гарнире и суповых костях, вываливалось ежедневно с крыльца столовой с царской небрежностью и щедростью. Не только собаки со всей округи, но почитай, и все наши поросятодержатели паслись возле той кормушки.)

Братишка, верю, мог бы и плюнуть на все это огрызочное великолепие — в поселке уж кого-кого, а его-то наверняка бы прокормили. Но вот наплевать на свою руководящую роль в собачьем коллективе и сдать добровольно бразды диктаторства кому-то другому — это, думаю, вряд ли ... Тут он, я думаю, слишком уж стал похож на людей. Однажды познав сладостный, как утверждают знатоки, вкус власти над себе подобными, он уже явно не в силах был, бедолага, расстаться с ролью верховнокомандующего. Я, как умел, уговаривал его.

— Братик! — проникновенно говорил я ему во время утренних наших общений. — Потерпи маленько! Ну месяц еще потерпи! Выйдет «Джек, Братишка и другие» — ты станешь поселковым героем. Каждый за честь почтет дать тебе жратвы. Слава, говорят, это та-акая штука, Братишка!.. Брось ты своих недоносков! Ты им не чета. Они даже и пятого когтя на твоей лапе не стоят! Ты же — умный. Ты же — сильный и красивый. Ты самый сильный и красивый пес на свете — зачем доказывать то, что и так все знают?.. Не бегай туда, ради Христа! Ты же не помоечный пес. Ты же всю жизнь ел из миски. Неужели тебе не противно копать вместе с оглодами этими в отбросах? Не ходи туда, а? Вот-вот выйдет журнал, ты станешь литературный герой, и, знаешь, какая жизнь у тебя начнется?!

А журнал, как назло, запаздывал с выходом.

— Братишечка! Ты же помнишь Джека... (Тут Братишка поводил ушами.) Ты же помнишь, что с ним случилось. Неужели ты не понимаешь, что и с тобой то же самое будет, если ты не уйдешь оттуда?!

Он слушал меня без равнодушия и без пренебрежения, но и без особенного внимания. Весь вид его говорил: «Я и сам знаю... Только — тебе не понять — ничего уже поделать нельзя».

Кончался перекур. Братишка поднимался и убегал — не оглядываясь.

Во-первых, у него, конечно, были дела. А во-вторых, он, в отличие от Кольки, терпеть не мог молоточный стукотни.

Иногда он навещал нас и поздними вечерами.

Вдруг начинала мощно сотрясаться входная дверь.

Кто там? Ответом было молчание, а через пару секунд — новый грохот. Братишка под дверями никогда не лаял. Я открывал: — Заходи, дорогой!

Он вбегал, очень деловитый, даже и не особенно приветливый — едва лишь обозначив отмапку хвостом. И первым делом, минуя наши попытки погладить его, совался в соседние с террасой комнаты. Искал.

Ясно нам было, кого он искал. Из задних комнат навстречу ему одеревенелой походкой, с усилием преодолевая страх, приглушенно изображая ворчание, уже выходил Дик.

— Братишка! — остерегающе и запрещающе вскрикивали мы. — Дик!

Собаки вставали метрах в двух друг от друга и принимались ворчать все отчетливее и враждебнее.

— Р-ррр! — свирепо взрыкивал после этой маленькой артподготовки Братишка и обозначал движение к сопернику.

Дик отскакивал в почти щенячем испуге, но через время опять начинал рассерженную, под нос, воркотню. По-моему, он даже не старался, чтобы Братишка слышал его. Братишка с видом полного равнодушия разваливался на полу и принимался за дело, какое-нибудь совершенно уж постороннее: блоху ли гонял подмышкой, или что-то из подушечек лап начинал с чрезмерной внимательностью выгрызать и вылизывать.

Дик тоже укладывался, но Братишка тотчас же опять издавал леденящий душу рык, и Дик вновь оказывался на ногах. — Пойдем, Дикуля, в комнату, — говорила тут жена, — подеретесь еще... — и уводила Дика, который поле несостоявшегося боя покидал хоть и с явным облегчением, но все же продолжая потихонечку с возмущением ворчать. Братишка удовлетворенно укладывался головой на передние лапы и начинал делать вид, что безмятежно дремлет. Сцены эти повторялись с абсолютной точностью по одному и тому же сценарию раз в десять дней, не реже. Дик, пора разъяснить, был собакой нашей домовладелицы, живущей в Москве. И она навязала нам его, поскольку летом домашние ее разъехались, а ей возиться с псом не было ни сил,

ни охоты. Отказаться мы не могли.

Появление хозяйского пса в доме создало коллизию вполне драматическую и, на мой взгляд, совершенно неразрешимую.

Дик в сравнении с Братишкой, считайте, был почти щенок и, следовательно, должен был покорствоваться ему. Да. Но он — был в своем доме и каким-то образом знал об этом и, следовательно, как хозяин обязан был охранять его от любых посторонних вторжений.

Братишка же, как сказано, был и гораздо старше и гораздо сильнее Дика, и стало быть, в соответствии со всеми собачьими законами, он должен был верховодить тут. Однако дом этот — как бы мы к Братишке замечательно ни относились — все же не был его домом, и он не имел права верховодить тут, и он знал об этом.

Они оба, каждый по-своему, были правы. Поэтому-то я и говорю, что коллизия эта не могла разрешиться никак. Не буду скрывать, что мы были на стороне Братишки, но мы не могли избавиться от Дика-самозванца, ибо, как и для Братишки, этот дом не был нашим.

А Братишка, клянусь, все это понимал. И он, конечно, не мог не переживать.

Дик, между тем, был хороший псина. Хотя городской, квартирной жизнью, конечно, основательно был испорчен. На полу, например, спать он почитал ниже своего достоинства — только на кровати, причем не просто на кровати, но и непременно на подушке. В еде был привередлив, но как-то странно: никаких похлебок не признавал, выбирая оттуда одну лишь картошку; всем блюдам предпочитал нечто совсем несообразное: мелко нарезанную вареную колбасу вперемешку с сухими кусками хлеба; превыше всего обожал сырую картошку — когда жена ее чистила, от Дика приходилось запереться, ибо вести он начинал себя, как буйнопомешанный побирушка.

Выросший в людской тесноте, он обществу себе подобных явно предпочитал человеческую компанию.

Ему, я понял, совершенно необходимо было — я бы даже предположил, что и жинено необходимо было — постоянно пребывать в зоне действия человеческих биополей. Поэтому большую часть времени он проводил не на улице, не в бегах, не в собачьих прелестных приключениях, а — под столом на террасе,

где жена целыми днями мельтешила возле плиты, где мы обедали, где сидели вечерами, лениво почесывая языки или готовя к сдаче очередную главу монографии об унитазах.

Очень часто Дик подходил к кому-либо из нас и начинал, упрямо и тупо бодая ладони, требовать, чтобы ему положили руку на голову. Ему клали руку на лоб, и тогда он — замирал. Через полминуты непререкаемым образом вставал на задние лапы и укладывался теперь уже башкой в колени, начиная покряхтывать при этом от каких-то пронзающих его наслаждений.

Больше всего это напоминало — смешное сравнение — подзарядку аккумулятора.

Он был насквозь городской пес и даже хворобами страдал сугубо городскими: несмотря на младость, у него находили и диабет, и геморрой, и что-то еще, едва ли не плоскостопие.

Умен он был необычайно. Но и умен как-то по-иному, нежели Братишка.

К примеру, мы куда-то собирались — Дик норовил увязаться с нами — стоило сказать: «Мы — на работу...» (вполголоса сказать, без всякого подчеркивания), и он мгновенно, не скрывая огорчения, но вполне покорно возвращался в дом.

Терпеть не мог кошек. При возгласе: «Дик! Кошка!» — мгновенно принимал боевую стойку, ломился в двери, вскакивал аж на подоконник. Однако очень тонко чувствовал, когда возглас этот — шутейный, дабы продемонстрировать гостю, например, его отношение к кошачьему племени: в этом случае он просто изображал, а чаще всего эскизно обозначал свою готовность к непримиримой схватке с антиподами; иной раз и просто — откровенно и понимающе отшучивался: понарошку рыча и мотая при этом хвостом. Авторитеты утверждают, что собаки не воспринимают телеизображение. Если это так, то Дик был несомненным исключением из правила: при появлении на экране лобой, даже мультипликационной кошки начинал потихоньку бесноваться и обнажать десны.

Тем непонятнее и трогательнее выглядели его отношения с Кисой, точнее сказать, с Кисиным потомством, — Дика привезли на следующий, кажется, день после появления котят на свет...

Ну, с Кисой — понятно. Она выросла, считайте, в собачьем окружении; первым, лучшим и единственным другом ее детства был, как вы помните, Фелька — они даже спали вместе; и Киса,

безусловно, владела искусством бескровного сосуществования с собаками под одной крышей.

Но котята этим таинственным умением владеть никак еще не могли, и, как ни говорите, это были, пусть и маленькие, но к о ш к и! Дик, однако, —хоть он и на дух не переносил этих созданий — показал себя истинным джентльменом. Больше того — над одним из котят, самым рыжим и шустрым, постоянно вылезавшим из посылочного гнезда и норовящим попутешествовать, он, как бы сказать, установил опеку. Я не употребляю слово «усыновил» единственно из нежелания задеть собачье достоинство Дика.

Выходя на крыльцо и обнаружив, что Кисы рядом с котятами нет, он совал нос в посылочный ящик, где кишела ребятня, отыскивал рыжего — только его одного! — и облизывал, словно приветствовал. Ложился рядом. Рыженький тут же начинал штурмовать стенки своего обиталища и после многих безуспешных попыток благополучно, наконец, вываливался на пол крыльца.

Дик еще раз — явно одобрительно — обчесывал его языком. Котенок начинал ползать вокруг лохматой громадины, то и дело валясь с катушек, пытался играть с его шерстью, лапами лез до морды. Вел себя нецеремонно. Дик взирал — как престарелый добрый дед на несмышленного внука.

Иной раз рыжий напрочь забывал о приятеле и, завидев что-то, на его взгляд, исключительно интересное в саду, вдруг страшно торопливо устремлялся туда, заваливаясь на ходу набок.

Дик тотчас вставал и носом отодвигал его — бережно, но властно — от опасного края крыльца.

Быстро утомившись игрой, котенок забирался куда-то в Диковы подмышки и начинал шебуршиться там — в поисках, должно быть, титек. Дик от юмора ситуации, а может быть, и просто от щекотки откровенно посмеивался. Появлялась Киса, сердито за шкурку изымала рыжего из-под Дика и швыряла назад в ящик: «Пора обедать!» Ни Дик на Кису, ни Киса на Дика в эти моменты даже не взглядывали.

Когда — через неделю-другую — котята окрепли, Дик даже и поигрывать стал с рыжим: сам подсовывал ему хвост, шутейно брал в пасть, от края крыльца отребал лапой. Кисе это все не очень-то нравилось. Котятам становилось явно уже тесно в ящичке, да и на крыльце царила возмутительная толкучка (не

забывайте, что и Чанга постоянно возлежала тут) — короче Киса решила совершить передислокацию своего воинства.

Одного за другим перетаскала, дура, всех своих котят в малинник возле забора. Там они вскоре и сгинули бесследно. Но вот что интересно: рыженький оттуда сбежал раза четыре, не меньше, несмотря на высокую траву, и непременно пробирался к Дикю, который довольно долго, с неделю, терпеливо поджидал его появления, лежа возле крылечка. И встречались они — откровенно радуясь друг другу. И сходку рыженький возобновлял свои игры с Диком, покуда не появлялась из кустов раздраженная мамаша, не хватала за шкирку и не относила назад.

Дик на опекунских своих правах не настаивал, в Кисины семейные дела нос не совал, но когда рыженький перестал появляться, почудилось мне, что сделался огорчен. Не подумайте, однако, что столь нежные отношения с рыженьким каким-то образом вообще изменили взгляды Дика на вредность кошачьего племени. По-прежнему ни одно из этих созданий не имело ни единого шанса спокойно и безболезненно забрести в пределы, отмеченные Диком, — репрессии обрушивались мгновенно и яростно. Без всяких, разумеется, кровавых исходов.

Дик, повторюсь, был пес насквозь городской. Помню, как его чуть не до обморока ли довела впервые встреченная лягушка, вдруг прыгнувшая из травы аккурат на его морду. Дик заорал «Караул!», подскочил, как шилом ужаленный, хвост тотчас трусливо спрятал между задними лапами. И долго потом с недоумением и откровенной опаской следил это скачущее в траве маленькое, несомненно хищное чудовище, не рискуя полюбопытствовать поближе, что же это такое.

Потом-то, разобравшись в здешней фауне, он за этот свой испуг оплатил лягушкам сполна. Но продолжал, по-моему, воспринимать их как чрезвычайно опасных и потенциально коварных хищников — атаковал их с таким же примерно вдохновенно яростным лаем, с каким лайки атакуют поднятого из берлоги медведя.

А в общем-то, как сказано, большую часть времени проводил в доме, на пленэр стремясь от силы раз в сутки: дом и участок вокруг дома он воспринимал несомненно как одно целое, как городскую свою квартиру, и поэтому большую нужду справлял исключительно только за забором. И в этом нельзя его переубедить было никак. Когда приспичивало, он будил нас и среди ночи.

Был он, да и остался, хороший пес — и ласковый, и не нахальный, и умный. Всем хорош был, но не буду скрывать, что нет-нет да и пошевеливалось в душе раздражение: «Кой черт тебя сюда привезли?! Братишке из-за тебя одни только переживания!»

Роберт Иванович Закидуха был частый гость туберкулезного санатория. Не самого, если точнее, санатория, а стройки, которая ни шатко, ни валко шла на его территории не первый и не третий уже год и которая (стройка) была, как понимаете, чрезвычайно чревата самым разнообразным ассортиментом самого разнообразного строительного барахла — его с восточной щедростью и восхитительной безалаберностью расшвыривали среди курганов взрытой земли стройбатовцы в ожидании долгожданного дембеля. Здесь все можно было отыскать, был бы человек хозяйственный: и бетономешалку, если пожелаешь, полузасыпанную героями-строителями еще прошлого призыва, и нивелир, принципы работы которого, видать, так и не сумели постичь представители очень суверенных и сурово независимых (ныне) азиатско-кавказских республик, и рулоны шлаковаты, и доски, и импортный портландцемент, и отечественный кирпич... Ни тем, ни этим, ни пятым, ни десятым не брезговал в своих изысканиях Роберт Иванович Закидуха, еженощно, как на работу, отправляясь через лес в этот клондайк развитого социализма.

Стежка, по которой он ходил, была убита уже до кондиции асфальта. Он называл ее поэтически: «Тропа Хо Ши Мина». — Ты думаешь, это случайно, что у меня всегда одна из собак — черненькая, а одна — беленькая? — спрашивал он. Было ясно, что это, конечно, не случайно: зимой дорогу во тьме указывала черненькая, летом, соответственно, беленькая.

Бывало, что и днем Закидуха удостаивал санаторий своим посещением. Во-первых, был там у него, как в старину говорили, «предмет» — в смысле побаловаться насчет продолжения рода. Ну, а во-вторых, всегда было любопытно при свете дня поглазеть, какой именно новый дефицит и куда именно собираются заложить на погребение смуглоликие наши братья по нерушиму Союзу.

И вот в одно из таких дневных посещений и рассказала Закидухе подруга, что приезжала пару дней назад министерская комиссия, и самый главный комиссионер высказал недовольство, в том разрезе, что здоровью больных безусловно вредит такое

чересчур уж количество животных на заднем крыльце столовой.

Закидуха бросился разыскивать Братишку, попытался зазвать его с собой. Но тот, слишком занятый в это время наведением дисциплины в вверенном ему гарнизоне, к призывам остался глух. Только хвостом издали повилял.

— Все! — сказал мне Роберт Иванович. — Эти ребята — кошкодавы на хозрасчете. Они не то, что собак — всех комаров по одиночке передушат, только бы заплатили. А им — заплатили.

Стало ясно, что начался отсчет последних Братишкиных дней на этой земле.

Однажды, уже под вечер, я сидел на корточках у крыльца и в ожидании, когда позовут ужинать, распрямлял на камушке гвозди.

Вдруг краем глаза я заметил движение у калитки. Поднял взгляд. Какой-то серый незнакомый мне пес очень неловко и как-то уж очень бестолково лез в подкалитную дыру. Я смотрел... Он наконец пролез, но почему-то там же и улегся, не сделав в глубину сада ни единого шага.

Я поднялся и пошел к нему, и только шагов с четырех увидел, что это — Братишка.

Господи боже мой! До чего он был на себя не похож! Он был — серый. Душно-графитного цвета. Было впечатление, что он не день и не два валялся в какой-то угольной яме. Пасть его была страдальчески ощерена. На меня он даже не глянул. Припав головой к земле, упорно и тупо смотрел в заросли крапивы.

— Что с тобой, друг дорогой? Где ж ты так извалялся? Он сделал движение глазами, но на меня по-прежнему не взглянул.

Я присел возле. Непонимающе и почему-то боязливо погладил. И тут я что-то постороннее почувствовал ладонью — п е т л я !

Горло Братишки было намертво захлестнуто тонкой бечевочной, страшно глубоко врезавшейся удавкой. Я попробовал, с трудом подсунувшись пальцами, порвать ее. Куда там! Бечева была, как стальная проволока. Я только Братишке сделал больно: он дернулся и захрипел. Бегом я бросился в дом, принес ножницы.

Петля врезалась в горло так жестко-глубоко, что пришлось выстригать шерсть, чтобы подобраться лезвием под бечевку. Ножницы щелкнули, и Братишка торопливо, спасенно коротко

и сипло — задышал!

— Ах ты Господи... — только и мог повторять я, глядя на Братишку.

Я попробовал руками бечеву. Она была тонка (походила, скорее, на очень крупную леску) — и щедро навощена варом. Я чуть ладони себе не порезал, но не сумел порвать. Вот так Братишка.

Братишка лег наконец нормально. Повернул ко мне голову, лизнул руку, виновато поглядел в глаза.

— Пойдем? Попить хоть дам.

Он прошел со мной половину дорожки и снова улегся. Жажда его мучила. К плошке с водой он сунулся оживлено и жадно. И тут же мучительно захрипел — петля наверняка истерзала ему глотку.

Он все же кое-как напился — разбрызгивая воду, то и дело ударяясь в кашель, делая, поднимая от плошки морду, такие глотки, будто проглатывал жесткий угловатый кусок. Напился, а потом — вдруг повернулся и, даже не взглянув на меня, побежал назад к калитке.

— Братишка!!

Он бежал нестойкой, измученной, плохоуверенной побежкой и — не оглядывался!

Я ждал, печально замерев: куда повернет?

Если вправо, вверх по улице, то — к Закидухе, домой. Если влево...

Он повернул влево. Там был лес, а за лесом — санаторий. Там оставалась его стая. Больше я никогда не видел Братишку. Братишку больше я не видел никогда.

Никогда.

А через неделю вышел журнал, в котором был напечатан «Джек, Братишка и другие».

Я еще не мог знать, что никогда не увижу больше Братишку, и с нетерпением ждал его прихода — чтобы испытать наконец хоть немного от той горделивости, появления которой я поджидал в себе с напечатанием этой первой моей, долго и мучительножданной повести.

Кроме странной — приятной, впрочем, — грусти и внезапно образовавшейся опустошенности в душе, я, честно говоря, ничего не испытывал.

Слишком долго, и трудно, и нудно все это тянулось. Я ждал Братишку, чтобы хоть за него порадоваться — чтобы все новыми глазами увидели, какой это замечательный пес — не просто добродушный симпатяга-дворянка, который всегда не прочь подхарчиться за счет дачников, а пес — личность, пес — умница, философ, гордец.

А он все не появлялся, не появлялся так долго, что через месяц уже и сомневаться нельзя стало, что он не появится больше никогда.

И от этого еще более умножилась и посребрилась печаль посетившей меня радости.

Наверное, потому, что мы не в одночасье сообразили о гибели Братишки (еще и потому, что много хлопот было с Колькой, да тут еще и повесть вышла, и мы были растерянно ошеломлены будничностью этого события, несомненно, ожидавшегося как праздник...) — нас как-то не разом ударило, не т а к ударило скорбью от этой потери.

Не так, как от гибели Джека: тогда-то мы были одни-одинешеньки, посреди беспросветной зимы, тогда-то мы всеми своими силами, всеми отчаянными мольбами пытались оберечь наших псов от злодеев-шкуродеров, подло и незримо круживших вокруг нашего жилья (пытались, а уберечь не смогли: из трех собак остался один лишь Братишка), — и наше тогдашнее бессилие в противостоянии злу, и наше вмиг тогда возопившее одиночество в мире, и эта ничем не объяснимая подлость совершенного над нами — все это доставило нам тогда, помню, физически ощутимую боль рваной раны.

С Братишкой все произошло не так.

Гибель пришлось на осень — на великолепную рыжую солнечную осень. У нас рос, с каждым днем все больше радуя и забавляя нас, Колька. Да и уверенность в том, что Братишка погиб, была вовсе даже и не уверенностью, а вяло и неохотно растущим ощущением туповатой покорности перед несправедливым распорядком окружившего нас мира. Мы долго еще — и месяц, и другой, и третий — говорили себе, прекрасно чувствуя, что обманываем себя, но краешком сознания все же и веря: «Да прибежит скоро... Да не может с ним ничего случиться...»

А потом притерпелись постепенно к немыслимому, что не прибежит, скорее всего, Братишка, нет Братишки... — притерпелись, как к занудной хронической боли. Уже лет пять прошло,

даже больше, а болезненная нуда эта, ни с того, казалось бы, ни с сего вдруг оживает, тоска по Братишке вдруг ярко воспалется, вьедливая просторная горечь заполняет душу.

Я достаю тогда единственную фотографию, оставшуюся после Братишки, и с разнеженностью, подолгу, гляжу на этого белоснежного (лишь черное седлышко на спине и темные подглазья) пса, вольготно и спокойно, по-летнему возлежащего на утренней освещенной улочке и прямехонько глядящего мне в объектив. В том взгляде — немножко добродушного юмора, немножко понимания, много внимания и чего-то такого, что я определил бы как *о ж и д а н и е ч е л о в е ч е с к о г о* от меня, человека. Вот он и дождался «человеческого» — от нас, человек.

Какая-то незримая черта отчеркнула нашу прежнюю, не мятежную, по-хорошему простую жизнь — едва случились два этих события: выход повести и исчезновение Братишки. Что-то кончилось. Безвозвратно.

Братишка — был последней ж и в о й связью между нами теперешними и теми, какими мы были прошлой еще осенью, зимой и весной, когда Жизнь подарила нам неправдоподобно-сказочную, сказочно-ладную жизнь, тихо, до краев наполненную простыми и сладкими радостями: Покоем, Любовью, Трудом, Надеждой, Печалью, Веселием Веры, Отчаянием, Восхищением, Одиночеством и Дружеством. Братишка ушел, и та жизнь мигом вдруг оказалась в прошлом, оказалась Прошлым. Прошлое — это всегда прощание. Прощание — это всегда привкус печали. И немудрящая мудрость, что Жизнь есть всего лишь приумножение Прошлого, не могла придать нам ни новой бодрости, ни новой беспечности.

Но у нас было Настоящее, весело и буйно, и ликующе ковыляющее — Колька.

И — нового Будущего (отнюдь не настезь и без особой охоты) приотворились врата. С выходом повести. Я знал — не последней. Там, за слегка распахнувшимися створками, было таинственно и зябко-заманчиво, и страшновато, и по-новому серьезно, чуть, правда, скучновато. Как в преддверии зимы, не оставляющей места ни праздничной праздности, ни беспечной распахнутости.

Мы вновь стояли, лица оборотив к Будущему. И лица и

взгляды наши были настороженно-серьезны и чуть печальны.

Мы не были юны — ни она, ни, тем более, я — но было чувство, что нас покидает Юность.

Я часто думал о тех, кто будет читать мою писанину. Меня аж поколачивала дрожь, до того жгуче мне не терпелось увидеть человека, который, мне не знаком, читает написанное мною — ему.

В зависимости от настроения духа я его всяким представлял: и восторженным, и насмешливым, и снисходительным, и пренебрежительным, и умницей, и тупарем. Наконец, увидел.

...Он сидел в электричке, через проход от меня, в купе наискосок.

Мне сразу понравилось, как он читал: с серьезной внимательностью и той уважительностью к чужому труду, которые и в нем самом изобличали человека мастерового, без суетливой похвальбы в себе и в своем ремесле уверенного, уже давно, спокойно и без мук тщеславия свое место в мире и свое назначение в мире определившего.

Было ему лет тридцать пять. Может, чуть, поменьше. В синтетической какой-то куртейке одет был, в сереньких невидных, тщательно, однако, отутюженных брюках. Он не из богатеньких был, точно.

Лицо его было лицом обыденной интеллигентности человека (но не умствующего интеллигента) и слегка как бы помято какой-то давно копящейся усталостью, может быть, привычным уже недосыпанием, и я почему-то подумал, что он наверняка много работает, прихватывая еще и какие-то сверхурочные, дабы семейство (я тут же вообразил: жена, дочка (сын), еще и теща-пенсионерка) не испытывало лишней нужды.

Я так думаю, что это ИТР был, не просто работяга — по крайней мере, не станочник — хотя руки у него были хорошие: крупные, хватистые, к тяжкому труду тоже приспособленные.

Читая, он снял кепку и положил рядом — обнаружились довольно заметные залысины на лбу и темные, влажно сваливавшиеся под кепкой негустые волосы.

Он был обычный. И мне было почему-то ужасно приятно, что он именно обычный.

Я смотрел, как он читает, и мне чудилось, что по его лицу словно бы тени проходят: то хмурь, то ответ...

Вдруг он улыбнулся — да такой вдруг славной, совсем детской улыбкой! — а потом не удержался и тихонько засмеялся. Снова обратился к тексту, но, видимо, попав на ту же строку, рассмеялся погромче, тут же застеснявшись этого и отвернувшись поэтому к окну, но продолжая улыбаться. Он с удовольствием претерпевал в себе этот смех, а потом посмотрел вокруг весело и добро, и хорошо. Ему, я увидел это, вот именно в эту минуту — легче жить...

Он еще помедлил немного, искоса поглядывая на журнал в руке и о чем-то не очень пристально размышляя, потом, додумав, снова — явно с удовольствием ожидания — принялся за чтение, обозначив при этом почти неуловимое ныряющее движение головой.

Он мне очень понравился, мой читатель. Он очень хорошо читал. Я уже совсем не боялся, что хорошо написанные строчки пройдут по касательной его внимания, обернутся словесным пшиком, слепым типографским пятном.

Судя по тому, где был открыт журнал, он был еще где-то в первой трети повести, и мне великодушно-радостно было за него: его ожидали еще очень многие хорошие куски, по-настоящему хорошие, мне ли было об этом не знать?

...Он оторвался от чтения, глянул в окно и вдруг, изобразив на лице веселый ужас, вскочил, одной рукой напяливая кепку, а другой запихивая в сумку журнал — электричка уже останавливалась.

Мигом собрался и бросился к выходу, скользнув напоследок и по моему лицу слегка сконфуженным и все еще хранящим веселие взглядом.

Милый человек! Он чуть не проехал свою остановку, зачитавшись моей повестушкой! Я сделался от этого почти счастлив, почти безмятежен, почти горд.

Мне кажется, именно тогда, когда я глядел на первого своего читателя, во мне начало потихоньку брезжить понимание того, зачем, собственно, нужна литература в мире. Чтобы вот ему, читателю, л е г ч е становилось в мире. Чтобы с каждой твоей строчкой, каждой книжкой — становилось в мире глотком кислорода больше. Ты обязан в меру своих сил д а в а т ь ему силу жить.

Странно устроено: сначала начинаешь писать, повинуюсь неведомо чьей, подозреваю, Высшей Воле, и только потом

ахаешь, добредя до понимания, насколько все это — всерьез — Литература. Не орудие, не оружие, а спасательный круг, который бросаешь в трясины, чтоб барахтающийся там человек хоть сколько-то еще продержался на плаву.

И сразу стало мучительно трудно писать. До этого было просто и ладно: есть Они, которые не допускают тебя до читателя, и есть Ты, который писаниями своими к нему, читателю, стремишься.

Начался новый выворот испытаний: остался Ты и остался Он, читатель. Лицом к лицу. И сразу мучительно трудно стало писать.

Впрочем, шла ведь осень, и могло показаться, что все это — просто из-за осени, из-за прощальной отчаянной ее красоты, из-за тоски горько пустеющих садов, черно черствеющей ботвы в огородах, из-за траура мокро и голо чернеющих веток, из-за холодной неприязни в небесах, которая обращена, казалось, именно к нам, людям, не бросившим эту землю в непогоду.

Иногда выпадали дни откровенно страшноватые: приподымались небеса, и неведомо откуда прорывался, мгновенно наводняя все окрест, жесткий, льдисто-белый, омертвелый и безжалостный Свет, исходящий ниоткуда.

Это был свет беды, надвигающейся на землю.

Потом и вовсе пошли дожди — холодные, надоедные, сварливые.

Тучи бежали, цепляясь чуть ли не за вершины сосен. Даже и в полдень оставалось сумрачно: весь день в комнатах не гасили свет, но и свет тот был какой-то хворенький, болезненно-желтенький, вот-вот, казалось, иссякнет, и мы навсегда останемся в этой погребной полумгле.

Мозглой сыростью было исполнено все вокруг. Весь мир был пресыщен этой въедливой казематной волглостью. Пеленки не сохли. Их мы развешивали на печке — от этого и в доме тоже тяжело висел влажный душный дух.

Мы одевались тепло и крепко, но все равно казалось, никак не возможно согреться: зябкая маленькая дрожь постоянно жила где-то возле сердца.

Такого властного неуютя в мире мы еще не знали. Мы, как могли, как умели, старались спасти друг друга. Были старательно бодры, говорили преувеличенно громко, обнимали друг друга с

чрезмерной пылкостью, двигаться предпочитали шумно, смеяться звонче.

Но стоило лишь взглянуть за окно, как становились смешными и грустнопонятными все эти ухищрения: с севера грозно и спешно неслись и неслись на наш дом тучи — как дым от далеких пожарищ.

И — ни на секунду не оставляя — необъяснимый — реял вокруг словно бы за па х тревоги.

Было почему-то тревожно — за детей, за сына, за стариков, бредущих под дождем за буханкой хлеба, за зверей, за птиц, оставшихся зимовать и поверивших людям, за нашу с ней нежность и понимание, за нашу с ней жизнь, за Жизнь вообще...

Я пошел к сараю за дровами и вдруг услышал, как невдалеке закричала собака.

Она именно кричала — не лаяла, не выла, не скулила. Было впечатление, что ее истязают. Она голосила навскрик — как от неравномерно наносимых ударов.

Невозможно было слышать это. Я побежал — то и дело оскальзываясь по грязи, как по жирному льду.

Была середина дня, но уже стояли сумерки. Лил дождь. Я очень скоро нашел двор, откуда несея крик, и бесцеремонно толкнул калитку. Калитка была заперта. Я ударил плечом с разбега и сорвал щеколду.

Я — человек не храбрый, но в ту минуту, пребывая в тихоклокочущем, меня самого пугающем, бешенстве, готов был броситься в любую драку хоть до смерти, с истязателем. Не оказалось никакого истязателя.

Мне предстала картина, отвратность которой мне не избыть из памяти, наверное, никогда.

В грязи и кровавой блевотине, под дождем, околевала, содрогаясь от судорог и крича от боли, цепью прикованная к будке собака.

Пытаясь вставать на дрожащие лапы и тут же пьяно и весело заваливалась набок, вновь колотясь от разрывающей ее изнутри боли.

У нее, бедолаги, была еще и течка. И целая свора глиной изляпанных, мокрых, в грязную толчею сбившихся псов оживленно-весело, но и с явным уже недоумением, суетились над ней, устраивая время от времени свирепую кратко-вспыхивающую грызню за право овладеть этим жалким, предсмертно голосящим

куском плоти, еще шевелящимся и похожим более всего на шматок насквозь мокрого, грязной глиной, кровью и блевотиной изгвазданного войлока. Они не могли, конечно, взять в толк, что она умирает. Запах, который от нее исходил, говорил о жизни, только о жизни, о готовности к новой и новой жизни, а она ползала кругами в грязи, билась навскидку и пронзительно кричала. Я стал стучаться в дом.

— Что же вы делаете, сволочи?! Убейте ее! — Но в доме царил молчание. Дверь была заперта.

— Уехала она ... — услышал я голос. Из-за соседского забора боязливо выглядывала голова старухи. — Дала ей крысиного яду и уехала.

Я пошел к соседу. У соседа было ружье.

Я прошел всего лишь метров двадцать, как вдруг меня достиг вопль, исполненный такой пронзительной боли, такой беспомощной тоски и отчаянной муки, что я невольно остановился.

Прошла минута. Две минуты, Я стоял и ждал.

Прошло десять минут — там оставалась тишина.

Я понял, что уже не нужно никакого ружья.

Я избегаю думать об этой старухе-отравительнице, до сих пор избегаю. Я стал избегать встреч лицом к лицу с ней. Не могу внятно объяснить, почему. Ни отвращения, ни ненависти, ни даже особой неприязни у меня к ней нет. Просто — когда я вижу ее, я не могу не вспоминать тот грязно-дождливый день и не могу избавиться от ощущения, что именно тогда — из-за нее — какая-то медленно действующая отравляющая проникала и в нашу жизнь — я не имею в виду жизнь нашей семьи — в жизнь, окружающую нас.

Первый снег уже лег и цепко лежал с неделю — потянулась серенькая нищенская зима.

Жизнь стала выпцветать и скукоживаться, все более напоминающая невеселую трудовую повинность.

Как-то после обеда пришли два поселковых знакомых и без всякой тревоги — скорее с охотничьим веселием азарта, предложили: «Пойдем Лилькину дверь ломать... В доме собаки воют, а следов Лилькиных нет. В милицию звонили, там говорят, смотрите сами. Хочешь, пойдем посмотрим?..» Я не хотел. Однако пошел.

...Лилькой лет пятьдесят с большим гаком называли недалёкую нашу соседку — в рыжее крашенную, всегда в палец толщенной напудренную, с матрешкиными румянами на щеках — дебелую женщину, с которой мы были знакомы лишь по тем кратким встречам-разговорам, которые случались, когда она шла с загорской вечерней электрички, а мы попадались на ее дороге: направлялись, например, в магазин или встречали кого-нибудь...

Встречи не часто бывали, но за два лета да за две зимы их прикопилось достаточно, чтобы мы достаточно приветливо здоровались, разговоры, на ходу приостановившись, кое-какие разговаривали — в общем, чуть ли уж не знакомыми могли числить друг друга.

Настоящее ее имя было Фаина, но неизвестно почему ей больше нравилось имя Лиля, и все так ее и называли: Лилька.

Странная это была женщина. Не сказать, что больная, но жила странно, с удивительной даже для зимников замкнутостью, с плохоскрываемым острым страхом перед жизнью, которая, несомненно враждебная, творилась вокруг нее и чревата была неисчислимыми опасностями ограблений, нападений и, в особенности, изнасилований. О них-то при каждой встрече она взволнованно-сладостно и рассказывала нам чаще всего.

Людей она в дом к себе никогда не пускала. Разговаривала только через забор. И даже когда разговаривала с нами — людьми вроде бы знакомыми и безобидными — исходила от нее как бы эманация настороженности, страха, мгновенной готовности перейти от мирной беседы к отчаянной визгливой обороне.

Жила она с собаками. Собаки тоже были странные. Все, как на один подбор, необыкновенно уродливые, как-то вывихнуто-злобные и ужасно глупые.

Казалось, что она намеренно — в соответствии с какими-то глубоко личными и тоже глубоко вывихнутыми представлениями о красоте — выбирает в свиту себе этаких ублюдков. И имена она им давала удивительные — удивительно бездарные и странные.

Был, помнится, Сюсик — то ли бульдог, то ли боксер — с расквашенной всмятку кривой и вечно слонявой мордой, с искривленными (но не внутрь, а вовне!) — словно бы выломанными лапами. Вроде бы и белый, но весь в ярко-красных лоскутах, посеянных как попало.

Была догиня по имени Афродита — вся словно бы голая,

неимоверно тощая, вечно бегающая с суетливой тупой озабоченностью безумицы вдоль решетки забора — светло-серая и тоже вся изляпанная рыжими дворняжьими пятнами. Бегала она безостановочно, но иногда вдруг застывала и принималась лаять, и лаять могла по часу, по два без единого перерыва, одиночными и на удивление гулкими: «Гав... Гав... Гав...» — нешуточное, клянусь, бешенство вызывая именно глупейшей размеренностью и сверхъестественной басовитостью этого гавканья.

Был у нее еще и Лосик. Его как-то и собакой называть не хочется — это брызжущее злобной ненавистью трусливое существо, кривоногое и малорослое, совсем не собачьего, а скорее кошачьего — розового — окраса, которое вечно ошивалось на улице возле Лилькиного забора, истерическим визгливым лаем провожая каждого. Проходя мимо него, вы всегда испытывали чувство, что вас вот-вот ухватят за ахилловы сухожилия.

Ко всему прочему нужно заметить, что Лосик был девочкой и то ли от Сюсика, то ли от Афродиты в Лилькиной своре возник вскоре еще и Ярило — по внешности и по характеру точнейшая копия Лосика, только еще более гнусная и по внешности и по характеру.

Кормила она их куриными лапами — не перепутайте с куриными ножками — которые за символическую плату покупала на загорской птицефабрике.

Я словно и сейчас вижу: предвечерние сизые сумерки и, как живые, торчат из полурваного полиэтиленового пакета во все стороны растопыренные желтые куриные когти. Лилька прижимает пакет к груди и торопливо, со словообилием затворно живущего человека рассказывает нам, как это выгодно, полезно, хорошо, и самый сейчас сезон собирать сныть, уже появившуюся на проталинах. «Я из нее и суп варю, и просто так ем, и салат... Попробуйте! Попробуйте», — чуть ли не умоляет она нас, пылая кукольным румянцем, и тут же, без перехода: «А вы не знаете, кто это вчера все ходил-высматривал, в черном таком пальто? Лосик уж так его облаял — сразу, ха-ха-ха!, исчез! Это не к вам кто-нибудь приезжал? А то, вы знаете, мне сегодня рассказывали...» — и далее следует жуткий какой-то рассказ, настолько нелепо-жуткий, что нет никаких сомнений: она сама его сочинила, может быть, вот именно сейчас, вот в эту самую минуту.

Господи! Каким унынием худосочной серенькой жизни, каким з а т х л ы м одиночеством веяло от нее всякий раз! —

сердце застывало...

Она была ретушером, брала на дом работу для какого-то загорского фотоателье.

...Подопшли к Лилькиному забору.

— Видишь? — Снег перед домом действительно лежал нетоптанный.

— Ну? Будет?

— А че делать? Калитка-то, видишь, изнутри заперта.

Подергали калитку. Один перелез через забор, ему дали фомку. Труда не составило выдрать замок вместе с петлями. Боязливо пошли по дорожке, которая обозначена была под снегом как неглубокая, неширокая канавка.

— Видишь?

В узком просвете меж занавесками желтенько светила лампочка. Кто-то плюнул: «Ежу понятно...» Вошли на открытую террасу. Прогнившие половицы круто скатывались в прогнивший угол. Скучное барахло громоздилось свалочной грудой: картонные подмокшие коробки, ржавые ведра, пухлым рулоном кое-как скрученная грязная полиэтиленовая пленка с теплицы, ломаные стулья...

— Повесилась, небось. А мы тут...

— Возьми-ка дрын лучше. Собаки выскочат — они у нее спихованные.

Один стал прилаживаться фомкой. Остальные встали с колами наготове.

Собаки загавкали. Но, странно, не было обычного для Лилькиных собак остервенения в их лае. Скорее — нетерпение: «Ну, давай! Открывай же!»

Тот, что с фомкой, хекнул и быстро распахнул дверь, дверью же себя прикрывая.

С освобожденным и как бы даже страдальческим лаем собаки вывалились на террасу, радостно сунулись в ноги.

— Куд-да?! — Лосика огрели по боку, и он покатился в сад. Афродита и Ярило уже были там и торопливо, жадно, ненасытно хлебали снег.

Когда шагнули в комнату, в ноздри ударило отчетливым запахом бродящей помойки, дерьма и еще чего-то такого, отвратительного, торжествующе гнилостного, что воняло как бы и не смешиваясь с остальной тухлятиной, а как бы подчеркнuto

само по себе.

Свет слабенькой лампочки тихо отражался в грязно-серой воде, наполовину заполнявшей корыто, стоящее на двух табуретках.

В тени корыта на полу сидела Лилька, сильно привалившись к одной из табуреток.

Кто-то тронул ее и тотчас, матерно выругавшись, отскочил! Со странной готовностью Лилька кувыркнулась набок, издав тупой околоченый стук при падении о пол, и теперь стала лежать на полу, на боку, по-прежнему сгибая ноги в коленях и подбородок прижав к груди.

— Нда... — озадаченно сказал, глядя на нее, обладатель фомки и стал прикуривать, но вдруг — торопливо гася спичку, выскочил на террасу.

Другие уже стояли там.

— Меня аж замутило... — сильно конфузясь, сказал тот, что с фомкой.

— Тьфу! — плюнул другой. — Тьфу! Ты когда-нибудь бывал у нее? В доме?

— Не ...

— Вот ... тьфу! Разве ж так можно жить?! Человеку? — его даже передернуло.

— Пойдем звонить. Теперь-то они придут.

И все дружно, с облегчением пошли на улицу — собак как ветром сдуло — невнимательно притворив дверь, за которой на замыганном собачьими лапами полу в тени от корыта с грязномыльной спокойной водой, уютно свернувшись в позу эмбриона и, казалось, уснув, осталась дожидаться их Лилька, более всего похожая сейчас на серый неряшливый куль, плохо приметный в толкотливой унылой тесноте комнатенки, образованной глупейшим бестолковым множеством табуреток и стульев, — по преимуществу кособоких и колченогих, — столиков, покрытых клеенчатой грязной и даже на вид липкой дрянью, крохоборским избытком коробок, коробков и коробочек, ящичков, узелков, пакетов и газетных пожелтелых свертков и заставленный, где только возможно было, десятками невымытых банок, пустых бутылок, грубо испорочеными жестянками из-под консервов, невымытыми чашками, стаканами и кружками, тарелками и мисками, — и все это, как грязным прогорклым салом, было обволочено тускленьким светом из-за занавесок, которые от пыли и древности висели на мутных окошках совсем уж

гардинными складками...

Блеклыми, уже почти бесцветными (но все же угадывалось, что голубенькими) глазами печально взирал на Лильку Олег Стриженов с линиялой обложки «Советского экрана», небрежно и криво приляпанной прямо на обои, уже тоже до мертвенной бледности выпцветшие, напрочь потерявшие даже и подобие рисунка и украшенные лишь ржавыми потеками давних и недавних протечек.

В ужасе, в панике, чуть не бегом ли возвратился я к Кольке— мирно спящему в аккуратненькой беленькой своей постельке и вкусно причмокивающему пустышкой — было видно, что он смакует картины сна, отдохновенно, удовлетворенно и чуть слышно попыхивая при этом губами.

Я встал у приоткрытой двери, глядел на него и не мог шевельнуться. Меня — как парализовало. Я не могу объяснить, что стряслось со мной.

Боль и ужас отцовства вдруг ясно и безжалостно пронзили меня и принялись яро терзать. Я не знаю, что случилось со мной.

Передо мной был человек — сын мой, — доверчиво и сладко внимающий снам о еще неведомой ему жизни. А я на него взирал — отец его — и меня р а з д и р а л о в болезненные скорбные клочья оттого, что я ведь, если честно, и ведать не ведаю, к а к и ч т о надобно делать, чтобы жизнь вот этого человечка получилась жизнью Человека. А он, не спросясь, уже живет, и в нем нет никакого сомнения, что я-то, отец, ведаю в с е об этой жизни, и он верит в меня, как в Воздух, как в Воду, как в Сон, — он мне доверился, он мне доверен, а я ... не знаю, что есть жизнь.

В ноздрях моих все еще скверненько тлело воспоминание об отвращающем запахе смертного тлена; перед глазами моими, воспаленно впечатанная, все еще стояла картина всего того, что так грубо-уныло, грязно-сумрачно, скорбно, оскорбительно и скучно-мерзостно окружало Лилькину смерть да и, видимо, жизнь; во мне еще стоял, таял, не мог растаять как бы отзвук того отчаянно-виноватого, душу бессилиящего, вопленного стоны, каким сострадательно воскликнула вся человеческая суть моя при виде этого изуверского (так и хочется сказать, глумливого) Одиночества, с каким повенчалась при жизни Лилька и каким увенчана стала житая Лилькой жизнь... — и я об этом только

молил в те минуты Господа Бога, и только одного его горячо, косноязычно молил, Господа Бога, чтобы милостив сделался к сыну моему и не допустил до страшного греха не востребовать главнейший талант свой (единственный от рождения в с е м вручаемый) — талант оставаться человеком на этой земле, т а л а н т б ы т ь .

Я так молился об этом, так уж видно чересчур горячо, и страстно, и истово, и настырно, что когда обнаружил это (я молился, как домогался!) — тотчас сконфузился, мне стало неловко и дурно и, с удивлением теряя сознание и уже сползая по косяку на пол, я успел только одно-единственное пролепетать в оправдание: «Не о себе... ведь Ты понимаешь... о нем, о сыне моем...»

Она была одинока неправдоподобно. Некому оказалось не только хоронить ее, но даже и н а с л е д о в а т ь сберкнижечные какие-то накопления Лильки и дом ее. Совсем уж фантастика в наше время.

Собаки разбежались. Дом остался стоять, как стоял. Судя по малотопанному снегу вокруг, даже бичи не очень-то охотно разворывали его.

Он, как зачумленный, остался стоять, этот дом. Как клеймом отмеченный.

Впрочем, тут нужно уточнить: Лильке принадлежала лишь половина строения и половина участка. На другой — жили совершенно к Лильке отношения не имевшие, только на летний сезон приезжающие люди.

Даже Роберт Иванович толком не знал, из каких они — то ли очень научные работники, то ли торговая сеть — одно было ясно видно: не из нас, не из голытьбы.

«Жигули», всегда новехонькие, все лето стояли у них за забором. Белье стирали в стиральной машине. А отдыхали — под большими пляжными полосатыми зонтиками, читая книжки и щелкая семечки. И пудель у них, натурально, тоже был.

Пудель у них был, поскольку (как потом выяснилось) детей из соображений семейной экономики они в хозяйстве не держали. А до пуделя существовал (как тоже потом, на суде, выяснилось) племянник.

Племянник уже и тогда был мальчик современный — буйно-

предприимчивый бездельник. (Сейчас, попав под амнистию, он держит крупное малое предприятие с малой ответственностью. Что-то вроде: «Мониторинг, горючее секонд-хенд, а также фотомодели а ля рюс с самовывозом на дом для оказания консалтинговых услуг по системе Пи-Си Ай-Би-Эм.) Но тогда — до пуделя — он был совсем еще мальчик — нежный, кудрявый и к тете с дядей ласковый. В магазин попросишь, всегда ходит, но (как выяснилось на суде) сдачи никогда не приносил. Но — нежный был очень, особенно когда в ясельки ходил. После ясельек, правда, сразу портиться стал. Но в школе учился хорошо — рублей на тридцать в неделю (десять троек, или шесть пятерок, или пятнадцать двоек — рупь за балл — такую ему таксу тетя с дядей установили).

Все десять классов он целиком кончил, а потом пришел к любимой тете-дяде и говорит, я, говорит, в Университет Ломоносова мьлпось, так что вы мне мои будущие отметки заранее обналичьте, не то хуже будет. Я, говорит, десять классов целиком кончил, бя, и от вашей отсталой системы оплаты труда, бя, совсем испсиховался.

А тетя с дядей к тому времени аккурат уже пуделем обзавелись.

Куку тебе, говорят, с макой, племянничек милый! Вот Бог, вот порог, вон там государство, а вон там где-то папенька твои с маменькой шлпются — с них и соси, у нас больше не проси. Они на него в обиде были: он (как потом на суде выяснилось) тройки и пятерки в дневнике сам для них рисовал. Он — им: «Гоните бабки!» А они — ему: «Беги воруй, пока трамвай ходот!» — очень грубо.

Мальчонка, ясное дело, осерчал, весь в слезах залезает в чью-то чужую машину, приезжает к нам в поселочек и — ба-бах! из ракетницы — в тетин-дядин домишко!

Домишко и загорелся.

Он загорелся среди зимы, за неделю с чем-то до Нового года, в самую глухую нашу глухомань, когда живого человека, если только его специально не разыскивать, можно только у магазина встретить.

Но когда домишко загорелся, вмиг обнаружилось, какая прорва людей обитает, оказывается, в нашем медвежьем углу.

Даже старушки приволоклись посмотреть — как на праздник.

А они в самом деле, грех говорить, горел именно празднично.

В черной ночи, в мрачном нашем захолустье, оранжево, солнечно, радостно и о с в о б о ж д е н н о — полькал огромный до небес костер-костерище! Это надо было видеть.

... Когда мы — первый десяток огнепоклонников — прибежали (вот уж точно, «как на пожар»), пламень еще был тесно затиснут в щелястый короб стен и крыши. Только из лопнувших окон одной из комнат время от времени, словно бы для потешного ужаса публики, длинно высказывали наружу трепанные узкие апельсиново-черные лоскуты — точь-в-точь «тещины языки» — проворно, нежданно и беззлобно, как бы пробовали на вкус наружные стены.

Дом был ветхий, и яснее ясного было видно, что он сгорит, но мы почему-то тут же стали пытаться «спасать» — если и не дом, то хотя бы барахло.

Мигом взломали двери, высадили оконные переплеты, что-то зачем-то стали выносить на улицу, на снег.

Сначала боязливо заскакивали на секундочку внутрь, хватали что под руку попадется и победоносно высказывали с этим наружу.

Ну, а потом — помаленьку освоившись и преисполнившись нахальства — принялись даже пытаться гасить этот огонь — снегом, который ведрами передавали нам по цепочке с улицы.

Это не было, поверьте, то, что по-тазетному называется «борьба с огнем». Это была, если честно, и г р а с огнем, соревнование с огнем, забава, — все, что угодно, но только не тушение пожара и не спасение имущества от огня. Такого азарта, такого веселья, такого дружества с рядом воюющими — я не испытывал никогда. Я наслаждался. Мы его, этого Ръжего, совсем не боялись, честно. Лезли в самый трескучий жар. С совершенно безумным, однако, веселым безрассудством, совершали чудеса, если не героизма, то уж идиотизма, это точно.

Откуда что бралось?! Помнится, мы вдвоем с каким-то парнем — всего лишь вдвоем! — подняли на руки и далеко выпшвырнули через мансардное окно трехстворчатый шифоньер, который в любое другое время мы с ним вряд ли бы сдвинули.

Плевать нам было на торгашей, чье имущество мы якобы спасаем! Кто о них думал? Никто! Никто их и не знал, и не вспоминал о них! Нас вел молодецкий — ух! какой сладкий! — азарт, молодецкая, черт-те откуда взявшаяся, удаль. (Я именно

эти, точные, слова пишу.) Нам — ну, до зарезу! — необходимо было о п е р е д и т ь Е г о , как можно больше всего у него, у этого Рыжего, из-под носа стибрить, как можно больше каверз устроить! Никакой враждебности он у нас не вызывал, ей-богу. Да и мы у него, судя по всему, тоже...

...Занялись перекрытия (кто-то нам крикнул об этом) — голыми руками мы — нас человек шесть было — разбросали потолок, подставили лестницу, стали закидывать пламя на чердаке.

Боря Челноков был там последним в цепочке, по которой летали к нему с улицы ведра со снегом. Вокруг него все польхало, трещало, дымилось, а он, на чем-то, чуть ли не на табуреточке, умопившись, сидел и швырял снегом на огонь, который только пофыркивал в ответ на эти маленькие себе неудобствия.

Вдруг вышла заминка в ведерной эстафете.

Борис на четвереньках подковылял ко мне, стоящему наверху лестницы, и запыхавшись, но очень и очень обыденным голосом попросил:

— Огонька не найдется? Прикурить...

Я чуть с лестницы не посыпался — так заржал.

Вокруг него все польхает, стреляет угольями, на нем телогрейка тлеет, а он спрашивает, не найдется ли огонька, чтобы прикурить.

Я дал ему спички. Он прикурил. А меня то и дело аж подкидывало в смех: «Огонька не найдется?..»

Никогда еще здоровее и смешнее, чем тем смехом, я не смеялся.

Пауза затянулась секунд на сорок.

(Как выяснилось, нашелся, натурально, мудрила — из тех, кого хлебом не корми, а дай порулить, — и он стал перестраивать конец цепочки на принципиально новых основаниях — дабы она дотянулась до колодца и дабы с пожаром мы боролись, как принято у всех цивилизованных пожаротушителей, водой, но не снегом. О том, что колодец еще с лета обвалился, он, странно, но забыл.)

Пока они там перестраивались, пока убеждались, что колодец забит снегом, пока снова перестраивались в прежние порядки, — мы с Борисом успели отдышаться и раз по пяти затянуться властью.

Огонь в эти полминуты тоже будто бы медлил, будто бы нас поджидал. Будто бы вопрос нам задавал: «Ну, что? Вы еще будете играть, или вы уже — все?»

И только-только прибежало к нам новое ведро со снегом, этот Рыжий решил баловство кончать.

Вдруг — буквально голосом — ахнул сипло-оглушительно: —Х-А-А-АХ!! —и мигом весь чердак полыхнул пламенным пыхом.

И Челноков наверху и я, по пояс торчавший в чердаке, оказались — как в огненном шалаше.

Затрещали волосы в бороде.

Мгновенно не осталось чем дышать.

Мгновенно стало ясно: шутки, игры и забавы с огнем кончились.

Борис одной ногой прыгнул мне на голову, другим сапогом — на плечо, и в таком порядке, друженькой этой пирамидой, мы сверзились с лестницы на первый этаж. Оказались на улице в мгновение ока.

Пламя пробило, пронизало крышу — у нас на глазах — как картонную, и она полыхнула перед нашим взором вдруг, словно бы взорвавшись изнутри.

Все ахнули в ужасе, прынули прочь.

Удивительно, но во мне он по-прежнему никакого страха не вызывал, этот огонь.

Все было слишком красиво. Все казалось — невзаправду: сосны, обступавшие участок, нарядно-янтарно подсвеченные дергаными рваными откликами от огня, выглядели на провальном-черном фоне неба д е к о р а ц и е й , обступившей сцену.

А на сцене — откровенно на публику — под гулкий доменный торжествующий рев — с тайфунными вывертами, огненными выкрутасами, пламенными клубами, с хряском, с оглушительным треском, с ураганскими протуберанцами, взрывами искр, с ослепительными ахами, крахами, пальбой — уже всю колотился, выплескивался в дикарском своем плясе Наш Рыжий.

Дом полыхал весь и всюду. Ничто на свете уже не могло спасти его. А мы стояли рядом — я и Борис — грязные, полукопченые, изгвазданные и, странное дело, чувствовали себя победителями.

— Если б колодец поближе... да ведер бы побольше... — с сожалением сказал Борис, морщась и то и дело куная обожжен-

ные пальцы на снег, — мы б его ухрюкали. Точно? — Ухрюкали бы. Запросто, — с уверенностью ответил я, не очень, впрочем, представляя, как огонь можно «ухрюкивать», — ухрюкали бы, Боря, за шесть секунд.

Затем, конечно, произошло торжественное явление пожарной команды народу.

Это, конечно, были профессионалы. Не то, что мы с Борисом.

Первым делом они разогнали народ. Вторым пунктом — протаранили забор, повалив пролета три. Третьим делом — оборвали провода, обесточив дом (а заодно и половину поселка).

Затем они бодро развернули шланги и под командованием мужика в очень блестящей каске скромно пописали в огонь. Емкостей у них хватило на полторы минуты. Может, на две. За новой заправкой ехать надо было к реке: к реке было не проехать из-за сугробов: пожарники отогнали машину в сторонку, закурили и стали с чистой совестью ждать, когда начнется настоящая работа: когда рухнут все несущие перекрытия и когда можно будет приступить к растаскиванию головешек баграми и к мстительному крушению всего того, что от пожара останется.

Стало скучно. Народ стал разбредаться.

Огню тоже стало скучно. Он ахнул напоследок прогоревшими балками, вызвав восхитительный фейерверк аж до Большой Медведицы, и стал утомляться.

Праздник кончился.

Все пошли по домам.

Пожар этот имел для нас подследствия, сколь неожиданные, столь и неприятные.

Уже в следующую ночь мы пробуждены стали звуками незнакомыми, откровенно зловещими. За два лета да за полторы зимы мы уже наизусть изучили все голоса нашего ветхого жилища. На слух без ошибки определяли, где какая скрипит половица. Уже не пугались, когда от проходящего по железной дороге тяжеловесного состава — попав с ним в резонанс при прохождении тридцатого, примерно, вагона — дом вдруг начинал явственно колотиться от фундамента до крыши, кряхтеть на разные лады, шуршать опилками и побренькивать стеклом в окнах и на полках.

Знали, где гнездуют дровоточцы-пилильщики, всегда не-

ожиданно, всегда среди ночи, вдруг принимавшиеся тикать, как торопливые часики. Не удивлялись и даже почти не вздрагивали, когда одну из стен ни с того ни с сего вдруг пронизывало словно бы старческим, прямо-таки в голос! стенанием, тотчас переходящим в ревматический, не сразу стихающий долгий треск в древней древесине... Эти звуки постоянно жили вокруг нас, мы их почти не замечали, мы воспринимали их — как тишину, вернее сказать, как звуки, а ш у тишину составляющие.

То, что разбудило нас в следующую после пожара ночь, ввергло меня и жену — мгновенно, повелительно ввергло в содрогание отвращения и, чего уж скрывать, ужас.

Было отчетливо, как в кошмаре, ощущение, что кто-то опасно-зубастый, размером, со сна показалось, ну, никак не меньше крокодила, наглый и слепо-нахрапистый, п р о г р ы - з а е т с я к н а м — откуда-то снизу, снаружи.

Хруст хищно терзаемый древесины раздавался отчетливо и неправдоподобно громко, словно через усилитель, словно эта тварь намеренно выбрала особо сухую, чутко-звонкую лесину — дабы во всех подробностях доносилась до нас эта звуковая картина: острозубое, опасное, мрачное, хищное, неумолимое неудержимо прогрызается снизу-снаружи к н а м — по нашим души. Ни я, ни жена моя никогда не сталкивались с ними вплотную, но мы мгновенно, одновременно и совершенно одинаково содрогнувшись, вскрикнули: — Крысы!

Я выскочил из постели, включил свет, обухом топора трахнул по полу, по плинтусу, понизу стенки.

Там — мгновенно затихли. Там — прислушивались.

Я еще раз ударил.

И словно в ответ, словно в насмешку, тотчас — еще оживленнее и нетерпеливее — принялись там за грызню. Звук раздавался из угла за постелью: из самого трудно для нас доступного, плохо освещаемого угла. Одно уже это, несомненно, свидетельствовало, насколько тварь эта хитра, сверхъестественно как-то хитра. Откуда ей, снаружи, знать, что именно этот угол, как никакой другой, более всего пригоден для ее надобностей?

Скрежет был зубовный, хруп и хруст приближались неумолимо.

Уже через пару минут звук раздавался так отчетливо, что и сомневаться не приходилось: какие-то пара сантиметров трухлявой древесины отделяют нас от неминуемой встречи.

Я торопливо стал сдвигать мебель, чтобы обнажить угол. Это было нелегкое занятие. Мы жили в такой тесноте, что чайник, например, с плитки, стоящей возле окна, брали, зада не отрывая от дивана, который стоял у противоположной стены, сидя на котором мы обедали, на котором, естественно, спали и с которого в положении лежа смотрели телевизор.

Телевизор я унес к дверям, тумбочку поставил на газовую плиту, диван, на сколько было возможно, отодвинул; выгреб из угла завалившееся туда барахло — и приготовился к встрече.

Со стороны глядеть, выглядел я, наверное, несколько странно: на карачках, с топором в руке, вниз головой свесившейся с дивана. Однако мне не до изящества поз было. Я совершенно всерьез был уверен, что вот-вот, через секунду-другую сунется в наш дом незваная гнусная рожа, и я наконец-то буду иметь сладкую возможность хряснуть этой тварюге между глаз.

Не тут-то было...

Когда, судя по звукам, препона между нами истончилась до картонной толщины — там настороженно замолкли. Там запердозрили, видать, неладное.

Пауза длилась и длилась.

Смешно, но мне казалось, что меня в это время, как бы сказать, изучают. Может быть, издали обнюхивают. Может быть, даже разглядывают.

Затем — совсем вблизи, до мельчайших шорохов внятно — раздалось не очень уклонное, утесненное, поворотное движение какого-то живого существа (размером, мне показалось, с небольшую кошку) — и не таясь, громко шурша по стенкам, оно удалилось куда-то в глубину лаза, который представился мне в эту минуту в виде тоннеля, напрямик зияющего в провальную черноту ночи.

Я с досадой ударил обухом по стенке вдогонку этой трусливой твари. (Топор еще не коснулся стены, а я уже испуганно спохватился: сейчас рухнет, и там откроется... мы ж беззащитны останемся!..)

Но ничего не рухнуло и ничего не открылось. Просто эта гадина, услышав мое присутствие, ушла восвояси, временно отложив пакостные свои труды. В этом можно было не сомневаться — именно временно. Она нас в покое не оставит.

Ей — нужно — сюда.

И ей, этой гадине, несомненно, нужно, чтобы мы — отсюда—

ушли. Под одной кровлей нам не жить.

Мир стал противным и тошным.

Все валялось из рук. Глаза ни на что не глядели. Мы даже стали ссориться.

Не покидало ощущение, что где-то рядом с нами, где-то под домом, завелся источник какой-то смрадной заразы, ни цвета, ни запаха, однако, не имеющей.

Мы были больны этим соседством.

Темная, ни на секунду не иссякающая эманация подленькой злобы, наглого презрения ко всему инакоживущему беспрепятственно пронизывала все поры нашего дома, раздражала, бесила и бессилила нас.

Душепротивно и оскорбительно было это соседство.

Они не появлялись. В их планы, должно быть, и не входило являть нам свой облик — до поры до времени.

Днем их вообще не было слышно. Но по ночам — с полуночи до пяти — они мрачно, воодушевленно, нетерпеливо, совершенно пренебрегая скрытостью, предпринимали все новые и новые, все более, казалось, яростные попытки — и так и этак, и с той стороны и с этой — прогрызться внутрь нашего жилища.

В эти ночи мы ощущали себя — как в осажденной крепости, под стены которой, приуготовляя последний беспощадный штурм, уверенный в себе неприятель, ведет с разных сторон подкопы.

И когда начинал раздаваться отовсюду этот отвратительный хруст безжалостно и оживленно терзаемой древесины — страшное одиночество падало на нас, безысходность, отчаяние.

Все чаще пронизывало обреченное чувство, что все основания нашей крепости, нашего дома уже проедены, изъязвлены крысиными ходами вдоль и поперек, одна только видимость осталась от непоколебимого нашего дома, мы еще чудом стоим — ткну пальцем, и с трухлявеньким треском все рухнет!

На нежилой (летней) половине дома они хозяйничали уже вовсю.

Лишний раз мы предпочитали туда не заходить. Эту территорию они у нас уже, считай, завоевали. Ты входил, и с омерзительным писком и чуть ли не с топотом бросались врасыпную невидимые в потемках твари, не убегали, нет, а затаивались где-то поблизости. Ты, стоящий посреди комнаты, отчетливо чувствовал себя в перекрестьи злобно-недовольных,

исподтишка ненавидящих взглядов, стоял и, естественно, долго не выдерживал так стоять, побыстрее делал свое дело — банку ли с вареньем взять, включить ли сработавшие автоматические электропробки — и выскакивал прочь! — с усилием одолевая в себе почти рвотные судороги отвращения, со стыдом ощущая какой-то прям-таки атавистический страх перед ними, весь корежась от глетворной пакости, которую они, казалось, источают.

«Успокойся, — в тысячный раз говорил я себе, — рассуждай спокойно, не городи фантазий, гляди проще. Ну, десяток, ну, два десятка неких несимпатичных тварей оказались после пожара без своего обиталища, и совершенно естественно, что, спасаясь от гибели, бросились спешно обживать первый попавшийся дом. Ну, не повезло — твой дом оказался ближайшим от Лилькиного дома — что же теперь, вешаться что ли? Ну, грызут... ну, спать не дают... По ночам грызут — потому что твари полночные — и не могут не грызть — потому что без сети коммуникаций жить им никак не можно. Погрызут-погрызут и перестанут. В Лилькином доме, видать, вели себя тихо — ходов прогрызли наверняка на много годов вперед. Успокойся. Им нет дела до людей. У них своя жизнь. Они живут по законам своей жизни. Разве они трогают нас?»

Но не работали, хоть стреляйся, доводы рассудка! Многоложной дрожью ненависти, отвращения, страха, брезгливости, бессилия, отчаяния и снова ненависти содрогалась душа от этого насильственно навязанного соседства. Согласен, что с прохладной точки зрения нормальной психиатрии реакции наши на появление крыс были, что называется, не адекватны. Однако, вспомните, часто ли вы встречали в своей жизни людей (психически нормальных), которые воспринимали бы этих тварей, уж не говорю с «симпатией», а хотя бы со спокойствием, без омерзения, без уродливых душевных судорог? Почему бы это? Я так думаю, что люди уже давным-давно догадываются: черно, загадочно мрачно происхождение этих гадин и, судя по многому, не Божьих рук они творение, а порождение Тьмы, верные приспешники сил, упорно враждебных Человеческому в мире.

Мор, глад, войны, землетрясения, наводнения, развал, катастрофы — страшные дьявольские забавы, и, заметьте, всегда тут как тут это серое подлое племя, когда надо — скрытное,

вкрадчивое, подпольно живущее, когда надо — мгновенно наглеющее, гнусно торжествующее, самим фактом своего неистребимого существования как бы насмехающееся над Людями.

Люди давно это заметили. У людей — в генной памяти — тьма злодеяний, непрменные спутники которых — эти твари.

Месяца полтора это продолжалось. Месяца полтора я по ночам не спал. Я не мог, я не считал себя вправе спать. Беда приближалась, и я не хотел, чтобы она застала меня спящим.

Иногда я задремывал, но и слухом и внутренним зрением обращен был туда, в подпол.

Однажды, в таком вот кратком обмороке полусна-полуяви, я повстречался с ним. Это было похоже на то, как если бы он дал мне аудиенцию. Мы говорили. Точнее сказать, я — пылко и отчаянно — объяснялся в своей ненависти, презрении и отвращении к нему и его племени, а он — словно в высокомерном бреду — все бубнил, старчески прижмуривая запльвшие глазки — акварельно-голубенькие, в седеньких ресничках — все бубнил, не слушая меня и ко мне, казалось, не обращаясь.

Он располагался где-то в самой сердцевине тьмы этого дома, в тесном каком-то вместилище, и я резко-отчетливо, как в сильном телеобъективе, видел его дремлющую древнюю усталую морду, сплошь заросшую седым жестким остро торчащим волосом, ожиревшую тушу его, утесненно загроудившую нору, и лениво-нервную ухмылку, как бы издевательскую, которая обнажала грязно-желтые вкривь и вкось растущие опасные зубы, меж которыми гнили остатки черного мяса, — когда юная палевая крыса, тихонько возившаяся сбоку от него, под его животом, делала, видимо, ему приятное.

А он все бубнил и бубнил, словно в параноидальном бреду, о том, как прекрасно будет в мире, когда они добьются, он даже зажмурился от восхищения, как прекрасен будет мир, когда они добьются: никаких людей... сплошное поле желтых одуванчиков... и только они, крысы, а в небе — вороны... а вокруг — до горизонта — желтые одуванчики... и никаких людей... только они, крысы, только вороны и одуванчики...

Это было настолько нелепо, убого, что я поразился: «Это что? Сон?»

Нет, сказал он, не сон. Я дам тебе знак, чтоб ты понял: это не сон.

Наутро, выйдя на террасу, я первым делом увидел крысу, лежащую посреди пола, в луже густеющей празднично-алой крови. Это был знак?

Крыса, судя по всему, сунулась в старую, с высохшей корочкой хлеба, давным-давно заржавевшую и обросшую пылью мышеловку, черт-те сколько времени простоявшую под скамейкой и забытую нами. Мышеловка сработала. Ударила в какое-то жутко-чувствительное, видно, место — по переносью, например... — иначе как объяснить смерть этой огромной жирной гадины, истекшей как будто бы напоказ кровью посреди террасы?

Или — все-таки — это был обещанный им знак?

Не думайте только, что мы сидели все это время сложа руки и, ножки поджав, робко озирались на несущиеся из-под стен мерзостные звуки победного крысиного нашествия.

Как могли, мы боролись. Зоокумарин покупали чуть ли не пудами. Все дело, однако, было в том, что этот, как нам сказали, лучший в мире препарат для борьбы с подпольной нечистью представляет из себя яд очень медленно действующий. С трех, кажется, прикормок вызывает у крыс гемофилию и недомогание (отрава мгновенного действия мгновенно же вызывает и подозрительность в крысиной стае...) — стало быть, в моменты массированного наступления этих тварей на жилище результат действия зоокумарина был от нас надежно, отдаленно скрыт. Было ощущение, что все — без толку. Приманку с ядом они сжирали подчистую, и это никак, казалось, не отражается на их самочувствии. Казалось, только бодрости и ярости придает.

Но попыток сопротивления мы не оставляли. Все подозрительные щели в жилой половине я засыпал битым стеклом, сверху заливал еще и цементом. Где только можно рассыпал ломаную древесину бузины. По всем углам накидал сухих колочек репейника: говорят, что крыса, будучи не в состоянии избавиться от намертво впившегося в шерсть цепкого шарика, назад в нору пробраться не может, выпрыгнуть не может, ужасно от всего этого нервничает и, в результате, ее разбивает кондрашка.

Слава Богу, что Колькина комната оказалась им не по зубам. Когда я весной готовил ее к приезду новосела и утялял полы, у меня хватило ума и дальновидения все щели на стыках стен и пола, прежде чем приколачивать плинтуса, оббить полосами

кровельного железа, согнутыми под прямым углом.

Крысы догрызли до железа (я даже слышал эти тюремные звонкие царапающие лязги-звуки) и все попытки проникнуть в Колькины хоромы вскоре оставили. Если бы не это, кто знает, как бы мы себя повели. Может быть, даже сбежали. Представить себе безмятежно спящего Кольку в комнате, где шастают эти голохвостые мерзкие твари, — это уверен, оказалось бы сверх наших сил. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Все случилось точь-в-точь по поговорке.

Началось с того, что однажды у нас вырубилось электричество. Событие было не Бог весть какое, если учитывать, что напряжение в нашей сети постоянно скакало вприпрыжку — от 200 с чем-то вольт до 180 и ниже — и электропредохранители на дню срабатывали у нас раза два-три обязательно.

На сей раз дело оказалось серьезнее: вышел из строя счетчик.

Моих знаний в электротехнике оказалось достаточно, чтобы сделать нехитрое приспособление и пустить ток напрямую, минуя счетчик, минуя и электропробки. (Приспособление называется, между прочим, замечательно: «закидуха» и остается только догадываться, откуда есть пошла славная фамилия Роберта Ивановича...) Кончилось это, как и предупреждает Мосэнерго, печально. Кончилось, научно говоря, возгоранием электропроводки в результате короткого замыкания в сети бытового электроприбора.

Что-нибудь такое, научно-красивое, наверняка написали бы пожарники, порывшись в нашем пепелище, если бы не...

Если бы не крысы, (Как тут не вспомнить мудрость: «Все, что ни делается, — все к лучшему!»), если бы не безобразный их шабаш под половицами нашего дома, если бы не наша из-за этого хроническая бессонница, — страшно и представить, что могло бы произойти.

...Я пробужден был среди ночи от привычной уже полудремы — оглушительным, быстрым, пугающим треском, донесшимся вдруг из-под Колькиной двери. Меня подбросило на постели.

Я распахнул дверь к Кольке: песочно-желтый пушистый огонь весело бежал, треща и разбрасывая искры, вверх по проводу от розетки, из которой уже источался дым. Дальше все происходило будто бы и не со мной. Я подскочил к кровати, сгреб Кольку вместе с одеялом, подушкой и матрасом, сунул в руки

жене, которая, ничего еще не понимая, сидела на краю дивана.

— Быстро! Колькины вещи! Коляску! На улицу!

С некоторой, я бы сказал, уважительностью я поглядел сам на себя, несущегося по дому. «Экий ловкий... Сообразил, что первым делом надо обесточить...»

Вылетел на террасу, сдернул закидуху.

Провода на полу, тянувшиеся от закидухи к сетевой розетке, провода выше розетки — все это уже потихоньку, но очень оживленно, горело.

Пронесся в пристройку, где стояли ведра с водой. Меня — с некоторым запозданием — достигал босой топот моих же собственных ног. Выходит, я быстрее звука, что ли, бегал?

Слава Богу, что мы с вечера (жена затевала большую стирку) наносили много воды — бак и пять ведер. Я схватил два.

Влетел в Колькину комнату — от дверей бросил водой из ведра под самый потолок — удалось, попал точно на провода.

Для верности щедро шваркнул еще и вторым. Бросив брэнчащие ведра, опять выскочил вон. Знание, что у меня за спиной горят на террасе провода закидухи и проводка, было ошущением незащищенной спины в драке.

С новыми ведрами метнулся туда. Обесточенные провода уже не горели, они смиренно дымили. Я окатил их — раз!

Я окатил их — два!

Тряпку намочил в луже и быстро-быстро, сначала по полу, затем и вскочивши на стул, проследил ход, каким должен был бы бежать по проводам огонь от розетки. В одном месте тлели обои, и я мстительно раздавил эту немощную язву-огонечек — как ядовитую гадину.

С тряпкой же вновь оказался в Колькиной комнате. Наконец, выдернул вилку от электрокамина, которым обогревалась комната (он-то и замкнул) — вилка была оплавлена.

Чавкающей тряпкой притоптал проводку и на стене и на потолке.

Нигде огня не было. Я с облегчением, наконец, вздохнул. Вздохнул — и меня вдруг взорвало мучительным, каторжным, душу изымающим кашлем.

Везде в нашем доме провода были старинные, шнуром, в тканевой оболочке поверх резины, и только в Колькиной комнате — современные, в пластмассовой какой-то оплетке, которая, сгорая, источала, оказывается, совершенно убийственный, ядовитый дым.

Мне достаточно было полуглотка, чтобы почувствовать это — я кашлял без остановки, аж ножки подгибались, не в силах вдохнуть полной грудью, не мог прокашляться чуть ли не до вечера.

Сколько времени заняло мое героическое пожаротушение, не знаю. Мне кажется, минуту-полторы. А жена уже ждала меня на террасе, тепло одетая, с Колькой, мирно спящим в коляске под двумя одеялами. Молодец у меня жена.

— Может, оденешься? — спросила она.

Тут я обнаружил, что я — всего лишь в трусах, майке, босиком.

— Думаешь, надо?

Только тут мы испугались. Вдруг как по команде, нас обоих начало колотить крупной, припадочной дрожью. — Что-то и вправду не жарко... — сказал я, биясь и стараясь припрятать пляшущие руки.

— Да уж, чай, не лето...

Я заметил, как она старается не смотреть в сторону коляски, где спал Колька.

Ужас того, что могло бы произойти, только сейчас ворвался в наш дом и темным, голову кружащим вихрем, запоздало торжествуя, носился вокруг нас, аж приплясывал. ...Потом мы сидели в сарае, ждали, когда от затопленной печки потянет наконец теплым — Колька по-прежнему спал, — а мы тесно и нежно обнимая друг друга, дрожащие, пытались согреть друг друга, и она плакала.

— Погорельцы... — повторяла она, всхлипывая, — этого нам только не хватало. Погорельцы.

— Ты знаешь, мне кажется... Ты знаешь, мне кажется, что это Господь нас оберег.

— А как же? — просто согласилась она. — Кто же, как не Он. — И вдруг разом, глубочайше успокоилась.

Прекрасна жизнь! Вот мое самое дорогое воспоминание: зима, промозглый темный сарай, серый рассвет за окном, и мы — любящие друг друга, родные друг другу, с п а с е н н ы е Г о с п о д о м, впервые сладко ощутившие себя под крылом Его.

Мы — я и жена — нежно и бережно держим дрожь друг друга — Колька спит — в холодной печи медленно и трудно разгорается пламень, который согреет нас. И все — впереди.

И все — по плечу!

Мы молоды, мы вместе, мы живы и — прекрасна жизнь!

— Глянь! — сказала жена. — Что это?

Из-под крыльца к улице через нетронутый снег тянулась едва приметная взгляду тропка. Ближе к дому она была тонко припорошена древесной пудрой и там отчетливо читались следы от мелких когтистых худощавых лап, чем дальше к забору, тем все больше светлела, а вдали уже совсем сливалась с окружающим снегом.

— Ага-а-а-га! — Я заорал во всю глотку, мстительно и торжествующе. — Перепугались, сволочи?!

Жена глянула на меня с пылким изумлением, но и слегка, правда, сочувствующе — как на тронувшегося головкой.

— Это же крысы!! Они испугались пожара!

Господи! Какой же я был дурак, что не вспомнил до сих пор... Единственное, чего они по-настоящему боятся, — это пожара. Предки наши уже давно догадались об этом. Когда надо избавиться от этих тварей в доме (я где-то читал или просто слышал от кого-то), подкидывают им подпаленный в огне крысиный труп. Как же я вовремя не вспомнил об этом??

Банда, явно, ушла не вся. Может, выслала только разведку? Или, может, это только самые слабонервные дезертировали?

Я не стал медлить.

Я собрал все металлические банки-плошки, какие только были в доме. Я натолкал в них шерсти. (Пришлось для богоугодного дела пожертвовать любимый свой свитерок — в нем было полтора рукава, спина выглядела как после дробового заряда, — но это был действительно любимый мой свитерок, заветный, я всерьез считал, что когда он на мне, муза посещает меня запросто, без церемоний).

Я подпалил шерсть и расставил чашки с этим фимиамом по углам всех комнат и, главное, в подвале. Шерсть начала тлеть шустро, дурную свою вонь принялась источать сразу же очень обильно, но не чересчур торопливо, что, кстати, и требовалось.

Плотно закрыл все двери и форточки и, наконец, объяснил жене, с ироническим любопытством наблюдавшей за моими судорожными действиями: — Все! Этого они не выдержат. Они подумают: снова — пожар! Поехали в Москву.

Нам все равно, хочешь-не-хочешь, надо было в Москву.

Надо было где-то у знакомых тихонько перекантоваться пару-тройку дней — покуда мы с приятелем, мал-мала соображающим (в отличие от меня) в электричестве, не наладим новую проводку.

Пересидеть это время надо было именно «тихонько», ибо, узнай тетка о пожаре в своей даче, мы мигом бы и с треском лишились всех прав на это пристанище.

«Гори-воняй всюю, лобезный мой свитерок! Сполняй свою последнюю службу! Воняй так, чтоб у гаденьшей этих даже и сомнений не оставалось: огонь обступает их со всех сторон! Когда они сбегут — проветрим...»

И они — с б е ж а л и !!

Они сбежали, судя по bestолковой толкотне следов возле дома, в панике, и уже отнюдь не стройной колонной по утопанной дорожке с квартирмейстерами и разведчиками, высланными вперед, а как разбитая армия — врассыпную, по два, по три, а иногда и поодиночке! Мы приехали.

Мы проветрили дом.

Мы натопили печь.

Мы сидели всю ночь, слушая тишину, воцарившуюся в доме — н а ш у тишину — и, сдается мне, были мы в те минуты счастливы — легким, веселым, беспечным счастьем победителей.

За всеми этими катаклизмами и полустихийными бедствиями мы не заметили, как переломилась зима.

Мы почувствовали это — да вряд ли мы отчетливо почувствовали, просто почуяли: в нескончаемо-сумеречной нудной череде дней, которые предстояло еще прожить до весны, которые, громоздясь впереди, сиростью своей уныло и глухо застили нам будущее — там впереди, невидимый, возник будто бы п р о д у х, из которого чуть слышно-о! едва-едва слышно! — повеяло облегчением жизни.

Ветер как бы случайно, но все чаще и прочнее задувал с юга.

Снеговая короста, несмотря на снегопады, замертвела в росте. Кое-где наст, уже заметно льдистый, пошел на убыль.

В зиме почти нет запахов — тем взволнованнее и отчаяннее скидывалась душа, когда ноздри невзначай стали ловить чудом долетающие откуда-то вести: то, будто бы, огурцовая свежесть, то — мокрая глина, то, вроде бы, смородиновый лист, то — крапивная зелень.

Сделалось вдруг весело-ясно: мы живем навстречу весне. Жизнь снова обрела бодрый и простой смысл.

Сбившись с ноги, мы все-таки вновь поймали шаг — хоть и с немалым трудом.

И каждое лыко вновь, как по волшебству, стало ложиться в строку.

И уже не требовалось усилий сознания, чтобы с доверием глядеть вокруг.

А тут еще — неожиданные — пошли вдруг читательские письма.

Вот это была настоящая награда!

Не плотненский прессик синих пятирублевков (который тоже, разумеется, очень приятно взбудоражил меня: то был мой первый, за настоящую писательскую работу гонорар) — а награда истинная и, как бы поточнее выразиться, в т о й ж е м о н е т е!

Только такой монетой и надо было платить за те сумеречные, нудные часы и дни, когда я сидел за машинкой и являл собой нечто несусветное, почти чудовищное — нечто вроде осьминога, который в кромешной словесной темени шарит туда-сюда чувствилищами, мельком касается тысяч слов, сотен тысяч слов, обозначений, представлений, ощущений, ожидая всего-то одного-единственного: чтобы сладко-болезненно вспыхнуло вдруг: «Больно!» ...

а читатели чтобы тоже это почувствовали и откликнулись: «Точно!»

Сколько личных писем получает человек за свою жизнь? Это понятно, что и человек разный, и жизнь у него разная, — но у меня было ощущение, что я получил их вдесятеро больше, чем мне полагалось.

На многое отверзлись очи мои — на многое... И куда как добрее сделался взгляд мой. И много чего хорошего, смешного, чудного стал замечать в людях.

...Иду вечером от брата, около метро «Динамо» — навстречу мне Колька, университетский знакомый. Делает вид, что не узнает меня, и руками как-то странно делает как поршнями: «Пых-пых!» Увидел меня, говорит: «Машина! Стоп! Машина! Мальшй назад!» Спрашивает (меня): «Бен! Ты не видел здесь такого маленького мальчика? На меня очень похож...» Нет, говорю, не видел. А ты, спрашивает, откуда-куда. Ответил. Ну, ладно, говорит, поплыву дальше. А чего пыхтишь? — спраши-

ваю. А я, говорит, пароход на Миссисипи, неужели не заметно? И — поплыл дальше. А я — по своим делам...

Вообще, понял, люди — хорошие.

В этом году летом, на рассвете, проводив гостей, возвращался домой. Стоит, смотрю, машина — «Волга» — вся забрызганная росой, сияющая, синенькая. А оттуда — музыка! Заглянул деликатно: а там — чудила, в пижаме, в тапках, и на кларнете наяривает — даже глаза от удовольствия закрыты!! Вот, думаю, счастливый. Вот, думаю, не вытерпело сердце. Вот, думаю, как ведь выбираться из дома пришлось, да чтоб не скрипнуло в половище, да чтоб через весь сад пробраться (прижимая к груди кларнет, по-журавлиному поднимая ноги) — и вот ведь добрался, и вот в машину забрался, и вот заиграл на дуде своей, и вот ведь — счастлив!

Или — буквально, вчера — ехал на троллейбусе, а на остановке женщина к дверям бежит и, натурально, опаздывает. Троллейбус подождал-подождал ее, и дверки захлопнул.

Женщина троллейбус догнала, дверку пальчиком поскребла, и говорит себе вполголоса (без обиды на водителя, спокойненько, чуть удивленно): «Вот дуреха-то! Вот дуреха-то! Опять опоздала...»

Люди — хорошие.

Однажды, помню, в метро качнуло на повороте, и чей-то чемодан упал. Слегка задел женщину по ноге. Владелец поднял чемодан, снова поставил и говорит женщине: «Вы, пожалуйста, извините е г о.» А она — тоже, очень серьезно: «Да ничего, ничего... Пожалуйста.» Посмотрела на чемодан, как на ребенка, и снова — в книгу.

Или вот, вспоминаю об Эстонии, куда по младости лет и романтики для сбежал я пацаном от родителей. Мы стояли тогда на ремонте, в Таллинне, и вот, вспоминаю, проснулся неведомо от чего и выглянул в иллюминатор... Уж светало, и было очень по-рассветному хорошо, молодо, чисто и тихо.

Смущенно и кратко басил гудок. К пирсу подходил траулер. Он только что пришел из Атлантики. На проржавелых ободраных бортах его белело: «1270».

На палубе стояли несколько матросов и замороженно смотрели, как приближается пирс.

Очень странно было: судно скользило совершенно беззвучно.

Потом с борта его, на ходу, соскочил какой-то матрос,

рыжий. И принялся босиком отплясывать на обмерзших плитах пирса восторженный, торжественный, молчаливый танец. А потом не выдержал все-таки и заорал, размахнувшись руками, словно обнимая кого-то: «Мужики! Земля! Земля-я-я! Мужики!» — и все стучал босыми пятками по замерзшим весенним лужам.

Колька пошел рано. Не помню, во сколько, но, помню, все говорили: «Рано.»

Вовсю бегал по дому, но поскольку кругом был снег — по земле путешествовал либо в коляске, либо в санках. (Кстати, не понятно почему, горжусь: впервые по асфальту он прошелся года в три...)

Когда пришла весна, когда пригрело солнце и дорожка в саду оттаяла, мы впервые спустили его на землю. Он вначале не понял. Он вначале ничего не понял. А вот потом, когда догадался, что под ним — земля, когда ощутил крохотным своим воображением, что под ним — Земля (не бетонная дорожка сада, подсохшая под мартовским солнышком, а Земной Шар), — вот тогда он зашатался на маленьких своих ножках, как под шквальным ветром, но устоял, и издал пронзительный, восторженный, благодарный и благоговейный вопль — точь-в-точь с интонациями того рыжего матроса: «Мужики, земля! Земля-я-я! Мужики!!!»

И я, хмурый в то утро, захрюкал вдруг слезьми от умиления жизни.

ЧУЖАЯ СТОРОНА

Среди ночи — будто толкнули — Чашкин проснулся.

Притаившись, долго лежал под грузным ватным одеялом — пораженно слушал, как жадно хозяйничает на улице непогода.

Плотные порывистые полотнища азартно метались в отдаленной вышине, с яростным полотняным гудом сшибались — и тогда тотчас грозно шарахало понизу: на разные виноватые лады начинали побренькивать стекла, с занудной страстью взывало в балконных прутьях, а оконная рама, дряхло вскряхтывая, принималась упорно и мелко подрагивать, будто кто-то осторожно под шумок торкался среди ночи в дом.

Сколько ни старался, снова заснуть не мог. Часу, должно быть, в пятом тихонечко вышмыгнул из-под краешка одеяла (не дай Бог обеспокоить Антонида Андреёвну!) и, на преступных цыпочках ступая, выкрался в кухню.

Там, света не зажигая, на уголок ледяной табуреточки опасливо присев, ногу вкруг ноги для тепла завинтив, жадно и оживленно стал курить-накуриваться, со всхлипом припадая к зажатой в кулак, как на ветру, сигарете и пришептывая без смысла: — «Вот мутота-то, едреноть! Вот мутота!» — не зная, как по-иному избавиться от язвительного чувства ужасающей какой-то вины, которое (он вспомнил) и оборвало среди ночи его сон.

По козырьку подоконника с казенным жестяным звуком просыпало время от времени тот ли дождем, то ли ледяной крупкой. Чашкин опасливо вздрагивал. Косил за окно, как испуганная лошадь.

Беда творилась за окном. Так уж победно, так уж веселоподно ползли-расползались по черной земле серые змеи и

змееньши злой ноябрьской поземки, такая уж всевластная слоисто-грязная мгла простиралась над всей этой разнесчастной, в горестный сон повергнутой землей, что лучше было бы и вовсе не глядеть туда! Едва лишь касался взглядом — торжественный ленивый ужас так и обдавал душу...

Не спал. Однако то и дело словно бы ухал воображением в какие-то звонкие предобморочные омуты, и в эти миги странное чудилось ему: будто бы он — это не он, Чашкин, а голый какой-то куст в зимней степи на лысом бугре. И на него одного — как черный тяжелый ливень — летит со всех сторон вся грубая погребальная тоска этой ночи!

Не спал. Однако иной раз как бы спохватывался: «Где я?» И каждый раз сигарета оказывалась потухшей, а вокруг все оказывалось все светлее. Словно бы седая рассветная вода потихоньку затопляла пространство кухни.

Не спал. Однако на исходе большого этого бдения чудеснейшее диво примерещилось ему. Вспрынул Чашкин отяжелевшей головой, растарацил кисленько саднящие веки и обомлел! В грязно-жемчужных потемках увидел: тихонько, прелестно, нежно светлеет тоненькая женская фигурка... Господи! Как залепетало вдруг сердце его! С каким облегчением рванулся всей душой своей к ней! Чуть не слезы на глазах вскипели!.. Да только не чересчур уж долго длилось видение это. Сморгнул Чашкин и обнаружил, что это всего-то навсего дочка его, Катюха. Встала, должно быть, по ночным делам и вот зачем-то заглянула на кухню.

Сонно двигая руками (пожалуй, и глаз не открывая), достала дочь бутылку кефира из холодильника. Принялась жадно, громко глотать из горлышка, со счастливыми стонами придыхая. А Чашкин глядел.

Он глядел на нее снизу вверх, а внутри у него виновато, безысходно, нежно все аж переворачивалось при виде этого жалкого, сухонького, как стрекоза, родимого существа в жалко изжеванной, чересчур просторной ночной рубаше, ветхо сползающей с ее тоненьких, совсем еще детских плеч.

Отчаянно жалко ему было почему-то эту худосочную девчонку свою. Но и так же отчаянно, прямо-таки умоляюще ему хотелось, чтобы и она тоже пожалела его сейчас. «Да пусть бы и не пожалела! Пусть бы просто спросила: что с ним? Почему

такой одинокий сидит среди ночи в холодной кухне, в темноте?..»

Ничего она не спросила.

С грубым звяком сунула бутылку в раковину. Сказала своим подростковым, превосходительно-хамоватым голосочком: — Вот мать-то проснется, она да-ас тебе, что накурил... — и пошла, пренебрежительно шаркая шлепанцами и стараясь, чтобы, как у взрослой, раскачивалась при ходьбе совсем еще тощенькая, жалкая ее попка.

Чашкина будто, грубо трягнув, пробудили.

Ему сделалось стыдно. Он словно со стороны увидел: печально-потешный, ноги завинтив винтом, сидит посреди кухни шут гороховый в сиреневых кальсонах — папенька родный...

Уже направляясь спать, с изумленной тревогой подумал: «Что же это было?» — опять вспомнив и внезапное пробуждение свое, и непонятное сидение в темной кухне, и эту тоску... И не нашел ответа.

И лишь когда с медленной усладой уже вытянулся под жарко натопленным одеялом, лишь когда проникновенная дрожь уже поползла вдоль позвоночника, разбегаясь в крестце зябкими сладостными мурашками, лишь когда, зажужжав за глазами, намертво стала лепить веки клейкая тьма — лишь тогда ярко, тихо, просто возникло вдруг перед ним л и ц о, на которое он въззрился, взволнованную досаду испытывая!

Лицо тотчас же исчезло. И вот, когда исчезло, тут он вспомнил: это лицо его матери.

Не успел, впрочем, ни удивиться, ни что-нибудь отчетливое подумать — уже летел, медленно перекувыркиваясь, в черный провал сна. Успел только услышать, как в стороне чей-то голос произнес без всякого выражения, без значения и смысла: — «А-а... Вот оно что...» — и...

И тотчас его начали будить — пренебрежительными тычками в плечо — без жалости и снисхождения.

Антонида Андреевна возвышалась над ним, как всегда по утрам, олицетворением презрительного укора этой постыдной для мужика привычке поспать подольше и послаще.

Голос ее, однако, поразил Чашкина.

— Вань! — произносила она сострадательно и нежно. — Проснись, Вань...

И привычные тычки тоже, оказывается, приснились. Она потрясывала его за плечо бережно, как больного.

— Иван! Телеграмма тебе!

Чашкин сел в постели в изумлении, еще не совсем даже и проснувшись. «Телеграмма? Ему?!» Хотел было рассмеяться от удовольствия, но не успел: чуть не задохнулся от тоскливого смрада, ударившего в голову!

Все связалось быстро и безжалостно. Сострадательный взгляд Антонида. Телеграмма. И — главное! — лицо матери, которое явилось ему (он вспомнил) в миг засыпания.

— Мать... — сказал он обреченным голосом.

В руке у него оказалась вскрытая телеграмма. Она была чуть корява от клеек и как бы коробчата от многих перегибов.

— Срочная... — прочитал он с растерянной уважительностью. Пошел к окну.

— Тапки! — нервно, с уже обычными скандальными нотками вскрикнула жена. Чашкин болезненно улыбнулся ей, вернулся, послушно стал в шлепанцы.

За окном ветра уже не было. Снежок бедно лежал на черной земле.

«МАМА ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕЛА СРОЧНО ВЫЕЗЖАЙ АЛЕВТИНА»

Он ждал, что в телеграмме — д р у г о е. Он был уверен, что в телеграмме — д р у г о е. Он услышал что-то вроде разочарования.

— Алевтина... — несмело улыбнулся Чашкин, не уверенный, можно ли улыбаться в такие моменты. — Какая-то Алевтина?..

— Лялька! — сказала жена. — Сестра твоя! — И, оторвав от мужа сострадательно-внимательный, все еще ждущий, но теперь как бы уже и разочаровывающийся взгляд, повернулась уходить.

— Ох, ты! — виновато спохватился Чашкин. — Лялька! Алевтина... — и почему-то вдруг поразился, как-то грустно поразился этому обстоятельству: Лялька, оказывается, зовет себя Алевтиной. Вся жизнь все кличут ее Лялькой, а она — для себя — вишь ты, Алевтина.

— Я тебе там начала складывать, — неохотно сказала жена, полуобернувшись в дверях. — Возьмешь черный чемодан.

— Какой чемодан?! Погоди! — неприятно взволновался Чаш-

кин. — Позвонить бы надо! Там, может, ничего и ... ничего, может, серьезного-то нет!

Не хотел он никуда ехать! Боялся он ехать! Все в нем противилось этому грубому насилию: куда-то ехать! Он пятнадцать лет не двигался с места!

И Катюха тоже глянула взглядом незнакомым. Сочувствующим (самую малость) и, как у матери, о т ы с к и в а ю щ и м. Вдруг Чашкин обнаружил, что у него трясутся руки.

Не волновался он, если честно признаться, еще нет. Был как бы сонный еще. А вот руки, как у хорошего пьяницы, вдруг старчески затряслись, когда взялся за вилку. Тут-то он, пожалуй, впервые поверил: что-то серьезное стряслось.

Подцепил кусок картошки. Стал жевать, но все никак не мог дождаться вкуса. Попробовал проглотить — чуть не подавился!

— Ты смотри! Не могу... — произнес с плаксивым удивлением и тотчас же вспомнил подходящие случаю слова: — Кусок в горло не идет! — и очень почему-то обрадовался этим нечаянным словам.

— Может, чайку попьешь?

В голосе Антонида прозвучал отголосок давешнего сочувствия к нему — глуховато прозвучал, но и этой хмуро окрашенной нотки в голосе матери оказалось достаточно, чтобы Катюха с несказанным удивлением вздернула вдруг голову!

Чудо чудное послышалось ей, и она с недоверием переводила теперь взгляд с матери на отца, с отца на мать. С недоверием, с иронией наготове, но и с жадной торопливой детской надеждой. «Не ослышалась ли?...»

— Катерина! Опять опоздать хочешь? — пресекла мать с застарелыми интонациями понукания.

С отчаянием, мгновенно вспыхнувшим, глянула дочь в ответ. Чашкин смотрел на них как из-за толстого мутного стекла, по эту сторону которого бесприютно зябко было от приближения какого-то такого бесприютного, такого зябкого одиночества, которого он в жизни еще не испытывал, которого люто боялся и от одного лишь предчувствия которого вон уже как тряслись его руки, по-стариковски подрагивала голова и дурнота, как смрадная вода, кольхалась в душе, то и дело приподымаясь к горлу.

— Для Клавки клюковкихватишь, грибочков сушеных... — услышал он голос жены и посмотрел на нее непонимающе. Тут же, впрочем, вспомнил, кто такая Клавка. Сестра Антонида,

работает в аэропорту, с билетами поможет.

— Ты погоди, — попросил он. — Я все же позвоню сначала. Сейчас вот в контору пойду — с директорского-то телефона быстро дадут.

Она обернулась к нему от мойки с откровенно-язвительной, жалостной насмешкой: «Ты?! Чашкин?! С директорского телефона?!» — но тут зацепила взглядом дочь, все еще сидящую над тарелкой, и набросилась на нее:

— Ты что, опять опоздать хочешь?

Вдруг Чашкину будто со стороны показали: скверненьким седеньким полусветом полуосвещенная кухонька, и в насильственной тесноте ее — три сереньких человека с заспанными мятыми лицами, неприбранные, вяло и безо всякой охоты начинают жить вот этот день, который уже начался и неприятно сияет им из-за окна едкой белизной первого в этом году снега... Надоедливо журчит вода из-под крана. Антонида в мятой рубашке, далеко выглядывающей из-под утрюмо-бордового халатца, сучит руками в раковине — раздраженно звякает посудой, раздраженно и напористо выговаривает что-то дочери... И тут же он, Чашкин, — тесно зажатый краем стола в привычный угол рядом с подоконником и как бы оглушенно вззирающий вокруг, взглядом то и дело возвращаясь почему-то к воспаленно-лиловым бульжным пяткам жены, грубо толчущим задники чересчур узеньких и маленьких для ее ног домашних тапок...

Ему будто бы со стороны показали все это. И он — не зная почему именно — ужаснулся вдруг.

А затем в желтенько освещенной передней — тесной и узкой от старых пальто, телогреек, плащей, какой-то еще рухляди, грузно и толсто обвисающей с многочисленных тут вешалок и просто гвоздей, вколоченных в голую стену, — в раздражительной этой тесноте, поневоле скрюченными движениями влезая в рукава кургузого своего полупальтишка, нечаянно отразился вдруг в хмуром, цвета грязного льда куске зеркала на стене и не сразу, а с тугим пасмурным усилием узнал вдруг себя в этом мужичонке с чахловато-желтым ширококоротым лицом немолодой уже, больной обезьяны, на голове которой, будто бы для потехи, напялена была мальчишковая шапочка с козырчком, — неохотно, без приязни узнал в этом человеке себя — и опять его болезненно ужаснуло!

Вернее бы сказать, не ужас это был, а скорбное, скорбно и тихо пронзающее изумление...

Он и потом — когда вышел из квартиры и стал, как больной, медленно спускаться по ступенькам, с удивлением слушая в каждом волоконце мышц своих тягостную духоту и изнеможение — осторожно стал спускаться по кривоватым и разновысоко положенным ступеням, заляпанным жирной кофейной грязью и замусоренным (аж как-то злорадно замусоренным!) всякой унылой дрянью: окурками, горелыми спичками, вьющейся картофельной шелухой, грязными морковными стружками, рыбьими головами, огрызками хлеба, воцелеными обертками от маргарина, клочьями бумаги, серыми волосьяными очесами, мокрой, жирной какой-то гадостью, завернутой в мокрые рвущиеся газетные кулечки, — всем тем, в общем, что высыпалось из переполненных помойных ведер у хозяек, когда они летели вниз по лестнице к мусоровозу, который идиотским распоряжением поссовета приезжал дважды в сутки, никогда не приезжал в срок и извещал о своем приезде бесцеремонным, нетерпеливым и хамски-веселым бибиканьем на всю округу, как бы подхлестывающим бедных женщин, и без того привыкших в этой подхлестывающей жизни вечно куда-то торопиться, чтобы не опоздать, чтобы успеть, чтобы досталось...

— осторожно спускаясь по этим ступенькам мимо дверей, дрянно обитых белесо лысеющей, крупно трескающейся клеенкой, возле которых на вспученных от набившейся грязи половиках толпились намертво скоробленные от сохлой глины кирзовые сапоги, крупитчатой рыжей гущей заляпанные резиновые сапоги, опорки, галоши, где стояли скособоченные картонки с непонятным барахлом, санки, лыжи, велосипеды и все те же помойки, приготовленные к выносу,

— медленно спускаясь по этой, как в белесом кошмаре, освещенной лестнице, вдоль стен, окрашенных в грязно-розовое и сладостно-изуродованных глубокими царапами слабоумной матерщины, изображениями половых органов, эмблемами футбольных команд, названиями рок-ансамблей и уличными кличками (среди которых с унылым упорством чаще других упоминался какой-то «Гипофиз»),

— спускаясь, как будто в тошнотворный туман опускаясь, по этой лестнице, Чашкин, не переставая, продолжал слышать в себе

отголоски горестного этого изумления, зябкого этого ужаса, которые наподобие слабенького электричества то и дело продирали его, уныло раздражая, при каждом взгляде на тихое убожество жизни, которое, оказывается, окружало его...

Толкнул дверь, вышел на улицу и только здесь облегчение услышал!

Все было не так уж тошно и не так уж страшно.

До зимы было еще не близко.

Земля, схватившаяся за ночь жесткими колчами, уже потихоньку оживала. Слабенький снег, покрывавший ее, серел, заметно глазу серел, и ясно было, что через час-другой он уйдет, даже памяти по себе не оставив.

И этот запах быстро намокающего снега; и хмуроватый облик влажно чернеющего, словно бы сырой сажой начерченного леса на фоне скудно побеленных холмов, обступивших поселок; и победительный, черной водой наливающийся, бодро впечатанный в белое полотно дороги след автомобильных шин; и осторожная тихая капель, уже начавшаяся с крыши; и артельная крикливая суета все куда-то вспархивающих и снова в веселую бестолковую стаю летающих воробьев... — все это не о зиме говорило, нет, все это напоминало, напротив, весну! И тихая, смиренная радость доверчиво вдруг торкнулась возле сердца Чашкина.

Что-то вроде стыда чувствовал он от робкой этой веселости.

Полагалось, он знал, как-то по-другому себя чувствовать, получая этакие вести. Пожалуй, он даже и знал, каким у него должно быть сейчас лицо, каким голосом он должен разговаривать, как двигаться. Может быть, именно поэтому он вместе со стыдом и некие странные прикосновения у д о в л е т в о р е н и я слышал в себе: шел на работу тысячу раз хоженной дорогой, но т а к еще никогда не ходил. Был словно бы вяло ошеломлен, оглушен. Ноги еле переставлялись. Дурнота подкапывала к горлу... И вот это неладное, что он замечал за собой в это утро, странным и немножко стыдным образом удовольствие ему доставляло, поскольку свидетельствовало, что он все же п е р е ж и в а е т, и, похоже, именно так переживает, как полагается переживать.

Но в то же самое время он не переставал слышать и тревогу в себе, потому что настоящего-то горя он так-таки и не мог в себе услышать, хоть и усиливался вниманием. И ему было немного

стыдно и немного тревожно из-за этого, но именно «немного», ибо полтора десятка лет он, в сущности, о матери не вспоминал. Почему так случилось? Из-за чего?— он об этом, конечно, не задумывался. Просто в это вот утро поневоле обратился мыслями к матери, которая, судя по телеграмме, собралась помирать, и вдруг обнаружил, как мало он о ней вспоминал все эти годы.

Канторские работы начинали с девяти. Чашкин вспомнил об этом лишь тогда, когда поднялся на второй этаж и удивился мрачной тишине, царящей в длинном пустом коридоре, пластиковый пол которого еще хранил размашистые следы мокрой тряпки.

Ступая просохшим краешком, уважительно уклоняясь при этом от раззолоченных фанерно-кумачовых щитов, во множестве развешанных тут, Чашкин стал пробираться к приемной.

Дверь туда была распахнута, у порога стояли ведра.

Сильный снеговой свет утра валил там в большие окна, и из насильственной тесноты коридора завидно чувствовалось, как там с избытком просторно, светло, начальственно, в тех директорских покоях, и как неслучайно отличаются они ото всех тех каморок, щелей, отгороженных уголков, мимо дверей в которые шел Чашкин и в которых скучно и раздраженно ютилось всякое прочее немалочисленное начальство этой фабрички, умудрившейся разместиться и даже производить всякий галантерейный ширпотреб в здании, в котбром, как сказывали, до революции еле-еле размещалось волостное правление.

Чашкин переступил порог приемной и встал. Баба Вера-уборщица домывала, должно быть, в директорском кабинете.

Чашкин стоял, поджидая, и с удивлением слушал, как светлая пустота приемной прямо-таки выпихивает его назад, в темень коридора! Без злобы, но и без приязни. Словно он — инородное здесь тело.

Озлобленно пыхтя, на четвереньках, без стеснения воздев зад и плавно-протяжными движениями мокрой тряпки выволакивая за собой мусор, выползла из директорского кабинета баба Вера.

— Что тебе?

Она глянула на Чашкина снизу вверх, из-за плеча, и по ее азартно распаренному лицу было видно, что она сейчас одинаково готова и обляять его с обычной своей непомерной злобой и, совсем напротив, распрямившись, перекинуться парой-тройкой добродушных слов с человеком, прекрасно ей знакомым.

— Да вот... — морщась, промямлил Чашкин, быстро уставившись взглядом в сторону и с трудом перемогая в себе стыд, почти страдание оттого, что мелькнуло его глазам что-то позорно-драное, грязно-голубое, никакому взгляду не предназначенное... — Вот. К начальству бы надо. Они небось не скоро еще?

Баба Вера стала с готовностью подниматься. С многосложной болью в спине, в пояснице, в коленях выпрямилась, быстро отерла лицо сгибом руки и убежденно заговорила:

— Это только ты, Ванька-дурак, да я дура, до света подымаемся горб на них ломать за восемьдесят рублей в месяц, дерьмо из-под них вывозить да пустые бутылки. А они, мил-человек, в это время еще сладкие сны смотрят (тут она зло-актерски хохотнула), как бы тебе, дураку, да мне, дура, еще лучшее жизнь сделать: чтобы мы и вовсе спать не ложились!

Сколько ни помнил Чашкин бабу Веру, всегда она была вот такая: в злобе на весь белый свет, ничем не довольная. (Что-то смутное вспомнил тут Чашкин из рассказов Антонида о бабе Вере: без мужа растила дочку, дочка уехала, к внукам бабу не подпускает...)

— А вот эти тряпки откудова?! — вопрошала между тем баба Вера, чуть ли не тыча в лицо Чашкину каким-то драньем. — Думаешь, казенные? Ха! Это, не поверишь, еще Олькин халат, сама шила! А вот это — мешок, в запрошлый год из Егоровска комбикорм привозила! А ты говоришь...

Чашкина вдруг опять болезненно о к а т л о, уже знакомым слабеньким ознобом неболезненно продрало. «Что ж это со мной? Столб-столбом стою зачем-то в приемной... тряпки мне в лицо тычут... А вместо того, чтобы...»

— У меня, баба Вера, мать вроде как помирает, — сказал он. — Телеграмму вот сегодня принесли.

Бабу Веру будто на взлете подсекли. Руки с протянутыми к Чашкину тряпками она по-актерски бессильно обронила вдруг. Лицом разочарованно поскутчала.

Отворачиваясь к ведрам, в лицо ему не глядя, сказала с хмуростью в голосе: — Что ж... Немолодая уже, наверное? Все там будем... — и вдруг ужасно обрадовалась случившимся словам. Почти с весельем повторила, почти пропела: — Все-е там будем! — и еще раз повторила, и еще раз.

Ловко опеленав тряпкой щетку, небрежно и властно выгнала мусор в коридор. За десять секунд управилась.

Остановившись в дверях, оглянулась:

— Ну, а к э т и м зачем?

— Да позвонить вот хотел. Может, позволят?

Она коротенько подумала. Сказала, как приказала:— Тогда сиди-жди! Любка-то маленько раньше, чем они, приходит,— и пошла. И снова, непонятно от чего взбодрившись, словно бы с вызовом кому-то запела в коридоре:— «Все-е там будем! Все-е там будем!»

Чашкин сел на уголок стульчика и стал ждать — как проситель,— с вялой досадой удивляясь на себя, севшего почему-то именно так, н а у г о л о к стульчика, сразу же покорно-терпеливую позу приняв именно просителя.

«Цок, цок, цок!»— бойко-весело застучали в коридоре остренькие каблучки.

— Дядя Ваня! Привет!

Молоденькая, сияюще-умытая, влетела в приемную Любка.

Может, ей и хотелось говорить посдержанней (повод все-таки был не из веселых), да только никак невозможно было ей сдержать упруго рвущееся из нее наружу утрешнее веселье жизни. Семнадцать лет ей было.

«Вжик! Вжик!»— скинула сапожки. Одной рукой принялась расстегивать-снимать шумно шуршащую, пухлую, празднично-алую (аж какое-то розовое марево распространяющую!) куртку, другую руку — ладонью — протянула к Чашкину:— «Давай телефон, дядя Вань!»

Тот поспешно вскочил, предупредительно вложил в ладошку обрывок от сигаретной пачки, на котором лет пять назад Лялька записала ему свой адрес-телефон.

Трижды дернула на маникюрным пальчиком нежно зажужжавший телефонный диск, подождала ответа и вдруг в развеселый, совсем девчоночий разговор бойко ударилась: «Веруся? Ну, здравствуй, Веруся! И куда же это вы, голубки, тогда исчезли, интересуюсь знать??» (Несколько обидела, надо сказать, Чашкина этим разговором...)

Слушала, что говорит, оправдываясь, какая-то неведомая Чашкину Веруся, а сама в это время с откуда-то взявшейся чиновничьей сноровкой вынимала из ящичков, раскладывала по столу пухлые пачки исписанных бумаг, в стопку устраивала уныло раззявые папки-скоросшиватели. Ключки, листочки, об-

рывочки, попадавшие под руку, мельком прочитывала и с решительным облегчением, сжав в ладони, швыряла, не глядя, в корзинку под столом. Успевала при этом еще и покашляться озабоченно-нежно на свое отражение в зеркальце, прислоненном к письменному прибору, и не забывала между всеми этими делами то и дело успокаивающе показывать глазами Чашкину: «Не волнуйся, дядя Ваня, я маленько еще послушаю, а потом прерву-поверну разговор. От этого дело только быстрее сделается...»

Чашкин ждал, впрочем, уже вполне доверчиво.

С благодушной отрадой — то как мужик на бабу, то как дед на внучку — глядел на Любку, этак оживленно, как синичка на кусте, живущую, зябко-весело взбудораженную свеженькой, крепенькой юностью (а главное, непобедимой верой в нескончаемость этой юности) — глядел и в который раз поражался этому чуду чудному и чудному: не позавчера ли вот эта самая Любка, вцепившись в мамкин палец, от земли разглядывала дядю Ваню с полувраждебным хмуреньким лобопытством, покуда посреди улицы он разговаривал с ее матерью, бывшей соседкой по переулку? Было это, дай Бог памяти, лет тринадцать назад, декабрь месяц был, и он даже помнит, о чем они говорили тогда — о том, как часто болеют дети в детском саду.

Глаз отдыхал глядеть на нынешнюю Любку. Удивительно и весело было глядеть. Но и горчащее, неотчетливое раздражение чувствовал Чашкин, разглядывая сегодняшнюю Любку.

Эти вчерашние соплюшки, которые без устали, волна за волной, преображались в этих вот греховно-прельстительных, вовсю уже приспособленных для рожаемого дела молодых, — они не просто свидетельствовали Чашкину, что Время идет, что Время проходит. Они свидетельствовали еще и об ошеломляющей, бесцеремонной к Чашкину несправедливости этого идущего Времени: годы, которые к ним, вот к этим девчонкам, п л ю с о в а л и с ь, эти же годы из его, чашкинской, жизни уже в ы ч и т а л и с ь!

Непостижимо это было. Жутковато было.

Но не одним этим печально раздражалась душа.

Все чаще раясь в последние годы знаками, как бы сказать, п о в е л и т е л ь н о с т и Времени, — глядя, как вот сейчас, на

повзрослевшую Любку, а затем отмечая, как лобки вот эти превращаются в женщины и как женщины эти начинают потом грубеть, матереть, дурнеть, словно бы спешно устремляясь по уклону, поневоле принимая все более частое участие в свадьбах, крестинах и похоронах (причем хороня уже и тех, кого он числил в сверстниках)— все чаще, одним словом, замечая т е ч е н и е Жизни и все чаще поворачиваясь с вопросительным недоумением в ту сторону, куда течет эта жизнь,— Чашкин все чаще и потрясеннее ловил себя на одной и той же догадке, от которой сразу же нехорошо, растерянно и угрюмо становилось на душе: «А ведь нет в этом плавном, обстоятельном, величавом течении н и к а к о г о с м ы с л а! Нет! Проста жизнь человекья. Незатейлива. Бессмысленна. Печальна...»

Едва недобрые эти догадки посещали — все существо Чашкина начинало тихо стервенеть, несогласное, восставать против этой нагло-великой Неправды!

Он ведь з н а л — как и всякий сущий на Земле, — что это не так! Каждой горячо живущей клеточкой своей плоти, каждым нервно дрожащим волоконцем он знал, он слышал, он верил: «Это не так!» Не может быть так. Не должно быть так!

Самое удивительное, что и этому знанию, и этой вере несколько не мешало, что весь сумеречный, монотонный уклад его собственной жизни говорит совершенно другое. И то, как живут окружающие его люди — невесело, смутно, словно бы оглушенно живут,— говорит совершенно другое. Да и само окружение, в котором утекают его годы,— вот этот поселок, заброшенно-невеселый, грустно обшарпанный непогодами, дрянно застроенный врастающими в грязь домишками и двухэтажными, хило кривящимися сизыми бараками (смурными памятниками так и не начавшейся здесь послевоенной великой стройки), а также шестью скверно-серыми, наводящими тоску на сердце бетонными пятиэтажками — гордостью поселковых властей, именуемой на городской манер «микрорайоном», — и сам этот поселок, и вся жизнь, угнездившаяся здесь, полная неудобств, нехваток, бестолочи и ощущения упорно гнетущей стесненности,— все окружение это тоже ведь о другом твердило: «Да, проста! Да, бессмысленна! Да, незатейлива! Да, печальна здесь жизнь человекья...»

— Ладно, Веруся! — Люба, наконец, повернула разговор. — С

тобой и твоим ненаглядным мы еще разберемся. А теперь бери в правую ручку авторучку и пиши без ошибок: Московская область... Учти, Веруся! Это личное распоряжение Деркача! По самому срочному тарифу! — И она продиктовала телефон, адрес и фамилию, написанные на обрывке сигаретной пачки.

— Через полчаса обещали соединить! — Люба повернулась к Чашкину радостно светящимся лицом добро сотворившего человека. — В Москве-то сейчас часов шесть. Линия свободная. Так что поговоришь, дядя Вань, не бойся! — И тут же, почувствовав надвигающуюся паузу, отыскала новую тему для разговора: — Как там ваша Катюшка? На танцы еще не бегает?

От неожиданности вопроса Чашкин хмыкнул, но с ответом не собрался — в приемную, погружен, как всегда, в рассеянно-печальную думу, в неотвязное как бы недоумение горестное, вошел Деркач Вячеслав Иванович, директор.

Замедленно и церемонно поклонив тщательно причесанную, бриолиновым сальным глянцем сияющую голову, скрылся, ни слова не сказав, в кабинет.

Был Вячеслав Иванович нездешний. Не в том только смысле, что родился неведомо где, а в том, что, по выражению бабы Веры, не из здешнего дерьма был леплен.

В костюмах, даже и в будни, ходил «кобеднешних», всегда при галстукe, а одеколоном прыскался каким-то таким иноземным, что Люба, стыдясь и краснея, всякий раз не могла удерживаться: норовила заскочить в кабинет сразу же следом за директором — не столько по делу, сколько затем, чтобы оказаться в пределах этого дивного, чувственно будоражащего ее, наркотически пьянящего аромата, мигом рождающего в ней сладкую истому и какие-то лаково-яркие буржуазные картинки некоей шикарной жизни. Каждый день давала она себе слово «не делать этого» и каждое утро грубо и нетерпеливо вождедела миг, когда коснется ее ноздрей первая сладостно раздражающая паутинка той азиатско-пряной, тропической благовони, которая, собственно, и составляла секрет заморского одеколона, которым прыскался по утрам Деркач Вячеслав Иванович, ее директор.

(Впрочем, не одеколона, а «дезодорант-лосьена» под названием «Эксельсиор», упаковку которого два года назад Вячеслав Иванович приобрел в перерыве областной конференции в ларьке облторга, который по обыкновению раскидывал свои прилавки

в фойе Дома политического просвещения для делегатов, потрафляя их самолюбию и сладко беря избраннические струнки в их душах всяким мелким импортным дефицитом, который можно было купить тут без всякой толкучки и который, больше того, продавали тебе так легко, весело, услужливо и охотно, что это не могло не придавать еще больше праздничности настроению и исторической уверенности делегатам. Было это два года назад — в те времена, когда был Вячеслав Иванович человеком растущим и не просто уважаемым, а уважительную опаску вызывающим, и именно поэтому — потому что было это еще в те времена — Деркачу, как и Любе, тоже доставлял наслаждение, но другого рода — страдательное, ностальгическое наслаждение запахом этого «дезодорант-лосьена», который он продолжал упорно, словно ритуально, словно бы в пику кому-то, ежеутренне мазать голову, с каждым утром все скупее отмеривая из пузырька на ладонь этой благовонной влаги и все чаще обращаясь тоскливой глухой мыслью к тому дню, когда и этот пузырек, и последний, еще не початый кончится, и он тогда...)

Еще год назад Вячеслав Иванович директорствовал в Егоровске, в облцентре, на трансформаторном заводе. Затем — как формулировали в поселке — «погорел, схлопотал и слетел». И теперь вот отсиживался у них.

Отношение к нему у большинства народа было вполне равнодушное, хотя скорее сочувственное, нежели холодное. Этому, надо полагать, много способствовала та непроходящая мина растерянности и печали, которую носил на лице директор и на которую не могли не отозваться привычно-отзывчивые на сострадание поселковые люди. А поскольку фабричной жизнью он руководил как бы сквозь недоуменный сон — ни во что не вмещиваясь, всех благожелательно выслушивая, со всеми соглашаясь (и ничего в результате не предпринимая), то и со стороны производственной никаких отчетливых ощущений — ни за, ни тем более против — ни у кого не вызывал.

Личной его жизнью, да, интересовались очень.

Семью из Егоровска он, понятное дело, перевозить с собою не стал и жил в «гостевой комнате» Дома приезжих. Жил, в общем-то у всех на виду, но тихо, за занавесочками. И мужиков, конечно же, живейше интересовало, с кем он о б х о д и т с я. А женщин волновало, в сущности, то же самое: кто ему стирает и готовит.

Почти единогласно считалось, что Вячеслав Иванович выпивает. То в одном, то во втором магазине поселка видели, как он покупает вечерами коньячок. (Дело, вы скажете, совсем некрамольное, вечером купить коньячок. Конечно. Но только Вячеслав Иванович как-то так, с таким проворством вороватым затыривал каждый раз бутылку с глаз долой, что люди, а главное, продавщицы, с ходу определили: выпивает.)

Это обстоятельство, кстати, нисколько никого против директора не настроило. Совсем напротив — оно как бы и сочувствия к его горестной судьбе прибавило. Пьющий за занавесочками в одиночку, пусть даже и коньячок, вряд ли имел много шансов воспрять вновь. Эта вполне всем понятная слабость словно бы з н а к ставила на директоре: махнув на себя рукой начинает жить человек! И тут уж никакие костюмчики, никакие одеколончики обмануть не могли. И вот именно то, что «махнув на себя рукой», — почти симпатию порождало к Деркачу у многих из поселковых, которые, если призадуматься, сами уже давно, без всякого коньяка жили-горевали именно так: «рукой на себя махнув».

Директор прошел, и Люба с неодобрением отметила, что Чашкин ни здравсье, ни привета на лице, ни полупоклончика не обозначил, лишь проводил Деркача холодным, совершенно равнодушным взором.

Сидел на краешке стула — было видно, что отчетливо сознает и с усилием претерпевает свою здесь неуместность — и больше, чем всегда, был похож сейчас дядя Ваня Чашкин на не очень крупную, сочувствие вызывающую измученно-больную обезьяну.

Глядя на этот широкий, безгубо прищлепнутый рот, на небольшую пипочку носа, казавшуюся особенно потешной в соседстве с обширной, плохо выбритой, выпукло лежащей верхней губой, глядя на эти умненькие, с терпеливой болью глядящие глазки его, на этот мальчиковый чубчик, старательно зачесанный на бок, глядя на эти мужицкие, коряво изломанные работой ладони, молчаливо и чуждо лежащие на коленях как бы отдельно от Чашкина, — Люба испытывала слегка раздраженную, но и очень все-таки сочувственную обиду за н е г о. Ну, к примеру, как если бы она была горожанкой, а он, деревенский нелепый родственничек, приехал вдруг в гости и

сидел тут перед ней — тихий, растерянный, жалко-неуместный, но все-таки с в о й, поселковский, кровная, считай, родня.

И хотя смотрела на него, конечно же, свысока — с наивного, насмешливого, смешного высока семнадцати своих лет — с высоты, проще сказать, бессмертия — с высоты тех ярких, звонко-звучных дел, которыми будет (уж будьте уверены!), в отличие от Чашкина, туго наполнена вся ее жизнь, — хотя и свысока смотрела, хотя и звучал ее сомнительный радостный голос: «Нет, мы такими не будем!» (а если точнее, то вот как звучал: «Нет, мой таким не будет!») — но обида была именно сочувственная и именно за Чашкина, за весь его неказистый вид, за сострадание и снисхождение, которые он всем своим обликом вызывал.

Негородское дитя, выросшее в окружении таких вот, с виду неладных мужиков, она знала о них многое, может быть, даже все — и дурное, по преимуществу скучно связанное с выпивкой, и доброе, которое было так чаще всего обыденно, просто и не видно, что на него и не обращалось уже внимания, и доброго этого было много, несравненно больше, нежели дурного, и вот поэтому, глядя на Чашкина, Любе еще и необыкновенно досадно было — досадно на смутно ей понятные хмурые обстоятельства жизни, которые почему-то вынуждали дядю Ваню быть в о т т а к и м.

Должно быть, сильно и горячо умела чувствовать добрая эта душа. Должно быть, много еще было в ней пылки, не припорошенной мелкой житейской пылью.

Потому что вдруг — как бы вспышкой — словно на миг вспыхнувшим н о в ы м зрением она увидела Чашкина совсем другим, совершенно незнакомым.

...Он был в армейском. Мятая пилотка с криво повисшей звездочкой расклепанным колпаком сидела на ежом стриженной голове. На дочерна пропотелой, заваксившейся от грязи и оружейного сала гимнастерке ни единой медальки, ни единой блестячки не было.

Он сидел на чем-то низком, почти на земле — терпеливо, измученно, смиренно, как и в приемной сейчас сидел, но как бы на другом фоне: среди скорбного хаоса постигнувшей его страну беды, тяжело обронив набрякшие усталостью руки, покорно затурканный, нескладный, несправный — сидел, будто на минуту только присел перевести дух, а вокруг простиралась серая

безбрежность предназначенной ему военной работы.

(С Любой и раньше изредка случались эти, всегда неожиданные, налеты ясновидения — н о в о в и д е н и я, надо бы сказать, — и она втайне гордилась ими, а за людьми, которых так увидела, с жгучим интересом потом следила, исподтишка, надеясь, должно быть, и в обыденной жизни увидеть в них что-то из того, что она уже з н а л а о них.)

Малое мгновение длилось наваждение это. Люба сморгнула его и тихонько рассмеялась, как всегда, не умея объяснить себе, что случилось, только чувствуя, что случилось что-то хорошее...

В этот момент раздался звонок над дверями кабинета: Вячеслав Иванович вызывал.

Она прошла в кабинет, с полминуты побыла и вновь возникла, совсем незнакомая: сонно-сияющая, как бы тихонько одурманенная, а нежные крылышки ее утончившегося носика еще весело-гневно потрепывали, внимая, должно быть, ускользающему запаху колдовского деркачевского одеколona.

— Он вас просит, дядя Ваня, — сказала она, как сквозь сон. — Спросил, по какому делу... И вот — просит.

Чашкин неприятно взволновался, аж закричал от досады и внятного ощущения насилия над собой. Не хотел он ни с кем сейчас говорить! А уж с начальством — тем более.

Все же поднялся. Все же пошел, отчетливее, чем всегда, обозначая походку подневольного человека.

Вячеслав Иванович Деркач возвышался над столом в позе державной. Однако уныло пуст был стол, и было в позе директора что-то от человека, лишь на минутку присевшего — ну, к примеру, в ожидании важного телефонного звонка...

Он смотрел на вошедшего Чашкина так, словно бы силился вспомнить, зачем ему понадобился этот человек.

Сероватая скука, малость настороженности, немного терпеливого высокомерия, много небрежения и почти полное отсутствие хоть какого-нибудь интереса были во взгляде, которым смотрел Деркач на Чашкина, удивительнейшим образом умудряясь н е в и д е т ь его!

(Здесь, конечно, надо разобраться. Глаза Вячеслава Ивановича были в полной исправности. Они достаточно отчетливо запечатлевали и черты этого курьезного лица, и торчащие пошкольному уши, и кургузое это полупальтишко, но, как бы

сказать, — и эти вполне зримые черты, и то, что он узнал со слов Любы о стоящем перед ним и что записал на листке календаря: «Чашкин. Подг.цех. Макальщик», и знание того, ради чего макальщик этот торчит с утра пораньше в его приемной, — все это вместе никак не связывалось, не считало нужным, точнее, связываться, в его сознании в образ вот этого живого, о своем живом несчастье думающего, именно вот этого человека!»)

Перед ним, как в туманной поволоке, блекло было обозначено некое абсолютно ему стороннее существо — один из тех, чьи лица размытыми блинами, рядок за рядком, светлели ему снизу из потемок зала во время всяческих собраний и чьи ру-ки — «Кто за?» — со смехотворной, хотя и всегда слегка насмешливой, готовностью воздевались кверху, внося каждый раз умиротворение и облегчение в начальственную душу... один из тех был перед ним, кто вяло кишел молчаливой и угрюмой толпой где-то там, заполняя низы его пирамидальной системы, которая, как водится, вся целиком входила в чью-то другую, гораздо большую, пирамидальную систему, а та, в свою очередь, в чью-то еще... один из тех, кого принято величать в бумажках и в бумажных речах «трудовым коллективом», «славным рабочим классом» и кого он, как и многие, еще со времен комсомольской своей юности, когда еще только постигались циничные азы м а с с о в о й работы, называл про себя ОНИ... один из тех, кто вызывал в нем вначале изумление, даже возмущение, а затем и насмешливое пренебрежение своим непостижимым, бездонным, наплевательским по отношению к себе равнодушием, покорством любой, даже самой глупой воле, долготерпением своим, которые как бы провоцировали его, Вячеслава Ивановича, на еще большее пренебрежение к НИМ, уже и на бесцеремонность даже, с каждым разом все более отдающую душком катастрофы, ибо и в молчании этом, и в долготерпении, и в равнодушии к себе постоянно чудились приметы какого-то неминуемого для него, Вячеслава Ивановича, губельного взрыва (каждый раз он убеждался, что именно чудились, но страх не вовсе исчезал)... один из тех стоял перед Деркачом, на ком держались (и директор с досадой не мог не понимать этого) и его личное благополучие, и возможность его личного восхождения по ступеням пирамиды вверх, и хотя казалось, что это должно бы вызывать в нем чувства, далекие от равнодушия и пренебрежения, но именно равнодушие и именно пренебрежение,

граничащее с презрением, чем дальше, тем больше вызывали в нем эти низшего слоя существа, ибо чем выше над ними он поднимался, тем больше требовалось пренебрежения и равнодушия к ним, чтобы возвышаться далее.

Это была механика, заведенная не им. Это была та самая механика взаимоотношения, по законам которой возвышалась пирамида и согласно законам которой неукротимо карабкались снизу вверх такие, как Вячеслав Иванович, и чем выше ты вскарабкивался, тем больше оставалось внизу тех, на кого ты имел право смотреть с пренебрежительного висока, и все меньше оставалось над тобой тех, кто имел право точно так же взирать на тебя.

Вячеслав Иванович уже давно функционировал по законам этой системы — с самого первого шага — с первого проведенного за закрытыми дверями заседания комсомольского комитета класса. С тех пор он немало преуспел в этом своем восхождении, и именно поэтому — хотя сейчас-то Деркач переживал и не лучшие времена, — именно поэтому он не мог видеть Чашкина в этом неприятзательном существе по фамилии Чашкин, по профессии макальщик, которое стояло в дверях кабинета, вызванное им, но... ради чего же вызванное?

— Так, — произнес Вячеслав Иванович, покосившись на календарик. — Чашкин... Макальщик... — устремился упорным взглядом в лицо Чашкину, но все равно не сумел вспомнить, ради чего его вызывал. — Макальщик — это что? — спросил, выигрывая время.

Чашкин неохотно ответил.

(Он тоже разыгрывал директора. Почему-то именно сегодня он чувствовал свое право вот так, холодно и нахально, глядеть на директора и видеть как на рентгене, что сидит перед ним молодой лодырь, хорошо кормленный, нежно себя любящий и потому прямо-таки по-детски разобиженный случившимися с ним неприятностями, — заметно пустяковый мужик из тех бодрых захребетников, которых ощутимо много прибавилось в последние годы и которые шустрили, кормясь при людях, приезжая-отъезжая на «Волгах» своих и «газиках» с портфелями, которые они умели носить так, будто там не протокол лежит какого-нибудь собрания, а чертеж атомной, не меньше, бомбы — всегда театрально-деловиты, гладко бритые, ладно стриженные, неуловимо похожие друг на дружку и серенькими

костюмчиками, и галстуками, и неперменной алой цацкой на лацкане пиджаков, и спортивной своей припрыжкой, и, главное, тщательно таймой от всех, но всегда ощущаемой т р е в о г о й, которая прямо-таки излучалась от них, — тревогой передразоблачением, можно было бы сказать, если бы хоть для кого-то была тайной имитаторская, наглая и жалкая одновременно, сущность их неспокойного существования.

Вот один из таких субчиков и сидел перед Чашкиным, изо всех сил напрягаясь, чтобы принять начальственную осанку, и откровенно страдал, не зная, что сказать Чашкину, которого он вызывал, явно забыв, ради чего вызывал.)

— Макальщик, — неохотно ответил Чашкин, наставительно исправив ударение на то, заведомо неправильное, — которое почему-то принято было на фабрике с неведомых времен. — Макаю. Цепляю заготовку. Макаю в одну химию — вынимаю — макаю в другую химию, потом на транспортер.

— Ясно, — озадаченно произнес Деркач и вдруг просиял.

«Чуткость!» — вспыхнуло перед глазами, как типографским шрифтом набранное. «Забота!»

— Да, Чашкин... — произнес Вячеслав Иванович, напустив на лицо озабоченно-сочувственную мину и зная наверняка, что сейчас сказанное наверняка станет известным внизу. (Плывать ему было, что думают о нем внизу. Не собирался он засиживаться на этой фабрике! Все же сказал, механически последовав шаблону, принятому среди начальствующего люда, который гласил, что нет вреда, кроме пользы, совершать время от времени благодеяния, тем более если они ни малейшего труда тебе не составляют.)

— Да, Чашкин, — раздумчиво повторил он. — Мать это, видишь ли, такое дело... Люба меня тут проинформировала. В общем, я думаю, так: возьмешь мою машину. Через два часа будешь в области. На дневной рейс успеешь. Мать, Чашкин, это такое дело, что раздумывать нечего.

И тут напористо, тревожно затрещал телефон.

Деркач трубку схватил молниеносно. Тотчас неприветливо покосился на Чашкина и сказал, не умея скрыть разочарования:

— Тебя.

И вдруг почти вскричал нервно:

— В приемную, в приемную иди!

Чашкин вышел.

Люба уже протягивала телефонную трубку, взволнованно и пылко глядя в лицо.

Чашкин взял, приложил к уху и заорал, как орут на переговорной:

— Але, але!

И тотчас же совсем рядом услышал Лялькин голос, сонный и замедленный:

— Это ты, Ваня?

Голос звучал настолько близко, что он даже оторвал трубку от уха и заглянул в нее.

— Что там мать-то? Мне тут, понимаешь, телеграмму принесли!

— Умерла мама, — так же тихо, и сонно, и замедленно сказала сестра. — Ты приедешь?

Он почувствовал странно: будто всплыл. Будто высокой волной его приподняло, сняло с прикола и тихо, беспомощного, понесло.

— Тебя ждать?

— Да! — Он сел на угол Любиного стола, не заметив этого. — Когда? Ну... это?

— Ночью сегодня. Часа в четыре. Я три ночи не спала, потом ей стало лучше. Я прилегла на минутку, потом проснулась, а она уже. — Лялька говорила механическим ровным голосом. — Ты приедешь хоронить?

— Приеду! Да! Без меня не хорони! Слышь? — Он снова орал, как на переговорной. — Слышь? Без меня не хорони!

И вдруг замолк, как осекся, потому что почувал в крике своем готовность заплакать.

— Ты поняла? — спросил он тихо.

— Да. Спасибо, хоть позвонил. Ну все. Клади трубку. А то я уже не могу: я три ночи не спала.

Чашкин отдал трубку Любе. Та иступленно глядела ему прямо в глаза, будто отыскивая что-то.

— Ну, все... — Чашкин повторил Лялькины слова и виновато улыбнулся. — Померла мама моя...

И удивился, как неудобно стало языку, когда произносил он слово это: «мама».

С чемоданом в ногах, с корзинкой на коленях — ни рукой, ни ногой не шевельнуть — сидел в кабине «газика».

Ждал.

Клонило в сон, и сладко, уныло мозжили тонкие кости лица от непрорвавшихся слез.

...Когда с полчаса назад поспешал уже с вещами к фабрике, где дожидалась машина, проходил мимо школы. Там шла перемена.

И вдруг услышал отчаянный, жалобный голос Катюхи:

— Па-а-пка! — как крик о помощи.

— Папка... — подбежала, взяла за рукав, застенчиво прятала лицо. — Папка... — и погладила руку.

— Что же ты, лапушка, раздетая бегаешь? — не нашел он чего сказать и коротко погладил ее по голове. Удивившись тотчас, насколько отвыкла рука от этого жеста. — Иди, милая, простудишься.

Дочь послушно повернулась идти, подняла на него глаза, и вот тут-то и ударили Чашкину в лицо благодарные слезы. «Пожалела! — радостно увидел он. — Наверное, и ночью пожалела, да не сумела сказать. Нёма ты моя, лапушка! Доченька!»

И вот сидел в машине и с чувством нежданного светлого приобретения слушал, как ломит лицо от слез, как тепло ему, и грустно, и радостно отчего-то...

С треском распахнулась дверца.

— Кончай ночевать, дядя Вань!

Костик, фабричный шофер, рыжий, румяный, большой, шумный, стал затискиваться в кабину. •

Застонали пружины сиденья. Заскрипела-затрещала спинка кресла. Вся машина как бы жалобно накренилась.

— Ключ на старт! — бодро-весело скомандовал себе Костик, включая зажигание. Мельком оглядев Чашкина, спросил: — В аэропорт, дядя Вань? Сделаем! — Потом еще раз глянул и добавил не очень уверенно: — По дороге в совхоз на минуту заскочим, не возражаешь? Кое-чего подвезти просили.

Чашкин промолчал. С чего бы он стал возражать?

— Музыка! — объявил тогда Костик и включил радио. — По нашим дорогам, дядя Ваня, только с музыкой!

В кабине раздались заунывные звуки скрипок и виолончелей.

— Не пойдеть! — решительно сказал Костик, меняя волну. — Строить и жить не помогает!

Снова стал азартно шарить по эфиру, скорости, однако, не сбавляя и лишь иногда бросая ручку настройки, чтобы перехватить баранку.

Везде были лишь виолончели и скрипки.

— Так я и знал! — Костик выключил приемник. — Придется нам с тобой — без всякой музыки! Этот... — он кивнул головой наверх, — все-таки, видать, помер. Я вообще-то еще утром догадался. Включаю телевизор, а там вместо «Новостей» — эти... ханурики, носы повесили и на скрипочках своих пилят.

Был Костик весело возбужден и даже радостен, и было совершенно ясно, чем именно взбудоражен и от чего радостен: неожиданно обломившейся возможностью с б е г а т ь, как тут говорили, в Егоровск без всякого начальства, со всеми вытекающими из этого халтурами и выгодами.

— Жаль! — произнес он через некоторое время с искренним огорчением. — К Дню милиции хороший концерт должен быть. Теперь наверняка отменят. Жаль!

Въехали тем временем в совхоз.

Остановились у одного дома, у второго, у третьего. Костик выскакивал, вел с хозяевами переговоры. Переговоры заканчивались, судя по всему, безуспешно, однако Костик каждый раз возвращался за руль преисполненный как бы еще большего оптимизма.

— Броня крепка! И танки наши быстры! — все неукротимее распевал он.

После одного из визитов, торжествуя, сообщил, затискиваясь между рулем и сиденьем:

— Ну, кто был прав? Сейчас по телевизору: «...С глубоким прискорбием сообщаем!» Я еще утром догадался! — Проворно выключил приемник и, пока передавали медицинское заключение, ехал молча и медленно, со вниманием, однако, вглядываясь в номера домов.

Перечисление болезней подействовало на него, видимо, угнетающе. Он смачно выругался.

— С таким здоровьишком... — сказал зло, — в Доме инвалидов надо жить, а не страной править! — И тотчас, заметив старуху, празднично сидящую на скамеечке возле усадьбы, тормознул и стал выбираться наружу.

Здесь дело сладилось. Через пару минут Костик возник, легко неся на каждом плече по мешку. «Броня крепка! И танки наши быстры!» Кинул мешки на заднее сиденье, сверху прикрыл телогрейками.

— Па-асхали, дядя Вань! — объявил окончательным голо-

сом. — С а-арехами! По гла-аденькой дорожке!

Выбравшись на твердую дорогу, спросил:

— Твой-то, дядя Вань, уже небось в армии?

— Девка у меня. В седьмой класс ходит.

— Девка? — Костик покосился на Чашкина превосходительно. — Девка — это тоже ничего. Спокойнее. Хотя (он вдруг глотнул) с какой стороны посмотреть. Принесет в подоле — чего будешь, дядя Ваня, делать?

— Ничего не буду делать! — сердито ответил Чашкин.

Не сказать, что очень уж раздражал его Костик своим весельем и разговором. («Какое дело молодому, здоровому парню до чьих-то похорон?»), но тесно ему было отчего-то и маотно, и ужасно было жалко того благолепного настроения, которым нечаянно одарила его Катюха и которое так же нечаянно развеял шумный и бесцеремонный Костик.

Больше всего хотелось сейчас — побыстрее доехать до места.

— Я, Константин, поспал бы маленько...

— Спи, дядя Вань! — охотно разрешил Костик. — Когда спишь — меньше грешишь! — Включил музыку, и сразу же Чашкину стало ясно, из-за чего ещё так муторно ему было: от старательно-заунывных, печальную скуку наводящих на сердце скрипок и виолончелей.

Думал, что, едва прикроет глаза, так и провалится в сон. Но сон не пускал его нынче дальше порога.*

Сидел, словно в черном тесном коконе. Слышал все подъемы и спуски дороги, и завывания мотора, то жалобные, то возмущенные. Ни о чем в особенности не думал, и о смерти матери тоже все как-то не получалось думать: обращался мыслию в ту сторону, а там, в том углу души, было непроглядно-черно, непонятно, непостижимо, и он опять отворачивался, на будущее откладывая думы свои о матери, которая померла, окончательно обозначив этим его одиночество в мире, но — странное дело! — если одиночество это еще совсем недавно, ночью и поутру, внушало почти ужас, то сейчас он ощущал еще как какое-то свое приобретение, хотя и об этом тоже все никак не получалось пристально подумать — в чем оно, это приобретение...

Машина остановилась.

Костик выбрался наружу. Дверку, чтоб не хлопать, прислонил — она тотчас открылась, — и Чашкин услышал, как в бензином пропахшее тепло кабины, словно бы помедлив, не-

спешно вваливался звучный ясный холод.

Даже и не открыв глаза, Чашкин догадался, что они — на Перевале.

Перевалом называлось место — что-то вроде площадки, разутюженной колесами на горбушке хребта, — где дорога из поселка, вскарабкавшись на последний, самый трудный подъем, встречалась с грейдером, вползавшим туда из райцентра. Дальше — быстро и плавно понижаясь с увала на увал — уходила отсюда уже одна, на весь район единственная «шисейка», связывающая этот глухой угол с областной столицей. Никакая машина, шла она из области в район или наоборот, миновать Перевал не могла. Здесь всегда, хоть ненадолго, останавливались.

Все три дороги по грустному российскому обыкновению были биты-перебиты впрах, в клочья изодраны траками, яростно размолочены бесчисленными буксовками и почти во всякое время года для езды не просто трудны, но мучительны. Поэтому Перевал, который приходилось преодолевать дважды в любую езду, был для водителей место особое — тысячи раз клятое, страстно ненавидимое место.

Однако не было и милее места, чем Перевал, для измученного, аж почерневшего лицом шофера, когда, одолев последние, самые склизкие метры, услышав с чувством, подобным счастью, как надежно наконец зацепились протекторы за грубую твердь дороги, п е р е в а л и в а л он машину через гребень, оказывался на ровном, глушил мотор, распахивал дверцу и минуту-другую сидел, свесив наружу ноги, то ли не в силах вылезти, то ли откровенно наслаждаясь тишиной, покоем и отсутствием озлобленной ярости, без которой почти никогда не обходилось это, его и дороги, противоборство.

Потом тяжело прыгивал на землю, закуривал все еще ходящими ходуном руками и шел в сторону от машины — словно бы затем только, чтобы ощутить себя отдельно от нее, — садился на скамеечку под навесом или на полувкопанный в землю старый протектор, которым огорожена была площадка с опасной овражной стороны, и непременно сколько-то времени сидел там, от всего отчужденный, покуривая, поглядывая окрест и с наслаждением привыкая к мысли, что теперь-то дорога пойдет все вниз и вниз, и ты, считай, уже добрался до места, коли вскарабкался на Перевал.

Странное дело, но все словно бы таили — и от других, и от себя — еще одну причину, по которой невольно мил был людям этот не слишком-то прозрачный, разбитый машинами и загаженный постоянным людским присутствием клочок земли.

Отсюда, с Перевала, так далеко, так хорошо было видно! — на все стороны света, — так ошеломительно много открывалось вокруг и ввысь небесного пространства, раздражительно-сладко-непривычного для здешнего люда, издревле привыкшего селиться в низинах, в тесном окружении леса, — такая отсюда распахивалась уныло-великая, хмурая, морю подобная даль, что человек, оказавшись здесь, испытывал ощущение, похожее на глубокий счастливый вдох после удушья, и медленные державные мысли рождались в нем, и празднично, горько, высоко думалось тут о многом: о жизни, о людском назначении, о вечности, быть может...

Звякая пустыми бутылками в мешке, рядом с машиной возник Костик. Сказал, словно бы усмехаясь над собой:

— Во! Считаю на полколеса от «жигуленка» набрал!

В любое другое время, в любом другом месте те же самые слова произнес бы с веселым ором, но здесь, но сейчас — стоял, задумчивый, почти серьезный, несильно привалившись к стойке распахнутой дверцы, и сам искоса и вовсе, казалось, не внимательно все поглядывал на тусклую зелень, которая рыхлым угрюмым бархатом прикрывала, как заливала, землю до зыбкого горизонта.

— Сказывали, мать хоронить едешь? — спросил он вдруг с неуклюжим сочувствием.

— Ну.

Костик помолчал. Сняв с плеча мешок, преувеличенно внимательно глядел, как тот раскручивается на весу в вытянутой руке. Потом с заметным усилием — даже поморщившись от усилия — сказал:

— У меня вот тоже... мать чего-то мается, — тут же вдруг зло заскучал, поглядел на небо и заторопился: — Ну что, дядя Ваня, поехали?

Чашкин согласно кивнул. Он так и не вылез из кабины.

И — поехали!

И — устремились с радостным облегчением вниз, с угора на угор, как с полки на полку, — мимо машин, которые с кропотливым усердием карабкались навстречу, отчаянно чадая

моторами и дробно дрожа от запредельного напряжения непосильной этой работы, — летели, сходу пролетая (одна только грязь! ленивым тяжелым ветром по сторонам! с треском!), с налету прошибая дремучие, ржавому студню подобные, разлитые жирные хляби, один лишь вид которых у водителя, ползущего вверх, вызывал тоскливое ожесточение и словно бы ощеренную гримасу в душе, — летели — все вниз и вниз! — и веселье гульбы, ликование удавшегося побега переполняли их. «Броня крепка! И танки наши быстры!» — то и дело орал Костик, улыбаясь Чашкину от уха до уха, — бренчали какие-то железяки, звенели бутылки, шарахало и кидало на колдобинах аж под брезентовый потолок!..

Славная это была потеха: «С а-арехами! По ко-очкам!» — сладкая утеха всех живущих за Перевалом, и, кажется, не будь ее, этой утехи, ни одна машина никогда не одолела бы эти каторжные, измывательские версты вверх.

У въезда на тракт Костик остановился разобраться с мешками.

Чашкин, пустовато и придурковато глядя перед собой, слегка виновато улыбался, все еще храня в себе бестолковую, толкливую радость легкой этой дороги.

Потом повинно спохватился: «На похороны ведь еду!» — погнался с лица неуместное выражение довольства — «Можно ли улыбаться-то?» — и новые маски, одна другой нелепее, полезли на лицо: то вроде бы плаксивый ребенок, то будто бы мужичок, глупо заважничавший неведомо отчего...

Все невпопад было! Все было не так!

Чашкин даже застонал с досадой, опять ощутив, опять застрадав от тесноты, в которой находится — от тесноты! от раздражительной несвободы! от связанности! — от всего того, из-за чего, как ему казалось, так убого, так темно и погребенно было всем его чувствам.

И — голодное, вспыхнуло вдруг жгучее желание вырваться! Из утеснения этого вырваться! Из-под груза корзинки этой, что ли! Из кургузого пальтеца своего вырваться! Из всего того вырваться, что как бы и не существовало в яви, но чем заполнена была его жизнь, что делало его жизнь загроможденной, несвободной, тесной, сереньким душным туманом, как бы задымленной!

Он даже застонал от несказанного мечтания этого и досадливо

завозился под корзинками своими.

— Ну что, дядя Вань? Броня крепка? — Костик, развеселый, опять стал затискиваться в кабину. — Теперь полетим, как в ероплане!

Дал газ. По привычке щелкнул ручкой приемника. Снова зазвучали медленные, горесть обозначающие звуки. Костик матюкнулся. Без особой надежды искал другую волну.

Старательно опечаленным, сгущенным голосом, в котором, однако, привычно проскальзывали нотки бодренькой актерской фальши, диктор произнес: «Отдать последнюю дань выдающемуся...» — Костик поспешно щелкнул выключателем.

Через полминуты, сурово и горестно глядя перед собой, сказал:

— Неделю, не меньше.

— Чего неделю»? — не понял Чашкин.

— Неделю, не меньше, никому житья не будет!

— Ты это к чему?

— А к тому! Помер? Пусть о тебе родня горюет! Не хрена всей стране настроение портить!

Тяжелые, снеговые, похоже облака громоздились по горизонту. Смеркалось. Черные мокрые поля, скорбно и скупно присыпанные белым, тянулись по сторонам дороги.

Угрюмая осень, непоправимая осень царила в мире. И то и дело тоскливо вскидывалось сердце: до зимы, серой, хмурой и безрадостной, оставался день-другой, не более.

— Летают! — с облегчением вскрикнул вдруг Костик и вновь повеселел. — А то, думаю, сидеть дяде Ване Чашкину! Больно уж злодейские тучи заходят.

Неприятно, словно свинец на срезе, посверкивающий самолет, похожий на беременную рыбину, грузно набирал высоту. Он казался почти белым на фоне черно-сизых туч, и был он дивным, но и раздражительно-ненужным, посторонним здесь, во глубине глуши.

При виде самолета Чашкин неприятно взволновался.

Сейчас, внутри машины, рядом с поселковым Костиком — он был е щ е д о м а. Но до города оставались уже минуты — уже поднялись над лесом бело-красные полосатые трубы комбината, жирно и сыто извергающие сажный дым, все чаще попадались навстречу городские машины... Вот-вот должно было кончиться свое, знакомое, и начаться — новое, чужое!

И опять он услышал, как вяло, протестующе заныло в душе. Не хотел он никуда ехать! Боялся он ехать!

Его пристегнули ремнем поперек живота, и он стал сидеть, неестественно выпрямивши спину, затылок закинув к изголовью кресла, руки державно возложив на подлокотники, — очень сам себе напоминал окаменелого какого-то истукана.

Неизвестно было, в какую сторону глядит самолет, но Чашкину почему-то думалось, что лицом он обращен сейчас прямоком на Москву, и вот теперь-то, связанному, насильственно повернутому в ту сторону, ему уже невозможно было увильнуть мыслью от того, что ждет его там. И с покорной отвагой прикрыв глаза, Чашкин стал понуждать себя думать о том, что ждет его там...

И вдруг — на удивление легко, быстро, исчерпывающе — увидел,

как скромно толкуются на улице возле забора, и в палисаднике, и на крыльце материнского дома, без конца перекуривая и, похоже, не имея охоты заходить в дом, темно одетые люди с выражением лиц деловито-сурово-торжественным...

как, бережно проталкиваясь сквозь эту тихую толпу, снуют туда-сюда распорядительные женщины, непонятно взбодренные и оживленно озабоченные неизвестно откуда идущими поручениями...

как чинно восседают на скамеечках, вынесенных на воздух, старушки в черных глаженных платочках, беспечально, с торжественным и одухотворенным высокомерием поглядывающие на молодых, которые потерянно мыкаются по двору, все не решаясь войти в дом, а потом все же заходят, чтобы через несколько времени вновь возникнуть на крыльце с лицами, взволнованными и светло-растревоженными...

Он увидел затем, что и в доме рассажены по табуреточкам и стульчикам, стоящим как-то по-особому отдельно, многочисленные старушки — здесь-то совсем уж старенькие, кажущиеся спящими, иной раз и вправду задремывающие, но время от времени т а к взглядывающие на оживленно живущих вокруг людей, такими нежно-беззащитными младенческими глазами, — что рука у людей так и тянулась утешительно прикоснуться к их отчаянно худеньким, совсем уже бестелесным плечикам, и хотелось сказать им что-то в з р о с л о е, одобрительное и

ласковое, но не сказывалось чаще всего — только влага быстренько подергивала глаза людей...

Он увидел, как в тесной прихожей дома кучно толкуются, словно бы испугом теснимые поближе к выходу, люди с небудничными, тревожными и нежными глазами — почти каждый растерянно выбит из колеи и потому как бы родственно обращающий себя, раскрытого, навстречу всякому, кто заходит с улицы, первым делом бросая по-детски настороженный и жадный взгляд свой туда,

где за раскрытой дверью, узостью к двери, стоит гроб, сразу же жестко разящий воображение злыми узорчатыми зубринами газета, бегущими по краям этого корытообразного вместилища, и желто-стеариновой птичьей головкой того, кто лежит там, вдали, с трудом различимый среди быстро мертвоющих цветов, кротко горящих свечей и пышно взбитых кружавчиков изголовья, —

где сумрачно царствует удивительнейшее пространство тишины и где непостижимым образом все длится и длится торжественное мгновение Конца, Завершения, Достигнутого Предела...

Человек вступил в это странное пространство, некоторое время глядел, избегая пристально глядеть, на то неузнаваемое, что лежало в цветах, однако долго не выдерживал присутствия своего живо живущего, живо суетящегося существа среди этого недвижия, среди запредельного этого Покоя, как бы уже сгустившегося вокруг этого, живому человеку противной красотой красивого гроба, — поворачивался, уходил, озадаченный и беспокойный, не забывая скользнуть напоследок пытливым сочувственным взглядом по стульчикам, на которых чинно и устало, будто исполняя работу, восседала родня.

Среди родни Чашкин, понятно, увидел и себя — как бы со стороны — неприступно праздничного, как бы слегка закованного в черном бостоновом костюме и галстук и слегка важничающего от того несомненного факта, что нынче он —

одно из главных лиц в этом замедленно, сонно и церемонно длящемся действе.

Но именно — как бы со стороны видел себя! И было ему немного стыдно от этого. Стыдно, что не слышит он в себе, хоть убей, настоящего горя!.. А особенно стыдно было оттого, что мысли его раз за разом возвращаются к тому неизбежному

моменту, когда нужно будет целовать усопшего в уста, а он, ничтожный человечек, вот ведь о чем размышляет: как бы так исхитриться и как-то так повернуться спиной к зрителям, склоняясь над гробом, чтобы не видать было, целует он или не целует в ледяные губы лежащего в гробу!

Все чувства, все мысли его о матери, о смерти матери были словно бы пыльняньким салом заволочены, полусасохлы, вялы.

«Что же ты за человек такой?!» — думал он о себе с отчаянием.

...Самолет крупно вздрогнул. Звук моторов с натужного, преодолевающего завывания перешел в новую тональность, радостно-облегченную. И самолет, коротенько падая — как со ступеньки на ступеньку, — содрогаясь и временами сильно шарахаясь, будто подвергаем ударам ветра, пошел на снижение.

Чашкин открыл глаза. Светилась надпись про не курить и привязные ремни.

Все, вокруг сидящие, взволнованно шевелились. Внимательно вычисляя, вглядывались в часы.

— До Москвы-то еще час с лишним...

Никто уже не спал. Озирались на соседей. Взглядывали вниз через иллюминаторы. Беспомощно и тревожно были оживлены.

— Чего это они? До Москвы еще час с лишним! — слышалось то там, то здесь.

— Может, чего случилось?

— Это ты брось! Что может случиться?

Однако паника, как легкий сквознячок, уже веяла среди пассажиров.

— Мало ли случаев?

— Брось!

Самолет еще раз шарахнуло, как бы даже в сторону швырнуло. Отчаянно заплакал проснувшийся ребенок.

Паникой — еще раз — уже свежее — повеяло по самолету.

— Что же это они делают, сволочи?! — бухнул на весь салон отчетливый бас. Тотчас же — вподхват ему — затараторила женщина, с возмущенными полувзвизгами затараторила что-то привычно-скандальное, в гуле моторов малоразборчивое, неизвестно кому адресованное, но взвинчивающее.

Тут вновь закричал младенец — завизжал! Теперь уже на новой, совсем пыгочной, непереносимой ноте.

Тотчас все разволновались.

— Безобразие! — возгласил новый голос.

— Что же это они делают, сволочи?! — вновь гаркнул бас.

Вдруг все, сидящие по левому борту, стали, как по единой команде, склоняться к иллюминаторам, что-то там высматривая. «Мотор...» — послышалось слово.

— Горим, что ль? — шутейно предположил молодой пьяноватый голос. И тотчас стал, видно, расталкивать соседа-приятеля:

— Эй, кончай ночевать! Горим!

— Го-орим! — с готовностью, с готовой радостью вскричала какая-то бабенка.

На миг все стихли. И вдруг стало слышно, как, не сдержавшись, зарыдала женщина — тихо, но горестно и на весь салон отчетливо.

Тотчас забубнили во множестве голоса — успокаивая, возмущаясь, совестя, но было уже поздно.

Неизвестно откуда, как пожар, раздуваемый уверенным ветром, уже началось: «А -а-а!..». Возникая на скулящих, нудно воющих низах, возвышаясь к истерическим слезам, пошел от человека к человеку плохо сдерживаемый (хотя пока еще и сдерживаемый) бессловесный вой: «А-а-а-а!..».

Чашкин плохо соображал, что и из-за чего происходит. Но и он почувствовал, что его вдруг мелко заколотило.

Салон уже голосил вовсю. Как от общей для всех зубной боли. И вот-вот вой этот должен был разрешиться: криками, истериками, вскакиванием с мест, беготней в поисках выхода!

Из-за занавесочки выглянуло насмерть перепуганное личико девочки-бортпроводницы. Тут же спряталось. Чашкин с изумлением страха озирался.

Молодая женщина у окошка из последних, видать, сил сдерживалась от воплей: в голос — с закрытыми глазами запрокидывалась затылком к креслу и то хваталась растопыренными пальцами за грязное от слез лицо, то бессильно роняла руки в колени.

Мужик по соседству с Чашкиным сидел набычившись. Упорно, тупо, слепо и зло зрил в спинку кресла перед собой. Казался спокойным, но лицо его крупно дрожало: мышцы под кожей ходили торопливым ходунком.

Паренек лет двадцати все оглядывался из своего кресла на сидящих в салоне. Будто отыскивал, кто поможет. И такой уж жалобный, насмерть перепуганный мальчишечка выглядывал из

этого паренька — беспомощный, готовый вот-вот расплакаться, — что Чашкину совсем уж стало не по себе.

Он не успел, правда, вконец перепугаться:

— Граждане пассажиры!

Мужской мужественный и усмешливый голос раздался вдруг из динамика:

— Наш самолет, выполняющий рейс номер... — Он обстоятельно и подробно перечислил и номер, и пункты маршрута, по которому летел самолет, — начал снижение в аэропорт города Н. Просим всех пристегнуть привязные ремни и воздержаться от хождения по салону.

Всем стало заметно легче.

Чашкин огляделся с торжествующим облегчением и встретил точно такие же пылкие взгляды, которыми пассажиры делились с рядом сидящими.

Однако лица то и дело опять поднимались вперед и вверх — к репродуктору. Не все еще было сказано...

В самом деле, после паузы голос с неохотой продолжил, уже как бы и не совсем официально:

— ...Посадка в аэропорту города Н. вызвана метеоусловиями порта назначения Домодедова. После регистрации билетов и багажа в аэропорту города Н. наш полет будет продолжен.

И снова все вздохнули с облегчением. Впрочем, ненадолго.

Возмущенно затараторил какой-то голос:

— Какая регистрация?! Какая-такая регистрация?! — Голос, как показалось Чашкину, должен был принадлежать человеку маленькому и чернявенькому. — И при чем тут тогда метеоусловия Домодедова?! Если «рейс будет продолжен»?! Какая регистрация?!

— Что делают, сволочи! — бухнул уже знакомый бас.

Но все же, что ни говори, не было уже той взволнованности.

— Главное, сесть нормально...

— Подумаешь, регистрация!

— Так мы горели или не горели? Кто скажет?

И вдруг откуда ни возьмись зародилось и поползло расплзаться по салону словцо, на разные лады повторяемое:

— З а к р ы л и!

— Как это «закрыли»?

— А так! Как на Олимпиаду закрывали, так и сейчас закроют!

— То Олимпиада!

- Сказано же «метеоусловия».
- Во, заразы, Что хотят, то и воротят!
- Так мы горели или не горели?
- Неужели, и правда, закроют?
- А что? Им это пара пустых! Советская власть отдохнуть не

даст...

Однако, повторим, не было уже той взволнованности. Главное ведь, и вправду, не горели, не падали, а просто-напросто «начали снижение». Значит, жизнь ни у кого из летящих не отымут, не спросясь. Главное сейчас — правильно мужик сказал — нормально сесть. Подумаешь, пару часов потратить на новую регистрацию (сизживали и сутками!), главное, нормально сесть, а там — все будет путем!

Чашкин с весельем глянул на соседа справа — и вдруг похолодел! Тот сидел, запрокинув голову назад и набок. Лицом был грязно-сер. Вроде и не дышал уже.

Чашкин несмело протянул руку и будяще похлопал соседа по рукаву. «Вот-те раз!» — сосед не шевелился.

Чашкин в беспокойстве огляделся. Кого бы позвать?

Потряс соседа еще раз, уже без надежды, на всякий случай.

И тот вдруг — ожил!

Навзничь отброшенную голову переложил с места на место, обратил на Чашкина заспанный начальственный взор.

— Фу ты! — смешался Чашкин. — Извини! Я думал, что ты — того...

— Помер, что ли? — грубо и строго спросил сосед.

— Ну-у, вроде.

— Жив! — объявил сосед. Проморгал сонные веки, глянул на Чашкина уже по-новому, приязненно. Сразу стало видно, что он, хоть и начальник, наверное, но из простых. — А ты, стало быть, решил, что я — т о г о? Хе! Тоже в Москву?

— Ну.

— По делам или по личному?

— Это... — промямлил Чашкин. — По личным... по делам.

— Мда! — провозгласил сосед-начальник. — Я вот тоже, брат, по личным делам и должен доложить тебе, что дела наши личные — тухлые! Потому как посадят нас сейчас в городе Н. и в столицу Родины будут пускать либо по московской прописке, либо по сверхсрочной командировке, либо... если вышел рылом! Ты вроде бы, смотрю, не москвич?

— Да какой уж там москвич... — усмехнулся Чашкин.

— Значит, будешь сидеть и ждать!

— Ка-ак?! — ужаснулся Иван. — Мне нельзя! Что вы?! Чего ждать-то?!

— ...ждать, пока не закопают под стенку нашего несгибаемого, нашего пламенно-выдающего...

— Этого, что ли? — осторожно намекнул Чашкин и сделал глазами наверх.

Тот превосходительно расхохотался:

— Точно!

— Не-е... — повторил Чашкин с интонацией недоверия. — Чего-то я не пойму. Ну, похороны. Ну, этот... траур. А как же люди? Никто же зря не едет!

Сосед поглядел на него совсем уже насмешливо, даже с жалостью:

— Ми-ильй! При чем здесь твои так называемые «люди», когда местное авиационное начальство, а может, и не местное, а может, и не только авиационное, из дресен сейчас лезет, чтобы обозначить перед вышестоящим неописуемую скорбь и горячую жажду делом ответить на постигшую утрату! В голове у них сейчас — суета, разброд, каша! У каждого очко дрожня дрожит в ожидании завтрашнего дня и завтрашнего начальства! О н и сейчас что хочешь сделают! Они сейчас во что хочешь с д е л а ю т в и д, что верят! Даже в такую глупость, что обезумевшая от горя страна — вот прямо сейчас! — бросится вся, до единого жителя, в Москву, чтобы отдать последний долг этому... — Тут он явно удержался от какого-то, не вовсе пристойного слова.

— Ну, а если я, к примеру? — спросил Чашкин, немного понимая из речей соседа. — Тоже — на похороны. Не-е! Не на те похороны, а на свои! Мать у меня померла... Тогда — как?

— Тогда я тебя поздравляю! — Тут же, впрочем, прикусил язык: — Прости, брат! С такими вещами поздравлять... Телеграмма есть?

— Есть! — Чашкин оживленно и радостно сунулся за пазуху.

— Тогда, святое дело, улетишь в первую очередь. Тебе беспокоиться нечего.

Чашкин — во второй раз за последние полчаса — испытал удар несказанного облегчения.

— Ну а вы как же?

Тот глянул на него с нескрываемым любопытством.

— За меня не бойся. До Москвы, насколько я знаю, от города Н. верст пятьсот. Выйду на шоссе. Голосну. Превосходно доеду.

— Да? Ну ладно, — легко и равнодушно согласился Чашкин. Опять отвалился в кресле, прикрыл глаза. Смутная улыбка довольства нарисовалась на его лице: тихо лелеял незнакомое, сладкое, неожиданно нагрянувшее чувство, что он — не как все, не на общих основаниях, что «ему-то беспокоиться нечего»...

В печальных потемках этого все меркнувшего и меркнувшего ноябрьского дня, под зло-пасмурными этими небесами, глядя на приземистую грязно-белую коробку аэропорта, неохотно освященную изнутри жиденько-голубеньким, аптечным каким-то светом,

стоя под крылом самолета в маленькой толпе таких же, как он, зябко ссутулившихся, дробно дрожащих людей, которые с каждым порывом язвительного ветра все теснее и отчаяннее сбивались в кучу,

тускло и покорно взглядывая на серые пустырные пространства вокруг, — Чашкин вдруг испытал острейшее изумление (почти, впрочем, беззлобное) загадочным правом и темной силой тех людей, кто был смутно представим его воображению и кто м о г вот так, не спросясь, спустить с небес на землю — черт-те где! — сотню людей, каждый из которых по важным ведь делам торопился, воображал, что только он вправе решать, куда ему лететь, когда лететь, где делать посадку, — взять и спустить с небес, и вытолкать на ледяной аэродромный ветер, в ноябрьскую эту тоску!

Молодая и злая, сильно озябшая женщина в тоненькой синей шинельке стояла у изножия лестницы и нетерпеливо поглядывала, как, озираясь, спускаются по трапу пассажиры, вид которых был заспан, растерян и отчего-то смущен.

Через какое-то время женщине надоело ждать — она повернулась, ни слова никому не сказав, и шагом предводителя направилась к зданию аэропорта.

Толпа под самолетным крылом суетливо вскипела, смешалась, но уже очень скоро обрела правильный образ стада: рядом с шинелькой поспешали самые преданные и воодушевленные; в середине шествовали, пытаясь соблюсти хотя бы видимость самоуважительности, то и дело, впрочем, срываясь на мелкую

трусцу; в хвосте стада телепались откровенно никомушпные, все безнадежнее растягивали отару в подобие длинной унылой очереди.

Чашкин шагал в середке — ближе к хвосту.

Каждый шагал поврозь.

Идти было не близко и очень холодно. Чашкин, однако, успокоенный тем, что ему беспокоиться нечего, терпел охотно.

Длинный автопоезд из пустых полуоткрытых вагончиков промчался мимо, шумно разбрызгивая лужи.

Развеселый водитель с сизыми от холода прыщами на лице проорал что-то веселое и приветственное синей шинельке. Та не ответила, даже не взглянула.

Чашкин изумился — кротко, с оттенком некоторой даже почтительности: удивительно, ничего не скажешь, жили тут. Ни шинельке, ни пареньку-водителю даже и в голову не пришло, что надо бы подвести озябших, не близко идущих людей.

...А часа через полтора с лицом, придурковатым, счастливым и слегка напуганным, он уже сидел на полу второго этажа аэровокзала, спиной упираясь в решетку балкона, несмело поглядывал по сторонам и то и дело старательно подбирал ноги с прохода, по которому бесцельно и лениво брели туда-сюда такие же, как он, «граждане пассажиры» с лицами, которые остервенели уже от скуки и злобы в бессмысленности происходящего с ними.

Чашкин сидел и был всерьез, тихо счастлив тем, что сидит на полу, что ему удалось углядеть, как освобождается место возле ограды балкона, и успеть быстрее всех усесться, и вот теперь он может сидеть и с высоты, как свысока, смотреть на вяло кишашую внизу серую толчею бестолково и безнадежно слоняющихся людских фигур.

Чашкин еще и тем был нешуточно счастлив, что удалось ему — не иначе как чудом! — заметить в громоздком навале багажа, плывущего по транспортеру, свой чемодан — неузнаваемо уже ободранный, заляпанный грязью, — и успеть выхватить, прежде чем тот кувыркнулся в багажную грудку, накопившуюся с нескольких рейсов и все растущую, и уже заполнившую тесное помещенье фанерного павильона больше, чем в рост человека, и по которой теперь ползали, в сердцах отшвыривая чужое, те несчастливцы, кто вовремя не успел к конвейеру и теперь был вынужден заниматься раскопками. А еще чем счастлив был

Чашкин, так это тем, что удалось ему благополучно выцарапаться из яростной, нахрапистой толпы, которая кипела возле окошка справочной и к которому (окошку) все вдруг, едва войдя в аэропорт, дружно устремились, увлекши за собой и Чашкина.

Оказавшись почти нечаянно в центре этой толпы, Чашкин мгновенно ощутил такую погибельную тошноту в сердце, такое предсмертное обомление чувств, что без шуток решил: здесь-то ему и конец.

С бессловесным воплем попытался вырваться было из плотной бестолочи шумно дышащих, все куда-то продирающихся людей, из заразного, цепкого этого ожесточения —

да только куда там! — толпа, как трясина, уже крепко держала его. И тогда, обреченный, он стал стоять неподвижно, обмирая от жуты и тоски, никаких уже попыток не предпринимая — ни для того, чтобы вырваться, ни для того, чтобы, как все, прорваться к окошку, и, должно быть, только поэтому — минут через пять — его подволокло к застекленному барьерчику.

Тут-то, словно проснувшись, он отчаянно уцепился за что-то и стал кричать в окошко бледной от ненависти к пассажирам девчужке (похожей чем-то на Любу) какие-то слова о похоронах.

Девчужка глянула на него по-доброму.

Этот человек, единственный, не спрашивал у нее, почему Москва закрыта, почему он хуже москвичей, почему его командировка не может считаться особо ответственной, — не спрашивал, когда, как и что же теперь делать, и не глядел на нее лютыми, белесыми от злобы глазами, будто это именно она, вчерашняя школьница, выдумала всю эту несуразную чехарду с внезапно садящимися «бортами», с отменами рейсов, с перерегистрацией...

Она ведь была, видит Бог, девочка совсем не грубая. В любое другое время ей доставляло отчетливое удовольствие сидеть за своей загородочкой в синенькой, по фигурке ушитой форменной тужурочке и отвечать на вопросы пассажиров, получая удовольствие от того, как терпеливо и вежливо, с улыбкой и добром отвечает она пассажирам. И даже в этот день, с утра, ей долго хватало терпения отвечать, как учили, но старшая по смене, как назло (назло!), пропала, и вот она сидела в своей стекляшке уже четвертый час, а толпа разгневанных, ничего не понимающих, несчастных людей все осаждала и осаждала ее оконце и злость свою, бешенство свое к Аэрофлоту выплескивала на нее, и ей, конечно же, было обидно, с каждым часом все обиднее и обиднее,

и сначала она чуть не плакала, а потом...

А потом на чью-то грубость ответила вдруг и сама с хамством, слегка даже ошеломившим ее, но от которого вдруг так странно-легко стало, так защищенно, какие-то нудные тормоза ослабли... И хоть она еще пыталась слабо сопротивляться этому новому в себе, но все чаще уже срывалась на базарные скандальные ноты, и хоть стыдновато ей все ж делалось каждый раз, но уже и освобожденно и злобно-весело.

И вот когда сунулся в окошко этот человек с лицом несчастной морщинистой больной обезьяны и сказал про похороны — девушка с облегчением перевела дух. Не надо было сволочиться, не надо было чужим голосом выкрикивать чужие слова... И она улыбнулась этому человеку по-человечески и, испытывая к нему что-то вроде благодарности, стала втолковывать, что пусть он идет в отдел перевозок, коли телеграмма есть, его-то отправят, пусть не беспокоится (хоть одного-то по ее милости отправят!), первым же рейсом, а рейсы будут, не волнуйтесь, после регистрации будут сформированы новые рейсы из тех пассажиров, кто имеет право в нынешних обстоятельствах лететь в Москву.

Выслушав объяснения, Чашкин забелевшие от напряжения руки от прилавка отцепил, толпа его тут же сплюснула, отпустила, еще разок придавила и наконец, совершенно счастливого, хоть и полузадушенного, изжамканного, выплюнула в сторону!

И там, чуть не упав, зацепившись за коленки сидящего на корточках безмятежно веселого парня, Чашкин выдохнул с восхищением:

— М-мать честная! Как живым-то оставили?!

Парень улыбнулся ему с сочувствием, актерски сверкнул ослепительно-белыми, на подбор зубами:

— Ребра-то целы? Ну тогда — ничо!— И вновь обратился оживленным взором к толпе, которая бушевала возле справочной и куда он время от времени неизвестно кому подкидывал лозунги: — Праально! Если не москвичи, так что же, уже и не люди??

Ему, одному-единственному, было весело здесь. Он, один, не был злобен, не был взвинчен. Казалось, вокруг него кругом очерчено пространство безмятежности и веселого удовольствия жизни.

Чашкин с сожалением оторвал взгляд от кучерявого этого

весельчака. Пошел искать отдел перевозок.

...И вот теперь, позволив себе малость передышки, сидел на полу балкона и тешил себя покоем, довольством, смутными уладами случившихся с ним сегодня удач.

Хотя, если честно глядеть, никаких ведь удач еще и не случилось. И о каком покое можно было тут говорить?

Все беспокойства только-только еще начинались...

Над креслами зала ожидания развешаны были телевизоры.

Один из них располагался чуть наискосок от Чашкина — он поневоле поглядывал туда.

Там, в сонном аквариумном сумраке экрана, все продолжалась и продолжалась медленная чинная работа возложения жестких венков, вставаний в ряды почетного караула, смены вооруженных солдатиков на посту, пожимания рук и бессловесного пришепетывания слов соболезнования черной одетой родне лежащего.

Причем по лицам тех, кто все это время вставал или выходил, отстояв свой срок, из почетного караула, кто выстраивался строго по ранжиру поближе ли, подальше ли от гроба, — по их лицам, по тому, как старательно и принужденно держали они складками лица маску скорби, как бы одну на всех обязательную, ясно было видно: н е т в н и х ни скорби, ни даже простого человеческого сожаления об ушедшем, а идет церемония, в механическом повторении основных моментов которой вот все эти люди — лишь механически повторяющиеся фигурки, вроде тех, что в урочное время появляются на циферблатах старинных башенных часов и проплывают там по кругу, раз навсегда окаменелые, чудные и нелепые.

А мимо гробового сооружения, напоминающего более всего косо и вверх расположенную цветочную клумбу, где, совсем уже невзрачный, помещен был усопший, глядя на которого Чашкину казалось, что он прямо-таки на глазах все глубже и глубже погружается в эту пучину из цветов и вскоре вовсе там утонет, — мимо погребальной той платформы спешным (и кем-то, видимо, подгоняемым) ручейком проходили, явно и сами торопясь пройти, тепло одетые мужчины и женщины, на которых телевизор пренебрежительно почти совсем не обращал внимания, среди которых, однако, Чашкин успел заметить и несколько всерьез заплаканных лиц, пораженно заметив одновременно, что и на этих лицах в общем-то нет никакого горя, а есть лишь естествен-

ное опасливое любопытство живых к покойнику и (совсем немного) сочувствие оставшихся жить к переставшему жить.

Почти все были с сумками, с портфелями, и нетрудно было Чашкину вспомнить разговоры о том, что всех этих людей гонят в тот сумрачный зал, и нетрудно было вообразить, что, вот сейчас выйдя из скорбных тех стен, они оживленно устремятся по домашним своим делам, немало довольные случившимся отгулом, и, быстро изжив из себя неприятную досаду от созерцания мертвого тела в груди цветов, быстро и с удовольствием займутся ж и з н ь ю.

Маетная, заунывная музыка приглушенно доносилась из телевизоров. Время от времени ее перебивали бубнящие голоса дикторов, одинаково траурно-приподнятые и с одинаковой фальшивинкой скорбные.

Все это сливалось с каторжным шорканьем тысяч ног по кафельному полу аэровокзала, с детским плачем, который со все большим отчаянием раздавался то там, то тут; с отголосками скандала, как бы постоянно тлеющего, то разгораясь, то стихая, внизу у справочной; с оживленным, все более крепнущим, недовольным и уже угрожающим «бу-бу-бу», которое, подобно машинному гуду, заполняло здание от пола до крыши.

И все язвительнее, все наглее и победительнее плыла по битком набитому зданию истошная вонь туалетов, двери в которые уже почти не закрывались и к которым, кроткие, бессловесные, поневоле нестеснительные, уже выстроены были очереди женщин, оловянно-мертво освещенные огромным ноябрьским небом, угрюмо стоящим за сплошь стеклянной фасадной стеной аэровокзала.

Пожилая женщина в форменной аэрофлотовской шинели — необыкновенно мило, на взгляд Чашкина, покрытая серым деревенским платком, — не в первый уже раз пробиралась по своим делам вдоль узкого прохода, который оставался между расположившимися на полу людьми. И не в первый уже раз Чашкин растроганно обратил внимание, как она смотрит — без тени раздражения, с сочувствием, но без обидной жалости — на людей, которые, конечно же, не могли не досаждать ей своими узлами, чемоданами, ногами, вытянутыми на середину прохода.

В ней, в этой милой женщине, даже и намек не обозначалось, что она может быть нервна, бранчлива, к людям неприязненна. Мгновенно верилось, глядя на нее, что такого в ней нет и вовсе!

И это таким чудом чудным гляделось в раздраженной кипящей атмосфере аэропорта... и она, главное, кого-то так напоминала Чашкину из поселковых пожилых женщин, что он, неожиданно поймав и е м у тоже причитавшийся мягкий незлобивый взгляд, быстро вдруг понял: если кто-то и поможет ему здесь, в чужой этой стороне, то только она, вот эта женщина!

Тотчас же, не на шутку волнуясь, с ощущением, что совершает непоправимое, покидая насиженное место,— он поднялся и поспешил следом за ней.

Он приметил дверь, куда она зашла, и стал покорно ждать, поневоле подвергаем множеству толчков и грубостей, поскольку ждать он остался на ходу у людей.

В жизни не выдавший столько людей за раз, он испытывал тоску от этой толкотни. Тоска была, как грязный дым, застоявшийся душу.

«Зачем поехал?»— все чаще обращался он к себе со злобной досадой. Тут же спохватывался: «Мать ведь...», старался думать о матери, о смерти матери, но куда уж тут было думать о матери, о смерти ее, когда вокруг творилось такое!

— Землячка!— вскрикнул он вдруг так отчаянно, что большинство народа (а не только женщина, которую он поджидал и нечаянно просмотрел) оглянулись.

...и ужасно обрадовался чрезвычайно хорошему словечку, пришедшему в голову, и окончательно почему-то уверился: «Поможет!»

Он протолкался к ней сквозь поток навстречу идущих и еще раз повторил, удовольствие ощущая от этого славного слова: «Землячка!»

— Ну что тебе, землячок?— Она взглянула на него через плечо, и он тотчас увидел, что вовсе и не такая уж она пожилая, еще вчера баба-огонь была, и заробел, и смешался, и жалкие вдруг стал слова говорить:

— Матушка у меня померла. В Москву надо. Покажи уж, ради Христа, к кому обратиться!

— Телеграмма есть?— спросила она, коротко оглянувшись, и продолжая идти (не идти все равно бы не позволили).

— Есть! А как же?— с восторгом обладания воскликнул Чашкин и привычным уже жестом сунулся за пазуху.

— А ты что, может, и вправду землячок? Откуда?

— Из Егоровска! Посадили, вишь ты, ни с того ни с сего. А ты-то откуда?

Она назвала дальневосточный город.

Чашкин огорчился и даже шаг придержал:

— Не-е... Не земляки мы.

Она расхохоталась, мельком оглянувшись на него. Успокоила:

— У меня зато отец из ваших краев. Не потеряйся гляди!

— Я уж за тобой — как нитка за иголкой!— воскликнул счастливо Чашкин и опять заторопился изо всех сил.

— Да разве тут протолкаешься?— потерянно сказал Чашкин, когда они подошли к отделу перевозок и поглядели, что творится.

Творилось примерно то же, что и возле справочной. Каждый на свой манер норовил добраться до начальника, который с измученным лицом, хранящим легкую брезгливость честного человека, попавшего в обстоятельства нечестные, сидел за столом, отделенным от людей подобием прилавка.

— Нет,— говорил он всем.— Нет. Пока нельзя. Нет распоряжений. Не имею права.— Старался говорить как можно ровнее и спокойнее и не сорваться на крик, который так и торкался у него в горле.

Он, этот начальник, не мог не понимать, что сейчас олицетворяет для всех этих несчастных людей ту самую подлую, барски-пренебрежительную силу сидящих наверху, которая, одна, и вынудила мучиться, бесноваться от бессилия, унижаться и быть униженными сотни, тысячи мужчин, стариков, женщин и детей, вероломно застигнутых и посаженных в аэропортах, и поскольку он знал, что сделано это не из соображений веских, а исключительно лишь из трусости перед начальством, которое придет з а в т р а («Кто знает, а не спросит ли завтрашний начальник, а почему, дорогие товарищи, в дни всенародного траура, в дни единодушной скорби, в дни, когда особенно нужна была политическая зрелость, бдительность и выдержка, почему по в а ш е й, дорогие товарищи, милости Москва, столица нашей Родины, была наводнена случайными людьми?»), и поскольку многих из тех, кто принимал или мог принять такое решение, начальник отдела перевозок знал и откровенно презирал, ему тем большего и тем более мучительного труда доставляло сидеть вот в этом кресле, быть поневоле защитником их подлой воли, и вот почему чем дальше, тем больше, ему отчаяннейшим образом хотелось сорваться на крик.

Человек с ослепленными от бешенства глазами вырвался из толпы, толкшейся возле прилавка. Чуть не сшиб Чашкина с женщиной.

— Стопчут нас здесь однако...— сказала она.— Попробуем, может, через Степаныча пройти?

Открыли дверь «Посторонним вход воспрещен», прошли по узкому коридору, спустились на несколько ступенек, поднялись на несколько ступенек, повернули направо, повернули налево, пересекли комнату, где, надрываясь, орал по телефону мужчина, приветливо кивнувший женщине и без выражения оглядевший вконец оробевшего Чашкина,— и вдруг оказались, как с удивлением обнаружил Чашкин, там же, откуда уходили.

Через полуоткрытую дверь было видно, как люди штурмуют прилавок, но теперь-то и Чашкин и женщина были по эту сторону.

Женщина подала знак осаждаемому человеку, и тот сразу же, с облегчением заулыбавшись, поднялся. Будто только и ждал повода хоть на минутку покинуть свой пост.

Однако, когда он заметил Чашкина, стоявшего за спиной женщины, лицо его опять заметно ожесточилось.

— Давай телеграмму! Быстренько!— сказала женщина, пока тот приближался.

Чашкин с готовностью протянул. Стал с любопытством оглядываться вокруг. Защищенность, покой и отрада царили в нем.

Вдруг он услышал:

— Анюта! Милая! Ты что, первый день в Аэрофлоте? «Смертная» должна быть заверена врачом! А это?

Женщина заглянула в телеграмму.

Начальник — теперь уже Чашкину, с неприязнью глядя на него, — сказал:

— Без заверенной подписи врача — это не телеграмма! Это — бумажка! По ней я не имею права отправить вас. А ты...— он снова повернулся к Анюте,— в следующий раз смотри, за кого хлопчещь!

Чашкин не сразу-то и понял, что случилось. А когда понял и, ощущая дурноту, как от неожиданного удара, вскричал: «Так телеграмма-то! Телеграмма-то ночью пришла!»— начальник уже возвращался на проклятое свое место, бормоча с отвращением: «...не имею права... права не имею...»

Чашкин повернулся к женщине.

— Ночью пришла! Телеграмма-то! Я позвонил сеструхе, она и сказала... По-одпись! — Он чуть не заплакал.— Ладно! В следующий раз, когда мать умрет, буду знать, что нужна подпись!

— Пойдем-ка,— сказала женщина, внимательно поглядев ему в лицо.— Выведу я тебя. Ты погоди. Может, чего еще и придумается.

Они пошли.

Она вдруг рассмеялась:

— Во-о, землячок! Из-за тебя, вишь ты, и мне накостыляли!

— Так телеграмма же!— снова принялся горячо объяснять Чашкин.— Она ведь ночью пришла! Я позвонил сестре...

Анюта отворила дверь. Они опять оказались среди толчеи.

— Ты где-нибудь з д е с ь будь!— Она показала и вновь повторила, не очень-то уверенно: — Может, чего еще и придумается...

— О-о-ой! — сказал вдруг Чашкин жалобно. — Чего-то не могу я... тошно мне чего-то! Я уж на улице лучше!

Он протолкался на улицу, уселся неподалеку от входа на чемодан и стал с внимательной тупостью глядеть на свинцовые с чернью снеговые облака, которые, как горы, вздымались, закрывая теперь уже полнеба.

Ни о чем не думал. Просто претерпевал тошную тоску, все еще ходуном ходящую в нем.

«По-одпись!»— время от времени думал он с интонацией всхлипа.— «Им по-одпись подавай!»

Не хотелось ни единого движения делать. Хотелось — вот тут,— пересидеть жизнь.

— Какие проблемы, командир?— раздался рядом бодровеселый голос. Чашкин поднял глаза и увидел того кучерявого, об которого давеча споткнулся возле справочной.

Тот по-прежнему был безмятежен, весел и улыбчив.

— Какие уж тут проблемы...— вяло отмахнулся Чашкин.

Парень привычно-легко уселся рядом на корточки.

— С 373-го?

— Чего «73-го»?— не понял Чашкин. Потом вспомнил.— А-а! С него, будь он неладен!

— Тоже в Москву?

— Ну.

— Не горюй, командир! Как-нибудь улетим!— наугад успоко-

ил парень. — Постой! А ты в очередь-то записался? — обеспокоенно спросил он вдруг, очень тронув, заметим, Чашкина этим беспокойством.

— В какую еще очередь? Мне сейчас только очереди не хватает!

Парень быстренько объяснил, что скоро обещали сформировать рейс на Москву, и все пассажиры с 373-го уже записываются в порядке живой очереди.

— Вон у той бабы, видишь?

Чашкин оглянулся. Действительно, какая-то шустрая чернявая бабенка, тесно окруженная народом, писала что-то в большие листы, разложенные на подоконнике:

— Давай-ка, батя, я и тебя запишу! — великодушно предложил кучерявый. — Я эту бабенку знаю — мы рядом летели. Паспорт есть?

Чашкин напрягся.

Парень с ходу догадался и расхохотался:

— Да не бойся! Мне твоя ксива ни к чему. Фамилию только надо, номер-серипо... для билета.

— На! — согласился Чашкин и, достав бумажник, извлек паспорт.

Кучерявый переписал цифры на спичечный коробок и побежал в аэровокзал.

Чашкин видел, как он протолкался к бабенке, отбреживаясь от наседающих сзади людей, как стал что-то втолковывать ей. Потом Чашкин увидел, что он достает деньги.

— Зачем деньги давал? — строго спросил Чашкин, когда парень, оживленный, снова возник рядом.

— Не бери в голову, отец! Мне ведь тоже лететь. Я тебя, батя, впереди себя воткнул. Но-но! — вскричал он тут же, увидев, что Чашкин уязвленно-купеческим жестом полез за деньгами. — Не обижай, командир! Лучше, знаешь, что сделаем? Пойдем-ка пивка найдем! Ты — как?

Чашкин превосходительно усмехнулся:

— Пивка... Здесь и воды с-под крана не найдешь.

Парень засмеялся. Улыбка у него была совершенно обезоруживающая.

— Ха! Места надо знать! Я тут, батя, в прошлом году три месяца в командировке кантовался. Так что мал-мала знаю, где чего дают! Пошли?

Они пошли к стеклянному кубику, над которым немощно тлела надпись «Полет», и, едва вышли из-под стены аэровокзала, их тотчас прохватило лютым, совсем зимним ветром.

— Что без шапки-то?— сочувственно спросил Чашкин, заметив, что парень заметно поджался в коротенькой тощей курточке.

— Э-э!— храбрясь отвечал кучерявый. — Нам, людям Севера, ваши погоды — Сочи! Так... — продолжил он деловито, — постой пока здесь. — Они подошли к заднему входу неосвещенного кафе. — Тебя как звать? Сейчас, дядя Ваня, все будет в лучшем виде! — И, окликаая наугад какую-то тетю Машу, парень исчез за дверью.

С тревогой, отдаленной, смутной, Чашкин остался ждать, чувствуя совершенно необъяснимую словами л о ж ь всего происходящего: на пронзительном ветру, в потемках незнакомого города, с чемоданом, он стоит почему-то и зачем-то у дверей закрытого кафе, ожидая...

— Гони трояк, дядя Ваня!— Весь аж сияя от деловитого азарта, парень выскочил снова. — Пиво, конечно, все выжрали! Но бутылочку мы с тобой, дядя Ваня, точно сгношим!

— Нужно ли? Бутылочку-то?— вяло воспротивился Чашкин. — Зачем?

— А со свиданьем! А со знакомством!— Против этого улыбочивого парня, положительно, устоять было невозможно. — Ты сам подумай! Ночь нам тут торчать? Торчать! Нет, конечно... — Тут он сделал обиженное лицо. — Если, конечно, не желаешь... со мной...

— Да ты что, паря?— поспешно сказал Чашкин. — На!— И достал из нагрудного карманчика трешку из своих «расхожих», как он называл, денег.

Тот опять убежал и мигом воротился, держа на газетке несколько окаменелых маленьких булочек, зачерствевшие ломтики сыра, сморщенное яблоко. За пазухой он держал и бутылку.

— Держи, дядь Ваня, стакан! Держи закусь! — тараторил он, когда они уселись на скамеечке против входа в аэропорт в голое, а летом-то, наверное, густом кустарничке. — Здесь менты бродят, так что давай по-быстренькому! Держи! — Он протянул Чашкину стакан, бутылку пряча за пазуху. Чашкину вдруг показалось, что бутылка уже была опита.

— Давай ты первым!— сказал Чашкин.

— Не могу! Язва!— объяснил кучерявый.— Надо хоть что-нибудь в пасть кинуть. Не то скрутит! Да ты пей, пей!— добавил он с нетерпением.

Чашкин выпил.

— Ну и вино у тебя...— сказал он, с отвращением морщась.— Из чего только делают?

— Вино как вино,— холодно и неприязненно сказал парень и громко выплюнул сырные крошки, которые пытался прожевать. И вдруг посмотрел на Чашкина взглядом, от которого тому стало не по себе.

— Ты чо это?— удивился Чашкин.— Ты, может, это?..

Но было поздно.

— А я ничего, дядечка, ничего...— услышал он издалека голос парня.— А тебе вроде как не по себе?

— Ах ты гад какой! — грустно сказал Чашкин и начал крениться на кучерявого. В голове у Чашкина быстро густел чернющий дым. Ни рукой ни ногой пошевелить он не мог.

— А ты поспи, дядечка. Поспи, фраерок. — Это были последние слова, которые услышал Чашкин, намертво засыпая. ...Он почувствовал, что его трясут за плечо.

Потом услышал голос.

Потом понял, что это голос Анюты. Но проснуться все никак не мог.

— Вставай! Еле отыскала тебя! Бежим скорее! Я с 68-м договорилась! С хоккеистами сядешь!

Усилившись, Чашкин стал открывать веки.

— Ну да проснись же!— продолжала она трясти его.— Пьяный, что ли? Бежим скорее! Вместе с хоккеистами, я договорилась, полетишь!

— Ага! Да! Слышу я!— прохрипел Чашкин, вскочил и вдруг сразу же побежал, кренясь почему-то набок и потому — в сторону от аэропорта.

— Ты куда? Нам сюда!— услышал он голос Анюты и вдруг встал как вкопанный.

— Чемодан!— вскрикнул он и бросился назад в кусты.

Чемодана не было.

С обмирающим сердцем сунулся за пазуху. Бумажника тоже не было.

Быстро обшарил все оставшиеся карманы. Нигде ничего не было.

— Пойдем скорей! Посадка уже... — опадающим голосом, уже догадываясь, что произошло, сказала Анюта, подходя к нему.

— Ограбил!! — трясущимися губами сказал Чашкин, слепо глядя на женщину. — Все как есть подчистил! И деньги — пятьсот рублей было. И документы, и билет.

— Ох ты, Господи! — воскликнула женщина. — В милицию надо! Ох, Господи ты мой! И посадка ведь уже! А куда ж без документов? Ты посмотри, может, где-нибудь завалился?

— В бумажнике паспорт-то был! — с отчаянием сказал Чашкин, все-таки еще раз обыскивая карманы.

Восемь копеек отыскал он в кармане пиджака и смятую телеграмму.

— Вот все мои теперь документы! — сказал он, горько рассмеявшись.

— Изосимова! — какая-то женщина подбежала, ухватила Анюту за рукав. — Срочно к Степанычу! Не слышала, что ль, по радио выкрикали!

— Да погоди ты! — отвечала Анюта. — Человека, вишь ли, подчистую обокрали.

Та равнодушно отозвалась:

— Пусть в милицию идет... — и снова набросилась на Анюту: — Да беги же скорее! Он уже испсиховался весь!

Неохотно уступая женщине, которая влекла ее за рукав, Анюта торопливо говорила уходя:

— В милицию заяви, слышь? Где я тебе давеча показала — будь т а м. Я тебя разыщу! Слышишь?

— Слышу, — отвечал Чашкин. — Не глухой, слышу... — отвечал, с усилием сдерживая слезы.

— Будем искать!

Лейтенант закончил писать протокол и объявил это таким лживо-бодрым голосом, что ясно было: если и будут искать, то хрен чего найдут.

— Отыщешь его... ветра в поле!

— Ну, это ты зря! Эй, Лихолитов!

Два милиционера в углу азартно играли в шашки. Один из них, самый молоденький, поднял голову.

— Глянь-ка в ориентировках, товарищ Лихолитов, кто у нас м а л и н к о й в последнее время балуется?

— Слушаюсь! — с шутейной готовностью отозвался молоденький и, с сожалением оглядываясь на доску, пошел к железному шкафу.

«Ах, милка моя, ягодка-малинка!» — напевал он там, перебирая и рассматривая бумаги.

— Пойду-ка я... — сказал Чашкин, с усилием поднимаясь из-за стола.

— Завтра начальство явится — далеко не уходи!

— Не могу я ждать до вашего завтра.

— Куда ж ты без документов, отец?!

— Не могу я до завтра. Мне — мать хоронить.

— Ну смотри... Только ведь, если найдем, будешь нужен!

— Найдете, как же... Пойду я. Спасибо.

— Не за что! — ответил лейтенант, и в ответе том явственно прозвучало «...баба с возу...».

— Пропадите вы все пропадом! — неизвестно к кому обращаясь, бормотал Чашкин плаксивым голосом, выбираясь из милиции на улицу. — Пропадом пропадите все!

— Пропадите пропадом! — продолжал он бубнить про себя и тогда, когда вместе с десятками других стоял возле решеток ограждения и рассматривал тех, кого удостоили доверием лететь первым рейсом в Москву.

Решетки ограждения образовывали подобие коридора. Коридор был жестоко и ясно высвечен ртутным светом прожекторов.

По обе стороны молчаливо и угрюмо толпились черные люди, и сквозь строй их недобрых взглядов шли и шли на летное поле достойные и самые проверенные из тех, кого ждала Москва в эти труднейшие, даже можно сказать, драматические, судьбоносные, можно сказать, дни.

Здесь шла небольшая — три человека — делегация местного обкома во главе с Самим, на лице которого сквозь маску неизбежной скорби, которую он носил вот уже целый день с сегодняшнего утра, отчетливо глядело и раздражение оттого, что из-за ремонта депутатской комнаты ему приходится идти вместе со всеми. («Народ и партия — едины, конечно, — читалось на этом лице, — но не до такой же степени, чтобы пихаться в общей очереди!») Два сопровождающих его лица — в одинаковых ратиновых пальто и одного рисунка мохеровых шарфах — изо всех сил старались оберечь шефа от соприкосновений с грубой толпой и руками изображали даже некие телохранительные движения, как бы некасаемо обнимающие туловище драгоценного сюзерена.

Здесь шла — в полном составе — хоккейная команда из

Подмосковья, в очередной раз проигравшая свой очередной матч местной команде, однако не испытывавшая от этого никаких, судя по всему, огорчений: иностранно разодетые мальчишки с траченными постоянной усталостью лицами подхихкивали друг над другом, подхихкивали друг друга, совсем детскими какими-то играми забавлялись: щелчками, тычками, подножками... — они наверняка не могли не знать о невосполнимой утрате, которая постигла и их и все прогрессивное человечество, но им (как и прогрессивному человечеству) начхать было на того, кто возлежал сейчас в Москве, в здании бывшего Дворянского собрания, хотя он, говорят, и был большой поклонник той игры, в которую они играли... — они были счастливы, что из-за траура следующая игра наверняка будет перенесена, их отпустят по домам, можно будет покрасоваться среди дворовых дружков и подружек, побаловаться шампанским, а главное, всласть, до упора выспаться, и в ожидании этого они, мальчишки, не могли не радоваться, хотя старший тренер, пожилой озабоченный еврей с роскошно-седой головой в дорогой серой дубленке, то и дело поглядывал на них с раздраженной укоризной, а на шедших позади обкомовских деятелей — с осторожной опаской и заранее извиняющейся улыбкой.

Здесь шли раскованной походочкой удачливых воров три молодчика, летевшие с Севера, где они наторговали на базарах казенными мандаринами столько, что могли купить бы не только три несчастных билета на дефицитный этот рейс, но и все места в самолете, однако, хоть и чувствовалась в их повадке привычная хамоватая пренебрежительность ко всем, кто по т у с т о р о н у (прилавка ли, ограждения ли), хоть аккредитивы и купюры, хрустящие по карманам, и придавали им много вольготной уверенности в преодолимости всех и всяческих препятствий, однако разговор вели они печальный, тревожный и растерянный, и вот, глядя на них-то, можно было и вправду подумать, что безвременный уход из жизни выдающегося разгуляй-экономиста, мелиоратора и профессионального борца за мир безмерно угнетает их, ввергает прямо-таки в безысходность. «Как жить дальше, дорогой? — казалось, вопрошали они друг у друга. — Без столь мудрого руководства как жить-то теперь?!» ... Впрочем, если б знать язык, на котором печально вздыхали эти мужественные люди, стало бы ясно, что огорчены они вероломным каким-то приятелем, который посчитал вдруг себя обиженным и в то

время, когда они честно торговали казенными мандаринами в труднейших климатических условиях Крайнего Севера, развил недостойную, мужническую деятельность, чреватую для каждого из них многими финансовыми (и не только финансовыми) бедами.

Здесь шла дородная женщина в норковой боярской шапке — местный сопроф, — жалко и жалобно оглядываясь то и дело, отыскивая в толпе Лешика, личного своего шофера, который так весело и легко распрощался с ней, с какой-то такой многосмысленной интонацией сказал: «Счастливо погулять в Москве!» Так беспечно и облегченно отвернулся уходить, что у нее, пожилой женщины, сразу же грозно и грязно закрубились подозрения, замелькали в воображении бесчисленные длинноногие сидушки с миловидными детскими личиками и прости-тутчьиими глазами, — она часто их видела возле своей машины — возле машины с его Лешика, который, как и у многих женщин ее положения, был и за носильщика, и за слугу, и за пашлычника на пикниках и (так редко!) за партнера по постели, и она уже кляла себя за то, что решила ехать в Москву, хотя и знала, что не ехать было нельзя, ибо совсем еще не ясными выглядели выводы, к которым могла прийти ревизия, работавшая у них в октябре, а в такие дни, как эти — в дни смены власти, — любая двусмысленность в выводах комиссии могла обернуться ужасающей драмой.

Здесь шел очень печальный, очень малозаметный гражданин — техник-смотритель городского ЖЭКа, чье имя было одинаково хорошо известно и миру правоохранительных органов, и миру, прямо противоположному, причем и те и другие относились к нему с одинаковой уважительностью и опаской; он взял десять дней за свой счет, чтобы навестить больную сестру, и вот тоже летел в Москву, ибо срочно нужно было улаживать с нужными людьми неотложное дело, связанное с пальбой, которая затеялась вдруг на маковых плантациях в типичных предгорьях Тянь-Шаня между застенчивыми провинциалами его команды и нахальными прищельцами какого-то доселе неизвестного московского Бати; эта стрельба (с применением легкого автоматического оружия и дважды гранат РГД) явно нарушала годами установившийся порядок, а он, техник-смотритель, всегда любил порядок, и потому печать печали лежала на его исхудалом лице, когда он шел по летному полю на самолет.

Здесь шли также:

известный в городе стоматолог-частник, чьими зубами жевало все высокое начальство в городе и которому нынче позарез нужно было в столицу «за материалом»; актер местного театра, которого нежданно-негаданно пригласили вдруг на пробы в кино и который, конечно же, в лепешку расшибся, но добыл всеми правдами и неправдами билет на вожделенный рейс; шла жена местного военкома, решившая навестить наконец-то московскую свою подругу; шел застрявший по пьяному делу в Сибири сельскохозяйственный обозреватель центральной газеты, чье чудовищно опухшее, багровое лицо и оловянно вытаращенные глаза заметно выделяли его из окружающей толпы; шел местный промторг — иронично и весело глядящий перед собой — в нарочито неказистом пальтеце, смешного покроя собольей шапочке, со школьным портфельчиком под мышкой и в жутко стоптанных башмаках, один из богатейших людей губернии; шла сестра-хозяйка облисполкомовского «гостевого дома» — молодая дама, весьма схожая и внешностью, и походкой, и взором на недешевую шляху, какой она, в сущности, никогда и не переставала быть со времен своей бурной юности; шел с заплаканным, нервно подергивающимся лицом ветеран легендарной 18-й армии, который добился билета на самолет единственно лишь грубыми угрозами придать политическую окраску отказу лететь ему на похороны любимейшего своего комиссара, чью смерть он и в самом деле воспринял как катастрофу, поскольку только-только наострился по-настоящему складно излагать свои воспоминания о нем; шел здесь и деревенский знахарь-ведун, который излечивал, сказывали, все болезни на свете настоями таинственных таяжных трав, приправленных для ядерности экскрементами белой тундровой куропатки, и которого сверхсрочной телеграммой вызвали в Москву, на улицу Грановского к стопятилетнему ветерану международного рабочего движения, который еще десять лет назад дал слово пережить всех и все, и международное рабочее движение в том числе...

...И еще очень многие шли, во многом подобные тем, о которых здесь сказано.

Среди шагавших к летному полю Чашкин, не слишком почему-то удивившись, заметил и Деркача Вячеслава Ивановича, директора.

Он шел наиболее из всех счастливый и радостный и посмат-

ривал вокруг так, словно бы ждал всеобщего восхищения по поводу события, случившегося в его жизни.

...А случилось с ним — как в самой бредовой из тех фантазий, которыми он тешил себя, сидючи долгими вечерами в гостевой комнате Дома приезжих в компании с бутылкой коньяку и синюшными буфетными котлетами...

Был звонок — тот самый, долго и мучительно жданный телефонный звонок.

Знакомый бурчливый голос, при звуках которого сердце Деркача тотчас скакнуло и затрепыхалось под горлом, произнес с интонациями, как всегда, грубоватыми и отечески насмешливыми:

— Не надоело еще баклуши бить на курорте-то своем?

— О-о!!— косноязычно и страстно воскликнул Вячеслав Иванович.

— Не желаеть ли в столицу сбегать денька на три, а может, и на побольше? Не слышу ответа!

— Так ведь как прикажете, Игнатий Иванович!— нашел наконец слова Вячеслав Иванович, вспомнив, что Игнатий Иванович всегда любил в добрую минуту, чтобы ему ответствовали с интонациями как бы гоголевского чиновника, Добчинского какого-нибудь, Бобчинского.

— Ну вот теперь слышу. Есть мнение, Вячеслав Иванович, включить тебя как представителя от района в траурную делегацию области. Чтоб кляти часам был в приемной! Будет разговор.

А потом был разговор! И разговор был настолько приватный, что у Деркача нет-нет да и возникало ощущение сладостного кошмара. Сам говорил с ним на такие темы, с такой откровенностью и прямоотой отзывался о вышестоящих лицах, что не могло быть сомнений: свершилось! Его, Вячеслава Ивановича, вновь возвращали из небытия!

Дело, ему порученное, казалось на первый взгляд простым и невятным. Нужно было походить в Москве по старым знакомым, оставшимся еще со времен того директорствования. Навестить — по делу, разумеется, — высоко вознесшихся земляков. Вообще потолкаться в сферах, Деркачу доступных, и попробовать уяснить одно-единственное: «Что впереди?»

Предполагалось, что грядет мужик крутехонький, и в таких обстоятельствах жизненно необходимо было знать, куда будет поворачиваться рулевое колесо, кому надо кадить, а на кого капать.

Почему выбор пал на свергнутого в ничтожество Деркача?

Вячеслав-то Иванович, понятное дело, мнил, что из-за бесценных деловых его качеств. Вернее же было бы предположить, что здесь работал закон, действующий в крысиных стаях: в непонятно изменившихся обстоятельствах вожак всегда высылает на разведку большую крысу. «Если и пристукнут, то невелика потеря!»

Вот такой больной крысой и был Деркач.

Однако у Деркача (хотя он сам о себе этого не знал) было одно немаловажное преимущество перед многими: репутация человека, который был г о н и м при прежней администрации. И это тоже не упускал из виду Игнатий Иванович, посылая именно Вячеслава Ивановича в Москву. «Повернуться может по-всякому», — рассуждал Игнатий Иванович. Лишний козырь: «А кто тебя из деревни выгнал? Вспомни!» — в будущем вряд ли помешает.

Дабы миссия Вячеслава Ивановича протекала успешно, вез он в багаже пять пар разного размера женских пимов (для жен, любовниц, дочек), четыре шапки из меха рыси производства промкомбината местной промышленности, канистру спирта, настоящего на оленьих пантах (для двух высоких земляков, к которым впрямую с подарками соваться было рискованно, но которые от «мараловки» не должны были бы отказаться, поскольку и тот и другой недавно обженились на молоденьких своих секретаршах), для одного из знакомцев, страдавшего припадками сентиментальности, заготовлена была коробка конфет, выпущенных спеццехом областной кондитерской фабрики, которые формой должны были напомнить ему о конфетах-подушечках времен его голодного босоногого детства и о которых, как было доподлинно известно, он не раз со слезой в глазу вспоминал.

Кроме того, вез Деркач и массу безделушек из нефрита для секретарш, фирменную, старинных рецептов водку (для мужиков попроще) и на всякий случай плотный конверт денег, врученный ему лично Игнатием Ивановичем с добродушно-свирепым наказом дать по возвращении отчет в каждой на каждую шлоху истраченной копейке.

Он шел в толпе счастливичков со счастливым лицом и счастливо поглядывал по сторонам, и взгляд его нечаянно пал на Чашкина, который, вяло обвиснув на решетке ограждения, без всякого выражения рассматривал идущих к самолету.

Какая-то тень озабоченного воспоминания промелькнула на миг по лицу Вячеслава Ивановича. Но только тень. И только на миг. Незачем ему было вспоминать. Да и недосуг.

Чашкин поглядел еще немного и стал проталкиваться от забора.

Надо было что-то делать. Под лежащий камень вода не потечет. Но что надо делать, он не знал. Да и сил никаких не было после проклятой этой «малинки» что-то делать.

— А ты почему не улетел?— раздался вдруг рядом начальственный строгий бас. Сосед по самолету возвышался над Чашкиным.— У тебя же телеграмма.

— Ага, — кисло поморщился Чашкин.— Телеграмма, да не та... Им нужна смертная, а у меня оказалась, вишь ты, п р е д с м е р т н а я!

— И что делать намерен?

— Ничо не намерен. Куковать намерен... Обокрали тут меня— вчистую!— и чемодан, и деньги-документы.

Тот даже крикнул от досады.

— Что же ты за валенок такой, прости Господи!

— Да вот уж... такой...

— Что? Все деньги до копы украли?!

— Да не-е...— хмыкнул вдруг Чашкин.— Загашник остался. В тренировочных четвертной был значок. Вот он остался.

— Ну и что же ты сопли развесил?!— загромычал сосед.— На четвертной билет ты и до Хабаровска можешь доехать!

— В Хабаровск мне не надо. Мне — в Москву. Мать хоронить надо,— тупо отозвался Чашкин.— Да только как теперь? Документов-то нет.

— На поезде, дурья башка, кто у тебя документы будет спрашивать? Собирайся! Я здесь приятеля встретил, поедешь с нами на вокзал.

— «Собирайся»...— иронически повторил Чашкин.— Мне собраться — только подпоясаться.

— Тем более! Следуй за мной!

Начальственный сосед пошел к аэровокзалу, а Чашкин на ватных ногах потелепался следом. Не было сил ногами ходить!

Когда наконец добрал Чашкин до входа в аэровокзал, начальник стоял уже с чемоданом и смотрел на Ивана гневно.

— У тебя что, с ногами не в порядке?

— В порядке... было. Э т о т дурью меня какой-то опоил, чтоб обокрасть-то. Вот и нет сил поэтому... Вы идите. Я до вокзала как-нибудь сам...

Человек, которого Чашкин не сразу и заметил в потемках, рассмеялся с восхищением:

— Вот это да! Вот это страсти-мордасти! Тлетворное, средневековое влияние Запада, я полагаю...

— Ну не скажи!— отозвался сосед.— Это почтенный сибирский способ грабить купцов на постоялых дворах. Так что не «тлетворное влияние», а напротив — «возрождение добрых старых традиций». Ну? Пойдем потихонечку?— обратился он к Чашкину.

И они пошли.

И опять, как и днем, когда покидал свое место на балконе, возникло у Чашкина чувство, что он совершает непоправимое. Здесь была надежда. Здесь была женщина по имени Анюта, которая не даст пропасть. А впереди?

А впереди был вокзал. И, как выяснилось вскоре, начальство здесь тоже шустрило вовсю. В кассах требовали московскую прописку. По перрону бродили милицейские патрули.

Пришел поезд. Чашкина научили, что и как делать: вместо билета протянуть проводнице квадратиком сложенный четвертой.

Никому никогда не давал он взятку. Таким вот дурнем прожил. Были, конечно, моменты в жизни, когда нужно было д а т ь, но он никогда не мог перебороть себя. Ему было стыдно з а т о г о ч е л о в е к а, которому он должен «дать».

Ясное дело, что у него и на этот раз ничего не получилось.

Он походил вдоль вагонов, и выбор свой остановил на пожилой усталой женщине, которая ему больше всех понравилась. Однако не тем, чем требовалось, понравилась она ему. (Сам того не сознавая, он отыскивал по привычке человека почестнее и отыскал, как оказалось, точно.)

— А ну катись отсюда, поганец!— вскричала женщина, увидев протянутые деньги.— Хочешь, чтобы я милицию к тебе позвала?

И глянула на Чашкина так, что он мигом проникся: она и его причислила к тем бесчисленным прохвостам, которые почти совсем уже заполонили жизнь, от которых чем дальше, тем больше уже и житья не оставалось, к тем гаденьшам, которые везде и всюду изо всех сил ползли-карабкались вверх, чтобы во

всем быть не такими, как все, и которых она, честный человек, не могла не ненавидеть! Таких-то и Чашкин с трудом терпел. Тем язвительнее был стыд, которым окатило его!

Поезд поплыл мимо. Чашкин стоял.

В дверях тамбура он вновь увидел ее. Сдержанным флажком в руке монументально возвышалась она. Глянула на Чашкина — сверху вниз — с брезгливостью.

— Что? Опять не сел?— Сосед по самолету вновь возвысился над Чашкиным.

— Да вот...— промямлил тот.— Чего-то не умею, что ли?

— Не тушуйся! Мы тоже не сели! Мы тут, брат, вместо этого в ресторацию проникли. Но через час ташкентский будет, не тушуйся! В 21.30!

Чашкина вдруг ознобом изумления окатило. Половина десятого всего лишь! Всего лишь полдня прошло (а ему казалось, что месяц) с той минуты, как Антонида будила его: «Телеграмма!» Всего ничего прошло, а он в каком-то неведомом городе Н., на темном перроне, ждет ташкентский поезд, чтобы сесть зайцем...

Третий из их компании — сосед называл его Виктор — слегка пьяноватый и оттого оживленный, страшно деятельный, все время куда-то убегал, что-то разузнавал, прибегал, оживленно что-то рассказывал. Чашкин, однако, мало слышал: его дико клонило в сон. Он давно бы уже заснул, если бы не голодная тоска в животе. «Последний раз я ел сегодня утром,— вспомнил он,— да ведь и не поел толком!»

И когда он вспомнил об этом, вой в желудке стал совсем уж истошным.

Его замутило. Он успел отбежать в сторону и вырвал слякотной, дурно пахнущей слизию.

— Час от часу не легче!— недовольно сказал начальник-сосед, когда Чашкин с заплаканным лицом вернулся к скамейке.

— С утра ни крошки не ел...

— Не тушуйся! Дай только в поезд сесть. Мы с Виктором кой-чего припасли...— И вдруг грязно выругался:— Смотри!

На перрон один за другим вываливались парные патрули, расходились вдоль путей, вставали, как нетрудно было догадаться, там, где будет посадка в вагоны.

— Виктор! Посмотри, что они творят!— вскричал начальник своему приятелю, будто именно он и пригнал сюда милицию.

— Без паники!— заорал в ответ Виктор.— Последние три

вагона наши! Точно! У них с начальником каждого поезда договоренка: последние три вагона не трогать! Сядем! По двадцатке!

Стали доставать деньги. Чашкин извлек свой заветный четвертной. Сдачи ни у кого не оказалось.

— Ладно!— пренебрежительно сказал начальник. — В Москве рассчитаемся.

Виктор оказался прав. Возле трех последних вагонов милиции вовсе не было.

Толпа штурмовала проводников. Проводники брали деньги и, как билеты, совали в кармашки планшетов, называя номер места.

Наконец и они ворвались в вагон.

— Шестое, седьмое, восьмое!— ликуя орал Виктор.

— Забраться и затаиться!

Чашкин ездил в поезде последний раз лет пятнадцать назад. Но даже и ему показалось, что вагон этот подцепили где-нибудь на кладбище металлолома. Пластик на стенах был яростно ободран. Сквозь стекла ничего нельзя было разглядеть: настолько они грязны и закопчены были. Обрывки бумаги, консервные банки, бутылки, всякая прочая дрянь валялись в коридоре, вспученный линолеум которого напоминал волны. На потолке зияли ржавые разводы протечек.

— Ух ты!— мимоходом восхитился Виктор. — Чудо развитого социализма!— И стал рвать перекосившуюся дверь купе.

В купе на верхней полке, руки сложив на животе, спал человек в позе покойника.

Поезд тронулся.

— Ура!— шепотом крикнул Виктор. Сел на грязный матрац, облегченно вздохнул:— Неужели едем? Едем! Ну, теперь можно и отпраздновать!

Начальник сидел у окна и старался хоть что-то разглядеть за закопченным стеклом. Ничего не было видно. Одни только уютные медленные тени.

— Какая пакость!— сказал он вдруг с сильным чувством. — Какая все-таки пакость! Ве-ли-кая дер-жа-ва!

Виктор выкладывал на стол свертки. Добыл из-за пазухи бутылку с синей ресторанной печатью.

— Вот за нее-то мы сейчас и выпьем!— оживленно отозвался он. — За великую нашу, за неделимую нашу державушку! Благо

и время для этого, и место для этого подходящие! А мы ведь так и не познакомились?— вспомнил он вдруг, взглянув на Чашкина, очарованно сидящего в уголке у двери. — Вас как звать-величать?

— Иван.

— Славное имя! А вот меня — Виктор. А вот того сердитого молодого человека — Иннокентий, разумеется, Гаврилович...

Он стал открывать бутылку, и тут сосед, спящий на полке, вдруг с мукой в голосе застонал.

— Ого!— одобрительно отозвался Виктор. — Чутье у человека есть! Эй, сосед!— Он потолкал спящего. — Вставай ужинать!— Но тот, опять же со стоном, резко отвернулся к стене.

Виктор добыл из камана ножичек, стал обстоятельно резать колбасу — тоненькими тщательными ломтиками. Чашкин не выдержал глядеть — резко бросился и схватил кусок хлеба, лежащий с краю. Стал быстро-быстро жевать, сладостно перемогая судороги в гортани. Виктор покосился, но ничего не сказал.

Чашкину стало стыдно. От стыда у него даже слезы закипели на глазах. Но не мог он ничего с собой поделать!

— Ну вот! Прошу к столу!— объявил наконец Виктор. — Вам!— Он протянул кружечку Чашкину. — Как гостю!

— Нет-нет-нет!— воскликнул в панике Чашкин.

Иннокентий, угрюмо до этого молчавший, вдруг заржал:

— Го-го-го! Он теперь ученый! Он теперь ни в жисть первым пить не станет! Правда, Иван?

Чашкин смущенно захихикал:— Да не-е... Я бы поел сперва.

И не дожидаясь разрешения, опять стыдно-торопливым жестом цапнул со стола кусок хлеба.

— Господи!— сказал в сердцах Иннокентий.— Господи! Господи! Господи! Господи!— Взял кружку, отчетливо выпил, крякнув.

Затем выпил и Виктор.

— Ну? А теперь?— протянул он кружку Ивану.

Чашкин выпил и мгновенно понял, что не надо было бы пить. Его сразу повело. Протянул руку за кусочком колбасы (давно не пробовал колбасы) и промахнулся!

— Да ты поближе сядь!

Он попробовал пододвинуться и вдруг упал головой в вонючий в желтых разводах матрац.

— Эк тебя развезло!

Чашкин с трудом приподнял голову и все-таки до колбасы

дотянулся. Сунул в рот и опять упал. «Больно уж тоненько нарезал», — с укоризной подумал он и задремал.

— ...на краю! — услышал он сквозь мелкий сон голоса соседей. — Год-два, не больше. Работать никто не хочет, да и разучились работать. Вот пить зато научились, как никто в мире...

— Научили!

— Способные, стало быть, ученички оказались! Ты нац завод знаешь — 24 тысячи. Так вот: е ж е д н е в н о четыре тысячи прогулов!

— По стране, слышал, 15 миллионов.

— Можно ли так жить? Имеем ли право?! Нефть-газ — на Запад. Лес — на Запад! Только ведь этим живем. Мы, милый ты мой, уже сырьевой придаток, а никакая там не великая держава! Колония мы вшивая, которая громкими словесами пытается нищету свою прикрыть!

— Только слепой может не видеть. Для начала разрушили. Посеяли ералаш несусветный во всем: в экономике, в науке, в морали. Довели до грани голода — уже, считай, довели! — уже, считай, целое поколение выросло, которое колбасу за роскошь считает, а карточки — за обычное дело. А теперь, когда довели до ручки, жди: явятся к нам благодетели! Концессии, займы, совместные предприятия... Сибирь, Дальний Восток — япош-кам? — пожалуйста! Мурман, Север — англичанам и разным прочим шведам? — будьте любезны! Без единого, заметь, выстрела! Зато завалят нас колбасой, которую они не жрут! Завалят барахлом, от которого затоварились! И ошастливленный наш народ громкие, проникновенные гимны воспоеет благодетелям-завосвателям!

«Как сладко говорит! — думал Чашкин сквозь сон. — Так говорит, будто бы даже радуется тому, о чем говорит! Как будто ему хорошо оттого, что плохо. А ведь прав: плохо, куда как плохо!»

— Это ж старинный рецепт: «Чем хуже, тем лучше!» Главное — то в чем? Поручить, разбить, рассорить, растоптать! Эта страна у них — как кость в горле. Остальных уже сожрали. Еще, пожалуй, Индия... В идеале им что нужно? Наверху — элита. Ниже — сытое быдло. И чтоб — никакой души! никаких идеалов! Нароботался, нажрался, поглазел в ящик — и спи, не дергайся!

Тут спящий на верхней полке вновь протестующе застонал.

— Этот еще дергается...

— И все-таки — уверен! — н и ч е г о у них не выйдет! Есть народ. Есть мудрость народная. Есть народный инстинкт самосохранения!

— Но молодежь. Наше поколение они не одолеют наверняка! Но молодежь-то они уже и сейчас убивают! Что в школе творится, ты ведь знаешь...

— Метод, конечно, гениальный. Гениально простой: любую, самую разумную мысль, любое разумное суждение, идею доводить до нелепицы, до абсурда...

— Все жду, когда же наконец кто-то крикнет во весь голос: «Измена!» Жду и, ты знаешь, боюсь. На фронте не было ничего страшнее, когда кто-то вдруг кричал: «Измена!» Кровь прольется, много крови.

«Во! — усмехнулся сквозь сон Чашкин. — Уже до шпионов договорились. Молодцы ребята!»

— Не знаю... Может, и измена. Но вероятнее всего другое: виновата сама система. Порок в ней самой. Она не может не быть ориентированной на саморазрушение, если в основе ее выдвигание к власти не самых достойных, не самых порядочных, не самых принципиальных! Какая система может долго функционировать на такой основе? Нарушен — в самой своей сути — основной закон природы — закон отбора наиболее достойных! Система перевернута! — вот в чем дело. Кто сейчас, как правило, всплывает вверх? Дерьмо или пустышка. А самое ценное, самое самородное, самое творческое вниз! Человек партийный, скажи: кто сейчас стоит в тысячных очередях на вступление? Тот, кому это необходимо для карьеры, для движения вверх по ступенькам. У кого, скажи, больше шансов подняться по служебной лестнице? У того, кто говорит правду? У того, кто жаждет истины? Или — у того, кто умеет задницу лизать начальству, кто умеет с каждой глупостью, изреченной начальством, согласиться восторженно! — чтобы потом, когда и он наконец овладеет властью, ему задницу лизали, с любой его глупостью восторженно соглашались?

«А главное, что работать никто не хочет... — подумал Чашкин. — Каждый в начальники рвется. Каждый норовит без очереди. Каждый норовит быть не таким, как все, жить не так, как все...»

Вагон вдруг начал дико вихляться, забренчал всеми своими разболтанными суставами, затрясся, как в припадочной дрожи.

Чашкин испуганно сел.

— О-о!— приветственно воскликнул Виктор.— Вовремя проснулся! Сейчас наш слипнинг-кар начнет разваливаться на части. Эту минуту должно встретить по-мужски. Как вы думаете, Иннокентий Гаврилович?

— Думаю, что,— лаконично согласился тот.

Виктор взялся за полуопустевшую бутылку.

— Мне не надо бы...— вяло сказал Чашкин.

— Надо. На этом вибростенде без э т о г о не уснуть!

— Вот вы здесь говорили «они», «они»...— удивляясь собственной смелости, спросил Чашкин.— Кто это «они»?

— Они,— кратко ответил Иннокентий.

— Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя...— непонятно объяснил Виктор.

— «Они»,— это те, кому мы позволили сесть себе на шею и кого везем сейчас, грязно при этом ругаясь.

— Кое-кого из них ты видел сегодня. Их в отличие от нас в Москву пустили.

— Ладно,— сказал Чашкин, от напряжения утомившись.— Ясно, что ничего не ясно,— и выпил предложенную ему кружечку.

Должно быть, спиртное входило в какую-то таинственную реакцию с «малинкой»: Чашкина опять вдруг мгновенно покосило, и он обессиленно ткнулся лицом в вонючий матрац.

«Гад!— подумал он о Викторе.— Ведь говорил же тебе, не надо мне!»— и опять стал бултыхаться в мелководье непрочного, мучительного своей неопределенностью сна.

— Говорят, что на стульчаке загнулся «выдающийся» наш. Может, и не так. Да наверняка не так! Но я вот о чем думаю: до какого же отвращения к своей персоне нужно было довести православных, чтобы они ему такую унижительную смерть сочинили!

— Да уж, довели, это точно... Всю Россию довели. Был Иван Г р о з н ы й. Будет Иван-д у р а к. К этому и ведут.

— Самы виноваты, что именно «ведут». Как корову — на живодерню. А мы идем!

— Не люблю я этого «сами виноваты»... Ну, скажи, а ч т о может вот этот наш Иван? А мы с тобой ч т о можем? Если честно?

— Приехали! Значит, будем ждать нового «выдающегося»! Будем ждать, хныкать, фиги в кармане делать и надеяться! Все! Спать пора! Хватит!

— Насчет «спать» ты прав. А относительно другого вряд ли. Нужно думать всем вместе. Много. Так, как никогда еще не думали. Много. В каждом доме. Засыпая, просыпаясь. Всем вместе. Д у м а т ь о б о д н о м! И вот тогда...

— Оптимист ты, однако.

— А что остается? Не вешаться же?

Они умолкли.

Чашкин тоже потихоньку погрузился в сон.

Странный это был сон: какой-то тихий, проникновенный вопль тоски, который слагался и из заунывного стука колес, и из ощущения себя униженным, оскорбленным, бессильным, попраным, скрюченным во сне в загаженном этом вагоне при свете гаденькой желтенькой лампочки под потолком, и из внятного знания, что вокруг — ночь, что вокруг — бескрайние убогие предзимние поля, бедная его Родина. А над головой стонет во сне человек. А за стенкой вагона — тоска, российская железнодорожная тоска без конца и без краю...

И траурные мелодии, которые без устали все лились и лились из всех репродукторов страны, меньше всего имели отношение к тому, кто все так же невозмутимо и прилежно возлежал в пустом полутемном тихом зале в гробу, напоминающем цветочную клумбу, в которую, казалось, он погружается все глубже и глубже, так что одни только стеариново-грязные, хоть и подурмяненные скулы, заостряющийся нос и как бы отдельно возложенные густые брови выглядывали наружу. Траурные мелодии звучали не по этому человеку, они звучали о стране, казалось, о народе, которые вот этот Господин, по-настоящему одаренный лишь одним умением — умением лавировать, выскальзывать, оставаться всегда на плаву, своей бездарностью, упрямым безволием и безграмотностью довел до тихого краха, милостиво позволяя себе подобным править угодное им (и ему) право, жестоко, хотя и без особой крови, побивая всякого, кто не был подобен им (и ему) или по крайней мере не желал делать вид, что подобен... Эти мелодии, за день угнездившись в каждом, казалось, закоулочке чашкинской памяти, продолжали звучать Ивану и сейчас, во сне. Они все звучали, звучали, и казалось Чашкину, что скорбь этой унылой музыки — о нем.

Вячеслав Иванович Деркач, прислонившись головой к стенке такси, тоже подремывал в этот час, помурлыкивая про себя те же самые траурные марши Шопена. Однако поскольку настроение

его по-прежнему было далеко от скорбного, то мурлыкал он их на развеселые слова, которые не вспоминались со студенческих лет. «Умер наш дядя, — мурлыкал Деркач, — очень жалко нам его! Нам он в наследство не оставил ничего! А тетя хохотала, когда она узнала, что дядя нам в наследство не оставил ничего!»

Он похмыкивал, воображая в истерике бьющуюся неведомую тетю, и, одновременно же, с наслаждением думал о том, как привычно расположится в гостиничном люксе, вскипятит чайк, потом вытянется на кровати под крахмальными скользкими простынями, самую малость поспит, а с утра — сядет на телефон!

У него слегка даже взбултыхивало сердце, когда он думал о том, что ему предстоит. Тревожно взбултыхивало сердце, но и радостно.

«Ах, голубчик! — с нежностью думал он о вельможном покойнике. — Какой ты умница, что наконец-то помер и освободил местечко, и начнется из-за этого великая катавасия, перетасовка вселенская, суета, смута! Если бы не ты, нипочем бы мне не выбраться, нипочем!»

С недоумением и весельем оглянулся он памятью и не поверил себе: «Неужели заброшенный тот поселочек, паршивенькая та фабрика, сидения с бутылкой наедине, безнадега — неужели все это было? Е щ е э т и м у т р о м — б ы л о?!»

«Ну, теперь-то уж все! — свирепо-весело сказал он себе. — Никогда не вернусь я туда! Буду землю грызть! Буду руки целовать. Буду кадыки зубами рвать! Но ни ко г д а не возвращусь я туда!»

Тут смутно вспомнилась ему Люба, и он неуверенно подумал, а не взять ли и ее с собой на новое место. Верную секретаршу хорошо воспитывать из таких вот — неизбалованных, всем тебе обязанных. Но тут же поморщился: «Незачем!»

И ровным счетом ничего не значит — ни для него, ни для нее, — что, не сдержав радости после звонка, обнял он ее сегодня утром и, вдруг почуяв, как преданно прижалась она к нему, жадно вдруг задышавшая, задрожавшая... короче, перепихнулись они тут же, на скользком клеенчатом диванчике его кабинета... Ни он, ни она тем более никакого удовольствия не получили — мудрено было бы получить, когда в коридоре уже собираются на планерку, а здесь — колготки, толстые рейтузы, кальсоны, прости Господи!... Ладно! Такого добра он и на новом месте найдет, хотя... хотя, как ни крути, а в предбаннике человек должен сидеть

преданный, а преданных делают из таких, как Люба, облагодетельствованных, тобой осчастливленных. «Может, все-таки взять?..» — снова подумал Деркач и тотчас поймал себя на том, что он аж плавает в самодовольстве, размышляя т а к и о т а к и х деталях будущего номенклатурного своего быта.

Совершенно, конечно, не ведая, что за тысячи верст от поселка кто-то вспоминает о ней и даже решает за нее ее судьбу, спала в родительском доме на строгой девичьей кровати под портретом Валерия Леонтьева и девушка Люба, которой ничего не снилось в этот поздний час, кроме ощущения покоя и освобождения, которые она остро и свежо слышала в себе весь этот день — с нынешнего утра.

О том, что произошло между ней и Деркачом в кабинете, она вспоминала со смешком: «Как воробей на воробьику — прыг! Тыр-тыр! И — чирик-чирик!»

И вовсе не от э т о г о испытывала она чувство покоя и свободы. Теперь она была уверена, что уже не будет больше мучиться своими от всех потасненными (и потому как бы даже стыдными) ежеутренними наваждениями о ж и д а н и я з а п а х а — наваждениями, которые уже стали пугать ее своей странностью и мгновенным, словно бы даже наркотическим, обезволивающим действием. Она ведь и прильнула-то к Деркачу в то утро не за тем, о чем он подумал, а затем, чтобы вплотную наконец надъшаться, удъшаться заморским тем дурманом и — освободиться наконец! И вот теперь она была уверена, что — свободна, и потому спала с ощущением легкости, покоя, тихого веселья — молодая, о с в о б о ж д е н н а я.

А за четыреста километров от Чашкина, в темном подмосковном домике, чуть освещенная пламенем толстой свечи, при свете которой старушка, водрузив на нос очки, читала псалтырь, — покоилась в вечном сне и матушка Ивана Чашкина, и казалось, глядя на нее, что это не сон, а спокойное важное ожидание того мига, когда придут к ее изголовью милые ей люди и скажут последнее «прости».

Чуть заметно колебался пламень свечи от неслышных сквозняков. Пахло увядающими цветами. И старая женщина, стоически перебарывая дремоту, быстро проговаривала, обращаясь неведомо к кому, древние темные словеса спасительных молитв.

— А-а-а! — закричал человек, спавший на верхней полке. Свесил вниз голову, безумными глазами оглядел спящих и

вновь, как в последнем отчаянии, опрокинулся в сон.

Чашкин от крика этого проснулся с гулко заколотившимся сердцем. Не сразу и сообразил, отчего проснулся.

Вагон по-прежнему злобно и яростно бросало из стороны в сторону. Чудом казалось, что его еще не сорвало с рельсов.

Чашкин поднялся и пошел на поиски туалета.

При ночном освещении вагон еще определеннее напоминал зловещую трущобу.

Дверь в туалет была заперта. Чашкин подергался, осторожно постучал, стал терпеливо ждать.

Через некоторое время ему стало невозможно ждать, и он дернул дверь к проводнику — спросить...

Два человека в милицмейской форме, проводник и какой-то железнодорожный начальник в форменной фуражке, с красной повязкой на рукаве раскладывали по столу деньги и билеты.

Билеты лежали пренебрежительно отдельной грудой. Деньги — их, было видно, распределяли — разложены были в неравномерные кучки.

Нетрудно было догадаться Чашкину, что здесь происходит.

Он прынул от дверей и быстро пошел, почти побежал по коридору.

— Стой! — почти тотчас услышал он за спиной и остановился в покорном ужасе.

— Из какого купе? — спрашивал, подходя, молодой милиционер с радостным, жестоким и азартным выражением охотника, настигшего добычу.

— Тут где-то... — промямлил Чашкин. — Не помню точно... — Он боялся навредить своим попутчикам.

— Ну-ка, зайдём! — И милиционер повел Чашкина, цепко ухватив за рукав назад, в купе проводников.

Ни денег, ни билетов на столике уже не было. Все трое воззрились на Ивана, страстно изучая.

— Этот — на каком месте? — спросил милиционер у проводника.

Проводник изобразил на лунообразном лице недоумение:

— Не знай такой. Первый раз вижу. Может, трупкой вагон?

С Чашкинм что-то стряслось. Его вдруг ударило в дрожь от вида этой наглой, лоснящейся рожи. И, затрясшись, он с дикой ненавистью вдруг вскричал, пытаясь добраться до проводника:

— Ах ты! Первый раз, гад, видишь?! И двадцать рублей мо-

их — тоже не видел?! Суч-чара! Удавлю!

— Совсем пальной...— сокрушенно закачал головой проводник.— Пальница нада...

— А тебя — в тюрягу надо! Думаешь, не видел, чем ты тут занимаешься?

— Пальница нада...— продолжал качать головой проводник.— Совсем пальной.

— А сейчас как раз остановка будет,— бодро-весело сказал сидящий милиционер.

— Горохов Яр...— солидно подтвердил пожилой начальник поезда.

— Ах вы, гады!— воскликнул тут Чашкин на всех вместе.— Вы тут одна шайка-лейка! Бандюги! Пользуетесь тем, что...

— Ну, хватит, батя!— сурово сказал державший Чашкина милиционер, сгибом локтя придавливая ему горло. Чашкин захрипел, но дергаться продолжал.

Поезд стал тормозить, два милиционера сноровисто, с удовольствием даже, потащили Чашкина в тамбур.

Трехгранкой один из них отворил дверь, и они стали ждать, когда поезд остановится.

Поезд остановился, но они еще малость помедлили. Дождались, когда состав снова дернется, и только тогда — «А ну-ка, давай!»— толчком в спину и коленом под зад — со смехом вышвырнули Чашкина из вагона.

Он пал на колени, но тотчас вскочил, чтобы прокричать им:

— Гаденьши! Паскуды!

— Пальница иди!— крикнул один из них со смехом.

— Совсем пальной!— добавил второй.

Чашкин нагнулся, пошарил по земле и с хорошим круглым бульжником в руке побежал за поездом, стараясь поравняться с тамбуром.

С выражением на лицах самой неподдельной торопливой трусости они, суетясь и мешая друг другу, стали захлопывать дверь тамбура.

— А-а!— торжествующе захохотал Чашкин и кинул.

К сожалению промахнулся.

— А-а!— закричал он еще раз, но уже с интонацией несостоявшегося мщения.

А затем в третий раз прокричал: «А-а-а!»— теперь-то уже с

досадливыми нотами смертельно раненного человека.

Последний вагон увихлял вдаль.

С неимоверным трудом, чудом каким-то удержался Чашкин, чтобы не броситься на четвереньки и не начать грызть в бессильной злобе рельсы, по которым умчал поезд.

Непроглядно темны были небеса над головой, мрачно-черна земля.

Чашкин шел, на ощупь отыскивая ногами колею дороги, и слепо отверстыми глазами страстно глядел вперед, ничего почти не видя, кроме кратенькой грустно-желтенькой цепочки огоньков, слабо посверкивавших на краю горизонта.

Он шел без всякой надежды — просто нужно было куда-то идти — и временами словно бы пропадал, словно бы срывался в густую вязкую тьму сна — не сна, обморока — не обморока, во тьму, которая была еще непрогляднее, нежели ночь, которая окружала его.

— Катюха! — временами постанывал он в голос. — Катюха!

Ему почему-то именно перед дочкой было стыдно за то унижение, которому он подвергся.

Но и, надо сказать, какую-то ехидную усладу одновременно же чувствовал он в себе — от того, что вытворяет с ним жизнь. Он слышал, впрочем, и то, что обиды, и стыд, и оскорбления, переносимые им, еще вполне т е р п и м ы. Русский человек, он ощущал в себе достаточное еще вместилище и для нового страдания, и для нового холода, и для новых обид, хотя страдал он уже по-настоящему, и было ему холодно по-настоящему, и обидно по-настоящему. Странное и с п ы т а т е л ь с к о е любопытство легонько пошевелилось в нем: «Сколько же еще можно? Неужели еще можно?!» — и с бродяжьей этой отвагой в душе легче почему-то было идти во тьме по дороге, хотя он вовсе и не знал, куда ведет эта дорога и по этой ли дороге нужно ему идти.

Наконец дорога стала заметно тянуть вверх, и Чашкин с облегчением различил чуть засветлевшее вокруг полотнище неба и зубренную кромку леса, который окружал дорогу и от которого такая крошечная царила вокруг Чашкина темень. Сейчас лес как бы отступал — вниз и в края.

На полевом просторе заметно зябко потянуло ветром. Но терпеть еще было можно.

С восхищенной радостью Чашкин подумал о том, какой он

молодец, что догадался пододеть под брюки еще и шерстяные тренировочные штаны. Дрянь пальтецо, правда, ветерком уже пробивало, но если крепко зажаться локтями, поднять воротник, потеснее запахнуть шарф, — терпеть было можно.

Можно было еще терпеть! — и Чашкин, малость приободренный поредевшим мраком вокруг, шагал как хорошо заведенный, бережно и прилежно следя в себе эту едва теплящуюся искорку бодрости и веры.

Мысли возникали кратенькие. Даже и не мысли это были, так, беглые картинки прошедшего дня. И, странное дело, сейчас он уже не слышал в себе такой же горючей, ядовитой обиды, как совсем еще недавно.

«О н и н е в и н о в а т ы!» — косноязычно вырвал он наконец из себя, как бы вслепую, на ощупь пошарив в словесных потемках.

«О н и н е в и н о в а т ы!» — сказал он, и ему стало почему-то ужасно легко от этой мысли, хотя он и не сумел бы внятно ответить, о чем именно эта мысль.

Он помнил странное, кошмаром отдающее ощущение, которое не единожды за этот день посещало его. Ему постоянно сегодня чудилось, что за некоторое время до него, Чашкина, этой же дорогой (не той, по которой он шел сейчас), этими же местами прошел какой-то неведомый ему пакостник, лжец, хитрец, подлая какая-то гадина и т а к напакостил, так нагадил, такое отвращение к себе посеял, что люди (не сразу-то и спохватившись) все то, что готовы были по справедливости излить на того пакостника и гаденьша, принялись наугад изливать на кого попало — и друг на друга изливать, и на Чашкина, коли он тут оказался. Чем он лучше других?

Мутно, неумело размышлял Чашкин.

«О н и н е в и н о в а т ы!» — за эти слова он ухватился как за спасательный, спасительный круг, пытаясь хоть как-то выразить ту горячо им ощущаемую неслучайность того, почему все эти люди были именно такие, а не какие-то другие:

и тот улыбчивый, так вероломно обошедшийся с ним жулик, разве случаен он был в унизительной толчее, бестолочи, убогости аэровокзала? Где же ему еще было жить, как не здесь?

и тот неплохой наверняка мужик, начальник отдела перевозок, который явно хотел, но не мог посадить на самолет Чашкина, — он ведь тоже не случаен был, поскольку не случайны

были бумажки-инструкции, подписанные какими-то не случайными чиновниками и в соответствии с которыми, с бумажками, никак не можно было сажать Чашкина в самолет;

и даже та шайка-лейка, на которую он так глупо напоролся в поезде, разве она была случайна? Разве мог кто-то иной водиться в том грязном, ободранном, пакостном вагоне?

Неведомый какой-то негодяй уже прошел по всем тем местам, и заразный смрад, который он распространял вокруг себя, никуда не исчез. Напротив, он, как ржавчина, стал разъедать все вокруг — и то, что людей окружало, и самую душу людей — и люди, потраченные этой заразой-ржавчиной, в запоздалом рвении обнаружить виновника всех своих бед, всего окружающего разора, слепо бросались теперь в тоске и непомерной мстительности на любого-всякого, не умея понять, что это и есть один из главных симптомов поразившей их заразы.

Не знавший никакой другой жизни, кроме жизни поселка, которая была и уныла, и скупа, и невесела, Чашкин тем не менее не мог не видеть, какие унылые потемки, какая свирепая, сиротская тоска царит в эти дни над его страной.

Привыкший считать, что невеселие его жизни — это его личное невеселие, а вокруг все несравненно бодрее и наряднее, и страна его, которой он не забывал время от времени всеу гордиться, наверняка живет жизнью совсем не такой, какой живет его заброшенный Богом поселок, — привыкший думать так, Чашкин болезненно был поражен тем унынием и смирным убожеством, в каком обретались здесь люди. Словно бы скверный туманчик повсюду стоял в воздухе, а воздухом этим надо было дышать, но невыносимо тяжело было этим воздухом дышать.

Он вспомнил господ, которые шустро и весело шли на посадку в самолет как бы сквозь строй злобных и усталых взглядов тех, кого в Москву не пустили. И неожиданно вспомнил слова, которые часто повторял его дед: «Кому — война, а кому — мать родна!»

Эти, которые спешили на самолет, не испытывали ничего из того, о чем пытался размышлять сейчас Чашкин. Им наверняка вот так-то веселее всего и укладистее всего было жить. Только в таких-то потемках, только в убожестве этом они и могли жить, как им желалось: весело, сытно, привольно, жгучее наслаждение испытывая от того, что они живут не так, как все!

Чашкина поразила простота этой мысли. Его даже как бы спархнуло прочь от несомненной крамолы, которую содержала эта догадка: «Они и не хотят, чтобы было по-другому! Им не выгодно, чтобы было по-другому!»

Не сказать, что в предыдущей жизни он вовсе не задумывался о загадочной силе сильных мира сего. Но он всегда с равнодушием и ленью отворачивался от этих размышлений, ибо его жизнь, с жизнью вверху сидящих почти никогда и почти никак отчетливо не пересекалась.

Он был по характеру из тех (к счастью, а может, и к несчастью), еще не очень редких в русском народе людей, которые поражают своим крайним, пренебрежительным нелюбопытством к жизни верхов.

Нелюбопытство это корнями своими имело не столько психологию известной поговорки о свином рыле в калашном ряду, сколько опасливую брезгливость — именно брезгливость, — очень сходную со страхом заразы и сильно умноженную на превосходительно-ленивое неодобрение вообще такого образа жизни — неодобрение, которое наверняка было унаследовано от тьмы поколений предков, которые если что и умели по-настоящему, так это молчаливо и хмуро, на совесть работать н у ж н у ю д л я ж и з н и р а б о т у .

Однако и то необходимо заметить, что чересчур уж много было в нелюбопытстве этом равнодушия. Ровного, толстого, как слой ила, равнодушия — и к ним, и к себе, к сожалению.

И в эту ночь Чашкин, достаточно уже изъязвленный обидами, оскорблениями и унижениями, впервые — украдкой! — подумал о том, что, может быть, не вовсе правильно прожил он полета своих лет. Неинтересно ему было, кто и как им вертит. От нелюбопытства? Да! Но ведь и от лени же. Но ведь и от трусости.

...Он подумал о матери, к которой он вряд ли успеет с последним своим целованием. И тотчас — старательно остерегаясь греха кощунства — подумал что-то вроде этого: «А нет ли в том, что он не успеет, что мать уйдет в землю, не попрощавшись с ним, — нет ли в этом какой-то справедливости? Высокомерной, жестокой — но справедливости? Ведь и она т о ж е, безответная и смиренная, в какой-то мере виновата, что он, ее сын, возник на земле именно такой — безответный, смиренный, доступный всякому помыканию?»

Нехороша была мысль. Все существо Чашкина горячо затрепетало, несогласное с ней! Если и была в этом какая-то справедливость, то это была нелюдская справедливость — справедливость нелюдей! Не может быть справедливости в том, пылко и косноязычно подумал Чашкин, что старуха, жизнь честно прожившая, всю жизнь спины от работы не разгибавшая, за всю жизнь не укравшая, не убившая, счастья толком не знавшая, достатка не имевшая, в Бога верившая, согрешений бежавшая, — не может быть справедливости в том, что ее лишают последней погребальной малости и милости.

Только потому и лишают, что вельможно разлегся в это же время в городе по соседству точно такой же, в сущности, человек, который, впрочем, тем-то от нее и был отличен, что жизнь прожил иначе: черной работы всю жизнь бежал, на каждом шагу лгал, чужие почести, чужие деньги, чужой труд крал, верил не в Бога, а во всеислие человеческой слабости и подлости;

человек, который на пути к власти был много раз унижаем и по одному по этому, дорвавшись до власти, сам упоенно унижал людей, унижал страну — хотя бы одним только фактом своего непоколебимого присутствия наверху;

человек, который был посмешищем всей страны и мира, однако лгавший сам и заставлявший лгать о себе других;

человек, как родных, пригревавший нечистых на руку;

человек, чью кончину в многомиллионной стране, быть может, только десяток тысяч встретили с искренним горем, а большинство — с облегчением избавления...

«Разве есть в этом справедливость? — думал Чашкин. — Или я, просидев полвека в углу, ничего уже не могу понимать? Где добро? Где недобро? Где правда? Где ложь?»

«Какая такая злобная болезнь поразила за время моего отсутствия эту всегда добродушную, милосердную страну?! — удивлялся Чашкин, а потом вдруг, с интонацией «И поделом тебе!» задал вдруг злой и неожиданный вопрос: «А почему же тебя, парень, нигде не было, когда это происходило?!»

Дорога заметно круто стала уходить влево, и тускло-золотые огонечки, к которым он с такой надеждой вот уже который час шел, тоже стали послушно уплывать, но в другую сторону, вправо.

Идти потеряв пусть далекую, пусть недостижимую, но цель, сразу же стало тоскливо и тошно.

Все же, с мукой поколебавшись, он выбрал дорогу. По накатанности колеи нетрудно было определить, что машины здесь не редкость. Дорога почти наверняка должна была привести к большому жилью.

Однако он шел еще и час, и два, прежде чем с высокого холма открылись ему в светло помутившемся мраке темные спящие дома, выстроенные в несколько порядков, и с десятков фонарей, горящих чахлым накалом вдоль главной улицы.

И тут он — разом — понял вдруг, насколько устал. Усталость аж заголосила в нем. Чувствуя, как помрачается в глазах, Чашкин еле-еле успел доковылять до обломка какой-то бетонной опоры, валявшейся на обочине, и как под колени подкошенный рухнул!

Ни в одном из окон не горел свет. Чашкин отстранено удивился: пора было бы и скотине готовить, и на дойку собираться, пора было бы и в гараж идти тем, кто при машинах... Странно жили тут люди: спали.

...Когда он открыл глаза, огни в домах кое-где уже светились. Горело электричество и в казенном, обильно застекленном павильоне — то ли в магазине, то ли на автостанции.

Со стонами и слезами, мигом вскипевшими на глазах, Чашкин поднялся и на одеревенелых ногах, с мукой покрываясь, побрел вниз по дороге, которая уже заметно обозначилась в мрачно-серой мути только-только начинавшегося рассвета.

Он понятия не имел, что ему следует делать, даже отдаленно не предполагал. Просто — внизу были огни, внизу были люди, и единственный шанс не сгинуть был ему в том, чтобы оказаться среди людей.

На маленькой асфальтированной площади возле тускло освещенного павильона царило оживление: стояли два автобуса с уже работающими моторами, несколько грузовиков, а в аквариумной внутренности автостанции сонно слонялись люди — с десятков черных фигур.

Чашкин вошел в павильон, и тут с ним случилось странное: он увидел, как к нему вошел. Глазами вот этих зазябших, невыспавшихся людей.

Вошел больной старичок, еле волочущий ноги, жалко и боязливо поглядывающий вокруг.

Нечаянно взгляд его упал вниз, и он тихо ужаснулся: брюки на коленях были сплошь заляпаны грязью, на ботинках налипло. Застыдившись, он быстро ушел на крыльцо, стал пытаться хоть как-нибудь почиститься.

На крыльечко неподалеку то и дело с озабоченной торопливостью всходили люди. Те, кто выходил, были уже неспешны, как бы отяжелены. Сразу же принимались закуривать.

Чашкин пригляделся и различил надпись «Буфет». Едва прочитал — тотчас охнуло все внутри от забытого до поры голода!

Как во сне, вяло сам себе сопротивляясь, пошел туда.

В небольшом зальце было отрадно тепло. Мучительно пахло какой-то подливой.

У Чашкина перехватило горло от захлестнувшей слюны.

Он встал, не решаясь почему-то далеко отходить от дверей, и стал медленно шарить по всем карманам в поисках какой-нибудь мелочи — хотя и знал прекрасно, что, кроме восьми копеек, ничегошеньки у него нет.

Уборщицы в буфете не было, — может быть, она просто не попевала, — грязные тарелки с недоедками, с кусками надкусанного хлеба громоздились по всем столам. Вновь пришедшие просто сдвигали посуду к середке, привычно приспособивались с краю.

От стыда и ужаса того, что он сейчас сделает, у Чашкина болезненно и тонко зажужжало во лбу, наглухо заложило уши.

Словно бы сквозь сон двигаясь, он сделал шаг к ближайшему столу и быстро-быстро стал хватать вдруг куски и обломки хлеба с тарелок, тут же запихивая их в карманы пальто, с трудом терпя стыд и ужас того, что он совершает. А когда терпеть не стало уж сил — готовый зарыдать, выскочил назад, на крыльцо!

Тяжело, как после погони, дыша, ослабев и дрожа ногами от позора им совершенного, он склонился на перила крыльца и, отвернувшись от всего мира, жадно стал напихивать рот хлебом, который он быстрым тайком отламывал в кармане и от которого сладостная тотчас возникла боль в челюстях, и чревоугодные торопливые судороги зашевелили, одна опережая другую, в нежно возопивших от счастья тканях глоталища, и благодарное томное успокоение стало воцаряться в желудке.

Кто-то большой и тяжелый (Чашкин услышал, как жалобно запрогибались доски) вышел на крыльцо.

Остановился рядом, за спиной Чашкина, стал прикуривать.

Чашкин, перевесившись через перила, отвернувшись к стене, спешно набивал рот хлебом.

— Чего, отец? Бичуешь? — спросил вдруг стоящий сзади,

обращаясь к Чашкину свойским, но и очень осторожным, из боязни обидеть, тоном.

Чашкин не мог отвечать. Быстро прожевывая, он оглянулся на говорящего через плечо, и движение это выглядело движением затравленного зверька.

Задавший вопрос был и в самом деле грузен, высок, пошоферски толсто одет. Лет тридцать ему было. Простое круглое лицо с напряженно написанным на нем выражением сочувствия.

Чашкин не ответил. Тогда грузный повторил те же слова, но по-иному:

— Чего бичуешь-то, отец?

Проглотив наконец, Чашкин воскликнул — воскликнул нечто, поразившее и его самого: «И-я-я!» Все лицо у него, оказывается, было как бы ооченевшим от непрорвавшейся слезной боли.

— Я-я!— еще раз попробовал он и наконец почувствовал, что вот сейчас разрыдается.

Выхватил телеграмму:

— Вот! Летел. Рейс отменили. Обокрали! С поезда ссадили! Видишь? — И по-детски скривился лицом в ожидании плача.

Тот взял телеграмму. Повернув к свету, падающему из буфетного окна, стал с недоверием читать. Читал долго.

— Чего-то ты, отец, загибаешь...— слегка даже обиженно сказал он. — Если, говоришь, летел, значит, должен был долететь. Как же так?

— Э-э!— с гортанными нотами воскликнул Чашкин. — Не могу я... говорить. «Должен»! Они Москву закрыли! «За-ги-ба-ю...!» Э-э!— Он опять отвернулся к перилам, и слезы наконец посыпались у него по щекам.

Ему было стыдно, что он плачет, что он плачет вот так, на виду, и аж сотрясается весь от неумения своего плакать, но не плакать уже не мог — слишком уж много всего, черного, накопилось!

— Новая деревня Московской...— прочитал мужик. — Так тебе, отец, знаешь еще сколько добираться?

Чашкин, переставая плакать, почти уже успокоенный и облегченный, повернулся:

— Не знаю я ничего. Она же померла уже. Когда уезжал, сестра позвонила: померла уже. Мне на похороны бы успеть!

— Ну, это ты навряд ли успеешь,— безжалостно и просто

сказал грузный.— Хотя...— Тут он стал разглядывать дату отправления.— Одиннадцатое, что ли? А нынче вроде бы только двенадцатое. Если бы тебе до Турищева добраться, оттуда трасса на Москву — машин много...

Вернул телеграмму. Стал молча курить, не столько размышляя о чем-то, сколько — было заметно — что-то с трудом в себе преодолевая.

Чашкин, утомленный плачем, с покорством, но без всякой надежды смотрел на него.

— Видишь почту? — сказал наконец мужик.— Минут через двадцать подойдешь. Мне вообще-то в Химмаш схать, но я тебя до Турищева подброшу, может. Ну, только смотри, отец! Если обманул... — Тут же, впрочем, эту неуместную угрожающую ноту оборвал.

С облегчением сунулся в карман, протянул трешку.

— Ты тут тем временем поешь чего-нибудь. Не дело — со стола недоедки таскать!— И пошел вниз по ступенькам, не оглядываясь.

Чашкин смотрел вслед ему ошеломленно.

«Почта»? — вспомнил он вдруг. Повернулся было к дверям буфета, но тут же сделал еще один оборот и, боясь передумать, пошел к домику, на который показал шофер.

— «БЕЗ МЕНЯ НЕ ХОРОНИТЕ ИВАН»,— прочитала девчонка вслух и быстро побежала карандашом по бланку, подсчитывая слова.— Срочная? — Она смимолетным любопытством глянула в лицо Чашкину.

— Не знаю,— растерялся Иван.— А хватит? — И показал трехрублевую свою бумажку.

Хватило. Осталась еще и мелочь.

С чувством, что он совершил непоправимую глупость, истратив все деньги, он снова пришел к буфету.

— Хлеба дай,— сказал он продавщице, красномордой бабе с мелкими, чахлыми кудряшками на голове.

Она будто бы даже с наслаждением сразу заорала:

— Что-о?!— с догожданным удовольствием заорала во весь свой пропитой голос:— На все?! А что я буду людям к горячему давать?

— Ну дай хоть сколько-нибудь...— попросил Чашкин, внезапно оробевши.

Баба смахнула его копейки в сторону. Пренебрежительно и

грубо тюкнула три-четыре раза тесаком по буханке, толкнула Чашкину куски по мраморной грязной поверхности прилавка: «На!»

Запихивая куски в карман, Чашкин отошел, не осмелившись спросить сдачи.

Теперь у него опять не было ни копейки. Зато был хлеб.

Странное дело, но, совершив несомненное благодеяние, водитель в дальнейшем стал словно бы испытывать сожаление от случившегося с ним. Сделался хмур, неразговорчив, будто бы даже и враждебен.

На вопрос об имени отозвался свысока:

— А тебе-то зачем? — Потом все же добавил: — Юркой зови. Не ошибешься.

Чашкин примолк. Юрка тоже минут двадцать вел машину молча. Яростно, с азартной ненавистью выкручивал баранку, не давая машине сползти в разрезженную колею.

Затем дорога полегчала, и столь же быстро настроение у Юрки изменилось. Он покосился на забившегося в уголок, то и дело задремывающего Чашкина и сказал:

— Если, ты говоришь, Москву закрыли, то могут и шоссе перекрыть. Что делать-то будешь?

— Не знаю.

— Э-эх, батя! — с интонацией ругани выговорил шофер. — Угораздило же тебя!

— Да уж не говори, — слегка заискивающе согласился Чашкин. — Угораздило.

— Кто по специальности-то?

— Макальщик, — привычно ответил Чашкин, но тотчас, почуяв что-то вроде стеснения за столь непонятную мастерскому человеку специальность, поправился: — Гальванщик то есть.

— А-а... — явно не слыжав о такой профессии, отозвался Юрка.

...А Чашкин вдруг подивился своему стеснению. Никогда еще не стыдился он своей профессии: работал и работал, не очень-то и плохо зарабатывал. А вот сейчас (от соседства, должно быть, с человеком, который дело имеет с механизмами, с умным железом машин) недомерком себя ощутил.

На хорошем-то заводе давным бы давно уже поставили автомат вместо Чашкина. Работа-то нехитра: вынуть чушку из одной «химии», перенести в другую «химию». Не дурак, он, конечно, догадывался об этом.

Иногда даже — очень, впрочем, косвенно — задумывался: — «А что будет, если приспособят на мое место какого-нибудь робота? Ни профессии у Ивана Чашкина, ни образования. Куда идти?» Тут же, впрочем, успокаивался: до пенсии пять лет, а за это время они никак не соберутся. Да и невыгодно им! Менять безотказного, двужильного, дешевого Чашкина на капризный какой-нибудь дорогостоящий механизм, которому, поди, еще и наладчик будет нужен, и техобслуживание, и запчасти из-за границы. И все же...

И все же — едкий, неприятный сквознячок обвеивал душу при этих размышлениях. Как ни увертывайся, а получалось именно так: вполне могли бы и без Чашкина обойтись на этой земле.

— Обокрали-то как? Со мной тоже случай был...

Чашкин откликнулся оживленно, не давая себя опередить:

— У-у! Знатно он меня обокрал! — чуть не с восхищением ли откликнулся.

...После рассказа, почти уже беспечального, Юрка тоже с восхищением покрутил головой:

— Д-да! Ничего не скажешь! Умелец!

— Уж такой уж умелец, что как жив-то остался, прямо даже не знаю! — заулыбался и Чашкин, довольный, что рассказом своим угодил благодетелю.

— В другой раз умнее будешь! — неожиданно грубо оборвал шофер. Опять начиналась хлябь разбитой тракторами дороги.

Чашкин послушно примолк. Перепады Юркиного настроения повергали его в робость. Не то чтобы он боялся, что тот не довезет его до места, ссадит (хотя, конечно, и этого боялся). Чашкин боялся — не смейтесь — нечаянно нарушить в Юрке то состояние благородного сострадания, в которое он его нечаянно верг и которое ужасно того красило.

Сам того не сознавая, Чашкин боялся разочароваться в Юрке.

Ему и одного аэрофлотовского белозубого жулика хватит, чувствовал Чашкин, до конца жизни.

— Вот паразитство! — со злобой проговорил вдруг Юрка. — Из-за одного человека! Да кем бы он ни был! — Юрка отчаянно крутил баранку влево-вправо, и ненависть к дороге, которую он одолевал, адресовалась напрямиком, кажется, к тому, о ком он заговорил: — Сколько людей! Из-за одного человека! Ну, а

другие — как? — спросил, успев взглянуть на Чашкина. — Ты поездом поехал, а другие — как?

— В аэропорту остались. Кто домой вертаться стал, кто как...

— Во паразитство! — еще раз повторил Юрка. — В Америке-то если бы ихний помер, да они бы по судам свой аэрофлот затаскали!

— Сказал тоже! «В Америке»...

— Да в любой нормальной стране! — продолжал воевать с дорогой Юрка. — Развели бар-рдак!

— Им выгодно... — несмело сказал Чашкин, вспомнив недавние свои ночные размышления.

— Точно! — обрадованно согласился шофер. — Выгодно! Вот эту дорогу они к а ж д ы й год ремонтируют! Декабрь настанет, сам увидишь, будут тут как тут! А то, что по весне она опять поплывет, к едрене матери, им на это начхать! Зарплата идет? Идет! Галочка, где надо, стоит! Им это, конечно, выгоднее, чем один раз сделать как следует, а потом — только мелочевый ремонт. И так — везде! Зла не хватает! Паскуда на паскуде и паскуду за собой тянет! Уу-у-ух, доиграются они в конце концов!

Они въехали в деревню. Дорога и здесь была вдребезги разбита. Озерами стояла гудронно-черная грязь.

Собачонка выскочила из-под забора, вздумала вдруг с лаем броситься под колеса, но в последний момент на краю дорожной топи остановилась, побрехала вяло и, посрамленная, повернула назад.

Возле одного из домов стояли трактор с железной волокушей, два самосвала, заплыванный грязью «газик».

— Ну-ка, стоп! — радостно воскликнул вдруг Юрка. — Посиди-ка маленько! У меня тут крестная живет...

Подрулил к забору и поспешно выпрыгнул из кабины. Угодил в грязь, весело заматюкался, по-журавлиному подымая ноги, пробрался на сухое, исчез за калиткой.

За оградой слонялись какие-то молодые парни — все как один в резиновых сапогах, в одинаковых стеганых куртецах — все как один пьяные.

Там шла гульба, и Чашкин догадался, что его путешествие — конец.

Отломил в кармане кусок хлеба, стал жевать-пожевывать, пытаясь хоть этим утишить внезапную свою печаль.

Один из парней вывалился вдруг из калитки, чуть не упал

в грязь, однако устоять сумел. Побрел рыдающей походкой вдоль улицы, дико ныряя головой чуть не до земли, шарахаясь из стороны в сторону, но каждый раз мастерски удерживаясь на краю дорожного болота.

Что-то спешно прожевывая, страшно оживленный и веселый, выскочил Юрка. Сказал, усаживаясь:

— Фу ты, едреноть! Еле вырвался! Свадьба у них. Второй день гуляют! Вчера должны были расписаться — чтоб все чин чинарем — а им в загсе говорят: «Всенародный траур, а вы веселье хотите устроить?!...» Они подумали, подумали... Не пропадать же закуске? Да и гостей двадцать человек наприглашали. Ну и решили: пока т а к, без печати пока...

Он немного помолчал, весело одолевая дорогу, потом засмеялся:

— Мать невесты плачет! «Обманут они тебя, дочка!» А Петруха — парень шепутной, он — может! Хе-хе!

И после еще одной паузы — осторожно, с ноткой извинения — сказал то, чего ждал и чего боялся Чашкин:

— Я тебя, отец, вот что... До асфальта довезу, а дальше — извини, не смогу: выпимший. Ты не бойсь, там до Турищева совсем ничего — километров девяносто — машин много бегают, ать-два, голоснешь, любой подвезет! Не обижаешься? — Он внимательно покосился на огорченное лицо Чашкина.

Тот поторопился ответить:

— Что ты! И за это спасибо не знаю какое! Выручил.

— Главное, паразитство, что они мне стакан все-таки влили! А то бы я тебя до Турищева мигом бы домчал! Но там, вишь ли, ГАИ больно уж свирепый стоит.

— А тебе, ты говорил, куда-то еще надо было?

— В Химмаш? Подождут маленько! К ним тоже мимо поста надо ехать. Я уж лучше назад! Не то крестная обидится...

До асфальта оказалось совсем недалеко.

Юрка, угрюмо промолчавший всю эту дорогу, сказал на прощание с нотками досадливого извинения:

— Ты это... не сердчай! Старайся грузовые ловить — там народ получше. — Подумал, что бы еще добавить, сказал: — Ну, будь! — С лязгом захлопнул дверцу, яростно взревев мотором, в три коротких приема развернулся — и поспешил назад.

Чашкин опять остался один.

В тепле кабины грязь на коленках подсохла. Постирушечь-

ими движениями он потер ткань, отряхнул и несколько ободрился: теперь он несколько меньше походил на бича.

Мимо него с ревом пронеслись грузовики. С гудением, почти неслышным, но музыкальным — легковушки.

Он прикинул и решил, что здесь попутку ему вряд ли поймать. Дорога тут шла под уклон и лишь километрах в двух начинала карабкаться в горку. Гораздо ближе, конечно, было пройти немного назад — туда, где плечо седловины только начиналось, — но он упрямо пошел в сторону Турищева. Ни единого шага пути не хотел он терять даром.

...Он не поверил своим глазам, когда первый же грузовик тормознул возле него.

— Тебе куда, дядечка? — Совсем молоденький ясноглазый парнишка, перегнувшись через сиденье к открытой двери, с весельем глядел на Чашкина.

— В этот... Турищев.

— Не-е... — Парнишка даже огорчился. — До поворота на Липовку — могу! Хочешь?

Чашкин полез в кабину.

Уже тронулись, когда он с тревогой воскликнул вдруг:

— Только у меня денег нет! Я забыл сказать...

— Нет так нет, — легко отозвался шофер. — Вдвоем-то веселее?

— Да уж... А до этой, до Липовки, далече?

Ему уже не хотелось вылезать из кабины — очень уж хорош, безмятежен, ясен был этот паренек! («Вот бы Катюхе такого Бог послал!» — смутно подумал он.)

— Тридцать кэмэ. Ты нездешний, что ли?

— Нездешний. Совсем нездешний.

— В гости! — догадался паренек.

— Какие уж тут гости! — с досадой отвечал Чашкин. Не хотелось ему огорчать светленького парнишку своими невзгодами. — Летел, вишь ты, в Москву, а оказался у вас тут...

Все же, видя полнейшее непонимание паренька, неохотно и скупно рассказал.

Тот не только не омрачился, но, напротив, пришел прямо-таки в восхищение.

— Вот это да! Ну, Расея-матушка! Такое только у нас может!

— При чем тут Расея? — рассердился Чашкин. — Она сейчас по аэропортам да вокзалам шарахается, наша Расея!

— Бюрократизм! — легко и весело воскликнул тогда паре-

нек. — У нас в части лектор один выступал: бюрократов этих на всю страну миллионов или пятнадцать, или двадцать, точно не помню. Короче: трое работают, четвертый бумажки пишет. Им зарплату оправдывать надо? Надо! Вот и пишут, кто больше... Сейчас все умными стали, что ты! Я в армию уходил, шофер у нас был — Бульга. Сейчас прихожу, а он — уже в кабинете сидит! Освобожденный партком! Два телефона, галстук. Вот те и Бульга!

— Из армии-то давно?

— Полгода.

— Женился?

— Не-е! — Паренек засмеялся. — Я погожу! У нас девчонок-то в Липовке много. Недавно вот и десятиклашек на ферму пригнали — по комсомольской путевке. Но, главное дело, приводить мне ее некуда, если что... У нас еще две сестры и братишка маленький, и все в одном доме. Вот построюсь — с лесопилкой я тут вроде договорился — вот тогда уже...

— Слушай! — воспламенился вдруг Чашкин, мигом забыв все свои невзгоды. — Давай, я тебе т а-а к у ю девку сосватаю?! А? Любкой звать. Скромница! Умница! Красавица! Что ты, каких-то, прости Господи, по комсомольским путевкам будешь брать? Здесь — гарантия! Хозяйственная! Работящая! Школу только что на пятерки-четверки кончила! Давай я тебе ее адресок дам, а? У нас, если честно, парни в поселке не держатся. После армии только один вернулся. А ведь жаль — та-акая краля пропадает!

— А чо, батя! — весело откликнулся паренек после краткого размышления. — Возьми там в бардачке карандашик, пиши! Я в армии тоже с одной переписывался — Красавино Ивановской области. Она потом, правда, чего-то замолчала.

— Она тебе фотку пришлет, так ты сам, как на крыльях, к ней полетишь!

— Заметано, батя! — пряча бумажку с адресом во внутренний карман, бодро сказал шофер. — На свадьбу, в случае чего позову! Не сомневайся!

— А ты бы это... — несмело сказал Чашкин. — Свой бы тоже адресочек сказал. Она, я попрошу, и сама, может, напишет?

— А что ж! Пиши! Пусть только фотку первым делом шлет. Значит, так... — И он, сбавив зачем-то скорость, внимательно заглядывая время от времени в то, что пишет Чашкин, продиктовал адрес.

— Ну вот как славно! — с облегчением и прямо-таки счастьем в голосе воскликнул Чашкин, упрятывая бумажку поглубже в карман с отчетливым ощущением, что упрятывает он драгоценность.

Ему сделалось легко и свежо — впервые за последние сутки.

— Ну вот! — объявил паренек. — Поворот на Липовку. Мне за комбикормом схать, а то бы довез тебя куда надо.

— Спасибо и так, милый человек! — со стариковскими, слегка и его самого удивившими нотками в голосе отозвался Чашкин.

— А крале скажи, чтобы первым делом фотку слала! — крикнул напоследок паренек. — Ну, а меня, ты уж постарайся, опиши как надо! Заметано? — И, засмеявшись, хлопнул дверцей, укатил.

Просветленно потихонечку улыбаясь, Чашкин пошел вдоль дороги и даже забыл на какое-то время махать попутным машинам.

У него было веселое, легкое чувство добро совершившего человека.

Он уже живо представлял их рядышком — Любку и этого ясного паренька — и у него сердце радовалось: так уж они славно гляделись рядышком!

«А что ж... — невнятно размышлял он, — и будут жить! И хорошо будут жить! И детишек навалеют штук пять — таких же ясноглазых, веселых. И вырастят их — работящими, незлобливными, светлыми — какие и они оба. А потом у детишек детишки пойдут... И так оно и будет катиться колесо — как солнце по небу — от восхода к закату, и будет земля населяться все больше и больше ясноглазыми, веселыми, незлобливными, работящими...»

Как и всякий человек, живущий в глуши, он исправно и рьяно глядел телевизор, слушал радио, вполне веря каждому изреченному диктором слову. Но ему всегда чудилась какая-то затаенная подловатая неправда в том, как безудержно восхваляют почему-то беспокойно мятущихся по земле людей, преимущественно молодых, всевозможно надсмеаясь при этом над людьми, живущими жизнью обыкновенной. Он никак не мог взять в толк, почему человек, ежедневно всю свою жизнь идущий на одну и ту же фабрику, честно работающий, честно растящий из своих детей новое поколение, — почему этот человек в чем-то хуже неприкаянного перекаати-поля, который шарахается по всей стране, нигде подолгу не задерживаясь, ни к чему и ни к кому

не прикипая... А то, что от таких вот побродяжек одна только бестолочь, пьянство, безотцовщина и распутство, — это как бы и не касалось тех, кто сидел в телевизионных департаментах. Они, знай, восхваляли этих обеспокоенных, ищущих, где бы полегче да покрасивше!

Сорвать человека с места, размышлял Чашкин, много ли ума надо. Посули ему новые земли, новые деньги — вот уже и нет его в родном доме! Потому-то и идет разор по земле, потому-то и стервенеет народ, что от дома оторван, от корня, и все ищет, ищет без всякой надежды то, что ему посулили, что ему вообразилось по глупости юных лет, чего на самом деле не существует!

«А и м э т о в ы г о д н о! — опять поразившись простоте разгадки, подумал Чашкин. — С побродяжками, у которых ничего за душой нет, управляться-то легче! Им вот такие, как Любка с этим пареньком (ах, как славно было бы, если б сладилось у них!), им такие вот — как серпом по заднице! Потому и насмешничают над ними, потому-то и злятся на них, живущих обыкновенно, что б о я т с я и х!»

«Ух, леший тебя раздери! — восхитился сам себе Чашкин. — Так ведь оно и есть! Боятся! Взбаламученному задумываться некогда. А вот спокойный человек, веский, рано или поздно укажет пальцем, кто именно и за ради чего взбаламучивает жизнь!»

И он, опять с нежностью подумав о Любке и будущем ее женихе, успокоился душой, крепко вдруг уверовав, что ничегошеньки в конечном счете у н и х, у тех, кто наверху, н е п о л у ч и т с я, потому что велика земля и полно на ней честных, работающих, понимающих настоящее человечье предназначение на земле, и не может такого быть, чтобы их дурили бесконечно.

Между тем, хотя было и утро, над землей смеркалось.

Непроницаемо-серое небо опустилось к земле. И вскоре мелко, торопливо посыпал снежок. Тотчас задул и ветер — серые шустрые змейки заструились по асфальту.

Чашкин сразу же озяб. Воротник пальтеца поднял, зажался локтями. Все чаще оглядывался в надежде на машину. Машин, однако, — словно бы из-за непогоды, — сразу же сделалось мало. Пролетели, завывая, два или три огромных фургона «Совтрансавто». Несколько легковушек, водители которых Чашкина

пренебрежительно не замечали, проскочили с торжествующим, самодовольным жужжанием.

Лишь через полчаса появился грузовик. Чашкин замахал отчаянно, как терпящий кораблекрушение.

Водитель в богатой кожаной куртке, усатенький, с золотым перстнем на пальце, высунулся, спросил с неудовольствием:

— Куда?

— В Турищев, — снизу вверх глядя, сказал Чашкин.

— Давай!

— Только у меня денег нет! — вспомнил сказать Чашкин, уже вставшись за дверь.

Водитель тотчас зло и небрежно дернул у него дверцу из рук.

Почти прикрыв, сказал в щель:

— Денег нет — на автобусе езжай! Ишь, халявщик нашелся!

— Ах ты, гнида! — сказал ему вслед Чашкин. — Чтоб у тебя... чтоб тебе... — И не нашел чего пожелать красавчику. — Из-за копейки ведь мать родную продашь! — сказал с укоризной.

Однако тут же, не успев крохобор в кожанке скрыться из виду, возле Чашкина тормознул «жигуленок».

— В город? — спросил хмуро глядящий, плохо выбритый мужик. — Садись!

Чашкин теперь-то глядел не снизу вверх на владельца машины, а свысока.

— Денег нет! — ответил он со злым хамством в голосе.

— Садись, кому говорю! — осерчал небритый. А когда Чашкин стал поспешно залезать в кабину, добавил: — У меня тоже нет. Так что не один ты такой.

Чашкин, стараясь понезаметнее, озирался. Он впервые ехал в такой машине.

— Ремень накинь! — сказал небритый.

Чашкин не понял.

Тот перегнулся через него, добыл откуда-то ремень, перелестнул наискось, щелкнул.

— А это зачем? — спросил Чашкин. Тот глянул на него с нескрываемым интересом. — Я первый раз в такой машине... — объяснил Чашкин.

— Чтобы во-он туда не полетел, ежели столкнемся.

— А-а... — сказал Чашкин.

Они проехали несколько минут молча, а потом небритый вдруг заговорил:

— Скажи-ка мне, простой человек, который никогда даже в «Жигулях» не ездил, скажи-ка мне, как вот это называется. Слушай! Приходит из района письмо. Без подписи, правда. Так и так. В одном хитром доме отдыха для людей не от мира сего — за полгода — слушай! — реализовано: 394 килограмма икры! Шесть тысяч банок крабов, шпрот, печени, трески! 565 килограммов осетровых балычков, 888 килограммов свиных балычков, полтонны буженины! 165 килограммов кофе и 68 килограммов индийского чая! Проверяю. Все точно! В районный продторг именно столько и поступало. Проверяю отчетность в хитреньком том доме отдыха. Тоже все точно! Именно столько и поступало. Заметь, что за полгода там отдыхающих было от силы семьдесят человек! Вопрос: «Куда все это девалось?» Пишу материал, несую главному. Главный кричит: «Ура! Мы всем вставим фитиль!» Кое-кто полетит у нас вверх тормашками, кричит. А дальше — приходит письмо из района. Подписи: секретарь райкома, предрика, начальник милиции. Приложение: протокол о злостном нарушении общественного порядка — мною, разумеется, — которое выразилось, во-первых, в попытке изнасилования старшей медсестры дома отдыха, во-вторых, в хождении в пьяном виде и нагишом по главной улице райцентра, в-третьих, в выкрикивании антисоветских лозунгов! Приложение к протоколу: заявление жильцов гостиницы, возмущенных поведением представителя области — то есть меня, разумеется, — двадцать шесть подписей! О фактах, которые я проверял и которые подтвердились, ни слова, заметь! Так вот, скажи-ка мне, старик, к а к это называется?

Чашкин слушал разинув рот.

— Как прикажешь называть все это, простой человек? — еще раз с настойчивостью повторил небритый.

И тут Чашкин, вспомнив разговоры в купе поезда, брякнул: — Измена!

Тот поглядел на него пораженно.

— Как-кое ты слово вспомнил, старик! — сказал он восхищенно. — Ах, какое слово! ИЗМЕНА! Именно так. Только так. Как ни взгляни, а именно так!

И он опять угрюмо замолк, глядя на дорогу.

— Ну, а с вами как?

— А со мной просто! Крабами, икрой и тем, куда они девались, мне теперь заниматься некогда. Занимаюсь тем, что доказываю: я не верблюд!

— Какой верблюд? — не понял Чашкин.

— Анекдот. Бежит заяц. «Ты куда бежишь, заяц?» — «Да, вот, объявили, что всех верблюдов будут кастрировать!» — «Так ты же заяц! Чего бояться?» — «Э-э... — говорит заяц, — Доказывай п о т о м, что ты не верблюд...».

Чашкин маленько подумал, а потом вдруг стал смеяться, весь аж дробненько сотрясаясь, аж до слез из глаз!

Глядя на него, заулыбался и небритый.

— Ух ты, леший ты раздери! «Доказывай потом...», — заливался Чашкин, — «что ты... что ты не верблюд!» Ну-у, уморил! — А потом, отсмеявшись, вдруг спросил очень серьезно: — Докажете?

Тот, помолчав, ответил:

— Жизни не пожалею.

— Ну, подавай вам Бог! — пожелал Чашкин, опять с недоумением обнаруживая в своем голосе стариковские нотки.

В Турицев приехали, когда уже смеркалось. По дороге случилась поломка, и часа два хозяин копошился на холоде в моторе, а Чашкин спал, сладко привалившись головой к мягко обшитой стенке машины.

Ему мало что снилось, кроме того, что он опаздывает и что ему хочется есть. Не просыпаясь, он отламывал в кармане кусочки хлеба и совал в рот.

В городе небритый показал Чашкину, куда надо идти, чтобы попасть на Московский тракт, а сам умчался в противоположную сторону, окончательно опаздывая по нешуточным своим делам.

Чашкин пошел.

После тепла машины в сквозняковом этом городе его знобило. С каждой минутой знобить стало злее, и он понял, что если вот сейчас, в ближайшие полчаса, не согреется как следует, то наверняка заболеет. С ним такое уже бывало. С плотой тоской, чуть ли не до всхлипа, вспомнились ему какие-то вечера, когда, продрогший, хлюпающий носом, он заваливался дома на диван под два ватных одеяла (а сверху еще и овчинный тулуп!) и, напившись чаю с медом, с малиной, сладко перемогал недуг, который вот-вот должен был одолеть его, но никогда не одолевал! За все время работы он лишь один раз бюллетенил, да и то из-за ожога кислотой.

Но здесь, в сумеречном этом, насквозь продуваемом городе, согреться было негде.

Он зашел в несколько магазинов. Но толкаться там без дела

было неловко (он боялся к тому же, что его примут за карманника), и Чашкин вскоре опять уходил, не успев как следует проникнуться теплом.

И ужасно много было в этом городе милиционеров! При виде их ноги сами уносили Чашкина прочь — в какие-то новостройки, в пустыри какие-то утрюмые, в трущобные подворотни.

По его расчетам, не так уж и поздно было, но от низкого, опять пригрозившего снегом неба в городе было темно, скверно, тошно и страшно.

Все-таки и здесь ему повезло!

Вдоль одной из улочек тянулась огромная, безобразно обляпанная асбестом труба — от теплоцентрали, должно быть. В одном месте она делала, неизвестно почему, П-образное движение, и вот тут-то Чашкин приметил что-то вроде шалашика из коробчатого картона, фанеры и горбылинок, сооруженного наверняка детишками.

Иван заглянул внутрь и обнаружил, что асбест здесь с трубы отодран, чернеет железо и от железа этого банный струится жар.

Он даже закричал от счастья, когда забрался внутрь этой хижины, уселся на покосившийся ящичек и почувствовал, как медленно и мощно начинает течь сквозь него жар от трубы.

Это было именно то, что требовалось. Именно сейчас, ни минутой позже. Он задремал.

...Разбудило его гнусное ругательство, раздавшееся за стеной и изреченное совершенно ангельским, детским голосочком.

Лист фанеры, который служил здесь дверью, отставили в сторону, и внутрь шалаша стал залезать мальчишка. Заметив Чашкина, приостановился.

— Это наше место! — сказал он без испуга, хмуро.

— Конечно, ваше, — согласился Чашкин. — Я сейчас погреюсь и уйду, не бойся.

— Еще чего... — независимо усмехнулся мальчик. — Бояться...

Снаружи раздался все тот же ангельский голосок:

— Ну, чего ты там застрял? — И опять ругательство.

Первый мальчик влез. Следом за ним появился другой — удивительно на него похожий — младший, наверное, брат.

— Дверь закрой! — приказал старший, увидев, что тот испуганно и недоуменно уставился на Чашкина. — Дядя сейчас погреемся и уйдет, не!

— Что ж вы так ругаетесь-то, ребята? — сказал Чашкин.

Те не нашли что ответить, промолчали оба

Старший добыл свечу, приладил ее в колечком свитую проволоку оплетки, зажег.

— Ишь, как хорошо тут у вас... — искренно сказал Чашкин.

— А то... — согласился старший. Ему было лет десять, младшему — лет восемь. Они были так похожи, что, если бы не разница в годах, можно было бы сказать, что они близнецы. И оба — несомненно — походили лицом на отца.

Сели, как два воробья на веточке, рядышком — в одинаковых и одинаковых бедных синтетических курточках, в одинаковых байковых шароварах. Даже ботинки у них были одинаковые.

Сели и с какой-то поспешностью даже стали смотреть на огонь свечи. И пламень свечи с отчаянной грустью стал отражаться в их немигающих глазах.

— Ну, давай, что ли! — сказал старший, с трудом оторвав взгляд от огня.

Младший из-за пазухи вытащил, поставил на землю бутылку. Извлек батон хлеба.

— Что это у вас? — ужаснулся Чашкин.

— Вода, — превосходительно усмехнулся старший. А младший добавил: — Мы только воду пьем.

Старший отломил от батона горбушку, отдал брату. Другую горбушку отломил себе. Середку протянул Чашкину:

— Хотите?

Чашкин подумал было отказаться, но рука его сама жадно схватила кусок и поднесла ко рту.

Мальчишки сидели, без жадности пожевывая хлеб. Время от времени брали с земли бутыль, запивали.

И опять безотрывно глядели на огонь.

Младший сказал:

— Сюда менты часто заглядывают. Нас-то они не трогают — знают, что детдомовские.

— А я уйду скоро, — сказал Чашкин. — Согрелся. Мне сидеть нельзя.

— Вы попейте, — сказал старший, коротко поглядев в лицо Чашкину. — Мы уже...

— Хорошие вы ребята, — честно сказал Чашкин и стал пить из бутылки.

— А хлеб, если хотите, возьмите! — сказал младший. — У нас его в столовке навалом!

— Хорошие вы ребятаки,— повторил Чашкин, боясь, что сейчас расплачется.— Дай вам Бог, чтобы все было хорошо.

Он смотрел, как они сидят рядышком, горемычные братишки, и ему казалось, что он все знает о них! И, глядя в их лица, он упорно вдруг принялся думать об их отце (мать он с презрением миновал размышлениями). «Где тебя носит, парень?— спросил он отца этих мальчишек.— На какую такую жизнь променял ты их, дурень? Где ты еще найдешь такую веру в тебя, такую преданность тебе, такую безоглядную любовь? Какие такие сладкие пироги прельстили тебя, что ты бросил их, р о д н ы х, на произвол жизни, на всю жизнь заразил их тоской об отцовской руке, о мурой отцовской ласке, в ответ на которую они наперебой готовы были бы отдать всех себя, всю свою крохотную жизнь? Ах ты, дурак, дурак! Или — не повезло — за решетку угодил? Или — по глупости да по молодости к бутылке прислонился? А она-то, стерва, тебя и сгубила? Возвращайся, дурень, пока они еще помнят тебя и тоскуют о тебе! Вернешься — тремя счастливыми будет больше в России. Не вернешься — кара тебе страшная! — за то, что тремя несчастными будет больше!» И что-то еще, такими же невнятными восклицаниями рвуцесся из души, думал Чашкин, глядя на печальный остренький отсвет свечки в глазах этих неприкаянных пацанов.

— Пойду я,— сказал Чашкин со слезами на глазах. — Спасибо за хлеб.— И, пролезая мимо них, он по очереди погладил каждого по коротко стриженному, одинаково ершистым головкам.

Старший протестующе вынырнул из-под ладони. Младший замер, напрягшись, будто бы в тревоге, будто бы в ожидании, будто бы в надежде.

Теперь Чашкин уже окончательно не знал, куда идти.

Стемнело. Он старался держать в сторону, где было побольше света.

Довольно скоро он выбрался на улицу, где было и светлее, и оживленнее, чем везде. С треском разбрызгивая слякоть, пролетали машины. Ярко освещенный, битком набитый, проплыл троллейбус, вживе еще Чашкиным не виденный.

Он выбрал паренька, который бездельно подпирал стенку, и спросил про шоссе на Москву. Тот поглядел на него остекленным, оупелым взором. Чашкин кончил говорить — парень отвернулся и снова с равнодушием стал разглядывать улицу.

Чашкин боязливо, как от больного, отошел.

— А хо-хо не хо-хо?! — вдруг крикнул ему вслед парень и визгливо засмеялся.

Ежась, Чашкин ускорил шаг. «И ведь не пьяный вроде,— подумал он с недоумением.— Сумасшедший, что ли?»

После этого Чашкин собеседников стал выбирать осторожнее.

Никто не знал, где шоссе на Москву. «На Москву?!» — переспрашивали они таким тоном, словно речь шла о дороге на Луну.

Наконец ему повезло.

Старушка — видимо, старая учительница,— ядовитая и сухонькая, как стручок перца, охотно остановилась, поставила на землю тяжелую сумку, выслушала и стала долго объяснять, называя номера автобусов, троллейбусов и подробно рассказывая, где и как надо делать пересадки.

— Мне бы как-нибудь так, чтобы пешком... — коротко сказал Чашкин.

— А почему? — начала было старушка, но тут же перескочила вдруг на выговаривающий тон. — А почему вы, пожилой человек, в таком виде? Вам не стыдно? Вы, видимо, выпиваете?

Она говорила напористо, с удовольствием, так что Чашкин не находил и щелки в ее разговоре хотя бы слово сказать в оправдание.

— Ведь у вас наверняка внуки! Вы поглядите, в каком вы виде! Отправляйтесь сейчас же домой! — Она говорила с ним так, как разговаривала, должно быть, с учениками.

— Матушка! — встрял наконец Чашкин. — Куда мне — домой? В чужом я городе! Ограбили тут меня!

— Значит, правильно, — выпивши были.

— Не был я выпивши! Мне в Москву надо! Ни копейки не оставили! Потому-то и нужно мне шоссе на Москву — может, кто-нибудь и подвезет ради Христа! А вы меня костерите...

— Если все — так, как вы говорите, то вам надо сюда! — И она показала на какое-то серое, угрюмое здание, в котором вовсю светились окна. — А не на улице денег выпрашивать!

Чашкин от изумления даже задохнулся.

— Там, если вы говорите правду, вам выпишут бесплатный билет и отправят.

Она еще раз с большим сомнением оглядела Чашкина с ног

до головы и, нагибаясь к сумке, добавила:

— Сбоку, где стеклянный подъезд,— приемная. Идите! Если вы не лжете, там вам и бесплатный билет выпишут.

«Выпишут. Как же...» — с усмешкой бормотал Чашкин. Однако шел туда, куда показала эта на диво яростная старуха.

Ни вахтера, ни милиционера (чего особенно опасался Чашкин) в стеклянном подъезде не было. Две двери выходили в этот подъезд. Он дернулся в одну — было закрыто. Из-за другой доносился голос телевизионного диктора.

Чашкин стукнул в притолоку и вошел.

Он вошел и обомлел. За столом сидел Деркач.

— Что у вас? — спросил Деркач и снова с интересом повернулся к телевизору.

Тут Чашкин понял, что обмишурился. Это не был его директор. Хотя похожи они были, как близкая родня. Такой же синевато-серенький костюмчик, галстук с переливом, алая цапка на лацкане и — бритвенный пробор в жирно намащенных волосах.

Чашкин протянул вырубалочку-телеграмму. Тот бегло глянул.

Чашкин принялся излагать подробности, но родственник Деркача почти просительно вдруг перебил его:

— Давай-ка, дед, посмотрим! Очень важно... — и опять устремился взглядом в телевизор.

Чашкин послушно стал смотреть.

...На экране все то же — замедленное, сонное и чинное — длилось похоронное торжество. Так же спешно бежали люди по залу, бросая насильственно-любопытные взгляды в сторону пышного, похожего на клумбу сооружения, на котором, всем уже посторонний, еще более, чем в прошлый раз, похожий на мертвеца, возлежал покойник. Стояли, браво окоченев в предписанной им серьезности, солдатики с бутафорскими винтовками. Грузные, одинаково одетые начальники стояли, напрягаясь, в ряд, и все то же выражение надуманной скорби было натянуто на их лица.

Чашкин с любопытством покосился на хозяина приемной. Тот зрил в экран телевизора — жадно, отыскивающе! Какой-то немислимо азартный интерес был для него в этом тяготящем действе.

— Во-о! — воскликнул он вдруг со счастьем в голосе.—

Видишь? — И ткнул пальцем в какого-то сумрачного очкастого мужика. — Вот этот!

— Что «вот этот»? — не понял Чашкин.

Тот, оторвал взгляд от экрана, снисходительно объяснил:

— Председатель похоронной комиссии... А это значит, что он-то и б у д е т !

Чашкин опять ничего не понял.

— А почему? Если начальник похоронной этой... команды... так, значит, он и «будет»? Закон, что ль, такой?

— Закон не закон, а — точно!

Очкастый мужик с лицом филина стоял возле какой-то двери, мимо него проходили какие-то другие мужики, бережно жали руку, поклоняли головы...

Скучно было Чашкину. Ему хотелось уйти — тем более что он чувствовал, что ему этот деркачевский родственничек не поможет.

Знакомый диктор появился на экране. С гримасой врущего человека, которому уже надоело врать, а врать надо, он стал скорбно восклицать, изредка заглядывая в бумажку:

— Нескончаемым потоком со всех концов нашей страны, всего мира идут и идут в эти дни тысячи телеграмм от государственных деятелей... руководителей партий и правительств... от миллионов простых тружеников...

Чашкин хихикнул.

— Ты что? — строго глянул на него хозяин приемной.

— Вон как врут-то! — сказал Чашкин, сам удивляясь тому, до чего легко быть смелым, когда нечего терять. — «Тысячи телеграмм от миллионов тружеников». Во врут-то!

Тот на секунду задумался и тоже, скрыто, хмыкнул. Потом с интересом посмотрел на Чашкина.

— Ну ладно! Рассказывай, что случилось... — Тут же, впрочем, вдогонку строго заметил: — Тысячи телеграмм от миллионов тружеников — это вполне возможно. Если, к примеру, одна телеграмма — от десятитысячного завода? А? Соображай!

Чашкин нехотя рассказал о происшедшем с ним. Не было у него никакой надежды на этого мужика.

— Та-ак... — явно растерянно проговорил тот, с неудовольствием свалившейся на него заботы глядя на Чашкина. Видно было, что он раздумывает сейчас об одном: как бы Чашкина полочее сплавить.

— Своих денег у меня, к сожалению, нет. Если билет оформить, так это только завтра. Зав. транспортного отдела — в командировке, к сожалению. Приходи-ка ты завтра! Позвонишь вот по этому телефону! — Он быстренько начирикал что-то на листке календаря. — Понял?

— Завтра так завтра, — вяло сказал Чашкин, подошел к столу, но взял с него не листок календаря, а свою телеграмму. — Вы мне рассказали бы, как на шоссе выбраться, которое на Москву.

— Это очень просто! — С готовностью и радостью засидевшегося человека тот выскочил из-за стола, подошел к окну. — Иди сюда! Видишь улицу? По ней выйдешь на улицу Ленина. Вот по улице Ленина и иди — она и есть Московское шоссе!

— С паршивой овцы — хоть шерсти клок! — бормотал Чашкин, выходя из стеклянного подъезда.

«Ну, ты, что же, старая, врала мне?» — вспомнил он вдруг язвительную старушку, объяснявшую про троллейбусы, автобусы и пересадки.

Он остановился, соображая, в какой стороне улица, на которую ему показывал из окна начальник приемной. К нему тотчас подошел молодой, мордастый, неизвестно откуда выпырнувший.

— Ты чего здесь толчешься? — строго и угрожающе спросил он вполголоса.

— Да вот... в этой... в приемной был, — с изумлением глянул на него Чашкин.

— Проходи, проходи! Не задерживайся!

— Да я вот не соображу, как на улицу Ленина выбраться.

— Проходи, я кому сказал! — уже со свирепостью в голосе просвистел тот. — Вон там твоя улица Ленина!

— Ну вот... Так бы и сказал, милый, — по-стариковски отозвался Чашкин, начиная движение. — Спасибо, милый... — И, уже уходя, из любопытства оглянулся.

Невзрачный человек в каракулевой шапке пирожком, напоминающей высокий колпак, с папочкой под мышкой торопливо вышел — как выбежал из дома и, не оглядываясь по сторонам, нырнул, будто в убежище, в большую черную машину, поджидавшую его в пяти шагах от дверей.

По разные стороны от машины маячили в отдалении еще человек шесть молодых и мордастых.

«Э-э! — догадался Чашкин. — Так это ж охрана! — И ужасно удивился: — Неужели кому-то нужен этот ханурик?.. — А потом подумал рассудительно: — Им, однако, виднее. Стало быть чуют: есть из-за чего бояться!»

Он шел по шоссе в сторону Москвы, и знание того, что именно эта дорога ведет к цели и он наконец-то выбрался именно на эту дорогу, — знание это укрепляло его.

Он двигался как заведенная кукла, смутно чувствуя, что только такая ходьба позволит ему пройти как можно дальше.

Он шел и абсолютно ни о чем не думал.

Он был не человеку хуже, а как бы аппарат для ходьбы, и человек в нем глубоко дремал тоскливой черной дремотой.

...Проснулся он оттого, что ткнулся в борт грузовика, остановившегося перед ним на обочине.

Он обошел угол кузова и, вновь засыпая, пошел дальше, но тут услышал оклик:

— Ты что же, дедушка, голосуешь, а сам мимо идешь?

Чашкин в удивлении остановился, оглянулся.

— Тебе куда надо-то?

— В Москву я...

— Эва! До Мосевы не довезу, а до Фуфаева могу! Садись!

— Христа ради довезешь, тогда сяду!

Тот заржал от удовольствия:

— Ну ты, дедка, юморист! Договорились: «Христа ради!»

Чашкин неторопливо подошел. Взялся за ручку распахнутой дверцы. А влезть на ступеньку не смог — от боли в мышцах ног аж захныкал!

Шофер дал ему руку, легко втянул в машину.

— И чего ж ты, дед, в Москву намьтился? — оживленно спросил он, выруливая на асфальт и разгоняя машину.

— Ко святым местам, батюшко... — скупое и значительно ответил Чашкин.

— ЦУМ — ГУМ — «Детский мир»? Понятно! Сам недавно был. Зубную щетку купил — три недели обмывал, жена до сих пор не разговаривает. Анекдот хочешь? «Ж-ж-ж...» (он изобразил жужжание), «Чм-мо!» (тут он издал поцелуйный звук). Что это такое?.. Вот видишь, не знаешь... Это — «визит Ильича на Кубу»!

Чашкин ничего не понял, хотя на всякий случай ухмыльнулся.

Шофер объяснил: «Ж-ж-ж-ж» — это самолет летит. «Чм-мо!» — это Ленька у трапа целуется! Врубился?

Чашкин опять ухмыльнулся, хотя опять ничего не понял.

— А вот, слушай, тоже случай был... — начал и он и рассказал про зайца, который боялся, что его примут за верблюда.

— А то еще вот, слушай! Русский, англичанин и француз поспорили...

... А Чашкина тут ошеломила такая тяжелая стремительная дремота, что он вдруг клюнул носом и стукнулся лбом о панель кабины. Очнулся на секунду, выпрямляясь, и опять рухнул в сон, откинувшись затылком к спинке сиденья. Это даже и не сон был. Это была какая-то черная, бешено понесшаяся сквозь него горестная метель!

Это был сон о матери, хотя она и не представляла его взору. Это был сон об отсутствии матери. О черной зияющей пустоте, которая осталась после ее ухода. О тошном страхе жить ему в этом мире — без матери.

И черный торжествующий, злорадостный ветер этого сна несканзанно едко язвил его душу тысячью каких-то запоздалых сожалений, напрасной, уже в ни к у да обращенной нежностью, немотой так и не высказанных никогда ласковых слов к матери, жгучими проклятиями себе...

И — наконец-то — он заплакал о матери, сквозь сон, не открывая глаз! Отдохновенно, исчерпывающе заплакал — ощущая, что хоть и не уменьшается мера горести в нем, но все же легче и проще становится на душе.

— Э-эй, дедка!

Чашкин услышал, что шофер толкает его в плечо.

— Что это с тобой? Я ему анекдоты травлю, а он... Э-эй!

Чашкин открыл мокрые глаза, утерся кулаками.

— Заснул я, парень, — сказал он извиняющимся голосом. — Должно, приснилось что-то.

— У тебя, может, чего случилось? Может, заболел?

— Да нет. Ничего не случилось. Что может случиться?

— ...а то я недавно тоже одного вез... Мужик как мужик. Сидим — разговариваем. А он вдруг ка-ак заорет! Ка-ак давай биться! Пена изо рта! Этот оказался, как его... эпилептик!

— Ну, а ты чего?

— Чего... Вытащил на обочину...

— И бросил?! — ужаснулся Чашкин.

Парень обиделся:

— Ну ты, дед, даешь! Бросил... Машина тут какая-то сразу остановилась. Мужик толковый оказался: отвертку ему в зубы, меня на ноги посадил. Тот подергался-подергался — прочухался! И, ты знаешь, ни хрена не помнит! О чем до последнего слова разговаривали — помнит, а дальше — тишина!

Они помолчали. Потом Чашкин спросил:

— Ты мне вот что скажи... От того места, куда меня привезешь, далеко ли еще до Москвы будет?

— От Фуфаева-то? Да не-е! Километров двести... А ты все же, дед, сознайся, чего это ты в Москву намылился?

— Ко святым местам, сказал же.

— В Лавру, что ли? Без будды? Если в Лавру, то тебе и того меньше: километров сто пятьдесят. А ты что же, верующий?

— Будто бы ты неверующий...

— Этого я, честно, не знаю! — признался шофер. — Что-то т а к о е должно, конечно, быть. Наши деды, что уж, вовсе дураками были? Во-о! — воскликнул он вдруг с оживлением. — Хочешь, расскажу? Сомной лично был случай! Слушай! Нужно мне было как-то ехать в Демьянск, за запчастями. С утра. И вот просыпаюсь, а у меня такая мутота на душе — хоть вой! Гадом быть. Н е х о ч у я ехать! Хоть убивайте! Что-то, чувствую, сомной в этой езде случиться. Или авария. Или наезд совершу. Что, именно случиться, не знаю, но только н е х о ч у я ехать! Боюсь я ехать! Слушай дальше. Посылаю жену. Скажи, дескать, что заболел, что с похмелья мучаюсь, чего хочешь скажи, но пусть сегодня вместо меня кого-то другого посылают. Ну, вот. Послали вместо меня Стасика, был у нас такой, совсем пацанчик, только что с курсов. И — что же ты думаешь? — едет он обратным рейсом, и за два километра от того места, где я тебя посадил, навстречу ему «зилек» с прицепом! И вот у «зилка» того прицеп вдруг отрывается, волчком по шоссе — бац! — Стасику тому напрямик в кабину!! Жив он, правда, остался. Ногу вот только по сих оттяпали. Калека, в общем, на всю жизнь. А ты говоришь...

— А совесть-то не мучает, что он вместо тебя оказался? — неожиданно прокурорским тоном спросил Чашкин.

— Ага, — просто сказал шофер. — Я ему теперь и дровишек, когда себе везу, подкину... и с бутылочкой когда-никогда заедешь... О н - т о н е з н а е т! Он-то думает, что я по

дружбе или там из жалости. Иной раз и сам просит помочь. А я-то знаю! Но молчу. Вот тебе, пожалуй, второму рассказываю, поскольку чужой. И жене велел. Убью, сказал. Если ты хоть кому-нибудь, хоть полслова обронишь, — убью! Такие вот дела. Ты дед... (он постарался сказать это с усмешкой), когда там будешь, свечку или чего там надо поставь, чтобы, значит, как это называется, не знаю... Меня Тимуром звать, Тимкой.

Ноги у Чашкина прямо-таки криком закричали, когда вылез он, почти вывалился из кабины и утвердился на земле.

Страшно было начинать шагать. Он с полминуты постоял в нерешительности. Потом пошел. Сначала постанывая и побряхтывая на каждом шагу, потом — как уже приноровился ходить: с одушевленностью то есть механизма, никуда по сторонам не глядя, никуда будто бы и не стремясь.

Через некоторое время он поймал себя на том, что думает о шофере, который только что его подвозил, и об истории, которая с тем приключилась.

Нечаянно обнаружив это, он тотчас принялся размышлять и о том удивительном, что с ним, Чашкиным, произошло: п о ч е м у он, Чашкин, так обвинительно расспрашивал парня о том, не мучает ли того совесть? Только ли потому, что личина калики перехожего, идущего ко святым местам (личина, которую он принял не без удовольствия), требовала от него именно в таком тоне говорить с шофером? Или он и в с а м о м д е л е имел какое-то свое, собственной верой заслуженное право так говорить с маловерующим?

Он стал думать о Боге, о себе, о своем к нему отношении и не мог не признать, что в этой стороне его жизни лежит как бы огромное пространство пустоты. То есть он никогда не отгораживался стеной отрицания от Бога, но никогда и не обращал взоры свои к нему. Море ленивого равнодушия простиралось между ними.

Он вдруг подумал: если он, Чашкин, был равнодушен к тому, кого называют Богом, то ведь и тот, кого называют Богом, в п р а в е быть (и он наверняка был!) столь же равнодушным к нему, Чашкину! И не от этого ли так скудна, так убога, словно бы серенькой пылью припорошена, оказалась прожитая им жизнь?!

Это предположение поразило его.

Он вспомнил школьную свою знакомую Наталью Флегонтову. Как они встретились случайно в райцентре (она жила теперь там, за военкомом), как стояли посреди ярмарки, грустно вспоминая школьные годы, расспрашивали друг друга о жизни, о детях (у всех все было хорошо, то есть обыкновенно), и вдруг Наталья, не договорив о дочери: «...в институт вот собирается...» — вдруг в изумлении потрясенная замолкла! Уставившись прямоком в глаза Чашкину, спросила с болью:

— И э т о в с е ?! — Потом еще раз, уже почти со слезами повторила: — И э т о в с е , Ваня, что и должно было быть?!

Тогда-то он не очень понял, о ч е м она. А вот сейчас догадывался. И что именно имела в виду Наталья, и отчего у него да и у Натальи, да и у других такая пасмурная, такая водовозная получилась жизнь.

Если ОН есть, догадывался Чашкин, то никакого ЕГО милосердия не хватало бы на эту тьму равнодушных к НЕМУ, глумящихся над НИМ, отрицающих ЕГО! ОН не мог не покарать их, но из милосердия своего покарал лишь равнодушием своим! Просто оставил их одних, сырых и убогих, н а п р о и з в о л у с т р о е н н о й и м и ж и з н и !

И, взволновавшись этой догадкой, Чашкин вдруг принялся торопливо молиться, обращаясь куда-то туда с просьбой простить! А когда счел, что просьба о прощении достаточно, стал просить, чтобы они дали ему силу дойти! И чувствовал стыд в себе, потому что не мог ведь не знать, что из корысти обращается, а не по истинной вере, совершенно одновременно допуская, что все просьбы его впустую, и то, что (кто же их знает?), может быть, и помогут...

Странно ему было со стороны смотреть на себя, молящегося. Странно, но не смешно и не стыдно.

Он продолжал идти и, когда сзади вспыхивал свет фар, механически начинал семафорить левой рукой, не оборачиваясь и уже почти не надеясь, что кто-то остановится.

Машин в этот час было совсем мало, и все машины торопились по домам.

Вдруг «Москвич», резко завизжав тормозами, свернул перед ним на обочину. Открылась дверца, и молодой, почти мальчишеский голос спросил:

— Вам докудова, дядечка?

— Туда, — показал Чашкин. — Довезите, сколь сможете.

В машине прозвучал еще один, такой же юный голос:

— Да брось ты его, Серый! Ты только посмотри на него!

— Замолкни! — сказал Серый в глубь машины. — Давай, дядя, садись! — И потянулся открывать заднюю дверцу.

— Да вы езжайте, сынки... — сказал неуверенно Чашкин.

— Садись, садись, дядя! Что ж мы зря тормозили?

Чашкин сел на заднее сиденье. Там сидел еще один, совсем паренек, а у другой дверцы — девчушка лет шестнадцати, то ли обиженно, то ли простуженно дышавшая в шарф.

Они поехали.

— Ну вот... — продолжая прерванный, видимо, рассказ, заговорил тот, кого называли Серый. — Висит Кирпич на заборе, джинсами зацепился и орет: «Пацаны! Дерните кто-нибудь!» — Все засмеялись, будто сказано было что-то очень смешное. — Сторож из ружья — бац! Кирпич от страха ка-ак заорет: «Дядечка! Я больше не буду!» — Тут все заржали так, что даже машину, кажется, повело по шоссе зигзагом. — Ка-ак заорет! Ка-ак дернется! Джинсы — вжик! — Все покатались со смеху, кроме Чашкина и девочки. — Мы потом смотреть ходили... Так он со страху желе-езный прут в дугу согнул!! — После этих слов они даже хрюкать начали.

Не нравились Чашкину эти мальчики.

— Да! — отсмеявшись, весьма серьезно сказал Серый, который был у них за главного. — В субботу... может, кто-то забыл, — тут он многозначительно посмотрел на мальчика, сидящего рядом с Чашкиным, — на «елку-моталку» идем! В пять собираемся возле стройки. Меньше чем двадцатью человеками идти туда — гроб! Весь гемоглобин выпустят. Ты, Лоб, — он обратился к шоферу, — Казика зови, Берендея, Лобзика.

Лоб сказал:

— Угу. К Берендею брат из армии приехал, десантник. Вот бы его нам, а?

— Да уж... — мечтательно отозвался Серый. — Мы бы им устроили «хрустальную ночь». А ты, Буба, — он обратился к мальчику рядом с Чашкиным, — тащи Халяву, Саботажников, всех трех, они ребята крутые... — Кто там еще рядом с тобой?

Тот, кого звали Бубой, промолчал.

— Так, значит? Ну-ну... — непонятно, но с отчетливой

интонацией угрозы произнес Серый и, полуотвернувшись, стал смотреть на дорогу.

Тот, кто сидел за рулем, пытался перевести разговор:

— Сява говорил, что ему братишка из Питера кассету «Пинк Флойда» прислал.

— Стоп! — сказал вдруг Серый. Лоб непонимающе поглядел на него. — Тормози!

Серый повернулся к Чашкину:

— Здесь, дядечка, нам сворачивать. Так что довидзення!

Буба поспешно помог отворить дверь, и Чашкин вылез. Он прошел всего несколько шагов, когда услышал вновь голос Серого:

— Дядя! Эй! А про денежки-то забыл? Нехорошо детишек накалывать!

Серый вылез и подходил к Чашкину.

— Так у меня же нет, — растерялся Чашкин. — Я думал, вы просто так...

— Слышишь, Лоб, — крикнул в кабину Серый, — он говорит, что у него денег нет!

— Да что ты?! — с деланным изумлением сказал Лоб и тоже стал выбираться из кабины. — Да не может такого быть!

— Он так говорит.

— А я одного бензина сколько на него пожег... — посетовал Лоб.

— Да-а, — огорченно протянул Серый. — Что ж делать-то? Подержи меня, Лоб.

— Вы что, ребята? — сказал Чашкин.

Лоб зашел за спину Серого, просунул ему в подмышки руки, и тот, высоко вдруг подпрыгнув, резко дрыгнув ногами вперед, ударил Чашкина, норовя попасть каблуками в лицо.

Он попал ему в грудь. Чашкин упал.

— Ах ты, гад! — вскричал припадочным голосом Серый и стал бить упавшего Чашкина ногами, как футбольный мяч.

Чашкин скрючился, поджал колени к груди, зажал голову руками.

Он очень удачно примостился: близко к машине, спиной к ней, — так что когда они норовили попасть ему по почкам, ничего не получалось у гаденьшей.

Вдруг удары прекратились. Чашкин услышал:

— Ты что, Буба?! — Серый пыхтел, кем-то оттаскиваемый.

— Ну и подонок же ты!

— Хочешь, чтобы и тебя так?

— Только попробуй! — В голосе Бубы слышно было полное отсутствие страха.

«Молодец мальчик. Спасибо», — подумал Чашкин, все еще ожидая ударов и сжимаясь в комок.

— А-а! — бессильно и злобно провыл Серый. — На брательника надеешься?

Тут раздался из машины безмятежный, с капризинками голосок девочки:

— Ну, вы поедете когда-нибудь или нет? (Девочке, видите ли, надоело ждать. «Ах, какая сучонка!» — с отчаянием подумал Чашкин.)

— Правда, Серый, — примиряюще сказал Лоб, — уже и машину надо на место ставить. Того и гляди хозяин прочнет.

— Ладно! — сказал Серый. — Но только ты, Буба, еще помнишь этот день!

«Переедут еще...» — обеспокоился Чашкин. Он лежал чуть впереди и чуть правее правого бампера. Когда гаденьши пошли рассаживаться по местам, он быстро-быстро, как перекасти-поле, перекувырнулся несколько раз и стал лежать рядом с кюветом.

Он так и лежал, в комочек скрюченный, пока не загудел мотор, пока машина не уехала, пока вонь от ее выхлопов не развеялась в чистом воздухе.

Только после этого он позволил себе расслабиться и глубоко вздохнуть.

Вздых отозвался острой болью в груди. Чашкин закашлялся. Дышать после этого стал осторожнее.

В общем-то неплохо отделался, определил Чашкин, пройдя несколько шагов. Кроме боли в груди — от того, первого каблуками удара, — всерьез больно было только ногам, поскольку именно голени в основном-то и принимали все удары. Кисти рук тоже были сплошь в ссадинах и синяках, напоминали пухлые скрюченные клешни, но они не очень-то и беспокоили.

Хорошо хоть спину спрятал, подумал Чашкин, это прямо-таки счастье, что я так ловко приспособился.

Однако через пять минут ходьбы он услышал, что не так уж все ладно обошлось. На разные лады, то тут, то там, стали подвывать все ссадины, ушибы, а может, и переломы, которыми

наградили его эти трудные подростки. Особенно стало досаждать то, что он не мог нормально вздохнуть. Каждый более или менее глубокий вдох отзывался болью, от которой Чашкин невольно скрючивался и руки прижимал к горлу.

Но боль, самая острая, с каждым шагом все более свирепеющая, была все же в ногах, где все кости ниже колен были избиты особенно жестоко.

Теперь он шел как на подламывающихся ходулях. И после каждого шага, отдающего ослепительно черной вспышкой боли, все замирало у него внутри — в отчаянии страха перед новым шагом.

Его все время так и тянуло: встать на четвереньки и попробовать передвигаться так, чтобы только не испытывать этой пытки ходьбой.

О тех, кто его бил, ему неохота было думать. Несколько раз со смутным «спасибо» уважительно вспомнил мальчика по кличке Буба. Но в общем-то недосуг ему было думать об этом: боль, ожидание боли, претерпевание боли — вот это занимало его по-настоящему.

Он даже не заметил свет фар, вспыхнувших сзади. Шел себе и шел, как на разболтанных протезах, внимал увечьям.

Машина поравнялась с ним и поехала самым малым ходом.

Передняя дверца распахнулась, и человек в милицеейской форме молча и изучающе стал рассматривать Чашкина, преодолевающего дорогу.

— Далеко путь держишь? — бодрым, дневным голосом спросил наконец сидящий в «газике», наглядевшись на Чашкина.

Чашкин прохрипел что-то неопределенное, махнул рукой вперед. Он даже не взглянул на говорящего.

Машина еще немного проехала рядом, потом отстала, и вдруг резким светом озарилось все вокруг Чашкина!

Он словно бы проснулся. Оглянулся. На крыше «газика», слепя глаза, светил маленький прожектор.

Чашкин поспешно отвернулся. Тут перед ним уже стоял милицеейский.

— Документы есть?

Чашкин промывчал отрицательное.

— Почему?

- Ограбили, — с клекотом сказал Чашкин. — Избили.
- Кто ограбил? Кто избил?
- Пацаны ваши. На машине.
- Описать можешь? Какие они из себя?
- Сволочи, — сказал с усилием Чашкин и закашлялся.
- Где живешь? Адрес?

Чашкин сквозь мучительный кашель отмахнулся:

— Далекое... Не здесь.

— Ну-ка давай-ка! Садись к нам в машину — разберемся! —
Милицейский взял Чашкина за рукав. Тот робко попробовал
высвободиться.

— Мне в Москву надо! Похороны у меня!

— Ишь ты! В Москву! — восхитился милицейский. — Так тебя
там и ждут, такого красивого! Давай-ка для начала к нам заедем,
а потом уже в Москву-то!

Задняя дверь «газика» была уже распахнута. Там было что-
то вроде клетки.

Взвыв от боли в ногах, Чашкин кое-как забрался. Дверцу
захлопнули. На оконце была решетка. Решеткой же отделялась
и кабина, где сидел молчаливый штатский и куда бодро-спешно,
как после удачной охоты, забралась на переднее сиденье мили-
цейский с шофером.

Машина побежала по шоссе, свернула на плохой асфальт.
Чашкин в тоске закрыл глаза. Он всем нутром своим слышал, что
его везут в с т о р о н у !

— Вылазь!

Чашкин вылез.

— Иди!

Чашкин пошел.

За прилавком, похожим на тот, что был в отделе перевозок,
сидел и иронически улыбался младший лейтенант.

— Вот, товарищ лейтенант! Подобрали на шоссе. Идет,
говорит, в Москву. Документов нет.

— Ага. А почему же у тебя, дорогой товарищ, нет докумен-
тов? — очень искренно, казалось, поинтересовался лейтенант.

— Обокрали.

— Ай-яй-яй! — в шутку ужаснулся лейтенант. — Обокрали?!
Ну, и как же тебя обокрали?

Чашкин стал рассказывать. Говорить ему было трудно: болела
грудь, да и неохота ему было говорить. Он видел, что натужным,

насильственно-кратким его словам не верят.

— Там, в аэропорту, протокол составляли, — вспомнил он. — Вы, так свяжитесь...

— Ага! — совсем развеселился лейтенант. — Прямо сейчас и свяжемся! По спутниковой связи! — Однако тут же стал серьезный даже грозный. — А теперь давай-ка и мы протокол составим. Но чтобы без вранья у меня! Понял? Фамилия?

— Чашкин.

— А может, Плошкин? Ты подумай! Ну ладно... пусть будет пока Чашкин.

— Я на похороны летел. У меня же телеграмма есть! — Чашкин полез за пазуху.

— Может, у тебя там еще что-нибудь есть? Логвиненко, обыщи-ка его!

Логвиненко обшарил Чашкина, а лейтенант читал тем временем телеграмму.

— Вот! — сказал Логвиненко. — Кусок батона и бумажка с неизвестным адресом.

— Батон оставь, бумажку давай сюда!

Чашкин всполошился:

— Э-э! Это адресок мне один шофер дал!

— Не бойсь! Все будет в целости! У нас ничего не пропадет. Больше ничего нет? — спросил лейтенант у Логвиненко. — Значит, оформляем как бомжа. По какому, говоришь, адресу проживал?

Опять ни единому слову не верили. Опять кошмарное возникло ощущение: перед ним уже побывал в этих краях кто-то, так всем нагавший, что теперь уже никто никому не верил.

— Подпиши-ка вот здесь, Чашкин, и иди отдыхать! Завтра будем с тобой разбираться, Чашкин, Плошкин... — Лейтенант маленько тут задумался и добавил: — ...Поварешкин! — И рассмеялся с удовольствием. — А с телеграммой, молодец, это ты что-то новое придумал, — добавил он искренно, — все остальное слышали, и не раз! А вот такое впервые. Молодец!

Чашкин подписал, где показали.

Логвиненко открыл засов на решетке, которая здесь же, в этом же помещении, отгораживала что-то вроде загона. Похоже было на клетку зоопарка.

В загоне на голом полу, похожий на грудку тряпья, спал

человек. Услышав лязг засова, спустил с лица полы пальто, сел и ясным голосом сразу же заорал: — Лейтенант! Требую врача!

— Погоди маленько... — отозвался лейтенант (из клетки его не было видно). — Уже вылетел врач. Срочным рейсом из Москвы. Склифосовский его фамилия.

— Протестую! Требую зафиксировать множественные побои, нанесенные мне милицией при исполнении ими гнусных своих обязанностей!

— Я вот тебе сейчас зафиксирую... — грозно сказал Логвиненко, возникая перед решеткой. — Замолчишь? Замолчишь или нет?

— Замолчу, — сбавил тон кричавший. — Но не навсегда. Юнеска меня все равно поддержит!

...Во дворе раздались крики, шум, затем громыхание в дверях.

Пьяным, развеселым голосом кто-то заорал на всю дежурку:

— Нам песня строй-ой пережить по-мо-га-ет!.. Здорово, Петруха! Давненько не видел я твоей противной рожи! Пусти, сержант, дай я Петеньку поцелую! Слушай, Петруха Говорухин, как ты их воспитываешь? У них ведь ни боевой, ни даже политической подготовки!

— Опять нажрались, Иван Евдокимович?

— Кто учил тебя таким словам, Говорухин? Не «нажрался», а «вкусил внутриутробно». Дабы попытаться, Петюнчик, хоть в какой-то степени притупить то горестное чувство утраты, которое я испытываю совокупно со всем прогрессивным человечеством! Ты разве не испытываешь чувства утраты? И даже чувства глубокой скорби не испытываешь?! О-о! Никогда не думал, что из двоичника Говорухина выйдет такая черствая личность! Ушел из жизни выдающийся борец за прогрессивное человечество, а ты?.. А ты продолжаешь сажать за решетку лучших людей России!

— Да не собираюсь я вас сажать Иван Евдокимович...

— Тем хуже! Значит, среди лучших людей России ты меня уже не числишь!

— Ну, хотите, посажу?

— А вот тогда ты будешь предпоследний подлец! Ибо сажать любимого учителя, который обучил тебя слагать буквы родного языка в слова протокола...

— Русскому языку не вы нас учили.

— Если бы учил я, то я бы повесился! Думаешь, я не помню, что ты в прошлый раз написал?! «Вы-ра-зи-ми-ши-ся»! Да-с!

Александр Сергеевич вовремя застрелился. Он знал, он предчувствовал, в чьи руки попадет русский язык!

Было слышно, как лейтенант сказал в сторону:

— Никонов! Я же тыщу раз говорил: не привози ты его сюда!

— Они перед райкомом в клумбу мочились.

На крыльце опять загромыхало. Лейтенант торопливо приказал:

— Доставь его домой, Никонов! А потом — на «елку-моталку»!

— Петро! Петюнчик! — вновь заорал бас. — Дай я все же таки безешку тебе влеплю! Ты возвращаешь мне веру в доброкачественность людей!

Чашкин впервые в жизни сидел за решеткой. Он словно бы даже околел от позора, его постигшего.

Сосед опять уже спал, привычно накрывшись с головой полами пальто. Чашкин же жался к прутьям решетки — поближе к воле — и, как на солнце, безотрывно зрил на лампочку, немощно светящую под потолком.

Он старался не прислушиваться к тому, что происходило в нескольких шагах от него. Он боялся поверить, но там, судя по аханью, хеканью, приглушенным стонам и мягкому стуку, били человека!

С грохотом опрокинулся стул.

— Ну, хватит! — деловито-недовольный, раздался голос лейтенанта. — Во вторую его!

...Сколько-то времени еще прошло, и Чашкин обнаружил, что возле клетки стоит Логвиненко и смотрит на него.

— Ну-ка, выйди-ка... — приказал милицейский, увидев, что Чашкин открыл глаза. — Да не бойся ты! — с досадой добавил он, когда Чашкин сделал заметное движение в глубь загона. Слязгом отомкнул засов.

— Ну что, Чашкин-Плошкин? — как доброго знакомого, встретил его лейтенант. — Иди сюда! Подпиши вот...

— А чо это?

— Декрет о мире! — Лейтенант, чрезвычайно собой довольный, рассмеялся. — Подписывай, не сомневайся!

Чашкин взял ручку и подписал: «Плошкин».

— А теперь иди и спи дальше.

— Это все? — не поверил Чашкин.

— А ты чего-нибудь еще хочешь? Иди-иди!

Чашкин вернулся в клетку, все еще не веря, что обошлось так просто.

Часа через два Логвиненко еще раз разбудил его, потолкав через решетку в плечо.

— Эй, Плошкин! Иди автограф давать!

Чашкин, еще не вовсе проснувшийся, пошел.

Когда подписывал, мельком поглядел, чего подписывает. «Сидорчук... — прочитал он, — ...в виде, оскорбляющем...сопротивление...»

— А вы не знаете случайно, на какой день хоронют? — спросил он, внезапно осмелев.

Тот не заорал, не погнался. Задумался.

— Дня два вроде... Эй, Логвиненко! — спросил он у дремлющего своего подчиненного. — На какой день хоронят?

— На второй, кажется. Бывает, на третий...

— А... — сказал Чашкин и вдруг обомлел, увидев свое лицо в зеркальце, прибитом к стене.

Только сейчас он понял, почему сегодня его так упорно называли «дед».

Полусантиметровая щетина, совершенно белая, покрывала лицо. Чашкин с трудом узнал себя.

Странное дело, дома он и брился-то не каждый день — особой нужды не было, — а вот сейчас за какие-нибудь сутки дремучей бородецей оброс, седой и грязной.

Чувствуя довольно человеческое к себе отношение, он осмелился и попросил:

— Мне бы лицо умыть, а? А то эвон какое чувырло! — и показал на зеркало.

Логвиненко приподнялся со стула, показал в узкий коридорчик, ведущий из караулки. «Вон там умывальник!» Хотел было встать и сопроводить, как положено, но передумал и опять плюхнулся дремать.

Чашкин пошел коридорчиком и действительно вскоре увидел облупленную раковину и медный кран, торчащий над ней.

Но тотчас же он увидели еще нечто, вдруг повергшее его в крупную, сразу же изнурившую дрожь.

В конце коридорчика была дверь. Дверь была приоткрыта. А за дверью этой чернота ночи.

Он открутил кран, вода зажурчала, но умыться он решил погодить.

Сделал несколько шагов и выглянул за дверь.

Дверь выходила во внутренний дворик милиции. Стоял на козлах бесколесный «газик». Рядком выстроились бочки... Но, главное (он мгновенно заметил это!), ворота из двора на улицу были нараспашку.

И ни единой души.

Стараясь не задеть дверку, виляющим движением Чашкин выскользнул на кривоватое крылечко.

Он почти терял сознание от ужаса того, что совершает.

Он впервые в жизни п р е с т у п л а закон!

Держась тени, прокрался к воротам.

Дальше начиналось освещенное фонарем пространство, миновать которое было никак нельзя.

И тогда с отчаянным внутренним воплем, напоминающим крик: «А-а-а!!» — он бегом бросился через это чреватое опасностью место, наискось улицы, в проулок, который спасительно-мрачным тоннелем глядел на него с той стороны.

Проулок уходил круто вниз — наверняка к реке. Ему легко было бежать.

Проулок вынес его на на широкий мост через черную, заболоченную речку. Не задумываясь, он бросился на другую сторону, с ужасом слыша, как на сотни верст вокруг разносится буханье его ног по гулким доскам.

На другой стороне было что-то вроде слободы. Совсем деревенские, лепились дома вдоль широкой, неасфальтированной, лишь кое-где освещенной улицы.

Он чувствовал себя зверем, которого травят, и в нем работал инстинкт зверя. Широкой улицей он пренебрег — свернул в первый же проулок, совершенно непроезжий, буераками бегущий вдоль реки. Сообразил: если и догоняют, то на машине или на мотоцикле...

Лоскутные огородики пошли, каждый обнесен подобием заборчика — из дощечек, из проволоки, из спинок кроватей... Чашкин прилежно и охотно перелезал через каждую из оградок, каждый раз преисполняясь все более крепнувшим чувством безопасности. Эти оградки были м е ж д у ним, Чашкиным, и догоняющими его.

За огородами, как он и думал, распахнулся вдруг необъятный мрак полей!

Дорога чернела среди скупо присыпанных снегом пространств.

Чашкин упрямо по дороге не пошел. Ударил прямиком в поля — по раскисшей пахоте, на каждом шагу оскальзываясь, чувствуя с каждым шагом, как тяжелеют ноги от налипающей глины.

«Ох вы, милые!» — подумал он мимоходом о ногах своих, ноженьках, искалеченных, сплошь избитых. Они как будто и вовсе забыли болеть.

Вскоре он догадался, что если еще хоть минуту заставит себя бежать, то сердце не выдержит, разорвется и он умрет.

Больно разламывало грудь — там, куда угодил ему каблуками тот юноша-гаденьш.

Чашкин перешел на шаг. Оглянулся. Ему стало радостно: никаких даже признаков города не было за спиной. Ни огонечка.

В какую сторону идет, Чашкин не знал. Он чувствовал только, что уходит прочь, и сейчас это было главное. Как можно дальше, прочь!

Серо и мутно-светло было в полях.

Небо — все будто бы в черном, чадном дыму — грозило новым ненастьем. Ветра, однако, не было, и Чашкин, разгоряченный бегом, не чувствовал никакого неуютя среди пасмурных этих раздолий.

Туманно растушеванные, купами темнели ветлы. В сторонке мрачным средоточием тьмы располагался грозный и мощный лес. Бедно присыпанная снегом земля простиралась вокруг.

Казалось бы, совершенно не ко времени, но Чашкин с ознобом непонятого, непривычного и даже неприятного восторга вдруг услышал, как начинает проникать в него эта будто сквозь оловянную дрему глядящая красота.

Жалость и умиление почувствовал он в себе, глядя на эту землю, бедненько живущую под вечно хмурыми небесами, дождями, ветрами. (А впереди ведь была еще зима — серая, непроглядная, неприглядная!) И эта жалость, и умиление это вдруг скачком возвысились почти до восторга, почти до слез, когда далеко-далеко, увидел он, зажглась в этих серебристых, дремотных потемках живо-живущая золотая искорка костерка!

Там были люди. В его положении лучше было бы избегать

людей. Но он не смог удержаться, свернул и пошел на огонь костра.

Веточкой, отломленной от одиноко растущей ветлы, он стал очищать ботинки от лепех глины, налипших при ходьбе, — совсем уж неумоготу стало идти.

Кое-как отчистил, поднялся. Но — должно быть, как-то слишком резко поднялся — ударил его кашель!

Ужасно больно стало в груди от этого кашля. Вконец изнурил его этот кашель. Даже ноги стали дрожать... А когда успокоился и пошел дальше, продолжая путь на свет костра, солоно сделалось вдруг во рту.

Он отхаркнулся и увидел черный плевок на снегу. Он утер губы кулаком и удивился: кровь!

Бережно присев, стал собирать с земли тощий снежок, глотать. Вроде бы помогло. Он еще раз для проверки плюнул — крови уже не было.

Должно, что-нибудь в горле лопнуло, поставил Чашкин диагноз и на заметно ослабевших ногах продолжил путь.

Через полчаса ходьбы открылось, что костер горит на берегу озера, дегтярно-черного в серых потемках этой ночи. Возле костра — палатка, и там медленно передвигаются какие-то люди.

Пройдя еще минут пятнадцать, приблизившись совсем, Чашкин остановился. Нужно было составить представление, что за люди это, не грозит ли какой-нибудь новой каверзой знакомство с ними.

Он смотрел минут десять, но так ничего и не понял.

Люди эти пребывали в некоем вялом постоянном шевелении. Вставали, пересаживались, отходили в сторону, вновь возвращались, садились.

Чашкина забирал холод, да тошнехонько ему было после давешнего кашля. Он репнулся. Хоть прогреюсь, сказал он себе.

— Доброго здоровьичка, люди добрые! — бодро, но и старчески-робко произнес он, вступая в свет от костра. — Дозвольте у тепла вашего погреться малость?

Один сидевший на коряге ближе всех к огню, чуть-чуть пододвинулся, бегло и без особого интереса глянув в лицо Чашкину.

С опаской в душе обнаружил тут Чашкин, что люди эти —

сплошь молодняк и все сплошь патлатые. У двоих так волосы и вовсе собраны сзади в девчоночьи хвостики.

Что-то такое он слышал в телевизоре про этих волосатых и оробел не на шутку.

Но они как бы и не замечали его. Сидели каждый сам по себе, каждый словно бы в растерянную думу погружен. Глядели в огонь.

Двое какими-то странными, нервными, но будто бы и сонными движениями кружили поодаль от костра, то возникая в его свете, то вновь пропадая. Казалось, что они маются чем-то, неизбежной какой-то тоской.

Чашкин услышал рядом какое-то бормотание. Справа от него, не сразу им замеченный, сидел паренек. Раскачивался и повторял темные для Чашкина слова: «...хари-кришна, кришна-рама...»

Чашкин достал свой кусок батона, отломил кусок, протянул сидящему рядом. Тот взял, тут же поднял с земли прутик, насадил кусок и сунул в огонь.

Чашкин заметил взгляд, обращенный к нему с той стороны костра. Еще раз отломил и показал тому, как глухонемому: «Будешь?» Тот поднялся, взял.

Чашкин оглянулся на молящегося. Тот все раскачивался и никуда не смотрел.

Оставшийся кусок Чашкин разломил надвое. Подождал, когда появиться кто-нибудь из тех, кто колесил возле костра, и показал ему хлеб. Тот глянул взглядом непонимающим, продолжил свое кружение.

— Шоссе, которое на Москву, в какой стороне? — спросил Чашкин у сидящего рядом.

Тот промолчал, будто и не слышал. Потом, когда Чашкин уже и не надеялся на ответ, сказал:

— Там! — показал рукой. — Километра три.

Чуть слышным ветерком потянуло от озера, Чашкин чуть не задохнулся от тошнотворного, гнилостного запаха.

— Чем это воняет так? — спросил он в беспокойстве.

— Воняет? — медленно удивился сосед. — А-а... комбинат. Там. Труба. Сбрасывают...

— Чего ж вы такое место себе выбрали? — не удержался от вопроса Чашкин.

— Место? — опять удивился тот, потом подумал и сказал: — Красиво.

Вынул из огня слегка обуглившийся хлеб, стал есть, присвистывая от жара, но не жадно.

Вдруг заплакал младенец.

Чашкин в изумлении оглянулся. «Померещилось?!»

Нет. Младенец плакал в палатке. Потом оттуда раздался успокаивающий голос женщины, и младенец умолк.

Сосед, насторожившийся было, вновь принялся за хлеб.

Доев, он достал папиросу, ловко размял ее, высыпал табак на ладонь. Умело сдвинул цилиндрик папиросной бумаги с гильзы (Чашкин глядел как зачарованный.) Из спичечного коробка подсыпал какого-то порошка в табак, перемешал и вновь начал гильзу.

Закурив и жадно затянувшись пару раз, протянул папиросу Чашкину.

— Нет, нет! Я не курю! — поспешно соврал Чашкин, тотчас с изумлением подумав, что за эти дни он и вправду ни разу не помыслил о куреве.

Парень еще разок затянулся и отдал папиросу на другую сторону костра.

Мечтательная улыбка забродила на его губах.

Чашкин встревожился.

— Пойду я... — Он поднялся.

Один из кусков хлеба, которые все еще держал в руках, положил на корягу. «Младенцу», — подумал он и пошел от костра вдоль по берегу зловонного этого озера, которое слегка дымилось, и какие-то диковинные фигуры проплывали то тут, то там по его поверхности, то появляясь, то исчезая...

«Господи! — с тоской думал он об оставшихся у костра, словно бы заблудившихся в этом мире детишек. — Как в самом деле жить им в этом вонючем мире?.. Если я в пятьдесят своих лет торкаюсь, как слепой щенок, не могу ничего понять, и бит, и обижен, как только можно, так что же с них-то спрашивать?! Они же дети! А эта вонь, это ведь и есть самая жизнь в т а к о м м и р е ?!»

Он вспомнил вдруг Катюху, неказистый их поселочек, ежедневные ее подъемы в школу, завтраки в сумрачной кухоньке...

«Сколь мало радости оставили мы детям нашим!» — поразился он вдруг.

Уже начало потихоньку светать. Небо с одного края по прежнему заволочено было чадным дымом, но с другой, восточной стороны уже светло приотворилось.

Он шел напрямиком через огромное, до горизонта простершееся поле, и поле это напоминало ему море, в тумане плавно вздымающее свои валы.

Тонкая полоска ледяного света на востоке становилась все шире. И вдруг там блекло заголубело! Сразу же в мире стало пригляднее, легче, словно кислороду прибавилось.

За самым дальним увалом все явственнее обозначалась — словно бы возрастающая из-под земли с каждым чашкинским шагом — тоненькая беленькая колоколенка церкви.

У него обмирало почему-то сердце глядеть на нее.

Так уж она стройненько, светло и кротко значилась на мрачном фоне снеговых туч! Так уж уместна была ее скромная восклицательность среди этих унылых, плавно-текучих просторов! Так уж весело было от ее присутствия миру!..

И совсем уже чем-то неведомым восхитилось сердце Чашкина, когда и справа, и слева от церкви, скромно зазолотившейся куполами своими, вдруг стали обозначаться, словно бы тоже всплывая из-под земли, туго-курчавые облака деревьев, купно обступающие здание храма.

И было все это торжественно и просто: и белая свечечка церкви на фоне угрюмого неба; и серая тьма бедно заснеженных полей с плавно вздыхающими, смутными очертаниями холмов; и бойкие извивы черненькой речонки, обозначенной среди рассветного сумрака вереницей грустно поникших ив; и пасмурное это, всеобъемлющее ненастье на сотни верст вокруг; и робкая эта, сиротская голубизна, с усилием пробившаяся из-под гнета туч... Такое все это было простое, родственное душе, что Чашкин опять услышал в себе приближение слез. От непонятной своей любви к этой земле. От великой жалости к этой земле.

Он встретил дорогу, которая сбегала к речке, а оттуда к селу с церковью. И, конечно же, пошел по этой дороге, неизвестно отчего волнуясь.

Спустился вниз, церковка пропала из глаз. Ему сделалось скучно.

Стал подниматься, она выглянула вновь. Он обрадовался ей, как родной.

Дорога круто взобралась к селу и тотчас же превратилась в расклябанную, раздолбанную тракторами топь, по которой Чашкин стал пробираться, долго выискивая для каждого нового шага местечко, не то что бы посуше (куда там!) — местечко помельче...

Наконец он приблизился к ней. И тотчас же пожалел об этом.

Нет-нет! Она по-прежнему была отрадна взгляду, хотя теперь он не мог не видеть отчетливо ни шелудивости побелки, ни ржавчины на решетках, ни буйства травы, проросшей сквозь плиты заброшенной паперти. Она по-прежнему была хороша, но вокруг!..

Чашкин даже поморщился, как от боли.

Длинное грязно-белое приземистое здание вплотную примыкало к зданию храма. Дружное хрюканье и истошная вонь доносились оттуда. Вся земля за церковной оградой превращена была в мелко истолоченную топь-грязь вперемешку с навозом. Стояли деревянные лотки с водой, локани для поила.

— А-а-ах, люди!

Чашкин как бы даже досадливо зажмурился всем своим нутром от увиденного.

— А-а-ах, люди! — повторил он, уходя и с отчаянием думая о тех, кто живет в этом селе. — Та-акая красота! А вы?..

В конце улицы он с состраданием оглянулся на нее. Сердце его немного утешилось: она по-прежнему торжествовала над всей округой, непобедимая в своей стройной красоте — красавица лебедь, белая среди серых утят, рожденных плавать в грязи!

И, уходя все дальше и дальше от села — по дороге, которая, как ему сказали, ведет к шоссе, — он не раз и не два оглядывался. И с каждым разом, с каждым взглядом ему опять становилось веселее, легче, крепче, увереннее на душе.

Потом дорога нырнула в низину, и он увидел, что впереди шоссе, а там, игрушечные, спешат туда-сюда автомобили.

Белобрысый парень в солдатском ватнике менял заднее колесо у «рафа»-фургона.

Сменил, отдомкратил, взял негодное колесо бросить в кузов и замер, обомлев: перед ним на коленях стоял старик.

— Дедушко! Чо это вы?!

— Довези до Москвы! Богом прошу! Сил уже нет! Битый час ни один не останавливается! Мне — во-о! (Чашкин полоснул по

горлу) — как надо! Матушку сегодня хоронят, а я, вишь ты, никак не доберусь!

— Так что ж на земле-то стоять? — сказал парень. — Я небось не икона. Поедем, дедушко!

— Денег вот только, парень, нет у меня. Совсем нет, верь слову!

Тот засмеялся:

— Смешно мне у вас тут ездить! — Легко закинув в кузов неисправное колесо и возвращаясь к кабине, чтобы отворить для Чапкина дверцу, продолжил: — Все вы тут, как стоворились! Деньги так и суете! Отказываешься, так вы, дурные, даже обижаетесь... Забирайся, дедушко, садись... Совсем вы охалтели с деньгами этими. Конечно, понять оно чего не понять: жизнь-то у вас тут, видать, ой, недешевая!

— А ты издалека ли?

— У-у! — Парень опять рассмеялся. — Из-под самой из-под Архангельской — вон аж откуда! Не думал не гадал, что когда и попаду в столицу-то, а тут — случай! Один мужик наш, с центральной усадьбы, поехал в дом отдыха, а в Москву на вокзале возьми да и помри! Телеграмму прислали: приезжайте, дескать, забирайте, пока не поздно, а не то как беспризорного студентам на учебное пособие отдадим! (Ну, это-то они не писали. Это директор, когда посылал, так говорил.) Вот и еду. Трясусь, а еду! Дальше райцентра ни разу не бывал, а тут сразу эвон куда! Вы в Москве небось часто бывали? Как там?

— Да не был я там. Я ведь вдесятеро дальше тебя добираюсь.

— ...машин небось, не пробьешься! Светофоров небось! А я, когда на права сдавал, про светофоры и не читывал даже. Зачем нам? О-ой, боюсь, дедка!

— А ты не бойся. Ты, как все, старайся.

— Я уж тоже так решил: посередочке. Выспрошу, куда надо, запомню и посередочке на цыпочках... Авось и проеду!

— А как повезешь земляка-то?

— Так домовину с собой везу. Сосед за ночь выгесал. Мне бы его только вызволить! Как ведь нехорошо получится: одной родни у мужика полрайона, своих детей четверо штук, а ни могилки не будет, ни пристанища в своем краю! Не приведи Бог такому случиться!

— Я вот тоже еду, а может, уже и без меня похоронили. Неладно будет...

Вдруг парень рассмеялся:

— Ну и экипаж у нас! По одинаковому делу поспешаем. Нарочно не придумаешь!

— Сколько нам еще верст-то? Много ли?

— Сейчас посмотрим... — Парень подождал километрового столба, нырнул вслед за ним взглядом, сказал: — Вроде бы меньше ста осталось.

— Врешь! — воскликнул Чашкин. Не могло уложиться в его понимании, что до места ему рукой подать.

— Узнать бы, где эта самая Новая деревня... Мы с севера так заезжаем? Лялька вроде бы тоже говорила: к северу они от Москвы. Как узнать бы?

Его уже лихорадка стала одолевать, нетерпение заудило.

— По карте глянь. Может, найдешь? — Парень не глядя дал ему атлас.

Чашкин отмахнулся безнадежно:

— Где уж мне по карте искать...

Мельком поглядывая на шоссе, парень открыл атлас на заложённой странице. Ногтем чиркнул по жирной красной линии:

— Вот мы где едем. Видишь? Вот на этой шоссейке и ищи! Ежели она, конечно, здесь, деревня твоя Новая...

Чашкин углубился в разглядывание карты. Со школьных времен не занимался он этим занятием. Ничего не мог сообразить. И вдруг увидел! Он даже матюкнулся от радости:

— Гляди-кось! Есть! Аккурат на этой красненькой полосочке! Новая! Деревня! Так и написано!

Парень взял атлас. Посмотрел, то и дело тревожно озираясь на дорогу. Тоже обрадовался.

— Вот так повезло тебе, дедушко! Километров шестьдесят еще, не более того! Час езды!

Чашкин, счастливый и праздничный, разулыбался.

«Ой, не торопись, Ванька, радоваться! — попытался он уговорить себя. Но ничего из этого — сиял как масляный блин! — Ой, не торопись, Ванька! Мало ли что случиться может?»

И ведь как в воду глядел!

Шофер вдруг озадаченно ругнулся. Глянул на спидометр.

— Скорость вроде правильно держу... Обгонять никого не обгонял... Чего махает? — И стал тормозить.

Толсто одетый, очень нарядный в белых своих нарукавниках, кожаной куртке, ослепительно белой каске, стоял на обочине милиционер и с неспешной властью помахивал жезлом с красным кружком. Чуть поодаль как бы подремывал его мотоцикл с коляской, из которой торчала суставчатая антенна рации.

Испуганный и встревоженный, парень добыл из ящичка кипу бумажек, выпрыгнул наружу.

Чашкин остался ждать, замирая от самых дурных предчувствий.

«Ведь говорил же тебе! — со злостью укорял себя. — Не радуйся раньше времени! «Час езды остался!» Как же! Дадут они тебе «час»! Мог бы и попривыкнуть бы...» — так напрасно корил и ругательски ругал Чашкин Чашкина, будто кто-то из них был прав, а кто-то виноват.

С лицом, совершенно потерянным и опечаленным, парень влез в кабину. Тронул вперед.

— Ай, как нехорошо-то все! Ай, как недобрó!

Чашкин даже боялся спрашивать.

Через полминуты справившись с огорчением, шофер сказал:

— Они иногородние-то машины все заворачивают! В объезд Москвы! Я же забыл совсем: они там этого...все еще хоронют... Ай, как нехорошо! Я этому-то объяснил — дак мне до первого поста ехать, там машину оставить, а самому в Москву пешки! А как же я его-то тащить оттуда буду? Ой, недобрó как все!

Зарулив на площадку возле застекленной, вознесенной над шоссе будкой ГАИ, парень опять перебрал в руках кипу своих бумажек, выскочил наружу.

Чашкин подождал немного, однако вскорости сообразил, что сидеть ему здесь — только время тратить. Потихонечку вылез, сполз со ступеньки и поковылял на другую сторону шоссе, ужасно опасаясь, что привлечет к себе милицейское внимание.

И только тогда, когда ушел настолько далеко, что и будки не стало видно, принялся махать проезжающим машинам.

Но и машин было мало, и народ тут ездил очень сам собой озабоченный. Мимо Чашкина они проезжали, как мимо пустого места.

Кое-как наладился Чашкин идти и пошел своим ходом.

Сильно ослабел он за последнюю ночь. Его водило из стороны в сторону, ноги в коленях проваливались.

Но он все-таки шел, как мог, поскольку никакого другого выхода у него не было.

Теперь, когда слышался из-за спины голос мотора, он останавливался и оборачивался. У него новое появилось занятие: смотреть в лица водителей.

Лица у всех были одниковые — с тухлыми глазами, с нарочитой миной озабоченности, деловитости, спешки.

«Зараза!» — говорил он вслед каждой машине и продолжал путь.

Он решил умереть, но дойти.

Наконец одна из машин, ходко несшаяся, непомерно широкая и низко посаженная, визгнула тормозами и, пробежав по инерции много вперед, остановилась. Затем задним ходом, бесшумно и быстро подплыла к Чашкину.

Этакие машины Чашкин видел только по телевизору — когда встречаются-проводят иноземных почетных гостей.

Он оробел.

— Ну, залезай же! — Из-за опущенного стекла передней двери с насмешливым интересом глядел на него молодой человек, совсем молодой, лет двадцати пяти.

Чашкин увидел, что задняя дверца уже распахнута. Он полез, как в мышеловку, опасаясь подвоха.

Здесь было просторно, как в комнате. Ему отложили какой-то стульчик. Он уселся.

— К у д ы е д е м? — весело спросил сидящий впереди. Он был не то чтобы пьян, а как бы устойчиво, давно и надолго пьяноват. Ну, как бывает во время долго текущей свадьбы.

— Новая деревня... — ответил Чашкин, все еще робея. — Тут недалеко, сказывали.

— Н е д а л е ч е... с к а з ы в а л и... Какая прелесть! Правда, прелесть, Боря?

— Мда! — с отвращением сказал тот, что сидел сзади от Чашкина.

— Стасик! — раздался из дальнего угла капризный голос. — Зачем ты его посадил? Она стесняется при посторонних!

Тут же из того угла донеслось девичье хихиканье. Чашкин мельком глянул: девчонка сидела на коленях у белолицего в кудряшечках парня, похожего на жирного пупсика.

— У тебя же все равно ничего не получится! — со смехом сказал

сидящий впереди. — А меня и н т е р е с у е т. Велика ли скорбь в народе — интересуется. Стоит ли слезный стон на Руси великой — интересуется. Что бывает в народе? А? Отец?..

— Чо бают? — с усилием сказал Чашкин. — Ничо не бают.

Девчонка залилась вдруг мелким, шепотливым смешком. Пупсик спешно и уговаривающе стал бубнить ей что-то на ушко.

— Ничего не бают! — повторил Чашкин почти сердито. Не нравилось ему здесь.

— Слышишь, Гарик? Н и ч о н е б а ю т!

— Отстань! — прокряхтел пупсик со смехом. — Я тут чего-то такого интересного нашел!

— Боря! А ты — слышишь? — обратился тогда впереди сидящий к соседу Чашкина. — Ты вторые сутки не просыхаешь... от слез... а в народе тем временем «ничего не бают»! Неужели правда, отец? — обратился он опять к Чашкину.

— Говорят! — сказал Чашкин, почти обозлившись. — «Измена!» — вот что говорят.

— Как-как-как?! — Стасик аж зашелся от восторга. — «Измена!» У-у-ух! Сегодня же папашке расскажу. И... хватит папашку кондрашка! — Он счастливо рассмеялся.

В дальнем углу опять зашебурились, задышали, запыхтели. — Ты бы высадил его, Стасик! — сказал Боря. — От него ногами пахнет.

— И правда, — попросил Чашкин, — высадил бы... Воняет у вас тут.

— Ух ты, гегемон гегемоньч! — удивился Стасик. — Ладно. Иди в свою Новую деревню! Она тут н е д а л е ч е, с к а з ы в а л и...

— Ура! — одышливым шепотом провозгласил из угла пупсик.

— Гарик! Неужели?! — На Чашкина они уже не смотрели. — Теперь, как честный человек, ты обязан взять ее в жены! Правда, Боря? Мы свидетели!

Сделал шоферу вялый жест. Машина стала тормозить.

Боря молча открыл дверцу. Чашкин с облегчением вылез наружу. Машина тронулась, и он плонул ей вслед.

И вдруг опять — с отчаянием и страхом — увидел: плевок окрашен в красное.

Утро разошлось уже вовсю. Голубые промоины чудились то

там, то здесь в сером, слепом небе.

Белесое, мутное око солнца с усилием пробивалось сквозь чадную пелену, и когда ему удавалось пробиться, все вокруг заливал безжалостный, леденящий свет, наводящий и тоску, и холод на сердце.

Казалось, что без всякой приязни, даже с осуждением глядит солнце на эту разоренную землю, спешно и плохо прибранную серым снежком, на эти разливаемые реки дегтярной, жирно сияющей грязи вместо проселков, на замусоренные эти усадьбы, на дымящиеся свалки, кольцом обступившие Город — дрянно выстроенное скопище дрянных коробок, меж которыми, утренняя, уже началась тараканья беготня автомобилей и где, суетливо поспевающие, люди уже начали торить муравьиные свои стежки на тонком белом снегу.

...В этот час в центре Москвы, в старинном доме, фасад которого во множестве изукрашен красно-черными полотнищами, тряпицами, словыми гирляндами и еще чем-то, должествующим наводить скорбь на людей,— в старинном знаменитом доме царила в этот час негромкая деловая суэта: гудели пылесосы, и женщины под присмотром молчаливых людей невнятного возраста и вида чистили ковровые дорожки и полы, вениками сметали осыпавшуюся хвою и вялые лепестки от венков... сновали туда-сюда какие-то организационно озабоченные личности с черно-красными повязками на рукавах... в комнате, отведенной под караулку, солдатики, шепотом подсмеивались друг над другом, оживленно рубали из жестяных плошек пшеничную кашу с тушенкой, запивая компотом, которого по случаю знаменательного события было хоть залейся, сорокалитровая фляга, и это само по себе не могло не вызвать оживления у девятнадцатилетних мальчишек... где-то из-за колонн, в распахнутую, должно быть, дверь слышно было, как звонят телефоны и чей-то голос что-то негромко кому-то перечисляет... И тут же все на том же скошенном возвышении продолжал возлежать, уже вовсе став за эти дни невзрачным и малоприметным, Некто в черном костюме, и выражение важности, которое было отчетливо на его лице в первые дни церемонии, уже сменилось выражением чуть озадаченным и чуть обиженным. Но на него, пожалуй, уже и не обращали тут внимания. Все были заняты делом.

...В этот же час четыре крепких новодеревенских мужика, войдя в маленькую горницу Чашкиной, отчего горница сразу же

сделалась еще меньше и теснее, уважительно затаивая дыхание и переговариваясь шепотом («Ногами вперед... На руках сначала, а то не пройдем... Там-то уж на плечи вскинем...»), легко подняли каждый со своего угла сосновый гроб с лежащей в нем старушкой и, стараясь потише шаркать сапогами, осторожно, как хрустальную драгоценность, понесли его на улицу, на крыльцо, где толпились уже, ожидающе и страстно глядя на дверь, все старушки Новой деревни, дружно повязанные черными платочками, бабы и мужики помоложе, стоявшие враздρόбь и поодаль, и с десятков совсем малых детишек, очарованно заторопившихся поскорее заглянуть в то, что было внутри гроба и от чего они тотчас с чистым отвращением непонимания и страха отпрянули, вопрошающе и возмущенно оглядываясь на старших, стоящих вблизи.

Мужики осторожно и легко подняли гроб на плечи и не торопясь вышли на улицу, на самую ее середину, где было посуше, и направились к церквушке — деревянной, старенькой, почти не видной за сеткой березовых веток, густо опадающей со старых деревьев. Толпа из двора послушно и споро перелилась следом, и люди пошли, неспешно и несуетно, с важной грустной задумчивостью, без лишних слов...

«Жигули», не успевшие проскочить вперед мужиков, терпеливо плелись следом. И совсем без усилия сменил нетерпение на своем лице на выражение сосредоточенного, чуть опечаленного, понимающего ожидания молодой, румянощекий хват-парень за рулем.

...Молодой священник, не спеша облачаясь в церковное, глядел в окно, как несут гроб, как, искренно огорчась, сопровождают его темно одетые люди, и без всякого усилия услышал вдруг в душе з в у к , какой и надобно было слышать в себе, совершая обряд отпевания.

Он хорошо знал при жизни старую женщину, которую несли к нему для последнего прощания. Это была хорошая, кроткая женщина, много помогавшая церкви. И ему было в самом деле грустно от расставания с ней.

Он держал сейчас в сердце много хороших и простых, ласковых и утешающих слов, которые он хотел бы сказать уходящей. И он был спокойно уверен, что все эти слова все равно прозвучат и услышатся, когда он будет произносить совсем другие на слух слова заупокойной молитвы.

А Чашкин в этот час продолжал упорно и трудно — будто по грудь в воде — брести обочинной шоссе, стараясь дышать осторожно и коротко, чтобы кашель, сварливо гнездящийся в низу горла, не дай Бог, не ожил и не стал опять рваться наружу.

Он напоминал пьяного — и видом, и разболтанной походкой, — должно быть, поэтому ни одна машина не останавливалась возле него.

Он, впрочем, уже не огорчался. Он уже ни на что не надеялся — просто шел. Перед ним была дорога, и он шел по этой дороге, потому что он был еще человеком, а человек должен, если перед ним дорога, идти по этой дороге.

Вдруг он увидел перед собой что-то вроде навеса и женщину, сидевшую там на скамеечке в терпеливом и тихом ожидании.

Она слегка забеспокоилась, когда Чашкин возник рядом и сел, как упал, на скамейку.

— Новая.., — просипел он, — деревня... далеко ли еще?

— А через одну! — певуче и радостно воскликнула женщина. — Сейчас автобус подойдет. Одну проедешь, а на другой сходи! Вот тебе и будет Новая деревня.

— Автобус? — спросил он. — За деньги небось?

— Да уж не за так! — рассмеялась женщина и вдруг осмелела: — А где ж ты так изгваздался, милый? Иль в луже какой спал?

Он рассеянно поглядел на свою одежду, глухо ужаснулся.

— Спать не спал, а поваляли меня изрядно.

— Больно не молоденький, чтоб валять-то тебя... — не поверила женщина.

— О-о-о, матушка! — вздохнул вдруг Чашкин с сильным чувством. — Все рассказать — дня не хватит рассказывать, как валяли, как били-трепали!

— Что уж с тобой такое приключилось? — в расчете на рассказ поинтересовалась женщина.

Чашкин, однако, спросил другое:

— Кладбище в Новой этой деревне есть ли? Далеко ли?

— А рядышком! — с прежней радостью воскликнула женщина. — Автобус остановится, а оно — через поле, тропочкой, совсем рядышком!

Чашкин осторожно вздохнул:

— И не верится... Ты знаешь ли, матушка, откуда я добираюсь сюда? Аж из самого Егоровска!

Та откликнулась быстро:

— Ой, врешь! Это же какие тыщи километров, наверное!

—...и не верится. Неужто добрел? — И он вдруг сильно засмеялся с интонациями плача. Вытер глаза кулаком и стал рассматривать, словно в удивлении, искалеченные, сизо вздувшиеся синяками и ссадинами руки.

— Ну вот и автобус! — воскликнула женщина.

Чашкин обеспокоился.

— А посодют? Без денег-то? — жалко спросил он

— А ты попроси, попроси! У тебя, видно, дело?

— Дело,— согласился Чашкин.— Мать хоронят. Вот только не знаю: успел ли, нет ли?

— Ох ты ж, Господи! — искренно воскликнула женщина.— Да неужто за т а к и м делом не посодют?!

Автобус подошел, отворил створки. Чашкин влез в переднюю дверь, взобрался на сиденье, обращенное к кондуктору.

Та сразу же воззрилась на него взглядом, воспалившимся от неприязни. А он глаза не отводил. Из последних сил смотрел ей прямо в лицо, весь даже мелко подрагивая от напряжения, с каким умолял ее всем своим существом: «Позволь досхать! Не высаживай! Ведь ты же человек!»

Кондуктор наконец отвела взгляд и отвернулась с враждебностью.

— Ныне отпускающи! — возгласил молодой священник. И тотчас истовыми слабенькими голосами подхватил старушечий, совсем крохотный хор слова последней сопроводительной молитвы.

Мать Ивана Чашкина слушала спокойно и важно, и ни единой лишней тени не было на ее сухоньком личике, желтеньком и празднично-сосредоточенном.

— Новая деревня! Мужчина! — крикнула через весь автобус женщина.

Чашкин встал возле дверей выходить и, поймав взгляд кондукторши, все такой же неодобрительный и неверящий, хотел было улыбнуться ей с благодарностью. Но ничего у него с лицом не получилось, словно задубевшее было лицо.

Он вышел и стал озираться.

Сзади застучали в окошко автобуса. Женщина показывала куда-то пальцем, часто кивая головой и улыбаясь.

Чашкин глянул и увидел посреди безмерно печального черно-белого пестренького поля как бы курчавящееся облако серой облетевшей рощи. Отчетливо и ярко серебрились решетки оградок.

Неширокая дорога с немногими следами ног тянулась туда.

Чашкин пошел.

Он прошел больше половины пути, когда увидел: какое-то оживление происходит в той стороне. Толпой возникли черные фигуры; он разглядел и гроб, плывущий, плавно покачиваясь, над головами.

Ему еще много осталось пути. Он закричал злобно:

— По-годь! По-годь!! — и, хватив ледовитого утреннего воздуха, вдруг переломился, закашлявшись.

— Погодь же... — повторил он шепотом, уже умоляя, и сплюнул кровью.

— Погодите же! — беззвучно закричал он людям, которые стояли теперь неподвижно, сгрудившись у края рощи. — Погодите же! — И с плачем бросился к ним.

Он бежал, и земля то бросалась ему в лицо — и тогда он летел, чуть не падая лицом в грязь, то откачивалась — тогда и он словно бы запрокидывался навзничь, норовя упасть затылком. Но бежал!

Он бежал, чувствуя, что сжигает все, что у него оставалось еще для жизни, последние крохи, и торопился бежать.

Слезы застилали ему взгляд, но он видел, что люди, столпившиеся на краю рощи, все чаще оборачиваются к нему белыми пятнами лиц.

Он бежал.

Они смотрели, как он бежит.

Ему показалось, что он успел, и, закашляв кровью, он засмеялся от счастья.

АННА ПЕТРОВНА

Поздней осенью, почти уже зимой, вам, наверное, встречались в садах ли, в парке — эти мелкие розоватые цветочки. Грязноватенькие, с ветхо растрепанной розеточкой лепестков, аккуратно обожженной по краям ржавчиной первых заморозков, они в эту пору, конечно же, не цветут — одну только видимость сохраняют. Дремлют под грязной волглой листвой под рыжей, цепкой, мертвой травой — сразу и не поймешь: то ли они живут еще, безмянные маргаритки эти, то ли давным-давно уже умерли, притаившись. Возьмешь их в руки — расплазуются нежным жалостным прахом... Ни умиления, ни отрады, даже и в осеннюю пору, не вызывают бедные эти цветы. Напротив — грубая печаль и даже досада постигает вас, когда их видишь: слишком уж злым забвением, едким сиротством, кладбищем убогим веют они. заметишь их, проходя мимо, и вдруг замечаешь: торопишься мимо пройти. С такой вот божьей маргариточкой сравнил бы я и Анну Петровну, героиню этого рассказа. В сумеречной комнатке огромного кирпичного угрюмого дома на Красной Пресне тихонько, терпеливо, потаенно и никчемно доживала она дни свои.

Анне Петровне шел девятый десяток лет, и изо всей родни, когда-то многочисленной, оставалась у нее одна только внучка — Марина, которую Анна Петровна недолго любила, потому что выросла внучка человеком странным (хотя Анна Петровна и сама ее воспитывала, с четырех лет до первого замужества) — кустарно-ярко-рыжей, мужеподобной, спортивного вида бодрой стервой, озабоченной на всем белом свете лишь одной своей персоной.

Именно Марине была обязана Анна Петровна тем обстоя-

тельством, что на исходе лет оказалась она не в светлых своих двух комнатах на Большой Полянке, где прожила до этого лет сорок, а в этой девятиметровой, скверненькой, я бы сказал, д о с т о е в с к о й комнатенке, которая более всего напоминала узкий, непомерно высокий ящик или, еще точнее, щель — двух метров в ширину и трех с половиной в высоту, — которая глядела долговязым, словно бы церковным, давно уже не мытым окном в заунывный асфальтовый тесный дворик, где в квадратах окаменелой земли, забранной решетками, хирели обновляемые каждый год саженцы; где бродили возле пустой песочницы горемычные городские детишки, с вялой надеждой царапая асфальт разноцветными лопатками; где стояла на чурбанах забытая всеми бесколесная машина, разрушаясь день ото дня и покрываясь с каждым днем все более, казалось, яркими и торжествующими язвами ржавчины, и где с утра до вечера сидела на древних шатких ящичках возле шелудивой стены, исписанной слабоумными гадостями, кроткая, угнетенная многими печальми очередь в пункт приема стеклопосуды.

Невеселый, что уж говорить, был вид из окошка.

Анна Петровна, впрочем, не много этим огорчалась. И не только потому, что на Большой Полянке тоже не ахти как смешно было во дворе. Просто она уже была в том тихом, как бы полуобморочном возрасте жизни, когда вообще ничем — кроме, быть может, самочувствия — всерьез не огорчаются, а все слабенькие силы своего воображения тратят единственно на смиренное (и все же странное, зябкое!) занятие ожидания своего последнего дня на этой земле.

Года два-три назад она, наконец, поверила, что быть ей осталось уже совсем недолго, и с той поры каждую осень Анна Петровна искренне считала своей последней осенью (она почему-то уверена была, что непременно осенью, в самом начале зимы, умрет), а в тот год, о котором наш рассказ, она уже п о ч т и н а в е р н я к а ч у я л а близкую свою кончину, и потому высокое важное равнодушие надменной стеной уже почти совсем отгораживало ее от окружающего мира.

...Здесь, за этой стеной, внутри, было очень тихо, очень покойно, в общем-то хорошо, хоть и печально, а жизнь, быстро и странно живо колготившаяся вокруг, колготилась где-то пообочь, — может быть, даже поверх ее и почти уже совсем никак не задевала воображения Анны Петровны. Ну, примерно так же,

как совсем не задевали ее воображения мутно-серебристые, аквариумные шевеления теней в экране давным-давно оглохшего старенького телевизора, который она по рассеянности включала иногда: глядела на экран внимательно, виновато и беспокойно, силилась понять, но уже не могла понять, о чем они, эти люди, зачем...

Больше всего любила она теперь смотреть на очередь под окном.

Нежное, хоть и глухое, сочувствие вызывали в ней эти бедные люди: как они терпеливо и устало сидят целыми днями на ветхих шатких ящичках, как пересаживаются время от времени, будто по чьей-то команде, с одного ящичка на другой, как бережно, словно великую драгоценность, переставляют, пересаживаясь, и авоськи свои с пустосветящимися, ясноотмытыми бутылками, как глубоко опечалены они чем-то, эти люди, как покорны, казалось, как кротки.

Не сказать, что какой-то символ чудился ей в этой бесконечной каждодневной чередке людей. Просто все, что она видела здесь, почему-то трогало ее. Она ведь тоже, в сущности, сидела в терпеливой черной очереди, а загадочное окошко, к которому покорно и заискивающе склонялись все эти люди, было и от нее уже совсем недалеко.

По вторникам, когда пункт не работал, и очереди, стало быть, не было, и одни только жалкие ящички косились возле опустелой стены, прикрытые кое-где газетным рваньем, — по вторникам Анна Петровна испытывала какой-то раздражающий недостаток в жизни, досаду, скверный уют, и она даже опасалась всерьез, что если умрет, то умрет непременно во вторник, потому что досуг ее в этот день ничем не занят, а душа, пребывая в праздности, особенно беззащитна и всему покорна.

Она была гордая женщина, никогда ни о чем старалась не просить свою внучку, но однажды она все же не вытерпела: очень страдая и пряча при этом глаза, попросила, не может ли Марина, коли она все равно ее навещает, навещать, если можно, по вторникам. Та, разумеется, быстро и легко согласилась: — По вторникам? Ладно. Буду — по вторникам! — и тотчас, конечно, спросила: — А почему, бабуля, именно по вторникам?

Анна Петровна не считала нужным отвечать на этот вопрос, и все осталось, как было: Марина прикатывала на кофейно-черных своих «Жигулях» и в понедельники, и в четверги, и в

пятницы, — когда, в общем, взбредет в голову. Взбрело ей это, заметим, никак не чаще одного раза в месяц.

Визитов этих Анна Петровна и ждала, и ужасно как тяготилась ими.

После приездов внучки у нее непременно два дня гудело в голове, странно рябило в глазах и тонко, болезненно ныло в барабанных перепонках — от унтер-офицерского (Марина была воспитателем в детском саду) п е р е к р и к и в а ю щ е г о голоса ее.

Когда Марина уходила и за ней закрывалась дверь, Анна Петровна испытывала ощущения человека, мимо которого только что долго мчался чугунно-громыхающий, тяжкий, бесконечно-мучительно-длинный поезд.

Анна Петровна давно уже не судила людей, но у нее все внутри жалобно и враждебно сжималось, когда шумно и всегда неожиданно вдруг врывается в ее дом эта грубо молодящаяся баба, насквозь фальшивая и в своей бодрости, и в каждом своем жесте, и в каждой интонации прокуренного, всегда словно бы готового к хамству голоса.

С дедморозовским воплем: «Ну, бабуля! Смотри, что я тебе принесла!» — она бухала на стол сумку и начинала извлекать «гостинчики», как она это называла, — всякую непотребность, при одном взгляде на которую Анну Петровну отчетливо мутило: зловеще-серые, вялые сосиски какие-нибудь, творожные сырки, полусохшие и мятые и издающие винно-кислый запах, копченую колбасу, уже слезящуюся от старости на почернелых срезах и покрытую по оболочке вкрадчивым налетом голубоватой плесени... — все то, в общем, что с удивлением и досадой обнаруживала Марина в недрах своего холодильника, раз в месяц размораживая его, и что есть самой — не позволяла осторожность, а выкинуть на помойку — мешала скупость.

Пожалуй, что Анна Петровна догадывалась о происхождении этих «гостинчиков». Однако мудрено было хоть что-то прочитать по ее лицу.

С годами, в особенности с последними годами — годами уже и не старости даже, а ветхости, — лицо Анны Петровны стало совсем уж малоподвижным и не означающим почти ничего, кроме того, что это лицо очень старого и очень усталого человека, и даже маска надменного спокойствия, в которую невольно

сложилась морщина и складка кожи, тоже уже ничего не означала.

Неудовольствие, к примеру, от необходимости терпеть общество Марины выражалось у Анны Петровны вообще едва-едва приметно: в некоторой, разве что, растерянности взгляда да в том еще, как она без нужды то и дело перекладывала по столу руки свои, —

о! все еще очень красивые, хотя, конечно же, и очень старые руки — с весьма чистой, сухо шуршащей, голубовато-мраморной кожей, с благородно-тонкими, очень женственными, избежавшими старческого ревматизма пальцами, на одном из которых таким странным и даже уродливым глядел тяжелый, грубо сработанный перстень из почернелого серебра с голубоватым прозрачным камнем, слишком крупным и слишком уж прозрачным, чтобы быть не подделкой.

Ничто не менялось в лице Анны Петровны даже и тогда, когда внучка принималась за «уборку» — вытирать с телевизора никогда там и не водившуюся пыль, мести веником по абсолютно чистому полу, греметь переставляемыми с места на место стульями... Иногда только Анна Петровна, забывшись, с недоумением оглядывалась по сторонам: ей всегда казалось, что рядом есть кто-то третий, перед которым, собственно, Марина и ломает свою комедию: глядите, какая она, хоть и грубоватая, но заботливая, хоть и занятая ужасно, но бабুলю не забывающая... Балаганом все это отдавало, ужасно дешевым балаганом. И одна только Марина могла не чувствовать это.

Анна Петровна уже давно не имела никаких иллюзий относительно своей единственной родственницы.

Не было для нее никакой загадки и в этих визитах, и в показном этом внимании.

Анна Петровна спокойно знала, что внучка, даже заполучив для своих жилищных комбинаций две ее комнаты, даже забрав «в долг», как они с мужем выражались, все ее сбережения (а сбережения были немалые, почти восемь тысяч рублей, благодаря которым, собственно, и появился на свет кофейно-черный кургузый автомобильчик Марины), — так вот, Анна Петровна спокойно знала, что молодые вовсе не собираются оставлять ее в покое, поскольку уверены, что она все еще богата.

Бог знает, откуда взялась у них эта жалкая жадная уверенность! Причиной тому было, скорее всего, то, что их, конечно же,

болезненно потрясли (Анна Петровна заметила это) талегкость, та пренебрежительность даже, с какими рассталась она в свое время с теми несчастными тысячами. Марина, помнится, едва лишь начала свое нытье (явно не на один день рассчитанное) относительно стесненности своих финансовых обстоятельств, — а Анна Петровна уже поднялась снимать с гвоздочка пальто, чтобы идти в сберкассу.

«Не-ет, с последними деньгами так легко не расстаются! — рассудили, должно быть, молодые. — Не может человек разумный (а Анна Петровна даже на их взгляд была человек разумный...) так беспечально и равнодушно отдавать в руки чужим людям (а что они ей чужие, это они тоже хорошо сознавали...) — без расписки отдавать, без свидетелей, — этакую сумму!..»

«Такое может быть только в одном-единственном случае, — рассудили они далее, — если восемь тех тысяч — лишь малая часть, пренебрежительно малая часть каких-то т а к и х накоплений, каких-то та-а-а-аких накоплений...» —

и тут Анна Петровна всегда довольно-таки схибно хихикала про себя, живо представляя восторженно-алчные глазенки и мечтательно-спонявые улыбочки Марины, тесным тайком обсуждающей со своим галантерейным мужем мифические капиталы своей бабки.

Нужно заметить, что Анна Петровна никогда и не единым словом не пыталась их разубеждать.

В этом была, конечно, довольно простая и довольно бесцеремонная хитрость.

«Пусть хоть этот, не самый, конечно, благородный интерес привязывает их ко мне до поры до времени, — так примерно думала старая женщина. — Что поделаешь, если такие наступили времена, когда даже молодые спят и видят себя богатыми, а родственные чувства, если судить по Марине, стоят нынче ровно столько, сколько рублей значится у меня на сберкнижке».

Страх оказаться совершенно одной, безо всякой помощи, когда случится последняя болезнь, отвращение думать, что плохо и небрежно похоронят, — это было сильнее высокомерной неприязни, скорее, брезгливости, которую она питала с некоторых пор к внучке и ее новому мужу.

И именно поэтому она отмалчивалась, почти многозначительно отмалчивалась, когда Марина неуклюжими экивоками

нет-нет да и заводила разговор о неких деньгах, которые останутся после того, как «мало ли что может случиться...», — и в результате, в общем-то, получалось так, что Анна Петровна почти сознательно вводит в заблуждение свою внучку, чуть ли не намекает ей своим молчанием на некое, до поры сокрытое богатство, и сознание этого постоянно, хоть и смутно, беспокоило старую женщину, и это была еще одна из причин, по которой приезды Марины доставляли ей неудовольствие.

И все же она каждый раз ждала визитов Марины.

Посещения эти были мучительны для Анны Петровны, без сомнения, но они (странное, но верное сравнение) были — как отвратительное, но совершенно необходимое лекарство, принимать которое н у ж н о, даже преодолевая всякий раз гадкую горечь его.

Ужасное было лекарство, но когда Марина наконец исчезала и когда Анна Петровна, аж постанывая от жалости к себе, чувствуя себя измученной, словно бы даже избитой, изможденно добиралась до кровати своей, — вот тогда-то и начиналось странное действие этого варварского снадобья, вот тогда-то и снисходила на нее ни с чем не сравнимая благодать в о з р а щ е н и я к п о к о ю — то, ради чего она, сама того не ведая, и терпела в своем доме время от времени это чуждое и мало-приятное создание по имени Марина.

Это было такое острое, такое сладкое и молодое ощущение, и главное, оно таким чудным образом порождало дружелюбно-дремотный сонм желаний — не желаний, воспоминаний — не воспоминаний... — желаний, скажем так, воплощенных в форму каких-то воспоминаний, и они столь наркотически явственны были, эти воспоминания, и уже прозрачно-чисты и картинны, словно цветные фотографии на глянцевитых страницах какого-то дорогого журнала, —

что праздничный озноб ж и з н и в н о в ь принимался окатывать душу Анны Петровны, вызывая восторг — почти без горечи восторг, уважительное восхищение тем, что случилось с ней на этой земле. А случилась с ней на этой земле — жизнь.

Неправду говорят, что старикам мало надо, что скупы и ничемны их желания. Анне Петровне много хотелось, хотелось жадно самого разнообразного. И — счастливое свойство ее старости — то, чего ей хотелось, наверное, особенно жадно, часто являлось ей в этих снах наяву.

И Анна Петровна, вновь побывав среди 'былого, возвращалась к теперешней своей травяной жизни, хоть и напрочь каждый раз забывая виденное, но — словно бы даже и успокоенная виденным, со смутным, но упрямым ощущением з н а ч и т е л ь н о с т и и того, что происходило с ней когда-то, и того, что происходит с ней сейчас.

...Ей хотелось очень часто — летнего солнечного утра, и чтобы полотняный ветерок, еще по-ночному свежий, почти зябкий, ровно тянул со стороны Москва-реки, со стороны Крымского моста, чей дерзновенный силуэт еще не был привычен взгляду и восхищал до какой-то веселой дрожи и лучше всяких лозунгов убеждал, какое великолепие ждет всех в ближайшем будущем. Будущее... — так вот, чтобы ветерок этот празднично хлопотал в вышине разноцветными полотнищами флагов, каждый из которых трепетно, истово, наперебой так и тянулся вдоль ветра в зеленую курчавую глубину Парка культуры и отдыха, и чтобы там, в глубине парка, уже играл духовой оркестр, но очень далеко, так, чтобы мелодию нельзя было различить, а слышался бы только смешной, отчетливый и, казалось, обиженный голос большого барабана, бурчливо отстукивающего: «бум... бум-бум-бум... бум...»

Куда она шла тогда? Кто ждал ее там, на покрытых красной кирпичной крошкой, плотно и опрятно укатанных дорожках Парка культуры и отдыха?.. Этого она уже не помнила. Да и не об этом было воспоминание, —

а о том, как свежо и ровно тянуло счастьем от Москва-реки, от Крымского моста, как струились в высокой синеве, словно на фресках Дейнеки, развеселые флаги — целый наивный лес разноцветных флагов! — как пощипывало в уголках век от улыбочивого прищура, который не оставлял ее в то утро, и как весело, бойко жилось ее загорелому бодрому телу под тонкой хлопчаткой бело-голубой, чуть пахнувшей утюгом футболки с вольготно откинутым воротником, и как при ходьбе стираемая бедненькая ласковая ткань эта то и дело щекотно-стыдно и нежно касалась ее слегка озябших, напряженно наморщенных, курносим торчком сосков...

Что-то невыносимо счастливое, утреннее, солнечное ждало ее впереди, она торопилась, но у края тротуара пришлось остановиться, —

потому что тут мимо них долго не смолкающей чередой замелькали вдруг — откуда-то и куда-то — велосипедисты: линиялые, дрянные майки с беззастенчиво-плебейскими потеками черного пота под мышками и вдоль хребта; жесткие озабоченные лица; бронзовые, каменно-угловатые икры ног, так быстро и легко крутящие педали, что казалось, это их единственный труд — поспевать за педалями, которые крутятся сами по себе.

Ее быстро и тяжело взволновало от этого сгустка азартной мужской злой мощи, несущейся мимо, и — в тот же момент — она с испуганным ликованием успела заметить, как внимательно и нежно успел покоситься на нее один из гонщиков — светлый, с простодушным, очень русским, лицом северянина, которое очень легко и доверчиво проступило вместе с этим взглядом сквозь каменную оцепенелую маску сосредоточенной, утрюмой и тяжелой погони его за чем-то.

И в единый миг они все успели прочесть друг о друге. И — порадоваться каждый за другого.

Она — тому, как, наверное, весело и, главное, н у ж н о мчать ему сейчас по Садовому кольцу — откуда-то и куда-то, — все ожидая ощутить и все никак, все с большей гордостью никак не ощущая ни малейшей в себе усталости...

А он — порадовался тому, как легко, наверное, и радостно ей, такой загорелой, бело-голубой, юной, ясной идти в такое вот утро в Парк культуры и отдыха, где уже играет неизвестно для кого (просто так, для радости...) духовой оркестр, цветут липы, красные дорожки чисто подметены и пустынные, и где ждет ее что-то невыносимо счастливое, солнечное и чистое, как все в это утро...

Они успели прочесть все это и ласково порадоваться друг за друга и нежно пожалеть, что приходится расстаться, и — расстались.

Гонка мелькнула, оборвалась, помчалась вдаль, а ветер, поспешающий за ней — беспечный ветер юности, — опухнул напоследок и лицо Анны Петровны, с легким щекотом рассыпав по лбу добела выгоревшие, коротко стриженные, с тщательным наслаждением вымытые накануне вечером в сумрачной тиши огромной коммунальной кухни волосы ее, еще и наутро хранившие веселый, словно бы карамельный, запах земляничного мыла.

Анна Петровна очень любила это воспоминание, хотя всегда

и испытывала некоторое смущение: с ней это вряд ли ведь могло происходить. Было это или в конце тридцатых (скорее всего...), или в послевоенные годы, а ей и тогда и тогда было уже далеко от юности.

На самом-то деле — и Анна Петровна каким-то образом напрочь об этом забыла, как и о многом другом напрочь забыла, — было все это не с ней, а с дочерью ее, подростком, когда воскресным чудным утром они отправились вдвоем в Парк культуры и отдыха, просто так, и похлопывали флаги в синеве, и доносило откуда-то музыку, и все было чисто, пустынно и свежо, как в утро праздника... И были в то утро обжигающе-радостные, захватывающие дух, обморочные мгновения, когда она, мать, вдруг каким-то чудом переливалась в ся в свою дочку — жалко-длинноногую, дерзкую и уже страшно одинокую, с уже встревоженной душой девочку шестнадцати лет — в эту утлую беспомощную лодчонку, уже потихоньку отчалившую из-под материнского борта, уже пугливо и радостно почуявшую мощный властительный ток Реки Жизни.

Странно, но в других воспоминаниях дочь почти не являлась.

Проступала иной раз картина какого-то бесконечно печального тихого утра — в тесной комнатенке общежития на Гольяновке, с ее непомерно огромными, вселяющими зябкий неуют окнами от пола до потолка, с тоненькой фанерной дверкой, выходящей, как на улицу, в гулкий, без конца и без края, вечно сумрачный коридор, где, как на улице, было всегда толкливо и людно бесцеремонными, горластыми студентами, —

но в то утро даже и в коридоре было безлюдно и тихо — как безлюдно и тихо было, кажется, во всем мире, в самом центре которого на казенной табуреточке сидела Анна Петровна и кормила грудью новорожденную свою дочь, безмерно страдая от невозможности прислониться к чему-нибудь тяжко ноющей спиной, с трудом разлипая кисленько саднящие веки и срываясь то и дело, как в обморок, в черную гущу сна.

Она могла бы и сейчас, через много лет, увидеть как наяву буддийскую, с кулачок, маску того личика, распаренного и надменного (еще никаких нежных чувств оно не вызывало, это личико — одну лишь боязливость, и еще, конечно, сострадание), однако не о дочке было это воспоминание —

а о том, как печально и погребально-тихо было в этом мире;

как болела спина от неудобной позы (которую она принимала почти намеренно, чтобы не уснуть невзначай и не обронить ребенка); как пьяно заводило ей глаза от жуткого желания сна, и какое это было дивное диво — слышать, как уходит из тебя молоко, как облегчается в груди, и как сладко было знать, что скоро нежная пиявочка эта насытится, опустошит, отпустит сосок и замолкнет, и наконец-то можно будет, по-старушечьи не разгибая спины, отнести кулечек этот в корзинку, а потом доковылять и самой до кровати и — пасть лицом вниз в дико скомканную, несвежую, еще хранящую ночное тепло постель, и — полететь, замирая от сладостного безмолвного визга за глазами, в черную бездонную шахту сна.

Было до слез жалко себя — такую вконец измученную, всеми покинутую, жалкую и опустившуюся. Было жалко эту гусеничку-дочку, такую доверчиво беспомощную, такую до содрогания сердца незащищенную перед всеми железными напастями мира..

И еще было жалко — торжественно, скорбно жалко — всего того, что могло бы с ней, Анной Петровной, быть в этом мире, но чего уже н и к о г д а не будет, потому что с появлением этой жадно чмокающей пиявочки огромные пласты, целые материки Возможного откололись, оплыли, оставив ее, как на крохотной льдине, в этой злой и убогой, казенно-безуютной комнатенке. И будет так — всю оставшуюся жизнь.

Так надрывно, безотрывно жалела она себя, и не было дна у этой скорби, но в эту минуту вдруг что-то произошло на улице, что-то сдвинулось в небесах — глянуло солнце. И пыльный квадрат этого неохотного осеннего солнца пал в комнату, косо и пьяно переломившись по граням стен, потолка и пола, и краем — как углом грустной материнской шали — словно бы невзначай прикрыл ее по плечам и больной спине.

Она услышала, как легла ей на плечи эта нежная тихая тяжесть — дочь выпустила сосок и засопела, — и Анна Петровна заплакала вдруг — от счастья.

Вот об этих загадочных светлых слезах было ее воспоминание, о тяжести солнца на плече, но вовсе не о дочке, которая покинула мир тридцати с небольшим лет от роду и о которой Анна Петровна однажды и навсегда постановила стараться не думать, потому что думы эти рождали острое и обидное ощущение вины из-за того, что она, старая, все живет и живет, а дочь ее, молодая, так горестно и страшно погибла, попав вместе с любовником

своим, полярным летчиком, в железнодорожную послевоенную катастрофу на станции Москва-третья.

Когда-то она была чертежницей — «великой», как говорили, чертежницей, которой везли работу со всех концов Москвы и к которой даже записывались в очередь, как к знаменитой портнихе или парикмахеру.

Вот уже лет пятнадцать как она не брала никакой, даже простой чертежной работы и, привыкшая работать изо дня в день, очень из-за этого страдала.

Должно быть, именно поэтому все эти пятнадцать лет ей часто повторялось видение какого-то зимнего глубокого вечера — с желтенькими одуванчиками фонарей, скромно светящими вдоль сиренево дремлющей улицы, на которую она смотрит сверху и которая, совсем как в провинции, вся мягко завалена высокими сугробами лилового снега, а за сугробами этими — так уж не по-столичному! — оранжево, уютно и нежно теплятся оконца замоскворецких черных от древности деревянных домишек.

В этот час царила в мире тишина.

Тяжким покоем, словно мрачноватая вода, заполняла тишина в этот час и комнату Анны Петровны — очень уютную для жизни комнату в добротном, дореволюционной постройке «доходном» доме — с высокими, но соразмерными жилью потолками, надежными кирпичными стенами, со старинными ребристыми калориферами вдоль стен, от которых всегда шел такой плотный, такой избыточной силы ток сухого железного жара, что даже в самые лютые холода (а тогда бывали холода действительно лютые) форточки в доме приходилось держать постоянно настежь, отчего в хорошо нагретом воздухе комнаты всегда словно бы реяли растрепанные, страстно истаивающие волокна вкуснейшего, бодро волнующего морозца, всплывающего с улицы...

В такие вечера наслаждением было работать.

Наслаждением было, нетерпеливо разметав докучные домашние дела, остановиться наконец в дверях, торжественно поднять руку и — щелкнуть выключателем, убирая верхний свет от люстры, —

и вновь увидеть, чувствуя в душе некое подобие восторга, как, словно на сцене, уютно вдруг высвечивается, становясь в центр всего, дотоле неприметный угол ее комнаты, где установлен

кульман, плоскостью чертежной доски, как стеной, огораживающий от остального мира тревожно-милое сердцу пространство, деятельно заполненное ясным светом передвижной лампы, отраженным от рафинадно сверкающей поверхности ватмана, приготовленного к работе.

Наслаждением было взять и ощутить в пальцах изящную парящую невесомость остро и хищно отточенного кохиноровского карандаша, так благородно и скромно светящегося золотом по каждой из своих граней, услышать его в руке и начать работу — кропотливую мышиную карандашную наметку, покрывая терпеливой паутинкой тончайших линий, едва намеченных дуг и сопряжений всю эту ряню, сахарно сияющую плоскость плотно приключенного к доске листа, отчего через время он заволакивался как бы невнятным туманом, и только Анна Петровна, одна на всем свете, видела, как в этом графитном серосплетении брезжит все определеннее и явственнее облик будущего чертежа.

И уж вовсе пронзительной была услада — набрав в рейсфедер тушь (точнее бы сказать: напоив с перышка выпуклый стальной клювик рейсфедера капелькой, тяжелой, будто черная ртуть, туши...), повести самую первую — тугую, идеальную, как струна, и, как струна же, тотчас начинающую з в у ч а т ь первую линию...

Она, будучи, как и все Мастера, довольно честолюбивой, обожала момент, когда нужно демонстрировать работу заказчику.

Заказчиками были по преимуществу инженеры — малоудачливые и снедаемые демоном изобретательства люди — одновременно и гордые, и робкие, и заносчивые, и неуверенные в себе.

И для нее наслаждением было — наслаждение, к которому невозможно было привыкнуть, — смотреть, как изумленно светлеют их сероватые, плохо, как правило, бритые, измученные бессонницами лица, когда она откалывала укрывающую ватман газету и являла им чертеж, — как с почти детским восторгом, и веря и не веря, начинают взирать они на детище свое, перевоссозданное чертежным гением Анны Петровны, как торопливо, жадно и ненасытно мечутся по листу их миглом воссиявшие глаза, — и несказанной отрадой было с л ы ш а т ь, как льется отрада в эти неуверенные, растравленные несправедливыми неудачами души, когда они, жадно обожая, читают-перечитывают и вновь начинают читать чертеж, столь прекрасный сам по себе, идеальный, что поневоле прекрасным и идеальным казалось им в эту минуту и то, что этот чертеж обозначал, — и видеть, как

спокойствие, горделивое достоинство, вера в необходимость себя возвращаются к этим людям.

Они всегда почему-то торопились после этого, ее заказчики: побыть одним, вдосталь погреться у этого вдохновенно вспыхнувшего огня, а Анна Петровна, проводив их до дверей, возвращалась и, небрежным, слегка актерским жестом бросив в картонную коробку из-под печенья «Петифур» деньги, — жестом, который ее саму немного коробил, но который каждый раз повторялся, как и краткое неудовольствие от него, — гасила лампу на кульмане и подходила к зеркалу — побыть немного вдвоем с такой же, как она, слегка усталой, увя, уже стареющей, но все-таки (сразу было видно) счастливой женщиной, на лице которой все гасла, не могла погаснуть мягкая материнская улыбка добра и снисхождения к людям.

* * *

...Мышинный сумрак, как тихий дым, вплывал в ее комнатенку через церковное давно не мытое и мутное окно.

Почти вовсе уже неприметная в этих потемках, чуть слышно дышащая, похожая на тощенькую скромную грудку серенького тряпья, свернувшись жалобным калачиком и стараясь только, чтобы одна костяная коленка не попадала на другую, насквозь слыша всю нежную ветхость своего тела, каждой истонченной косточки его, каждой усохшей мышцы и жилки, — лежала старая женщина по имени Анна Петровна на бодро упругой, уже даже не проминавшейся под ней кровати и — то ли спала, то ли грезила наяву, ручку одну, как послушный ребенок, подложив под щеку, а другой касаясь подушки и иногда поглаживая ее, то словно бы благодарно, то будто бы в поощрение, изумительно все еще красивыми пальцами своими, на одном из которых, такой загадочно вульгарный, красовался нелепый тяжкий перстень из старого, словно бы грязноватого серебра...

...и какие-то полузабытые дождики вновь шли над землей — добродушные летние дождики, от которых вода в реке серела и смешно шипела, как газировка, и от которых так по-детски весело было прятаться, запыхавшись, под надежную родительскую кровлю старых приземистых елей и тихонько сидеть там, затаившись: слушая дождь, слушая в себе отдаленные, сладкие память-голоса бесприютных далеких предков...

...и свирепые, цвета свинца, приходили рассветы — тусклой седой водой заливали мертвый плац перед казенно-желтой, с мелкими квадратиками окон огромной казармой, и звук походной трубы, раз за разом надоедливо взмывающий и неуместно весело, словно вприпрыжку, пробегающий над плацем, оставлял, казалось, в хмуром, добра не предвещающем небе черненькие, четкие, угловатые загогули, не сразу истаивающие и более всего похожие на быстрый росчерк мягким карандашом по плотной свинцово-сизой бумаге.

Въедливый холод железа в ладони, сжимающей ржаво-шершавый прут решетки забора, — он, как отчаяние, пронзал все, что печально творилось в тот час в душе Анны Петровны:

и спешную жадную надежду еще раз увидеть, взглядом отыскать, как спасти, в многосотенной толпе пугающе одинаковых людей, вдруг заполнивших двор, для нее единственное в мире, до дрожи обожания возлюбленное ею лицо,

и унижительное смиренное уныние от явной невозможности сделать это,

и — жгучую радость, которая польхнула вдруг, когда, наконец, она увидела, узнала его!

и растерянность — оттого, что узнала она его с трудом, скорее угадала,

и ужас — потому что любимое это лицо уже было лицом чужого, силой отчужденного от нее человека, и как все другие лица в шеренге, оно уже было как бы присыпано оловянной мертвенной пылью этого июльского рассвета.

...Им скомандовали, и они с добродушной неумелостью повернулись в затылок друг другу и забухали разболтанными сапогами сначала на месте, а потом — к выходу с плаца, и пошли, родные, потихоньку пошли на погибель, и, казалось, что страшная тяжесть лежит у каждого в его нищенской торбе, притороченной за плечами...

По-волчьи, сама тому зло изумившись, взвывла вполголоса Анна Петровна. Она боялась даже представить, как выглядит сейчас ее лицо, — оно не могло быть не ужасным, потому что свершалось самое ужасное, что только могло свершаться: ее любимого уводили на смерть (н а с м е р т ь — это она знала наверное), а она никак и ничем не могла остановить этого будничного злодейства.

...и какие-то давно забытые музыки звучали ей, сменяя, обгоняя, обрывая друг друга:

то в полусумрачной дачной зале (за окнами, вплотную, почти вваливаясь через подоконники, — сытая хмурая зелень летней листвы...) кто-то — сестра? мама? — быстро, со снисходительным шиком играет что-то детское из Шуберта.

Ужасно печальной казалась эта светленькая чистенькая мелодия — словно одинокий ребенок, танцующий сам с собой в огромном полутемном пустом доме, потому что... потому что всем уже м а л а была эта беззаботно припрыгивающая полечка — и тому, конечно же, кто играл, и даже Анне Петровне, девочке Ане, которая по-взрослому зябла в этот час под маминым пледом, забившись хмурым зверьком в угол огромного, уютно-расхлябанного дивана, где, по-взрослому подобрав под себя ноги, бледненькая и растревоженная, она с немного враждебным вниманием, почти без испуга, следила за тем непонятным и новым, что неспешно и темно свершалось в ней... А полечка Шуберта, подскакивая и резвясь, все носилась по сумрачному паркету, и какая-то растерянность уже жалко чудилась в чуждых колокольчиках этой беспечной кукольной песенки...

то — «Ейн, цвей, дрей!» — вдруг принимались навзрыд хохотать, аж повизгивать от дикого веселья насмерть перепуганные жидовские скрипки в какой-то грязной украинской хате, битком набитой наперебой регочущими, жрущими, пьющими, сказочно страшными мужиками.

Тошнотворно воняло керосином от десятка ламп, щедро зажженных ради торжественного события по столам и стенам; перехватывало дыхание и резко скребло в горле от махорочного дыма, который жирным сизым пластом почти недвижимо висел по хате; и ледяным вокзальным сквозняком несло по полу, по ногам — от дверей, которые каждую минуту открывались прямо, казалось, в черную зимнюю ночь.

В двери входили-выходили толсто одетые, обвешенные оружием люди, пьяно цепляясь боками о притолоки, гремели саблями, сыто ржали, и от них все теснее и дальше в угол сбивались одетые в черное, странные тут музыканты — трое или четверо — в лапсердаках, больше всего похожие на простуженных грачей.

Страшно торопливо, с фальшивым бесшабашием охаживали они смычками свои облезлые, словно бы игрушечные скрипочки и при этом разнообразно-заученно выделяли какие-то странные (тоже, должно быть, веселье означающие) телодвижения,

одновременно же и лицом показывая какие-то жуткие, кисло-сладкие гримасы, — и то и дело взглядывали, то один, то другой, подобострастно, но и внимательно, на того, кто грозно и пьяно возвышался рядом с невестой — почти уже неживой от ужаса, от нескончаемой тошноты этого ужаса, девушкой, почти девочкой, которая, боясь поднять на окружающее глаза, изо всей силы зажимала между коленок заледеневшие пальчики и беззвучно прищептывала обескровленными синеватыми губами: «...не со мной... это — не со мной... не со мной...»

Как кнутом ужаленный — «Ейн, цвей, дрей!» — вскрикивал время от времени один из скрипачей, и по новому кругу принималась скакать издевательски веселая, гнилые зубы скалящая, словно бы злорадно подхихикивающая музыка. И ничто лучше этой музыки не могло передать весь ужас, всю кошмарную неимоверность того, что творила с ней, Анной Петровной, жизнь в тот бесконечный, все длящийся и длящийся, как обстоятельная пытка, вечер...

а то — вдруг явственно начинал звучать захолустный мильный шип какой-то заезженной патефонной пластинки, сквозь который с усилием, такой замшело-плюшевый, такой уж мармеладный тенор, так уж старательно пел (приподымаясь, должно быть, при этом на цыпочки со своих и без того дамских лакированных каблучков...), так уж сладостно пел-выпевал, чуть спонявя слова: «...роза... тенистый сад... силуэт...» — что становилось и не противно даже, а просто разбирал смех. И смешно было слушать, как сладко-тягучее это танго так всерьез старается заморочить ей голову, и смешно было отмечать, какая, — ах! какая красивая! — нагорожена кругом красота для этого амурного действия: тут и парная южная ночь, и луна, и море в серебре, и кипарисы в серебре... — и уж совсем приводил в смешливую растерянность некий рахат-лукумный, осторожно-наглый и непробиваемо глупый, который то и дело возникал над ее плечем с опереточным своим пребором в жирно намасленных, курчавеньких волосах, поражая пошлейшими повадками и лакея, и, одновременно же, сердцеда времен немого кино. Все это прямо-таки обескураживало — неужели такое всерьез?! — но странное, сладкое дело — подначивало почему-то баловно подыгрывать: глаза делать — «загадочные», улыбкой улыбаться — «сводящей с ума»... — и сладко было слушать, как на тоненьком стебельке шеи хмельно водит от одного обнаженного плечика к другому обнаженному

плечичку так прелестно поглупевшую ее головку с тязко распалюющимся румянцем на щеках, и каждую секунду знать, помнить, стараться не забыть, что все это не всерьез, не всерьез, ну, разумеется же, не всерьез...

* * *

То сонно замирая, то вдруг живо и весело устремляясь в бег, крутились замшелые от времени шестерни ее памяти. И — забытые музыки вдруг начинали звучать, и доносило какие-то давние запахи, чьи-то улыбки вспыхивали во мгле, виделись чьи-то жесты... Мгновения боли, страсти, счастья, тревоги — все это вперемежку и безо всякого смысла плыло перед глазами, сталкивалось, вытесняло одно другое.

Старая женщина смотрела — с одинаковой мерой жадности, любопытства и нежности смотрела на всех этих, таких непохожих женщин, и лишь иногда проплывала растерянное: «Странно, что все это — я...» —

...и эта — которая, восхищенно запрокинув в синее тушинское небо невольнo улыбающееся, но и чуточку напряженное лицо, ощущая при этом, как теплый аэродромный ветер, словно бы нежной пуховкой, шутя щекочет ее открытую всем шею, — восхищенно следила за курносым красным самолетиком, который выделял в вышине непонятные и, видимо, очень сложные курбеты: то воодушевленно, с последней надсадой взывая мотором, взлетал на невидимые глазу крутизны, то вдруг, катастрофически смолкая, принимался падать, причудливо куврыкаясь, отчего по трибунам тотчас проносился единый вздох недоуменного ужаса, запирало дыхание в горле и нарастал, как летящий с горы, дикий страх... всегда, впрочем, вовремя сменявшийся веселым облегчением, когда мотор вновь начинал стучать, а красный самолетик, ловко и лихо вывернувшись из замысловатых петель своего падения, вновь возносился по крутой победоносной дуге к зениту, и вновь вытворял там что-то веселое и рискованное, и снова падал — чтобы, наконец, покачав с цирковым шиком на прощание крылышками, непобедимо унести за край поля, мгновенно пропадая из виду...

И тогда синее пространство над летным полем в Тушино, —

точнее бы сказать, некий условный синий куб, в котором разворачивалось представление воздушного парада, — на минуту-другую пустело, слышнее становился ветерок, какой-то очень вольготный, сродни морскому, и —

и наслаждением была уверенность, что слегка только повернув голову — влево и чуть вверх, — ты встретишь глазами все ту же ровную, изобильную, мудрую нежность, с какой смотрят на тебя глаза, любимые тобой...

...и эта женщина, жалкая, тоже была Анна Петровна — та, что брела, вырвавшись вопреки всякому вероятно из жестокой бестолочи скитаний — битком набитые вагоны, грязь, стыд, голод, унижительное ощущение тряпки, несущейся в мутном потоке... — брела, не испытывая уже ничего, кроме черной, как каменеющий деготь, усталости, старушечьи волоча по половицам чудовищные свои солдатские боты, зашнурованные кусками телефонного провода, брела —

а навстречу ей глядели екатеринодарские ее родственнички, на лицах которых в эту ясную минуту было все написано: и неприязнь, и отталкивание, и злоба, и жалость, и страх заразы — брела, боясь, что не хватит сил именно на последние эти шаги, уже не испытывая ни радости, ни облегчения, ни спасенности, — и вдруг остановилась в сонном удивлении, впервые за последние полтора месяца вновь увидев зеркало.

Серая нищенка осторожно взглянула на нее оттуда. Лицо у нищенки было странно-живым.

Анна Петровна приблизилась еще на шаг, наклонилась и увидела, что это — шевелятся брови, седые от копошащихся вшей. И — потеряла на какое-то время сознание от безжалостного, как удар в лицо, отвращения к себе.

Что-то выкрикивала потом: «Не прикасайтесь, прошу вас!» — а через время, уже наголо остриженная грубо-повелительными руками одной из теток, самой изо всех родственников отважной и милосердной, но так и не сумевшей, впрочем, согнать с лица заоченелую гримасу омерзения, пока она орудовала ножницами, — через время она уже снова истерически, словно взывая, рыдала от унижения и счастья, запертая в клуне наедине с пятнадцативедерным баком горячей воды, овечьим корытом и огромным шматком жидкого мыла, навинченного на палку и вместе с палкой же брошенного ей из-за двери чьей-то боязливой рукой.

Сначала и рыдала, и вскрикивала, и похохатывала в голос, не

в силах умерить этот животный ужасный вульгарный голос, потом — изможденно сладострастно стонала, восторженно ныла, а под конец, уже не было сил, лишь тихонько, безостановочно сладко плакала, комочком свернувшись на дне долбленого, похожего на неглубокий гроб корыта, стараясь не шевелиться и и лежать плоче, чтобы до краев налитая вода покрывала ее всю, как в детстве одеяло, натянутое мамой до самого подбородка.

...и эта женщина — довольно милая — тоже, как ни странно, была она, Анна Петровна.

В дружелюбном вялом лежище разморенного зноем одесского пляжа она одиноко сидела на голубом тканевом покрывале, как на плотике, и терпеливо, сосредоточенно возилась с рыжеватыми обильными волосами, собирая их в узел, — скупно при этом зажимая в губах шпильки, исподлобья, как исподтишка, поглядывая по сторонам, и отрываясь то и дело, чтобы терпеливо запахнуть раскрывающиеся на коленях полы легкого ситцевого халатика.

Наконец она закончила с волосами, встала и — испытала легкое рыжее помрачение в глазах оттого, что встала слишком уж быстро, и оттого, что слишком уж яро ударило ей в зрачки солнце, белесой громадой обрушенное на все вокруг, — принялась неторопливо, словно бы в рассеянности, расстегивать пуговицы на груди, при каждом расстегивании преодолевая мгновенный, мгновенно же смиряющийся протест оттого, что это, конечно же, стыдно, что она снимает платье на виду у всех... Но, все более ощущая в себе простецкого, почти бесшабашного веселья, она все-таки сняла халатик, — вернее, позволила ему упасть на землю пестренькой, ничего, в сущности, не значащей тряпкой — и выпрямилась, глубоко, но и слегка настороженно вздохнув.

Ее охватило прохладой, солнцем, мужскими взглядами.

Она привычно встряхнула узлом волос, откинула голову и пошла к воде той особенной походочкой, которую она называла про себя «королевская цапля», но уже через несколько шагов напрочь забыла об этой чепухе — потому что так уж проникновенно, со смешной пытливостью, почти нестерпимо жег ее изнеженные ступни песок пляжа, —

потому что так уж отдохновенно, всласть, вздыхалось всему ее телу, почти совсем обнаженному, —

потому что с каждым шагом все ближе и выше вставало перед ней хмуроватое, сине-серое от высоко стоящего солнца море, которое очень по-домашнему толклось возле пляжа, коротенько гоня по песку всякий пустяковый, совсем не противный взгляду мелочный мусор.

Она легонько перешагнула через кайму накипи и ступила в море, восхищенно подивившись тому, какая почти горячая здесь, на отмели, вода, и пошла вглубь, настороженно ощупывая ступнями неприятно заиленное дно.

Через несколько шагов, не желая ждать, когда поднявшаяся до верха бедер вода обожжет ее неприятным от неожиданности ознобом, она решила и быстро, по-бабьи, присела и окунулась до плеч, быстренько поднялась и, уже приобщенная к морю, побрела дальше в его глубину, сомнамбулически улыбаясь в ожидании единственного, восхитительно-обморочного мига, из-за которого, собственно, ее и тянуло всегда к морю, — мига, когда море на вздохе возьмет ее, наконец, всю в себя, подымет и, лишенную веса, будет держать в себе, осторожно и нежно покачивая... И в мгновение это душа ее грешная забудет свое тело и взмоет! — с восторгом освобождения, сликующим облегчением взмоет — ввысь! и словно бы вишь!

* * *

Анна Петровна никогда не могла заметить, когда видения эти переходили в сон. Да и не снами ли они были — снами о молодости, снами о жизни, которая безвозвратно и равнодушно протекла сквозь нее, как песок протекает сквозь песочные часы?

А может быть, напротив, сном было то, что начиналось, когда поутру она открывала глаза, — это ее терпеливое прозябание возле скучного окошечка? А жизнь-то, настоящая ее жизнь, только там и оставалась еще, в тех ночных воспоминаниях о себе?

* * *

У нее уже давно ничего не болело. Просто жизнь — словно бы уже выдыхалась из нее.

Она догадывалась, что это, видимо, последние ее дни, потому что все больше и больше усилий требовалось ей, чтобы жить.

Странно, но не было страха. Лишь все больше горючей

нежности было в том, как она глядела на горестную людскую череду под окном во дворе. И впервые за многие годы ей хотелось поплакать: о них, о себе, о них.

Однажды она забылась, положив голову на подоконник, — так сладко, так благодарно, устало забылась! — и впервые без всякого протеста думала сквозь забытье о том, что она ведь уже уходит — потихоньку, но уже уходит, — и как славно, что это происходит вот так, без мучений, словно это всего лишь дрема на пригретом солнцем подоконнике.

С того дня она часто позволяла себе подремать среди дня возле окошка, когда слабость особенно уж одолевала ее.

Минуты забытья становились раз от разу все дольше и мрачнее. Она это чувствовала. Слышала, как безвольно распускаются лицевые мышцы, едва она закрывает глаза, лицо становится незнакомым, чуждым, челюсть слабеет, и, словно бы со стороны, она с неприязнью видела тот пугающий, скорее звериный, нежели человеческий, оскал, в котором обнажаются ее мертвые пластмассовые зубы.

Но не было сил привести в порядок лицо.

Однажды Марина, ворвавшись в комнату Анны Петровны, увидела ее именно такой.

От неожиданности перепугалась, однако, заметив, что бабка еще дышит, с кряхтением, волоком стала перетаскивать на кровать.

Анна Петровна, конечно, пробудилась. Но у нее действительно не было сил — даже для того, чтобы самой лечь в постель.

Безропотно позволила себя уложить, накрыть одеялом.

При этом безотрывно и внимательно-тихо смотрела на Марину: такой она внучку не знала.

И почему-то Марину тоже — ужасно было жаль. Не красива, не добра, не умна, а казаться ведь хочется и красивой, и доброй, и умной...

Анна Петровна вздохнула горестно и вдруг — очень неожиданно для себя, с неожиданной легкостью расставаясь с пустяковой своей тайной, — почти без выражения выговорила:

— Н е т у м е н я н и ч е г о , м и л а я М а р и н а . Т ы у ж н е о б и ж а й с я н а м е н я — н е т н и ч е г о .

Марину — будто внезапно уличили. Задвигалась суетливо. Что-то принялась передвигать на столе. Жалко отворачивала лицо.

— ...вы, я знаю, кажется, надеялись. Но — вы уж не обижайтесь, если можете, — н и ч е г о нет.

— На что надеялись?! — грубо и фальшиво заорала Марина.
— Зачем нам на что-то надеяться?! Ты что, бабуля, совсем?!

Анна Петровна, однако, почти не слушала.

Преисполнившись вдруг неизъяснимого удовольствия от этой сцены, ощущая с досадливой иронией всю ходульность происходящего (и одновременно же радуясь этому: «Стало быть, еще не всерьез... Это, стало быть, еще не скоро, коли мне так смешно...»), Анна Петровна вот что проделала:

протянула Марине руку, чрезвычайно театрально словив ее в запястье, и принесла, с немалым удивлением слушая, как жеманно и актерски истомленно звучит ее голос:

— Возьми хоть это, внучка... Пусть хоть это останется тебе на память.

(Что за бес балаганный вселился вдруг в Анну Петровну? Что за озорная нужда ей припела лицедействовать на самом смертном своем пороге?)

Марина непонимающе взирала на бабу.

Даже некое подобие тревоги написалось на ее лице.

А когда поняла, о чем говорит Анна Петровна — о перстне с деревенской стекляшкой, — очень облегченно брякнула, ни пренебрежения не скрывая, ни обиды:

— А! Да на кой он мне? Сама уж форси.

— Возьми, — настойчиво попросила Анна Петровна.

И Марина — взяла. То ли не желая перечить умирающей, то ли (скорее всего) оттого, что не в ее силах было отказываться, когда что-то дают, — проворно вдруг наклонилась, как бросилась, к протянутой руке и стала сдергивать.

— Больно же так... — раздосадованно поморщилась Анна Петровна, переложив голову на подушке и вдруг — опять заснула.

Заснула — камнем в черную густую воду — и жаль, что не видела, как внучка ее, сидя у стола, сначала просто так задумчиво сидела, потом — разобиженно завсхлипывала, а затем — грубо, хоть и потихоньку, заревела, совсем по-детски отклячив губу.

И все рисовала, рисовала по скатерти забытым в руке перстнем какие-то сплошные квадратики, а другой ладонью время от времени словно бы опрятно сметала в сторонку...

И казалось, что вовсе не о пустых своих надеждах на бабкино

богатство плачется ей, а о чем-то совсем другом, постороннем — о своей жизни быть может.

* * *

...А через день, задыхаясь в проклятьях: — «З а р а з а! У-у, старая зараза!» — Марина опять с грохотом вломилась в тихое обиталище Анны Петровны.

Старушка, не зажигая огня, сидела, по обыкновению, возле своего окошка, глядела, пригорюнившись во двор... —

вдруг! с ужасным треском распахнулась дверь, влетела Марина, и — началось!

Началось нечто, разуму не постижимое, отвратительное, стыдное и страшное настолько, что сердце Анны Петровны как скомкалось при виде внучки в сухонький слабенький кулачок, так и не разжималось больше.

Поспешно, как в панике, залепетало сердчишко вполстука, и тошнотворные веселые качели принялись то возносить Анну Петровну в звонкую высь, от которой она в ужасе расширяла глаза (а тут — исковерканное злобой лицо Марины: «Зараза! У-у, старая зараза!»), то швырять без жалости, надругательски, кратко в предсмертные, тоскливые какие-то потемки.

Марину аж заколотило от ненависти. Она даже как бы подпрыгивала слегка, страдальчески скälясь от невозможности и заорать в полный голос, и сделать хоть сколько-нибудь крупное движение в этой злобной тесноте.

— Ты ч т о мне подсунула, гадюка беззубая?! — кричала Марина придушенным шепотом, и руки ее с кошачьи скрюченными пальцами так и рвались в угол, где, обомлев, беззащитно трепетала, вжимаясь в стенку, Анна Петровна. — Ты что же, ведьма, не могла по-человечески сказать, что даришь?! Всю жизнь паскудила — и нам решила напоследок напаскудить?! Я вот пришла тебе сказать (и не говори потом, что я тебе не говорила): если нам что-нибудь б у д е т из-за твоего колечка, клянусь!! — я тебя, заразу, гадюку подколодную, вот этими вот руками удавлю!!

Ничегошеньки не понимая, смотрела Анна Петровна на Марину и совершенно не узнавала ее. Иной раз будто и мелькало что-то знакомое, но тотчас же — словно грязной растрепанной кистью, наотмашь, смазывалось! И вновь какое-то неведомое

разнузданное опасное животное бесновалось перед ней.

— Ты всегда меня ненавидела! Думаешь, я не знаю? Я мешала тебе! С самого детства! Теперь — отомстила?!

Запухшие, больные от бешенства глаза. Мокрым наружу вывороченные губы. Руки с жадно растопыренными, жаждущими схватить крючьями пальцев...

«Господи! — трясло старую женщину. — Кто это? За что это?»

Она ни слова не понимала из того, о чем кричит Марина. Ничего не понимала — кроме этой бешеной, п р о т и в н е е направленной ненависти. И ни обиды не чувствовала, ни возмущения — куда там! — один только ужас смертный.

— Пожалела... — Марина, прикрыв глаза, с медленной мукой раскачивала головой из стороны в сторону. — Единственному родному (!) человеку пожалела... Трудно было сказать, что за перстень даришь? —

и вдруг дико взвизгнула, словно озаренная:

— Под монастырь хотела подвести?!

Тут что-то жалобно звякнуло, упав на столе. Марина недоуменно поглядела и — вдруг — со злорадным наслаждением смахнула на пол все, что там стояло!

Звон разбившегося стекла — словно плеснули бензином в огонь — распалил ее по-новому.

Со сладким ехидством вскрикивая: «Так вот тебе! Вот тебе, зараза!» — стала проворно обрушивать со стен полочки с какими-то вазочками, цветочками, статуэтками. (Ни одной не пропустила, а там, где не доставала, не ленилась вскакивать то на стул, то на кровать.)

Вдруг метнулась и, цапнув с гвоздя, с жадным удовольствием разодрала старенький халат Анны Петровны.

Тотчас, выдернув ящик шкафа, принялась выхватывать оттуда вещи и — явно обезумев — поспешно рвать их, каждый раз поднимая в руках и словно бы демонстрируя Анне Петровне:

— Вот тебе! Это не семьдесят тысяч! Но я тебя голой оставлю, старая шлюха!

Рвать было, по-видимому, легко: все было старенькое, стираное-перестираное.

Но вот попало ей в руки какое-то покрывальце, грубо простроченный край которого она не смогла, даже со стоном

тужась, надорвать. И — словно бы надорвалась сама.

Отшвырнула в сторону.

Руки ее крупно тряслись.

Вдохновенно огляделась еще раз (вдохновение, однако, меркло: ничего такого не попадалось на глаза, что можно было бы разодрать, расколотить, уничтожить...) — и вдруг, как в страхе, будто опомнившись, бросилась вон, так хряснув напоследок дверь, что из скважины вылетел и с жалобным дребезгом покатился по полу ключ.

...Выскочила, хряснув напоследок дверью, бегом слетела по лестнице, прыгнула в машину.

Ключ зажигания никак не желал попадать в скважину. Она долго билась, яростно дыша, вставила наконец, но заводить не стала. Села, как маленькая девочка, на собственные руки: «В таком виде ехать нельзя. Надо успокоиться...»

Надо было успокоиться. Но как тут, Господи Боже, можно было успокоиться, если т а к и е деньги — семьдесят тысяч! — прямо из кармана выхватили!

«И все из-за мымры этой! Из-за гадюки этой беззубой! Даришь? Ну так и дари, как люди! Хоть намекни, какую ценную вещь даришь! А она... сунула! «На память!» — как побрякушку из табачного кноска!» — и Марину опять заколотило в бесплодной яростной дрожи.

И опять — хоть и не хотела — принялась она вспоминать, как пошли они вчера с мужем от нечего делать к соседу по автостоянке Кузнецову Лев Яковлевичу, ювелиру, — показать бабкин подарок.

С паршивой овцы хоть шерсти клок (так между собой рассуждали, идиоты!). Может, сотняжечку-то, стоит? Серебро нынче в цене. Взял Лев Яковлевич перстень — пренебрежительно, словно бы даже с усмешечкой взял. Но потом, в мгновение ока, п р е п о л н и л с я! Будто бы даже — перепугался. Вот тогда, вот тогда-то еще не поздно было сообразить, выхватить из рук, запрятать, а Лев Яковлевичу потом в глаза рассмеяться: «Что вы, Господан хороший? С сучка, что ли сорвались? Какой перстень?...»

Все ведь у Кузнецова в глазах сразу же написалось — блудливые, подсчитывающие сделались глазки. От восхищения (не удержался однажды) даже слюной засвистел.

Долго подсчитывал Лев Яковлевич. Наконец подсчитал и вывел: нет ему резона этот гешефт делать. Чересчур риск велик. Зато гораздо больше будет ему пользы по-другому поступить: стукнуть, аккуратненько, куда полагается стукнуть! И никому завидовать не надо будет, и на душе будет спокойно, и в ОВИРе, даст Бог, в заслугу зачтут подвиг сей.

«Вещь, — сказал Лев Яковлевич, — стоящая. Но сколько именно стоящая — сейчас сказать трудно. Зайдите, Марина, ко мне в скупку, завтра, в половине двенадцатого. Вот тогда я вам все в точности скажу».

Они с мужем — за дверь. А он, зараза, — за телефон.

Стук-постук. Так и так. Я — такой-то такой-то, довожу до вашего сведения: «Двуликий Янус» — алмаз-премьер, со времен гражданской войны в розыске, национальное достояние, а нашел я — Кузнецов Лев Яковлевич, беззаветно преданный, при оформлении визы на выезд прошу учесть и иметь в виду.

Утром Марина — к дверям, чтобы схать в скупку. А в дверь — звонок. Двое. Молодые-спортивные, красные книжечки. Душевный разговор. Недолгая поездка в казенной «Волге».

А там — три старикашки эксперта, развеселый Лев Яковлевич, пара полковников, трое штатских.

«Распишитесь, Марина Николаевна. Здесь, здесь и здесь».

Отчужда е т с я! Это слово у них такое специальное, когда они в сумочку к тебе залезают и, это, отчуждают.

«Спасибо, — говорят, — спасибо, Марина Николаевна! Вы помогли вернуть нашей Родине (правда, сами того не ведая) национальное достояние наше, всемирно известный «Двуликий Янус»... — а в каждом их слове, а в каждом их взгляде словно бы усмешечка таится: «Дура вы, Марина Николаевна! Дура вы немытая!»

А Лев Яковлевич — гнида!! шины проколю!! — ласковенько улыбаясь и все время на полковника оглядываясь, будто он тут свой среди своих, говорит: «Вы, Марина Николаевна, вчера ценой интересовались... Сейчас-то, конечно, вам все равно, но, если очень интересно, — семьдесят тысяч камушку вашему цена! Грубо, примерно...»

Вспоминая все это, сидела Марина — как несколько часов назад в том кабинете, — зажмурив глаза, губы закусив, — словно из нее внутренности медленно тянут — и тонко, мстительно улыбалась.

Наконец тронула сапожком стартер. «Жигуленочек» тотчас заворковал — преданно, нежно. Она что-то невнятное — горькое и ласковое — подумала о нем: «Один только ты у меня...»

Потихонечку тронулась.

«...Мне не важно (хотя, конечно, и жутко интересно) под каким таким миллионщиком ты лежала и какие такие фокусы ему показывала, что он так щедро с тобой расплатился», — она уже выехала со двора и теперь опять, мысленно опять распаяясь, орала в лицо Анне Петровне:

«Не важно! Но почему же ты, ехидна облезлая, решила именно мне эту пакость подстроить? Хоть бы намекнула, что за камень такой в перстне! Да разве бы я его в скупку потащила? Да разве бы я не нашла покупателя, тихого и благородного? Да я бы на части его расплила, премьера этого, не посмотрела бы, что он, видите ли, достойные! «Досто-оаянне... Ему место в Алмазном фонде...» Еще не известно, в чьем именно «алмазном фонде» он теперь появится. А я-то! Как самая распоследняя дура! Своими собственными руками!!» —

и, разумеется, на первом же перекрестке, с запозданием заметив красный свет, сменившийся в светофоре, она так уж чересчур в сердцах, ударила по тормозам, что следом идущий самосвал безо всякой жалости и снисхождения въехал ей, понятное дело, в багажник.

Посыпались стекла.

От удара зажглась ужасная боль в затылке.

Она завизжала. Но, впрочем, не только от боли. Завизжала она, прежде всего, от неимоверного страдания, которое должен испытывать ее ненаглядный «Жигуленок», в лакированную задницу которого, сминая ее в уродливую гармошку, вторгался на скорости тяжелый, тупорылый, зашлепанный цементом грузовик.

Домой притащилась уже под вечер. (Приволок на тресе тот же самый самосвальщик, что изувечил ее. Еще и десятку содрал, хам.)

По лестнице поднялась, еле ноги волоча.

Под глазами синяки вылезли. Вид — хоть куда, хуже побитой суки.

Муж дверь отворил. Пластик с плеч вежливо принял. В комнату перед собой пропустил. А в комнате — хрясь по уху!

Ты, говорит, выдра заморская, из-за твоей вонючей родни...

Короче: к нему сегодня тоже о т т у д а приходили, вопросы

задавали. Что за камень, откуда камень, по какому праву камень.

А после допросов-вопросов и собственный начальник вызвал. Я, говорит, знать не знаю и знать не хочу, в чем именно вас обвиняют — со своей белогвардейской родней как-нибудь сами разбирайтесь, — но должен только заметить, что в таком учреждении, как наше, после всего того, что случилось... и — уж это то во всяком случае! — ни о каких загранкомандировках теперь даже речи быть не может!

— Ты хоть понимаешь, зараза, — орал Марянин муж, как в трубу, — ч т о твоя бабка своим подарочком наделала?! Я десять лет по этой лестнице вползал. Каждую ступенечку вылизывал, прежде чем встать на нее! На тебе, кретинке, женился, чтобы вопросов не возникало! А теперь?.. —

и пуше всего на свете хотелось ему в эту минуту — аж в душе зудело! — еще разочек супруге своей по уху заехать.

Но она, к сожалению, как с первого раза села на пол, так там и сидела полвечера, пригорюнившись.

И наступила тишина.

Анна Петровна, прикрыв глаза, сидела, откинувшись затылком к стене, и дикие качели все носили ее, бедную: вверх — со взвизгом, вниз — со стоном, и слабенькая жизнь трепетала в ней в эти минуты, едва ли не прерываясь — как пламечко тоненькой свечки на черном злом сквознячке.

Какую-то странную рыбину видела Анна Петровна. В глухой тяжелой воде — в ее мрачно текущей глубине, возле самого дна — какую-то тусклую рыбину, которая, привалившись к угольно-черной окаменелой коряге, оловянно думала о чем-то, —

оловянно думала о том, как это странно, что нужно все плыть, плыть, плыть (всю жизнь!) — одолевать эту беспросветно-тупую силу течения (всю жизнь!), вечно стараться быть на плаву, вечно противиться встречному плотному току воды, как искушению, —

как искушению: отчаянно кувырнуться бы на бок! отчаянно отдаться бы течению! пусть! испытать бы (наконец-то!) то сказочное ощущение острейшего, сладчайшего покоя, П о к о я, которое всю жизнь чудилось ей, этой рыбине, как награда, там, по окончании этого монотонного и не совсем ей понятного

подвига: все плыть, плыть, плыть — всю жизнь! — вверх по течению, вопреки, к верховьям.

...И едва ей подумалось этой рыбине, об искусительном том покое — она, действительно, легко и проворно вдруг пала на бок! —

и ее тотчас злорадостно, бешено закрутило, понесло, закувыркало, смертельно и стыдно забелевшую брюхом! И только в эту секунду вдруг стало ясным: какое жестокое и властное было течение. И только в эту секунду вдруг стало ясным: какая сильная, какая отважная и красивая была эта рыбина, всю жизнь противостоявшая т а к о й реке.

«Это, наверное, я сейчас чуть не умерла», — подумала Анна Петровна.

Был поздний вечер. Может быть, даже ночь.

Она поднялась и, осторожно пощупывая ногами пол, прежде чем сделать шаг, держась за стену, за мебель, начала пробираться к постели.

Ее колотила дрожь, но какая-то странная дрожь. Совсем не болезненно, но безостановочно и неостановимо, в диком разное дергались, стучали, пульсировали, подплясывали все без исключения, казалось, органы внутри нее — каждая даже клеточка, каждое сухожилие, волоконец.

Будто это и в самом деле ее только что безжалостно несло, кувыркало, швыряло и било в убийственной той реке...

Наконец она добралась до кровати. Легла — голову прикрывши рукой, как от побоев. Ей очень хотелось уснуть, ей было плохо, но сон только на рассвете пустил ее.

«По существу предъявленных ей вопросов гр-ка Захарова-Кочубей Анна Петровна, русская, 1901 года рождения, уроженка г. Муром, показала следующее.

Перстень до недавнего времени принадлежал ей, а точнее, до 29 сентября сего года, когда она подарила перстень внучке, Новоселовой М.Н. Передача перстня Новоселовой М.Н. не имела целью сбыт перстня. Перстень был передан Новоселовой М.Н. на память по причинам слабого здоровья и возможной кончины в ближайшее время. О происхождении перстня ничего определенного сказать не может. Его подарил гр-ке Захаровой-Кочубей

весной (февраль — март) 1919 года человек по фамилии или кличке Кочет, которого она называет своим первым мужем, хотя брак не зарегистрирован, но свадьба была. О личности Кочета ничего определенного показать не может. Он был военный, один из командиров отряда. Главным в отряде был по фамилии Перебийнос. На чьей стороне воевал отряд, ничего определенного показать не может, объясняя это молодостью лет и непониманием того, что происходит в мире, кто с кем воюет и из-за чего.

Перстень был передан гр-ке Захаровой-Кочубей, как она думает, в тот момент, когда ее, больную, в бессознательном состоянии оставляли в деревне Васильевка Екатеринославской области (зачеркнуто) губернии. Когда она очнулась, перстень был надет на пальце правой руки камнем внутрь ладони. Больше отряд Перебийноса и человека по имени Кочет, который, наверное, и надел ей на прощанье перстень, гр-ка Захарова-Кочубей никогда не встречала. Обстоятельства появления в отряде: силой ссадили с поезда. О ценности перстня гр-ка Захарова-Кочубей определенно показывает, что ничего не знала. Всю жизнь носила как талисман. Название «Двуликий Янус» слышит впервые. Никаких ни к кому претензий не имеет.

Протокол с моих слов составлен верно. А. Захарова-Кочубей.»

Когда губастенький, очень юный, напыженный лейтенантик, окончив свои страдания над листом протокола, протянул его Анне Петровне («Подпишите, пожалуйста.») — Анна Петровна оживилась. Как-то, почти радостно, обеспокоилась.

С интересом взяла протянутый лист, но ее мгновенно, едва она взглянула, отчетливо замутило при виде этой зеленоватой, ужасно плохонькой бумаги, по которой грязно-лилово и расхлябанно влачились — то спотыкаясь и гордясь друг на друга, то распозаясь вкривь и вкось — дрянные ленивые каракули, весь вид которых тотчас вызвал у нее мысли о каком-то в ы р о ж д е н и и. И таким уж безнадежным унынием бездарности пахло от этих строчек, что Анна Петровна невольно с новым любопытством вернулась взглядом к лейтенантику, — чтобы тотчас, быстро пожалев, еще больше утвердиться в своем ощущении: «Никудышник, конечно... Всю жизнь, на любом месте — никудышник».

Лейтенант протянул ей для подписи ручку — шариковую, из

тех, что продаются в газетных киосках.

Анна Петровна с усмешкой пренебрежения, сделав пальцами нечто на удивление вельможное, отвергла ее:

— Нет уж, молодой человек. Э т и м сами пишете. А мне (будьте столь любезны) посмотрите на шкафу ящичек.

В ящичке том — в узком плоском футлярчике из очень когда-то дорогой матово-черной пухленькой кожи она хранила... Нет, надо бы сказать: т а м ж и л — на покое, барственно возлежа в пушисто-серебристом бархатном своем гнезде — ее любимый, еще довоенный «паркер».

Черно-золотой, чуть тяжеловатый для ее руки, со старомодным, но изумительно чутким пером — он выглядел довольно-таки непритязательным, мужиковатым, но был он зато необычайно укладист в руке, безотказен и удивительнейшим образом всегда внушал Анне Петровне ощущение добротной силы, спокойной уверенности в своей силе, даже если она и брала его только затем, чтобы расписаться в получении пенсии.

Она, не торопясь, с наслаждением свинтила массивный колпачок его с зажимом в виде золотой стрелы, открыла свой «паркер» и даже посветлела лицом, ощутив в руке его наполненность и весомость.

Велела лейтенанту дать что-нибудь твердое — подложить под бумагу. Тот с послушно-бестолковым видом поискал, неуверенно спросил: «Может, моя папка подойдет?» Она милостиво позволила: «Пусть».

Попробовала чернила в перо.

Раз-другой повела локтем, делая некое освобождающее движение. Затем твердо подвела к бумаге перо и, не спеша, но и без задержки, точно расписалась:

А. ЗАХАРОВА-КОЧУБЕЙ.

...Чернила стекленели, подсыхая. Анна Петровна тихо смотрела.

Мысль о том, что, быть может, это — последняя в ее жизни подпись, пришла и ушла, ни особой грусти не вызвав, ни волнения.

Она просто смотрела на полтора десятка начертанных ею букв и, пожалуй, была довольна.

Тысячи людей живут, испытывая смутное неудовольствие и

неудовлетворенность от того, как выглядит на бумаге их подпись. С юных лет до самой смерти откладывают на потом окончательную ее выделку. Так и не успевают чаще всего...

Анне Петровне не о чем было жалеть. Образ, в который складывались буквы, составляющие ее подпись, был приятен и лестен взгляду, даже такому придирчивому, как ее.

«А», начертанная узко и стремительно, вознесена была подобно шпилю готического собора. Она могла бы показаться и чересчур высокой, эта «А», и даже долговязой, но энергичная клинописная поперечинка, удивительно тонко поставленная, мгновенно делала все сооружение очень соразмерным (и кроме того, чуть выступая с левой стороны, она и равновесила довольно рискованный наклон всей буквы вправо).

«З» была тоже высока и узка в начертании. Пожалуй, что она была и несколько заносчива и суха, но, несомненно, мастерски исполнена. Высокомерно вознесенная ввысь головка буквы состояла при внимательном рассмотрении из множества мелких штрихов, словно бы граней, и от этого, несмотря на малость свою, отнюдь не выглядела легковесной и совсем не будила сравнение со змеиной головкой, как это часто бывает при созерцании «З» в самых различных написаниях... Нижняя же часть буквы была начертана решительно и хлестко и завершалась петлей — угловатой и резкой, — тотчас переходившей в маленькую «а», которая жила, тесно прижавшись к заглавной букве своей фамилии, словно почка к ветке.

«Х» была артистична и легка. Однако — только в той своей части, которая шла справа вниз и налево. С вольготным выкрутасом она была исполнена, с размахом и даже бесшабашием, которые, впрочем, кратко и категорично пересекались еще одной клинописной черточкой (явно рифмовавшейся с поперечинкой первой заглавной буквы «А»).

Этот вольный штрих в букве «х» естественно порождал и соседнюю с ней (через крохотную, отдельно и скромно стоящую, почти чертежно исполненную «а»), согласную с ней «р», роскошную, слегка богемную, с барочными прикрасами, полнокровную букву, после которой немислимым казалось ни мелко, ни строго написать следующие за ней «...ов». И они, действительно, будто на одном веселом и широком дыхании были вычерчены эти «...ов»... (Хотя нельзя тут было не заметить, что «в» страдает

каким-то трудноуловимым изъятием вкуса в написании. То ли неуверенность какая-то была в штрихе, то ли принужденность в переходах... Анна Петровна, впрочем, и сама всегда это ощущала, но — мирилась. Как мирится человек с некоторыми, явно не самыми лучшими, чертами своего характера.)

И завершалась фамилия неожиданной после роскошных, щедрых жизнелюбивых «... р о в ...» — небольшой, аккуратно замкнутой, чуть поодаль ото всех стоящей чертежной монашеской «а».

А дальше шла веселая вторая ее фамилия — Кочубей.

Ей всегда чудилось какая-то жаркая степь, чубы, бунчуки, веющие по ветру, широта, веселие и размах, когда она произносила эту фамилию.

Будто скачком, на мгновение прибывало кислорода в крови.

И ее, эту фамилию, писать, конечно же, надо было только так: с этим ударением, двумя клиньями, широким и резким «у», с этим веселым «б», который обязательно должен был трепыхать по ветру своим завитком, с этим заглавным «К», сработанным словно бы тремя сабельными ударами, с этим апострофом, завершающим «...е й» — который, будто птица, взлетал вверх и, как птица же, но уже мертвая птица, падал оземь.

Эти семь знаков живо напоминали ей человека, который носил когда-то и дал ей эту фамилию.

И даже сейчас ей доставляло радость писать: К О Ч У Б Е Й.

Чернила подсохли. Анна Петровна медлила выпускать бумагу из рук.

Как впервые, как в последний раз, взглядывалась она в свою подпись.

Это была целая страна, да.

Это был живо живущий, красивый и гордый город — на берегу уныло-лилового моря, которое, как до горизонта, простиралось до верхнего края листа. Бестолково-толкливые волны-слова, лезущие, мнущие друг друга, более всего напоминающие нашествие грязных, волосатых гусениц, — подступали к самым стенам этого града и, казалось, вот-вот затопят его.

Лейтенант, взявший в руки лист, тоже будто бы что-то увидел.

Рассматривал подпись долго. И был он в этот момент похож

на мальчишку — на несчастного мальчишку — который, увы, упустил время умнеть.

И Анна Петровна опять пожалела его.

Бережно — как лист, например, офорта — лейтенант уложил бумагу в папку. Попереминался с ноги на ногу.

Нужно было идти, а ему, кажется, хотелось что-то еще, не казенное, сказать этой старой женщине, чем-то явно его поразившей. Дураковато, словно бы в ожидании чего-то, зрил он на Анну Петровну; вдруг загадочно покраснел — аж залился румянцем по щекам и даже шее — рассердился, буркнул «до свидания!» и, стучаясь обо все, какие возможно углы, стал выбираться из комнаты, смущенно бормоча под нос себе чертыхания...

Но он — нечаянно — так взвизгнул на пороге сапогами по битому стеклу, так ужасно, что Анну Петровну, уже добродушно и чуть насмешливо глядевшую ему вслед, будто ударило — будто в какое-то нервное, донельзя нежное сплетение ударило! И тотчас ее скорчило в тесный куколь от отвращения, и страдания, и злобной ненависти!

Зрачки ее мгновенно и остренько сузились.

Предсмертное отчаяние с хрустом запрокинуло голову.

И обморок — в который уже раз за эти дни! — настиг ее.

.....

.....

.....

Шаркал по полу веник.

Осторожно звякали по половицам сметаемые осколки — с кратким скандальным дребезгом заезжали на железо совка.

Кто-то в ее комнате убирался.

Анна Петровна слушала с закрытыми глазами и не торопилась отворять глаза.

Ей было почему-то на удивление покойно и хорошо от этих звуков.

...Подметавший вышел в коридор выкинуть мусор и там (видимо, сдерживался в комнате, чтобы не разбудить...) свободно откашлялся.

Сизумлением Анна Петровна услышала, что это — мужчина.

«Кто бы это мог быть?»

Она попробовала ответить на этот вопрос, но у нее даже и

предположений никаких не возникло — настолько и настолько давно она было одинока.

Единственным человеком, который приходил к ней изредка — убраться, принести молочного из магазина, одолжить трешку «своему идолу», — была Фаина-соседка. Но — мужчина?!

Его долго не было.

Его не было так долго, что могло показаться, он ушел вовсе.

Однако Анна Петровна почему-то совсем не беспокоилась его отсутствием. Он снова сейчас придет — она знала это. Просто знала, и все.

А главное, пространство комнаты, хоть он и вышел, было за полнею им: царило добродушное какое-то спокойствие, царила слегка усмешливая вера во что-то славное, доброе, что непременно случится — не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра.

Этого Анна Петровна так бесконечно давно не ощущала — не только в себе, но и в других людях — и так, ей, видимо, жгуче, голодно не хватало именно такого ощущения жизни (ибо оно с неоспоримой отрадой свидетельствовало о Гармонии и, которая все же, вопреки очевидному, но присутствовала в мире, а она на смертном своем пороге неосознанно и жадно именно ведь Гармонии искала во всем, что происходит на смертном ее пороге, ибо отсутствие этой Гармонии с жестокой печалью означало напрасность, прежде всего, ничтожность и случайность ее, Анны Петровны, пребывания на этой земле...) — и так ей, видимо, насущно нужен был именно этот покой во взгляде на все происходящее, что она, уловив это в загадочном своем госте, неведомо как уловив, по-детски возликовала вдруг, как ликует, быть может, погибающий от удушья, блаженно поймав саднящими бронхами прохладу и нежность кислорода, и задышала — так покойно, всласть! и так благодарно отдалась вся переживанию этого дивного ощущения! — и будто прохладная сильная ладонь легла на разгоряченный лоб — поплыла-потихонечку-поплыла, так и не открыв глаза, в новом забытье — теперь-то несказанно приятном, словно бы золотистом, как солнце сквозь ресницы...

...И светленькая девочка-худышка исподтишка глянула ей в лицо — лет девяти девочка, в платьишке, застиранном и линялом, которое по-нищенски ветхо обвисало с ее тощеньких плечиков,

высоко открывая еще вполне цыплячи, сухожильные ножки с загорелыми до грязноватой синевы коленками торчком...

Она стояла чуть сзади сбоку от матери, и Анна Петровна слышала ее тихий внимательный взор все то время, пока она, не в силах оторваться, пила из мутноватой литровой банки холодное густое молоко, едва сдерживаясь, чтобы в голос не застонать от упоения и улады, льющихся в нее с каждым неторопливым полновесным глотком.

Наконец — «А-ах!» — с веселым восхищением опростала она банку и смогла теперь посмотреть на девочку —

и тотчас у нее нежно и жалостно дрогнуло сердце, когда она увидела это иступленное обожание, несмелый восторг, с каким взирала на нее эта худышка снизу вверх своими широко, словно бы в изумлении распахнутыми серо-голубенькими глазами.

Девочка, застигнутая врасплох, тотчас сморгнула, потупилась, чуть не заплакав, затем снова глянула исподлобья, будто бы даже и с обидой, и снова — преданность и восторг неудержимо разгорелись в ее глазах при виде этой сказочно красивой, ужасно счастливой, ужасно свободной в каждом своем движении, плавной женщины. У девочки даже жалко задрожало что-то в лице от непосильности поражающих ее чувств.

А Анна Петровна, так вдруг — до доньщика! — услышав душу девочки, быстро присела перед ней, как бросилась, и в смешном торопливом желании тотчас научить и ее, эту худышку, счастьем, которым она вполне владела все последние дни, быстро обняла девочку, огладив по голове и худенькой, как у котенка, спинке, и заговорила, сразу же поразившись несоответствию слов с тем, что она чувствовала и хотела сказать:

— Ты будешь большая... ты будешь красивая! Ты обязательно будешь очень красивая — со светлыми волосиками, синеглазая. Обязательно будь добрая, ладно? Как тебя зовут? («Лиля», — ответила та тоненько и печально) —

и уже окончательно чувствуя бессилие слов, но все так же изнывая от жгучего желания сообщить этой белобрысой бедняжке тайну быть счастливой, Анна Петровна обняла ее глубоко и тесно, надеясь и веря, что тайна эта, быть может, сообщится ей как-то по-иному, без слов, войдет в ее память с запахом ее духов, ее нежного, благодарного, любимого любимым тела, с ощущением той победительной и плодотворной силы, которую спокойно излучало все ее существо эти последние дни.

Она услышала, что девочка украдкой покосилась на мать. Анна Петровна слегка отстранила Лилю, еще раз внимательно огладила ее по светлым, тяжеловатым, давненько не мытым волосам и еще раз сказала:

— Будешь красивая и большая и будешь глазами делать вот так... — и показала, как царственно и немного театрально будет делать глазами прекрасная дама, какой станет эта Золушка, и Лиля засмеялась, откровенно счастливая, и рассмеялась Анна Петровна, и мать тоже улыбнулась, с усилием перекроив на лице складки, привычно и тяжело слежавшиеся в выражении хмурой и озабоченной усталости.

— Она — помощница... — словно бы нехотя проговорила мать высшую, должно быть, свою похвалу. — Дай-то ей Бог...

И вся эта сцена была освещена — как неярким осенним солнцем — спокойным присутствием человека, который никуда не торопясь и не торопя, поджидал ее, Анну Петровну, вольно сидя на серых от старости и дождей бревнах, рассеянно пощелкивал прутиком по брезентовому сапогу и время от времени с любопытством наслаждения быстро окидывал взглядом все вокруг, словно бы с намерением твердо и навсегда все запомнить.

Он опять был где-то рядом, в комнате.

Анна Петровна открыла, наконец, глаза, торопясь увидеть загадочного своего гостя.

Первым ее чувством было острое разочарование скуки: она увидела затрапезно-серую полосатенькую ткань пиджака, сутулую спину и не очень опрятные, запущенные, так что они уже завивались на воротнике крупными полукольцами, волосы.

Он сидел вполоборота, почти спиной к Анне Петровне, и что-то делал — кажется, резал — на столе.

С неудовольствием, почти враждебностью смотрела Анна Петровна на спину своего нежданного гостя. Но вот — он чуть-чуть повернулся в профиль, и Анна Петровна с облегчением и удовольствием как бы хмыкнула про себя: у него был та-акой нос!

У него был такой замечательно большой, добродушный, мягкий нос, что по одному этому обладатель его не мог не быть хорошим человеком.

Он мгновенно напомнил ей какую-то старую карикатуру на Корнея Чуковского.

...Полагалось, однако, поинтересоваться, кто и почему — в ее доме. И, в общем-то не ощущая в этом никакой необходимости, она спросила:

— А вы...кто? — почувствовав при этом, как ни странно, отчетливое чувство неловкости от этого так уж в лоб, так уж неделикатно поставленного вопроса.

Он живо и обрадованно обернулся.

— Я-то?.. — и юмористически шевельнул носом. — Им (он кивнул на дверь) я сказал, что я — племянник.

Подождал, какотреагирует на такое заявление Анна Петровна, не дождался и с явным облегчением произнес:

— Давайте, я вас чаем напою? У меня нехорошее чувство, что вы два дня чаю не пили. А вообще-то я — ваш сосед. Из другого, правда, дома... Я вот тут от нечего делать бутербродов намастерил, так что, давайте, я вас попою-покормлю для начала?

У него была еще и некая бороденка — не очень-то взрачная, мужицкая какая-то. Да он и весь, определила Анна Петровна, на мужичонку скорее всего был похож — «из незаможных», как когда-то говорили хохлы. Ему бы зипунишко, подпоясанный веревочкой, лапти с онучами да заячий трех — готовая была бы иллюстрация в повесть девятнадцатого века из простонародной жизни.

Глаза вот только — хоть и посажены были чересчур уж близко к непомерному носу, и хоть казались они от этого слишком уж маленькими и простенькими, — в глазах вот только много к н и ж н о г о ума глядело, терпеливого, спокойного, не лукавого, что, впрочем, не мешало, повторим, походить этому лицу на лицо простолюдина, а если точнее, на лицо многомудрого гнома из детского спектакля, по ходу которого беспомощное и нежное добро гонимо грубым и глупым злом, а он, этот гном, должен до поры до времени философически медлить, наблюдая за этим оплаченным безобразием.

Он был прав: Анна Петровна ужасно как оголодала. В последний раз она ела, кажется, перед тем скандалом, который учинила здесь Марина. А с тех пор — сколько же прошло времени?

Ела, словно за ней гнались — теряя крошки, суетясь, не успевающая прожевывать. Стыдно было этак-то жадничать перед незна-

комьм-то человеком — но ничего не могла она с собой поделывать!

Да ведь и чай, который он налил ей из своего термоса, был и в самом деле хорош: и прекрасно заварен, и сладок, и горяч. И бутерброды были замечательны: хлеб (ее любимый, за 22 копейки) в меру тонко нарезан, масла — не скупо, но и не чересчур много. Ну уж а ветчина-то, которой были покрыты бутерброды (он будто знал), — ветчина-то была именно того, любимого ею сорта, за которым в недавние еще времена она не ленилась ездить сама — непременно в «Елисейский», — чтобы, выстояв там в очереди (не такой, конечно, безобразно огромной, как сейчас), купить ровно триста граммов — не двести, и не четыреста — и чтобы обязательно порезали, ибо непонятным образом ветчина эта много теряла во вкусе, если нарезана была дома, а не в магазине, не чистенькими руками молоденькой, опрятной куколки-продавщицы, не длиннющим ее ножом, страшно, видимо, острым — с уже почти истаявшим от бесчисленного множества точений, узеньким злым лезвием, казавшимся особенно опасным в соседстве с тяжелой сосновой рукоятью, дерево которой с годами вид приобрело совершенно какой-то кости, может быть, даже слоновой...

Гость был деликатен. Во все время трапезы он задумчиво прихлебывал из колпачка термоса чай и преувеличенно внимательно изучал рисунок на какой-то открытке, обнаруженной им на столе.

— Вот! — сказала наконец Анна Петровна и поставила пустую кружку и опустевшую тарелку. И словно бы задумалась, погрузившись. — Это ужасно иметь такой аппетит. Я все съела. Хотела ради приличия остановиться, но не смогла. Простите.

— Я рад, что вам понравилось, — с готовностью рассмеялся гость. — Когда, в конце концов, я все-таки решусь и поменяю профессию, я пойду в общепит бутербродных дел мастером. Сэндвичи буду сочинять, тартинки, канапе!

— А почему... — Анна Петровна протянула ему тарелку, — а почему вам непременно надо менять профессию? Вы — кто?

— Я-то? — опять повторил гость и опять повторил свой давешний комористический жест носом. — Я — совестно и слово такое произносить — историк я.

— Это что, очень плохо?

— Кому как. Мне — не хорошо.

Анна Петровна промолчала свою реплику

По этому поводу ей нечего было сказать, но, главное, ощущение сытости уже неудержимо и торжествующе поплыло по всему ее телу добродушной волной нежной глупости и дремы.

Ей было стыдно, но глаза у нее слипались.

Разговаривать было скучно.

Куда приятнее было знать, что вот сейчас она беспрепятственно задремлет и сможет сквозь дремоту, всласть, тихо потешить себя размышлениями об этом странно возникшем молодом человеке, таком деликатном и заботливом, — сможет, теперь уже тщательно, еще раз вспомнить то дивное, ласково пахнувшее теплом чувство о б р е т е н и я, которое она мельком почуяла вдруг в себе и которое разволновало ее, как девчонку, и за которым вся душа ее так и рванулась вослед!

Она с трудом приоткрыла глаза.

— Мне стыдно, но сейчас опять засну. Простите. Я так боюсь, что вы уйдете. Сделайте милость, там деньги в ящичке на шкафу — купите мне что-нибудь. Все равно что, я все ем. И — простите уж... —

снова затворила веки, и ушла, и с облегчением стала погружаться в забытье, как в золотисто-медовую воду, и все ожидала, когда опять возникнет в душе давешнее милое чувство, и безмятежно уверена была, что вот сейчас, сейчас, сейчас... что-то непременно славное возникнет, летнее, тихо-радостное, но почему-то, по непонятно-злomu капризу памяти, вдруг предстал ей скверный февральский денек — заунывно-просторный, страшноватый от едкой скуки заснеженных полей, тянувшихся без конца и без края на все стороны света.

...Потрясывало сани. Масляно пошептывал снег под полозьями. Поскрипывала упряжь. Шумно дышала лошадь

Анну Петровну — словно в тревоге и ужасе — время от времени подымало в санях. Сбрасывая тулуп и попоны, наваленные на нее, больную, она вдруг вскакивала на колени, озиралась и — снова дико падала головой в солому, увидев все то же, страшное и скушное: серое небо, серое поле и черная длинная гадюка обоза, переползающая, извиваясь, с одного пологого холма на другой.

Ее опять укрывали. Она слышала, как тяжелеет на ней ворох одежд, но тепла не было. Были только досадная тяжесть и все тот

же изнуряющий, въедливый озноб, который, словно бы изнутри, точил каждую клеточку ее тела.

Подъезжал то и дело тот, чье имя она с таким трудом недавно вспомнила: Кочет. Шел рядом с санями, спешившись, виновато спрашивал одно и то же: «Шибко худо тебе, Нюр? Да?» — уже не победитель вовсе, побежденный победитель.

Она закрывала глаза и отвечала отчужденно, хрипло: «Ничего. Не беспокойтесь, пожалуйста...» — и снова потрясывало сани, пошептывал снег, скрипела упряжь.

И вдруг:

— А-а-а, мать твою перемать! — кто-то дико, с сумасшедшим веселием в голосе закричал.

Анну Петровну снова подбросило.

От саней, шедших следом, напрямик в поле убежал по снегу пленный, тоненько и словно бы пьяно голоса.

В распоясанной гимнастерке, босой — с одной ноги размазывалась на бегу какая-то грязно-серая тряпка — он, точно, был как пьяный, нелепо и бестолково размахивал руками.

Вслед ему весело заулюлюкали — некуда ему было бежать. До самого горизонта простиралось чистое поле.

Кочет уже был верхом. В руках его подплясывал от нетерпения куцый ладненький карабин.

Весело передернул он затвор и вдруг увидел, что Анна Петровна на него смотрит. Глаза его блудливо закосили.

Он с досадой переморщился, опустил оружие. Прокричал — с явной неохотой, в сторону, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Эй, хлопцы! Догони кто-нибудь!

Возница ее саней — ласковый клубнично-розовый старичок с веселым носом пьяницы и обильной сивой бородой — неожиданно оживленно потащил из-под снега винтовку.

— На кой ляд догонять? — забормотал он, прокашливаясь и стаскивая рукавицы. — Пулька догонит...

Весело захлопали со всех сторон ружья.

Человек, шутовски, отчаянно размахивая руками, оскальзываясь по насту, все бежал и бежал под уклон поля.

Чей-то молодой голос с веселой досадой матюкался после каждого своего выстрела. Так все было не всерьез...

И вдруг — пала тишина.

Никто не бежал уже, оживленно оскальзываясь, там, в снежном том поле.

И все, как по команде, посмотрели вдруг на возницу ее, который медленно опускал в этот миг свою обшарпанную трехлинейку, потом — задумчиво и серьезно повел затвором, и веселая гильза, кувыркнувшись, блеснула в воздухе и тихо пропала в соломе.

Он поднял голову, и все тотчас быстро отвернулись.

«Пить...» — простонала Анна Петровна сквозь стиснутые зубы, вспомнив ручей, черно и жирно блестящий под уклоном поля. «Он же просто пить хотел...» — и тошнотворное отвращение к жизни ударило ей в голову, как черная кровь.

— Вы просили пить?

Анна Петровна открыла глаза.

Увидела кружку, лицо своего Господина. Ничего не понимала.

— Вы просили пить, — повторил незнакомец.

—...он бежал к ручью, а они в него стреляли... — Анна Петровна лепетала, как девочка, еще не вполне проснувшаяся. — Он, наверное, просто пить хотел, — и окончательно пробудилась.

Протянула руку, но не к воде. Несмело положила пальцы на руку его. Стало тихо и спокойно.

Как давно, Господи, не касалась она никого рукой!

«Настоящая старость, настоящее одиночество, — подумала она невнятно, — это когда не к кому, вот так, прикоснуться...»

Она чуть продлила это мгновение и, заметив, что он тоже заметил это, смешалась. А потом откровенно жалобно сказала:

— Вы не знаете, слава Богу... Какой это ужас, когда некому, вот так, подать руки.

Через несколько времени, наблюдая за тем, как он выкладывает покупки (все, в основном, молочное — будто бы и ее вкусы знал), она произнесла нерешительно и даже с заискивающим каким-то подхихкиванием:

— Я боюсь спрашивать — а вдруг вы уйдете? — как вы тут оказались? То есть, я хотела сказать, что вас привело? Вы простите уж...

— Это уж вы меня простите! — отозвался тот живо. — Явился, видите ли! Ни здарсьте, ни визитной карточки.

— ...и сразу подметать... — попробовала попасть ему в тон Анна Петровна.

— Вот именно! И сразу подметать... — повторил он и вдруг стал серьезным, чуть ли не торжественным. — Звать меня Виктор. А по фамилии — Полуэктов, хотя все предки мои по отцовской, сам проверял до пятого колена, были Кукишевы. Но отец мой, видите ли, застенялся в молодые годы и записался (не без давления, думаю, со стороны матушки моей) под этой вот, без сомнения шикарной фамилией: Полуэктов. Да. В свое оправдание могу сказать, что поскольку мне перед предками очень стыдно (все-таки работающие, порядочные были люди — мещане, даже купец третьей гильдии был), я, если удастся где-нибудь тиснуть статейку, подписываю ее неизменно гордо: Кукишев! Из-за чего, кстати сказать, начальство косится, ибо видит в этом признаки фронды, а также всяческие непозволительные намеки неизвестно на что. Да. А к вам, Анна Петровна, меня привела — к о р ы с т ь. Единственно она — злодейка... Я уже говорил, кажется, что я — занимаюсь историей. А тема моей работы — «Трудовое крестьянство юга Украины в период гражданской войны». Далее. Выхожу я из дома, чтобы идти в институт, а навстречу мне — школьный приятель Юрка Рюмин (тот самый лейтенант, что сегодня у вас был). Слово за слово. Он мне про вас рассказал. Вы, между прочим, его прямо-таки очаровали. Да. Это — фантастика, но я — буквально неделю назад! — читал в архиве про вашего Перебийноса!.. Ну, поскольку я — какой-никакой историк, и, следовательно, обязан верить во всевозможные нечаянности, я не мог к вам не прийти.

Она явно ничего не поняла.

— Ну а я? Чем же я ... вам?

Он рассмеялся, очень принужденно, скрывая смущение.

— Ну, может, расскажете что-нибудь. Может, вспомните что-нибудь интересненькое. Мне все сгодится, вы не сомневайтесь! Ну а не вспомнится ничего — тоже не беда, не обижусь.

Анна Петровна очень серьезно огорчилась.

— Боюсь, что никакого проку вам от меня не будет. С памятью у меня (вы — молодой, вам этого не понять) — память у меня... как паутина: видишь, отчетливо видишь, а притронешься — рвется! И в руке... —

и она сделала шепотью жест, очень точный, будто освобождала пальцы от паутинного прикосновения.

И вдруг — на лице ее написался ужас.

В дверях беззвучно стоял некто серо-голубой.

На нем было надето что-то вроде кителя или френча, но с цивильными пуговицами, также и полуформенные брюки, однако был он, как ни странно, в сапогах. Хотя сапоги так прямо-таки и просились в картину — ибо весь вид этого человека грубо и просто намекал о какой-то сутубой службе (а может быть, и проще: о люттой, неизбывной тоске по этой службе), связанной с недоброкачеством людей и с каждодневными скучными его усилиями породу этих людей если и не улучшить, то привести, по крайней мере, в соответствие...

Нужно бы еще заметить, что паршивенькая серо-голубенькая ткань домодельной его униформы странным образом мгновенно наводила на мысли и о казенной сумеречной скуке сиротского какого-то приюта, — точнее, об одинаково и безразлично одетых детях этого приюта, молчаливых, сонных и несчастных...

Его лицо, которое можно было назвать бы и мужественным — медальное, слегка страшноватое в своей тупой вдохновенности лицо военкоматовского полководца, — было удивительно, как у ребенка, взволнованным в этот миг и очень бледным от волнения (Анна Петровна даже обеспокоилась: так выглядят люди на пороге обморока) — оно, это лицо, тоже отдавало в какой-то серовато-голубоватый тон, сквозь который с трудом проглядывала склеротическая розоватость щек и крыльев носа.

Дрогнувшим голосом незнакомец произнес:

— Здравствуйте! — покашливанием попытался прогнать волнение, однако, не прогнал, а лишь загнал внутрь, откуда оно тут же стало прорываться странными, не к месту придыханиями и плохо управляемой, словно бы подсакивающей мелодией фразы:

— Здравствуйте! — повторил он. — Я не знаю, знаете ли вы, но я — Щитовидов. Первый заместитель председателя совета жилищного актива.

Тут Анна Петровна вздрогнула от неожиданности. Полуэктвов резко поднялся со стула, чуть не подскочил, и звук издал при этом хищный, радостно-зловещий: «Тэ-экс!»

— Я пришел, чтобы официально, — тут Щитовидов букваль-

но задохнулся и смешался, — ...на собрание жилищного актива относительно слухов, хождение имеющих, — он еще раз по-рыбьи сделал ртом — ...относительно вас, гражданка Захарова-Кочубей!

— Значит, так! — весело и оживленно заговорил Полуэктов и, шагнув, приблизился к Щитовидову так неудобно близко, что тот вынужден был сделать шаг назад и очутился почти за порогом.

— Относительно «хождение имеющих» жилактиву объясню я. Я — племянник, а Анна Петровна не совсем здорова, но я в курсе дела, так что давайте не будем мешать, а будем спешить, не так ли? Народ, не сомневаюсь, уже в сборе?

И деликатно выталкивая первого заместителя в коридор, он сам следом за ним исчез.

Все произошло так стремительно-смешно, что Анна Петровна улыбнулась. А потом тихо засмеялась.

Ей стало хорошо.

...И когда она потом терпеливым шажком шла по коридору, медленно шаркая разношенными тапками и время от времени трогая стену пальцем, словно бы придерживаясь за нее, и покорно останавливаясь через два шага на третий, чтобы утишить сердце; и когда в скверно освещенной, заслякоченной ванной, изо всей силы терпя нечистоту и убожество окружающего, она кропотливо творила бедный свой старушечий туалет; и когда шла назад — уже и чуточку освеженная и чуточку взбодрившаяся, — не отрывая неистовых глаз от медово-горячей солнечной полосы, бьющей поперек мрачного коридора из приотворенной двери ее комнаты... — все это время не покидало Анну Петровну давешнее, вновь вернувшееся, чувство обретения, горделивого обладания чем-то — чувство, почти девчоночье, немножко смешное, но доставляющее много отчетливого довольства и утешения.

Она — сама с удивлением это отметив — заметно ободрилась.

Застелила постель покрывалом. Покупки, принесенные Виктором, разложила на столе в некоем подобии порядка. Сумку его — с особой заботой, чуть ли не нежно — сложила и тихо повесила на спинку стула.

Ее тянуло к окну. Солнце рьяно било наискось оконного проема, гулкой рыжей стеной перегораживало комнату.

Она шагнула туда, в этот свет (непонятно почему напряг-

шись), и тотчас — охватило ее таким милым добродушным теплом силы, что невольно опять вспомнился добрый ее гость, и ощущение мира, блаженной тишины вновь коротенько тренькнуло в ней... ну, наподобии того, как два-три такта светленькой хрустальной музыкалки тренькают вдруг, когда невзначай, на миг, приоткрывают крышку музыкальной шкатулки.

Белый подоконник был горяч от солнца, был на ощупь нежен, и дивными юными своими перстами Анна Петровна рассеянно гладила плавную, словно бы плавной глазурью облитую поверхность его и смотрела во двор, — уже поневоле надвое деля свое внимание между странной чередой людей, оцепенелых возле убогой обшарпанной стены, и этим вот, живо греющим, почти чувственным, проникновенным теплом, которое пронизывало кончики ее ласкающих пальцев.

Какие-то мальчишки назойливо прыгали и кривлялись под окном, изо всей силы стараясь попасть в полосу ее зрения (как прыгают они, к примеру, где-нибудь на улице или на трибуне стадиона, обнаружив кинокамеру, глядящую в их сторону), но Анна Петровна не замечала мальчишек.

Что-то — не сказать, что неприятное — отвлекало ее нынче.

«Да! У меня ведь теперь з а б о т а! — вспомнила она наконец. — Ему нужно, он говорил, чтобы я вспомнила что-нибудь из тех времен интересное, особенное... Но — Господи! — что же вспоминать? Что именно?» —

и вдруг, в единый миг, разволновалась до сердцебиения, испугавшись, всерьез испугавшись, что вряд ли сумеет. И стала кидаться суетливым воображением к каким-то отсветам прошлого, тускло глядевшим сквозь темень ее памяти, но они, словно испуганные этим ее внезапным, таким резким интересом к себе, тотчас принимались гаснуть, те невнятные отсветы, или, подобно солнечным прихотливым зайчикам, как-то отскакивали пообочь ее внимания — и почти ничего, один лишь мелкий пустяковый мусор оставался в бредне, который она с торопливостью тащила на берег..

Десятый десяток лет жила на этом свете Анна Петровна. И вконец уже обветшала трепетная ткань ее памяти — вот даже от пристального усилия внимания расползались нежным жалостным гленом...

Она почувствовала отчаяние. Она почувствовала никчемность свою. Острую боль потери.

Она почувствовала унылый тошный стыд — от того разочарования, которое неминуемо должен будет испытать Виктор, едва убедится в старческой ее бестолковости.

«Но что же это? — глухо подивилась она. — Как много всего! И этот стыд... и эта жалость... и страх потерять... И все это — я??»

Он вошел, оживленный, веселый, бодрый. Но странно, что ни веселость его, ни бодрость ничуть не задевали ее самолюбия старого человека. Напротив — смиренная, почти материнская отрада дрогнула в ее сердце, когда он вошел вот такой — веселый и бодрый, сразу же заполнивший все пространство комнаты добродушным спокойствием несуетного и сильного человека.

В руках его она увидела цветы.

— Вам! — произнес он, протягивая букетик довольно чахлах хризантем и явно конфузясь при этом, как всегда конфузятся мужчины, исполняя этот, довольно странный, на их взгляд, обряд.

— Вам! За то несказанное удовольствие, которое — благодаря вам! — я получил, пообщавшись с вашим замечательным жилактивом. Такого паноптикума, — продолжал он все в том же, чересчур уж оживленном тоне, — я уж не чаял когда-нибудь и увидеть. У них, не поверите, лозунг там висит на стене: «Общественность — глаза и уши Советской власти!» —

а Анна Петровна тем временем, с мукой претерпевая мелкий скандалезный хруст и треск ледяного на ощупь целлофана, высвобождала цветы, медленно и с удивлением вспоминая в себе ощущения, которые всегда испытывала, когда возилась с принесенными ей цветами (о! ей немало дарили букетов в ее жизни), — это странное, обеспокоенно-нежное, чуть жалостливое и всегда почему-то торопливое — будто дело шло о попавших в беду детишках — желание в ы з в о л и т ь, дать приют, поскорее напоить-накормить.

Она освободила их, и цветы жалобно легли в ее ладонь, истомленно и перепутанно свесивши свои уже чуть вяловатые, шершавые, грубо размочаленные понизу стебли.

Один цветок погибал. Головенка его никла уже вполне обреченно и уныло. Анна Петровна посмотрела внимательно и нашла место, где ствол цветка — словно бы граненый ствол и словно бы покрытый жестким пухом — был почти незаметно переломлен, как сплюснен. Капилляры цветка были тут намертво защем-

лены, он не мог не задыхаться, и яркий сок отчаяния уже подсыхал на этой едва приметной, но, без сомнения, гибельной ранке.

Она взволновалась от сострадания. Бережно уложила головку цветка и, едва дождавшись, паузы в монологе Виктора («...по фамилии, ей-богу, Шизофретдинов... Вскакивает! Предлагаю, говорит, арестовать, к чертовой матери, все ее вклады в банках! Ваши, то есть...») — и, дождавшись паузы, жалобно попросила:

— Вы не принесли бы воды? Вон в той хотя бы банке.

Тщательно и волнуясь, обрезала на длинный скос каждый стебель и — сама испытывая в этот миг облегчение и отраду — погрузила цветы в воду. Тщательно распределила их по периметру горловины (ей хотелось, чтобы каждому было вольно), водрузила букет на телевизор и... —

и тотчас же возникло странное ощущение: теперь их трое в комнате.

— Ну-с. А затем, по всем правилам джентльменской дискуссии, — продолжал весело докладывать Полуэктов, — я обвинил их в преступном незнании отечественной истории, в частности истории гражданской войны. Ибо, знай они ее, эту историю, они не посмели бы обвинить вас в принадлежности к контрреволюционной махновской банде, потому как аккуратно весной 1919 года махновское формирование Перебийноса входило в состав частей Южного фронта Красной Армии, и, стало быть, вы, оказавшись среди них, не только не были причастны к контрреволюции, но, напротив, героически, можно сказать, сражались с белогвардейской гидрой за сегодняшнее, без сомнения светлое, будущее.

— Господи, — сказала Анна Петровна очень снисходительно и мирно. — Какая глупость...

— Глупость-то глупость... — начал было Виктор, но потом вдруг согласился: — А впрочем, действительно глупость. И очень я поэтому утомился с ними.

Она взглянула ему в лицо и увидела, как он в самом деле утомлен. Нет, устало опечален, скорее... И вдруг пожалела его так по-матерински остро, как может жалеть только уходящий навсегда — остающихся.

— Вам столько хлопот со мной, — сказала она виновато, — а у вас ведь, конечно, дела. («А у вас, конечно, дела» — сказала

растерянно-горько, нищенски.) Вы идите. Что вам тут со старухой?

— Но я приду! Вы позволите? Вечером? — и все же облегчение услышала она в его словах.

— Ради Бога...

— ...кончу свои досадные дела и приду.

— Приходите. Я буду вас ждать.

И он вдруг понял, что она действительно будет ждать. И еще он понял, что о ч е н ь немногим выпала честь услышать от этой женщины: «Я буду вас ждать...» И, странно, он возгордился на миг.

Анна Петровна ждала.

Худенькая, как лучинка, смиренная старушка сидела неподвижно, словно бы даже боясь пошевелиться, руки прилежно сложив на коленях, взглядом опершись в пол, куда-то возле ног, — и было видно, как она внимательно слушает что-то, что вот-вот должно возникнуть, что приближается (она чувствовала это!) из невероятного глухого далека ее памяти — что-то важное, величавое, полное значения и смысла, — бесспорно достойное того, чтобы рассказать о нем Виктору, — и она уже внутренне ликовала потихоньку, представляя, как будет рассказывать об этом Виктору, и все нетерпеливее усиливалась вниманием... И вот, когда э т о уже должно было, наконец, явиться, —

явились взору всего-навсего: сначала крашенные угрюмым суриком доски пола, затем — руки ее, прилежно лежащие на коленях, беденькая байка халата, а затем и напоминание о собственном сухом и исчахшем теле, сидящем на стуле, возле окна, в этой скупой позе ожидания.

Опять ничего не осталось в бредне, который, надрываясь, тащила она из черных глубин своей памяти.

И опять — коротко, черным — чиркнуло по душе отчаяние.

«Какой ужас, какой стыд, какой безвыходный мрак... — медленно, невнятно и горько подумала Анна Петровна, — дожить до таких пределов, когда ты не в состоянии н и ч е г о, даже самую малость, д а т ь человеку».

Но и горечь и отчаяние это прошли и ушли. Всевластно царила в ней тишина ожидания.

..Это была тишина осеннего леса, пожалуй, — в ту его пору,

когда уже облетит листва и, убитая дождями, плотно ляжет под ноги волглым, слегка пружинящим стослойным ковром; когда утомонятся и дожди и ветры, вдоволь, с мстительной развеселой злобой погулявшие по беззащитным древесам; когда ударит вдруг едкий морозец, небеса враз словно бы приподымутся и — безжалостным ясным ледяным оком глянет на землю, еще издали, еще не торопясь входить, нелюдимая страшноватая зима.

Анна Петровна любила и уважала лес в эту пору.

Не было ни отчаяния, ни печали в том, что строго и молча стоят на опустелой земле его железные деревья, сухо замкнувшиеся в себе. Как ждут они неминуемого: с достоинством, стойко и просто.

В таком лесу надо было молчать. Идти, хмуро огородивши лицо воротником, непримиримо замкнув горькие губы, и зорко, с напряжением сострадания быстро смотреть вокруг, видя так далеко и так ясно, как никогда не дано человеку видеть — ни мерзлой, равнодушно-пышной зимой, ни беспокойной весной, ни торжествующим, бестолково-толкливым летом.

В природе не было скорби в этот безжалостный час умирания — лишь покой и ожидания. Лишь бесконечное, как мир, терпение и неумиряющая, как мир, надежда.

Лишь терпение. Лишь надежда. Терпение и надежда.

...Она повторила про себя эти слова, но, потерявши, по обыкновению, нить, вязавшую их с предыдущими размышлениями, не почувствовала ни значения в них, ни торжественности.

Что-то радостно беспокоило ее сегодня.

Анна Петровна прислушалась к себе, неуверенно повела взглядом по комнате и — ну, конечно же! — ласково дрогнув сердцем, увидела свой букет. Хоть листья хризантем и выглядели по-прежнему утомленными, а лепестки видом своим еще напоминали пренебрежительно смятую в кулаке мелкую бумажную стружку, он казался уже явно взбодрившимся. Она уже явственно слышала жизнь, осторожно воспрянувшую в цветах, и тончайшая, нежнейшая дрожь понимания возникла вдруг между старой женщиной и изможденными бледными цветами, глядящими на нее через всю эту наполняющуюся привычным сумраком комнату.

Что-то, издав погибельный острый звон, ворвалось в комнату

из-за ее головы, рядом со взглядом Анны Петровны. Следом мелькнул, неловко прокувыркавшись, неровный кусок кратко блеснувшего пару раз стекла — тотчас рассыпался мелким морозным прахом. Сзади брызнуло — все это одновременно, одно опережая другое — и по спине Анны Петровны пробарабанило некрупным хулиганским градом.

Женщина зажмурилась, пригнулась — сзади и над головой, обваливаясь со скандальным дребезгом избавления, что-то стало обстоятельно рушиться.

И — спасаясь, испытывая тягостную постыдную боль в позвоночнике, не привыкшем к столь унижительному выпибу, стыдась своего животного страха, который, словно бы издеваясь, гнул ее до полу, гнал под кровать, в нору, забиться — Анна Петровна кулем пала со стула на болью отозвавшиеся колени и прижалась головой к решетчатой спинке кровати, отчаянно цепляясь за ее тщедушные прутья и умоляя себя п е р е т е р п е т ь и этот ужас, и этот звериный вой ее зло униженной гордыни, и с ледяным изумлением осознавая, что это у ж е б ы л о к о г д а - т о, —

...в том вагоне — когда, злорадостно оглушив, лопнуло черной звездой окно, что-то ударило — пуля — со страшной, нешуточной, у б и й с т в е н н о й силой, так, что потряслась стенка купе и что-то дрыгнуло по сторонам, и все, кто битком набившись сидели тут, мгновенно облились тошнотворным, одним на всех, ужасом, чтобы тотчас (поросычьим постыдным визгом залился вдруг мужик, крайний к окну — ему стеклом порезало лицо) — чтобы тотчас, молча и шумно дыша, броситься, толпясь головами, к полу, норовя каждый спастись почему-то именно под скамьей, упрямо и в общем-то беззлобно отталкивая при этом друг друга.

Наглая щетина чьей-то шинели елозила ей по лицу. Было пронзительно, визгливо страшно. Но и озабоченно проталкивая туда, подальше в темень свою голову, царапая нежное лицо свое о грязный наждак чьих-то одежд, отупевшая от страха, она слышала еще и:

тоскливое, тоскливо дрящееся отвращение к тому, что с ней сейчас происходит, гнусную тоску унижения и жгучий стыд от невозможности не быть такой же, как все, — и умоляла себя перетерпеть все это, потому что так легко было, так легко было бы умереть в ту минуту и от этого отвращения, и от этого стыда.

И когда потом грубая рука выдернула ее из того по-овечьи сбившегося клубка и бегом потащила, причиняя непереносимую боль в выворачиваемой лопатке, по вагонному проходу, тесному и толкливому от быстро, ловко шастающих из отсека в отсек азартно-молчаливых мужиков, волокущих с собой чемоданы, расползающиеся узлы, упирающихся людей, — когда потащила ее эта ошеломительно-грубая стремительная сила, она прежде всего, конечно, вопль смертный услышала в себе, но и о б л е г ч е н и е почувствовала вдруг — странное, потому что тащили ее, быть может, на еще большее унижение, а может быть, и на смерть...

Возле поезда, остановившегося прямо посреди поля, творилась суэта, воровская, быстрая, тем более труднопонятная, что уже пали сумерки, и с каждым, казалось, мгновением меркло вокруг все определеннее и быстрее.

Сани, всадники, подплясывающее в седлах, беспокойные кони, рвущие из рук повода, раздробь в разные стороны бегущих, ползущих, скатывающихся, карабкающихся фигур... Она успела заметить все это мельком, потому что тащивший ее, ничуть о ней не заботясь, прыгнул с подножки вниз, и Анну Петровну тотчас тоже выбросило из тамбура.

Отыскав руку, он снова дернул ее из сугроба и повлек дальше — теперь-то, слава Богу, он хоть не выворачивал ей лопатку.

Анна Петровна, более всего озабоченная тем, чтобы удерживаться на ногах, все никак не успевала взглянуть в лицо своего похитителя — дабы прочесть хотя бы намек на свою ближайшую будущность.

Наконец он оглянулся продолжительнее (споткнувшись, она нечаянно пала на колени), — оглянулся, и все помрачилось в ней от тошноты и омерзения!

Нетопырь самых страшных ее детских сказок — низкорослый, жилистый мужичонка, недавний развратный мальчишка, с окаменелыми синими узлами непрорвавшихся чирьев на лице, мокрогубый, с вывороченными ноздрями маленького и словно бы переломанного в переносе носа — вот кто тащил ее!

И дальше — от тошнотворного отчаяния, охватившего ее, — она уже не смогла бежать.

Он продолжал, однако, волочить ее за собой зло и непреклонно, сам уже явно изнемогая и от ее вялого сопротивления и от

тяжести двух кожаных черных чемоданов, которые он тащил, каким-то чудом удерживая в одной руке, помогая себе при каждом шаге отчаянным толчком колена.

Один из чемоданов, наконец, стал разваливаться. Кружевное, бело-розовое полезло наружу, облепляя ему ногу.

Он выпустил руку Анны Петровны и, быстро встав на колени, жадно принялся упикивать белье назад в чемодан, откуда оно упорно, как опара из-под спуда, все обильнее, казалось, и настойчивее рвалось назад.

Кто-то, пробегая, больно шибанул ее в плечо. Анна Петровна, вскрикнув, отлетела на шаг-другой, тут ее снова, не видя, толкнули, и только тогда, словно опомнившись, она наконец побежала.

Шарахаясь лошадиных морд, полуослепшая от страха, панически отскакивая от встречных, вырываясь из каких-то лениво-бесстыдных рук, походя лапавших ее, бежала Анна Петровна, сама не ведая, куда бежит, с единственным отчетливым чувством: «Прочь!» — и уже холодно слышала, как безумеет ее мозг от этого лихорадочного ощущения себя шепкой, пляшущей в буйно бурлящем котле.

И вдруг:

— Д е в к а , с т о й ! —

как с неба слетел с коня, молодо и ладно впечатав ноги в снег перед нею и одновременно же ловко и быстро цапая за руку, чуть не ломая при этом, даже через рукав пальто, тонкое ее запястье.

— Стой! Попалась, красавица?

Он был, как ни странно, и безмятежен, и беззаботен, и беззлобен, и даже отчего-то весел, и, быть может единственный, никак не озабочен жалкой суетой творящегося вокруг грабежа. И — словно бы кругом очерченное — царило возле него удивительное в этом злом содоме пространство тишины, бежать которой, вырваться из которой (она это мгновенно осознала) было ей уже не под силу.

И, сдаваясь, она опустила руки.

Обломок кирпича, почти половинка его, был тщательно завернут в бумагу и густо, неумело обвязан черными нитками.

Брезгливо морщась от усилия, Виктор разорвал нитки.

На листе нарисован был худошавенький дегенеративный череп, две огромные кривые кости, скрещенные под ним, и красовалась надпись: «АНАРХИЯ — МАТЬ ПОРЯДКА!»

— Мда... — без особого выражения, хоть и хмуро, сказал Полуэктов. — Насколько можно догадаться, это — юные тамерлановцы, то бишь тимуровцы, явно превратно понявшие свой гражданский долг.

Анна Петровна не сразу отозвалась. Усаженная Виктором на стул, почти с головой укрытая одеялом, она никак не могла согреться. Да и мудрено было согреться в комнате, где чуть ли не половина окна зияла в ночь и где с веселым нагловатым удовольствием разгуливал уличный ветер.

— Что это было? — спросила она наконец.

Виктор посмотрел на нее и, заметно поколебавшись, ответил бодро и невнятно:

— Стихийное, можно сказать, бедствие. Но поскольку ни жертв, ни разрушений, как водится, нет, вы не волнуйтесь: с окном я сейчас что-нибудь придумаю.

Он ушел в коридор.

Она слушала, как он быстро ходит там, что-то передвигает, раздраженно чертыхается. Потом — все стихло.

Тишина все длилась и длилась.

Анна Петровна вслушивалась сначала невнимательно, уверенная, что стоит лишь только напрячь как следует слух, она сразу же и непременно его услышит, затем стала тревожиться, уже догадываясь, но все же отказываясь верить, что он ушел, покинул ее, а когда все же поняла и уверилась, —

такое вдруг отчаянное, такое уже запредельное, воющее о д и н о ч е с т в о ахнуло на нее, что она, мгновенно растерявшаяся разумом, поднялась вдруг со стула, уронив спасающее ее одеяло, и, как слепая, с вытянутыми перед собой руками двинулась к двери, сиюсь выговорить его имя и напрочь забыв в эту минуту его имя!

Коридор, загроможденный мертвыми угловатыми темными вещами, был едва освещен скверненькой желтой лампочкой.

В коридоре никого не было.

Анна Петровна, в отчаянии тратя последние силы, шла по этому бесконечному коридору все дальше и дальше, все отчетливее осознавая гибельность того, что она делает — назад

возвратиться у нее уже не достанет сил, — и тоскливый предсмертный ужас мытарил ее.

Она уже давно не боялась смерти. Но сейчас ей впервые стало по-настоящему тошно: закончиться здесь, в этом затхлом коридоре, среди свалки умерших, никому не нужных вещей: сплюснутых, густой пылью заросших чемоданов, драных картонных коробок, перевязанных корявой проволокой, мешков, сломанных велосипедов, сундуков, заполненных скучной дрянью?!

Она уже в и д е л а отчетливо, как умрет: как бездомная больная собака, подползающая к порогу чужой молчаливой двери.

Послышались шаги.

Из-за поворота коридора торопливо выскочил Виктор. Руки его были заняты какой-то большой коробкой, кусками картона, свертками.

— Вы здесь? — изумился он, чуть не натолкнувшись на Анну Петровну и не сразу узнав ее в потемках. — Я бегал домой.

Анна Петровна судорожно, по-детски вздохнула, кивнув, сделал шаг и жалко вцепилась в рукав его пиджака.

Он оглянулся — поблизости была дверь уборной. Заметно сконфузившись, он не нашел ничего умнее, как произнести:

— Вам, наверное, сюда? Давайте, я помогу, — составил на пол свою поклажу, медленно повел ее, церемненно поддерживая под руку.

Она не противилась.

— Вот он, миг моего позора... — выговорила, наконец, Анна Петровна и засмеялась со счастьем в голосе.

Спешно, очень ловко работая, он заколотил принесенным картоном разбитое окно.

В большой коробке, которую он принес, оказался электрокамин. Виктор включил его, и это довольно нескладное с виду сооружение прямо-таки пленило старую женщину — не столько теплом (в выстуженной комнате его тепло долго еще не ощущалось), сколько подсветкой, имитирующей беспокойно-багровый свет очага, к которому Анна Петровна тотчас непроизвольно протянула руки, тотчас же ощутив ни с чем не сравнимое блаженство человека, защищенного огнем в студеной ночи.

— Какая прелесть... Ах, какая же прелесть! — не в состоянии

остановиться все повторяла она, шевеля своими красивыми, знойно подсвеченными пальцами, и будто бы взаправду чуяла, как почти непереносимо жжет огонь ладони и как со сладкой болью движется по остуженным сосудам тепло.

Она оглянулась на Виктора, счастливая.

Улыбаясь, он смотрел на нее от окна, все еще держа в руках молоток, обрезки картона, и по его улыбке было видно, какой это хороший человек.

И тут она заплакала, не сдержавшись. Склонившись к камину и все не отрывая от него жадных рук, смотрела на Полуэктова снизу вверх, чуть повернув лицо, и горько плакала, и горько говорила торопясь:

— А я... ничего... Это такое отчаяние! А я — ничего не могу вам дать. Совершенно ничего! Это такое отчаяние, Виктор, такое отчаяние!

Он всполошился.

— Ну, полноте! О чем вы, голубушка Анна Петровна? — подошел и сел на кровать рядом, а она все плакала: «Ничего... совершенно ничего...» — как маленькую девочку погладил по голове: — Ну, успокойтесь... Ну что с вами, Анна Петровна?

А Анна Петровна каким-то давнишним, давно забытым движением беззащитно приткнулась вдруг к его боку, сухонькая, как щепочка, старушка — приткнулась под плечо его и послушно притихла, как затаилась.

И — ничего больше, абсолютно ничего, не нужно ей стало в этой жизни!

— Там... — хмуро и невнимательно ответил ей бородастый пожилой мужик, мастеровивший, стоя на коленях, ящик опалубки, но тотчас же, словно спохватившись, вернулся взглядом к ее лицу, и взгляд этот сделался восхищенно-ласков, даже слегка озадачен. — Там он... По этим сходням — и на самую верхотуру... — медленно говорил он и с откровенным удовольствием, но и с какой-то озабоченностью запоминания оглядывал ее всю своими отрадно затеплевшими глазами. — Только не оборвись, смотри: зыбко... — добавил он вдруг с заботливой тревогой, вернулся было к топору, но тут же снова поднял глаза, теперь уже в п р о к глядящие.

Она щедро улыбнулась ему: «Спасибо!» — самой бесжало-

стно-юной из своих улыбок, от которой мужик даже как бы крякнул, смешался и растерянно бормотнул себе под нос непонятное, с интонацией ласковой материцы: «Вот ты ж лампада Господа Бога!» — и еще раз, словно бы уже и с боязливостью, посмотрел ей вслед.

А она, уважительно-осторожно прыгая с одной сохлой глиняной глыбы на другую, чувствуя на себе этот взгляд, и еще десятки каких-то других взглядов (но ничуть не стараясь при этом двигаться как-то по-иному, ибо в то утро, с самого пробуждения, все, чтобы она не делала, она делала точно, на удивление себе и на радость, в п о п а д), — невольной этой припрыжкой она быстро и весело одолела скучно-окаменелое пространство рыжей, безобразно и зло изуродованной земли у подножия стройки и взбежала на первые сходни, мельком, с нежным удивлением уловив такой странный здесь, милый запах хвои, который источали, конечно же, доски лесов, и который не в состоянии было заглушить даже замогильное, с легкой тухлинкой, серое дыхание медлительно и мощно застывающего бетона, которым окутано было все это громадное и грубое здание — крупнейший, как считали, в Союзе зерновой элеватор, который они строили в этой степи.

Расхлябанные сходни, раздраженно и опасно задрожав, мигом заставили ее умерить прыть, и она послушно двинулась по-иному (почти так же, впрочем, быстро), без труда поймав новый темп и по-прежнему испытывая четкое удовольствие от всего, что с ней происходит: и от своего легкого беспечного бега; и от математической монотонности, с какой дощатые марши направляют ее то в одну, то в другую сторону, возводя все выше и выше; и от того, что высота не совсем страшит ее, а лишь взволновывает — с каждым подъемом по-новому, на новой ноте захватывая дух; и от того, что ветер высоты так бережно-яростно хлопочет ее невесомым платицем и щедро обдувает, как омывает, веселой бесстыдной отвагой все ее крепкое тело от пят до головы...

Она поднималась все выше, и с каждым новым маршем все торжественнее обмирала душой, стараясь и не в силах охватить взглядом эту безмерную и непостижимо загадочную в своей безмерности и поэтической заунывности пыльно-ржавую великую степь.

В этот ранний час уже тянулись по ней, не шибко пыля,

ленивые подводы к стройке, неспешными ручейками текли люди — и от уродливых, кое-как разбросанных бараков с грубо залатанными рубероидными крышами, и от калмыцких юрт, которые редким кольцом, держась на пугливо-почтительном отдалении, окружали стройку и сверху похожи были на верхушки осиных гнезд, и от кучно лепившихся к речке разноцветных крыш «старого» поселка, в котором за полтора года работы здесь она еще ни разу не была, но который сразу же узнала по жалким лоскутьям огородов, пыльным приземистым деревьям, жмушщимся к домам, и по колоколенке крохотной церкви с уныло сбитым набок крестом...

Шустро бежал откуда-то издалека грузовичок, волоча за собой еще не очень пышный лисий хвост пыли.

Сайгачьи косяки по широкой дуге огибали поселок, стремительно уходя к югу. Пыльно-желтые на пыльно-желтом, они были похожи на узкие островки выгоревшего ковыля, стелющиеся по ветру.

Недвижно стояли отары — три-четыре щепотки маковых зернышек, нещедро брошенные на рьзую плюшевую скатерть.

А дальше — на мутнеющем горизонте, обещая еще один убийственно-знойный день, уже разливались то тут, то там зыбкие ртутные лужицы миражей с их непременно силуэтами неких пирамидальных деревьев, призрачно-серых и словно бы дрожащих в какой-то тайной лихорадке.

Она поднималась все выше и выше, и ощущение счастья, точности, бессмертия и веселья распевали в ней на разные голоса, дурашливо и звонко; загорелые крепкие ноги в белых парусиновых туфлях-теннисках мелькали неумоимо; она, едва замечая это, беспрестанно улыбалась, потому что бурное восхождение это было — словно неудержимое Приближение, и с каждым маршем вверх крещендо усиливалась в ней непонятная радость, — непонятная... —

...потому что не могла же она знать заранее, что на верхней площадке лесов, на полминуты выпав из общего почтительно-бестолкового спора, который вели инженеры стройки с нехстати нагрянувшей комиссией, словно бы внезапно погрузнев от какого-то рассеянного раздумья, свалившегося на него, слепо и несколько недоуменно озирая степь, лежащую перед ним вызывающе пустынным полукругом до хмурого от зноя горизонта,

слегка раздраженно гоняя в губах погасшую папиросину «Дели», опасно-бездумно наваливаясь локтями на щедушную горбылилку ограждения, стоит человек, который...

— Здравствуйте! По-моему, это вы — Кочубей! — смело выпалила она.

Она уже не могла не улыбаться. Вовремя налетевший ветерок с девчоночьим шиком рассыпал по ее загорелому лбу добела выгоревшие, коротко стриженные волосы. Глаза (она чуяла это) сияли.

— По-моему, это вы — Кочубей! — смело выпалила она.

— По-моему, тоже... — ответил он, разгибаясь и поворачиваясь к ней, — и вдруг неудержимо, с облегчением долгожданного, может быть даже мучительножданного, свершения заулыбался, отчего его странное, скорее неприятное, лицо русоволосого индейца, до какого-то пыльного мрака загоревшее, с беспощадными злыми шрамами морщин у крыльев носа и углов рта — все это сухо, экономно, жестко сделанное лицо Повелителя осветилось вдруг так чудесно, и беззащитно, и отрочески-ясно, что у нее тотчас обреченно дрогнуло где-то возле сердца: «В с ё!..»

— ...тогда это вам, — сказала она все еще с улыбкой, но уже с тревожно уходящей улыбкой, — тогда это — вам! — и несмело протянула ему...

Она очнулась в ужасной тревоге.

— Который час? Вы — здесь? О вас же беспокоятся! Идите! Свет зачем-то горит... Погасите... Как холодно...

Виктор внимательно посмотрел на нее. Глаза Анны Петровны нехорошо блестели. Он подумал, что она наверняка простудилась, неизвестно сколько времени просидев на полу под разбитым окном.

— У вас есть какие-нибудь лекарства? — спросил он.

— Лекарства? — она явно не поняла его. — Помилуй Бог! Меня уже не берут никакие лекарства. — Она выговаривала слова торопливо, и все больше речь ее напоминала бред.

— Для таких стариков есть одно только лекарство. Но почему вы не идете домой?! О вас же беспокоятся! Ваша жена — или кто там у вас? (пренебрежение и даже враждебность неприятно звякнули в этих ее словах) — она скажет, что вы... у ш л и к д р у г о й! — и вдруг неудержимо рассмеялась, неприятно скаля

мокрые пластмассовые зубы и роняя слону. Мгновенно же оборвала смех и призналась кому-то:

— Господи, как все плохо! Какое отчаяние! Если бы вы только знали: к а к о е отчаяние! Но я не буду ложиться, нет. Увольте! Я уж как-нибудь так пересажу... —

попробовала перебраться в угол кровати, чтобы сесть там, но у нее ничего не получилось и она растерянно замолкла.

Виктор сказал: «Позвольте?» — составил в угол подушки, застелил пледом, чтобы потом, когда она сядет, можно было укутать плечи. Довольно бесцеремонно, но, разумеется, не грубо, взял ее сзади под мышки и с санитарскими интонациями: «Ну-ка, давайте-ка, раз-два, переберемся!» — легко поволок Анну Петровну в угол и усадил там, укутав пледом, одеялом, а сверху — еще и плащом своим.

Она смотрела на него беспомощно и покорно.

— Вы только не подумайте, ради Бога, что я вас гоню... — проговорила она после некоторого раздумья. — Но зачем же вам скандалы?

— Никаких скандалов, — неохотно сказал Виктор. — Я — человек временно свободный, так что...

— А вы знаете! — невпопад, с радостью какого-то неожиданного озарения объявила Анна Петровна, явно слушая только себя. — Вы будете хорошим историком! Потому что вы — хорошо относитесь к людям!

— Я у ж е хороший историк, — неожиданно обиженно буркнул Полуэктов.

— Это все минет! — торопливо и убежденно заговорила Анна Петровна, с изумлением чувствуя, как редет туман, привычно застывший ее мысли. — Это все минет — то, что сейчас у вас: неудачи какие-нибудь, неприятности, непонимание! Завтра вы оглянетесь — и только улыбнетесь, настолько все это будет неважным!

У Анны Петровны даже стонало немножко в груди от нежности к этому тщательно замкнутому, многодумному, терпеливому и доброму человеку.

С пугающей отчетливостью она у в и д е л а в единое мгновение и его самого, и всю его будущность: о! не очень-то богатую победами будущность, чаще окутанную сумраком неедкой печали, нежели светлую, и преисполненную до конца ровного хмурого упорства, с каким суждено ему отстаивать всю

жизнь свое понимание того, что есть Жизнь.

Он был до восторженного ужаса похож на ее сына — сына, которого, увы, никогда у Анны Петровны не было, но о котором, оказывается, она з н а л а.

И родственный спазм — без боли, но оставив ужасную горечь, сжал ей сердце, когда она без смущения углубилась в его узко поставленные и оттого неприятно внимательные, черные в потемках глаза и вдруг самое искреннее страдание утраты, боль и недоумение сиротства прочитала там!

И еще: упорно тлеющее о ж и д а н и е чего-то важного от нее.

— Как бы я хотела, Виктор! — вновь заторопилась она. — Если бы вы только знали, как я хотела бы оберечь вас, не обижайтесь, научить чему-то!! Но, как я ни стараюсь... а я, честное слово, стараюсь... но, как я ни стараюсь!!!

Он начал говорить что-то успокаивающее, а она опять услышала, что по лицу ее текут слезы.

— Терпение... — иронически горько произнесла она вдруг, смутно вспомнив что-то недавнее. — Терпение и надежда. Не этому же вас учить?

Однако он повторил эти два слова по-иному — очень уважительно и внимательно. И — торжественность зазвучала в них.

— Это достойно того, — сказал он, — чтобы быть начертанным на фамильном гербе: «Терпение и надежда».

Но Анна Петровна не смогла понять, всерьез ли, в шутку ли или просто в успокоение — говорит он так.

Слезы утомили ее.

— Я во всю свою жизнь столько не плакала, сколько сегодня, — сказала она с интонацией оправдания и прикрыла глаза.

Ей стало, видимо, хуже.

Полуэктов заметил, как грубая тень измождения и легкого раздражения легла на ее лицо. И лицо мгновенно сделалось таким, каким оно будет, наверное (холодно отметил Полуэктов), — когда произойдет смерть.

Вдруг она задыхалась спешно и тревожно. Виктор испугался.

Рука ее заметалась по постели, словно бы в панике. И лишь наткнувшись на подставленную ладонь Виктора, пальцы вдруг

облегченно замерли. Тотчас и дыхание Анны Петровны сделалось тихим и ровным.

Разбудили Полуэктова какие-то странные звуки — не то жалобные стоны, не то поскуливание.

— ...?! — спросил он, быстро пробуждаясь и с удивлением обнаруживая, что он спал, сидя на краю постели и держа в ладони руку Анны Петровны.

— ...Нежно склоняясь над ручьем, — отчетливо произнесла женщина, не открывая глаз, — дремлют плакучие ивы. Нежно склоняясь над ручьем... — она мечтательно, но и иронически улыбнулась. — Это очень старый романс. Простите, я не думала, что — вслух.

Замолчала надолго, потом опять пробормотала:

— Где ж ты, голубка родная... грустные сны навеяла... — и открыла глаза. — Забыла! Расскажите мне лучше о вашей... — она помолчала, медленно подыскивая нужное слово, — о вашей избраннице. Если можно. Это можно? Она должна быть хорошим человеком наверное.

Виктор юмористически прокряхтел что-то. Долго и занудно скрипел стулом. Однако, помедлив, все же заговорил, не без охоты...

— Не знаю, ей-богу, что говорить. Ну, зовут ее Валя. В этом году кончила историко-архивный...

А Анне Петровне мгновенно вдруг сделалось скучно и зло-одиноко. Она не могла уже, как бы этого ни хотела (а она, оказывается, и не очень-то этого хотела...), представить ее воочию.

Ей, Анне Петровне, и так было, оказывается, ясно — со всей нелепой, грубо-материнской ясностью, — что эта неведомая Валя е м у н е п а р а! И самая искренняя неприязнь оживленно шевельнулась в ней к этой серенькой мышке из архива, которая тихой сапой норвила занять возле Виктора место той единственной женщины, которая...

О, Анна Петровна, пожалуй, неплохо знала ту, что могла бы быть женщиной, единственной для Виктора! Но, увы, она осталась там, наверное навеки, — отстала на полвека с лишним и осталась там... —

...брести ранним летним утром по белесому проселку за Окой, с наслаждением макая босые ноги в пуховую, уже теплую пыль,

меж невысоких невзрачных хлебов, сквозь которые озабоченно проглядывала серая, заколевшая от зноя земля, под чистейшими, опрятно-голубенькими небесами, так вольготно распростертыми над и вокруг нее, что ее иногда даже слегка пошатывало этим простором, — шла, опустив глаза, с видом задумчивости, но на самом деле ни о чем в особенности не думая, слушая лишь, как бродит по лицу улыбка, как хмурой сладостью тяжелы веки после почти что бессонной ночи, как все настойчивее греет, уже нежно язва скулу и надбровье, солнце, к этому часу уже порядочно приподнявшееся и ставшее похожим на небольшой, но иступленно и яростно сияющий размыв в небе, при одном взгляде на который пепельным мраком забивало очи, а потом — долго еще бродили перед взором какие-то неохотно истаивающие угольно-черные лохмотья, отдаленно напоминающие облака, и часто повторялась, то исчезая, то вновь четко возникая, фигура колеса, словно бы очерченная черным быстрым грифелем...

Дорога почти незаметно нисходила к далекой еще реке.

Она, дорога, и сама-то была подобна реке — с этим ее дремотным долгим извивом, в окружении этой покойной, плавно, невысоко вздыхающей равнины, казавшейся в этот час совершенно бесплодной, но, разумеется, только к а з а в ш е й-с я: можно было, оглянувшись, увидеть бедные драночные крыши села, из которого они вышли: черно-белое, пестрело не очень вдали по-утреннему кучное стадо, и виднелась рядом с ним сонно-недвижная черная фигура пастуха, а с дальнего, очень далекого поля били в глаза быстрые, раз за разом следующие нестерпимо-белые вспышки — от мелькающих ножей конной косилки, уже выехавшей работать...

Солнце еще светило по земле вкось, и все вокруг было сочно взрыто теньями. Озерцами прозрачной зеленоватой прохлады были наполнены каждая ложбинка, и каждый овражек, и межа. Каждая в отдельности травинка празднично, истово зеленела, и от каждой травинки четко печаталась рядом ее четкая новехонькая тень.

Влажно курчавились, слегка серебрясь, кроны деревьев, обозначая своей прерывистой чередой еще не видимый глазу берег Оки.

Особняком мрачно-важно глядела дубрава — подобием крутого, сильного облака, грузно севшего в поля. И хмурая, по-ночному сырая тень еще синела в соседстве с нею.

Радостно перекликались какие-то птицы в хлебах.

Мощный куст татарника бесстрашно сиял на лысом бугре, весь обильно облитый росой, весь во множестве ртутно-сияющего бисера, который делал его похожим на какую-то азиатски изукрашенную новогоднюю елку.

То и дело порывался, но тотчас сникал и вновь, не унывая, порывался юный ветерок от реки...

Все окрест, еще не угнетенное зноем, было оживленно, тихо-весело и полно того сияющего деятельного счастья, которое присуще только природе и только ранним летним утром накануне знойного дня.

Дорога была подобна реке, и женщина шла по этой дороге, словно плыла, словно ее вело, — не делая, казалось, даже и небольших усилий, чтобы идти. И от этого странного, как во сне, голову кружащего ощущения, а главное, от счастья всего происходящего — и с ней происходящего и вокруг нее — она мгновениями испытывала что-то отчетливо близкое к отчаянию, и тогда какой-то ликующий клик так и торкался в гортань вырваться наружу, и медленный проникновенный озноб вдруг начинал красться вдоль позвоночного столба, запирая на миг дыхание и вынуждая сердце взбалмошно, неопасно, колотиться.

Солнце припекало все внимательнее, начиналась духота, и женщина растегнула сначала одну пуговицу, затем, нетерпеливее, еще две, а потом и вовсе — (все существо ее прямо-таки изнывало от непонятого требовательного желания б ы т ь е щ е б л и ж е!) — а потом и вовсе воровато и юрко выпростала себя из кофты, оставив ее свободно висеть вокруг бедер, и дальше пошла, уже по пояс обнажившись, странно не испытывая при этом ни егозливой суеты стеснения, ни, напротив, какой-то бравады, — ощущая одно лишь глубокое, как вздох после удушья, облегчение и ошеломительную п р о с т о т у.

Спутник ее, успевший уйти далеко вперед, поджидал женщину, остановившись возле какой-то тропки, убегающей в сторону дороги. Он смотрел, как она подходит.

Почти без выражения смотрел, просто. И чуть снисходительная нежность была в его глазах, горько сощуренных от солнца, сбоку падающего на лицо.

Она подошла, он продолжал смотреть, медля. Потом сделал скованный шаг навстречу и — почтительно склонившись очень

серьезным в эту минуту, даже печальным лицом — тихо коснулся губами ее груди, возле сердца, и еще немного помедлил в этой намеренно смиренной позе.

А женщина... — а женщина в этот миг, обреченно запрокинувши к небу вдруг ослепшее от счастья лицо, уже в полумороке от непосильной остроты и грозной сладости раздражающих ее чувств, странно напряженно заведя за спину руки, будто собираясь лететь, и даже, кажется, приподымаясь на цыпочки... — а женщина в этот миг умоляла себя об одном: вытерпеть, не умереть, запомнить — каждой клеточкой тела, каждым нервным волокном, каждой кровинкой! — з а п о м н и т ь э т о н а в с е г д а .

С диковатым недоумением Анна Петровна повела вокруг себя глазами и не узнала себя в нынешней своей жизни!

Мрак и убожество окружали ее. Холод и бесжалостное одиночество.

Непонятный человек, ссутулившись, коротал время возле ее кровати на стуле. Он был горестно освещен багровым светом снизу, и не было видно, дремлет ли он, просто ли глядит в задумчивости на огонь.

Пещерная грозная тень падала от него на стены и потолок.

Анна Петровна долго вглядывалась в него, не узнавая. Потом вдруг все вспомнила.

— А я знаю, кто вы! — сказала она, и сама же с удивлением отметила интонации безумицы, хитровато прозвучавшие в ее голосе. — Я знаю, кто вы!

Злорадное удовлетворение шевельнулось в ней, когда она заметила, что человек вздрогнул, услышав ее слова.

— В а с П о д о с л а л и К о М н е ! — торжествуя, объявила она. — Следить. Потому что... потому что... —

и вдруг с ужасом услышала, что она не то говорит!

Вдруг возникло кошмарное ощущение: она быстро-быстро, неостановимо скользит к какому-то краю, и вот — уже падает! — в пропасть, черную от отчаяния и жгучего стыда!

— ...потому что перстень... Ну, который я подарила Марине! Вам нужно знать, потому что...

«Господи! — тоскливо и беспомощно думала она. — Кому «вам»? Что — «нужно знать»?»

Какой-то злобный бес выхлялся в ней.

Выкрикивал что-то, ужасно обидное для Виктора, несправедливое, — беспокоясь, чтобы именно и пообиднее было, и понесправедливее, и побольнее! — чтобы одна только эта едкая услада и осталась с нею: услада оборвать, погубить последнюю живую родственную связь с этим миром, — чтобы одной, наконец, остаться, совершенно одной, навсегда всеми брошенной, навсегда никому не нужной, потому что...

— Потому что перстень для вас... — с необыкновенным презрением начала она, — потому что из-за паршивого этого перстня вы все готовы...

«Господи! Останови!»

Ей уже было дурно от этого разлада с собой. Ее уже корчило от стыда за происходящее. Она знала слова, которые о б я з а н а вот сейчас, сию же секунду, сказать: «Не слушайте меня!!» — а говорить продолжала что-то злобно-суетливое, мерзкое...

— Да дайте вы хоть что-нибудь!! — вскричала она вдруг. — Воды хоть! лекарство! нашатырю! Я понимаю, вас не за этим сюда посадили, но должна же кончиться эта мука когда-нибудь?!

Он протянул ей кружку, принес:

— Вам бы температуру сейчас измерить...

Она изумленно глянула ему в лицо, чуть ли не отшатнулась, услышав этот добродушно-покойный, ясный голос.

И только сейчас ее поразило: ни единого ведь слова он не сказал ей в ответ на ее сумасшедшие бредни.

Ей — будто плеснули в глаза стыдом!

Она с досадой зажмурилась. Торопливо взяла на ощупь таблетку, запила водой, легла, отвернув к стенке лицо.

Похоже, у нее и вправду была температура. Ныли суставы. Тянуло сжаться в комочек. Но не это, совсем не это мытарило ее сейчас больше всего.

Скучный смрад остался стоять в душе, никак не развеивался после скандальной этой истерики; она ведь так и не сумела сказать, чтобы он не верил словам, которыми она хлестала его, как по глазам — злая мстительная ехидна! — а он молча слушал...

И вот сейчас обида эта, нанесенная другому, начала мучить Анну Петровну так, будто это ее обидели — но во сто крат горше!

И вот она лежала сейчас на дне своего забытья и, глаза в глаза, взирала на эту страшную свою обиду-вину, а она, эта обида-вина,

не увеличиваясь и не уменьшаясь, стояла перед ней недвижно и тупо — как та оловянная рыбина ее снов, что стояла возле самого дна, привалившись жестоко ободраным боком к угольно-черной окаменелой коряге, и взбаламученный ил вокруг нее, как смрад, все никак не оседал, все стоял чадным облаком, и все труднее от этого, все мучительнее и натужней становилось дышать...

...и, испугавшись вдруг, что она так и уйдет с этим мучительно-скучным смрадом в душе, она, раздирая глаза, поднялась вдруг в подушках и, уже не увидев Виктора рядом, — с ощущением свершившейся катастрофы оттого, что Виктора уже не было рядом, закричала торопливо:

— Виктор! Виктор! —

уже зная наверняка, что он н и к о г д а не появится рядом, потому что так непоправимо-несправедлива она была к этому человеку, и черный яд раскаяния торжествуяще потек, разливаясь и язвя, внутри груди.

— Виктор! Виктор! — заплакала она жалко и горько, вмиг ощутив себя именно тем, чем, наверное, она и была сейчас — жалкой, тщедушной, всеми брошенной старой женщиной, растерянно взирающей на свои опустелые руки.

Он торопливо вошел, почти вбежал из коридора, очень взволнованный, — видимо, с криком.

— ...я провожал врача...

Она глядела на него, с трудом веря, с трудом различая его лицо сквозь зыбь застилающих глаза слез.

Потом облегченно опустила голову в подушки и дальше, погружаясь в несказанное наслаждение избавления и покоя, отчужденно спросила:

тут же, впрочем, вспомнив какие-то безликие фигуры в белом, проступавшие сквозь ее недавнее забвенье, и прокуренный женский голос, сварливо кому-то говорящий: «А вы попробуйте в такую вену попасть! Это что, вена? Это — нитка, а не вена» — и какую-то возню с ее телом, возню зряшную, ненужную (причем по тому, сколь много пренебрежения и сноровистой скуки было в том, как они берутся, перекалдывают с боку на бок, не дают покоя ее телу, она догадывалась, что и они тоже, эти люди в белом, прекрасно понимают всю напрасность этой возни...) —

и ей было ужасно стыдно, что она (видит Бог, поневоле!) отвлекает их от ж и в ы х, которым, быть может, именно в эту минуту помощь гораздо нужнее, и было досадно, что эти, в белом, никак не желают понять этого, и не оставляют ее в покое, и продолжают мешать, не дают п р а в и л ь н о свершаться тому, что должно свершаться и что уже свершается с нею.

— Пусть оставят меня в покое, — сказала она скрипуче, — вы им скажите.

— Воспаление легких они нашли, — ответил Виктор. — Не оставят они вас в покое.

— Не успеют... — она превосходительно усмехнулась, и тут же вспомнила: — Другое. Я уж боялась, что мы больше с вами не увидимся: п р о с т и т е! Я вам наговорила всяких гадостей — не верьте!

Он с удовольствием — но и с облегчением — рассмеялся.

Осторожно тронул ее руку.

— Зря вы беспокоились, Анна Петровна. Я вам и так не поверил.

И, продолжая смотреть на нее все с той же, чуть растроганной, улыбкой удовлетворения, добавил:

— А вы знаете? Повстречайся мы с вами лет этак пятьдесят назад, не сомневаюсь, влюбился бы в вас по уши!

— Да уж не преминули бы, я думаю, — неожиданно сухо согласилась женщина и вдруг — угрюмо задумалась.

Через некоторое время с сожалением какого-то извинения она проговорила:

— Трудно, наверное, было со мной... Ну, да они на меня не в обиде? —

спросила почему-то Виктора и за ответом смело глянула ему в глаза. И вдруг — невозможно лукавая нежная бестия на крохотное мгновение мелькнула в лимонно-черных, уже погребных, уже страшноватых глазницах. Вдруг — такая веселая юная синева пыхнула, что Полуэктов даже слегка закричал от восхищения и слегка заерзал и — мгновенную острейшую уважительную зависть почувствовал к тем, кому когда-то такая вот синева изобильно даровалась.

— ...не в обиде. И я — не в обиде. И ладно. А главное, что я все-таки успела извиниться перед вами. На улице уже, наверное, снег?

— Нет еще.

— А эти... горемьки... все так и стоят со своими бутылками?

— Куда ж им деться?

— Очень мне жалко их, когда — дождь, или — вот-вот пойдет снег... У меня там на шкафу деньги какие-то — отдайте Фаине-соседке. Пусть она... я ведь, наверное, совсем уже не слежу за собой?

— А в общем... — произнесла она, помолчав, неожиданно-ясным и сильным голосом, но уже с закрытыми глазами. — А в общем, очень похоже на то, что вот-вот пойдет снег.

И Полуэктов понял, что Анна Петровна сказала об этом именно ему — с интонацией одновременно прощальной, и успокаивающей: «Не бойтесь слишком-то уж...»

Когда она еще раз открыла глаза, ее поразило, как низко она лежит — как бы на самом дне узкого длинного страшно высокого ящика, в котором не сразу, а с тугим усилием она узнала жилище свое.

И больше, чем когда-либо, эта комната напоминала Анне Петровне щель.

Ей даже мельком вообразился некий огромный — до горизонта — пол, вернее сказать, некая деревянная, плотно сколоченная равнина с правильно убегающими вдаль половицами, сходящимися там, на стыке с небом, в тесный геометрический пучок. И здесь-то, в одной из щелей меж половицами — в сумрачной накопившейся пыли, пушисто-паутинной и напоминающей легчайший душный войлок, лежало ее тело — сухонький, слегка как бы обугленный пустой стручок, ни на что уже не нужный и никому уже не годный.

Ощущение было унижительное, и она тотчас попыталась прекратить его, попробовав хотя бы приподняться. Но тут же чуть не погибла от боли, тягуче взнывшей в шею-затылке, едва она усилилась поднять голову.

Осталась лежать как лежала, однако, слава Богу, теперь-то хоть понимала, что лежит на кровати в убогой своей комнатенке, и нет никакого пола, и нет щели, в которой она валяется, всеми забытая, — хотя комнатенка по-прежнему до ужаса напоминала ей именно пыльную щель, в которой она валяется и умирает, всеми забытая.

Она скатила голову набок и увидела человека, бессонно и послушно сидящего за ее столом.

Вновь ощущение раздражительной странности, с какой она очнулась, вернулось к ней. Вновь перестала она понимать: где она? что она? что с ней?

Она лежала, беспомощная — (опять показалось, что низко, едва ли на полу...), а за столом какой-то мужчина — она пригляделась и оторопела, — старательно и неумело ковыряя иглой, со смешной уважительностью вытягивая вверх чуть ли не полуметровый хвост нитки, зашивал ее халат!

Едкая злая досада, как кислота, стала разъедать ее.

Все было не так! Какой-то вывих присутствовал во всем. Все было — словно бы назло и на неудобство!

И одеяло давило, как раскаленное, — а она не могла, не было сил, распахнуться, дать телу прохладу.

И стена, рядом с которой она лежала, все время (она слышала это!) пошатывалась и слабо кренилась, норовя каждую секунду пасть на нее, — а она не была в состоянии даже отползти хоть немножко к краю! Куда там отползти! — она даже пальцем не могла пошевелить, буквально: мысленно обращаясь с повелением к пальцам руки, а они оставались недвижимыми, потому что сигнал (она это видела) тотчас гас, будто бы вяз, во тьме ее глохнущего тела.

Тесно было.

Раздражительно было.

Досадно было и тошно.

Потом — будто перекрыли какой-то вентиль. Ощущение тесноты, и раздражение, и обида, и злая досада — все это, как грозная вода, стало быстро-быстро копиться, переполнять... Наконец затопило и —

Анна Петровна, дико вдруг рванувшись, перекатилась по кровати и упала — как бросилась — на пол, не услышав ни боли от падения, ни испуга, — зацепившись вниманием лишь за мельком мелькнувшее чувство горделивости от своего, пусть и такого движения.

...И кто-то выкрикнул — с отчаянием, с веселым ужасом, с самой последней надеждой:

— «А-а-ань!!» —

и она мгновенно увидела летящий прямо на нее мяч — мрачно-наждачного цвета, кирзовый, не очень хорошо накачанный и оттого скорее многоугольный, нежели круглый, волейбольный мяч, по-мужски хлестко и отчетливо-зло пробитый на

нее наискось площадки огненно-рыжим, жестко-курчавым, бессловесным военлетом из соседнего санатория, который играть в волейбол всегда почему-то («Почему бы это?» — усмехались здешние барышни, поглядывая при этом на Анну Петровну) приходил к ним, хотя, по всеобщему мнению, в «Фабрициусе» и площадка была гораздо лучше, и новая сетка, и мяч — кожаный, и игроки были несравненно сильнее... Не сильнее, впрочем, чем этот, огненно-рыжий, о котором говорили, что он играл за «ВВС», и о мастерском классе которого действительно говорило буквально каждое его движение на площадке:

и то, как он дает подачу — таким ошеломительным «крюком», что мяч, промчавшись по краткой дуге низко над сеткой, чуть не отвесно ли обрушивается на вторую линию, вызывая беспомощные и жалко-суматошные жесты защитников:

и то, как он мягко, с трогательным прямо-таки уважением к партнерам (которые уважения этого явно никак не заслуживали) выполняет передачи;

и конечно же, то, как он атакует, когда случается хороший пас над сеткой, — выскакивая к такому мячу даже от задней линии, жадно, радостно, хищно, и тотчас выбивая его чуть ли не под самую сетку, как некий победоносный восклицательный знак ставя во славу Настоящего Волейбола, о котором здесь, разумеется, понятия не имели.

...Он возносился в такие мгновения над сеткой грозно и неумолимо — чуть ли не по пояс! — слегка откинув корпус назад, с рукой, заломленной в замахе, чуточку медлил в полете, словно бы озирая площадку противника... а затем раздавался жест — именно раздавался — сабельный молниеносный жест удара, которым этот рыжий бил, как убивал.

От его ударов — н а с т о я щ и х ударов — немыслимо было защититься, это уже давно всем было ясно, —

это всем было ясно и тогда, когда с отчаянием, и веселым ужасом, и самой последней надеждой все вдруг крикнули: «А-а-ань!» — и она увидела, как в лицо ей мчится серый угловатый камень мяча, пробитый с такой бешеной силой, что он даже никак не вращался, а словно бы стоял в воздухе, слегка только рыская из стороны в сторону.

А рядом и за мячом — холодновато светился раздраженный чем-то, насмешливый и словно бы немного безумный взгляд

рыжего военлета, — взгляд, и обидевший, и поразивший, и обозливший ее чрезвычайно, —

потому что она, одна, з н а л а то, о чем другие только догадывались, — что играть на их площадку он, действительно, приходил только из-за нее,

потому что она, одна, в и д е л а то, чего другие не замечали и заметить никогда бы не смогли: как лицо его, вечно будто бы готовое к обиде и болезненно-замкнутое, — как лицо это облегченно, счастливо, слегка даже глуповато светлеет, когда, придя на площадку, он видит, наконец, ее и взгляды их невзначай сталкиваются,

потому что она, одна, с сочувствием и снисхождением с л ы ш а л а то, чего другим не дано было услышать: как нежная суета, жалкая радость и совсем мальчишеское волнение овладевают этим взрослым мужчиной, когда ему выпадает играть в одной с ней команде, и как он совершенно, безраздельно счастлив в такие минуты — играть в одной с ней команде.

Когда же они оказывались по разные стороны сетки, он, до смешного щадя ее самолюбие, вообще в ее сторону не играл! Ну а если приходилось, бил так мягко, так подчеркнуто бережно, что ей, единственной, никакого труда не составляло принимать мячи, посланные грозным военлетом.

А сейчас он ударил — по-настоящему ударил — без малейшей пощады — что-то случилось — мстя — так в последнем отчаянии избавляются от мучителей.

Видит Бог, она никогда не старалась мучить его! — но об этом уже нечего было размышлять, потому что убийственно и страшно, прямо в лицо ей, уже летел этот бешеный мяч, и в воображении ее — в миллионную долю мгновения ока! — уже вспыхнуло дикое и страшное: какие-то кровавые брызги, кровавый какой-то дрызг — то, что останется от нежного ее лица. И жуткая боль. И едкое унижение. И тошная тоска бессилия... Но...

...Но — в ту же самую долю мгновения, когда все это ей нарисовалось, — гениальное тело ее уже совершало свое чудное чудо:

неимоверно себя прогнувши, так что со стороны казалось, что женщина скорбно опрокидывается навзничь, оно, ее тело, уже летело, пружинно брошенное точным толчком ее сильных протяжных ног, в ту же сторону, куда мчался и мяч — словно бы прочь от мяча, — совершая при этом и еще одно, поразительно

замысловатое — винтообразное — движение, так что в результате она должна была бы оказаться спиной к настигающему ее мячу, спиной и чуть ниже его...

А руки ее в это же самое время совершали и еще одно, свое, неведомо каким наитием продиктованное действие: молитвенно сложившись запястьями, они истово тянулись как можно дальше, казалось, в пустоту, но на самом-то деле — в ту самую, единственную точку пространства, где их движение и путь мяча, мелькнувшего над плечом, неминуемо должны были пересечься, — и

мяч — наждачно ошпарив кожу тесно сомкнутых ее запястий, враз потерявши свою сокрушительную силу, неминуемо (она, ликуя, уже з н а л а это!) должен был, кроткий и мирный, отскочить назад к сетке...

И все было так.

С наждачной скоростью ошпарив кожу, заметно отбросив вниз ее свободно взвешенные руки, мяч отскочил назад к сетке под дружный: «А-ах!» изумленных зрителей, а она, счастливая, грянула оземь, с улыбкой услышавши пустячную боль в локтях и коленке, — вся потрясенная тем сказочным облегчением, которое в з о р в а л о с ь в ней, едва она услышала, как плотно и правильно легло на запястье тело мяча, и тесное тяжелое содержимое его, как бы кратко перелившись, очень сильно, но вовсе не зло и не жестко бросило ее руки вниз, — едва она поняла, что случилось чудо: мяч ею взят, и взят точно!

И тотчас — будто вдогонку — вспомнилась та отчаянная, та самая распоследняя надежда, которая дурашливо, но все же искренне, взвизгнула в том отчаянном выкрике:

— А-а-а-ань!! («Выручай! Больше некому, Ань!») —

и чуть не заплакала от внезапной и нежной благодарности к тем, кто так в нее все-таки верил.

Она побежала счастливым взглядом по пятнам лиц, обращенных к ней со всех сторон площадки, отыскивая то, единственное на всем белом свете лицо, с которым ей было необходимо перегляднуться именно сейчас, именно в эту минуту...

Но ужас обуял ее.

Она, оказывается, уже не могла вспомнить это лицо! Ни единой черточки!

Мутно-туманное слепое пятно возникало, едва она усиливалась вспомнить то, самое дорогое, лицо.

И тогда, в тоске от этой ужасающей потери, она еще раз закричала — совсем не то, что хотела крикнуть — обреченно, жалобно:

— Виктор!

Он приблизился, наклонился, и она жадно, так жалко обожая, в п и л а с ь в его лицо глазами. Будто, умирая от жажды, стала пить глазами. И все торопилась: пить еще и еще...

Полуэктов, словно бы понимая, что с ней происходит, не двигался, подставляя себя ее взгляду, и лицо его хранило выражение напряженной неловкости —будто слепец своими быстрыми пальцами шарил по его лицу.

Наконец она устало прикрыла глаза, а когда вновь открыла, глаза уже были влажно-пустынны.

Отворачивая от него лицо к блеклым обоям, по которым, однообразно опрокинутые донцами вверх, все летели и летели куда-то решетчатые корзиночки с букетиками цветов, она проговорила виновато, хотя уже и почти равнодушно:

— Я так и не поня... — и жизнь в ней закончилась.

— Анна Петровна! — позвал он осторожным голосом, словно будил спящую. Ответом была тишина. Он вздохнул, встал и отошел к окну.

Асфальтовый дворик был пуст. Лишь возле обшарпанной шелудивой стены в некоем подобии очереди стояли шатко искосившиеся ящики, прикрытые кое-где газетным мокрым рваньем.

Быстро темнело, и, судя по всему, вот-вот должен был пойти снег.

...Когда начинался снег, когда вот-вот должен был пойти снег, и все вокруг уже наполнилось чернильным утрюмым мраком — так тревожно наполнялось и так стремительно, что казалось, это небо быстро-быстро пошло вдруг к земле, тесня и удушая свет, — когда от внезапных этих потемок начинало вдруг зло саднить глаза, и всё, на что бы ни глянули эти глаза, мгновенно словно бы окисливалось едкой безнадежной печалью; когда вкрадчивым мстительным серебром начинали вдруг сиять неприметные до этого лужи, и деревья становились угольно-черны, погребальны, а в темных норах окон то тут, то там

тревожно белели лица людей, опасливо выглядывающих на улицу; когда всё в тоске замирало, и только какая-нибудь взъерошенная ворона, словно бы наискось сдуваемая ветром, боком, поспешно переплывала небо с востока на запад, где за черными кубами домов уже страшно зияла ледяная, воспаленно-желтая по краям щель заката —

в этот час так горестно, так безутешно одиноко было стоять в сизом сумраке у окна, из невидимых щелей которого так язвительно и ясно сквозило, слушать, как ползет по жилам хмурый яд этого недоброго вечера, как свирепая тоска по ушедшему свету, и радости, и веселью заполняет все вокруг, не оставляя уже ни малейшей надежды, — так горестно, так одиноко и все же так сладко было стоять, слушая, как нежно болит маленький комочек ее сердца о человеке, который в эти минуты, под злыми этими небесами — претерпевая, упорствуя, ожесточаясь — все-таки (она знала это!) идет к ней...

Тьма достигала последних пределов, и вот на этой последней грани, за которой, казалось, не было уже ничего, кроме отчаяния, она, преисполняя себя сочувствием и состраданием, вдруг вся жалко устремлялась навстречу, всем существом своим даже как бы взывая от лютой жажды помочь!..

— и, дивное диво, — всегда наступал миг, когда, торжествуя, она начинала слышать: горячая и живая, протянулась меж ними связь, и он теперь — не один, и она теперь — не одна.

И всегда почему-то казалось, что это их усилиями вдруг облегченно светлеет в мире: прорывает, наконец, небеса, и густо, поспешно, наперебой начинает падать снег.

И всегда почему-то казалось, что белый взволнованный лепет снегопада — как торопливый рассказ кого-то кому-то о том, как приближалась беда, как беда была совсем уж близко и как беда миновала.

* * *

«Марина в кардиологическом санатории, тревожить ее категорически нельзя», — сообщил Новоселов, выслушав Полуэктова.

Разговор происходил в передней, стоя.

«Пожалуй, я даже и сообщить ей не решусь об этом скорбном (он тонко улыбнулся) событии: Мариночка ведь такая рани-

мая», — тут он улыбнулся уж совсем откровенно.

Полуэктов смотрел на него молча, с любопытством.

«Если вы имели в виду помощь материальную, то, увы, денег свободных нет. Мариночкина болезнь, сами понимаете, тому дай, тому сунь, импортное лекарство достань.»

Полуэктов рассматривал его очень внимательно, подробно. Должно быть взгляд его узко поставленных, упорно въедливых черных глазок неприятно беспокоил Новоселова.

«В общем, короче, — почти грубо сказал он, — Марина этим делом заниматься не будет. Денег тоже не будет. Если вы надеялись — кто вас знает? — на мою помощь, то я тоже — пас. Не люблю я эти мероприятия, да и от старухи от этой, окромя неприятностей, я ничего в жизни не имел. Знаете — (тут прямо-таки трогательная искренность и отголоски слезной обиды прозвучали) — знаете, как обо мне теперь говорят на службе? «Новоселов? А! Это тот, что попался с кольцом?..»

Полуэктов хмыкнул, казалось, с удовольствием.

«А лично вы — к т о будете?» (Тревога прозвучала в этом запоздалом вопросе. Он, понятно, подумал о какой-нибудь общественности и о неприятностях, которая общественность эта может ему натворить.)

— Племянник, — привычно сказал Виктор и повернулся к дверям.

Новоселов возликовал.

«Это ж замечательно, что вы — племянник, — прошептал он, нежно и весело оглядывая гостя и скидывая запоры, чтобы выпустить того из передней. — Вам, как говорится, и заступ в руки. До свиданья, племянник. Очень, о ч е н ь огорчили вы нас своим скорбным известием.»

На эти слова Полуэктов резко обернулся.

Но, еще раз оглядев лицо Новоселова, скучно отвернулся и все так же молча пошел к лифту.

В кармане у него оказались три двушки.

Он позвонил трем своим друзьям, и через день — в дивный прощальный день октябрьской осени — они Анну Петровну похоронили, просто и задумчиво посмотрев напоследок в ее уже совсем незначительное, пренебрежительно скомканное смертью, цвета свечи, лицо.

— А между прочим, командир, земля тут, как камень... — сообщил, кончив охлопывать холмик, один из могильщиков — студенческого вида, жизнерадостный ясный паренек.

— Да? — рассеянно переспросил Виктор и, словно в ожидании, стал смотреть ему в лицо своим упорным, чересчур внимательным взглядом.

Потом сунулся в карман и, не взглянув, дал ему пятерку.

— Мало, командир! — с несерьезной укоризной возопил парень.

Полуэктот хмуро улыбнулся.

— А ты пожуй — может, больше будет? — хлопнул студента по плечу и пошел догонять товарищей, которые, неспешно шагая, уже довольно далеко успели уйти по кладбищенской аллее, с удовольствием истинных друзей расспрашивая друг друга о жизни.

пос. Заветы Ильича, 1984 — 1985 гг.

АНТОН ПАВЛОВИЧ

I

— ...Жужиков, — произносил он с интонацией оборванного хихиканья и стесненно протягивал руку. И принимался глядеть вам в лицо ласково-ожидающим, доверчивым взглядом голубеньких глаз, которые выглядели очень уж акварельно, неуместно как-то, по-девичьи выглядели на этом вяло помятом, сереньком невнятном личике.

Ладонь была у него довольно приятна — и не мокра, и не холодна, и пожимал он руку, это чувствовалось, очень и очень дружелюбно (чересчур, пожалуй, дружелюбно для первого знакомства), но, странное дело, рукопожатие его позабывалось мгновенно. Как, впрочем, и сам он забывался мгновенно, словно бы бесшумно проваливался из памяти, стоило только отвернуться от него...

Кое-какое впечатление от знакомства с ним, понятно, осталось, и это было, скорее, не неприятное впечатление: светленькой пустяковости, застенчивой бесталанности какой-то, но, повторяю, никаких отчетливых, внятных ощущений не вызывал он своей персоной.

Точно так же, как ничего определенного при всем желании нельзя было вспомнить и о тех восьми книжонках, которые он с превеликими страданиями и муками сумел написать и без всяких мук издать за тридцать лет своей непрерывной творческой деятельности.

Надо бы вот только сразу заметить, что этаких слов: «творчество», «литературная деятельность» — Жужиков не просто не любил, но как бы даже и шархался от них! (В чем был полная противоположность супруге своей, Татьяне Ильиничне.)

Ему даже несказанные корчи в душе доставляло признаваться, ч е м он занимается, чем, собственно говоря, зарабатывает

в 55 неполных своих лет небогато намазанный маслом кусок хлеба. Когда подобные разговоры возникали и когда от ответа никак уклониться было нельзя, Жужиков принимался морщиться, как от зубной боли, лицом изображать досадливейшую муку: «Ну, в общем...— страдальчески кряхтел.— Ну, член союза, в общем! Ну, писателей!...» А когда вслед за таким признанием люди начинали с новым оживленным пристрастием язвить его взглядами, стремясь отыскать в лице следы, так сказать, писательского порока,— тут Антон Павлович и вовсе принимался ерзать, как на горячее усевшись. Самозванцем, обманщиком, аферистом ощущал он себя в эти мгновения — по одному хотя бы тому, что ничего от писателя у него и во внешнем облике не было, он знал. Даже и бороды.

Невысок был росточком Антон Павлович, сложением мелок и, кроме того, казалось, что он словно бы помят, что ли. Будто большой ладонью когда-то взяли его всею фигурой и слегка пожамкали — без жестокости, но чувствительно, и после этого плечико одно стало торчать у него немного повыше и поперед другого, грудь просела и какая-то колченовость появилась, заметная не только в походке, но и тогда, когда он стоял на месте, быстро утомляясь стоять в одной позе и постоянно поэтому переминаясь: то одну, то другую ножку отставляя, то переплетаясь ими, то одним ботинком залезая зачем-то на другой... А если рядом оказывалась еще и подпора^а какая-нибудь, то он непременно начинал к ней прислоняться — плечиком ли, локоточком ли, спинкой,— тем еще более усиливая впечатления зыбкости, слабости, неуверенности и неопределенности, которые и без того ощутимо исходили от его фигуры.

...Когда в разговоре о профессии неминуемо задавался жестокий вопрос: а что Жужиков, собственно, создал, чтобы по праву носить высокое звание члена союза, в общем, писателей? — тут Антон Павлович даже и некоторое озлобление вдруг выказывал:

— Да не читали вы меня! — восклицал он, слегка ощериваясь при этом.— Я — малоизвестный! (причем «малоизвестный» звучало вовсе не смиренно в его устах, а как бы даже и вызывающе.) — Ну, «На роостанях» был сборничек. Ну, «Пора повиликы»... «Пути-дороги»... Да не читали вы меня, что я, не знаю?!

Как правило, да, не читали.

Он за свою жизнь десятка два лишь встретил людей, которые что-нибудь из него прочитали.

Однако фамилию его — Жужиков — многие знали. Слышали. Неординарная была фамилия, запоминалась... Да ведь и то следует сказать, что за тридцать-то лет беспорочной творческой жизни не один разок мелькнул и в критических обзорчиках, и в статейках всяких, четырежды — не шутите! — в юбилейных речах перечислялся. А это какая-никакая, а все же таки известность.

Писал он трудно и плохо.

С каждым годом — все труднее, поскольку с каждым годом все яснее становилось ему, что пишет плохо, пишет не так, не о том, не ради того, ради чего нужно писать. Но вот к а к, о ч е м, р а д и чего? — ответить уже затруднялся. Может, и знал когда-то, но с годами забыл.

Только ведь, согласитесь, когда тебе гораздо за пятьдесят, чем бы ты, человек, ни занимался, ты ведь не скажешь себе с легкостью: «Не тем, не там, мил друг занимаешься!» Вернее, сказать-то, может, и скажешь, но только ведь не бросишься тотчас исправлять ошибку собственной судьбы! Поздненько...

Потому и Жужиков продолжал что-то такое потихонечку рукоделить, замыслы выпнашивать, шуршать карандашиком, хотя и понимал уже без особой жалости к себе, что не о том, не так, никому не нужно то, чем он занимается.

Тих он был уже, скромнехонек. Даже как бы приглушен жизнью. Но не особо даже и печален.

В начальство никогда не лез. (Господи! Даже сама мысль об этом была ему дика!) И ни один, даже самый пронзительный мыслию знаток литературной жизни не сумел бы сказать, с кем Жужиков кучкуется: дружб Антон Павлович ни с кем не водил, а время проживал где угодно, но только не там, где тратили досуг братья его по перу.

Без всякого усилия над собой он всех, писавших и пишущих, почитал талантами гораздо выше себя. Хотя, честно сказать, и писавших и пишущих читал Жужиков ужасно мало. Если уж совсем откровенно, то в последние лет десять он вовсе ничего не читал — ни современников, ни классиков. Классиков-то — в особенности!

Побаивался он их. И в первую голову — Льва Николаевича. Федора Михайловича трепетал почему-то меньше. Антон

Павлович, тетка, был, конечно, тоже яд-человек, но он как-то почти совсем Жужикова не тревожил. Меньше даже, нежели Иван Алексеевич...

Лев Николаевич вгонял Жужикова в непонятную дрожь. На каждой строке так прямо-таки и грозил уязвить, так насквозь и прожигал! «Не писатель, право слово, — думалось иногда Антону Павловичу, — а — прокурор человеческих душ!»

И ужасно странно было теперь вспоминать, что в былые-то времена очень любил он почитывать толстовские сочинения — в те времена, понятно, когда всю еще пошевеливались самомнительные мыслишки о собственном (только лишь разворачивающемся) даровании, когда на классиков гляделось не то чтобы вровень, но без особого трепета. Кончились, однако, те времена... Теперь вот, когда — из-за возраста, что ли? — все чаще и чаще стал думать о себе правду, тяжеленько сделалось Жужикову читать великого графа — тяжеленько, тошно да и лень, честно говоря.

Сказать короче — в большом унынии и запустении пребывало дарование Жужикова в описываемый нами период времени.

Давно ничего не писалось, давно ничего не издавалось.

На жизнь Антон Павлович зарабатывал тем, что рецензировал по издательствам рукописи начинающих авторов.

Рукописи ему подбирали самые дремучие, беспросветные. Но вовсе не потому, что к Жужикову было в редакциях какое-то особенно уж злобное отношение, совсем напротив! Как никто другой, умел он самым угрюмым графomanам ответить ласково и жалостливо, с фельдшерской интонацией: «Голубчик!..» Всегда находил чем ободрить, всегда умудрялся отыскать хоть блесточку, хоть искорку, хоть одно-единственное удачное словечко. Отчего и сам в это время преисполнялся немалого довольства, а обрывок фразочки: «...с щедростью большого таланта, присущей ему...» так с горделивостью и шмыгал туда-сюда в воображении, покуда сочинял он эти милосердные рецензии-подавания.

В рукописях недостатка не было. Рубликов триста он мог бы выгонять в месяц, не чересчур утруждаясь. Но никогда больше чем на две сотни Антон Павлович работы не набирал.

— Бүдя! Бүдя! — восклицал он с веселой паникой в голосе, но немножко и виновато, когда ему пытались всучить что-нибудь еще, эпопеечку, скажем, листов на сорок. — Это я в следующий раз, можно?.. — и тут же прибавлял, глядя на всех с милой своей

доверительностью: — Надо ведь что-то и с в о е сделать, правда?.. Не пишется что-то — хоть стреляйся! — но, кто знает... может, еще не вовсе опустела чернильница, так сказать, моего таланта?.. — и по озорной интонации на хвостике этой фразы должно было предполагать, что конечно же нет, не вовсе опустела, и грешно издательскому плоду так уж непроизводительно тратить жужиковский талант, который наверняка еще подарит читателя кое-чем-нибудь из ряда вон выходящим.

С чернильницей, однако, было худо. Писать не хотелось всегда.

С неприязненным удивлением, как что-то почти неправдоподобное, вспоминался иной раз послевоенный Жужиков — тонкошейй прыщавый вьюнош в гимнастерке с чужого плеча, который в желтеньком сумраке вонючей коммунальной кухни, тесно затиснувшись в уголок меж столом и ржаво облупленной раковиной, пристроив на костлявой коленке блокнотик, торопливо и жадно шпарил паршивым карандашом на паршивых листочках чуть ли не по листу за ночь! — словно лихорадочным ветром гоним, в вечном словно бы полуобмлении от п о х о - ж е с т и того, что появлялось в блокнотике, на то, что печаталось в те годы в книжках и журналах.

Хоть бы словечко осталось от того воспаленного сочинительства!

Ничего не осталось. Одна вот только превосходительная усмешечка — при воспоминании о восторженном жалком парнишке, к которому теперь (вот странность!) он и относился-то не как к самому себе — юному, дорогому, нежно-далекому, а как к сопернику!

Теперь вот писать вовсе не хотелось. Шесть книжек из восьми он сочинил уже без всякого желания писать. И если кто-то когда-то и хвалил, то непременно почему-то какую-нибудь одну из этих шести.

II

Странная история, приключившаяся с нашим героем, началась в тот дивный майский день, когда на дачу к Антону Павловичу — в «кукуевское уединение», как любила называть это Татьяна Ильинична, — ни с того ни с сего заявила Маняшка, дочь Жужикова.

Слава Богу, что не застучала она папеньку ни перед телевизором, глядящим футбол, ни на диване, сладко почивающим под овчинным тулупом, нежно Жужиковым обожаемым. Увидела — как и подобает детям лицезреть отцов-литераторов — в творческой лаборатории, за рабочим, как говорится, столом, в муках, можно сказать, сотворения изящной словесности.

Ни мук, правда, ни сотворения словесности, тем паче изящной, не было и в помине. За письменный стол Жужиков забрался, чтобы поискать в ящиках старый блокнот.

Ему вдруг померещилось, Жужикову, что в том блокноте вроде бы заметочка есть, внимания достойная. О чем — в этой заметочке, хоть убей, не мог вспомнить. Просто вдруг вспрыгнули откуда-то пред очи Антона Павловича две строчечки с хвостиком! И так они, Господи Боже, вольготно, напористо, весело начириканы были, те строчечки, так, прямо слово, не побоюсь сказать, п о - п у ш к и н с к и! — что с плотой готовностью заняла вдруг боль-зависть в оскуделой жужиковской душе и бросился он тотчас разыскивать по ящикам блокнотик тот и страничку ту — в жадной жалкой надежде: «Быть может, заметочка эта — чем черт не шутит?— и есть то самое, с чего он наконец-то н а ч н е т?!»

И вот, болезненно кривя лицо, рылся в занудной бумажной помойке, то и дело испытывая что-то, отчетливо родственное рвотным судорогам, когда волей-неволей приходилось прочитывать все эти тупо-глубокомысленные, постыдно-напыщенные «н а б л ю д е н и я», которыми единственно он и пробавлялся в последнее время, пытаясь вызвать в себе уже совсем, пожалуй, зачахнувшее сочинительское настроение души. («Осень. Серый день. Красный лист клена, кувыряясь, торопится по аллее. Куда?») — и с чем большим отвращением ковырялся Жужиков в этом бумажном хламе, тем прельстительнее представляла воображению та блокнотная страничка, сереньким нежным пушком уже слегка поветшавшая, с двумя теми строчечками — ах, как великолепно небрежно! ах, как наискось бегущими! — и уже почти всерьез казалось: «Да! Те строчки — это именно те строчки, с которых он наверняка начнет!!» — и в эту минуту, пренебрежительно кратко стукнув в дверь, появилась Маняшка.

Он взглянул на нее с нескрываемой досадой (даже, кажется, коротенько простонав). Впрочем, и обычная при виде дочери

настороженность, и виноватая, и боязливая одновременно, тотчас набежала на лицо Антона Павловича.

— Не помешала, надеюсь?

Дочь говорила как всегда — с ленцой, с превосходительной усмешечкой. Без интереса промелькнула взглядом по лицу отца, со скукой стала озирать кабинет.

— Не облава, не бойся. Маманя беспокоится, что ты помрешь от недоёда прежде, чем сочинишь очередную эпохалку, потому — прислала провианту... Пойдем. Я буду л ó ж и т ь в холодильник, а ты — запоминать, где что.

Дочь с усилием выдавливала из себя слова и все время косилась на портрет Жужикова, как на третьего в доме.

Портрет этот — углем на сером картоне — был создан за банку черной икры в самом Париже, на самом Монмартре — пять лет назад, когда в составе молодежной делегации по линии «Спутника» Жужиков посещал Францию.

Жужиков на портрете был сам на себя не похож, однако нравился Антону Павловичу очень. И он часто с симпатией вспоминал безвестного монмартрского художника: «...за внешне неброскими... сумел разглядеть... с присущей ему глубиной проникновения...»

В соседстве с дочерью вот уже много лет Жужиков испытывал постоянно глосущий стыд и ощущение вины. Ему, он заметил, вроде бы даже и боязно было с нею. Боязно, что вот сейчас разомкнет она свои накрашенные уста и начнет говорить все, что думает о нем.

А что именно думает она о нем, увы, тайной для Антона Павловича не было...

...Пять лет назад по случаю полувекового юбилея удостоен был Антон Павлович Жужиков высокой награды — Почетной грамоты секретариата Союза.

В доме стараниями Татьяны Ильиничны, ясное дело, воцарилось ликование. Дружно названивали знакомые, полужнакомые и полузабывшие о нем знакомые. Жена, затеяв гигантскую кулебяку, всех зазывала в гости, и каждому гостю, выбегая в прихожую, с доверительным восторгом в голосе на разные лады декламировала:

— ...Вы знаете Антона Павловича как вдумчивого беллетриста, вот уже 30 лет упорно работающего в литературе...—

каждый раз для нового гостя по-новому делая ударение: то

на «вдумчивого», то на «30 лет», то на «беллетриста»...

Гости хоть и улыбались, но смотрели на Жужикова неприятными взглядами. А Антон Павлович, кланяясь подобно лакею и благодаря, рдел лицом и сам про себя досадливо постанывал — от позора, от отчетливой непристойности всего происходящего, от изобилия какой-то совсем уж простецкой лжи, которая напористо заполняла все вокруг.

Мыкался, приветливо и стесненно улыбаясь, по квартире. Присоединялся то к одной, то к другой группке, беседующей в ожидании кулебяки на темы творчества и оплаты творческого труда, — не знал, куда себя приспособить в этой постыдно-праздничной толчее. И вот тогда-то (надо бы сказать, в довершение всего) нечаянно подслушал разговор, который вела его девочка, уединившись с телефоном в комнате.

— ...А зачем тебе его имя-отчество? — говорила она кому-то тем особенным, враждебно-обороняющимся тоном, каким она говорила по телефону с ухажерами. — Акакий Акакиевич его имя-отчество! Ага! Акакий Акакиевич Жужиков.

Удивительное чувство испытал он тогда. Не обиделся, не возмутился. Не особо даже опечалился. Просто — мгновенно и очень просто — ему расхотелось жить.

Так что е е правду о себе он знал. Но не «правды» этой он боялся, поверьте, когда боялся: вот-вот сейчас она разомкнет уста и начнет говорить...

(Больше, нежели он сам знал о себе, она сказать вряд ли могла. И большее ударить, чем ударила пять лет назад, тоже не могла...) Он боялся с в о е г о с т ы д а з а н е е, за дочь, которая судит отца. Он боялся, что стыд этот — в отличие от другого стыда, прирученно и привычно живущего в нем: «Ну, не сумел...ну, не достиг... ну, не вознесся...» — будет чересчур уж разрушительным, убийственным, быть может, для слабенькой его души.

— Ну, пойдём... — послушно согласился Жужиков и полез из-за стола.

Поглядел на блокнотик, который держал в руке. Подумал, что это вроде бы т о т с а м ы й блокнотик. Но тут же как бы и забыл, ради чего, собственно, он так рьяно разыскивал этот блокнотик.

Дочь пошла вперед, а Жужиков — следом, сразу принявшись привычно дивиться тому, какая она сделалась крупная, его дочь,

какая она почти совсем уже чужая ему — совсем уже посторонняя женщина.

Маняшка шла подчеркнuto не торопясь и с подчеркнuto издевательской усмешкой разглядывала все вокруг. Ну, к примеру, как если бы она, чужой человек, собиралась снять на лето, а может даже и купить, их ветхий домишко, который Татьяна Ильинична так глупо и важно обожала именовать «дачей» («...Антон Павлович работает на даче. Он безумно любит Кукуево, там у нас дача...»), и, следуя за дочерью, Жужиков невольным образом повторял ее взгляды и быстрые, обидные испытывал уязвления.

Блеклые, совсем уж обесцвеченные старостью обои были отчаянно треснуты от потолка и до полу, наподобие тощей стойкой кожиры уже картонно отслаивались от стен, приоткрывая коричневато-крупитчатую от клея изнанку... Грязно пестрела из-под них старая газетная бумага, вся в желтых разводах проступившего насквозь клейстера, тоже лопнувшая тут и там, но не сверху вниз, как обои, а горизонтально, — волосяной мелочью трещинок прилежно повторяя щели дощатых стыков... Мохнатые от копоты тенета подводно колыхались по углам потолка, напоминая то дряблые гамаки, полные мусорной мелкой чепухи, то ветхо-изгнивающие рыбацкие сети, то угольно-черные лоскуты без дела болтающейся дрянной кисеи.

Жужиков шел за Маняшкой, оглядывал все вокруг неприятными глазами дочери, и — странно, но занятие это не лишено было приятности!

Ехидная какая-то услада присутствовала в новой этой недоброй зоркости. Жужиков вдруг даже шевеление некое, несомненно творческое, услышал — где-то там, совсем внутри, в самых глухо ооченелых недрах писательского своего чувствилища! — и, тихонько хихикнув, ужасно возрадовался этому.

Дочь толкнула разбухшую после зимы дверь, тотчас со сварливой готовностью заскрипевшую (Жужиков с гордостью заметил, что именно со «сварливой» готовностью...), они вошли в комнату, и Антон Павлович тотчас же, с новехоньким этим оживлением и здесь радостно принялся перечислять приметы запустения и унылого убожества, которые обычно не замечаемы им были, а сегодня прямо-таки поражали взор: и ржавый потек на обоях в углу потолка, и голую, мухами

засиженную лампочку на мохнатом от пыли шнуре, и, конечно же — восхитительно-омерзительно-шелудивый бок высокой печи, весь чешуйчатый от крупной коросты осыпающейся побелки, сквозь которую срамная, желтая, глядела закаменевшая грязь глины.

Он раньше недоумевал, отчего Маняшка так избегает Кукуево, отчего даже жаркими летами предпочитает жить в московской квартире.

А вот сейчас понял (не то чтобы внятно, обстоятельно понял), наугад коснулся домыслом и обжегся вдруг: «Ей противен о в э т о м д о м е!»

Тотчас и другая догадка — и пострашнее, и поотчаяннее — осенила его: «Не только дом ей противен. Ей, главное, они — родители! — скучны-противны! — вся жизнь, которой они жили и живут!»

В изумлении ужаса взглянул он на дочь свою.

«В каком одиночестве, Господи, живет она, бедная! Каким же ненастьем, должно быть, видится ей предстоящая жизнь!» — и опять обожгло: «По моей, конечно же, по моей вине!»

«...Вот о чем написать-то!» — смутно и боязливо подумал он, наугад вообразив — не словесными знаками и не картинками, а как бы мимическими гримасами души — что-то до небес грандиозное, круто замешанное на людском сиротстве, на ощущении непреходящей вины всех перед всеми, на отчаянно-острой мольбе всех ко всем о помощи... Главным же в этом эпохальном полотне была, несомненно, какая-то молчаливая свинцово-сизая туча невзгоды, грубо громоздящаяся надо всем, из нутра которой время от времени словно бы доносило угрюмой музыкой — то ли виолончели, то ли контрабасы скорбно скребли смычками, утробно гудели на лохматых низах...

«...Извечная, однако, всегда... тема поколений... — сформулировал Антон Павлович, — ...отцов, так сказать, и детей... которую Жужиков решает с присущей ему...»

Но — таким уж окаянным заунывьем дохнуло на Жужикова от этой картины! Таким она сразу же пригрозила нудным, каторжным изнеможением души! — что Антон Павлович поспешно (и вполне привычно) прынул прочь с интонацией: «Как же-с! Нашли дурака...» и с несказанным облегчением весь вдруг обдряб, как шарик, из которого вытек воздух, вздохнул: «Ну и ладушки...» и поворотился к дочери опять заскучневшим лицом.

Дочь выкладывала из сумки пакеты, кульки, свертки, фунтики.

Жужиков взирал на нее, как из-за пыльного толстого стекла. Ему было жалко чего-то.

«Что ж поделать? — слегка напыжившись, подумал он о себе, чувствуя досадливое, но, впрочем, и быстро уже угасающее смущение от только что происшедшего с ним. — Верность одной, раз и навсегда выбранной теме... которая проходит красной нитью с присущей ему...» —

думал квелими осоловелыми словами, а там, во глубине души, в самых ее чуланных закоулках тихонько вздыхало, ворочалось, укладывалось и никак не могло улечься — как убогая старушонка на жестком сундучке у городской родни — смиренное сожаление о только что минувшей трескучей минутке вдохновения. (Да, да! Конечно же — вдохновения! Ошибиться было невозможно...)

Считанные разы за последние годы вспыхивали такие минуты. Казалось, именно их-то он и ждет, томясь и с тоскою бездельничая. И вот явилось, наконец, взбудоражило, а он? А он — не странно ли? — сам и прервал это состояние с поспешной трусливостью.

...Маняшка распахнула холодильник (который смешно и оживленно сразу же заурчал мотором, словно бы в предвкушении) и стала укладывать в него продукты, каждый раз молча показывая отцу, как глухонемому, что — в каждом пакете, свертке или кульке.

«Лень даже и рот разомкнуть...» — обиженно отметил Жужиков. Попытался вспомнить, к а к ему только что жалко-понятно было дочку, как жалко-понятно было всех на белом свете, но вспоминалось уже смутно, с недоверием, а главное, как никому не нужное.

Он заметил газеты, скрученные рулоном. Забрал их и, хотя ничего, кроме программы телевидения, читать не собирался, с видом деловитости пошел из комнаты.

III

Пухленький конверт выпал из скрутки газет.

Не заметив, Жужиков нечаянно наподдал его ногой. Письмо грузно отлетело к дверям.

С чувством пылкого извинения, с недоумением, но и с жадно вспыхнувшим интересом Жужиков проворно нагнулся. Взял письмо в руки. Вздвинулся.

Конверт был слишком пухленький, чтобы содержать в себе обычное приглашение на писательское собрание. (Ничего иного он уже давно не получал.)

Попробовал приглядеться, но в комнате было темно, а очки остались в кабинете. И только на террасе, на далекий отлет руки отставив от глаз конверт, сумел прочесть:

«МОСКВА. Жужикову Антону Павловичу — ПИСАТЕЛЮ (лично!)»

Его — будто бы теплым горделивым ветерком овеяло — изнутри.

Писала, похоже, женщина. По тщательному почерку, по тесному многословию обратного адреса он догадался, что это — письмо от читателя. Как ни странно.

«Хех!» — издал Жужиков странный кратко-зазорный, не без самодовольства звук. Тычком распахнул дверь и вышагнул на крыльцо, мельком почуяв совершенно неведомую в себе повадку — победительно, как бы сказать, превосходительную.

...А здесь была весна.

А здесь был май, самое его начало. *

Снег только-только сошел. И солнце грело уже прилежно, уже проникалось заботливой нежностью к невзрачной этой земле: и к этим жидко оплывшим холмикам грядок, похожим на просевшие от небрежения могилки; и к грязно-окаменелым, еще не очнувшимся к жизни, искривленным скелетам серых яблонь; и к хворостяным кустам смородины, тоже как бы обметанным помертвело-серой патиной зимней скуки и на которых лишь кое-где начинала пестреть микроскопическая зелень прорывающихся почек; и к жирным озерцам отяжеленной желтой воды, смиренно стоящим во всякой низинке, в каждом междурадии, в каждой ямке.

Было совсем еще мало радости взгляду. Но уже неудержимо волновалось, но уже порывалось спешить куда-то, обмирало надеждами нутро человеческое!

Тихо было. Но, непрерывный и радостный, все чудился

какой-то шум вокруг, шелестение, шорох — творилась весна.

Жужиков, подложив газеты, сидел на ступеньке.

Вот этак-то, наподобие кроткого просителя сидючи — в изюмной лестницы, почти у самой земли, на самом как бы доньшке мира, — он чувствовал себя н а м е с т е.

Сосны дружным строем вплотную подступали к забору, воодушевленно возносились в небеса. Глухо розовеющие (сквозь грязноватое серебро) стволы их образовывали как бы ограду, внутри которой, у подножия которой Жужиков всегда испытывал одно ощущение — спасшегося от погони человека.

«Господи! Какая чепуха все это!» — облегченно вздыхал Антон Павлович, прикрывая глаза и преданно обращаясь лицом к солнцу. «Какая чепуха все это» — вздыхал с интонацией высвобождения,

подразумевая под этим «все» неразлично многое, но прежде всего — жизнь свою, карикатурную, словно бы и не его собственную, а кем-то для него выдуманную: эту фальшивую личину глубокой задумчивости, которую надо напускать на чело, садясь «работать» — коченеть то есть с карандашиком наготове над листом бумаги, зачем-то вымучивая из себя слова, как можно более ему не свойственные, и испытывая при этом почти мышечные усилия человека, становящегося на цыпочки, — и это назойливое, как нудный недуг, ощущение постоянной несвободы своей, раздражительной опутанности, утесненности, которое не покидало его, кажется, никогда: ни в разговорах так называемых творческих, ни в самом этом «творчестве», которое более всего напоминало жизнь неудачливого серенького паучка, который крохоборски спешит повязать дрянными паутинками-словесами все, что ни заметит его тускленький подслеповатый взор... И эту жгуче-стыдную, однако всякий раз с новой остротой вспыхивающую надежду жалкого побирюшки, открывающего по утрам газету и ждущего, что вот сейчас мелькнет и его фамилия и кто-то, вальяжный, красноречивый, начнет, наконец, говорить о нем ту неправду, которую он так алчет; и даже ощущение п р о м а х а, застарелое, тупо ноющее в нем всегда (промаха во всем: и в судьбе, и в занятии, которое он выбрал), — даже это ощущение казалось пустяковым вот в эту минутку, когда сидел Антон Павлович на теплой ступенечке, внимая дружелюбной тяжести солнца на лице, и то ли дремал, то ли

сладко бодрствовал, вздыхая изредка с отдохновенной отрадой:

— Господи! Какая чепуха это все!

Сегодня что-то еще приятствовало этому сидению. Какое-то родственное тихое тепло, и з н у т р и обращенное к нему, слышал сегодня Жужиков.

Он совсем немного напрягся вниманием и тотчас вспомнил: письмо!

И с еще пушистым восторгом — как в пуховую нежную трясину — пошел погружаться в умиротворение свое. Но оно, умиротворение это, сделалось как бы веселее, деятельнее, оттого что он слышал теперь присутствие невдалеке от сердца этого загадочно-толстенького конверта.

«Как все очень одинокие люди, он любил получать письма», — сказал Жужиков и вдруг услышал тревожный сквознячок, опавший на душу. Ему стало не по себе. Эти слова — были правдой. И не только о нем. Вообще — правдой.

...Он заметил, что сидит уже не в дремотной позе, а напряженно и деятельно, а глаза его, слепо ожидая, устремлены перед собой.

И когда заметил это, когда увидел себя как бы со стороны, — все тотчас же и кончилось.

Серенький паучок принялся снова с паршивенькими своими паутинками туда-сюда. Посыпалась невпопад, как из грязного кулька, словесная дребеденька — все третьесортное, в налипших крошках, непотребное: «...в напряженном ожидании... сторожко... как охотничья собака, увидевшая дичь...» — вновь, с издевкой завывая, унесся в пустые небеса п р о м а х н у в ш и й мимо цели заряд.

Сзади скрипнула дверь. Вышла дочь.

Он оглянулся: она уже собиралась уезжать.

Облако хмурой скуки как бы выплыло вместе с ней на крыльцо.

— Иди посиди... — сказал он ей.

— Нет уж... — голос ее был пренебрежителен и насмешлив.

Неудобно было глядеть на нее вот так — снизу вверх, выворачивая шею, — и Жужиков отвернулся, и снова стал смотреть на сад, освещенный солнцем. Странная какая, подумал он, ее даже не тянет на солнышко.

Дочь стала спускаться, и Антон Павлович с неприятным

удивлением услышал, как панически заняли на разные голоса тщедушные досочки лестницы под ее тяжестью.

«Она — некрасивая!! — пораженно увидел Жужиков, когда Маняшка спустилась по лестнице и остановилась перед ним. — Какая некрасивая! И несчастная, наверное?»

Дочь стояла теперь на самом пригреве, но, как бы сказать, не предавалась солнцу, не внимала этой первой сладкой теплыни, а глядела-разглядывала отца ярко-ироническим взором.

Он тоскливенько заерзал. «Неужели сейчас начнет?..»

— Ладно. — Маняшка, выдержав издевательскую паузу, произнесла это с ленивой милостью. — Поеду. Привет.

Он поднял на нее глаза, а она — уже уходила прочь, пренебрежительно, словно напоказ ему, колыхая задом и через шаг с непонятной старательностью наподдавая ногой опустелую кожаную кошелку.

— Привет... — глупо сказал вслед Жужиков. И его сразу же переморщило от досады.

А потом (большая редкость!) он вдруг обозлился.

«Тоже мне... туда же! — подумал он о себе с интонацией матерщины. — В собственной дочке ничего понять не можешь! А туда же!..»

Он с тревогой взглянул на небо. Было чувство, что облачко набежало на солнце: что-то вычлось, какая-то самая нежная малость, из того сиятельного доброго тока, который лился на Жужикова с небес.

Не облачко тут было виной, ясно — дочь родная. Вломилась, разволновала, нахамила, в сущности говоря! А ведь только только что-то накапливаться стало, вызреть...

«Иной раз создавалось впечатление, — вздохнул Антон Павлович, — что мир, окружающий его, восстает... дабы воспрепятствовать с жестокостью, присущей ему...»

с отвращением крякнул про себя, поднялся со ступеньки.

Кончилось благолепие.

Снова Жужиков оказался пуст, беспомощно раздражен, вял и противен себе.

С гримасой озлобления на лице взошел он на крыльцо, старательно гремя каблуками. Прошел в кабинет. Взял очки. Стал копошиться газеты, отыскивая программу телевидения.

Вспомнил о письме.

Достал письмо.

Грубо и небрежно надорвал конверт. Пробежал, раздраженно морщась, пару-другую строк. Слова были дикие, нелепо-хвалебные.

— Дура!! — сказал с превеликим чувством. — Вот дура-то!! — и кинул письмо на стол.

...Зато в газете...

Зато в газете — он не сразу поверил глазам — два футбола были на сегодня обещаны!

Чувство, которое он испытал при этом, было родственно счастью.

«...Прихотливые смены настроений... — с доброй укоризной подумал он. — То, что постороннему взгляду могло бы показаться... было в действительности...»

Он повернулся уходить, но потом — с неким подобием ухмылки — вспомнил и забрал со стола письмо.

В ожидании, когда вскипит чайник, решил он, до начала футбола — с а м о е о н о будет почитать, что написала эта явно ненормальная дура.

Солнце на улице уже поднялось высоко и теперь глядело в окна в упор. Медовым, нежным, душным светом была полным-полна вся терраса от полу до потолка.

Поставив на плитку чайник, Жужиков завалился в угол древнего полуразваленного уютного дивана на распахнутый овчиной вверх любимый тулуп свой.

С удовольствием веселого предвкушения расположил перед взором листочки — так, чтобы отраженное от листочков солнце не чересчур било в глаза, и начал читать.

«Здравствуйте, дорогой Антон Павлович!»

Дорогой (не формально, а в исконном смысле этого слова) человек, отличный писатель, большое Вам спасибо за «Пути-дороги», за «Траву повилику»! Боль от того, о чем Вы пишете смешана с радостью: «Какой писатель!» — и с горечью удивления: «Как же я могла жить, дышать, смотреть на белый свет не зная Ваших проникновенных произведений?! Как могла начинать день, не прочитав (пусть наугад, пусть на бегу) абзац-другой из Ваших книг?!» Я каждый раз испытываю одно и то же ощущение, словно выплакалась (почти не умеющая плакать), и слезы смыли с души немало дряни. Да!! Вы из той

Литературы, что делает прочитавших лучше: жизнерадостнее, смелее и добрее... Как ужасно, что я не знала Ваших книг раньше! Как же так получилось? И главное, за что? Чем уж таким я (ну, конечно же, грешница, но не больше ведь, чем все...) провинилась перед небесами, что они т а к д о л г о лишали меня счастья идти Вашими «путями-дорогами» вместе с Вашими (а теперь уже и моими) героями: прелестной Анфисой, лукавым, себе на уме, дедом Прошкой, урюмым с виду, но добрейшим (ведь правда?) кузнецом Лихояром?

А какой язык у Ваших книг! Это просто роскошь — язык Ваших книг! Честно признаюсь, но после того, как я прочитала две Ваши повести, мне о ч е н ь трудно читать что-либо другое. Такое у них все убогое, скучное, серое. Не то что у Вас! Какие лирические, тончайшие описания природы! Вроде бы временные мотивы немногословны, а ведь настроение очень чувствуется. Не только краски, цвет, свет, даже, не поверите, я запахи чувствую! — так может писать только Мастер Слова.

Извините, пожалуйста, это не обывательское любопытство, а естественный интерес: кто же пишет такие содрогające душу вещи? Из них не поймешь, молоды Вы или житейски многоопытны, до семи ли потов работаете над строкой или это Ваш «дар», кто Ваши учителя и из жизни, и из литературы? И главное, умоляю!! — что прочитать Вашего еще? (В нашей поселковой «ленинке» кроме этих двух повестей больше ничего нет, а я — не смейтесь! — уже жизни себе не представляю без Ваших дивных произведений.)

Как было бы хорошо, если бы оказались Вы маститым писателем, написавшим десятка два книг! То-то было бы счастье для меня!

Еще раз — крупнейшее Вам спасибо за удовольствие! Желаю Вам счастья, поменьше нервоврепки и побольше (это уже и мне, читателю) новых книг!

С уважением Каравеева Эльвира, 25 лет, техник».

IV

Да... Чего-чего, а т а к о г о он не ожидал. У него даже слегка поплыло в голове.

Но они и странное в этот миг ощутил: будто шарахнулась прочь душа от этого письма! С возмущением даже! (Ну, как если бы...

вдруг, не спросясь, бесцеремонно ткнули ему в лицо букетом прекрасных цветов: нюхай, дескать! Хоть, что ж скрывать, прекрасны были цветы и пахли сладко...)

Он заметил, что глупо и растроганно улыбается.

Попробовал было исправить лицо, придать всему видимость обыденности. Но — куда там! — внутри у него все так и расплясалось от мальчишеского ликования, от новизны происшедшего с ним.

«Как все очень одинокие люди, он любил получать письма...»

Да! Но это — было не просто письмом. Это было — от читателя — отклик, отзвук, отзыв. Он, Жужиков, взывал своими произведениями к нему, читателю. И вот он, читатель, отозвался!

Если бы Жужиков был в состоянии, то он должен был бы честно признать: это письмо было, в сущности, первым в его жизни настоящим, стоящим письмом от читателя.

Кое-какие письма были, конечно. За тридцать-то лет.

От библиотечных работников, к примеру. С непременно присовокуплением стенограмм обсуждений... От каких-то жеванных жизнью полубольных (так почему-то казалось) людей, которые невнятно просили о чем-то, жаловались, требовали советов (которых Жужиков при всем желании дать не мог), канючили денег, которых у него тоже не было. Фронтовики дружно спрашивали, не те ли места описывает Жужиков, где им, фронтовикам, довелось воевать, и, кстати, интересовались, в каких местах воевал, если не секрет, сам Жужиков, а он — не воевал и даже не служил...

Тоской, скукой, окаянным неблагополучием жизни вяло вяло от этих посланий. Не радость они приносили, а тупо ноющее чувство бессилия и сиротства.

И вот — наконец! — пришло письмо, которое он ждал, быть может, все эти проклятые годы, — с той самой минуты, когда в загаженном углу желтой кухонки возле ржаво-облупленной раковины тощий юноша в гимнастерке с чужого плеча вывел карандашиком первую корявую строчку первого своего рассказа, отмеченного, к несчастью Жужикова, на конкурсе многотиражной газеты второй почетной тридцатирублевой премией...

«С чего я взял, что она ненормальная?» — недоуменно подумал Жужиков, когда, спохватившись, вошел в белую от пара пристройку, выключил газ и принялся заваривать чай. «Черес-

чур, конечно, восторженная, да. В литературе, похоже, ничего не соображает. (Впрочем, слог у нее есть.) Перебарщивает, разумеется. Как там у нее? «...как я могла жить, смотреть на мир, не зная ваших...» Нет, у нее как-то по-другому сказано...» —

и Жужиков не поленился, быстро вернулся на террасу, чтобы перечитать вспомнившееся место. Не удержался и — заодно уж! еще раз залпом перечитал все письмо от начала до конца.

...Жгучий елей поспешно поплыл по жилам. Вселял почти забытое уже чувство самоценности, веселой какой-то устойчивости в мире.

— Ладно уж тебе... -- с ласковой усмешкой буркнул Жужиков, коротенько кидая сложенные листочки на стол. Хотя и старался обозначить в этом жесте некоторую небрежность, но, несомненно, позаботился и о том, чтобы с листочками ничего не случилось: чтобы не слетели на пол, чтобы не рассыпались, чтобы на сухое и на чистое попали...

— Ладно уж тебе. Будя, — повторил он еще раз с отчетливым счастьем в душе, зная, что через какое-то время вновь возьмется читать-перечитывать письмо и никто не вправе помешать ему в этом, ибо это письмо — такое письмо! — написали е м у — («...а не вам!» — тот час же с ехидством додумал он, быстренько вызвав в памяти первые попавшиеся лица братьев по профессии)

е м у, Жужикову, были адресованы все эти восторги, ибо именно он, втихую всеми презираемый Жужиков, «Акакий Акакиевич», сумел сочинить такое, что и с т о р г л о!

«Вам-то такие письма пишут ли?» — ядовито хихикнул он.

Бог знает, что за помрачение постигло вдруг разум его! Ведь не верил в правду этих чрезмерных похвал. Ведь знал, что совсем иная цена его книжкам: стыдиться надо таких книжек, намертво молчать о них — как о позорных поступках, как о дурной болезни!

Знал истинную цену сочинителю, накропавшему эти книжонки, но — вот ведь фокус! — все нелепые восхищения деды Эльвиры из нелепого какого-то поселка Чуркино писал с е б е! Жадно, крохоборски пхал в с в о ю нищенскую торбу!

И уже размышлял, ликуя: «Если такая чепуховина способна вызвать в читателе столь непомерные восторги, то каких же эмоций прикажете ждать, когда он — истинный Жужиков — напишет наконец Настоящее? (А ведь теперь напишет! Теперь-то точно напишет!)» —

и вот от этой мысли аж заходилась в обмелении душа! И он

уже упивался будущим восторгом читателей, как если бы он уже написал Настоящее, в полную свою богатырскую силушку.

«Каждый раз я испытываю одно и то же ощущение, словно заплакалась...» — с восхищением припомнил Жужиков строчку из письма. «Какая милая! — подумал он растроганно, — и какая глупая!» —

и вдруг поймал себя на странном нежно-смешном чувстве: их сейчас на террасе двое. Он и письмо от нее.

«Ну, брат... Если сегодня еще и «Динамо» твое выиграт!..» — подумал он, включая телевизор. И хоть не додумал, что именно стоит за этой веселенькой угрозой, он вдруг услышал: сердце подвсплыло и оживленно бултыхнулось — как в предчувствии неимовернейшей какой-то удачи.

И, разумеется, «Динамо» его победило — легко, красиво, играючи!

И в тишине, наступившей после этого, он полулежал в уютнейшей хляби древнего драного дивана, убаженный и тихо счастливый, и одного только желал от жизни: чтобы подольше не кончалась эта тишина; чтобы всегда царило вокруг это нежно-медовое вещество майского солнечного света, сладко густеющее в замкнутом пространстве террасы; чтобы длился и длился сладчайший этот полуобморок довольства, превосходительности, неспешного вкушения Победы.

«Разумеется, ответить... — размышлял Антон Павлович смутными обрывками мыслей. — Сдержанно. Но, упаси Бог, не сухо. Спасибо. Тронут. Давно ничего подобного не получал. Чтобы — непременно! — ответ от нее. («Меж ними завязалась переписка...») Какая она все же странная! Неужели все эти слова — всерьез? Может, и вправду какая-нибудь больная? Ах, как было бы жаль!»

Когда он проснулся, солнце уже покинуло террасу. Вкось освещено было только одно окно.

Пыльная муть на стекле, застарелые пятна от пальцев, сухая ветхая паутина — все удручало взгляд.

Он быстро сел на диване с ощущением ужаснейшей, постыднейшей вины. Тотчас что-то вроде оправдательного лепета обратил к столу, где покоились листки письма, слегка теперь растопырившиеся.

Затем глянул на часы — у него и вовсе горестно охнуло в груди. Второй футбол уже заканчивался!

«Ну вот и все... — с обреченностью и вялым укором подумал Жужиков. — Сам виноват».

Футболисты доигрывали. Лениво перекидывались мячом. И з о б р а ж а л и время от времени намеренные рвануться к чужим воротам — тотчас, впрочем, передумывали и отправляли мяч назад... Всем было все ясно.

0:0 — увидел Жужиков счет, мелькнувший на табло, и вдруг быстро выключил телевизор. Сделал то, чего никогда еще, кажется, в жизни не делал. Сделал, заметим, с затаенной надеждой, что, быть может, хоть этим, хоть частично, искупит...

Он осторожно взял листки со стола.

У него не было уверенности, что следует именно сейчас перечитать письмо. Было опасение, что этим можно в с е и с - п о р т и т ь.

Яркие слова — не сразу, а словно бы помедлив, — все же проникли.

Все, однако, было совсем по-иному, нежели до этого клятого сна.

Ровная, как туман, тихая печаль опустилась на душу Антона Павловича. И, отчаянно вдруг загрустивши, он спустился бережной походочкой в сад, тихонько (боясь растрясти это дивное состояние) пошел по дорожке.

В конце дорожки лежал лоскут солнца, по-вечернему рыжий. Антон Павлович уселся на обрубок яблони, серо-голубой, каменный от старости, стал прилежно сидеть.

Солнце из-за сосен глядело прямо в глаза. Сидеть приходилось, взор опустив долу, в позе осознавшего свою вину.

«А как же легко и м! — поразился он вдруг. — Тем, кто получает такие письма сотнями! (Может, врут?) И почему же, сучьи дети, не пишут они — в ответ — настоящие вещи?! Я бы... Да приди такое письмо даже пять лет назад, я бы т а к о е написал!!» —

и вяло попытался вообразить, что он мог бы написать, опять вообразив какую-то свинцово-сизую тучу до небес и утрюмую музыку, доносящуюся оттуда.

«Несправедливо все это...»

Солнце уже не грело. Злой сыростью потянуло от земли. Он внезапно озяб и поднялся.

Подумал о пишущих письма. Подумал сочувственно, но без особой приязни: «Читают... пишут... отзываются... Господи! Будто и не было у них никогда Великой Литературы! Читали бы Пушкина, читали бы Льва Николаевича — чего больше! Так нет... ковыряются именно в современной помойке! Все пытаются о себе нынешних отыскать! И звон как радуются, бедолаги, аждо небес готовы превозносить какого-нибудь, прости Господи, Жужикова, когда хоть намек правды, хоть смутный ответ им вообразится! Именно «вообразится» — потому что, если честно, можно ли восхищаться э т и м?»

Вовсе не мучительно, даже и сладостно было — вот так без жалости размышлять о себе.

«С требовательностью, присущей ему...» — подумал Антон Павлович.

Тут вот какая подтасовочка непринужденно совершалась: Жужиков — «писатель Жужиков», который фигурировал в этих размышлениях, был, как бы сказать, совсем посторонний ему Жужиков — вполне картонный персонаж. А настоящий Жужиков — никому еще неизвестный Антон Павлович Жужиков, о котором еще заговорят, когда он заговорит, — этот Жужиков вынужден был пока что тихо, скрюченно прозябать как бы в н у т р и т о г о Ж у ж и к о в а. До поры до времени! Не сомневайтесь. Только до поры, и только до времени!

Вдруг, пораженный ужасом, он остановился. Без всякой связи с предыдущими размышлениями, глазам его предстал грубо оборванный край конверта.

Линия обрыва криво бежала от угла конверта широко вниз, бесцеремонно отхватывала большую часть обратного адреса.

«Куда писать-то?»

Все вдруг стало беззвучно рушиться, опрокидываться в тартарары.

Болезненно возопив, Жужиков бегом бросился в дом. Нашел конверт. Так и есть! «...пос. Чуркино» было видно. «Каравасовой Эль...» было видно. И — более ничего!

«Куда писать-то?»

• Как мальчишка, обиженный, слегка даже окоченевший от потрясения, стоял он над столом. Будто из-под носа выхватили, отняв навсегда, драгоценнейшую игрушку.

Руки его дрожали. Он с жалостью и легкой брезгливостью заметил это. Наконец вспомнил: в кабинете! Именно там он открывал конверт!

Когда Антон Павлович подробно, как мусорщик, перебрал всю груды исписанной бумаги, плоско лежавшей на столе, и когда стало отчетливо, отчаянно ясно, что не отыскать ему то, что он ищет,—

взгляд его ненароком пал на пол и — наконец-то! — с веселием, гордо скакнувшим в груди, он увидел тихонько лежащую там беленькую полоску конверта.

Присел (а потом, не удержав равновесия, и сел на пол), взял драгоценный сей клочок. «Улица Амилкара Кабрала, дом 7, комн. 4 ...вире Анатольевне...»

Он смущенно заулыбался изнуренной улыбкой победителя.

Потом — хмыкнул, глянув со стороны. Сидит на полу, почти под столом, писатель Жужиков А. П. и, как великое богатство, держит в руках бумажку — адрес единственного на земле человека, который соизволил с похвалой отозваться.

Потом на террасе он одиноко кушал со сковородки что-то рисово-гороховое с тощими куриными волоконцами, грубо залитое томатным соусом.

Уже похолодало, и от сковородки валит изобильный пар.

Он ел и одновременно сочинял письмо Эльвире Анатольевне.

Получалось неплохо: сдержанно, но не сухо, с отчетливо звучащим чувством достоинства. В письме слышалась и очень искренняя благодарность за добрые слова, откровенно проглядывал и пристальный интерес к личности самой Эльвиры (вполне, впрочем, естественный для Жужикова как изучателя человеческих душ): кто она, как живет, как докатилась до чтения жужиковских творений?.. Эти вопросы сами собой подразумевали, что Эльвира выкроит часок-другой и ответит на них с подробностью, а он, Жужиков, будет ждать с нетерпением, ибо в конечном счете только ради таких вот прекрасных писем-отзывов и трудятся на литературной ниве изящные словесники, и он в этом смысле не исключение.

Вопросов собственного творчества Антон Павлович решил до поры до времени не касаться. И не только потому, что ни малейшего желанья не испытывал. Он, честное благородное слово, н е п о м н и л ничего из того, чем восхищалась его

наивная адресатка: ни прелестную Анфису не помнил, ни деда Прошку лукавого, ни этого... кузнеца Лихояра.

«Если Вы и в самом деле возымели интерес к моим более чем скромным сочинениям, то тут я, пожалуй, в состоянии Вам помочь. Черкните, и я Вам пришлю...» — написал он, тихо возгордившись словом «возымели», но тут же и затосковав жестоко: прежде чем отправлять свои «более чем скромные», их придется, наверное, перечитывать?..

И все же чудо как хорошо было в этот вечер!

Давненько не сиделось Антону Павловичу так уместно, так ладно за письменным столом! Давненько не испытывал он такого четкого удовольствия от письменного занятия! Ему, не поверите, даже собственный почерк был сегодня пригож!

С непривычки у него сладко заломило спину. Он откинулся на стульчике и с огромнейшим интересом прочитал написанное им — от начала и до конца. Ни словечка, ни запятой не захотелось ему исправить в получившемся тексте. Образ писателя Жужикова вставал из строчек письма с достоинством и скромностью, присущей ему.

Он заклеил конверт (некстати испытал легкие рвотные судороги, когда облизывал языком сладковатый ярлык конверта), с большим тщанием вывел адреса.

Бережно побаюкал письмо на ладони. И вдруг услышал: тоскливенько начало ныть в груди. Должно быть, он уже принялся ждать ответа...

...Когда с письмом в руках он гордо явился на террасу, обнаружилось, что уже поздняя ночь на дворе; электричество горит плохонько, вполнакала; и холодная сырость вновь царит в доме.

Он сходил за дровами. Когда возвращался, глянул на небо. На западе оно восхищенно сияло такой изумительной, тихой морской зеленью, что у него прервало на миг дыхание! Так сделалось радостно-просто!

Он затопил печь. Натура мечтательная, он любил посидеть возле огня, глядя в огонь. Но сегодня его опять повлекло на улицу.

Рассеянно, сонно крапал дождик.

Жужиков огляделся с недоумением: везде было чистое небо.

В серо-замшевой тьме невзрачно просверкивали даже остренькие звезды. Откуда дождь?

Он протянул руку в сторону, но ни единая капля не упала на ладонь.

И все же: то тут, то там шуршало. Как от падающих капель.

Он вдруг удивился, и тотчас — словно вдогонку — его потрясло догадкой: э т о р а с т е т т р а в а!

Он засмеялся в восхищении.

Представил — да нет, увидел, пожалуй! — как слабенькие остренькие травинки робко торкаются в черной темени о гнилую коросту прошлогодней листвы, понизу волглую, а поверху уже просохшую до хруста, — как усиливаются они в отчаянии, пытаясь пробиться на волю, — как сникают на миг и снова во тьме принимаются за свои тихо-восторженные попытки выпростать себя из-под мертвого гнета, пробиться на вольную волю!

Шуршало не только вблизи. Он напряг слух: потаенная эта работа вершилась везде. Неостановима была кропотливая эта отвага!

Жужиков растрогался. Вдруг почувствовал слезы на глазах. И тотчас, не сдержавшись, неумело заплакал.

«Господи! — плакал он, неизвестно к кому обращаясь. — Я слышал, как растет трава! Как стыдно мне, Господи! Я слышал, как растет трава! Вы дали услышать это мне — писателишке, тле лживой! Да разве теперь, после э т о г о, подниму я руку написать такое же, как прежде?!» —

и еще что-то, такое же невнятное, не словесное, а как бы выкриками души исторгаемое, плакал он, светло и неумело обращаясь к кому-то.

...Вспомнив о печке, топящейся в доме, он вошел в дом, весь радостно изнуренный этими слезами, счастливо растревоженный.

«Какой необычный день!»

Письмо, написанное им, тихо лежало на столе. У Жужикова вдруг аж взвыло все от острой муки ожидания! Письмо пролежит всю ночь, лишь завтра к вечеру его вынут из здешнего ящика, повезут в Москву, пройдет еще одна ночь... — сколько времени!

«Я вот что сделаю! — решил он внезапно. — Я с е й ч а с отнесу письмо на станцию. Пусть день, а выиграю!» — и восхитился собственным решением.

Опять в нем возникло тихое ощущение: он не один на террасе. Он смутился.

«Все равно ведь...— сказал он не вслух, оправдываясь, — когда закроешь вьюшку, не меньше часа надо ждать, чтобы вытянуло угар. А я за этот час как раз ведь и обернусь?»

...Он шел, с удовольствием погромыхивая сапогами по смутно светлеющей в ночи, уже подсохшей и окрепшей за день дороге, и скромно ликовал. Он воображал себя допущенным в какую-то самую сокровенную сердцевину этого мира. «Я слышал, как растет трава!» — с гордостью повторял он время от времени. И взглядывал вокруг истовыми пылкими взорами. А в гортани его все топорщился и все никак не мог вырваться вовне косноязычный сладостный клик благодарности, радости, уважительного ко всему восторга.

И когда глаза его восхищенно замечали... ну, например, понуро искосившийся фонарь, позабыто светящийся на выходе из поселка — на краю угрюмого внешнего ночного поля: в самом, считай, поле... или здешнюю речушку, которая в обычное время выглядела захудалым ручейком, а вот в эту ночь, по случаю весны, была незнакомо преображенной, очень озабоченно несишей вровень с берегами поспешное множество нежурчащей густой воды, и тусклым протяженным своим извивом с неприятным восхищением напоминала тело змеи, бесшумно ускользающей в белесый мрак... —

так вот, когда видел он что-либо подобное, восторга достойное, душу сжимающее спазмом виноватости и умиления, — слышал внутри себя странный, трогательно-неуклюжий жест: будто бы он старается посторониться немножко, дабы и она та же могла взглянуть на то, что его восхищает.

С ним вот что еще происходило: е г о о т п у с к а л о.

Один за другим ослабевали, распускались путы, вязочки, тетета непонятные, каковыми в унылом множестве, оказывается, было повязано-перевязано внутреннее его существо. Только вот в эти минуты — минуты высвобождения — он горько и явственно ощутил, насколько же скомкана, скрючена, утеснена душа его бедная!

Ему и дышалось нынче легко. И без усилия расправились

плечики. И складки на лице улеглись добродушно, непринужденно.

Ужасно почему-то хотелось, чтобы защелкал соловей. Для запредельной уже полноты происходящего с ним.

Он даже попробовал вызвать в памяти соловьиные звуки: все эти сочнозвучные щелчки, трещотки, влажные скрыпки, в сладостный захлеб провозносимые фьоритуры. И ему даже показалось, не надо смеяться, что он сумел бы найти сейчас такие слова, какие-то такие слова, какие-то т а к и е слова!..

Он вышел к станции. Она была абсолютно безлюдной в этот час. С опрятной тоской освещали пустынный ее асфальт, пригорюнив головы, фонари.

Почтовый ящик висел возле билетных касс. Окошко кассы было захлопнуто. Но там, внутри, кто-то был, наверное, спал — слабенько светило желтеньким...

Конверт был совсем теплым, когда он добыл его из-за пазухи.

Жалко было опускать письмо, такое теплое, в железный холодный ящик. Он подержал письмо в ладони, будто прощаясь, и только потом стал бережно просовывать в щель.

Разжал пальцы. С негромким стуком письмо ударилось в бумажное рыхлое дно. И в этот миг, на этот миг — он услышал черненький краткий обрыв в сердце!

— ...Ну вот... — сказал он, обращаясь к письму сквозь тонкое железо почтового ящика. — Ну вот... —

помедлил немного, скованно повернулся. Теперь уже медленно — пошел домой.

V

Прошло два с небольшим месяца.

Эльвира написала за это время три письма. Жужиков за это же время не написал ни строчки.

Антон Павлович подстригся. (Это следует тоже отнести к разряду событий: подобное случалось с ним раза два в год, не чаще.)

Парикмахер попался хороший — впервые, кажется, в жизни Антон Павлович поднялся из кресла с отчетливым удовольстви-

см. И даже дал «мастеру» два целковых на чай, хотя и стеснялся давать чаевые.

После этого Жужиков неоднократно — при помощи двух зеркал — разглядывал себя и сзади, и сбоку и довольно неожиданно пришел к заключению, что профиль у него — недурен.

Особенно приглядным казался себе Жужиков в три четверти.

Странное чувство, похожее на обиду, испытывал Антон Павлович при этом: будто кто-то всю жизнь старательно скрывал от него, что мужик-то он, в общем, довольно-таки эффектный, и, кто знает, знай он об этом обстоятельстве, может, как-то и по-иному прожила бы жизнь?..

Вообще за эту пару месяцев Антон Павлович изменился очень.

— Жужиков, — здоровался он теперь, произнося свою фамилию суховато и несколько даже неодобрительно, а руку пожимал кратко и энергически. Непременно добавлять стал: — Антон Павлович... — тотчас устремляясь на собеседника прямехоньким взглядом, который не позволял тому ни хихикнуть, ни даже ухмыльнуться над столь забавным для современного писателя имя-отчеством.

Осанка, как бы сказать, несколько петушинная появилась вдруг в Жужикове: суворовский хохолок этакий, а во взгляде — не сказать что задиристость, а задорность некоторая...

Люди, знавшие Жужикова много лет, только диву давались. Переглядывались, осторожные расспросы Антону Павловичу затевали. Непонятна была братьям-литераторам эта странная метаморфоза: то ли р у к а появилась у Жужикова, то ли родня за границей обнаружилась, то ли написал он что-то такое-этакое, что вот-вот потрясет основания всех основ.

Ходить стал быстренько, бойко. Разговоры не разговаривал.

Они и раньше удовольствия ему не доставляли, разговоры эти, а теперь он прямо-таки наслаждение испытывал, когда посредине плавной текущей беседы можно было с озабоченностью взглянуть на часы и воскликнуть: «Все, все! Болты болтать — занятие милое. Однако и дело надо делать!» — и затем удалиться, прямо-таки до болезненности взволновывая своей новой загадочностью общественность.

Он заметно похудел за последние месяц-два. Даже и не похудел, а как бы подсох лицом. Помолодел, пожалуй.

Брился теперь ежеутренне, справедливо заметив, что именно сивая щетина сообщает его облику много дряхлой неопрятности. И, странное дело, ежедневная теперь морока с кипячением воды, со взбиванием мыльной пены, с обязательной «правкой» художавенького золингеновского лезвия на похлопывающем ремне, — все это, недавно досаждавшее, доставляло теперь почти удовольствие.

Он был похож — знаете, на кого? — на человека, который долго пропадал по больницам, о котором в обществе уже порядком подзабыли и которого вдруг с удивлением полуузнавания вновь увидели, тотчас начав недоверчиво удивляться переменам, происшедшим в некогда знакомом лице: худобе этой, легкой ожесточенности взгляда — переменам, которые несомненно говорили об испытаниях, даже, может быть, о страданиях, перенесенных за время столь долгого отсутствия, о переоценках каких-то, произведенных за это время и выражение находящих вот в этой ожесточенности, в слегка раздражительной спешке жестов и движений, а главное, в отчетливом ощущении, что человек этот — преисполнен намерения н а в е р с т а т ь.

Вот на такого человека походил нынче Жужиков...

Слава Богу, никаких госпитальных ужасов за эти два месяца с Антоном Павловичем не приключилось. Однако разительные перемены в жужиковском облике, должны же они были иметь под собой хоть какую-то причину?

Хотя бы поэтому мы не можем обойти вниманием происшествие (назовем это так), которое случилось с Антоном Павловичем в ту памятную и так подробно описанную нами ночь, когда относил он на станцию первое свое письмо к Эльвире.

...В ту ночь, вернувшись со станции, — будучи приятно разволнован этой необычной ночной прогулкой, будучи к тому же изрядно охмелен письмом, пришедшим поутру, и, главное, похвалами в свой адрес, содержащимися в этом письме, будучи радостно-приподнято взбудоражен откровенно самомнительными мыслишками, зашевелившимися вдруг в нем, и суть которых сводилась к тому, что о н м о ж е т... —

так вот, вернувшись, Жужиков вознамерился не больше не меньше как освежить в памяти что-нибудь из своих сочинений.

Разыскал в чулане пару книжек своих, с чувством приятного предвкушения расположился на кровати, раскрыл... и —

безобразнейшая истерика приключилась тут с Антоном Павловичем!

Пробежал глазами несколько абзацев — в начале, в середине, в конце — и, не сдержавшись вдруг, в бешенстве несусветном запустил книгой той в угол комнаты!

Самые натуральные рвотные судороги волной заходили в горле!

Тоска, и бессилие, и ненависть завьли в лобных долях — злобным дребезгом задетонировали в хрупких отзывчивых хрящиках у переносья.

Ощерился. Углы рта опустились болезненно, брезгливо.

И только одно он оказался в состоянии повторять, как заведенный, с силой и с сильным изумлением: «Пакость! Какая пакость! Пакость!!»

Сунулся во вторую книжку. И даже уже не с тем, чтобы получить опровержение, напротив — с непонятно-мстительной жадной д о б и т ь себя!

Прочитал там-здесь по полстранички, снова вполголоса возопил:

— А-а! Пакость!! —

и принялся драть страницы из книги. Страницы не поддавались, он чуть не возрыдал от этой обиды, но все же выдрал кое-как страниц двадцать — швырнул об пол!

И вторую, полуразодранную книжицу запустил следом за первой!

Вскочил, забегал в бедственной суматохе, натываясь на углы.

Теснота дома взбеленила его еще пуще, и его тотчас выгнало из стен — прямо-таки вышвырнуло! — сначала на террасу, а затем и на улицу.

Там и стал коротенько бегать туда-сюда, клокоча от несказанного отвращения и руками выделявая что-то такое, что, наверное, и называется «заламывать руки».

В беготне этой оскользнулся на дорожке и пал набок, глубоко утонув рукой в ледяной густой грязи. Попытавшись подняться, и второй ладонью погряз — до запястья.

Потом встал, театрально взирая на ладони свои, полные грязи — и вдруг! — в новом припадке истерии стал пачкать с размаху лицо свое, хватаясь за него трагически растопыренными перстами и в перерывах повторяя с потрясением ясновидения:

— Пакость! Какая пакость!

И все не мог никак остановиться. Была какая-то последняя сладость — прощальная — в этом самобичевании посреди ночи, в пустом голом саду, в глухом одиночестве.

Вот такое вот удивительное происшествие приключилось с Антоном Павловичем. Какая уж такая особенная пакость привиделась ему в собственных книжках? Чего уж такого, особо уж оскорбительного, нашел Жужиков в этих непритязательных повестушках?..

В любое другое время прочитал бы (если прочитал бы) и спокойнешенек остался. Ну, отметил бы, что вот тут, и там, и здесь — «не фонтан». Надо было бы другие какие-то словечки употребить (неведомо какие, но — другие). А в общем-то, даже в довольстве бы остался, как оставался всегда, ощущая в ладонях это тяжеленькое, неведомо откуда берущееся, типографски воняющее чудо с золотисто сияющей фамилией на переплете: А.ЖУЖИКОВ. (И даже вкоренившаяся опаска — опаска нашкоддившего мальчишки: вот сейчас возьмут за шкурку и спросят: «Это ты, сукин сын, наделал?..» — даже она не помешала бы авторскому самодовольству...)

Так наверняка было бы — в любое другое время — но вот в ту удивительную ночь.. Что же стряслось с ним?

А то и стряслось, что воспарил чересчур уж в небеса! Чересчур уж одурел от густой лести, шибанувшей в голову со страничек письма! Разомлел, раскиселился! И хотя знал распрекрасно, что — н е п р а в д а — написанное в письме, а ведь и поверил, слабый человек!

Главное, тому поверил, что достоин он, Жужиков, похвальных слов и захлебов, что может писать вровень с такими восторгами! И, поверив, что «может», тотчас уверил себя, что у ж е может!

И как уж тут было не вострепетать крылышками? И как уж тут было не возомнить себя черт-те кем?!

И чего уж особенно уж удивиться, что когда в самомнительном том одурении сунулся сгоряча в старые книжки (за тем ведь и сунулся, чтобы найти подтверждение заносчивым мыслишкам о себе!..), когда сунулся и одну лишь заунывную нищету обнаружил, одно лишь пустынное убожество, — тут же и брякнулся, чему удивиться? — с хрястом, без пощады! — о жестокую твердь с поднебесных тех эмпиреев.

И — забился в ужасающих корчах и завскрикивал в отчаянии:
— Пакость! Какая пакость!

Сидел потом на ступеньке крыльца. Мысли шли ровные, без жалости, спокойные.

Сидел в ночи и разбирался в своей жизни — как в унылом сером тряпье. Грустно и просто становилось ясно: ничего из жизни не получилось. Казалось, не только ни единого светлого момента, но даже и сколько-нибудь по-настоящему мрачного — не было за прошедшую жизнь.

Серенькая унывая пыльная дорога тянулась под бессолнечными небесами. И шел по этой дорожке смиренный малоприметный странничек с тощей котомкой за спиной. Это и был Жужиков... И шел он по этой дороге не потому, что было куда идти. А потому — что под ногами была дорога и по дороге этой надо было куда-то идти.

Не свою, а для кого-то другого приготовленную жизнь жил. Потому-то никогда и не чувствовал себя — на месте. На своем месте. Потому-то всю жизнь вяло всем подчинялся.

За всю жизнь ни единого раза не ощутил себя в жизни как на солнечной, полной воздуха и простора улице. Вся жизнь прошла как бы в желтеньких потемках узенького, заставленного скрипучими шкапчиками редакционного коридорчика, в котором с клеенчатой папчонкой под мышкой, утесненный и хранящий на лице готовность к заискивающей улыбке, торкался он от одной дверки к другой дверке.

Всю жизнь прожил, словно ссутулившись. И не сказать, что от тягости какой-то ссутулившись. Просто — в такой-то позе безболезненнее и безбоязненнее было быть.

А ведь был, был талантишко кое-какой! Остались ведь в памяти горделивые обмирания, восхищенные повизгивания в груди, ощущения краткого лета, застигавшие иной раз над листом бумаги. Было ведь ч т о - т о!

«Но они меня убивали! — с ужасом открытия вскрикнул он. — Они меня убили!» — с несказанной жалостью к себе и с радостью ухватился за эту мысль Жужиков, вспомнив бесконечные как бы обмороки мелких потерь и копеечных катастроф, которые он переживал за свою писательскую жизнь, то и дело обнаруживая в рукописях бесцеремонные изъятия, хамски-насмешливые вопрошания на полях, наглую, бездарную редакторскую отсебяти-

ну. «Да, да! Они убивали! Чуть-чуть высовывался, чуть-чуть пытался о чужом сказать хоть капельку по-своему, они тут же и взъярились, право слово! Всяк сверчок знай свой шесток!»

(— А это, позвольте, что такое? «Дым от далеких пожарищ...» — Сравнение, так сказать... — Ну к чему тут здесь, Антон Павлович, «дым»? Да еще «от далеких пожарищ»? Не спорю, это, может быть, и свежо, но — не к месту! Вы согласны? — Да, да. Пожалуй...)

Ах, как прямо-таки заскулило в нем все при воспоминании об этом несчастном «дыме от далеких пожарищ»! Какую горчайшую вдруг испытал вину перед словечками этими! — словно перед детишками, которых бросил на произвол беды, сам спасаясь!..

«Надо было стоять! Надо было не соглашаться!» — с тоской восклицал он, прекрасно зная, что никогда не умел он этого — ни «стоять», ни перечить.

Много ли кнута надобно смирному рабу? Уже вскоре и сам вовсю старался, чтобы не беспокоить редакторский карандаш. Вскоре уже и сам наострился писать в той удивительной сероватой монотонной манере, которая редакторов не беспокоивала, а читателя, сумевшего одолеть рассказ или повесть до конца, приводила в недоуменное даже восхищение: «Читал-читал. Ну, прочитал... А о чем там было?»

Потом-то, поднапрягшись, читатель вспоминал: «Ах, ну да! Он, она, трали-вали...» — и в мгновение ока забывал прочитанное навсегда. Если и оставалось у него какое-то впечатление от жужиковского творчества, то было это впечатление скучноватого, жалковатого жульничества, не вызывающего даже желания разыскать и дать по морде убогому тому обманщику.

...О многом брезгливо думалось Антону Павловичу в ночь того безжалостного судилища.

Спокойно и устало было решено: туши лампаду, никаких тебе надежд. Одна теперь забота: обочинкой добрести как-нибудь до отставочки, кое-как-нибудь оплаченной.

И когда поднялся со ступенек Антон Павлович Жужиков, поднялся со ступенек, можно сказать, совершенно новехонький Антон Павлович Жужиков — словно бы выгоревший изнутри, сухой, легкий. И было этому новенькому Антону Павловичу ясно-понятно как Божий день: невозможно писать ему больше, невозможно!

С этого вечера будто бы два персонажа поселились в Жужикове. Один — виноватый. Другой — виноватающий. Один — то ли после дурной болезни, то ли после отбытия наказания. А другой — как бы над ним надзирающий, бдительно следящий, чтобы не свихнулся, придурок, не свернул с магистральной дорожки жизни.

И жить стало ясно — уныло и ясно.

Но тут — как назло — опять припорхнуло письмецо из Чуркина.

«Дорогой Антон Павлович!

Нужно ли описывать мой щенячий восторг, когда вдруг! пришло от Вас! мне! Ваше!! Как бесконечно Вы добры! Как деликатны и скромны в своем письме! (Неужели многочисленные похвалы, которые, уверена, низвергались на Вас за Ваши замечательные произведения, никак не отразились на Вас?) Вы — именно такой: добрый, мягкий, ласковый, каким я и воображала Вас, читая (ежедневно! как «Отче наш!») Ваши повести и рассказы. Огромное Вам спасибо. Вы даже представить себе не можете (впрочем, как это я? — Вы — и вдруг «представить не можете»? , что — значит для меня, для нас Ваше письмо в этой заповедной глуши! Это — как луч света в темном царстве.

Вот уже несколько дней хожу, как ценинница, улыбаюсь невпопад, и все надо мной подсмеиваются: «Уж не влюбилась, ли ты, Эльвирка?» А что я им могу ответить? Если не врать? Да! Влюбилась! В прекрасные книги прекрасного писателя влюбилась — как девчонка! по уши! И уже жизни себе не представляю без этих книг, и, ей-богу! готова глаза выцарапать тому, кто скажет худое слово об моем возлюбленном писателе! Таких, правда, нет. Некому глаза выцарапывать. Я тут набрасываюсь на всех, как полоумная: «Еще не читали? Жужиков! «Пути-дороги»! Неужели нет? А «Трава повелика»? — и всем сую Ваши дивные произведения, все читают, и все сходят с ума. А если кто-то и пытается слово против сказать, я — как Ваша Анфиса становлюсь. Готова всякому встречному за правду глаза выцарапать! Но я это шучу, конечно. Насчет выцарапать. Люди — не слепые, и они видят, где хорошо, а где плохо. И все в нашем Чуркине во всем относительно Вас согласны: прекрасные книги! Лучшее, что было написано со времен «Поднятой целины» М. Шолохова, «Кривуль-реки»

Д. Фарафонтова, «Цемент» Ф. Гладкова. Я не согласна с Вами: что это значит «есть более достойные восхищения»? Да плевать мне, извините за грубость, на них! Разве это они, «более достойные», заставляют меня каждый день проливать светлые слезы над образом старухи Веденеевны? Или это они, «более достойные», нарисовали мне такую Анфису, которой я хочу подражать и подражаю? Не надо излишне скромничать. «Скромность — мать всех пороков». А Ваши дивные описания природы! А Ваш язык — родниковый, жемчужный! Право, это даже порой чересчур — так ласкать слова! «Впереди зеленели молоденькие березки, как девчушки, гурьбой выбежавшие на опушку. Большое облако, похожее на корабль, плыло в небе. Анфиса, раскинув руки, лежала на копне...» — вот видите, я даже готова наизусть читать Ваши строчки — даже, Вам, создавшему их, чтобы Вы очень уж не скромничали!

С п а с и б о Вам, милый Антон Павлович! С той поры, как я наткнулась на Ваши книги, мне значительно легче и веселее жить в этой глуши. Так прекрасно обнаружить на земле человека, который звучит в унисон! Пишите! Если не секрет, над чем Вы работаете сейчас? Или это «тайна»? Так хочется прочитать чего-нибудь новенького, вышедшего из-под Вашего пера! Я знаю, конечно, что писем Вы получаете горами и Вам, конечно, не до провинциальной девушки из какого-то там Чуркина, и все же... Сумели же Вы написать мне раз! Может быть, письмо, которое я храню отныне как самое дорогое, — не последнее? А? Это было бы т а к о е счастье!

Здоровья Вам! Успехов в творчестве и в личной жизни! Любящая Вас и Ваше творчество Каравеева Эльвира, 25 лет, техник».

VI

И вновь — как после первого письма — он воскликнул:

— Дура! Вот дура!! — тотчас, впрочем, слегка укорив себя: «Зачем этак-то, грубо? Она ведь искренне, от души...»

Что-то вроде и благодарности почувствовал он мельком: в минуту творческого, как говорится, кризиса... почувствовала... поспешила на помощь...

А потом, через время, и вовсе пыхнул восхищенной, горькой

нежностью: «Родная душа! Вот именно: «родная душа»! Одинаединственная на всем белом свете родная душа, которая по н и м а е т, готова помочь!»

Однако, опасливо помятуя о конфузе, разразившемся после первого письма, постарался удержать себя в узде: «Восторженная девчонка. Не очень умная. Может, даже больная. От нечего делать. В глуши. Навоображала черт-те что. А ты уж и рад-радехонек!»

Но, заметим, значительно приподнялось самочувствие у Антона Павловича.

Через некоторое время, продолжая размышлять о письме, он вот что еще подумал: «Но ведь на пустом-то месте многого не навоображаешь! Что за фокус? Может, я не так уж и прав, когда вообще отказываю своим произведениям в художественности? Все-таки в мире много еще непознанного... Может быть, вот что произошло: то, что я видел, чувствовал, когда писал (плохо написал, конечно, скучно...), — оно какими-то загадочными путями, флюидами там какими-то, все же с о о б щ и л о с ь е й? Ведь и Анфиса, наверное, и березки эти, тьфу, «как молоденькие девчушки» — я ведь наверняка в и д е л их, когда писал! И вот видение мое, чувство мое каким-то волшебным путем, телепатией какой-то в точности передалось Эльвире?»

Тут же, понятно, былая мыслишка приподняла головушку: «...с беспощадной требовательностью, присущей ему...» Может, чересчур уж слишком я — себя? А? Обычное святое недовольство, завышенные мерки?...» —

но он тотчас со злобой окоротил себя:

— Будя! Будя! Все это было уже! Вспомни лучше, как грязью умывался, творец!

В очередной раз перечитывая письмо, он вдруг вздрогнул с приятностью: «...Любящая Вас и Ваше творчество...»

Разнеженно и сладко ворохнулось в низу живота. Замшелая струнка сконфуженно взгудела. «А что-с? Чем черт не шутит?» — вздернул по-петушину головушку — в полусутку, в полунасмешку, но — наполовину и всерьез.

...Вовремя, ничего не скажешь, прибежало письмецо.

Подобие перемирия наметилось между двумя Жужиковыми. «Ладно, — сказал один другому, совсем уже впавшему в ничтожество. — Как ни странно, кто-то еще верит в тебя. Попробуй. Может, что-то путное и получится. Хотя вряд ли».

О чем писать, как писать — Жужиков теперь и вовсе не представлял. Но, странное дело, писать его влекло неудержимо. У него аж зудело внутри от сочинительского вожделения.

Более того — у в е р е н н о с т ь появилась! — что сможет он, что дождется в себе какого-то нужного напряжения, совокупного какого-то усилия всех внутренних сил, которое наконец-то позволит ему смочь.

У него теперь было явственное ощущение, что в голове его безостановочно вращаются тяжкие какие-то жернова; сыпаются-пересыпаются груды пуговично бренчащих слов; взбалмошно, как в настраиваемом оркестре, провозглашаются обрывки музыкальных словно бы фраз; кто-то с кем-то беспрестанно разговаривает, спорит...

Глаза саднило. Весь он был постоянно взвинчен, раздражен, но и — настроен на раздражение, искал раздражения (дабы еще больше мучиться им?..).

Засыпал теперь мгновенно, камнем проваливаясь в дегтярно-черную тьму, и спал без сновидений.

Характером сделался заметно хмур и сварлив.

Жену, Татьяну Ильиничну, когда она вознамерилась поехать на лето в Кукуево, он выжил. Ну, не сказать, что буквально выжил, а дал ей ясно понять, что жаждет сейчас одиночества для серьезной (такой серьезной, какой еще не бывало) работы.

Татьяна Ильинична перебиралась в Кукуево, он — уезжал в Москву. Она собиралась в Москву опекать его, Жужиков тотчас начинал собираться в Кукуево... В конце концов даже до Татьяны Ильиничны дошло, что лучше не надоедать сейчас Антону Павловичу своим присутствием: затеяла ремонт в городской квартире, под этим предлогом появляться стала на даче не чаще раза в неделю.

Работе, которой не было, жена, конечно, мешать не могла. Дело в другом. Татьяна Ильинична невольно вмешивала свое присутствие в ту постоянно и напряженно живущую с в я з ь, которую Жужиков тщательно и суеверно поддерживал в себе, постоянно как бы настраивая себя на Чуркино — на источник ровно льющей оттуда веры в него, симпатии и тепла...

Ему как-то вообразилось, что Эльвира — благо время-то летних отпусков! — возьмет вдруг и нагрянет к нему, в кукуевское

его уединение. «А почему бы и нет» — сказал он, хотя и был уверен, что это чушь собачья.

Был уверен, что чушь это вполне собачья, но тем не менее в доме прибрался. Именно в этот период он начал бриться каждодневно. Все чаще ловил себя на ощущении, что он не один на даче. Вернее, он — один, но вот-вот откроется дверь и войдет Эльвира.

Не один раз и не два обмирало и начинало колотиться сердце, когда по дороге в поселок замечал вдруг женскую фигуру впереди: «Эльвира!» — с волнением ждал, когда она свернет, поспешно придумывал первые фразы для разговора...

Понятно, что каждый раз болезненное постигало разочарование. Но — тяжкая дрожь этих волнений, надо заметить, была не без приятности: что-то молодое вспоминалось, сладко-медленное, мучительное, желанное.

«Чушь собачья! — злился он сам на себя. — Окажется твоя Эльвира крокодилицей хромоногой! Что тогда делать будешь?»

Будто угадав эти мысли, Эльвира прислала третье письмо.

Кроме обычных и уже привычных, и уже наркотически-желанных похвальных слов, после трогательно подробного сравнительного разбора жужиковской «Повилики» и совершенно Антону Павловичу неизвестной «Едрень-травы» Д. Левинсона (сравнение, натурально, было полностью в пользу Жужикова) Эльвира написала:

«...Я боюсь, что я представляюсь Вам какой-нибудь полунормальной без меры восторженной старой девой, которая от нечего делать выбрала себе предмет обожания и — знай себе! — обожает издали, без всякого риска показать свое истинное лицо. Ей-богу, Антон Павлович, я не такая! Вот вам, в доказательство, моя фотка, чтоб Вы не подумали, что я какая-нибудь уродина. А интересно, какой Вы представляли меня? Только честно...»

Господи! Какое дивное лицо глянуло на него со снимка!

Его даже холодком продрало: вот именно эта прекрасная молодая женщина пишет ему восторженные письма?!

На него глядело одно из тех нежных, слабо и грустно как бы светящихся изнутри женских лиц, которые мгновенно и жадно рождают доверие к себе, восхищенную растроганность и быстрое желание что-то предпринять — в себе ли, в мире ли, чтобы

никогда не искажилось этакое чудо-лицо гримасой невзгоды какой-то, беды, боли!

Воровское и суетливое проглядывало в жестах Жужикова, когда, наглядевшись, он поставил фотографию сначала перед собой на письменном столе, потом, передумав, стал запрягивать в книжку, лежавшую тут же, а затем — упокоил в полувыдвинутом ящике стола, таким образом полузакидав фотографию листами бумаги, чтобы, глянув, не составляло труда тотчас увидеть большую часть этого дивного лица.

Детская опаска, что вот сейчас спохватятся и отымут, догадавшись, что не по чину ему, не по его ничтожеству владеть столь драгоценной вещью, — овладела им!

В письме она просила — если не сочтет он ее просьбу наглостью, если есть хоть одна, пусть завалыщенькая, фотка — прислать и ей свое изображение лица.

С большой озабоченностью Антон Павлович перебрал пяток-другой обнаружившихся у него фотографий, но все они были вот именно «завалыщенькие»: везде Жужиков вид имел пришибленный, как в сумрачную воду опущенный.

Он специально съездил в Москву, разыскал полузнакового фотографа — красноликого, с виновато трясущимися руками еще довольно молодого человека. Испросив авансу, тот сразу же сбегал в магазин и затем часа три, не меньше, фотографировал Жужикова, приговаривая сначала: «Усё будет в лучшем виде!», а потом (после третьего стакана): «Не фокус навести на фокус, фокус — деньги получить!»

Дня два после этой поездки Антон Павлович прожил в беспокойстве: получится или не получится?

Получилось — «в лучшем виде». Не зря тот красноликий фотомастер был когда-то лауреатом каких-то там бьеннале. Жужиков на снимках выглядел страсотерпцем, изнуренным, но еще полным сил искателем истины — человечным, многодумным, что-то этакое носящим в себе, что-то этакое в области духа обещающим.

Он всматривался в свое лицо с удивлением, даже с опасливым ожиданием: невероятность некую, глубь, мудрую горечь прозревал он в этом человеке...

Иногда — но не чересчур часто! — он ставил фотографии рядом — Антона Павловича и Эльвиры — без особенной какой-

нибудь мысли, просто так будто бы... с единственным будто бы желанием еще разок испытать довольство от того, что два эти лица не опровергают друг друга.

Только, ради Бога, не надо сразу думать, что ему что-нибудь такое, как бы сказать, а м у р н о е вообразилось! Может быть, конечно, и вообразилось, но — как смутное вероятие, очень смутное, как фигура сочинительства.

Впрочем, не скроем и того обстоятельства, что ощущение приторно-мутного угара, который время от времени заволакивал голову, заставлял вдруг скромно бесноваться, раздражаться, места себе не находя, раздражаться ни с того ни с сего бессловесными тирадами в е е адрес... — вот это угарное ощущение, честно отметим, очень напоминало ему те две-три главки из биографии, когда он бывал влюблен, что называется, без ума.

Не скоро ответил он на это письмо.

Не терпелось, конечно же, поскорее переправить в Чуркино и свой портрет, но письмо, увы, все никак не складывалось.

Те бессловесные тирады, которыми он, как сказано, раздражался в адрес Эльвиры, как по камере вышагивая по саду от калитки до сарая, — те тирады были столь чрезмерно возвышенны, столь смешно-старомодны и пылки, столь беззастенчивы по отношению к себе, что он, даже он в помраченном своем состоянии понимал: нельзя, н е в п о п а д писать ей сейчас такие письма.

...Однажды сорвался с хождения своего между сараем и калиткой, вбежал сломя голову в дом, бросился к бумаге!

«Горе! — написал он. — Какое горе, милая Эльвира! Какая мука: читать Ваши трогательные письма, смотреть на Ваше дивное лицо и знать, что все это — не мне! Да, да! Не мне, а кому-то другому, который неведомо как и зачем вообразился Вам! А главное — со всей жестокостью той правды, которую я знаю с а м о с е б е, признавать, что я уже ничего не в силах сделать, чтобы стать вровень с тем — в о о б р а ж е н н ы м! — которому Вы пишете свои письма, которому прислали свой прекрасный портрет, к которому обращены Ваши такие наивные и пылки похвалы!

Я не знаю, один ли я виноват в этом, но я — нынче — это серое убогое ничтожество. Как называет дочь: Акакий Акакиевич по ведомству русской литературы. Может быть, единственное мое достоинство (настоящее), что я вполне осознаю это... Мне иной раз чудится насмешка в Ваших, таких трогательных, восторгах

по поводу моих сочинений. Нет, конечно, я знаю, что это не так (да и зачем Вам это?). Но от этого еще горше осознавать мне свою Вину, читая Ваши похвалы моим беспомощным опусам. Свою ужасную вину я вижу в невольном... (но почему же в «невольном»? — вольном! — нет-нет, скорее: б е з в о л ь н о м) участии в том негодяйском разрушении и унижении Великой русской литературы, которые длятся не один уже десяток лет. Ведь если Вы искренне восхищаетесь написанным мной, то (простите, ради Бога!) это говорит о том, насколько занижен — катастрофически!!! — уровень восприятия Вами литературы, насколько искажено понимание того, что в литературе хорошо, что среднее, а что — ниже среднего! А Вы восхищаетесь Жужиковым... Я-то ведь знаю (и с полной откровенностью говорю Вам об этом): мой уровень далеко ниже среднего.

Какое горе для меня, что Вы появились в моей судьбе так поздно! Какое трагическое, ничем не восполнимое пространство лет между нами! Ах, если бы Вы явились мне 20, 30 лет назад! Может быть (да наверняка!), я был бы другим теперь, стал другим. Я не истратил бы эти тридцать лет так бездарно, так гнусно, так безответственно. Передо мной всегда стояло бы Ваше такое прекрасное лицо, на меня глядели бы Ваши такие строгие и нежные глаза... и я ни за что не позволил бы себе (уверен!) растрачивать свою жизнь, свою единственную, последнюю жизнь на жалкое и унижительное блуждание по редакционным коридорчикам, на выхлопывание грошовых, унижительных похвал ничтожных (и в сущности, таких же жалких, как я) людей... на пристраивание — абы только напечатали! — позорных своих сочинений, — в общем, на все то, что и составляет нынешнюю подлую жизнь российского литератора. Я был бы другим! О! Я был бы горд, горек, независим! Я вкалывал бы над письменным столом — как шахтер в забое — ожесточенно, упорно, яростно! Я — добился бы! Нет, не известности, не благополучия... Я добился бы главного: чтобы имя мое произносили с уважением! Не с той мнимой уважением, с какой произносят ныне имена тех, кто всеми правдами и ... (нет, н е правдами, а всегда одними лишь неправдами — о себе и о других!) всполз наверх, попирая других. О нет! Не так производилось бы мое имя... Обо мне говорили бы — и друзья, и враги — так, как говорят о Мастере, который жил и живет без укоризны, который ч е с т е н к а к р у с с к и й п и с а т е л ь, который ни единого раза даже возможности для себя не

допустил прельститься синицей сиюминутного успеха в ущерб высокому журавлю...» —

тут случилось с Жужиковым ужасное!

Быстрая карающая боль вломила в кисть его торопливо пишущей руки. Слабенькое сплетенье субтильных косточек, тоненьких сухожилий, сухощавеньких волоконца — вдруг мгновенно скрючилось (Жужиков с досадливой болью вскрикнул), затем пружинно растопорщилось, и карандаш вылетел из руки — как выстрелил! — в сторону, с тощим стуком покатился затем по полу...

Должно быть, Антон Павлович чересчур уж заспешил в письме. Должно быть, не стерпела писательская длань, привыкшая к медленным, ленивым каракулям, столь оголтелой скорописи.

Назавтра врач объяснил ему, что явление это называется «писчая судорога», волноваться в общем-то нечего, у пишущей братии такое нередко бывает, у Льва Николаевича, к примеру, частенько случалось...

Жужиков, натурально, возгордился. Руку теперь, как Керенский, носить стал за отворотом пиджака.

«Не вовремя как ... с рукой-то!» — жаловался он время от времени сам себе, подразумевая, видимо, что, не будь этой клятой судороги, творческий процесс уже давным-давно несся на всех парях и парусах.

Письмо к Эльвире, незаконченное на рассуждениях о высоком журавле, он запрятал в самые низы письменного стола, перечитать побоявшись. Если и вспоминал, то вспоминал с некоторой опаской и неловкостью — как вспоминают поутру о пьяных нараспашку вечерних откровениях перед случайными людьми.

Но и некоторое ободрение изыскивал он в воспоминании этом: «Ах, как писалось-то лихо! Как душа-то навыворот выворачивалась! Может, и вправду не опустела эта чернильница... как говорится?»

Письмишко он ей все же нацарапал.

Извинился за почерк. Скупое упомянул о писчей судороге. (Кто хотел, тот без труда должен был понять, сколь изнурительна писательская жизнь.) «Фотографию посылаю без автографа, — написал он. — Даст Бог, с рукой уладится, тогда пришлю

настоящий свой портрет, где я и умный, и красивый и надпись сочиню к тому времени афористическую. А сейчас, простите, расстроен: столько было планов! столько задумок, довольно забавных! А тут — такая оказия! А Вы, Эльвира, пишете! Я уже привык к Вашим милым письмам!»

Грустная и злая правда, которую он посмел сказать о себе в наполовину написанном письме, уже не могла, единожды изреченная, не жить в нем.

Все чаще, хоть и на краткие миги, черно вспыхивало в душе горделивое чувство человека, который сжег за собой все мосты, который перечеркнул — наотмашь, жирным крестом — прошлое свое.

Но — именно здесь — начиналась Надежда.

Именно в эти черные миги начиналось странное, некое трепетание в сердце, порывание куда-то, восторг нелепый.

Разливанной тяжелой дурнотой, слабеньким дрожанием в членах заканчивались эти черные восторги, но...

но успевала иной раз вспыхнуть стереоскопическая предгрозовая ясность во всем, на кратенький миг успевало сделаться в с е — до изумления простым, понятным, связным! и главное, успевало почудиться, чудилось, что нет уже никакого секрета, к а к, к а к и м и с л о в а м и, к а к и м т о н о м рассказать миру о том, каков он на самом-то деле, этот мир!

Иной раз он даже отчетливо в и д е л как бы вспыхивающие перед взором, уже написанные строки. Они были совершенны, он понимал это вполне, но, отчетливо начертанные, начертаны они были на ч у ж о м е щ е языке. Доступны были созерцанию, но внутрь сущности своей не допускали. Е щ е не допускали.

Чувство голодного раздражения, чувство бессилия оставляли по себе эти мучительные порывания. Но в этом не было окончательной безнадежности. Казалось, что это и не бессилие вовсе, а просто-напросто еще непреодоленное неумение.

И что-то чрезвычайно ободряющее было в том, что золотые те письма являются его взору с неторопливо нарастающей частотой и постоянством.

Стоит ли удивляться, что день ото дня ощущал себя Антон Павлович личностью, как бы сказать, все более значительной, строго устремленной куда-то, п р и о б щ е н н о й.

И все чаще ему казалось: стоит чуть-чуть лишь усилиться мыслью, надсадиться еще на самую малость воображением, и — сумеет продрасться он сквозь тупую препопу словесной своей слепонемоты! — постигнет наконец!

А ведь не забывайте, что тихим своим чередом шло и обыкновенное жите-жытишко Жужикова: складывание-перекладывание с места на место неважных сюжетиков, многодмное обмусоливание копеечных мыслишек, рассматривание словечек обтерханных — унылое, так сказать, копанье в бедняцком сундучишке своем, в ветхой рухляди, тяжко скопленной за многие годы... И вот это разительное, разящее противосуществование в нем одновременно и Мастера, как бы почти уже осязающего, к а к должно писать, и все того же мелкокалиберного автора «путей-дорог», «трав повилик» и березок, выбегающих на опушки, как стаи девчушек, — вот это одновременное, враздрай их существование прямо-таки изжигало теперь Антона Павловича, бесило, лихорадило.

Иногда ему казалось, что он таки сойдет с ума.

Никогда, никого, ни при каких обстоятельствах Жужиков раньше не судил. И уж тем более вслух.

А за эти два месяца пристрастился чуть что мину изображать пренебрежительную, сварливую привычку поимел по всякому поводу изрекать: «Ложь! Вранье!» — и даже картинно содрогаться при этом, как ребенок, претерпевающий желание малой нужды.

Однажды битый час бегал по дорожке своей — от сарая к калитке — и, выдвывая руками, беззвучно орал бедной безответной деве Эльвире целый, можно сказать, трактат на эту тему. Послушать его, получалось, что мир современности весь как есть насквозь отравлен враньем и ложью, как выхлопными газами, что чем дальше, тем больше нечем дышать честному человеку, что ложь и вранье так уж пропитали собой все, что даже и дети уже рождаются с наследственной ложью в крови, что, куда ни плюнь, везде вранье, липа, лживая подмена одного другим, что человечеству поставлены ложные цели, указаны лживые пути, внушены лживые средства, что человечеству ничего, кроме гибели, не остается, ибо оно обречено, подобно зараженному саду, в каждой цветочной почке которого уже зреют яйца цветоеда...

Разумеется, что все эти горе-аргументы должны были оправдать несостоятельность жизненной позиции самого горе-оратора. Из них должен был плавно вытекать вот какой вывод: не отсутствие таланта как такового является причиной неталантливости жужиковских произведений, а, говоря по-старинному, «среда заела» молодого Антошу Жужикова. В атмосфере лжи и вранья — должна была догадаться Эльвира — все лучшее, что было в жужиковском даровании, усохло, скукожилось, а то и просто подверглось редакторскому усекновению, а осталось цвезть пустоцветом лишь то немногое, что не противоречило законам лжи и вранья, которые, если поверить Антону Павловичу, царили и царят в этом не самом лучшем из миров...

Особенно не терпел теперь Антон Павлович Жужиков слышать похвалы в чей-нибудь из братьев по перу адрес. Тут он и вовсе морщился, как таракана скушавши. И даже во всеуслышание ехидное шипение полюбил издавать.

Причем в шипении своем не делал никакого различия: вверх ли, вниз ли, или просто соседу по буфетной очереди адресованы те похвалы.

Добром, понятно, это кончиться не могло. Добром и не кончилось.

...В день, когда мы вновь возвращаемся к нашему герою, Жужиков по пустячному какому-то делу оказался на Воровского. Шел по коридорчику и — черт его дернул! — остановился на чей-то оклик.

Подошел. Стояли кучкой. Хоть и хранили на лицах ответ некоей иронии, однако, вполне добросовестно слушали переводчика с суахили, известного добровольца-аллилуйщика и выдающегося борца за признание начальственных заслуг в области литературы и искусства.

На сей раз он разливался по поводу эпопеи, сочиненной большим — больше некуда! — начальником Н.

Жужиков, как и почти всегда в последнее время, пребывал в состоянии духа нервическом. Послушал, что глаголет переводчик, даже и тени смущения не допуская на лицо, — и вдруг аж заколотился, как в лихорадке.

— Дерьмо! — сказал отчетливо.

Все стали бледные.

— ??? — изумился переводчик. И вправду, можно ли было всерьез поверить, что это не обман слуха?

— Дерьмо! — повторил Антон Павлович, отчетливо чувствуя, как у него поплыла из-под ног земля, горячо загудело в голове и задрожало в лице. (Срадостным ужасом понял: «Вот оно! Схожу с ума!»)

— Блевотина! Барин обожрался мармеладу... — подумал, чего еще мог обожраться барин, и неожиданно добавил: — ...и рыхлых драчен и вот — выблевал! Вам на восхищение! Литературой (как вы говорите) здесь и не пахнет. А если пахнет, то у этой литературы — запах дерьма!

Повернулся и побежал к выходу.

VII

Всю дорогу до вокзала его по-настоящему, крупной дрожью било от ужаса содеянного им. В метро на него даже оглядывались.

Но дрожь эта, как бы точнее сказать, сотрясала только одного из Жужиковых, прежнего. А другой — испытывал великолепную, сияющую злость в эти минуты и восхищение.

«Теперь только так! повторял он с нервно дрожащей, жалкой усмешечкой. — Теперь только так! А там — будь что будет!»

У него было явственное ощущение, что он с превеликим преодолением протиснулся сквозь какую-то узость и — наконец-то! — оказался в месте чистом, месте просторном.

Но, признаться, ужасно непривычно, зыбко и зябко (хоть и легко, но совсем еще не радостно) было Жужикову в месте этом.

...Сидя в полупустом раскаленном вагоне электрички, он с удивлением слушал, как изможденно ноют, нудно гудят все мышцы его: и спина, и шея, и в особенности плечи и руки выше локтей. Как после невероятно тяжелой грузчицкой работы.

«Каких, оказывается, усилий стоит сказать о дерьме: «Дерьмо»!

Поезд тронулся.

Поплыла за окнами, обстоятельно разворачиваясь и кружась, скучная заунывно-пыльная бестолочь железнодорожного пейзажа, зло залитая белесым солнцем. Во всякое время года пейзаж этот вызывал в Жужикове что-то вроде горлового удушья.

Закачало. В окошко потянуло подобием свежести. Как по единой команде, пассажиры начали соловеть. То тут, то там, словно подсеченные, падали к груди отяжелелые головы, отворялись натужно пыхтящие рты.

«Вот видишь как?..» — с мужественной усмешкой сказал Жужиков, изо всех сил таращась рыбьими от дремы глазами за окно, но обращаясь к Эльвире. Девушка ответила взором, в котором были и ободрение, и нежная озабоченность.

«Но я не мог не сказать...» — мужественно и устало объяснил он, с трудом приподымая голову, опять павшую на грудь. Девушка посмотрела пылко и преданно.

«Ну и ладно,— успокоился Жужиков, с удовольствием впадая в дремоту.— Будь что будет».

Ощущение свершившейся катастрофы плавно перетекло в чувство беспризорности, неприкаянности. Теперь и в самом деле одни пепелища оставались за спиной.

«Сожрут...— подумал он через некоторое время, с усилием открывая глаза, чтобы определить, где идет электричка.— Плохо, что сожрут втихаря. Задушат в уголке под лестницей... А как было бы хорошо, если бы со скандалом душили! Я бы им высказал! Но — вряд ли. Скандалы нынче — в цене орденов».

Но вот что было странно и чему Жужиков косвенно удивлялся: ни малейшего страха он не испытывал. Предвидел, конечно, впереди множество скучной пакости, которая будет твориться вокруг него. Предвидел много отворачивания впереди. Но — страха не было.

О н в л а д е л — вот какое было ощущение.

Спроси его, чем именно он владеет, откуда в нем эта безмятежная неуязвимость, — что он мог бы ответить? Да ничего! О чем было говорить? О Чуркине, о нескольких письмах, о нежном женском лице на фотографии?

И все-таки — о н у ж е в л а д е л!

«Теперь только так!» как заклинание повторял он, вновь обретая непонятную бодрость в том, что положение его безвыходно, как ни смотри. Вернее, оно таково, его положение, что выход из него остается один-единственный: еще раз безнадежную предпринять попытку прорваться т у д а! —

где, подвластные тайным и прекрасным законам мерности, текли, благородно посвечивая золотом и светом, литые веские

словеса, сопрягаясь в цепочки фраз, то протяженные, то краткие, которые, сцепляясь одна с другой, перетекая одна в другую, организовывали некий загадочный златокованный о б ъ с м, солнечным медом сияющий, связной структурой своей напоминающий... ну, например, кусок пчелиных сот, который так и тянуло взять на ладонь и восхищенно рассматривать хитромудрую словесную вязь, насквозь пронизывающую его, внутри которой...

— Следующая — платформа Кукуево!

Жужиков отворил глаза.

Тотчас укорил себя: в такую жару нездорово спать!

Голова была тяжкой, чужой. Лобные кости как бы жужжали от тупой боли.

Все мышцы были полны жгучим ноющим изнурением — словно темная угрюмая вода непроточно загустела в жилах.

Сердце билось мелко и трепетно. Иногда оно словно бы промахивалось мимо ритма, подвсплывало куда-то к горлу. Сразу же трудно становилось дышать.

Дышать и так было нечем, кроме этого густого стекловидного студня, который колыхался по жаркому вагону и в котором отчетливо мешались нашатырная вонь мужских подмышек, запахи едкой горячей женской сырости, еще какая-то тухлость и победительный чесночный дух колбасы, которой без остановки закусывал кто-то на соседней скамейке за спиной.

Жужиков по-рыбьи сделал ртом и тут же пугливо подумал: «Как бы это... — имея в виду сердце. — Накануне... Нет! Нельзя, нельзя! Ни в коем случае! Получится стыдно и жалко: сказал смелость и с перепуту помер. Нельзя!» —

но ему уже вообразилось, как он оползает наземь, цепляясь за решетку ограждения платформы («Нет, нет! — тотчас поправил он себя. — Пусть уж лучше здесь, в электричке. Хоть надежда, что довезут, спасут!»), и начал послушно крениться набок, чтобы бухнуться сначала о скамейку, которая была пуста рядом с ним, а потом, с грохотом, привлекающим к себе внимание, свалиться и на пол, но огромным усилием сумел сдержать себя.

Слава Богу, электричка принялась тормозить. «До чего же медленно! — с тоской и страхом подумал Антон Павлович. — Не дожидаться! Неужели не дожидаться??» — и слезы вдруг горько подхльнули к глазам. «Как просто! Наверное, то, что сейчас

происходит, — правда, потому что э т о и должно быть очень просто!» — и ужас, тошнота, обуяли вдруг его: от обыденной тоски этого полупустого дремотного вагона, от белесой скуки дневного солнца, мутными квадратами лежащего на мелко замусоренном полу. Вот здесь он и должен помереть?..

Он встал.

Старательно перехватываясь за спинки скамеек, пошел — почти побежал — к тамбуру. В тамбуре воздуха не было вовсе.

Двери зашипели. Не сразу, а как бы помедлив в издевательском размышлении, разъехались наконец.

Он выскочил, как вывалился, на платформу в панике, — отчаянно взыскупя распахнутым ртом свежего воздуха! С жадностью уцепился за решетку платформы.

«Пронесло? — с неуверенной радостью подумал он, истово вслушиваясь в глубину себя. — Кажется... Неужели — пронесло?»

(Он часто их видел, пожилых людей, стоящих, ухватившись за стенку, за решетку — тихих и от всего мира отчужденных, терпеливо ждущих милости от собственного сердца. Теперь и он был среди них.)

«Ну что тебе еще надо, чтобы ты наконец уяснил?» — спросил Жужиков, когда слабость отхлынула, когда задышалось уже в полную грудь, уже со сладостью, уже с отчетливым ощущением великолепной яркой чистоты здешнего воздуха.

«Погоди... — попросил, слабо усмехнувшись, Жужиков. — Дай просто подышать...»

«В последний раз попытайся! Теперь — ты понял? — нельзя, чтобы в с е, глупо и просто оборвавшись, ограничилось только тем, что было!»

«Да, да, конечно. Только дай подышать маленько...»

«Это тебе з н а к был», — подумав, заметил Жужиков.

«Наверное, да...» — грустно согласился Жужиков.

Краем леса по дорожке, мягкой и тихой, он шел к поселку.

После того что он натворил в Москве, после того, что случилось в вагоне, он испытывал ужасающее опустошение.

Походочкой шел остороженькой, старческой, а когда заметил это, — так вдруг пронзительно-сладко вообразил себя именно старичком, именно странничком, бредущим издалека в далеко, легким, сухоньким, совсем свободным от бремени суетных забот,

строго сосредоточенным на чем-то таком и с т и н н о м, что было уже совершенно неуязвимо ни для каких страхов.

Здесь, у края леса, было много простора, но дышалось с усилием. Из солнечно-пестрой чащи тянуло мощным печным жаром. Справа же — над полем — воздух стоял неподвижно и жирно. Дальний край поля был словно бы подернут сизым чадом.

Небо казалось безоблачным. Однако не сыскать было солнца в этом угнетающе слепящем, цвета растопленного сала пространстве, густо скопившемся над и вокруг Жужикова.

«Гроза, что ли? — подумал наугад Жужиков и тотчас обрадовался. — Конечно, гроза!» — обрадовавшись и тому, что сумел разом объяснить для себя всю эту разнообразную тягость, одолевающую природу, обрадовавшись и тому, что быстро и вдохновляюще изобразилось ему при слове «гроза»: этот яростный избавительный треск, этот бешеный ливень, эти молниенные, мстительно-восторженные разряды, а главное — как окончательное избавление — это счастье высвобождения, выпрямления, глубокого, без опаски, вдоха!

«Успеть бы...» — повторял он себе, все чаще прикидывая взглядом расстояние, остающееся до поселка. Старческая слабость в теле странно сочеталась сейчас в нем с лихорадочкой предвкушения: «Успеть бы! Добраться до дому, немного передохнуть, ну, а там — гроза, а там...» •

Он почти уверил себя: что-то будет.

...Добрался. А грозы все не было.

Чаю напился, на диванчике отдышался. А грозы все не было.

Мыкаясь по дому в ожидании грозы, забрел в кабинет. И вдруг, вспыхнув, решил, что надо бы приготовиться к будущей работе: расчистить место на столе, приготовить бумагу, отточить карандаши.

Но одно лишь даже прикосновение к бумаге, исписанной прежде, мгновенно вдруг обессилило его, наполнило злобным и пренебрежительным к себе отношением. «Вообразил!» — с ехидством сказал он себе, опять наполняясь привычной уверенностью в собственном бессилии. Брезгливо исказив лицо, заторопился прочь.

А грозы все не было. Похоже, обманула гроза. Духота полегоньку развеялась. Даже ветерком, неожиданно холодным, потянуло вдруг.

В небесах заголубело, однако в южной стороне свода по-прежнему царил белесый яркий мрак, в котором угадывались теперь студенистые очертания каких-то облачных грузных нагромождений.

Он был в сарае (непонятно для какой надобности рылся в ржавом хламе), когда ему показалось, что ветром прикрыло дверь. Он быстро поднял голову: на улице внезапно потемнело.

Затем он услышал победно приближающийся ветровой шум.

Березы, по одиночке росшие вдали, на взгорке, качнулись — качнулись вначале охотно и с веселием. Но ветер тотчас с непомерной злобой и яростью ударил в них, согнул в упругую дугу, и по-осеннему бедственно полетели с берез листья.

Ветер накатил! Он уже не шумел — он производил угрюмый упорный труд.

Аллея заходила испуганным ходуном, закачалась по-корабельному.

Замелькало в глазах от мелкого летучего мусора. Воздух сделался серый, сорный. Полетели и крупные ветки.

А ветер все наддавал, все ломил! Гул возвысился до зловещего уже тона.

Сосны, отчаянно сопротивлявшиеся, без жалости стигаемые, то и дело ныряли головами еще ниже — к тому уже пределу, за которым неминуемо должен был следовать треск. Просто чудо, что они еще стояли!

Жужиков вдруг заметил, что и он тоже выделяет какие-то странные полускованные телодвижения: вместе с соснами он тоже отклонялся под ударами ветра, и внутри у него тоже, согласно с деревьями, все жгуче напрягалось в этой попытке преоборения!

Голос ветра возвысился вдруг до воя. «Ну хватит же! Сколько же можно!» — возмущенно воскликнул Жужиков всем своим напрягающимся существом.

Огромная ветвь сосны беззвучно слетела на порог сарая, загромодила выход. Жужиков поразился: какая огромная!

И тут полетел дождь. Показалось, что — снег. Разрозненные, неправдоподобно огромные белые капли летели, грузно планируя, плюхали оземь с отчетливым звуком плевка.

Затем все смолкло. И — через торжественную паузу — как избавление рухнул ливень, все вокруг заслонив пепельно-серой

струистой ширмой и все окрест оглушив звуками победно-дробного топота.

Жужиков смотрел на этот огромный ливень с ликованием.

Слушая, как вольготно, как по-новому шумит ветер в деревьях, он вместе с ними испытывал облегчение. Да. Именно так: в м е с т е с н и м и.

...Ливень оборвался так же внезапно, как и начался. Мелкий остаточный дождик, ослабевая на глазах, посыпал с минуту и тоже иссяк.

Жужиков глянул вверх. Обрывки туч поспешали вслед за ветром, к северу.

«...как дым от далеких пожарищ...» — подумал Антон Павлович и его вдруг потрясло дрожью.

Вообразилось: низкие тучи... неуют... приближение беды... жажда тепла, жажда единения... а над всей землей — как дым от далеких пожарищ — тучи...

Он услышал в себе ощущение лёта. Это было так неожиданно и незнакомо, что у него задрожали руки.

С трудом перешагнув через сосновую ветвь, он выбрался из сарая. Внимательно переступая лужи, пошел к дому. Было по-снеговому холодно после дождя.

...Вдруг Антон Павлович вздрогнул, зацепившись краем взгляда за что-то совсем странное. Глянул — и ахнул!

Огромная ель лежала на земле, раздавив угол забора и черно-зеленой новогодней вершиной протягиваясь чуть не до середины ли сада.

«Какой был вой! — поразился Жужиков. — Я ни треска, ни шума падения не заметил!»

С боязливым восхищением он подошел, стал обходить, оглядывать дерево.

«Какой зверь! Ах, какой зверь!» — повторял он.

Поразительно, но ель не вывернуло с корнями, как это чаще всего бывает, — ствол сломило метрах в двух от земли. Отодравшаяся вместе с падающим стволом кора торчала длинным козырьком на высоте человеческого роста, и было легко видеть, что лишь немногие из дощатых жил сердцевины по-настоящему лопнули (теперь они торчали опасной острой щепой), большая часть лишь переплющилась на переломе и теперь, казалось, в страшнейшей надсаде каменееет, все еще пытаясь удержать собой

непомерную тяжесть огромного литого ствола, пушистой головой уже уткнувшегося в землю.

«Как же тебя угораздило, брат?» — с сочувствием спросил Жужиков, чувствуя странную в себе вину.

Ствол ели был покрыт сизо-стальной чешуей. Древнее чудилось в этом покрове: что-то от ящеров, от динозавров. Ужасно жалко было этого печального прищельца.

Одушевленный вскрик отчаяния и боли, как затихающее эхо, витал, казалось, в еще живых потемках этих еще живо встопорщенных пушистых ветвей.

Жужиков преисполнен был волнения, сострадания, возбуждения. И — тайное, непонятное ликование обуревало его!

Он с отчетливым усилием перетерпел в себе желание, остро полоснувшее: тотчас броситься к столу, начать что-то делать, писать, записать...

«Не торопись! Нельзя торопиться!» — умолил он себя.

К столу он тем не менее направился. Цель, однако, поставил, сам перед собой лукавя, как бы косвенную: взглянуть на портрет, чтобы у с и л и т ь — пусть даже болезненно усилить — те разнородные ощущения, которые оживленно, но слепо еще, немотно переполняли его.

...Нежное тонкое лицо Эльвиры отозвалось в нем послушной и привычной сладко-затейливой болью.

Он представил вдруг это лицо — на фоне тревожных текучих туч — представил отсвет беды, угрозы, грубо упавший на эти милые взгляду и уже родственность вызывающие черты. И — горький гнев против несправедливости жизни охватил его! Сострадание возопило, и деятельную жажду почувствовал он — во что бы то ни стало защитить, принять н а с е б я боль, предназначенную ей.

Он снова вышел на крыльцо.

Станным и незнакомым был этот мир — не только потому, что вполовину сада лохмато громоздилось чудище поверженной ели; не только потому, что природа преображена была пронесшейся непогодой: было мокро вокруг, хмуро-зелено, зябко. Мир казался незнакомым, потому что и сам-то Жужиков самого себя не очень-то узнавал. Какие-то изменения, жесткие, он слышал и в самом себе.

Смотрел вокруг новыми глазами — буквально: отчетливую

новизну ощущал даже глазными яблоками: кожа век ходила по ним не обдрябло, как всегда, не с изнуренными зацепами, а — молодо, скользко, бодро! И взгляд его, он слышал, был от этого и быстр, и остер, и колок.

Он не забывал время от времени (но не часто) вызывать в себе явившийся давеча образ; прекрасное женское лицо на фоне тревожно бегущих туч — это было г л а в н о е, — и он вызывал это, чтобы мимолетом еще раз испытать (но каждый раз по-новому) обомление в душе, что-то вроде сладкого ожога чувств. И каждый раз, он слышал, напряжение этих чувств становилось все более требовательным и сильным.

Спроси его, как прошел остаток дня и вечер, — он не ответил бы.

Что-то делал, куда-то ходил, чем-то занимался — но все это словно бы в потемках, в радостно-встревоженной суете, в лихорадке, с восторженными какими-то всхлипами, со слезами, то и дело подбегавшими к глазам.

А поздно вечером, очнувшись в захлавленной комнатенке над взбулгаченной постелью (свет горел, как всегда по вечерам, немощно, плохо...), представил вдруг завтрашнее утро. Себя представил, стоящего над письменным столом с лицом, слегка холодеющим от недавнего умывания, с бровями по-молодому мокрыми, — представил себя утренним, сильным, бодрым —

и вдруг с легким головокружением понял: «Утром. Завтра утром».

Спал беспокойно.

То и дело возникало лицо Эльвиры. «Где же тучи? — волновался Жужиков. — Без туч нельзя, нельзя! Ничего не получится!» (Тут же возникали и тучи.) Эльвира говорила что-то, но будто бы издалека, ни слова не разберешь, кроме того, что беспокоится Эльвира, но и надеется.

А весь сон был как бы живописным текстом, который Жужиков считывал, восхищаясь мастерским, сдержанным, веским ритмом этого повествования и более всего беспокоясь о том, чтобы наутро не потерять эту непростую мерность звуков и фраз.

Прекрасен был мир в это утро! Тихое солнышко глядело на землю с внимательностью и участием. И листва, и трава рьяно,

пылко зеленели. Весь воздух из края в край, наискось, наперебой был прошит серебристыми птичьими фьоритурами, с радостью и верой и с наивным вдохновением провозглашаемыми.

Жужиков старался двигаться понезаметнее.

Чай уселся пить, как приживал, с уголочку. Грустно похлебывал кипяточек, пожевывал хлебушек, растарашенными глазами усиленно зрил перед собой, ни о чем особенном, впрочем, не думал.

Потом поднялся со вздохом. Храня в лице выражение обиденности, скучной походочкой пошел к письменному столу.

Словно бы отдаленная музыка слышалась ему — из-за спины и сверху. Но он как бы отстранял ее от себя — до поры до времени.

В кабинете было темновато, свежо. Однако солнечный свет из окна уже лежал остроугольной фигурой, протягиваясь почти до поверхности стола, и отраженно окрашивал медовым тоном чистые листы бумаги на столе, которые и пугали, и прямо-таки притягивали сегодня Антона Павловича.

Никогда еще он не слышал такого праздника в душе

«Вот оно как на самом-то деле происходит...» — подумал он с непонятной завистью к кому-то.

Он чувствовал себя цельным, литым, значительным. Ужасно хотелось все длить и длить это лестное ощущение.

Сел за стол. С оживлением и интересом взглянул за окно. С оживлением и интересом и словно бы с любопытством взял в руки карандаш.

«Итак...» — то ли услышал, то ли произнес Жужиков и поднес острое карандаша к золотом отсвечивающей и как бы замершей в ожидании бумаге. Итак...

. . .
.
. . .

VIII

Свет с улицы без охоты цеделся сквозь запыленное и сальное стекло, неприязненно высвечивал унылую бестолочь на захлавленном подоконнике: пустые аптекарские пузырьки, банку из-под майонеза с прогоркло-желтеньким содержимым на дне, поверху подернутым опасной черновато-зеленой пленкой гнили,

расколовшееся надвое блюдо с превратившимися в скучный серенький прах цветочными семенами; бестелесные рыжие луковицы то ли чеснока, то ли нарциссов, обильно замусорившие все вокруг полупрозрачной розовой шелухой; мертвую электрическую лампочку с багрово-ржавым цоколем, всю обволоченную пыльным салом, всю в черном мушином накрапе, а изнутри словно бы затуманенную пушистым дымком; пластмассовый двухсторонний гребень, меж коротковатых тупых зубьев которого было набито войлочной жирной перхоти и, реденькие, торчали седые волосенки; мелкие гвозди; канцелярские кнопки, каждая аккуратненько подплывшая крохотной лужицей ржавчинки; пустые стержни от авторучек; сгнивший огрызок яблока; бритвенные лезвия со следами окаменелой грязно-серой пены вдоль жала; сохлых мотыльков; аптечные резинки; карточку лото со следами смородинового варенья; скрепки, разогнутые буквой «S», — это, и еще многое другое, обильно пересыпанное то ли черными какими-то семенами, то ли крупкой мышинного помета, созерцал Антон Павлович Жужиков, стоя у окна и испытывая странное удовольствие отращения от этого занятия.

Так он стоял час. Может быть, и два часа.

У него было чувство внезапно, но не слишком болезненно, оглушенного человека: обида, недоумение, ватные ноги и полнейшее неповиновение командам воли...

«Т а к не должно было случиться. Это — несправедливо, нечестно. О н и (неизвестно, кто скрывался под этим «они») должны были дать шанс ...» — такими вот обрывками обиженных мыслей размышлял Жужиков, стоя возле окна — уже не в кабинете, а в комнате. Он не знал, зачем пришел сюда. Он не знал, как давно пришел сюда.

Ужас, позор, мука происшедшего с ним казались в отдельные минуты неправдоподобными. Слишком уж непомерно злым, слишком уж язвительно жестоким было возмездие, издевательски-проворно и сноровисто совершенное над ним.

О н не сумел написать ни строчки.

Ни строчки.

Предвидел: утрюмую каторгу, сложную тяготу надсадных одолений каких-то, обмороки отчаяния, отращение беспомощности, грубые сомнения в своих способностях... — в общем, все

то предвидел, из чего по преимуществу и состоит медлительный, муторный и мытарный процесс сочинительства и что, в общем-то, не составляло секрета для Антона Павловича, поскольку, хотя и краткими, хоть и шадящими касаниями, он был тоже прикосновен к «мукам творчества», создав за свою жизнь не такое уж малое количество более или менее художественных произведений... Да, предполагал все это. Ждал и даже, можно сказать, жаждал этого — как некоего искупления, что ли... Но что произойдет такое: ни строчки?! — он даже как-то и в расчет не брал.

Ему даже памятью обернуться было страшно к часам, проведенным за столом.

Странный образ то и дело представлялся: человек, по пояс вкопанный в землю и рвущийся в небеса.

Он отчетливо видел, что и как надобно делать, но, как оказалось, это было в не его возможностей. Именно так: не выше его возможностей, не ниже, а в не его возможностей! (Ну вот вам сравнение: как для обездвиженного параличом танцора в не его возможностей показать движением, что и как надо станцевать.)

Мучительнее муки он еще не знал.

У него (так ему казалось) были тягостно надорваны все до единой жилы. Так отчаянно он пытался вырваться из окаянного косноязычного плена!

Что же все-таки написал?..

«В тот год над Лесогорском гремели грозы...»(зачеркнуто), «Отгремели над Лесоярском летние грозы и...» (зачеркнуто).

На новом листе:

«Инженер-проектировщик Бронислав Карзин, веселый обычно и черноволосый молодой человек, кончил читать заключение комиссии и озабоченно нахмурился...» (зачеркнуто с яростью, так, что острием карандаша прорвало кое-где бумагу).

С абзаца: «В мартовскую ростепель 37-го года Катюша Лукошина по нежданному вызову начальства поспешала в Тимофеевку, райцентр...»

На новом листе: «Черноглазый и черноволосый мужик Анкудин Телепнев, по деревенской кличке Кудин, еще крепкий, несмотря на изрядный возраст, ухватил железными вилами сверху тяжелый пласт навоза...» (зачеркнуто).

«По дороге к проходной Аннушка...»

На новой странице, под заголовком «Годы и судьбы»:

«Дороги — они — как люди. Каждый наособицу, каждый...» (зачеркнуто).

У него было внятное чувство, что какая-то ни с того ни с сего расвирепевшая сила отшвыривает его прочь от стола, что белизна бумаги негодующе отторгает любое написанное им слово, с несуразной ненавистью выхаркивает ему в глаза сочиненную им пакость!

В горле у него ходуном ходило от рвотных судорог. Едкий и душный чад отчаяния мучил голову.

Он все никак не мог взять в толк, что происходящее с ним — правда. Он ведь с такой доверчиво распахнутой душой приближался к этому столу! Он ведь так искренне, так честно отринул себя прежнего! Он был ведь так готов стать новым!..

Сколько это длилось, чем закончилось — как в потемках. Вдруг обнаружил себя вот у этого окна, тихо и тупо разглядывающим содержимое подоконника.

Смотрел и за окно. Но спроси его, не смог бы, пожалуй, сказать, что — за окном: день, утро, вечер... лето ли, осень.

Он был разгромлен. В нем камня на камне не осталось.

Нелепо, но он услышал, как становится меньше росточком, как словно бы усыхает всем телом.

Не было уже ни больно, ни особенно уж обидно. Но плаксивый спазм все еще держался в гортани, и, когда давал о себе знать, становилось ужасно жаль себя, такого вдребзги сокрушенного.

Столовым ножом он нащипал лучинок от обломка сероголубой от ветхости доски. Доска была когда-то ладная — с ровными волоконцами, и лучинки, с послушным треском отслаиваясь, стройно падали набок.

Он удивился, сообразив, что собирается топить печь. «Ведь не холодно, жарко... — сказал он себе. — Какая разница?» — сказал он себе и согласился: действительно, какая разница?

Лучинками он выстроил как бы шалашик над газетой и скомканным молочным пакетом. Поверх лучинок соорудил что-то вроде клетки из дощечек и поленец потоньше. Поднес спичку. Дождался, когда голубенький огонек невзрачно затрепещет на

поверхности толстой, жирно вощенной бумаги,— прикрыл дверцу и стал ожидать, вздохнув.

Не было обычной радости и оживления.

Из печи не доносилось ни звука, хотя и было видно по отблескам в щелях: горит... Затем донесся писклявый треск древесных волоконцев, ухваченных краем огня. Затем раздался как бы вздох, и стало слышно, что в трубе ровно потянуло.

Обычно в этот миг Жужиков всегда испытывал облегчение. Сейчас — почувствовал только отсутствие этого обычного облегчения.

В печи мелко, наперебой стало пощелкивать. Лопнуло какое-то крупное волокно. Сквозь щели пыхнуло жарким светом, и шум перешел в ровный, наподобие доменного, гул.

И вновь — он не почувствовал привычной радости. Почувствовал: утрату этой привычной радости.

Неотчетливыми, неповоротливыми мыслями он подумал о том, что в такие вот моменты люди, наверное, и вешаются.

— Ну уж нет! — пылко отпрянул он от этой мысли. — Ну уж нет! — с тем большей искренностью воскликнул, что тотчас представил себе уйму изнурительных, да и непостижимых его умению занятий: вязание толстых каких-то веревочных узлов, поиски подходящих (а какие они, подходящие?..) крюков, что ли, гвоздей... а потом — заботливое приспособливание к ним (чтобы не оборвалось, чтобы выдержало!) веревочного этого изделия, на шатком чем-нибудь стоя, выгибаясь, усиливаясь в глупом, нелепом старании сделать это как можно лучше.

«Ну уж нет!»— сказал он еще раз. А потом, поразмыслив, и еще раз повторил: «Ну уж нет!»— имея в виду уже другое. «О н и все ведь истолкуют на с в о й лад, с присущей им... Решат, что я — из-за того, что наговорил о Н., что в кои веки дерзнул позволить смелость. Ну уж нет!»—

и ему сразу же стало легче, будто кто-то принял за него решение, неоспоримое и властное.

Он приотворил дверцу печи.

Буйное пламя сразу же сникло, будто пытаясь утаиться от чужого взгляда. Но ничего уже остановить было нельзя: все в печи было охвачено согласным огнем, и языки его, плавно

изгибаясь, деятельно неслись направо и вверх, в черную темень дымовой трубы.

...Он глядел, как горит огонь в печи, грустно думая при этом о том, как горит огонь в печи и как безвыходно нынче его положение. По-старому писать он уже не сможет. А по-новому — вне его сил, вне его жалких способностей.

Но, странно, не было уже того провального ужаса, что раньше, при этих мыслях. Перед лицом огня поуменьшилось язвительной едкости в том чувстве позора, который он претерпел сегодня и который не покидал его сегодня ни на секунду.

Было: разливанное море безнадежности, растерянного, совсем детского, обиженного бессилия, беспросветная темень впереди.

Но пытаясь хоть что-то прозреть там, в безрадостных потемках будущего своего, он, знаете что угадывал?—

угадывал все новые и новые, беспомощные и безнадежные, робкие и упрямые торкания свои — т у д а!

Да, да. Именно т у д а, откуда с таким ошеломляющим позором он только что был вышвырнут.

Удивительно, как ему удалось без всякого усилия обходить размышлениями своими Эльвиру.

Он ни разу за сегодня пристально не помыслил об Эльвире.

Словно бы стыдливой, пугливой стеной огородился он от этого предмета в размышлениях.

Словно бы не хотел, чтобы она была свидетельницей его краха.

Словно бы он ее старался защитить...

Всю ночь с покорной досадой вертелся на бугристой постели. В жалобный голос вздыхал, задыхался от плотного жара печки. Изнывал от жгучего желания заснуть и от горестного как бы неумения погрузиться в сон.

Сон — как густая черная вода — держал его, подобно поплавку, на своей поверхности, внутрь не пускал.

Он был беспомощен. Он был распростерт. И — казнящие мысли о собственной никчемности, одна отчаяннее другой, все разили и разили его — без передышки, без жалости — с радостным оживлением слетали-взлетали, хлопотали над расклеванной его совестью.

«Вот когда петли-то вяжут!» — подумал он вдруг с изумлением откровения. — Вот когда».

Писал, писатель! Всю жизнь, считай, писал.

Огромная, замытаренная негодяями страна корчилась вокруг — в грязи, в пьянстве, в бестолочи, в унижении — изнывала от нескончаемой лжи, от тараканьего засилья бодрых подонков, наперегонки карабкающихся туда, в высь высокую — вельможным лоханям, вокруг которых, и без того изобильное, урчало, толкалось дружное стадо хрюкающих тварей, темно и загадочно владеющих правом править жизнь миллионов людей.

Царем царила, глумливо торжествовала Ложь.

Все самое бездарное, самое подлое, бесчестное, по законам всплывающих нечистот, устремлялось вверх. Все талантливое, честное и чистое, подобно самородкам, тяжело упало на дно жизни.

Страна жила, как человек, у которого вывихнуты все до единого суставы, — чудо, что она еще жила! Безгласный вопль неся по великой когда-то державе из конца в конец. Обманутый, обманываемый, тупеющий от нескончаемого и разнообразного уподобления его скоту народ, махнув на себя и на все на свете рукой, сладостно пил горькую, дабы хоть во хмелю, хоть на час вспомнить себя человеком...

...а он, писатель Жужиков А.П., в это время тихо и трепетно вынашивал *творческую задумку* острой психологической повести о том, как передовая свекловодка Настюша Бурдакова, не в силах избыть из сердца диковатого сельского кузнеца Тришку Кафтанова, не раздвинула ноги перед первым ей попавшимся секретарем райкома Устином Ульяновым (вскоро-сти, впрочем, освобожденным от этой высокой должности еди-ногласно разгневанным пленумом)!..

...Один только раз — уже вконец будучи замучен бессонницей, духотой, мстительными мыслями — он не стерпел и, мысленно оборотившись лицом к Эльвире, проникновенно возопил:

— Помоги!! Пожалей!! —

с надеждой дождался отклика с той стороны, не дождался. Но — некоторое умиротворение все же испытал в самом процессе

ожидания отклика. И вновь оживленные предпринял попытки уснуть.

На час или на полтора сумел пропасть. И вновь — как от бесцеремонного толчка — пробудился с панически бьющимся сердцем.

За окном уже совсем рассвело.

У Жужикова было странное, неприятное ощущение, что за ночь лицо его усохло до размеров кулачка: так жесточно стягивало кожу на скулах, так зло были обрезаны веки бессонницей.

Из зеркала глянул на Антона Павловича жалко всклокоченный, несчастный, обеспокоенный человек с лицом, грязно заплесневелым от серой щетины. Он снова вспомнил об Эльвире: глянула бы на такое лицо...

Вскипятить воду, развести мыльную пену... — все требовало многосложных, надсадных усилий, и Жужиков то и дело замирал в раздумьях, что следует делать за чем.

Тощее петушиное горло, беззащитно открывавшееся под вздернутым подбородком, и тоненькое жало опасной бритвы в руке навели его на какую-то смутную и уже знакомую мысль, от которой он с содроганием отвращения отпрянул всей душой, прежде чем даже внятно сообразил, о чем она, эта мысль.

Переживая, покорно опустил руку с бритвой.

...Он сумел принудить себя вскипятить чай, что-то съесть.

Потом вышел на улицу — под солнце — и стал стоять там, под солнцем, как стоят под долгожданным дождем.

Он стоял так, наслаждаясь дремотным пригревом солнца, и вдруг — услышал приближение угрозы.

Угроза — как тень от тучи — ползла к нему неостановимо.

В недоумении он пытался сообразить, в чем дело. Потом догадался: жена! Сегодня она наверняка придет. Ее не было целую неделю, и вот сегодня она непременно заявится!

Все внутри у него скорчилось в досаде и скуке, когда он представил, что опять придется выговаривать какие-то слова, слушать вопросы, отвечать на расспросы, придумывать что-то по поводу озабоченности своего вида. «Она ведь, не дай Бог, еще и утешать примется!» — с ужасом подумал Жужиков.

Он ничего не имел против этой женщины, поймите! Он искренно жалел ее — за бездарно прожитую с ним жизнь. Но уже давным-давно ничегошеньки не было у него к ней.

В жизни, которая все чаще представлялась ему случайно случившейся, и Татьяна Ильинична, и житье их совместное, и даже дочь — тоже были скучно случившейся необязательностью какой-то. Могла быть Татьяна. Мог быть и кто-то другой, неизвестно кто...

Он, повторяем, ничего не имел против нее. Иногда в кукуевском своем уединении даже с оживлением поджидал ее приезда. Но — только не сегодня!

«Ради Бога, только не сегодня!» — как бы даже вскричал он навстречу ей, уныло зная, что она все равно заявится и, сама того не предполагая, будет мучить его своим видом, голосом, жестами, а у него, видит Бог, уже нет сил скреплять себя терпением, он весь уже разрушен, ему уже не вынести еще и этого свидетельства едкой пошлости своего существования, невольным лицетворением которой была бедная жена его!

«Бежать! — подумал он. — Избежать!»

И тотчас пренебрежительно-насмешливый голос спросил: «Куды? Бежать-то куды?»

И вот тут — новый голос сказал, обмирая от смелости:

— Эльвира...

...И, как бы сказать, распахнулись в ту же минуту волшебные пред ним врата! Ну, врата — не врата, а подобие какого-то светло засиявшего пролома вообразилось вдруг впереди, в пространстве хмуро теснящей его жизни.

И таким, Господи Боже, приязненным током добра, покоя, уважительной нежности, милосердия, ласки пахнуло оттуда! — что у него, бедняги, аж застонало внутри от нестерпимого желания тотчас, сию же минуту оказаться там! Хоть бы дух перевести... Хотя бы одно доброе слово услышать...

Потом, в сумрачной комнатенке, сидя на краю дико разоренной постели, считал деньги.

Бумажки сложил в сторонке, а теперь пересчитывал мелочь, собранную по карманам.

В комнате, как всегда по утрам, было хмуро, безуютно, почти темно. Жужиков каждую монетку, прежде чем учесть, в далеко отнесенной руке поворачивал к свету, чтобы не обмишуриться.

И вдруг — увидел все со стороны. И так сладко, так больно сделалось.

В том, что происходило с ним сейчас, была нежная ужасная П р а в д а. И была безжалостная К р а с о т а в том, что происходило с ним сейчас.

IX

— Мужчина!

Жужиков в недоумении открыл глаза.

Женщина, спустив на плечи платок, кончала заплетать тощенькую косичку, смотрела на него:

— В Чуркине это вам сходить?— проворно закрутила узел сзади, на ощупь воткнула несколько крупных шпилек, покрылась.— А то, может, не того разбудила?

— Того...— стесненно улыбнулся Жужиков и стал смотреть в окно.— Не скоро еще выходить?

— Сиди еще!— с непонятной резкостью сказала старушка, притулившаяся в темном уголке напротив.

И старушка, и женщина глядели на него странно — как на больного.

Насмотревшись и вдруг спохватившись, что так уж неприлично открыто разглядывают незнакомого человека, без охоты вернулись к тихому своему разговору, а Жужиков смотрел за окно.

Нескончаемо бежал вдоль полотна чахлый заболоченный лес. В глубине его зябко и сиротливо стоял туман.

«Ехать бы и ехать...»— подумал Жужиков и опять откинулся в угол купе, в ту позу, в которой так сладко проспал всю эту ночь.

На скамейке, через проход, весь уже изготовившись к выходу, навьюченный рюкзаком, сидел старик. Никуда, казалось, не смотрел, хотя и открыты были светлые его глаза.

Над его головой, на голой полке, подложив под голову кроссовки, возлежал, как труп полководца, с торжественно сложенными на животе руками молодой парень — в сером новом костюме, при галстукe. Старушка напротив рассказывала соседке что-то горестное и негромкое.

«Ехать бы и ехать...»— подумал он снова.

Ему было хорошо, горько и просто. Несчастный, он ехал куда-то среди несчастливого своего народа и был на месте.

...В тамбуре истошно воняющего туалета парень брился немощно жужжащей электробритвой.

Жужиков непроизвольно потрогал свои опять уже шершавые щеки. Парень протянул ему бритву, предложил: «Повози».

Жужиков стал бриться, а парень смотрел на него, удовлетворенно улыбаясь.

— Скоро уже? — спросил Антон Павлович у женщин, вернувшись на свое место у окна.

— Посиди маленько, — сказала старушка. — Мимо не провезут... — и вдруг спросила: — Что ж ты, голубок, так плакал во сне? Так уж плакал!

Жужиков удивился:

— Плакал?!

— Ой, плакал! — жалеючи воскликнула старушка.

Вторая женщина, сильно смутившись, добавила:

— Мы уж вас и толкали, и будили...

Смутился и Жужиков:

— Странно... Я так сладко спал... — и с новой нежной приязнью глянул на этих женщин. Каково им было всю ночь глядеть, бессильно сострадавая, на неведомого человека, который обливается слезами во сне?

В Чуркине сошло человек пять, мгновенно куда-то исчезли, как улетели.

Поезд, постояв полминуты, скрипуче задвигал сцеплениями вагонов, неохотно раскатился, угромыкал. Оставил по себе изумляющую высочайшую тишину. И — болезненное, остренько саднящее чувство забытости этих мест.

На путях не было ни души. Только далеко впереди деловито перескакивала по шпалам, поджав заднюю лапу, грязно-молочная собака.

С одной стороны к железной дороге вплотную подступал лес. С другой — размахнулись чуть ли не во весь горизонт поля и высокое небо над полями, сероватое, опрятное и спокойное.

Ветхая станционная домушка с казенной черно-белой надписью под крышей «Чуркино», с огородом, с покосившимися службами, с кривенькими яблоньками в саду выглядела на этом

фоне притаенно и скромненько: как на огромной картине маловажная деталь у самого нижнего обреза.

И совсем уж исчезающе малой запятой чувствовал себя Жужиков среди этих громоздких пространств.

В нем было недоуменное изумление только что очнувшегося человека: где я? Было досадно, но было и с трудом вспоминающееся, юное, чуть боязливое восхищение странностью жизни: еще вчера был в Кукуеве, в привычных стенах... а сейчас вот — стою налегке, на захолустном разъезде... и неизвестно, куда идти.

Он подумал об Эльвире, попробовал вызвать в памяти ее лицо, но ничего из этого не получилось. «Слишком просторно уж...» — странно объяснил он себе.

«Все будет совсем не так, как воображалось! — Жужиков поморщился с неудовольствием. — Будет много неловкости, неискренности, натуги!»

Светленькая девочка лет двенадцати домашним веником подметала землю под навесом, который служил здесь, похоже, залом ожидания.

— Чуркин, — объяснила она, с жгучим стеснением, испугом и интересом взглядывая на Жужикова. — Чуркин вон там, за горушкой, километра четыре, не более...

Жужиков послушно пошел по мягкой многоезженной дороге и долго еще слышал, как девочка смотрит ему вслед. Наверное, он и вправду выглядел диковинно: в габардиновом плаще, в шляпе, без вещей и спрашивает, как пройти к известному всем поселку.

Ф-фу! Глупость какая! — сказал он через некоторое время. — Ну как я приду к ней?! Как объясню, зачем приехал?

Он и в самом деле уже не знал, зачем он сюда приехал.

Но, как ни странно, это не очень-то и заботило его сейчас. Он другим был занят: сняв ботинки, засучив штаны, подхихкивающей припрыжечкой одолевал дорогу, обильно припорошенную крупной дробной пылью, но под пылью все же заметно бугристую и чувствительную для ступней.

«Горушки», о которой говорила девочка, он, сколь ни старался, так и не обнаружил. Дорога, правда, не очень заметно тянула вверх. Где-то там, километрах в двух, должна была быть точка, с которой откроется вид на поселок Чуркино.

Он оглянулся. Станционный домик выглядел совсем крошечным.

И далеко впереди, и далеко влево, и далеко вправо — все было занято невеселым спокойным пространством.

Солнцу пора было бы светить. Жужиков еще раз оглянулся: оно давно уже поднималось, привычно заволоченное пасмурной дымкой, глядело на землю обыденно, равнодушно.

Жужиков ощутил странный, горестный и сладкий миг пропадания: какой-то человек шел босиком по равнинной дороге, но его, Жужикова, не было!

Дом семь по улице Амилкара Кабрала оказался одноэтажным беленым баракком.

Он правильно предположил когда-то, что это — общежитие.

Женщина во дворе развешивала на веревках простыни. Весь двор был уже увешан полотнищами с черными расплывшимися штемпелями на уголках. Некоторые из простыней уже просыхали и с ленивым оживлением пошевеливались на ветру.

— Эльвира?!— женщина глянула на Жужикова с недоумением и цепким подозрением.

— Караваева... Эльвира...— повторил Жужиков.

— А-а!— облегченно заулыбалась женщина и радостно рассмеялась. — Так то — Ира! Караваева?.. Так бы и сказали. Кака така, думаю, Эльвира? Сроду у нас тут не жывало...эльвир! Из Александровки, что ль?

— Что?— не понял Жужиков.

— Из Александровки, говорю, в гости?

— В гости, в гости. Она сейчас дома?

— Были вроде дома, если не ушли никуда. Ну, Ирка!— опять вдруг рассмеялась женщина и с восхищением повторила:— Эльвира! А вы сходите, гляньте! Вроде бы они не уходили никуда. В четвертой комнате они!— крикнула вслед.

...У него было (он потом вспомнил) отчетливое нежелание идти туда. Какая-то тягостная неуверенность отягощала каждое его движение — и когда он поднимался на крыльцо, и когда шел по длинному коридору с хорошо вымытыми, лаково крашенными половицами, и когда (вовсе уж с усилием преодоления) поднимал руку, чтобы постучать в дверь четвертой комнаты.

Ему послышалось, что из комнаты ответили. Он вошел.

Потрясение отвратительнейшего свойства ожидало его!

...С маленького столика у стены, из коробчатой узорчатой

рамки, смастеренной из серебряной фольги и напоминающей иконный оклад, глядела на Жужикова его собственная физиономия. Это была фотография, которую он недавно посылал Эльвире, но раза в три увеличенная и заметно отретушированная.

Вид у Жужикова на этом портрете был глуповато-веселый, фатоватый, даже, можно сказать, — донжуанский, чему, конечно же, много способствовали маленькие усишки, скрученные то ли из пеньки, то ли из рыжеватого меха и аккуратно приклеенные под носом писателя.

Фоном для портрета служил щит из линялого кумача, — наверное, доска почета, изрядно уже послужившая, если судить по клееным правильным следам, там и тут запачкавшим полотно...

Развеселая, красовалась поверху надпись золотом: «Мама! Я Жужикова люблю!!!»

Ниже, во множестве, располагались фотографии.

Репродукция роденовского мыслителя сопровождалась подписью: «Эх! Не перемыслить мне Жужикова А.П.!»

Вождь пролетариата на известном снимке читал за столом не «Правду», а газетный листок с заголовком: «Пути-дороги».

В кулуарах писательского съезда Жужиков А.П. стоял в компании с Черчиллем и Хрущевым. Называлось это: «...и дал им Жужиков ряд ценных советов».

Розовомордый комсомолец на плакате, дебилно улыбаясь, показывал всем алую книжицу — «На расстанях», а текст, кропотливо склеенный из плакатных буковок, гласил: «Эта штучка посильнее «Фауста» И. Гете!»

Пришпилена была тут и старинная, начала века, открытка: кавалер, стоя на коленях, склонял красавицу. Красавица отворачивала лицо и говорила: «Нет! Только — Жужикову!»

На другой фотографии у пахаря, идущего за плугом, была голова Жужикова (все тот же снимок Антона Павловича, но здесь уменьшенный до размеров паспортной карточки). Пахарь как бы оглядывался на зрителей. Подпись сообщала, что это «Жужиков А.П. на ниве российской словесности».

Много тут было всего...

Под надписью: «Однажды Антон Павлович заметил...» висело что-то вроде бумажного свитка, на котором писали от руки. Жужиков разглядел лишь несколько строк: «...что ярко-красное солнце всходило на востоке...», «...что Анфиса с досадой села на

стул...», «...что дороги бывают разные...»

Пред ликом Жужикова стояла в лафитничке полусторевшая церковная свечечка. Должно быть, возжигали время от времени, и, должно быть, немало веселья творили при этом.

Восковые рыночные цветочки были возложены к портрету, букетики крашеного ковыля, надкусанный пряник, соленый огурец с воткнутой вилкой, конфета в фантике.

Под стеклянным, лабораторного вида колпаком лежал окурок. Рядом — чудовищного размера рваная галоша. Стоял надгрызенный граненый стакан. Все — с аккуратненько напечатанными и наклеенными «музейными» надписями, которые Антон Павлович даже и читать не стал, почувствовав, что его вдруг затошнило от... он даже не знал, как определить это злобно-насмешливое, безжалостное, бесстыдное, что творили тут над ним...

Он повернулся уходить. Скользнул взглядом по двум аккуратненьким девичьим коечкам, по телевизору с лежащей на нем гитарой, по книжным плотно набитым полкам, по нежно-голубенькому платицу, висящему на плечиках на дверке шкафа. Повернулся и поспешно ушел, как сбежал.

Что он чувствовал?

Он чувствовал, что он — очень устал, и что ему — очень стыдно и тошно жить.

Стыд был унылый. Но странно, ему не только за себя было стыдно. С Жужиковым все было ясно. Ему и за Эльвиру было стыдно! Больше того — за весь как бы и род человеческий!

...В буфете автостанции он купил бутерброд с котлетой, вышел на хорошо пригретое деревянное крыльцо, сел на ступеньку и стал ждать. До автобуса в областной центр был час с лишним.

Грязно-молочная собака подковыляла на трех ногах, остановилась напротив и стала пронизательно смотреть на Жужикова.

Он отломил кусок котлеты и бережно бросил собаке. Она рассеянно понюхала и снова стала смотреть.

Котлета на изломе была удивительного голубого цвета. Жужиков слегка посомневался и все же принялся жевать, подумав при этом что-то равнодушное, с интонацией «э-э... все равно...»

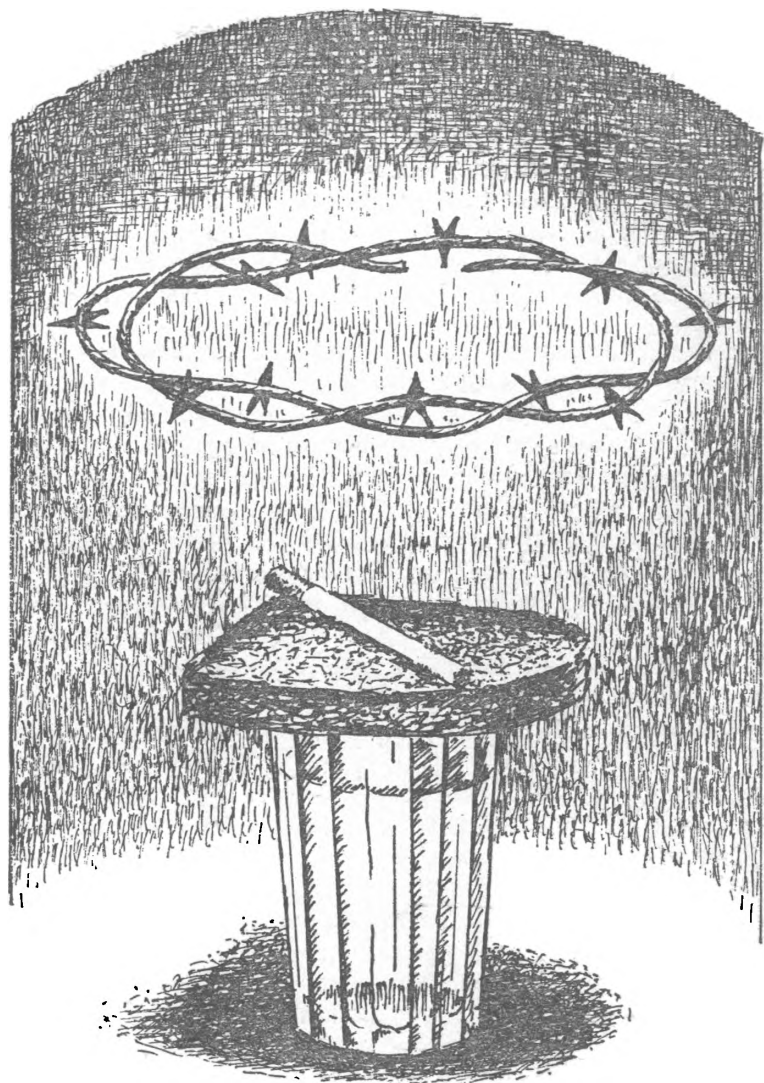
«Не переживай... — сказал себе Жужиков. — Чего переживать?»

Нежно-голубенькое легонькое платьице взволнованно затрепетало за низким некрашенным штaketником, на той стороне автобусного круга, в пыльном зеленом сквере.

Молодая женщина, торопясь, шла вдоль забора и озабоченно не спускала глаз с Жужикова. (Наверное, да, с Жужикова — оглянувшись, он никого больше не увидел рядом с собой.)

Штакетник кончился. Женщина на мгновение остановилась, все так же всматриваясь в Антона Павловича, и, заметно поколебавшись, пошла вдруг к нему через асфальтовый пустырь площади тревожными шагами человека, опаздывающего на помощь.

1988



**Д Е Н Ъ Р О Ж Д Е Н И Я
П О К О Й Н И К А**

ХЕЛЬСИНКИ — ГОРОД КОНТРАСТОВ

Насчет выпить какой-нибудь вредной гадости внутрь, чем так озабочена вся наша многострадальная держава, — это меня уже никак не кольшет. Чего и вам желаю.

Могу, если желаете, поделиться секретами мастерства.

Берите бумагу, берите, если есть, карандаш и конспектируйте на доброе здоровье.

В нашем героическом деле — записали? — самое главное, чтобы вовремя шарахнула тебе по биографии какая-нибудь аховая, сногшибательная, нервно-психическая катаклизма. Весь секрет.

Что подразумевает в виду научный алкоголизм, говоря моими много испытанными устами о необходимости этой аховой, катушекшибательной, нервной и, желательно, психической?..

Конечно, не чертят на буфете, — это было бы, согласитесь, слишком уж просто и дешево. Конечно, не эту, порядком всем поднадоевшую беготню вашу по Грохольскому переулку с топориком в руках — в поисках то ли Луи де Фюнеса, то ли Сашки Гниды, замыливших полтора рубля сдачи... И даже не пальбу дробью №8 по серванту, полному хрусталя (это выглядит эффект-но, согласен, но отдает все-таки каким-то чересчур уж мальчишеским романтизмом)...

И даже не стаканчик дихлорэтана имеется в виду, который вы рассеянно пьете в потемках кухни, искренне принимая его за бокал столь желанной в третьем часу ночи тормозной жидкости, — в результате чего вместо милой, до каждого таракана на обоях знакомой страны кайфа оказываетесь почему-то в Склифе, где милые люди в окровавленных белых халатах, падая с ног от усталости, в течение многих дней, ночей, недель,

лет и даже веков борются за вашу жизнь, которая, если честно прикинуть на компьютере, не стоит даже и оклада каждого из этих веселых кудесников со скальпелем в изможденных руках...

Под катаклизмой, целительно-аховой, сногшибательно-нервно-психической, подразумевается в виду вот что: надо умудриться постараться что-нибудь такое уж учудить над собой по пьяному делу, что-нибудь такое, уж ни в какие ворота не влезающее, чтобы даже нашего кирзового брата пробрало аж до самых окаменелых печенок, чтобы таким уж стыдом, не побоюсь этого слова, — электрическим потрясло нас поутру, бедные кефирные мои братья, чтобы, задрожав как банный осенний лист на холодном рассвете от возмущения антиобщественным своим поведением, воскликнули мы наконец с гневом, печалью и восторгом:

**—ХВАТИТ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ БУТЫЛКИ!! ВРЕДНО!
ЗАВЯЗЫВАЮ!!**

Кто скажет, что это просто, пусть в того кинут камень. Это далеко не просто. Но большинство трудящихся масс, как нетрудно заметить, упирается именно в этом, перспективном направлении: каждый чудит как только может. В этом я вижу залог.

Причем замечаю: каждый бредет к своему триумфальному дню-икс исключительно по своим, личным буеракам жизни, и ни один мудрец никогда ничем не угадает, когда, как и где шархнет клиента по мозгам та целительная катаклизма.

Кто-то, я вижу, ставит под сомнение. Кто-то из маловеров и нытиков, замечаю, ухмыляется в пшеничные усы. Что ж... Я, конечно, привык, чтобы мне верили голословно, но в подобной атмосфере творческой неприязни, попреков и взаимной подозрительности вынужден прибегнуть к избитому приему. Тем более что это не составит труда, — мой товарный полувагон ярких примеров из жизни, будьте любезны, всегда на запасном пути!

Был, например, Фарафонов такой у нас, Леха. Истопник — золотые зубы.

Чего уж только утомленная общественность над ним не вытворяла! Как только не измывалась, чтобы сохранить для страны как ценный член! В какие только санатории-профилактории она его не сажала! Какой только гадостью его там не травила, чего только не вливала, чего не вшивала, чем только не опрыскивала!! Химической, прямо сказать, войной, нагло попи-

рая женевские договоренности, перли на Леху-бедолагу! Но ему — как полосатому жуку колорадскому — все было нипочем! А почему? А потому, что катаклизма в его биографии к тому времени еще не вовсе созрела.

А вот когда, наконец, созрела, вызрела, как хорошая лиловая грызь, — вот тогда-то в один неописуемо прекрасный день и проснулась вся прогрессивная общественность в ужасе от услышанного.

— Ахтунг! Ахтунг! Работают все радиостанции Советского Союза! Сегодня в 10 нуль-нуль по Фаренгейту на веки вечные ушел в завязку выдающийся деятель международного питейного движения, видный борец за алкогольные права и обязанности трудящихся, алконавт первого класса Леха Фарафонтов!

Ну, тут народ, конечно, в панику! «Как так? Не может быть! Может, просто провокация?»

«Да не-ет, просто опять повышение! Леха (!) завязал?! Не может быть, чтоб завязал! Может, просто помер — потому и завязал?..»

И чего колготиться было? И чего по магазинам шараться, спросонья да сдуру карбофос скупая? Катаклизма! Созрела, шаркнула, тут уж паникуй не паникуй. Тут уж один текст: «...навек останешься в наших сердцах!»

А произошло с Фарафоновым все очень просто.

Приполз он как-то домой по обыкновению. Лег, как всякий простой человек, на заслуженный отдых. И вдруг...

И вдруг просыпается, товарищи, в мистическом ужасе от того, что циничная жена-злодейка колотит его по больной голове собственноручным, если можно так выразиться, протезом его же правой ноги!

Леха, конечно — в жуткие матюги! Да разве такую бабу, как у него, словом устрашишь?

Леха, конечно, бежать! Борзей Борзова! Борзей, чем заяц от орла! Да только далеко ли, скажите, убежишь, коли нога-то у Лехи еще с детства одна-одинешенька?

И так ему, видать, это горько сделалось. И так уж, видать, незаслуженно-обидно стало — прыгать, как малолетке, на одной ножке под ударами взбесившейся катаклизмы-стервы! — что сжал Леха оставшиеся зубы, дождался, покуда устанет злодейка (женщины, они, вообще-то, — слабоватый пол), а на следующий день — бац! — и подал на развод!

Ну, развод, вы правы, это, конечно, ладно... Не в первый небось и не в третий раз. Да только не в разводе пустяковом дело! А в том, что со времен того протезного побоища Леха — я этому свидетель и эксперт — ну, ни синь-пороху!! То есть, поэтически выражаясь, ни капеллошечки! То есть, в натуре, ни граммулечки-миллиграммулечки! И все, между прочим, — только на сознательности организма. Безо всякой химии. Как трамваем человеку отрезало!

Вот, товарищи по борьбе, что означает в биографии судьбы хорошо созревшая, качественная катаклизма.

Вижу — хотите еще пример. Пожалуйста!

Был корешок у меня — Михайло П. Фамилию называть не буду, потому что сейчас народности пошли такие нервные, что чуть что — сразу в истерику! Почему, кричит, пьяницей не русского, как полагается, изображаешь, а нас — угнетенных и в прошлом отсталых, позавчера только шагнувших из мрака феодализма в светлое царство развитого социализма?! Я поэтому Мишку так и буду называть, — как в венерической брошюре: больной П., 30 лет.

Работал П. фотографом в КБО, на рынке. Интеллигенция, стало быть, был, но — довольно-таки гнилая. Вообще-то, говорят, ихняя нация не пьют, — в основном, ребята добрые, другим подливают, — но Мишка не в родню, видать, а из родни был: квасил.

И больше всего любил этот наш вечно больной П. на свадьбах работать. Дело, и ежу понятно, милое: нажми пару раз на пипочку, а потом знай — давай: «Здоровье молодых! Горько!»

Он к тому же такую рваную прорву знал анекдотов всяких, что на любой свадьбе через пару часов о женихах-невестах забывали. Собьются в кучу вокруг Миши П. и в рот ему зырят: чего еще отмочит? И чуть что, под стол — якобы от смеха — кувырк!

Но был он, Миша П., натура болезненно-тонкая — после семисот всегда начинал плакать. Сядет и начинает качаться, как Лобановский на скамейке запасных, и причитает, как акын без балалайки: «Ой, да загубил-да-я да жизнь свою! Ой, да один-да-я на белом свете сиротинушка! Ой, да ведь и я бы мог бы, как Митька Бальтерманец, да как Витька Колченогов! Ой, да не послушал я, зря, чему мамашка-папашка учили! Ой, да пошел-да-я, зря, у себя на поводу!»

И, когда он этак-то забывал-заливался, ясно становилось любому-всякому присутствующему, что зреют, вот-вот заколосятся в душе Михайлы П. какие-то далеко идущие, страшно катаклизменные противоречия. И вот они однажды действительно, созрели...

Как-то приволокли его домой после свадьбы дружки жениха, кинули в койку. Глаза, шутки ради, юбилейными рублями прикрыли. Стал Миша спать.

Спал спокойно. Ничего, кроме угрызений совести, во сне не видел. Однако вскорости, как это иногда случается в жизни, пробужден был малой нуждой. Дело это, конечно, медицинское — пришлось вставать, на крылечко выходить.

И вот, рассказывал он потом, стою я на крылечке. Луна светит, журчанье бахчисарайское, соловьи, благовонье дыханья сирени... Стоит он и думает: «Бедный, гнусный Михаил П.! Такая красота вокруг вземная, а ты предаешься, а ты злоупотребляешь по наклонной плоскости, а ты зарываешь в землю здоровье с талантом пополам! И не стыдно тебе, Михаил П.?»

И согласился он: стыдно! И возрыдал тут светлыми дистиллированными слезами и сказал себе твердо: «Сегодня у нас — что? Суббота? С понедельника — все! Начинаю принципиально новую жизнь!!» На том успокоился, порты застегнул, дверь на крючок запер, пошел досыпать.

Ну, насчет понедельника Миша П. это, как бы сказать... Нет, поймите правильно! — я по себе знаю и согласен: понедельник — он для того и понедельник, чтобы новую жизнь начинать! Кто ж спорит? Да только ведь еще шесть дней для чего-то человеку дадено, а для чего? А чтобы усомнился: а не погорячился ли ты, паря? а хорошо ли все взвесил? а не обвесил ли, случаем, себя и свое личное счастье?.. И вот тут простая арифметика приходит науке на помощь: шестеро всегда одного переборют.

Да и с понедельниками этими, по себе знаю, одна мутота! Зенки продерешь — башка трещит!!! Что же это за новая такая жизнь, думаешь, если начинать ее надо с больной головой? Минздрав-то и по больной головке не погладит — надо лечиться.

Ну и, понятное дело, лечишься как можешь, злоупотребляешь, потому что до добра самолечение никого еще не доводило.

Я это к тому говорю, что без катаклизмы — которая к тому

же уже заколосилась, как сказано, — вряд ли чего у Мишки П с новой жизнью получилось. Но, поскольку катаклизма была уже наготове, то он, не поверите с в о с к р е с е н ь я новую эру принял, не дожидаясь даже, как все нормальные люди, урочного дня.

Дал он, значит, страшную клятву на крыльце, дверь на крючок закрыл, отправился досыпать... А наутро — по всем законам нашего жанра — будят его страшными анафемскими воплями. Жена. И кричит она что-то несообразное, что спросонья кажется это Мише П. прямо-таки будто бы и в самом деле ужасным. «Ты что же это, паразит, — кричит жена, — в шифоньер напрудонил?! Шубу обдул, костюм испортил, лаковые сапожки прожег!!» И тут-то, в мгновение ока, как бенгальская свечка, начал гореть наш больной Миша П. от ужасающе горячего стыда! И горел он, горел, задышался от позора вонючего — без перерыва на обед до вечера — и напрочь сгорел! Обратился, можно сказать, в прах-пепел.

Но зато из пепла того, товарищи, возродился на свет Божий человек абсолютно новехонький, никогда еще не бывалый, никому из знакомых не знакомый, пугающе не пьющий! — человек в личной жизни железный феникс, а в работе — высокохудожник-моменталист такой тигровой деловой хватки, что теперь-то его иначе как по имени-отчеству и называть-то никто уже не хочет.

Вы, понятно, взволнованно ждете, когда я начну излагать обстоятельства моего больнично-личного дела. Извольте! Оно, возможно, и не такое уж выигрышно-эффектное, как описанное выше, но тоже довольно-таки кошмарное. Впрочем, судите сами, — как сказал, прикидываясь больным, один нарсудья, когда ему хотели всучить дело о преступной шайке замминистров.

Началось с того, что в один ничего не предвещавший день я решил купить себе новые колеса. Да-да, не больше, но и не меньше.

Это не было, упаси Бог, жестом какого-то безумного мотовства, нет! Это не было, как, может, кто-то подумал, и проявлением какого-нибудь обывательского мещанства, совершенно моей натуре не свойственного, — когда начинало хрустеть и брэнчать по карманам, я никогда не устремлялся в обувной отдел магазина, и это подтвердит вам каждый порядочный человек, который

прекрасно знал, где следует искать меня в дни получек, равно как и в дни, свободные от получек.

Купить новые колеса продиктовала мне осознанная грубая необходимость.

Вообще-то с виду ботинки мои выглядели вполне хорошо для своих лет, даже шнурки были, и никаких особых уж претензий я к ним не испытывал. Однако, когда выпал первый снег, люди стали обращать внимание, что следы, которые я оставляю, удивительно напоминают следы босого снежного человека из журнала «Юный натуралист». Это стало вызывать всякие ненужные взгляды, восклицания, глупые вопросы и пьяный смех, — а я этого не люблю, должен вам доложить, — и вот, чтобы положить конец всем кривотолкам, я и решил купить себе новые копыта.

Мне вот в чем не повезло: в тот день наша вконец, видать, проворовавшаяся торговая сеть ждала приплытия какой-то особо крупной рыбы-ревизор. Ну и, понятное дело, возводили соответствующие редуты... На заднем дворе магазина шустрил над мангалом Абдулла Алгебраидов, кулинар-наймит из кафе «Дубинушка» наискосок. Все продавщицы шеголяли в новых курчавеньких перманентах, в ресницах, были заметно свежевывмыты в бане и так обработаны духами, что даже октябренку было бы ясно: если нужно для любимого дела, то они — хоть сейчас — в койку!

Ну, а в торговом зале они устроили такое, что простой неискушенный русский покупатель-человек, когда заходил в магазин, сразу начинал чувствовать жуткую тревогу и предчувствие какой-то грандиозно-подлой провокации.

Жгучий дефицит — на любой, даже самый извращенный вкус! — навален был прямо-таки наплевательским навалом! Чего только не было... От рубероида до надувных бюстгальтеров с рабочим давлением 3 атмосферы, от белил и олифы до детской электронной игры «Спиноза» (Япония, 600 руб.), от румынских кальсон «Романтика» до абиссинских дубленок, от политуры всех вкусовых оттенков до книжки Ю. Семенова «Горение» и гвоздей 250 мм. Тушенка (!), подвесные моторы «Вихрь»(!), тринитротолуол (!), колготки Тушинской фабрики (!), сокопароварки «Колосс-мини» (!!!) — в нашем глухом самогонном краю они пользуются таким же спросом и являются предметом такой же редкой роскоши, как, без преувеличения, дрожжи, которые тоже,

кстати, в расфасовке по полпуда были разбросаны по прилавкам то там то сям... — все, одним словом, чего ни пожелала бы душа, если бы позволил карман, мог купить простой советский неискушенный человек, привелось ему зайти в тот тревожный день в наш районный центр внутренней и внешней торговли.

Я зашел и, хотя, конечно, тоже маленько потерял присутствие духа, но все же сумел, собрав всю свою волю в кулак, объяснить печальным продавщицам, чего мне от них надо, и уже через считанные мгновения ока оказался я восторженным владельцем непристойно-новых финских лаптей на меху, каковые, замечу, тотчас же, даже не выходя из магазина, принялся носить, совершенно еще не подозревая, друзья мои, к краю какой бездны безумия они приведут меня в конце концов.

Ну, а дальше этот широко разветвленный заговор развивался согласно сценария, утвержденного заокеанскими хозяевами.

Месяца через два за заметные успехи в мирном социалистическом соревновании — частично еще и потому, что в назидание многочисленным потомкам отпуск мне был перенесен с летнего времени на зимнее, — наградили меня горячей путевкой в город Ленина на невских берегах: дабы проникся я там, наконец, историко-революционным духом колыбели-музея, сделал далеко идущие выводы и перестал лихорадить производство своими антиобщественными поступками, позорящими орденосный коллектив.

Ехал я, конечно, как кум к королю. Ребята из общежития собрали меня во все новое, адресов-телефончиков надавали, чтоб в случае чего переспать, хрустов полны карманы натолкали... Хрюкнули мы посошок в дорожку высотой до небес, и вот, обсмеянный и оплаканный с ног до головы друзьями покойного, отправился я на свое первое в жизни туристско-экскурсионное дело.

Кривить не буду: туристская жизнь мне не понравилась. Ходи строем, шаг влево, шаг вправо — побег, посмотри туды, посмотри сюды... Не жизнь, а учебно-трудовой процесс.

Но полдня я протерпел честно. И только когда привезли нас в какой-то дворец и стали показывать, как несправедливо шикарно жили монархи-олигархи со своими продажными клевретками, — тут уж такая пролетарская обида меня обуяла, такое

классовое самосознание, что плюнул я на их хваленый паркет, повернулся и ушел! Сразу, понятно, заблудился, но все же напряг, по обыкновению, все силы воли и, натурально, очутился вскорости в тихом таком шалманчике, который назывался у них красиво, с ленинградской выдумкой «Рюмочная».

Нынешнее поколение завтрашних трезвенников, пожалуй, и не помнит уже о питейных заведениях иезуитского типа. Скажу коротко: для пушшего недолива водку здесь выдавали в наперстках, грамм по тридцать, плюс — для грабежа — хочешь не хочешь — бутерброд с котлетой.

Мне как человеку лесотундры zelo дивно было все это, но довольно скоро я, конечно, приспособился. Рюмки сливал в вазочку для салфеток и уж только потом, когда набиралось, нормальным, присущим человеку глотком квкаал.

С бутербродами, правда, сразу же образовался завал. Употреблять их внутрь даже мой, луженый изнутри, в заполярном исполнении желудок отказался. Шутки ради и от избытка досуга я бутерброды те только маленько надкусывал — чтобы потом можно было наглядно следить круговорот котлет в природе. (Ждать пришлось недолго: уже минут через пятнадцать первый бутерброд с моим характерным прикусом вернулся ко мне же на стол.)

А вообще-то, неплохо было: культурно, тихо, жаль только, что все время на ногах.

Потом им, видать, моя рожа надоела. Они намекнули, что я чересчур уж перекрыл лимит потребления на ихнюю душу населения. Я им в ответ, конечно, тоже намекнул, что я их в грубу видал. И, в общем-то, оказался прав я, потому что вышел я от них на улицу, а в соседнем переулке, гляжу — точно такой же шалман! Только называется по-новому, но тоже с ленинградской выдумкой: «Бутербродная».

Когда и в «Бутербродной» с лимитами стало худо, неподалеку, по мании Петра, появилась «Котлетная».

Постоял я там, вышел, а тут — опять «Рюмочная»!

Я захожу. Они интеллигентно делают вид, что рожу мою видят впервые, я тоже изобразил из себя туриста, ну и пошло-поехало...

Вы, конечно, догадались: попал я в классический треугольник, не уступающий Бермудскому, быть может, даже превосхо-

дящий его, потому что оттуда кое-какие корабли кое-как иногда еще выкарабкиваются, а отсюда, из этого треугольника, шансов благополучно выплыть не было никаких, будь ты хоть океанский танкер водоизмещением тысяча тонн спирта-сырца.

Неплохо помню, что перед тем, как отключили светильник разума, шарахались мы по этому маршруту уже вдвоем — с каким-то веселым мужиком, судя по всему, шпионом. Он был, бедолага, тоже до того уж славен и хорош, что по-русски говорил только: «Гут!» и, чуть что, ржал как лошадь. Я ему отвечал, понятно, тоже иностранно, чтоб было понятней: «Якши! Хинди-рус! бхай, бхай! Прорвемся! Не трухай!»

И мы, товарищи, на удивление хорошо понимали друг друга, потому что, правильно говорят, дружба не знает границ, и всегда простой человек доброй воли поймет другого простого человека доброй воли безо всякого на то языка.

Ну, а потом — пал на землю мрак алкоголизма!

Стало темно, как у негра за пазухой. Стало скучно и нехорошо, как в понедельник поутру в холодном КПЗ.

Затем, согласно законам природы, которые никто не отменял, смотрю, начинает полегоньку светать в голове... и тут — обнаруживаю я себя — матушка родная Агафья Ивановна! — з а р у б е ж о м!

На иностранной какой-то скамеечке сижу, на заграничном каком-то скверике, в окружении — его ни с чем не перепутаешь! — мира капитала и присущих ему противоречий.

Тут я говорю себе, мужественно сжав зубы:

— Спокуха! За нами, наверняка, следят. Главное — абсолютная спокуха на лице!.. Не дергайся. Постарайся незаметно для постороннего взгляда напрячь свою энциклопедическую память и вспомнить, что такого, паразит, ты сумел натворить за время отключки, если даже твоя терпеливая Родина вышвырнула тебя за свои пределы как глубоко противный и чуждый элемент!

Напрягаюсь, сохраняя внешнее обладание, но — хоть ты меня вниз головой закапывай! — ничего не вспоминаю! Мрак и ужас.

Может, думаю, похитили меня?

А что? — с целью внедрить меня в какой-нибудь завод-конкурент, имея в виду полный развал его производственной дисциплины и экономики? Да только, думаю, вряд ли. Вряд ли так уж далеко за пределы шагнула моя скромная известность.

Далее — более. Сююсь я по застарелой утрешней привычке в карман произвести ревизию капиталов и вдруг слышу, волосы у меня кучерявиться начинают: деньги!! в иностранной валюте!!!

Тут меня как колокольной по башке вдарили: «Завербовали, падлы!»

Я чуть со скамейки от огорчения не упал. «Допился, сучий сын! Мало того, что мать родную, авторитет среди коллектива и семейное благополучие пропил, теперь уже и до Родины добрался!»

Все-таки через пару минут сомнений и мучительных анализов даю обратный ход: «Не мог я, хоть стреляйте-расстреливайте, даже по самому пьяному-распьяному делу родимую Родину продать за тридцать с чем-то серебряников в неизвестной мне валюте! А откуда же деньги?»

Здесь-то уж — коли до таких обвинений дело дошло! — напряг я свою феноменальную из последних силенок, чуть из дресен не выскакиваю, и вижу, проясняется кое-что...

Сначала — откуда взялась фанера? Объясню так: когда мы с тем шпионом-экскурсантом в Бермудском треугольнике шарачались, кто ставил? Понятное дело, я. Как русский человек, к тому же в отпуске. А он, видать, боялся в долги залезть и потому втихаря денежки свои мне в карман сувал. То-то помню, пару раз я удивлялся, когда его руку в своем кармане находил.

Ну, ладно. Про деньги вспомнил — уже легче. Не продавал Родину.

Снял шапку, чтоб холодный пот утереть, а шапка-то на мне — не моя! Шапка-то на мне — от того туриста-диверсанта! Тут уж я окончательно почти все припомнил.

И как ходили мы в обнимку, и как шапками раз десять махались в знак вечной дружбы и мира между народами, как рядышком на тротуаре сидели, я ему «Сегодня мы не на параде...» пел, а он слезами умывался. Помню, я его в гости зазывал. А чтобы его именно в наш район забросили, обещал методом народной стройки взлетно-посадочную полосу в тайге раскорчевать и сигнальные костры выложить. Потом, вспоминая, друженько кемарили мы под стеночкой, а я все, дурак, удивлялся, чего это нас чумовоз не подметает — сидим-то, считай, на самой главной улице, в виде, считай, оскорбляющем достоинство советских прохожих.

Вот так, на ошупь, впотьмах, с героическим трудом удалось

мне в конце концов воссоздать картину гнусного падения моего необузданного нрава, в результате чего я и оказался — и поделом! — на чужбине, вдали от всего того, что было мне дорого, что объединяло и наполняло меня законной гордостью.

Вы, надеюсь, тоже врубились и тоже догадались, к каким недостойным методам прибегает иной раз фортуна-индейка, дабы научить уму-разуму нашего ничтожного брата? Аль нет?

Сидели мы с моим северным соседом, как я теперь понимаю, не просто на углу, скажем, Невского и Садовой, а в одной из тех географических, «Интуристом» у милиции откупленных точек координат, куда после культурной программы должны организовано и дисциплинированно сползаться и тихо лежать там в ожидании автобуса на родину все эти запойные любители расстрельной архитектуры, кировских балетов и зимних дворцов... Дело в том, что у них там с э т и м — страшный лимит. Вроде как у нас с колбасой в некоторых, отдельно взятых регионах. И вот, точно так же, как в конце недели прут наперегонки в Москву или Питер псковские, ивановские автобусы-туристы, точно так же и наши северные сопредельники к вечеру пятницы начинают испытывать жуткую нехватку в душе чего-то такого, чего у них по талонам, а чего в Ленинграде — езды-то, Господи, три часа! — море разливанное.

Как они умудрились меня — это меня-то!! — за своего принять — уму непостижимо. Здесь только одно объяснение: та похоронная команда, которая у них сбором членов занималась, тоже, думаю, не из диабетиков была составлена, им тоже, видать, не только по усам текло...

Да ведь и то сказать, ботинки на мне были неподдельно финские, в шмотки меня ребятишки из общежития обрядили тоже небось заграничные, шапка — чужая. Мудрено ли перепутать?

Рожа, конечно, из ансамбля выбивалась, мне кажется. Да ведь после полутора-то литров на любую рожу такая тень интернационализма ложится, что, будь я и негром преклонных годов, и то сошел бы за белокурого какого-нибудь бестию.

Как за руки за ноги в автобус затаскивали, помню. Как ехали, помню смутно. Вспоминаю только, что не шибко удобно было лежать головой на полу, а ногами — на спинке кресла, и очень,

помню, не нравился мне типок, который крест-накрест на мне отдыхал и все ногами сучил во сне, должно быть, Кировский балет вспоминал.

А на КПП — дело ночное — пересчитали нас во тьме по ногам да головам — меня-то наверняка по ногам, — с числом паспортов сверили, штемпелечки поставили и...

...и вот вам — результат: сижу на чужбине, на враждебном мне бульваре, на глубоко чуждой мне скамеечке!!

И только тут понял я, товарищи, что влип, как муха в повидло!

Огляделся я еще разочек, и так уж мне все это не понравилось, что, ей-богу, чуть не взвыл!

Чисто, конечно, опрятно, ничего не скажешь, но — душе все равно противно! Воняет чем-то, не скажу, что плохо, но не по-нашему! Надписи все сплошь — иностранные. Номерные знаки — чужие. На всех магазинах — будто вот-вот война начнется — железные занавески. А возле дверей — в расчете на дураков вроде меня — ящики с молоком, безо всякой якобы охраны...

Попить захотелось — так, не поверите, ихние автоматы нашу мелочь принимать отказываются!

И темно у них там почему-то, гораздо темнее, чем у нас. И ветер с воды — какой-то чересчур уж ядовитый, насквозь пробирает.

Встал я, иду потихонечку. Не сидеть же сиднем всю оставшуюся жизнь. И осмотреться надо, да и на работу куда-нибудь определиться...

На первое время я решил глухонемым полудурком прикинуться, авось сойдет.

Насчет пропасть — это я, конечно, не боялся. Руки-ноги еще при мне, а специальностей у меня, как у Леонардо ихнего да Винчи, — штук шесть или даже восемь.

Потогонная, правда, система у них, сказывали... Ну, да ведь и мы в лагерях не пионерских воспитывались! — одолеем. В случае чего, забастовку объявлю.

И все-таки тошно мне, братцы, было — врагу не пожелаю!

Иду я по каменным этим джунглям. Ни душонки вокруг, ни шевеления.

И вдруг — матушка родная! — надпись нашими буквами!!

Представительство какое-то.

Я — бегом! Жму на звонок. Смеюсь, как дурачок! Хоть на своих, думаю, посмотрю, и то легче будет! Да и не дадут, православные, пропасть!

Мужик открывает. Глаза спросонья не вовсе еще продрал. Но по овалу лица вижу: наш! У меня от радости что-то с языком сделалось: слова друг друга отпихивают, наперегонки выскакивают.

Он глазами хлопает, ничего не понимает. А что уж тут особенного понять! Невмоготу мне на чужбине! Домой хочу! Всей жизнью испулю!

Слушал он меня, слушал. Наконец понял, зевнул и говорит:

— Ступай, ступай, белогвардейская морда! Раньше надо было думать... — и дверь у меня перед носом — бац! — и захлопнул.

От такого формализма ножки у меня окончательно ослабели. Сел я на каких-то ступеньках неподалеку и — вконец заскучал.

Вот тут-то — от конца возвращаясь к началу — и подкралась ко мне моя персональная катаклизма.

Сижу я, это, тоскую, прямо криком про себя кричу — до того уж мне домой, на родимую Родину охота! И думаю я о ней, сам себе удивляюсь, но как будто бы — о матери думаю.

Паскудник позорный, думаю, что же ты делаешь с ней? Как же ты только не издеваешься, как же только не измываешься?! А она — терпеливая, несчастная, бедная — все прощает тебе, все прощает, все ждет, когда же ты одумаешься. Да и ты ли один? Совсем ведь уже охренели! Рвем, гадим, плюем, тащим — не дети родные, а мародеры в родной земле! Будто это она, а не мы сами виноваты, что до такой собачьей жизни дожились! Совсем уж на себя рукой махнули! Как живешь-то, вспомни! Нечего ведь вспомнить: от бутылки к бутылке, от стакана к стакану. Ну-у, нет! Если повезет вернуться домой — а вернусь! доползу! на карачках границу нарушу! — если повезет и вернусь, все! Завязываю! Хватит! Поиздевались надо мной!

...И только дал я себе этот страшенный зарок, вижу — как в сказке — разворачивается по площади «КамАЗ» — фургон «Совтрансавто»!

Вы когда-нибудь видали грузинский ансамбль плясок и песен? Так вот, к фургону я вылетел пошустрее, чем ихний танцор-солист! Полплощади на коленках пролетел, брюки насквозь об брусчатку прожег, под самыми колесами затормозил.

Хрен с ним, думаю, пусть давит! Под своим, под отечественным успокоюсь!

Ну, тут, конечно, водила с монтировкой в руках вылетает И давай он меня словесно ласкать-полоскать!

А я на коленях перед ним стою и, ей-богу, как к кислородной подушке устами приник! Только тот, братцы, кто мыкался, как я, на чужбине, поймет: ничего не может быть лучше родного языка в чуждальной стороне!

Потом он одним, очень уж метким, словом в какое-то чувствительное место мне угодил. Я, понятно, не выдержал и тоже ему, всером от живота, ответил.

Он варезку разинул, утих, а потом говорит:

— Годится! Ты чего тут, корешок, болтаешься?

Да вот, объясняю, спяну заехал, а куда, и сам не знаю. Довези до России, будь человеком! Заплачу — хоть нашими, хоть ихними!

— Не-е,— говорит,— не положено. Ты, как я понимаю, или шпион, или по контрабанде. А нам — не положено.

Но тут, на мое счастье, напарник его проснулся. Тот оказался — человек.

Поехали, говорит. Я верю: от тебя нашенским перегаром несет. В случае чего, на КПП разберутся. Ежели шпион, расстреляют, если честный — вечная каторга с подселением. Вообще-то, говорит, такое происшествие очень даже возможно. Пограничникам, что нашим, что ихним, на этих заблеванных алкашей-туристов смотреть уже с души воротит. Вполне, что и допустили просмотр.

И — поехали мы!

Дал мне этот напарник из своих запасов банку пива в лечебных целях, бутерброд с колбасой. Я ем бутерброд, а колбаска-то — нашенская! С крахмальцем, с наполнителем, с оптимально-минимальным содержанием фарша! И ослабел я тут, товарищи! И заревел, как мальчишка, и все повторяю — будто заклинило: «Все, мужики! Вот это пиво — последнее! Все — мужики!» — и плачу, как в кино, сопли размазываю. Вон как меня катаклизма шарахнула, а вы говорите...

Ну а на КПП все было без всякого бюрократизма.

Там — с нашей стороны — мой шпион-корешок уже часа два как об шлагбаум колотился. И все пограничники чесали в своих

зеленых фуражках, как же так получилось, что по поголовью туристов — ажур, а по факту — один лишний на нашей стороне болтается.

Так что, когда меня подвезли и все выяснилось, очень все этому обрадовались, и меня чуть ли не целовать были готовы.

Торжественного, правда, митинга никакого не было, врать не буду. «Быстро-быстро! — говорят. — Чехи в свои пределы! Пока начальство не прочухалось!»

Выпихнули за загородку, а с той стороны, смотрю, и моего товарища по закадычной диверсионной работе выпускают. И точно, как в фильме «Мертвый сезон», идем мы навстречу друг другу. Он, конечно, ржет, как лошадь, орет: «Гут!» Я на него тоже особого зла не держу. «Бхай, бхай! — отвечаю. — Я же говорил: прорвемся, не трухай!»

Хотел я было свою шапку с него получить, но он не отдал. В знак, говорит, мира и вечной дружбы между планетами. Я думаю, пусть. На том и расстались.

И вот с тех самых пор, друзья мои, насчет выпить какой-нибудь вредной гадости внутрь, чем так озабочена нынче наша великая держава, — меня уже не кольшет. Чего и вам желаю.

Я теперь все больше по лекционно-пропагандному делу. По всей области — нарасхват. У меня две коронки: «Как я дожилась до жизни такой» — это первая лекция, а вторая: «Хельсинки — город контрастов». Будете в наших краях — заходите посетить. Я вам еще и не такое совру.

ЛЁНЬКА АБРААМОВ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ ДУРАКОВ

Люди, должен вам доложить, эти факторы человеческие, хоть газеты, казалось бы, и читают, хоть в телевизоры с утра до вечера и смотрят, но не перестают иной раз озадачивать.

Наука вроде бы уже окончательно с ними разобралась. Нуклеиновая там какая-нибудь кислота... белок, желток, спирохеты-хромосомы... Если душу взять, то — материальное стимулирование, корка с подкоркой. В общем, все распознали! До последнего, кажись, сопротивленьца изучили! По нотам жизнь каждого паршивого паршивца расписали! А он, человек то есть, в смысле фактор, смотришь, опять гемоглобину какого-нибудь нажрется и чего-нибудь такое отчебучит! — хоть стой, хоть с трибуны падай, хоть караул кричи, хоть на пенсию уползай по состоянию здоровья!

Вам, понятное дело, тут же хочется яркого, конкретного примера из нашей быстротекущей обетованной жизни — будьте любезны!

...Однажды, на заре весьма туманной юности жил я в городишке поселкового типа Митреевка. Одновременно и, даже можно сказать, параллельно со мной жил там — через два дома — один дурак. Не в переносном смысле — дурак, а самый неподдельный, чистопородный дурак-дурачина по фамилии Ленька Абраамов. Он даже и внешним обликом внушал: смотрите, дескать, какой я глупый! Глазенки, и правда, были у него какие-то недоделанные — вроде стеклянных пуговок. Рот почему-то не закрывался. И вообще весь он был — задница толстая, головка небольшая — точь-в-точь императорский пингвин из «Мира животных»

Работал он баянистом при Доме культуры. Вот я на него клеветчу: дурак, дескать, дурак. А какой же он, вообще-то говоря, дурак, если он чуть ли не с детского сада так на гармошке пилил, что дай Бог каждому? Хоть полонез Огинского, хоть чардаш-монти — и все на ощупь, с закрытыми даже глазами!

В Митреевке — не шути, брат! — была музыкальная школа. Так они на Леньку, когда он еще маленький был, облавы, ей-богу, устраивали, чтобы охватить музыкальным образованием. Поймают и на руках целыми днями носят... В школе надо крышу крыть, протекает, а они вместо этого баян с десятью регистрами специально для Ленечки покупают. Он им в области все призы завоевывал, не вру. Но, правда, когда время подошло, ни малейшего диплома они ему не выдали, как уж ни старались. Справочку там какую-то выписали. Он, дело в том, что по всем предметам, кроме гармошки, был, как говорится, ни в зуб ногой! То есть — полный аут! Ну, может, ноты он у них выучил, не знаю, но не больше.

Не-ет, вссобщее, вообще-то, среднее — классов шесть — он, конечно, закончил. Это не беспокойтесь. Мог бы и не шесть, а двадцать шесть кончить, но аккуратно к тому классу у него померла маманя. Она в булочной работала — врубается? Время трудное, пайки учительские — известно какие, Леня, конечно, мальчик трудный, но зато маманя у Лени на хлеборезке стоит. С такой маманей он и до члена-корреспондента мог бы спокойненько доучиться, ан не получилось — мамка померла, и Леньку из шестого класса сразу же поперли: ему уже лет семнадцать было, и он на учительниц своими усами плохо, говорят очень влиял.

Ну, короче, кончил он среднее образование, тут его и баянистом в Дом культуры взяли. При самодеятельности, при танцорках — плохо ли подростку-переростку? Они, танцорки те, целыми вечерами возле него подолами веют, Леньку не стесняются, переодеваются прямо за кулисами, а он только шибче на клавиши жмет да веселее варезжку разсвает.

Но и девчонки, чего уж кривить, вниманием его не обделяли. В автобусе после выступления в каком-нибудь колхозе едут, глядишь, то одна, то другая — на плечике Ленином дремлет. Дело, конечно, понятное. Он, всем известно, может, и дурак-дураком, но у него от матери и дом остался, и обстановка, и швейная

машина, и огорода двенадцать соток, худо ли?

Только, по-моему, Леньку баловство это — в смысле продолжения рода — не очень-то интересовало. Он, по-моему, даже и не женился, кажется, ни разу.

Отыграет в своем Доме культуры, придет домой, сядет у окошка, как бабулька старая, и — глядит! Окна у него на запад, вот он сидит и на закат любуется.

А закаты в тех краях, должен вам доложить, совершенно ненормальные! Особенно летом. Коров прогонят... пыль висит... духотища... сортиры воняют. И тут же — вполнеба! — такую вдруг дикообразную красотищу намалюют — хоть плачь от восторга, хоть надирайся от скуки!

Что уж там Ленька в тех закатах наблюдал? что ему там воображалось? — все ж таки артист, не хрен собачий... — не знаю. Но только, не вру, сидел он возле окошка и глядел туда все свое личное свободное время.

Я в тех местах кое-как до армии дожил, ну а потом стало меня шархать по всей нашей необозримой географической карте! И в Калмыкии-то я был, и в Коми-стране лесоповалом не по своей воле увлекался, и на целине, Кокчетавская область, отметился, и по Восточным Саянам с геологами лазил, и пивом в городе Геническе торговал, и шахматный кружок в кологривском Доме пионера вел, и под Нефтеюганском тундру дырявил... — я вообще-то могу до вечера перечислять, у меня в трудовой книжке уже второй вкладыш кончается.

Короче, через сколько-то времени приезжаю я в Митревку погостить, шагаю с аккредитивчиком в сберкассу, гляжу: напротив — в окошке — Ленька Абраамов!

Дом от заката — розовый. Рожа у Леньки от заката — розовая. И непроходимое счастье, и непролазное удовольствие — на роже этой!

Меня даже восторг пробрал. Будто и не уезжал я никуда! Во, думаю, человек на своем месте!

Я там, понимаете ли, уродовался, живота не жалеючи. Народное хозяйство не знаю куда подымал! Бешеные тыщи зарабатывал! Кровь на опохмелку сдавал! Меня ухтинская шпана на ножи брала (спасибо Матушкину Никите Алексеевичу, вызволил)! Я в тундре олений язык сырьем жрал и горячей кровью из поллитровой банки запивал! Я в Петергофе лифчиком одной

артистки воду из фонтана пил! Я, может, одного одеколону «Фиалка» ящиков сто в свою утробу угробил! Из-за меня, может, бортпроводница Лилька с Ямало-Ненецкого авиаотряда уксусной эссенцией травилась! Я одних басмачей на «Узбекфильме» целую банду сыграл!! А он — как уселся черт-те сколько лет назад, — так и сидит. И на закат глядит. Ну не дурак ли?

Не удержался я, подошел, побеседовал с этим чудом митреевской породы. Он меня, правда, не вспомнил. Но про себя все свои секреты выложил: работает все там же, в Доме культуры, баянист при ансамбле. И не скушно, спрашиваю. Не-е, говорит, хорошо.

А может, и в самом деле — хорошо? Рублей семьдесят каждый месяц ему отстегивают, девчоночки, что ни год, порхают вокруг новехонькие — живи не хочу!

Плюс, не забывайте, по вечерам — совершенно бесплатно — митреевские страхолюдные закаты...

Ну а через месяц, что ли, учудил Леничка Абрамов ту свою забавную штуку. Очень и очень, на многие годы вперед, разволновал митреевское народонаселение.

Дело было так. Как-то утречком, аккуратно после выходного, приходит всем митреевцам известная тетя Липа на работу. Она — завсберкассой была.

Снимает тетя Липа все хитрые свои печати, опирает все свои сверхсекретные амбарные замки, заходит — ну и тут же, возле порожка тихонечко садится отдыхать. Ножки у нее, видите ли, отнялись.

Шепчет она тут караул, шепчет она тут спасите, и совершенно правильно, по инструкции шепчет, потому что за время выходного дня сберкассе ее драгоценную, оказывается, грабанули!

Да ведь не как-нибудь по нахалке, а интеллигентнейшим образом ломанули! Как в Чикаго каком-нибудь или даже Сингапуре, Господи, пронеси...

Прибегает тут народ, смотрит, и восхищается работой неизвестных мастеров: половицы посередке зала аккуратно выпилены, поддыркой — подземный ход, и через подземный тот проход (как нетрудно даже честному человеку догадаться) и увели грабители-злодеи несметное количество митреевских трудовых

миллионов! Ну, может быть, не миллионов, ну, может, тысяч... Это не важно, сколько увели, важен возмутительный факт и попустительство. Тем более, что очень скоро миллиарды эти в полной целости все равно обнаружались.

Ну, конечно, звонят в милицию. Ну, конечно, тревога!

Ну, подлетает, конечно, на бронированном газики доблестный наш лейтенант Девяткин, выхватывает «макарова», палит в потолок, орет старшине Очкасову: «В случае чего — прикрой!» — (надо так понимать, что — простынкой прикрой, когда бандитские пули изрешетят его насквозь), мужественно улыбается Наде-кассирше: «Жди меня, Надюся, и я вернусь!» (они потом, шутки шутками, даже и поженились на этой почве, Девяткин с Надькой...) и — ныряет наш бедный отважный лейтенант в тот жуткий подземный ход!

И — с концами!

Ждут его, ждут, переживают, волнуются. Надя-кассирша уже потихоньку рыдает, на Очкасова, как солдат на вошь, глядит. А Очкасов не дурак: «Без приказа не могу!» — и точка.

И вдруг с улицы, все слышат, гремит бравый Девяткин драматический тенор:

— Очкасов! Ко мне!

Глядят, а Девяткин — в Ленькином окошке!

Ну, вы поняли? Это Ленька-дурак-Абраамов из своего подпола проделал подземный ход в сберкассе.

Вы, конечно, читали роман «Граф Монте-Кристо»? Вы, конечно, смотрели кино «Сладкое слово «свобода»?.. Так вот, не обижайтесь, все те подземные ходы — жалкие детские игры в детсадовской песочнице! Клянусь сберкнижкой, как говорит мой кореш, и тремя рублями, которые там лежат.

Мы, ясное дело, потом лазали туда. Вся Митреевка там, можно сказать, перебивала. Впечатления — исключительные! Лучший в мире метрополитен имени Кагановича! Сухо... Вентиляция жужжит. Лампочки на потолке горят. А стенки — митреевцы не дадут соврать — кафелью обделаны.

Тут, натурально, объявляют всесоюзный розыск на Леньку.

Поднимаются в воздух боевые вертолеты. На погранзаставах — жуткая тревога номер один! В считанные секунды блокированы все международные порты, включая митреевскую автостанцию. На всякий случай и в Ленькином огороде оставляют засаду —

роту пулеметчиков.

А в Доме культуры тем временем кончается репетиция, и после репетиции той Ленька Абраамов в засаду, ему предназначенную, преспокойненько заходит!

— Где деньги? — подсказывает к нему, как коршун, Девяткин, револьвером пугает. — Отдавай деньги!

— На, — очень удивляется Ленька и рупь двадцать из кармана вынает. Тут Девяткин чуть совсем уж из себя не выпрыгивает от такой циничной наглости.

— Подземный ход ты вырыл?

— Я вырыл.

— Так где деньги?

— Какие деньги?

— А такие, змей, которые ты из сберкассы увел!

— А-а... — скучно говорит тут Леня и показывает под кровать.

Лезут под кровать, а там — все до копейки — сберегательные денежки — в мешке.

Тут даже Девяткин ошалел, даром, что пол-Митреевки посажал и отличник боевой и политической подготовки. Ты, говорит, дурак? «Не-е», — отвечает Ленька и улыбается, как один только он умел улыбаться.

Садится у окошка — время аккурат закатное — и все оглядывается на народ, который в избе толчется. Дескать, когда вы отвалите отседова, смотреть мешаете.♦

Ну, конечно, повязали тут Леничку, свезли в гнусное узилище, на нары бросили. Решили образцово-показательный суд над ним устроить, чтобы другим митреевцам неповадно было заниматься преступным метрополитеном.

Самых свирепых прокуроров пригласили, лучших свидетелей выписали, бригаду плотников пригнали — эшафот смастерить. Тут и пьяному ежу стало бы понятно: влупят Леньке-бедолаге по всей строгости революционных законов!

И только ему, пентюху, вся эта заваруха — как до задницы дверца! Над ним будто и не каплет. Глядит себе в окошко — благо, что окошки в митреевском КПЗ тоже на запад обращены, — и улыбается.

Ну, сжалились над ним соседи по нарам. Научили, как жить. Ты; говорят, дурак всенародно признанный, так и пользуйся этим!..

И вот однажды смотрит караульный начальник, а Ленька как

с утра на одну ногу встал, так на ней и стоит. Эта штука караульному хорошо известная. «Ты, я так понимаю, чайка?» — спрашивает.

«Так точно! — радостно улыбается Ленька. — Чайка!» — и стоит.

И простоял он этой одноногой чайкой, не поверите, полтора года! (Только почему же это «не поверите?» Я одного паренька знал, так он три года наперекор медицине под себя по ночам мочился — из одного только гордого принципа.)

Стали тут Абрамова Леню всесторонне изучать и анализировать: чайка он все-таки или не чайка? И в Тулу возили — в психиатричку, и в Москву — в Сербскую экспертизу. А Ленька на своем, — вернее, на своей одной, — как встал, так и стоит: «Чайка!» Ну что ты с таким дураком поделаешь?

Он бы и до сих пор стоял — человек непокоренный, с большой буквы «Ч»! Ему — что возле окошка сидеть, на закаты глядеть, что на одной ножке посреди Сибири стоять, — все одно-едино! Сто лет надо? Сто лет бы простоял!

Но не получилось у Ленички «сто лет». Произошло у него досаднейшее недоразумение с нервно-психическими массажи Петелинской спецколонии, куда его в конце концов определили, и — все насмарку пошло!

Петелинская (кто, может, и не знает) — это такая больница — не больница, тюрьма — не тюрьма. Дурдом, в общем, с тюремным уклоном в санаторное обслуживание.

Вот уж где, кажется, началось для Леньки светлое будущее! Паяк — госпитальный, 70 коп. в день, жри от пуза! Народ кругом — смирный, интеллигентный: бухгалтера, растлители, изобретатели. Днем — процедуры, свежий воздух, полезный труд в огороде. Вечерочком — картишки, лото, домино, даже, не поверите, телевизор! Сиди, в общем, не хочу.

И так бы ему и сиделось там до самого победного конца, да оказался на Ленькину беду в том крепком коллективе умственно отсталых один жутко нездоровый элемент — директор дэза. Ему все больше чуждое проникновение чудилось и вселенский подкуп. И вот однажды, когда Леньку повели в карцер на лечебную профилактику, собрал тот нездоровый домоуправ кворум и повел речь.

Психи, говорит. Мы — все психи, и потому, как у настоящих психов, у нас бывают минуты просветления. А вот у Абрамова

таких просветлений нет, и это не может не вызывать. Как встал он год назад на одну ногу, как объявил себя чайкой, занесенной в Красную книгу, так и стоит... Он к нам, товарищи, внедрен и подослан! Это я вам авторитетно говорю, как бывший директор дэза! Телевизор у нас перегорел? Перегорел. На огород (якобы из-за дождей) вторую неделю не выпускают? Не выпускают! Нянечку нашу любимую, тетю Тасю, на курсы якобы повышения сослали? Сослали! Это все его, Абраамовых рук дело! Поэтому предлагаю...

Короче! Через сколько-то времени, ближе к вечеру, слышат вдруг санитары дикий вопль из красного уголка. Прибегают и с удивлением видят: висит посреди потолка на старом крюке от люстры Ленька Абраамов, завязан в узел из скатерти. И орет он, товарищи, таким страшным матом, что даже санитары удивились.

«Сьмите! — орет. — Не чайка я! Леня я, Абраамов! Только переведите, ради Христа, к нормальным людям!»

Кто бывал в Петелинской колонии, тот не даст соврать: потолки там высотой метра четыре, не меньше. Как умудрились психи Леничку на тот крюк приспособить — это один только доктор Ганнушкин мог бы объяснить. Но даже и это не важно. Важно то, что раскололся Леня, как гнилой орешек, признался: не чайка он, и не занесен он в Красную книгу дураков, вранье все это и злобная симуляция.

И перевели тут, конечно, Леню Абраамова к нормальным людям, с нормальным сроком, в нормальный лагерь. И с тех пор его никто вроде и не встречал никогда...

Вот такая история про Леньку-дурака-Абраамова.

Не знаю, как в вас, а в меня такие истории вселяют большой морально-исторический оптимизм. Жив Человек! И еще довольно большая в нем буква «Ч» оказывается! Казалось бы, что ему? — вникай в газеты, хлебай телевизор с утра до вечера, да знай шагай стройной шеренгой в уготованный лучшими, мудрейшими специалистами храм светлого хозрасчета и разумного гармонизма личности, ан нет! Чего-то ему, неблагодарному фактору, другого хочется. О чем-то — черт-те ведь о чем! — о с в о е м думает, рожу глупую на закат обратив! А потом, глядишь, чего-нибудь такое отчебучит! — хоть стой, хоть с трибуны падай, хоть на пенсню уползай по состоянию здоровья.

ЧУДО В КЕМПЕНДЯЕ

В редкую минуту досуга — если к тому же и планетарий на ремонте — люблю я разводить гнилую философию на мелких местах.

Размышлять, проще говоря, люблю: о женщинах, к примеру, в смысле о бабах, как жутких ингредиентов окружающей среды, вообще о жизни — как форме существования белковых тел. И, должен вам доложить, глубочайшие мысли иной раз попадают!

Вот, например, не так уж давно, с отвращением почитывая жизнь свою и близлежащих ко мне братьев по разуму, пришел я вдруг к выводу, который, как дважды два, как корень квадратный из шестнадцати, вызовет жуткие на меня нападки со всех и всяческих сторон.

«Ч т о-т о т а м е с т ь!» — вот к какому пришел я выводу.

«Т а м» — это, как бы сказать, наверху. На небесах, грубо говоря.

«Ч т о-т о» — ну, это, фигурально выражаясь, Справедливость, например, если не сказать больше.

Оно, конечно, — кто ж спорит? — чаще всего дрыхнет она там, Справедливость наша, на пуховых своих небесах в три смены. Но — бывает ведь! — и просыпается!

Проснется, продерет, по-научному говоря, вежды, посмотрит вниз: «Ма-ать честная! Чё творят-то?!» — и бац, кого-нибудь, глядишь, и покарала.

А потом, конечно, снова — на бочок и молчок! — до следующей побудки.

Вот вам, пожалуйста, яркочасочный этому пример, и вы, если не до конца дурак, поймете совершенно доступно, как апельсин, что я опять не вру.

...Когда несколько лет назад я с прямой кишкой лежал в

нейрохирургии Кемпендйской межрайонной больницы, в одном со мной коридорчике доходил прекраснейшей души язвенник по фамилии, а может и по кличке, Хлебосол.

Мы с ним отлично лежали — не то, чтоб в самом коридоре, на проходе, как большинство выздоравливающих умирающих, а вроде бы в уютном таком закуточке, аккуратно возле сортира и чуланчика с грязным бельем. Из чуланчика — ход на улицу, никогда не закрывается, так что, будьте любезны! — хочешь в магазин, хочешь в кино! Но — в кино мы не ходили, врать не буду. Разве что в магазин сбегашь, да и то пару раз в день, не больше.

Мы там с ним по месяцу отлежали, точно. Никто нас не тревожил. Как в санатории. Даже доктора. У них там в то время стихийное бедствие какое-то приключилось — то ли отравление, то ли эпидемия, то ли канализацию прорвало... — и, как сказал бы писатель Л. Толстой, все перепуталось в доме Яблонских. Больных рассовали кого куда, а кого, а куда, а у кого чего болит — капитально перезабыли. Даже меня, с моим исключительно дворянским заболеванием, они все норовили от столбняка вылечить: каждое утро с клизьмами подкатывались. Ну, конечно, пошлешь их спросонья клятвой Гиппократа куда подальше, они сразу и отваливают, даже «извините» говорят. Это я к тому рассказываю, что никто нас там не беспокоил. П о ч т и то есть никто. Потому что к Хлебосолу-то под видом общественности через день, как на работу, ходил один стражделегат — Пиргородский по фамилии.

Я сокола вижу по помету — и этого юношу-гаденьша я с ходу, как в кроссворде, разгадал!

Для начала проанализировал: а какие продукты этот чуткий коллективный член носит язвенному Хлебосолу, у которого, между прочим, десять перстов из двенадцатиперстной кишки напрочь уже отстригли? И что же я вижу? Самогонку носит! — самой грубейшей, кастрюлечной гонки (да еще и с ацетончиком!) — это раз! Грибы маринованные, с уксусом, с лучком-чесночком-перчиком — это два! Плюс-минус консерву «Мясо китовое с горохом» — знаменитую нашу еду-деликатес для луженых изнутри периферийных граждан общества.

Проанализировал я все это, а потом просинтезировал: «А для чего ему это?» — и взял Пиргородского за кадык!

Ты, говорю, Антантой подкуплен? По какому-такому праву больных выздоравливающих травишь? Мне-то, говорю, ничего,

у меня от твоих харчей кишка только прямее становится, но почто старика Хлебосола угробить хочешь?

А он на меня глядит так ясненько. А он мне говорит этак удивленненько: «Я не понимаю, о чем вы?» Ну, врезал я ему в третий глаз для полного взаимопонимания, он тут же ходить и перестал.

Да вот только жаль, поздновато я ему врезал. Он уже все, что ему надо было, в смысле диагноз Хлебосола, выведал. И на работе уже всем раструбил, что не язва у Хлебосола, а кое-что похлеще, и Хлебосол теперича работник будет уже никудышный, и потому — для успешного претворения в жизнь сверхплановых заданий, взятых на себя коллективом, в интересах дальнейшего всемерного расцвета пимокатного производства — нужно Пиргородского, как молодого цветущего специалиста, поставить на место Хлебосола, а Хлебосола, наоборот, покуда окончательно не загнется, перевести на оклад жалования Пиргородского.

Хлебосол — я говорил иль нет? — на свою беду бугорок был. На кемпендйской пимокатной фабрике занимал пост. Не Бог весть какой (если на армейский язык перевести, помком-взвода) — но все же таки препятствовал он, выходит, Пиргородскому на пути его всестороннего развития, и, для того чтобы в полной мере выявить творческий потенциал своей личности, должен был Пиргородский по всем правилам кемпендйского диалектизма Хлебосола схавать. Вот он его и схавал.

Хлебосол выходит из больницы, видит такое дело, огорчается конечно. Ну и, конечно, начинает квасить.

А здоровышка-то — уже нет! А нервная-то система — страшно уже нервная! Ну и понятно, что с таким-то упадочным настроением быстренько доквасился старик Хлебосол до жмуров. Помер, между нами говоря.

Похоронили его, правда, на зависть. Профсоюз ни веночков, ни грузовика, ни оркестра из художественной самодеятельности не пожалел. Пиргородский на панихиде речь сказал: навеки останешься в наших сердцах... — и даже захрюкал в конце вполне натуральными слезами. Все только головами качали да восхищались: ой, далеко шагает, гаденьши! ой, да ни-стыда ведь у него ни даже совести! ой, куда же это наша справедливость смотрит?!

А Справедливость-то наша, как я уже говорил, дрыхнет себе в поднебесных эмпиреях, о людях хороших сны смотрит — не до Пиргородского ей!

А этот выдвигенец-передвиженец знай себе шагает!

Я через год в Кемпендяе оказался, смотрю, а он — уже в черном бостоновом костюме, а он — уже в галстукe, а глаз у него — уже начальственный, а вид у него такой, будто он только что из-за сытного стола поднялся и зубами цвиркает.

Он к тому времени еще пару-тройку своих друзей-соперников схавал и, говорят, уже к С а м о м у подбирался.

Ну а дальше начались чудеса!

Первое чудо — это, конечно, всем известное посещение Кемпендяя светозарной личностью из Центра. Ну, конечно, не из самого центрального Центра — чего уж завираться, — но все же не с окраины.

То ли его референты-ординарцы что-то перепутали — хотели, к примеру, Коктебель написать, а написали Кемпендяй, то ли гражданин Большой Начальник и сам был не прочь пошутить, но только, короче, прискакал однажды курьер на взмыленной кобыле: «Готовься, Кемпендяй, к встрече высокого гостя!»

Ну, тут уж начальство шагом совсем разучилось ходить — только вприпрыжку!

Образовали, первым делом, штаб по борьбе с этим стихийным бедствием. В срочном порядке закупили за рубежом четыре тонны вьетнамских веников — чистоту наводить.

Всех шалашовок наголо остригли и по глухим лесным скитам распихали. Бичей, всех до единого, на баржу погрузили, на середину реки оттартали, на якорь поставили. Сидите тихо, сказали, не то кингстоны откроем...

Объявили поголовную мобилизацию всем, кто в состоянии держать в руке молоток и гвоздь — усадили щиты сколачивать. По всей округе масляную краску реквизировали: фасады на пути следования подмалевывали и на щитах, которыми что не надо видеть прикрывали, картины и стишки писать: «Пятилетку — за пять лет! Это наш с тобой обет!», «Нету места негодьям в нашем славном Кемпендяе!»

Я, приятно вспомнить, тогда тоже неплохо подкальмил. Я им рабочего с колхозницей рисовал. Этими уродами я им весь Кемпендяй изукрасил — где вместе, а на сортирах — поврозь: где буква «Ж» — там колхозница с серпом, где буква «М» — работяга с отбойным молотком.

Пиргородский в эти дни прямо-таки наизнанку выворачива-

вался! Даже осунулся. И хамил уже так, будто это он — в Кемпендье градоначальник.

Всем уже было откуда-то известно, что, значит, посетит гражданин Большой Начальник пимокатное производство и поинтересуется этак приветливо и деловито, а кому обязана фабрика таким внедрением такого современно-японского процесса? И прошепчут ему тут с гордостью: Пиргородский это, здешний кадр... И пожмет тут руку гражданин Большой Начальник нашему гаденьшу и произнесет раздумчиво: смелее, дескать, смелее, товарищи, надо выдвигать таких вот молодых да ранних, а главное — доморощенных. И — взойдет тут, не остановишь, на кемпендйяские небеса яркое светило Пиргородского!

Откуда они все это заранее знали, никто не знает, но все наверняка было бы именно так, чего уж сомневаться, если бы...

Если бы не приключилось тут чудо номер два. Справедливость наша закричала сквозь сон, заворочалась, продрала глазенки, и — упал взор ее аккурат на город Кемпендйи!

— Ма-ать честная! — заорала тут Справедливость. — Чё творят-то?! У-у-у, сейчас покараю кого-нибудь! Иль я не Справедливость?

А в этот момент уже прискакал в Кемпендйи последний курьер. Заикается, весь аж сияет от ужаса: «Едут! Вот-вот приедут!»

Врубают тут сирены воздушной тревоги. Наряды милиции выпихивать начинают на обочины представителей трудящихся — у каждого в руке флажок «Миру-мир» или воздушный шарик с Чебурашкой.

Последний чумовоз по трассе проехал — недособранных пьяных из канав выковыривает, заодно и музыку играет: «Сегодня мы не на параде...»

В магазинах на прилавки колбасу из тайников выкладывают. Все, в общем, по первейшему разряду.

Пиргородский забежал на пяток минут домой: исподники сменить, волосок из ноздри выдернуть, улыбочку подработать у зеркала, — вообще, очухаться маленько перед чудесным своим вонсением.

Мандраж, конечно, его колотит. На жену орет. Галстук не завязывается! Не ко времени в сортир потянуло!

Решил по системе йогов пару минут полежать, расслабиться,

волло собрать в кулак. Лег на кушетку, закрыл глаза. Я, говорит, спокоен. Я очень, говорит, спокоен. Спокоен...

Тут самое время сказать, что у него, как ни удивительно, и семья даже была. Жена, хорошая женщина, старушка-мать, тоже хорошая женщина, и даже сынишка — на удивление ангельский паренек, года полтора от роду, синеокий такой, кудрявый херувимчик, с хулиганскими замашками.

Так вот, этот самый херувимчик-террорист, покуда папаша на кушетке по системе йогов лежал, подковылял к нему как умел и — будильником, которым в ту минуту забавлялся, — бац! Папеньке! По морде! Если хотите точнее — прямо в глаз!! Бац!

Что там дальше происходило, пусть Федор Михайлович описывает: рев, визг и стон стояли, как в горящем зооцирке во время землетрясения.

Будь у Пиргородского в запасе пара хотя бы минут, он бы, конечно, дверь в кладовке выломал, и жену бы с сыном отудова извлек, и покарал бы, конечно, так образцово и показательно, что содрогнулась бы даже кемпендяйская суровая, выдавшая виды земля!

Но — не было у него тех золотых минут.

Уже загредел «Слався!» вокально-инструментальный ансамбль «Дембель-78». Уже жажнули в воздух из своих берданок члены кемпендяйского общества браконьеров-любителей. Уже взмыл в небеса красочный плакат: «Нет нейтронной бомбе!» — влекомый четырьмя тысячами пятьюстами шестьюдесятью презервативами, любовно надутыми пионерами местного Дома юного изобретателя и рационализатора. Уже въехал, короче, гражданин Большой Начальник в кемпендяйские пределы, и вынужден был Пиргородский бежать быстрее лани на пимокатную фабрику, каковую после полуминутного отдыха должен был посетить высокий гость.

Если вас били когда-нибудь будильником по морде, то вы подтвердите, что этот хрупкий, казалось бы, часовой механизм оставляет, как ни странно, довольно варварские кровоподтеки на овале лица, и поэтому нечего особенно удивляться, что, когда в плавном процессе осмотра произнес Большой Начальник свою реплику: «А кому же, интересно, обязана фабрика таким прямо-таки внедрением такого прямо-таки японского технологического процесса?» и в ответ выпихнул коллектив из своих рядов Пиргородского, то Пиргородский гражданину Большому На-

чальнику не понравился. Больше того, очевидцы сообщают, что высокий гость, опасаясь теракта, даже шарахнулся в сторону, увидав вдруг рядом с собой такого антипода с аморальным фингалом под глазом, к тому же и оборванного и в мазуте каком-то вывалянного (опаздывая, Пиргородский бежал напрямки — через свалку). Но быстро справился с испугом гражданин Большой Начальник, осерчал, понятно, и сходу залепил речь, тыкая пальцем в сторону Пиргородского, о постоянной необходимости нетерпимости и принципиальности в вопросах моральности, а пуще того, аморальности всех и всяческих членов, невзирая на заслуги, иначе говоря, тщательности общественности в вопросах оценки возможностей роста, передвижений и уж, конечно! во главу угла! — выдвигений...

И хоть никто ничего из этой речи не понял (кроме того, что серчает гражданин Большой Начальник), всем тут стало ясно, что закатилось светило Пиргородского, не успев толком и подняться-то!

И всем тут стало ясно-понятно, что, как говорится, ваши не пляшут, что есть, есть еще на земле и в многострадальных небесах матушка-справедливость, не вовсе сгинула! Просто дремлет она, сердечная, утомившись от забот, на пуховых своих облаках-перинах. Но ведь и просыпается! но ведь и продирает иной раз вежды! но ведь и смотрит же иной раз вниз, на нашу милую землю! — и тогда случается на этой земле чудеса вроде тех, о которых с присущей мне поучительностью поведал я вам нынче, обожаемые товарищи.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОКОЙНИКА

Горько осознавать мне, но начиналось-то все, как почти что все — обыкновеннейшим образом! Будто бы даже невзначай.

Тихо-мирно, в точном соответствии с графиком грузоперевозок, числа то есть этак шестнадцатого-семнадцатого августа текущего года, прибыла самоходная баржа «Красный партизан Теодор Лифшиц» в порт назначения Бугаевск. За торфобрикетами.

Все было учтено в распорядке движения передовой баржи — когда отчалить, куда причалить, где и сколько посидеть на мели, ежели ударят вдруг жуткие погодные условия. И все, не сомневаюсь, было бы именно так, хорошо, в полном соответствии с графиком нашей равномерно-милрой жизни, если бы учла та умная, но бездушная АСУ, которая «очиняла» график, одно небольшое маловажное житейское обстоятельство. А именно, что в торфяной артели «Свобода воли» аккурат в эти дни творится престольный праздник, святое дело. Всенародное, то есть традиционное гуляние до полного упаду. И уж могла бы, кажется, сообразить эта самая АСУ, дура железная, что в такой-то период времени «Лифшиц» может ждать своих торфобрикетов сколь угодно долго, хоть до пришествия холодов — покуда, точнее, все винные сусеки в окрестности верст на сорок не опустеют окончательно!

Вот с этого-то пустякового обстоятельства все и началось.

Вот почему и получилось, что вместо означенного народно-хозяйственного груза получил «Красный партизан Теодор Лифшиц» куку с макой, приткнулся ноздрей к причалу и стал обиженно ждать рассвета; чтобы отправиться в свои родные

свои, в город то есть Чертовец. А Вася Пепеляев, заметим, на палубе спал.

Впрочем, не заметить Васю, когда он спал, было трудно. Очень он умел и любил это занятие.

На неописуемой рванине какой-то, вместо подушки — замасленный телогрей, а так хорошо, так трепетно, так истово спал, каналья, что видно было: даже шевельнуться ему жаль, паразиту, неосторожно вздохнуть! Воспаряет, видно было, Василий не иначе как в самые поднебесные эмпиреи, и что-то невозможно прекрасное показывают ему там: может, пиво с раками, а может, молодецкий мордобой на толкучке в Великом Бабашкине... Но в тот вечер, думается, ему скорее всего неопределенные бабы какие-то снились. Потому что, нечаянно вдруг проснувшись, очень уж он с досады закричал.

Закричал Пепеляев и, обомлев, почувал вдруг сладостное томление духа, какое-то воспарение организма невозможно-дивное, какое-то поползновение куда-то ужасно дерзостное... то есть, как бы проще сказать, внезапный жанр кобелиный почувал вдруг Вася в чумазой своей душе и теле.

Его, довольно-таки молодого, чего же не понять? Он хоть и спал до этого, а все вокруг, поэтически выражаясь, «так и шептало...»

Чарующе, вот уж точно, лепетали листочки на березку в садочках, так чем-то пахло... А главное — так бессовестно-нежно (будто тесно зажата в угол) сипела в потемках певица на танцверанде тубсанатория: «А я тебя найду! И на земле найду! И под землей найду! Ай-дули-дули-ду!!»

Где уж тут было улежать молодому-холостому-разведенному — хоть и на укладистой рванинке, хоть и после утомительной трудовой вахты? «Ай-дули-дули-ду» — и весь разговор.

Василий сел и стал ласково слушать себя.

Разлоли-молодецкое пламечко по-приятельски весело и тепло возгоралось в нем помаленьку. Этакие предчувствия мохнатенькие щекотали душу... А затем — по-шампанскому вспенилось вдруг, зашипело и вовсе праздничное а-иди-все-на-хрен! настроение, и он вскочил: «Ай-дули-дули-ду!»

Все стало ясно — как вред алкоголя, как коварный происк империализма, как важность всемерного совершенствования! Нужно сей же минут, стало ясно, бежать, ухватить Елизарыча-

пkipпера за мохнатый кадык, закатить на басовых коровьих нотах молниеносный скандал-эпилептик и вырвать, кровь из носу, свои законные отгулы, накопленные за лето! И — ай-дули-ду! — на твердь желанную! Прямо тут, в Бугаевске, не дожидаясь, пока дошлепает родимая его баржа до дому, до порта семи морей, до твердокаменного городишка Чертовец!

Ну прямо не в себе сделался человек. Совсем невтерпеж стало ему на «Лифшице»!

(— Должно, братцы, голос мне это был... — грустно рассказывал потом Вася. — Перст-фатум, проще сказать. Будто чокнулся я в тую минуту!)

...В каюту Елизарыча ворвался, чуть дверь с петель не сорвал. Заорал впопыхах: так и так, десятое-пятое, в Чертовце все едино десять дней груши околачивать, а у меня в Бугаевске важнющее дело! А я, ежели отгулы не дашь, хоть щас заявлением об стол! Я жениться решил, понял?

Елизарыч все понял.

— С сучка сорвался, — понял Елизарыч и, горько морщась, акуратно поставил опустелый стакан. — Бывает...

Но Василия было не сбить.

— Иль я не человек? В Чертовце все едино движок перебирать, так? Так. А у меня в Бугаевске дело, так? Так. А я, ежели бюрократизм, пожалуйста! — хоть щас заявлением об стол! Я, может, жениться решил, понял?

Елизарыч опять все понял.

— Ты мне, Вася, скажи, кто против? Человек-дурак жениться хочет. Все — за! Горько! Но чтоб к седьмому числу был! Иди... — печально завершил Елизарыч и прикрыл вежды. — Глаза бы мои на идиотов не глядели! И Пепеляев пошел.

Жениться в Бугаевске, честно говоря, Васе было не на ком. Он в Бугаевске, вообще-то говоря, и бывал-то всего раза полтора. Даже где магазин, не помнил.

Едва сбежал на берег — ухнула на него лдоедская лютая тьма! Он даже пригнулся, как в шахте.

«Может, вернуться? — подумал. — Куда уж тут, Господи, идти? Да и зачем, если честно сказать, идти?..»

Все же пошел, стоеросовый человек.

Ну а ехидные мракобесы местные вовсю, конечно,

потешаться принялись над Васькой-бедолагой. То забором об морду звезданут. То — колдобиною по бокам! То в канаву помойную толканут. То вверх тормашками по крапиве припустят!

Не ходьба, право слово, а товарищеский суд линча. В полной к тому же безответной темноте.

Можно подумать, и не Бугаевск это вовсе, а какая-то земля необычайно-обетованная, неимоверное какое-то светлое будущее — пока то есть вконец не изуродуешься, пока об ландшафт последние ноги не обломаешь, ни за что не пустят!

Но Пепеляев, конечно, тоже — не из толстовцев происходил.

Вскоре уже и не матюкался даже, а по-змеиному только шипел во все стороны мрака, окончательно стервenea в борьбе с превосходящим противником.

Треск от них стоял буреломный.

Собаки в округе уже не лаяли — они самоубийственно сипели, давясь в ошейниках.

Даже в тубсанатории танцы на минуту приостановили — прислушаться, а не опасно ли для здоровья больных это стихийное бедствие, производящее столько шума.

Если бы Вася при свете дня увидел путь, на который отважился, то он, конечно, крупно бы заколебался. Но, слава Богу, ничегошеньки он не видел, чуял только, что земля вроде бы к небесам поднимается, — ну и пёр напролом, отважный единоборец! По каким-то зловонным хлябям, через завалы ржавелого утиль-дерьма, сквозь чертополошные заросли, крапиву, лопух и всякие прочие злобные тернии — пёр беззаветно вперед и выше! Силы мрака одолев. Но очень утомившись.

Тут Василий наконец огляделся и приятно убедился, что Бугаевск — очень даже культурный центр.

Два-три фонаря горели не очень вдали. Казенный дом виднелся там в два этажа, памятник кому-то... Непременно и магазин обязан там быть, решил Василий, — в торговых рядах!

И, натурально, поплелся Вася туда. А куда же еще? Не на танцы же? Хотя, конечно, чистейшей воды утопизмом было ожидать, что кто-то в торговых рядах еще торгует.

И ужасно тут взгрустнулось почему-то Василию.

Свой подвиг восхождения свершив, брел в незнакомой тьме,

как сиротка ненужный, — ободранный, весь в грязи, с исхлестанными в кровь мордасами. А за ради чего, милые-дорогие граждане судьи, уродовался?! Не было на этот вопрос удовлетворяющего ответа.

Сколько ни напрягался, ничего путного не мог в свое оправдание припомнить! Одно какое-то непонятное ай-дулиду... жеребчатый пережиток организма...

И уж совсем беспросветным — как ночь бугаевская — представлялось ему грядущее.

А что дальше делать? На баржу возвратиться? — рабочая гордость не позволит. (Да, пожалуй, и не найти его сейчас, «Теодорушку»-то, во тьме этой первобытной...) Самогонки в незнакомом месте — не дадут. Переспать — не пустят. В общем, куда ни кинь, везде одни буби! Так что, Вася, сказал себе Вася, сваял ты большого глупого ваньку, пойдя у себя на поводу.

...Между тем вечер, столь чудесно начавшийся, столь же чудесно продолжался.

Пепеляев брел себе потихоньку — уже вполне малодушный, уже разуверившийся во всем хорошем — и вдруг! И вдруг — словно бы в поучение малoverному и слабодушному — возсияло тут из-за угла магазинное окошко!!

И даже покупательское шевеление было в окошке том!

Пепеляев, конечно, глазам своим не поверил, но все же пошел...

(Трудно да и невозможно объяснить феномен того, чего это они упирались в тот день до такого черного поздна. Может, чересчур уж большую недостатку считали? Может, у продавщицы в семье было не совсем благополучно: муж-пьяница, например, к ханыге-экспедитору приревновал, из дому выпнал да еще и синяк напоследок поставил? Затруднительно, конечно, с точностью угадать, что у них там случилось. Но главное, как вы сами понимаете, не в этом, а в том, что Пепеляев в магазин все-таки зашел!)

Он зашел и, вместо «здрасте», озадаченно свистнул. Было отчего свистеть.

Прямо напротив Василия, вошедшего и в изумлении застывшего, в зеркале трехстворчатого гардероба «ЧСБ-1»¹ — как на императорском портрете с ногами, был изображен некто дивный.

¹ «Чертовецкая сплавбаза, модель № 1»

Волосы — в репьях и дыбом.

Физиономия — вся в волдырях от крапивы, обхлестанная, в наждачных ссадинах. К тому же словно бы набок и вниз съехавшая.

О костюме одежды что уж тут говорить. Сплошные вопиющие прорехи, лоскуты скандальные, рвань расхристанная!

Такой уж антипод беглокаторжный ввалился в магазин из тьмы проклятого прошлого, такой бич дикообразный, такой химик-чифирятник подзаборный, что тут не токмо свистнуть — караул кричать впору! Бабы, правда, бывшие в магазине — продавщица с синяком под глазом да полторы старушки, — даже и бровью не повели при виде Пепеляева. Должно, и не таких купцов-молодцов видали темными бугаевскими вечерами...

Однако не будем кривить — не вовсе таков был Василий. Если миновать вниманием досадные мелочи в костюме и морде, приобретенные во время штурма бугра Бугаевский, то он и внешне был вполне ничего. В нем, может, и привлекательного много чего было. Например, ростом хорошо удался. Умел поговорить — обходительно и без мата. Ну а если что-нибудь умственное начинал вещать, тут уж уши на гвоздь вешай! — болты болтать мог хоть час, хоть два!

Но вообще-то не сказать, что он яркий был. Не каштан, не брюнет, но и не рыжий. Овалом лица походил, к сожалению, на лошадь, и зубы соответственно похоже росли...

В общем — особенно если шляпу с галстуком наденет и слегка выпимши — обыкновенный чертовецкий нескладеха-обалдуй конца двадцатых — начала тридцатых от своего рождения годов.

Какому-нибудь проезжему бонвивану или гурману командированному могло, конечно, показаться, что после налета торфобрикетчиков в бугаевском торговом центре ассортимент отсутствует вовсе: ни портвейного вина не было, ни даже печального ликера «Последний листопад» (сах. — 60 процентов).

Пепеляев, однако, был все же таки чертовецкий житель (почти, считай, столичный) — его так просто в панику было не ударить. «Был бы магазин, а выпить завсегда найдем!» — такого он придерживался кредо.

После долгого в муках хождения между отделами одеколонным и москательным он свою надежность и предпочтение все же

отдал последнему. И вполне, надо сказать, справедливо: небесного цвета стеклоочиститель «Блик-2», конечно же, по всем кондициям превосходил духовитый, но для почек, сказывали, не очень полезный, одеколон «Горнорудный».

К двум пузырькам «Блика», он взял еще, конечно, вафли, нечаянно где-то облитые олифой. Там же, не отходя, и стакан обрел — 18 коп. с опилками.

Продавищица с синяком вежливо и культурно оторвалась от разговора, сдачу выдала тютельница в тютельница, но никаким другим вниманием Пепеляева не удостоила. А зря, дуреха.

Сейчас-то, двумя пузырями заряженный, он был парень хоть куда! И никакая ночь ему не была страшна, и любые лохмотья — к лицу, и любой подвиг жизни — по плечу. Может, даже и ниже.

Но где уж ей было последним неподбитым глазом в пепеляевскую душу глядеть? Они, жалкие, какую-то Феньку без устали полоскали, которая, видите ли, с грузином-шабашником спуталась и, несмотря на воспитательные отцовские побои, упрямая, забеременела!

От магазина как культурного центра он решил далеко не удаляться. Сел в клумбу (он любил, чтоб интеллигентно), спиной к памятнику (не любил, когда в рот глядят), сам себе сказал тост: «Поехали!» и — поехал.

Чем замечателен «Блик», этот лазурный напиток богов и героев, знает, конечно, каждый образованный человек нашего времени. Тем, что исключительно хорошо очищает все, в том числе и душу человечью, от всяческой скверны, приземленности и вообще бытовой грязи. Становится человек, принявши его внутрь, ясен, как пасхальное стеклышко, пронзителен мыслию, дерзок, сияющ и светел!

(Некоторые несознательные язвенники, надо заметить, «Блик» фильтруют, центрифугируют с солью, сыплот в него разные гадости-коагулянты, не ведая в слепом рвении своем, что тем лишают, безумцы, напиток едва ли не главной его прелести и достоинства — способности делать алконавта чище, вышеустремленнее, лучше, чем даже прежде!)

Пепеляев употреблял напиток строго по науке, и уже минут через пятнадцать после первого глотка синяя птица кайфа вознесла его, бережно ухватив за шкуру, в какой-то неопи-сую-

мо-поразительный, маленький, уютно населенный пункт.

Нетрудно было догадаться, что это — Бугаевск. Стоило только взглянуть, как привольно раскинулся он по берегам полноводной красавицы Шепеньги в окружении заповедных трухлявых лесов-красавцев и нехоженых изумрудных болот-трясин, тоже красавиц.

Пепеляев возлежал в самом центре Бугаевска на специально для этого возделанной клумбе. Ему было хорошо. Он был спокоен и дьявольски красив.

Период всяких там перегрузок-перевозок он перенес удовлетворительно. Адаптация шла успешно. Вообще, все было пока путем. В магазин — успел. После изнурительной жары с хрустальным звоном посыпал дождик. (Впрочем, могло и просто звенеть в ушах: «Блик» иной раз давал и не такие побочные эффекты...) Ветер преобладал юго-западный, слабый до умеренного, ширилась гневная волна ипатовского метода в странах третьего, четвертого и пятого мира, а с новостями спорта сегодня всех знакомил Василий Пепеляев.

Ему было хорошо. Замечательные предчувствия одолевали душу, нашептывали нежные непристойности, куда-то властно манили.

Пепеляев был не против, если манят. Поэтому — выкарабкался из клумбы, одобрительно зачем-то заржал и пошел.

...Конечно, кому-то, может, и темновато было в Бугаевске в этот час, хоть глаз, может, выколи. Однако, Вася — и в этом еще одно замечательнейшее свойство очистителя «Блик»! — все видел насквозь. И даже временами глубже.

Легко и уверенно, в ритме ай-дули-ду, шел он по просторным бульварам, проспектам и садам гостеприимного Бугаевска. Красивые и современные, из стекла и напряженного железобетона были выстроены в почетном карауле для встречи почетного гостя радующие глаз коттеджи и филармонии, ларьки с пивом и киноконцертные залы, дома быта, дискотеки, пельменные, два цирка, три шашлычных, четыре дома политического просвещения, пять парикмахерских, шесть стадионов на шестьдесят шесть тысяч каждый, семь пимокатных заводов и двадцать восемь, кажется, здравниц всемирного значения с подачей минеральной воды и лечебных макарон по-флотски...

Что-то там было выстроено еще, но Пепеляев не стал и

смотреть. Ему мешали испытывать законную гордость.

Сделано, конечно, немало, размышлял он. Можно сказать, что неплохо, с огоньком потрудились бугаевцы. В считанные десятилетия преобразили некогда бесплодные берега красавицы Шепеньги! Но вот о главном-то, товарищи, забыли!.. Понастроили, понимаете, кемпингов, вертепов, турусов на колесах! Канав на каждом шагу накопили! Крапиву насажали! Это хорошо. Но в погоне за кубометрами — забыли ведь, сволочи, о Феньке!! Не увидели за деревьями человека! Не задумались, не задались вопросом: «А женится ли на ней тот самый шабашник-грузин?» Не задались вопросом, не задумались: «А не чесанет ли он, получив свой длинный нетрудовой кровный рубль, за Главный Кавказский хребет? А не оставит ли он доверчивую Феньку с прибытком на руках?» А ведь чесанет, товарищи! А ведь — оставит! Не-е-ет, дорогие товарищи, так дело не пойдет!! — рассердился тут не на шутку Василий

и, завидев вдруг за деревьями чье-то освещенное оконце, с воплем:

— Ф е н я! Э т о — я!! — рванул что было силы туда.

Тут же, конечно, ухнул чуть не по грудь в бурьянную топь, все же, стилем брасс, прорвался к забору.

— Фенька! Отворяй, мать твою!! — заорал он еще пуще.

Свет в окошке быстренько погас. Щелкнули шпингалеты — как винтовочные затворы. Затаились за окном...

Пепеляев обиделся: «Это от него-то прячутся?!»

Многотрудно пыхтя, выворотил из забора кол и стал колошматить им по штакету.

— Гады! Дешевки!! Смерть сухумским оккупантам! А ну, выходи!!!

Так орал он до тех пор, пока кол не переломился.

Кол переломился, он утерся и пошел далее.

...Своим непониманием люди огорчали его. Вот Фенька, к примеру... Заперлась от него, на все замки оборонила, а того, дура, не поняла, что он ведь к ней по-хорошему шел! Может, руку дружбы протянуть. Может, веру вернуть в недоброкачественных людей... Он ведь, ежели чего, так ведь, ей-богу, — вплоть до свадьбы!!!

А что?! И детеныша, чего уж, не обидел бы. Они, когда маленькие, очень смешные бывают: под себя серют... И ее,

Феньку, не упрекал уж слишком уж. Поколотил бы, понятно, разок-другой для педагогизма, ну и ладно... Но теперь-то уж все! Коли она этак, то и он — этак! Сиди, дура, под своими шпингалетами!

Главное, того ведь, темнотища, не понимает, что пусть он, таракан донжуазный, даже возьмет ее, к примеру, замуж! Не пара он ей! Не даст он ей личного женского счастья! Как же он может дать, если на рынке встанет с помидорами — ни стыда, ни совести! — по восемь рублей за кило, виданное ли дело? Опять же, почему не растут чай со слонами? А как бормотухой своей «Кавказом» страну до краев наполнить — где они, которые в кепках?! Тут их нет... Ну и ладно, Фенька! Живи как хочешь. Хрен с тобой. Христос с тобой. Точка. Конец связи.

Но все же было малость обидно. Пришлось распочинать и другой пузырь.

Он за что себя больше всех уважал? За легкий характер души. За наплевательское отношение к трудностям жизни.

Чуть где-нибудь в жизни начинало скрипеть и коситься, Василий тут как тут принимался выступать:

— Ничо! Не бойсь, братцы! Ничего не будет, окромя всемирного тип-топа! Главное, не мандражить! Потому что, как уверяет наука, все на свете — печки-лавочки по сравнению с гранд-задачей мирового свершения... Проще? То есть, значит, поэтому выходит, что ежели пропорционально, то исключительно все — есть не что иное, как клизьма от катаклизьма! На кладбище, в общем, разберемся, кто неправ, а кто виноват.

Страшно подумать, в какого мыслителя мог превратиться Пепеляев, пойдя он дальше шестого класса! Рассуждения о бренности земной суеты («клизьма») в сравнении с беспредельностью и загадочностью мироздания («катаклизьма») он вынес после единственного и случайного посещения чертовецкого планетария. Оттуда же он унес и слово «парсек», которое долго употреблял как ругательное.

Вот и сейчас, через пяток всего лишь минут, он уже и думать забыл, легковесный человек, о какой-то там неблагодарной и неверной Феньке. И в душе его некий развеселый ксилофончик уже вызванивал что-то в высшей степени жизнеутверждающее, тамбурмажорное, громогрящее — что-то среднее между «Все выше, и выше, и выше...» и «Ай, вы, сени, мои сени...»

Два Пепеляева шествовали теперь в тьмушей тьме Бугаевска.

Один, вроде как проводник, — зело пьяный, а потому нахрапистый и неукротимый, и к падениям об землю нечувствительный. Как очумелый дредноут, пёр он в темени, наощупь отыскивая проходимую дорогу, и бережно вел за собой второго Васю — тоже незрячего, но пребывающего словно бы в золотом сновидении. Мысли у него не витали — они, как возвышенный туман, клубились. И в нежно-розовое были окрашены те клубы.

В нюансах не передать, что за бред собачий, что за белибердене изысканная представляли его воображению!

Тут тебе и рондо каприччиозо после баньки на балалайке в холодке, и всеобщее народное ликование по поводу спуска на воду атомной самоходной баржи «Василий Пепеляев (Лифшиц)», и бутерброды с твердокопченной колбасой, и иллюминация на выставке фонтанов достижений народного хозяйства, и поучительная картина неизвестного художника, очень в свое время полобившаяся Васе, «Боярыня Морозова убивает блудную красавицу дочь», и гастролы какой-то агитстриптизбригады под идейным Васиным управлением, и белой черемухи гроздь душистые, и «Молдавское розовое» в розлив, и возлюбленная песня «Сегодня мы не на параде» в исполнении оркестра Поля Мориа... и — главное — неограниченная возможность глядеть на все это с высокой колокольни птичьего полета, имея две недели на вдохновенное битье звонких пепеляевских баклуш...

Но — чу!

Вдруг оба-два Василия, как по команде, замерли.

— Чу! Слышишь — Да не-е... показалось...

— Мамке твоей показалось, когда она тебя родила! Слышишь?

— Федор? Ты, что ли? — женский голос звал из темноты.

Пепеляев ни да, ни нет, кашлянул.

— Погодь! Вместе пойдём... — Женщина производила шум где-то поблизости. — На свадьбе я у Верки Черемисиной была. Там еще догуливают, а мне-то на дежурство с утра, так я вот и пошла пораньше... у-у, леший тебя!! — Раздался вдруг шум-треск сокрушительного падения. — Каблук сломила! Федор, ты тут ли еще? Не уходи уж, ради Христа! Без каблука-то и вовсе не дохромать мне. Ты чего молчишь?

Василий опять произвел некий звук, похожий на недоверчивое хмыканье. И в самом деле, чересчур уж все складно

получилось: и в магазин успел, а тут еще и спутница жизни.

— Ты уж не уходи, миленький...— наговаривала женщина, уже уверенно продираясь к Пепеляеву.— Вот дуреха! Спрямить дорогу решила! Тут-то ее, девушку, леший и попутал... Ой! Да ты не Федор! — разгоряченная мягкая женщина ткнулась в темноте в Пепеляева и тотчас прянула.

— Ну,— согласился Василий.

— Вроде и не знакомый даже... В гости, что ли, к кому?

— Спецзадание,— туманно сказал Вася.— Кувыркатся тут по вашим канавам. С целью общения и внедрения.

— Непонятное говоришь. Точно — не бугаевский!

— Бугаевский — не бугаевский, заладила... Цепляйся, что ли, дохромаю я тебя. Только дорогу говори, а то я ни хрена у вас не вижу.

— Не ругайся.

— А я разве ругаюсь? — изумился Вася.— Иль таких слов не слышала: хрен, редька?

— Все равно, не ругайся. А то никуда с тобой не пойду. С детства не люблю.

Василий не нашел, что ответить. Она отыскала его руку, он сделал руку калачиком, и они пошли.

Через несколько шагов она рассмеялась:

— Э-э, парень! Да ты, видать, тоже со свадьбы!

Василий обиженно не ответил. Ему ли было не знать, что идет он, как по ниточке? Потом буркнул:

— А чего туфлѐ-то не съмешь?

Она даже возмутилась его непониманию.

— А колготки? Немецкие? Семь семьдесят! Не хочешь?

Он не хотел. К тому же он смутно помнил, что это такое — колготки. Да и вообще, запрет на слова подействовал на него удручающе. Он старался все больше молчать, дабы не вляпаться ненароком не в то слово и тем не огорчить спутницу вплоть, может быть, до разрыва отношений.

Она тоже была не из стрекотух. Но все же дознание вела как следует. Уже к первому фонарю он и биографию, и обстоятельства своего появления в Бугаевске доложил.

Пользуясь фонарем, Василий, будто между прочим, оглядел ее.

Она — словно бы невзначай — тоже его срисовала.

Неизвестно, как он ей, а она — ему — глянулась. Ничего себе. Крепенькая. В брульянтовом переливчатом платье и прическа на голове.

— Идем-идем, — сказала Васина спутница, — а как звать-то, не познакомились.

— Василий, — с готовностью представился Василий и для точности добавил: — Меня.

— А меня — Алина. Ты, Василий, постой — отдохни маленько. А то мы что-то чересчур уж кренделями вышагиваем. Немного уже до дому.

Василию стало от этих слов скучно — как на осеннем ветру. «До дому, да только не до моего...»

...Они стояли где-то в глубине темноты, молча. Алина держала его бдительно и бережно — как медсестра держит сердечно-сосудистого больного. Василий подумал, о чем бы спросить, и спросил:

— Свадьба-то хорошая была? На сколько ящиков?

Она тотчас, с большой готовностью рассказала: и сколько ящиков было, и где покупали, и что дарили, и кто гармонист был...

— Морду кому-нибудь били? — деловито поинтересовался Пепеляев.

— А как же! Жениховы с Веркиными «хлестнулись» маленько, ну да ненадолго... Вообще, все ладом было. Кто и захочет, а не похает.

— Завидно, небось?

Она ответила легко и просто:

— Ну, а как же? Кому ж не завидно, когда все по-человечески?

По тому, как она это сказала, Пепеляев определил: холостячка. Приободрился, однако мордой об стол биться не шибко-то хотелось, поэтому иллюзию эту он тешить особо не стал.

Еще один фонарь показался. Что-то такое пустошное освещал он, невообразимо скушное. Две двухэтажки белого кирпича стояли тут — на отшибе, ни к селу ни к городу.

— Ну вот, матросик, и доплыли! — заговорила Алина. — Здесь я и живу. Спасибо, что проводили девушку. Никому в обиду не дали. От серых волков оберegli.

Говорила она это бойкенько, а ведь сама-то была растеряна — Василий слышал, — даже загрузивши.

— Куда же вы теперь? — перешла она ни с того ни с сего на «вы».

Он прокряхтел что-то про автостанцию, про баржу, на которую, может быть, вернется. Не пропадет, в общем, Пепеляев.

— «Не пропадет»... — повторила она иронически и вдруг судорожно, как после плача, вздохнула. — А то, может, зайдете? До автобуса посидите? Чайку попьем?

Он воодушевленно загундел что-то чрезвычайно согласное. Чай, дескать, это было бы в самый раз! Забыл уже с этой работой чертовой, когда и пил чай-то!

— Только это... — сказала она возле подъезда. — Только без этого... А то, может, вы не знаю чего подумали?

— Как можно, помилуй Бог, чего-то этакое подумать! — возмущенно забубнил Пепеляев. — Да он что, из Кемпендяя, что ли, чтобы думать?! Только чай! И ничего больше! До автобуса досидеть!

Большие, видать, умельцы строили этот дом. И, ясное дело, не обошлось здесь без Фенькиного грузина-шабашника. Ступеньки на лестнице были набок и вповалку, а лестничные марши чуть не на живую нитку присобачивал Фенькин хахаль! Они зыбким ходуном тряслись под шагами, перила вольготно раскачивались, и злорадный мелкий дребезг, едва нога человека ступала на это сооружение, начинал звучать со всех сторон, как обещание жуткого краха.

Не покладали рук умельцы и на внутренней отделке. Веселенькой, синенькой, как изжога, краской они накатали стены прямиком по бетону. Вид был точно — как в КПЗ.

Голая лампочка висела на шнуре. Стол стоял. Кровать, два стула, шраф.

— Ты чё, вербованная, что ли? — с ходу брякнул Пепеляев.

— Э-э... — она непонятно и недовольно поморщилась. — Второй год уже здесь. Чай пить будешь?

— А на хрена? — спросил Василий и прикусил язык — вяпался! Да ведь как не во время!

Но она не заметила. А может — сделала великодушный вид.

— ... Тогда раскладушку вот оттуда доставай, ставь. Я сейчас.

Когда она вышла, Василий полез не за раскладушкой, а за пазуху, где преданно грелся голубенький эликсир. И уже через

минуту предчувствие, что все будет тип-топ, проибрело железобетонные черты.

И правда, дальше все было, словно в волшебной сказке.

Алина ворвалась с улицы, хмурая, решительная, чуть ли не злая.

Унтер-офицерскими, краткими, раздраженными жестами мигом постелила ему хурду-мурду на раскладушке. Что-то вместо подушки бросила. Ать-два!

Василий взирал на подругу виновато и кротко — как на рассвирепевшую неизвестно с чего службу быта.

Не предупреждая, вырубил свет, сказала в темноте:

— Мне с семи на дежурство. Давай спать!

Так же бурно разделась. Легла. Враждебно смолкла.

Василий деликатной ощупью определился в темноте, тоже улегся.

Все за всех решила раскладушка. С большим человеческим пониманием она оказалась. После первой же пепеляевской попытки повернуться набок она вдруг на разные предсмертные голоса заголосила — раздался треск рвущейся парусины, трезвон оборванных пружин, и — бац! — Василий вдруг обнаружил себя на полу.

Занятый катастрофой и руинами, он не сразу и услышал: Алина неудержимо хохочет в подушку:

— Ох ты ж, Господи! Ох ты ж, Боженька мой!

А потом — через приличное девушке время:

— ...Так и будешь что-ли, на полу валяться? Иди уж с красшку, горе луковое!

Горе луковое победно ухмыльнулось во мраке и, натурально, полезло.

Проснулся Василий наутро в благолепной санаторной тишине премного всем довольный. Правда, очень скоро обнаружилась пропажа штанов. И хоть обстоятельство это было безусловно досадное, но даже и оно не могло омрачить его равномерно-поступательного победного настроения.

В самом деле, Пепеляева ли можно было смутить тем, что на поиски сортира он идет хоть и с пением «Ай-дули-ду!», но в чьих-то заляпаных краской галифе и домашних тапочках с помпонами? (Его неподдельно-английские колеса фирмы «Кларк» тоже, оказывается, увели...)

Удобства — должно быть, для пушего удобства — были, как полагается, во дворе. Здесь же он обнаружил и приветственно развевавшиеся на веревке чисто выстиранные, но шибко уж почему-то рваные брюки свои. Сперли их, оказывается, с гуманной целью — выстирать, и, как справедливый человек, Пепеляев не мог уважительно не подумать об Алине: «Это ж во сколько ж она, индюшкина кошка, поднялась?»

Приятно было сачковать. И для здоровья — наверняка полезно.

Все — на работе. А ты — нет.

Тишина...

Какие-то смирные, слегка отечески пристукнутые мальчишки-сопляки воспитанно ковыряются в помойке возле сараев.

Окаменелые бабуся цепенеют в окошках — каждая намертво прикованная родней к своему подоконнику.

Философический козел стоит, застывши посреди двора, — зрит в землю, будто вдохновением пораженный...

Никто тебя никуда не погоняет. Никто и никуда.

Счастья — в высоком, чересчур уж научном значении этого слова, — может быть, и нет. Но зато — есть покой и воля. Есть первобытное разгильдяйство во всех членах тела. Есть чуть слышное, дремотное позвякивание баклуш, там и сям развешанных на ласковом утреннем сквознячке в предвкушении бития...

Из карманов она все аккуратно повынула и на стол сложила.

Хорошо, хоть я паспорт догадался на барже забыть, обрадовался Василий. (Там у него позорный штемпель о свадьбе с Лидкой-стервой все еще не был изничтожен.)

В пиджачном кармане преданно ждал своего часа «Блик-2».

Однако — загадка природы! — самочувствие у Василия было с этого утра на удивление нормальное. То ли бугаевский «Блик» гнали из какой-нибудь очень уж благородной древесины, то ли климат здесь был лечебный, но факт: маковка-тыковка у Васи ничуть даже не потрескивала, никакого дрожемента в коленях и ненужного дирижерства в руках не наблюдалось. Жить, товарищи, совсем не тошно было, а — наоборот!

Вася даже растерялся. Он даже стгоряча подумал что-то этакое: «Может, ну ее к черту? И так вроде хорошо?..» Но тут же сам себя строго окоротил.

«Отгулы есть? — спросил он начальственным голосом. — Есть. А чем должен заниматься сознательный человек в отгульное время? Ну вот... Тем и занимайся. И нечего придуряться! А то, что на душе сейчас якобы хорошо, так ты, Василий Степанович, не сомневайся: еще лучше будет!!»

И, убедившись в собственной правоте, Пепеляев наскоро сполоснул организм очистителем и двинул на прогулку.

Двухэтажный урод, в котором проживала Алина, был выстроен на самом выгоне из райцентра. Дальше уже ничего не было.

Ничего не было вокруг. словно бы зона заразного карантина, безразличной опаски окружала дом-чужак.

Ни кустика не росло здесь, ни деревца. Лишь заколевшая до каменной твердости грязь и — пыль, на вид вполне цементная.

Пепеляев шествовал по Бугаевску с сытым ревизорским видом: руки в брюки, нос в табаке, в глазах — строгость.

Заблудиться теперь он не боялся. Во-первых, конечно, день. А во-вторых — по какой бы улице ни идти, он знал, все едино, хочешь-не хочешь, волей-неволей прибредешь к магазину... Это удивительное явление природы Пепеляев наблюдал над собой и в гораздо более, чем Бугаевск, населенных пунктах. Попади он в каменные джунгли какого-нибудь Сингапура или Вологды, будьте уверены, происходило бы то же самое.

Справно жили в Бугаевске. Ворбовать, может, и не все воровали (на всех-то где напасешься?), но дома были добрые. Попадались и многотысячные, лет этак на пять не особо строгого режима. И отчетливо было заметно, что творческий дух состязания вседневно язвит душу каждого бугаевца-домовладельца.

Выпендривались друг перед другом, ничуть того не скрывая. Один, к примеру, на конек статую-бюст мыслителя древности присобачит, а другой — тут как тут — уже канареечно-черными полосами фасад себе измордовал! У одного — вместо летней кухни кузов автобуса с самоварной трубой приспособлен, зато у другого — забор из новехоньких кроватных панцирей изготовлен! Если у кого-то на окнах решетка в виде картины «Переход Суворова через Альпы», то, будьте уверены, у его соседа напротив — дворняга под королевского пуделя стрижена, не считая, что и жена семи пудов веса, дети — отличники, а на фронтоне — надпись: «Дом образцового содержания скота»...

Но в целом с архитектурным обликом в Бугаевске было

плоховато. Не чувствовал придирчивый Пепеляев единого замысла, а главное, что синтез плоскости, кубометра и пространства отсутствовал. Зодчим в Бугаевске (складывалось у Пепеляева такое мнение) чужды были не только традиции, но также даже и новаторство. Впрочем, вероятнее-то всего, зодчие в Бугаевске никогда даже и проездом не бывали, потому и дома здесь — нет, чтоб им в порядочек выстроиться, заборчик к заборчику, строевой, так сказать, ансамбль-шеренгой... — вели себя стихийно. Так и норовили расползтись, как разругавшиеся тараканы: то боком друг к другу, а то задом повернуться.

Очень тут еще уважали по буеракам уединяться, по овражкам костоломным, по скособоченным кручам. Смотришь, угнездилис где-нибудь над промоиной, висит на невидимых миру соплях и честном слове! — сплошные подпорочки, крыша набекрень! — и доволен!.. А о том не думает, что вот, к примеру, помрет, а как его оттуда в гробе тащить? Или — того хуже — вдруг на гардероб «ЧСБ-1» денег накопит, а как такую драгоценную вещь в дом доставить?.. Что уж говорить про нетрезвое возвращение в лоно семьи, да еще к тому же в потемках, например?

Невелик был град. На стакан бензина его раза три можно было бы автомобилем объехать.

И десяти минут не погулял Василий по бугаевским улицам, а уже опять оказался на знакомой площади.

Здесь, спору нет, было культурно: магазин влиял, Доска почета, да еще, конечно, алюминиевым серебром крашенная скульптура.

Васе даже маленько неловко сделалось за свое неподобающее галифе и босой вид. Мимо него тут один гражданин прошел, так он в галстук был и в полном, о двух бортах суконном костюме! Начальник, должно быть, местный. А может, городской дурачок: солнце к этому времени уже кочегарило нормально, градусов на тридцать шесть и шесть.

Развешаны, наклеены, приколочены, присобачены были тут многочисленные слова — в виде афиш, ультиматумов, транспарантов, стрелок, объявлений, указаний, показаний и сообщений:

«Тубсанаторий «Свежий воздух» — 250 м».

«Тубсанаторию «Свежий воздух» требуются сантехник-лаборант, подсобник на флюороустановку, личный конюх».

«Стоянка транспорта только сан. «Свежий воздух»!

«Сегодня в Зеленом театре сан. «Свежий воздух» к/ф цв. Индия «РЫДАНИЕ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ». Дети после 16».

«Самодетельный ансамбль песни и танца тубсанатория «Свежий воздух» объявляет прием в «Ай-люли». Приглашаются желающие».

«Тубсанаторий «Свежий воздух» — 1,5 км» и т.д.

Что и говорить, грамотному человеку было чего почитать здесь, в центре Бугаевска. Это — не считая фамилий передовиков на Доске почета в изнуренно-желтой, за январь месяц, газеты «Чертовецкое знамя» на печально покренившемся щите.

Василий, впрочем, не большой был охотник до чтения. Вот в магазин он зашел с удовольствием, как в дом родной.

Все здесь было, как и вчера. Разве что у продавщицы прибавился под новым глазом синяк, да старушек накопилось поболее.

Впрочем, стоп! Пепеляев вдруг взволновался! Новшества были! И они весьма Василию неприятно понравились.

Вечерние пепеляевские покупки, оказывается, не прошли мимо продавщицкого внимания: «Блик» из москательного отдела уже перекочевал в угол продуктового, где и красовался теперь на равных и рядом с уксусом и квасным концентратом. Очереди, правда, за ним еще не было. Но ведь и мужиков-то еще не было!

«Вот и неси после этого культуру в массы,— с грустью подумал Василий. — Сидели до моего приезда бугаевские лопухи, тихо хлопали ушами, ни горя, ни достижений современной бытовой химии не знали... А теперь-то, распознавши что к чему, враз ведь вопьются, вампиры!»

А пришлось Васе взять ровно вдвое больше, чем просила душа, — семь пузырьков.

Продавщица нынче глядела ласковее. Должно быть, в результате синяка. Василий, однако, был тоже не вчерашний — вид сделал труднодоступный. Во-первых, конечно, обиделся за перестановки в магазине. А во-вторых, вообще — не одобрял он всякие там адюльтеры-бюстгальтеры. Алине в этом смысле повезло, что и говорить.

Вышел Вася на крылечко — счастливый, отоваренный! Гднул окрест — душа аж зашлась от свечой взмывшего в небеса восторга!

Гаркнул Вася:

— И-эх! Ура, товарищи! Ай-дули-ду! — Хотел было и

цыганочку сбавать, но пузырьки в карманах не позволили...

И пошел он в свои временные свояси увесистой глинобитной походкой владыки земли бугаевской, этакой хозяйской раскорякой былинного штангиста-тяжеловеса. И заулыбался Вася светло и счастливо всем без исключения во все стороны света на все свои тридцать два с лишним зуба.

И уже казалось ему, космополиту безродному, что он — веки вечные в Бугаевске. И родился, и крестился, и женился-разводился, и «Бликом» отравлялся — все здесь. И здесь же помрет, даст Бог. И сюда, на бугаевский погост, будет приходить к нему в выходные Алина...

Короче, решил он пожить здесь вечно. Легковесный же, как сказано, был человек! И про Чертовец, и про маму родную, и даже про «Красный партизан Теодор Лифшиц» с его повышенными обязательствами — напрочь забыл!

Он потом любил вспоминать эти славные денечки.

— И-эх, братцы! — говаривал он своим дружкам-приятелям. — Что вы знаете об жизни как о существовании двух белковых, любящих друг друга тел?.. Но даже и я (смейтесь!) не смогу, как следует, рассказать! Ибо — нет слов, братцы!

Во-первых, конечно, уход и ласка.

Штаны она ему, кроме того что постирала, еще и зашила где надо. Нагладила — хоть брейся! — на стульчик повесила.

Колеса, говорите, сперли? Так это она же их к Нюркину свояку и снесла! Набойки там сделать, подошву приклеить, глянец навести.

Одним словом, набросилась Алина на Василия, хоть и молча, но с большим волчьим аппетитом.

Рубаху мало что выстирала, но и накрахмалила до такого жестяного состояния, что одевать ее во избежание ненужного травматизма Пепеляев стал избегать, только глядел издали да искоса.

Во-вторых, в воспоминаниях о том золотом времечке само собой упоминались кормеж и постельный режим. «По этой части, — сладко жмурясь, формулировал Вася, — все было, как в санатории «Свежий воздух». Но — без туберкулеза».

Ну и, в-третьих, как сами понимаете, с утра до вечера — сплошная свобода воли! Хоть на Алининой пуховой трясиине помрачительно-ласковой, хоть на балкончике — на благостном

сквознячке, хоть кверху пүзом на грязноватом берегу красавицы Шепеньги под сенью тенистого санаторского парка, куда пускали, несмотря на мощную, хотя местами и поваленную ограду, всех подряд — безо всяких на то рентгеновских снимков и справок о нездоровье.

Как пламенному чертовчанину, ему, конечно, стыдно было в этом признаваться, но факт: бугаевские прелести частично, безусловно, околдовали его.

Ему нравились эти кривоватенькие, трогательные в своей рахитичности улочки, так и сяк распolzшиися по облысeлым от зноя бутрам;

ему нравилась эта въедливая, нежная, как пудра, пыль, которая единожды (утром, к примеру) поднявшись, могла висеть в воздухе почти недвижимо хоть до самого вечера, лишь слегка величаво меняя свои очертания;

ему нравилось таинственное изобилие древней позеленелой воды, встречающейся в Бугаевске на каждом шагу, несмотря на лютую, неслыханно-африканскую жару того лета: то — в виде поэтически укромного страхолюдного болотца, полузаваленного зазубренными консервными банками и проржавельми ведрами, то — в виде гиблого, дочерна загнившего пруда, сплошь заросшего пышной какой-то травкой, пепельно-пакостной от усеявших ее комаров, то просто — в виде тихого сточного ручья, густо влекущего нечистоты свои в Шепеньгу;

и Шепеньга ему нравилась, эта мелеющая с каждым часом водная красавица артерия, все дальше отступающая от берегов и поневоле обнажающая гнилостные, жгуче интересные тайны: сардонически ощеренные трупы кошек и собак с камнями, аккуратно подвязанными к шее, битые бутылки, опасно торчащую, непонятого происхождения железную рвань, чью-то одежду (наверняка, когда-то окровавленную), обрывки тросов, бочки из-под солярки, тележные оси, чернокаменные осклизлые бревна, рыжие бунты колючей проволоки, зловещий, корявым проводом замотанный джутовый мешок (не иначе как с расчлененкой), сапоги, не очень-то даже драные, галоши к ним, что-то почти поглощенное илом и весьма похожее на поваленный подъемный кран, телефонную будку с уцелевшими буквами загадочной надписи «...асса», почти целехонький, с мешками цемента автоприцеп, бесследно пропавший, как сказывали,

позапрошлым летом... — все это, и еще очень многое, обильно покрытое мертвенно-серым каменеющим илом, в радужных соплях мазута, вперемежку с омутцами упорно невысыхающей дикой, дегтярно-черной грязи чрезвычайно нравилось созерцать Пепеляеву в редкие минуты досуга;

ему нравились дивные бугаевские вечера: эта жизнь в душных потьмах, это шуршание шагов по щиколотку в пыли, это воодушевленное агрессивское гундение во тьме неисчислимых комариных банд, это избытие первобытного мрака, опрокинутого на землю, и — жалостные огонечки, зажигаемые людьми, при виде которых становилось так пронзительно-неприятно-сладко, что одного только и хотелось: «Пусть погаснут они поскорее, к чертовой матери, огонечки эти! Пусть уж ежели мрак, так мрак!» —

и уж совсем пленен был Пепеляев бугаевскими днями-полуднями — с их слепяще-белым, ошарашивающим солнцем, грозно обрушенным на землю, с их обольстительной ленью, которая дружески вкрадывалась в каждый ничтожный суставчик, в каждую косточку-жилочку, рождая ни с чем не сравнимый, сладчайший паралич в членах организма, — от которого, в свою очередь, однотонное, успокоительное возникало жужжание в опустело-пыльной голове и этакая ломпен-разгильдяйская появлялась походочка, которой и бродил всласть Василий Пепеляев по Бугаевску, плетя в его пыли задумчивые синусоиды, плавные петли и затейливые загогулины, нелепые, если со стороны глядеть, и больше всего напоминающие те загогулины, петли и синусоиды, которые плетет одуревшая от зноя муха, с утра до вечера облетывая свисающую с потолка лампочку и все не решаясь почему-то присесть на нее...

Все, все это несказанно чаровало Василия. Для такой-то вот жизни был он, оказывается, рожден (знать бы раньше) — и ни для какой другой!

Плюс, не забывайте, «Блик-2».

Уже через день-другой стали попадаться Василию, числом все обильнее, бугаевцы мужского пола, то лбом приткнувшиеся к забору, то дерзкие кренделя выписывающие ногами и с песней, простой, как мычание, пробирающиеся домой, то одурело вопиющие что-то, в корне неверное из бурьянных невылазных трясин, то просто с вескостью и непреерекаемостью камней

возлежущих на пешеходных тропах и транспортных капиллярах Бугаевска.

С каждым днём их становилось все больше. Было ясно: пепеляевский почин подхвачен дееспособными товарищами из местного актива. Он растёт, ширится, зараза, и лазурный очиститель уже становится весомой, привычной и, можно сказать, излюбленной добавкой к ежесуточному рациону многих бугаевцев.

Несмотря на это, запасы «Блика» не иссякали и, судя по щедрости, с которой Липа-продавщица ежеутренне уснащала им витрину, иссякнуть должны не скоро.

Да, поэтически выражаясь, балдел Василий в Бугаевске. Перламутровой мутью туманилась день ото дня головенка его.

«Вот он, край! Вот он, предел обетованный! — нашептывал кто-то ему, нежный и ласковый. — Дальше — некуда! Дальше — незачем! Дальше — преступно, если ты не враг своему душевному равновесию!» — и не без успеха, заметим, нашептывал...

Вот вам яркочерночный пример.

Был у Василия до Бугаевска возлюбленный предмет для размышлений, некий дерзновенный проект-программа того, как в один прекрасный день он харкнет с небывальым дотоле чувством на родной порог Чертовецкого речного пароходства, повернется и пойдет — пойдет, никуда не заворачивая, ни с кем до поры не заговаривая, — куда глаза глядят! Прямоком к югу.

Ни до свидания никому не сказавши, ни чемодана не собравши, ни денег не накопивши, ни долгов не отдавши. Прямо так, как есть. И главное, что никуда не сворачивая, — по прямой линии — к югу.

Все у него было на этот случай обдуманно. Ночлег? Так в любой деревне в избу пустят, или он не в России?.. Пожрать? Так в любом колхозе, в любой шарашкиной конторе встретят Пепеляева с распростертой душой! Милиция? А чё — милиция? Не преступник вроде. И документы в порядке. И вообще, по конституции, сказывали, каждый может, куда хочет. В случае чего и соврать недолго.

В превеликое наслаждение впадал всегда Пепеляев, воображая, как идет Пепеляев по милой ему России — по пыльным дороженькам ее — молодой, свободный, налегке! Как выпивает где-нибудь с мужиками, неспешно беседуя о чем-то шибко

государственном, как спит у костерка или — в поле, в копешке сена, как привечает его на лесном каком-нибудь кордоне красно-прекрасная тихая вдовушка, глухонемая, как цепляет его ласково за плечи (удерживает, значит), а он, хоть и сам до ужаса не прочь остаться, все же уходит, непреклонный зимогор, ранним утречком, когда солнышко только-только еще подымается, кругом туман, роса блестит.

В несказанное волнение приводили его раньше эти мечтания. Он начинал вопросительно взглядывать вокруг, вставать-садиться, свет включать-выключать, мелочь по карманам пересчитывать. И словно бы глож в эти минуты. На все вопросы отвечал, как дурачок: «Ага. В общем, не упрекай меня, Прасковья...» — и смотрел, как из-под воды.

Кончались, конечно, эти святые беспокойства довольно быстро и всегда единообразно — бормотухой внутриутробно.

Так вот, в бугаевском целебном климате эта излюбленная мечта его разительно изменилась: словно бы от жары скукожилась, светленькой замшевой пылью как бы подернулась. Полета вдохновения хватало теперь ровно настолько, чтобы вообразить: вот он гордо плыет, вот он поворачивается, вот он бредет прочь... и прибредает в Бугаевск. (Его нипочем было не миновать — от Чертовца он строго на юг находился.) И на этом все заканчивалось. Ибо начинался здесь «Блик», начиналась Алина, несравненная перина, золотое обомление души. Тишайший, в общем, утомон всех дерзновеннейших поползновений. Всех и всяческих претензий светлейший упокой.

Очаровал Бугаевск Васю, в этом надо признаться. Нигде, понял он, не будет столь вольготно ему телесами, столь раскидисто душою, столь безмятежно мыслию — как здесь, в райцентре (от слова, несомненно, «рай») Бугаевск!

Этот золотушный, тихо большой городишко принял его — как полузабытого родного. Так полудремлющая на ходу, отупевшая от сонма забот многодетная мать с равнодушной ласковостью отворяет дверь блудному сыну своему, то ли двенадцатому, дай Бог памяти, то ли девятому по счету, а может, и вовсе чужому («Одним больше, одним меньше, пусть живет...») — так вот пустил его к себе этот город.

И точно так же — без всяких восторгов, ласково и безрадостно — приняла его Алина.

После дежурства на следующее утро объявившись, она, кажется, и бровью не повела, обнаружив в своей перине разнокалиберные, рыжим волосом поросшие мослы и прочие детали пепеляевской корпуленции. И даже обнаружив под одной из пяти подушек адски задыхающуюся, каторжно небритую рожу его, свистящую нефтяным перегаром, — не удивилась ничуть. Просто легла рядышком, скинув все с себя по случаю жары, в бок толкнула, сказав устало:

— Подвинься, что ли. Спать хочу, смерть.

Спросонья это даже обидно было услышать Василию.

Будто каждый день в ее перинах пепеляевы валяются!

Он принялся доказывать, что это не так, что он, не исключено, довольно редкостный подарок судьбы — тот самый может, принц беспортошный, о котором грезить полагается всем девушкам в бугаевской глуши, фильма насмотревшись «Рыдание большой любви» в двух сериях на ночь глядя.

Но — тщетны оказались его усилия.

Не было в Алине ни изумления игрой судьбы, повалившей под одно одеяло двух замечательных мокренских человечков, ни спасибочка фортуне-индейке, столь дивно перехлестнувшей их жизненные пути-дороги, ни даже законного смущения-возмущения фактом столь нахального пепеляевского вторжения... Будто все — было именно так, как и должно быть. И уже давным-давно началось, и давным-давно продолжается.

Василий, что ж, если не настаивали, не возражал... Все же, надо признать, мужское самочувствие его было задето. Грустно-понятно стало Василию: ежели, проснувшись, вдруг не обнаружит его рядом — белы рученьки заламывать, ой, не станет, серой горлицей на городской стене стонать, ой, не будет, на босу ногу к автостанции догонять, ой, не побежит!

Чайник поставит. Будет с блюдечка кипяток хлопать и в окошко зыркать: кто, куда, с кем и зачем пошел и что бы это могло бы значить...

Размышляя впоследствии о статусе своего пребывания в Алининой перине, Пепеляев чаще всего формулировал себя в виде этакого кота. (Он очень уважал котов, особенно помоечных. — за независимость повадки и презрительную к миру гордость.)

В самом деле, жила-поживала, скушные пряники жевала одинокая дева Алина. И вот приблудился к ней серый, дальше

некуда, кот Василий. На автобус якобы опоздавший. Тоже одинокий. Алина, конечно, православная душа, животную не выгнала. По шерстке погладила. В блюдечко молока налила. Живи, сказала, серый кот Василий Степанович, покуда живется! Ну а время придет, что ж — иди в свои кошачьи свояси! Где ж видано, чтоб кота, бездомного, вольнонаемного, силой можно было удержать?

Вот он и живет.

Она и разговаривала-то с ним, считай, как с кошкой. Ответов не ожидая.

Сидят они, к примеру, вечерком у открытого окна в надежде на ветерок, а она вдруг — ни с того ни с сего — в кисленький смех:

— Ну-у, Аннушка!.. Правду старики говорят: «В тихом омуте грязи больше». Этого-то, который с каверной, из второго отделения, поди ж ты! — охомутала! Сегодня межгород заказывал. Людмила, говорит, жене... За квартиру, говорит, не плати! На дочку, как договорились, с пенсии буду присылать, а за квартиру не плати! Не надо!.. Я-то сразу уж с линии отключилась, больно смешно стало, забоялась, что не удержусь. Не плати, говорит. Не надо... Вот-те и Аннушка!

Васькино дело котовское: слушай да ешь. А поесть она приносила. Иной раз даже с мясом. У ней подружка Лизка при столовой работала. Вот Алина и приспособилась.

Она и по гостям-то его водила тоже напоказ — как диковинного говорящего кота.

Приближение светской жизни Василий без ошибки определял по беспокойству, которое сквозить начинало вдруг во взглядах, исподтишка на него Алиной бросаемых.

Смешно говорить, но ведь это она — и з-з а н е г о, дуреха, беспокоилась! Как будто он когда-нибудь мог позволить себе в гостях что-нибудь слишком уж этакое: не к месту, например, матерное ляпнуть, или хозяйку не за то место ухватить, или, того хуже, нежное какое-нибудь блеманже приняться ножиком резать, вместо того чтоб — плоскогубцами его, как принято.

Начепурившись, переливчатое свое платьице надевши, Алина — этак по касательной, невзначай — говорила, будто бы даже и с зевотцой:

— Машутка чтой-то звала нынче... (И чего ей надо?) Пойдем, может, посидим?

Василий отвечал: ага. Сделать Алине удовольствие было для него одно удовольствие. Ну, а насчет того, чтобы бонтон держать, ослепительное впечатление произвести — это не Пепеляева было учить! Иные-многие и позавидовать могли бы.

Конечно, учитывая уровень, он о катаклизмах или безразмерности пространства не распространялся. Золотой латынью тоже не слишком старался брэнчать. Философов не касался. Изящную словесность, равно как и науку (в смысле перпетуум-мобиле), балет, целлюлозно-бумажную промышленность, паде-ние нравственности и проблемы рисосеяния за Полярным кругом — не трогал. Все же остальное — годилось вполне в тех задушевно-застольных файф-о-клоках с сушками, которым предавался Василий, ведя рассеянную светскую жизнь в Бугаевске.

(Ну вот вам первый попавшийся, с краю валявшийся пример пепеляевского красноречия на тех журфиксах.

— Вот вы, я вижу, думаете!! — вдруг вскрикивал он посреди томительного сидения у какой-нибудь очередной машутки-дашутки и пронзал ее перстом.

Дашутка тотчас начинала разоблаченно краснеть, потому что в тот момент действительно думала: «И за что, Господи! — думала, — этой дуре Алине такое несправедливое в женихах везение?!»

А Пепеляев не отступал.

— Точно! Думаете! Думаете, что проблемы интенсификации социологического спроса — это...где-то там... вас, в общем, не касается! Сознайтесь! Хотите пример? Не-е, честно! Хотите пример? И я вам докажу, как апельсин, что — эфмерность! Не больше. Но — и не меньше!

Так вот. Слушайте. Года три назад. Идем спецсовсекретным рейсом: Донецк — Чертовец — остров Зеленого Мыса. Я тогда в ракетно-десантных войсках служил... Идем. И вот я замечаю на экране аэробуса-осциллографа некий подозрительный континиум. «Континиум» — это, в общем, слово такое... Адмирала подзываю. Тот ничего не может понять. Моторист вглядывается — только головой крутит. Тут же, заметьте, собачка крутится. Почечуй ее звали. В море к нам приبلудилась. Почечуй на экран глянул да ка-ак вдруг завоет! Адмирал, смотрю, с лица сбледнул, ручку на плечико мне кладет, еле-еле говорит: «Спол-

ной, Пепеляев... Как сумеешь...» — а сам по стеночке, по стеночке — в кают-компанию коньяк пить.

Мы — кому страшно, держитесь за стулья! — в Бермудский треугольник вляпались! А вы говорите...

Ну, о летающих тарелках, надеюсь, вы в курсе? Кто не знает, тому поясню: тарелки эти аккурат в том треугольнике и ночуют. В общем, не упрекай меня, Прасковья...

А теперь — от конца возвращаясь к началу — хочу спросить: в старину тарелки летающие были? бермудянские эти треугольники были? Нет. И еще два раза — нет! А по-о-чему?

(Тут следовала пауза, от которой сомлел бы и сам основатель системы Станиславского.)

Не можете ответить? Ничего удивительного. Тогда попробуйте на другой вопрос: «Почему вы в бугаевской церкви трикотажные кальсоны вяжете?» Ну?! Жду ответа! (Не кальсоны? Это не важно.) Вот и получается, милые-дорогие граждане судьи, что бабка какая-нибудь старая, или мужичок с похмелья, или пионер перед ответственным диктантом — они, может, и хотели бы (на пару минут, не больше!) в культурное местечко забежать, на картинки-иконки полюбоваться, вообще в холодке постоять! Ан нет! В этом культурном месте вы (пронзительный перст в дашутку!) — голубые трико вяжете! Не трико? Это не важно.

Клизьмы у вас нет? Не-е, честно! Клизьмы в доме нет? Жаль, а то показал бы я вам наглядно, как в планетарии, что такое есть вакуум. Ва-ку-ум! Из-за него бабка ваша бугаевская, темная, глядишь, уже и на летающую тарелку молится. А не летит летающая — так на простую крестится! Потом начинается, как видим, поклонение сервизам, а потом — гарнитурам, телевизорам, прочим идолам и волхвам. И мы имеем тогда что? Не-е, честно! Мы имеем — что? Разгул обывательского мещанства! Правильно. А почему? А потому, что вы (палец в машутку) думали, что интенсификация социологического спроса вас не касается. Ну и так далее.)

Вешая на уши благодарных слушательниц вдохновенную лапшу своих импровизаций, замечал Пепелев, что смотрят они на него — словно бы даже коченея от уважительности. А Алина, между прочим, тоже. И чуял Василий в такие звездные моменты, что, возможно быть, не совсем кошачье место отведено Пепеляеву в сумеречной Алининой душе. Вот только хорошо ли это, плохо ли — никак не мог сообразить. Все-таки надо признаться

честно: жениться в Бугаевске он не шибко торопился.

Водили его и на танцы. Тоже, понятно, напоказ.

Тут какая-то совсем уж загадочная деятельность затевалась вокруг Пепеляева.

Алина прислоняла Васю к ограде в месте, не чересчур светлом, но и не вовсе темном, говорила:

— Постой маленько-то... без меня-то не уходи, — и пропадала на время.

Амплуа свою Пепеляев нашел быстро. Амплуа называлась: «Столичная штучка Пепеляев проездом в Бугаевске».

Морда то есть слегка от скуки прокисшая, ножки сикось-накось, а взгляд — надменный, как у тухлого хариуса.

Гремела музыка. Вовсю, покуда сами с собой, веселились барышни.

Угрюмой стенкой, как в оцеплении, теснились по периметру топтушки бугаевские кавалеры. Все они как один в белых рубашках. (Своя униформа была и у хозяев танцплощадки: синенькие с беленьким спортивные костюмы — так что когда туберкулезники собирались в кучу, они вполне походили в темноте на какую-нибудь олимпийскую сборную.)

До третьей пластинки царило вокруг Пепеляева сплошное хихиканье и скука стеснения. Потом, вира помалу, настроение подымалось. Бугаевские приподымали его в окрестных кустах с помощью, судя по запаху, все того же славного очистителя. Олимпийцы же — раскочегаривались сами собой, от взаимного трения.

И вот — врбали наконец любимое Васино «Ай-дули-ду!» (потом его заводили через раз), и развеселые туберкулезники, распоясавшись, принимались беззастенчиво казать селу, как нынче пляшет город.

Поселяне, себе на уме, одобрительно погогатывали и согласно перенимали опыт, норовя заполучить учительшу пошустрее. Трикотажная половина пляшущего Бугаевска вела, натурально, свои изощренные боевые каверзы против мужской олимпийской сборной.

Танцевала Алина или не танцевала, Пепеляев не видел. Но возникала она из окружающей тьмы рук, ног, веселящихся голов всегда словно бы даже запыхавшаяся. Непременно волоча за собой какую-нибудь из подружек.

— А это — Вася! Василий Степанович. Я говорила тебе...

Василий Степанович напускал на себя еще пуций вид. Начинал барственно покряхтывать, бубнить нечто невнятное:

— Мда... Рад... Очень мило... Приятственно...

Постояв этак возле него с минутку, Алина щебетала подружке:

— Ну что? Побежали? — и они убежали.

...А то подводила каких-то полунемых обалдуев, которые непонятно-дружески, прямо-таки родственно улыбаясь, руку принимались жать со значением, спрашивали всегда одно и то же и всегда с одной и той же усмешкой:

— Ну, как тебе тут у нас?

Василий скучающе морщился, а отвечал многосмысленно:

— Что ты! Мечта бильярдиста! — после чего обалдуи окончательно уже не знали, что говорить.

Распростившись, кое-кто из них возвращался, клал руку на плечо, по-мужски скупно ронял:

— Молодец. Понимаю. Алина — баба во!

Васе и здесь было замечательно.

Ай-дули-ду заводили. Долгожданная смычка города с деревней успешно свершалась — иной раз в близлежащих кустах, любо-дорого было смотреть.

Любо-дорого было и вот так просто стоять, изображая перед благородной бугаевской аудиторией невесть что: то ли графа Монте-Кристо, до срока чесанувшего с лесоповала, то ли зажиточного плантатора-расиста на невольничьем предпраздничном базаре, то ли самого себя — то есть чайльд-гарольда Васю, слегка утомленного светской мишурой и очистительным «Бликом».

Алина, словно дите малое, радовалась танцевальной жизни. Порхала — прямо Наташа Ростова — вперед-взад! Медное колечко (в потемках — совсем как золотое) то появлялось, то исчезало на безымянном пальчике правой ее руки.

Пепеляев, понятно, понимал, что имеет кое-какое касательство к этому празднеству ее души. И удовольствие от этого получал, чего уж скрывать.

С танцев они уходили всегда раньше, нежели остальные разбредались по окрестным буеракам. И право слово, душа

радовалась смотреть им вслед: уж больно хороша была парочка!

Василий... ну, о Василии и говорить нечего... И — Алина — как сияющая девочка-толстущечка, с обручальным колечком на пальчике, в свеженьком парманентике, вся такая наскрозь счастливая! — воплощение, можно сказать, тихой и нежной покорности судьбе, которую она взяла за рога...

Вообще надо сказать, что Василий жил в Бугаевске довольноно активной культурно-массовой жизнью. За время своего пребывания здесь он четырежды посмотрел с Алиной «Рыдание большой любви» (неумолимо засыпая на середине первой серии); дважды посетил Зеленый театр: один раз заблудившись, а второй раз — чтобы показать салагам из «Ай-люли», как надо бацать цыганочку; прочел околوماгазинному люду пяток лекций-воспоминаний о том о сем; заглянул в книжный ларек, где в предвиденье принципиально новой жизни спер по случаю книгу-пособие по паркетному делу; купил Алине мешок картошки, но — главное! — отпустил бороду и обрился наголо.

Поскольку из всего перечисленного именно последние деяния имели для Василия довольно катастрофические последствия, мы расскажем об этом подробнее...

Однажды утром Василий по обыкновению проснулся. Проснулся и, по обыкновению, пошел в город. Ничего не предвещало.

Там, возле магазина, у Василия, конечно, завелись кое-какие знакомцы, но компании, честно сказать, в высоком значении этого слова, увы, не складывалось.

Во-первых, конечно, потому, что бугаевцы оказались чересчур уж тугодумное и на разговор угрюмое племя, а во-вторых, очиститель лазурный был настолько чудесно дешев, что никакого финансового смысла сбиваться в коллектив люди не видели: каждый отравлялся в одиночку, хотя и поблизости друг от друга.

И все же каждое утро около магазина Васю Пепеляева с нетерпением и горячей любовью ждали.

Местные собаки ежеутреннюю встречу с чужестранцем Васей уже почитали, судя по всему, за непрменный пункт своей программы жизни. Часам к десяти они уже чинно сидели возле магазина — фронтом к улице, на которой Пепеляев должен был появиться, — и, блюдя верность ему, ни в какие сношения с посторонними не вступали.

Он кормил их вафлями. Темн, что в олифе. Собаки были довольны. Премного благодарна оставалась и Липа-продащица, списавшая два ящика этой отравы еще месяц назад.

Собак было пятеро. Агдам, Вермут, Рубин, Кавказ и предводительница их — Елизарыч, тоже сука с усами.

От вафель они с непривычки икали. Но, закончив трапезу, благодарно и дружно провожали кормильца до спуска к причалу, куда после магазина всенепреренно направлялся Василий. С преданной слезой во взоре смотрели они ему вслед, мотая хвостами, а потом вдруг — как по команде — враз куда-то пропадали по неотложным своим быстротекущим делам.

На причале было безлюдно. Да и мудрено ли: Шепеньга, будто где-то в верховьях перекрыли вентиль, мелела с каждым днем все стремительнее и бесстыднее.

«Теодор Лифшиц» по всем расчетам Пепеляева уже давно сидел на мели где-нибудь в двадцати морских верстах ниже по течению.

Незачем кривить — Василий никак не переживал за свою родную самоходную баржу и за свой, не менее родной, коллектив. И уж конечно же! — никаких нехороших предчувствий в душе не имел... Но — странное дело — каждый раз, когда сидел он на опустелом причале, что-то этакое посещало его. Чувство вины не вины, тоски не тоски... — черт знает, хандры какой-то, в общем-то приятной, одолевало его тут.

Он, можно подозревать, за ней-то, за хандрой-меланхолией, и являлся сюда ежеутренне. Этакий грустный, как на вокзале, о чем-то возвышенном размышляющий, он, без сомнения, был странен себе. Но не без приятности.

Вот и в то утро, когда ничего, казалось, не предвещало, посидел с полчаса на кнехте, поплеывая в гудронно-черную жижу у причала, поразмышлял маленько о том, о сем и обо всем вообще. Ну, может, чуть подольше посидел. Ну, может, чуть побольше поразмышлял. Ну, может, чуть более кучерявый протуберанец возрос в тот момент на солнце и потому чуть язвительнее припекло тыковку-его-маковку...

Короче — врубился Василий черт-те через сколько времени и черт-те где! И это — в Бугаевске, который он уже на второй день знал, как собственную ширинку!

...Лежит под забором — ей-богу, даже перед бугаевцами совестно! — прямо-таки персонаж с агитплаката великобаш-

кинского общества трезвости: «Алкоголик? Калёным коленом — вон!!!»

Одна ноздря в песке дышит, из другой — аленький цветочек торчит. То ли сам возрос от мерзкого пьянства, то ли детишки украсили.

В одном кармане, слава богу, пузырек не разбитый. Зато в другом — пригорошня ржавых гвоздей.

В волосах — репьи, коровий навоз, ну это ладно... Так ведь на голове и еще кое-что, совсем уж несуразное — веночек из колючей проволоки!

И — полнейший мрак позади! Что вытворял? Где концертировал?

Если веночек, то вполне возможно, что по Шепеньге, как по суху гулял. Или — возле магазина на потребу алконавтам воду в портвейн обращал. (Но это — вряд ли, морда вроде бы не бита...)

Еще, может, цианистый калий на спор ложками жрал. (Жульнический, конечно, номер. Никто же не проверяет, цианистый калий у тебя в банке или просто негашеная известь.)

А то, вполне возможно, его после причала опять в «Свежий воздух» носило? Может, опять там колобродил? Чудесные исцеления... магнетические превращения палочек Коха в витамин ВВ, с помощью флюорографии и очковтирания... изгнание чахоточного беса-вируса из грудей молодых туберкулезниц методом рукоположения... Черт знает какие постыдные, а может, и преступные дрова наломал он за период своей черной отключки!!!

И по обыкновению, очень стыдно ему сделалось.

Аленький цветочек с отвращением из ноздри вырвал и, понюхав, отшвырнул прочь.

Пригорошней гвоздей (к тому же еще и гнутых) в прохожего петуха запустил.

Терновый ржавый свой венец близсидящему мальчику-сопляку кинул, сказав строго:

— Носи! И даже в бане не сымай!

Мальчик сидел в луже — то есть в бывшей луже — и старательно, хоть и машинально, посыпал себя по плечам пылью, зачарованно глядя на Пепеляева многодумными анилиново-синими очами.

Венок он проворно подобрал, на белесую голову нахлобучил. Снова принялся обсыпать себя пылью, наблюдая, как Василий

извлекает из кармана синий пузырек, как осторожно, словно взрыватель, отвинчивает пробку...

— Цветок это ты мне в ноздрию удумал? — спросил Пепеляев, на глазах веселея.

— Не-а... — громко прошептал мальчик, — это — Колька.

— А тебя как звать?

— Колька.

— Цветок мне в нос засунул Колька... — раздумчиво проговорил Василий. — Тебя звать Колька. Следоват, что?

— Это другой Колька! — торопливо уточнил мальчик.

— Ага. Другой. Какой-такой другой? Проверим. Как твоего отца зовут?

— Колька, — удрученно сказал мальчик.

— Ага. Ты стало быть, Николай Николаевич. А у того Кольки как отца зовут?

— Колька.

— Ага. Стало быть, тоже — Николай Николаевич. И что же выходит, граждане судьи? Цветок мне в нос засунул Николай Николаевич. Тебя звать Николай Николаевич. Следоват, что?

— Это другой Николай Николаевич, — прошептал мальчик, и слеза засветилась в его глазу.

— Ага. Какой-такой другой? Проверим. Как твою мать зовут?

— Пилять.

Пепеляев поперхнулся.

— Это кто ж ее так называет?

— Батя.

— Ну а у того Кольки как мать называют?

— Тоже Пилять, — убито признался мальчик и заплакал под давлением неопровержимых улик.

Пепеляев зевнул.

— Устал я с тобой разбираться, батя. Это — Бугаевск?

— Бугаевск, — все еще плача, горько ответил мальчик.

— Ты не реви. Я тебя, считай, простил. И заодно всех остальных Николаев Николаевичей. Когда вырастешь, кем будешь?

— Туберкулезником, — застенчиво прошептал мальчик.

— Башка варит, — одобрительно сказал Василий, — «Свежий воздух», процедуры, танцы... Молодец! Я сосну тут маленько, а ты меня через сорок восемь минут разбуди. Мне еще на пленуме этих... паркетчиков выступать... (Василий неудержимо зевнул.)

Доклад, правда, опять не написан... Ну да я уж как-нибудь так, без бумажки...

— Друзья мои! Прекрасен наш союз! — заорал Пепеляев что было силы и позвонил в рынду. — «Теодор Лифшиц» — флагман нашего речного пароходства, держащий ныне путь в Чертовец, светлый символ и надежду всего развивающегося человечества, уполномочил меня. Ура, товарищи! И я безмерно счастлив. Ибо... И поелику возможно... И не случайно... С самого раннего своего трудового босоногого детства, с младых его когтей, едва вымолвив «агу-агугусеньки», я уже принадлежал — душой, телом всем, чем хотите! — нашему славному сласловию. Ведь, если вдуматься, если перестать жрать в рабочее время политуру, паркетный лак, а заодно и клей «БФ», — на какой ответственный участок швырнула нас историческая необходимость! Чего — ура, товарищи! — ждут от нас бесчисленные народы нашего угнетенного Земного шара?! Паркет, товарищи, нужно драить с подобающим моменту времени, требующем от нас. Не для тех, кто готов цельными вечерами в вихрях жутко — американских буги-вуги, тружусь вот я — простой, советский, скромный, не шибко грамотный и вовсе ничем не замечательный (зря выступавшие до меня товарищи так уж, чересчур уж, слишком уж возносили хваленые мои достоинства и недостатки...) Нет! Не для этого! Безжалостно, раз навсегда циклевать еще встречающиеся на нашем паркете усыпанные розами недостатки! Свинощетиными щетками, недавно поступившими в продажу изделиями из синтетического волокна, суконками, бархотками — вот наша задача, товарищи, на текущий момент! Задача — нелегкая, но очень благодарная. И не нужны нам — честно заявляю! — презренные, как говорится, барашки в кармашке! Не нужны унижающие достоинство подношения в виде стаканов вина, бутылок (противно и слово-то произносить!) водки, ведер самогона, цистерн спирта, океанских танкеров с брагой!.. Я, честно признаюсь, недавно ходил в кино. (Одобрительный смех в зале.) Так вот, вы тоже, наверное, помните. Белогвардейская морда. Руки — по локоть в трудовой крови! Бородища! Сначала — смешно, правда? — с такой бандитской рожей и танцует. Но не танцует он, нет! Он — натирает — паркет! А полковник, босая голова, в это время на пианино сонную сонату играет. А потом, как вы помните, берет наш брат-паркетчик пресс-папье-промокашку и лысому тому гаду, колчаковской той гниде заокеанской

по затылку — хрясь! Ура, товарищи! А сам — шась! — и к Василию Ивановичу Чапаеву...

Вот такая, друзья мои, профессия наша — благородная, опасная, трудная, но и неплохо, чего уж скрывать, оплачиваемая. И я с высокой колокольни этого плenums уполномочен заявить: хоть режьте меня, хоть ешьте меня, но после окончания неполной средней школы на веки вечные уйду в паркетчики! Ничего мне больше не надо. Закончу же я по традиции пением любимой нашенской песни: «Не нужен мне берег турецкий, товарищи! И Африка мне не нужна!» Ура, товарищи! До скорых встреч в эфире... — и тут он, не дождавшись даже овадий, пробудился, поскольку недалеко грянула музыка.

Мальчик по-прежнему сидел в пыли и плакал.

— Опять ревет... — удивился Пепеляев. — Это где хулиганят?

— В доме приезжих. Только это не хулиганят. Это музыка такая.

— Не учи ученого, — строго сказал Василий. — А то я будто бы в филармонии не состоял. Почему плачешь?

— Да... Сказали, через сорок сколько-то минут разбудить, а я только до девяти считать умею!

Перед ним в пыли действительно начертаны были какие-то черточки.

— Ладно, счетовод. Пойдем проверим, по какому-такому праву в курортном Бугаевске нарушают тишину. И горе им, если нет у них специального на то мандата!

— Не надо! — вдруг снова заревел счетовод. — Они хорошо играют!

— Тьфу! У тебя что? — трудное детство, что ли, что ты плачешь каждую минуту? У меня тоже трудное, но я, как видишь, терплю.

Музыка доносилась из кособокого, в шелудивой побелке барака, нелепым углом выпершегося чуть не на середину улицы.

Вид у барака был нежилой и запустельный — несмотря на развратно накарябанную по стене надпись — «ДОМ ПРИЕЖЖИХ» — и рваную занавеску в горошек, нервно трепещущую в одном из окошек.

Музыка орала о себе оттуда.

О, что это была за музыка! Вопль обиженной души, гармонические стенания пересеханного железной жизнью человека!

...Она родилась, эта музыка, в какой-то слепой, одурело-желтый от жары, пыльный бугаевский полдень. В заукокойной душной тиши мертвецки уютного металлоломного кладбища — много там было наворочено, до небес, изуродованного, коверканного, мстительно-вывихнутого, сплющенного, измордованного железа! И какой-то жеванный жизнью человек — торопливым тайком пробрался сюда, волоча за собой жидконогий стульчик и по́ло громахающую, нелепую здесь виолончель. Уселся и стремглав принялся елозить смычком по горько вдруг возопившим струнам — гримасничая и страдальчески скалясь в певучих местах и, наоборот, нежно улыбаясь, когда звуки принимались стервенеть... Эта музыка... эта музыка была — как издевка над в с е м э т и м, как сладкое измывательство над собой, вздумавшим, видите ли, музицировать в этом мире — в ржавом запустении этом, в окаянной этой глуши, неизвестно кому, неизвестно зачем!

...Если бы арестантам, смеха ради, вздумали выдавать виолончели, то единственный обитатель «дома приежжих» был бы вылитый арестант. Камера у него была соответствующая, да и внешний вид (если обойти вниманием прическу) будил ассоциации каторжные. Полосатая пижама была на нем, нос преступным баклажаном, а мебели и имущества: койка да табурет, на котором он сидел и очень потел, тщетно перепиливая смычком инструмент. Прилагал он к этому такие усилия и так пыхтел, что Василий, глянув на него в окошко, одобрительно сказал:

— Годится! Этот на лесоповале не пропадет...

Пепеляев (как мы, кажется, отмечали) любил, чтоб — культурно. Поэтому он не стал торопиться со знакомством, а сел под окошком в пыль и с меломанским видом затворил очи.

Музыка ему нравилась.

Что надо, качественная была музыка!.. Про Васькину жисть-жестянку никудышную. Про кислую судьбу-нескладеху, про Лидку-стерву. Про прекрасную девушку Грушу, задумчиво стоящую в очереди за ливером. Про тучи пыли над бугаевскими улицами, когда на закате гонят коров, а где-то пиликает гармоника, и кто-то уже врубил на полную мощность «Ленинский университет миллионов» по телевизору. Про вкус ананасных вафель с олифой, про трясущихся бичей у магазина на рассвете, про бедный блеск Алининого медного колечка в толчее танцулек... — про все это и еще про многое другое играла музыка,

и Василий, вспомнив, что не отдал бабе Нюсе-сторожике рубль сорок, встал с залитым слезами лицом.

— Кореш! — только и мог вымолвить он. — Покажи!! Падлой буду, научусь! — и полез через подоконник в комнату. — Я им, гадам, такую каприччиозу про Пепеляева сбациаю!! А «Цыганочку» — можешь?

Музыкант смотрел на него, слегка окоченев, двумя руками обнимал-прижимал к себе виолончель. То ли защищал, то ли защищался.

— За что тебя? — сочувственно поинтересовался Пепеляев. — Ладно. Если не хочешь, не говори. — Пробежал по комнатенке, постучал по стенке (с нее тут же снялся здоровенный пласт побелки), сел на пол, но тут же вскочил и протянул руку:

— Пепеляев! Меня. Вижу: хочешь выпить!

Музыкант откликнулся с запозданием:

— Христарадис. Леонид.

— Ленька?! — не поверил своим ушам Василий. — То-то я смотрю, рожа знакомая! Это ж про тебя расклеено: «Разыскивает милиция»?.. Да шучу я, шучу. Ишь ты, уже обиделся... Я тебя тоже давно разыскиваю. Все спросить хотел: плотют вам как? Повременно или — с каждого билета отчисляют?

— Если бы — с билета, — усмехнулся Христарадис, — то я бы давно без штанов, извините, остался.

— Извиняю... Но ты и сейчас, считай, в одних кальсонах. Человек по десять посещают?

— Три. Вчера было три.

— Не бэзай, Ленька! — вдохновился вдруг Пепеляев. — Мы сегодня с тобой в «Свежий воздух» пойдем! На таңцы! Там народу — навалом! Сыграешь им, что сейчас мне играл, — тебя оттуда на руках унесут, не то что на носилках! Заметано?

Ленька с горечью усмехнулся, отчего его баклажанный нос свесился еще унылее.

— Понимаю, — нахмурился Пепеляев. — Простой народ презираешь, понимаю. «Цыганочку» для меня сбациать не хочешь. Выпить со мной тоже отказываешься. Так?

— Совсем не так! — всполошился Христарадис.

— А анонимку от лица общественности не хочешь? Чтобы тебя быстренько на лесоповал определили в порядке шефской помощи, а?

— Я на картошку уже ездил.

— Картошка не в счет. Сейчас в повестке дня самое главное — лесозаготовки. Поедешь.

— Не поеду, — сказал Христарадис и побледнел.

— Поедешь, — ласково улыбнулся Пепеляев. — Если только мне «Цыганочку» не сбавишь...

— Не буду играть «Цыганочку»! — нервно заорал Христарадис. — Не поеду на лесоповал! Я — музыкант. Я уже был на картошке! Хватит! Кто вы такой? В тельняшке, босиком забираетесь ко мне через окно и хотите, чтобы я вас слушал?!

— Загордился... — грустно сказал Пепеляев. — К нему теперь босиком уже не зайти... Вознесся! И поэтому — выпить тебе я не дам! Вот здесь в ногах будешь валяться, контрабас свой предлагать, а я — не дам ни глоточка! Потому что Пепеляев — человек из принципа!

Христарадис неуверенно улыбнулся. Он только сейчас подумал, что этот босоногий в галифе уголовник, может быть, пожалуй, шутит.

Пепеляев опять уселся на пол. Потрогал батарею, недовольно отметив: «Опять не топчут». Извлек пузырек. Глотнул, затем снова не поленился — поднялся.

— Эх, Ленька! Губит меня доброта! На, глотни пару раз! — и ткнул пузырек ко рту виолончелиста. Тот не посмел отказаться. Да если и посмел, не сумел бы увернуться.

Лишь через полминуты он сумел возопить в ужасе, хватая воздух распахнутым обожженным ртом:

— О-о! Что это?? Какая гадость!

Пепеляев гордо показал этикетку.

— Но ведь это же не пьют?!

— Пьем все, что горит... Не-е, Леньк! Я серьезно. Пойдем сегодня на танцы! Народ измучился! Ждет тебя, Ленька! Не поверишь, целными вечерами одну «Ай-дули-ду» заводят! А тут, представляешь? — выходишь ты! Молодой — что ты! Красивый — ах-ах! В пижаме, во фраке!

— Хорошо, — хитро сказал Христарадис. — Но мне нужно сначала порепетировать, подготовиться...

— Понимаю, — мрачней сказал Пепеляев. — Мешаю. Я его поил-кормил... Он на мои трудовые кровные денежки в кружках занимался, в филармониях, в дворцах культуры. И вот он, эффект отдачи! Я, оказывается, ему уже мешаю!.. Хорошо! Как фамилия твоего начальника? Я ему — живо! — заявление от лица

народа, шестьдесят четыре подписи! Он тебя враз в балалаечники понизит! Так и будет. Учти это, Леня... — закончил он, спокойно вылезая в окно, — если в двадцать нуль-нуль по Фаренгейту ты не придешь на танцы. Ура, товарищи!! —

и спрыгнул с глаз Христарадиса долой, как мимолетное и жуткое видение.

— Николай Николаевич! — завопил он, приземляясь на четвереньки.

Мальчик возник.

— Беда! Стыковка произошла ненормально! Горючее на исходе! Где я, Коля?

— В Бугаевске... — готовясь заплакать от жалости, ответил мальчик.

— Где магазин? О, почему я не вижу магазина?! Дай руку, Николай Николаевич! Буксы горят! В илломинаторах темно! Я заблудился в просторах Вселенной, Коля! Один-одинешенек, без капли горючего! Куда ты меня ведешь?

— В магазин, вы сказали.

— Правильно! Он — единственный ориентир в этой безвоздушной темноте! Где мы идем, мальчик Коля? Темны илломинаторы мои...

— Здесь дядя Слава живет.

— Припоминаю. Это — тот самый, у которого крыша из оцинкованного серебра и дочь-красавица-посудомойка?

— У них тараканы дрессированные, — сказал Коля, — с потолка в молоко сигают. А в квас — нет.

— Молодцы тараканы! — одобрил Пепеляев. — А это чей дом? Плохо видно на экране осциллографа...

— Дед Кондрат.

— Ну, конечно же! Как же я забыл?! Я ведь ему полтинник по старым деньгам должен — перед полетом занимал. Ну, ладно. На родную голубую прилечу, получку получу, отдам... Он все такой же — без ноги?

— У него две ноги, — покосился мальчик на Пепеляева. — Вы забыли.

— Значит, выросла. Я долго отсутствовал, мальчик Коля. Наверное, за это время медицина сделала в Бугаевске семимильный шаг. У нас там, в галактиках, кто хорошо работает, тому год за три идет. Да я еще маленько заблудился в этих, коридорах

мирового здания... в лабиринтах, проще сказать. Так что, пожалуй, и не узнает меня дед Калистрат, как думаешь?

— Его дед Кондрат звать,— напомнил мальчик.

— Ну, вот... Он не только, оказывается, ногу отрастил, но еще и имя успел поменять! Течет время! Ой, неравномерно течет, брат Коля! А небо-то, погляди, над Бугаевском в алмазах?

— Не знаю,— не зная, что ответить, ответил мальчик.

— Ба! А это никак мой молочный брат Джузеппе Спиртуозо идет! Или мне опять неправильные выписали пенсне?

— Да Ванюшка-грузин это! — с досадой воскликнул Коля. — Они баню у нас шабашкой строят.

Впереди, подняв воротник телогрейки, уныло загребая пыль кирзовыми сапогами, глаза опустив долу, брел очень печальный человек.

— Вот он-то мне и нужен! — обрадовался Пепеляев. — Вот его-то я и ищу по всему Бугаевску!

Они быстро догнали телогрейку. Человек был худенький, маленький, но с пожилыми усами.

Пепеляев оскорбительно-вежливо предпринял разговор.

— Будьте любезны, скажите, пожалуйста, если вас не очень затруднит, как мне в магазин пройтись?

Мальчик испугался таких жутких слов и заплакал:

— Не надо, дяденька! Я сам покажу!

Усатый мальчик посмотрел на Пепеляева скорбно. Зауспокойным голосом ответил:

— Пойдем вместе, дорогой. Я тоже туда иду, — и вздохнул: — Вах!

— А скажите, пожалуйста,— продолжал Вася,— если, конечно, это не секрет... Не шибко ли вам тепло в телогрейке?

Усатый посмотрел еще печальнее.

— Что жара, дорогой? Тьфу! — хотел в подтверждение плюнуть, но передумал и вздохнул снова: — Вах!

Пепеляев не унимался.

— А еще мне скажите, пожалуйста. Прямасть, как интересуется общественность: как нынче Фенька поживать изволют?

— Плохо Фенька изволит. Плохо, дорогой. На, прочитай! Вслух поймешь. Как я, вздыхать будешь... — И он протянул Василию смятую синюю телеграмму.

Там рукой телеграфистки было написано: «Чертовецкая область, Бугаевский район, строитель-шабашка Ваню Дурдомишвили слушай что родители говорят последний раз отец мать предупреждают не будь ишак не позорь отца убьешь мать никто руки не протянет»

— А ты говоришь «жарко», дорогой! Тут — жарко! (Ванюшка ударил себя в грудь.) Тут — горячо! Как огонь горит! (Он стукнул себя по голове.) Сейчас вина выпью, храбрый стану, пойду в речку топиться. Сразу прохладно станет.

Он забрал телеграмму, опять сжал в комок, сунул в карман.

— Ты, парень, не это... — забеспокоился Пепеляев. — Не достанешь ведь вина. Даже и за грузинские деньги...

Ванюшка небрежно махнул рукой.

— А-а! Ребята рассказали. Хороший человек приезжал — совсем как ты, тельняшка, — народ научил... Этот... чистимблистим покупай в магазине, пей на здоровье, голова как у барана будет!

— Господи! — вскричал тут Вася с неподдельным возмущением. — Да знаю я этого «хорошего человека»! Вредитель он! Он соседскую собаку и жену родную Лидку очистителем этим в одну могилу загнал! Он Антантой подкуплен, я знаю, по России ездить и дураков к «Блику» приучать!

— Блик! Правильно говоришь! Лучше, чем коньяк. Голова как у барана становится.

Пепеляев продолжал орать:

— Да ты знаешь, Ванька, что этим самым «Бликом», когда чистить нечего, поля опрыскивают?! Сорок три года земля не родит после этого — ни травиночки, ни букашечки! Ты (уж если решил) вот как делай: напиши записку, шваркни пару пузырей этой гадости гербицидной и просто так помирай, в страшных муках, без всякого утопления!

Тот необыкновенно обрадовался:

— Спасибо, дорогой! Хорошо научил! Никому не скажу, а тебе скажу: боюсь топиться. Плавать не умею... Так и сделаю. Записку только писать не буду (плохо грамотный, смеяться будут). Телеграмму прочитают и так поймут. Два пузырька (нет, четыре!) выпью, глаза закрою, Феньку вспоминать буду, умирать буду. Спасибо, дорогой!

Пепеляев сразу повеселел. Не любил он, признаться, когда в его родной красавице Шепеньге посторонние люди топятяся.

Николай Николаевич, забытый мальчик, брел за ними, отставая на пяток шагов, — в жгучей надежде, что они все-таки заблудятся и полосатый дядя снова призовет его на помощь.

Не сказать словами, как нравился ему этот поднебесно-длинный, с пузатыми ногами, с лицом, как у доброй, немножко пьяной небритой лошади, весь в костях и болтающийся на ветру, как чучело на огороде. У него даже в скулах кисло стонало, так нравился он ему!

Куда там отцу, который, кроме: «Ну что, сволочь? Вверх растешь?» — ничего и не знал.

Однако они не заблудились. В магазин вошли, вышли и пошли в «Свежий воздух». За ними поплелся и мальчик. За мальчиком неспешной бандитской походочкой двинулись и пятеро собак, которые случились в это время возле магазина и видели, как их кормилец Вася Пепеляев в магазин вошел, вышел и куда-то опять пошел, конечно же неся в карманах несравненные ананасные вафли с олифой.

Ванюшка-грузин и Пепеляев сели в тенечке, под деревцем, к которому было приколочено: «А ты не забыл плёвку?» — и молча начали пир.

Собакам раздали вафли. Дали и мальчику. Он съел одну, его с непривычки вырвало, он тут же вспотел и заснул.

Псы, крохоборствуя, услаждались вафлями. Взрослые ахали, кричали и содрогались в борении с «Бликом». А мальчик уже спал.

...Он спал благодарно и легко, весь подавшись лицом в предвкушении снов, и полупрозрачная тень листвы осторожно пошевеливалась на его щеке. У него были светлые, почти добела вытравленные солнцем волосы — жесткие, коротким торчком, как щетинка, — хранившие гнусные следы от неумелых, тупых, пренебрежительных бабьих ножниц, придававших его голове какой-то очень уж вшивый, беспризорный вид; у него был нос — уже вполне определившейся бульбочкой, носопырками бодро вперед, весь засыпанный конопушками, и, должно быть, так нещадно сжигаемый изо дня в день солнцем, что слупившаяся кожица не успевала нарастать и от этого имела вид малиново-воспаленный, болезненной на посторонний взгляд ссадины; под носом, как полагается, нежно-салатовая подсыхала сопелька; губы — поскольку он ими почти неслышно, но натужно попыхивал — были отклячены и будто бы сказать кому-то хотели

«бу», толстоватые, никакой формы, с янтарной корочкой заеда в уголке, они хранили, казалось, всегдашнюю готовность к обиде, к горьким слезам, которых немало, видно, проливал за день этот человек, если судить по черным потекам на щеках, шее и даже за ушами.

Он был облит загаром, как глазурью. Будто его, осторожно держа за пятки, к примеру, аккуратно обмакнули в шоколад, подержали, дав шоколаду стечь, и не вполне обсохшего снова пустили играть в пыльные, соломенные детские игры. Он был одет в голубую когда-то, а теперь до грязного бела выгоревшую маечку, аккуратно заштопанную на боку (что казалось странным, учитывая его захолустный, беспризорный вид), и черные, видимо отцовские, сатиновые трусы, которые выглядели на нем, как коротковатые штаны. Ноги его были обуты в крутлоносые кожмитные сандалии, верх которых, как водится, был мелко, клеенчато растрескан, мысы нещадно облуплены, подошвы же казались сделанными из гладко полированного, невероятно скользкого дерева. На одной ноге был надет носок.

Он лежал на боку, вытянув вдоль головы руку — в позе стартующего бегуна,— вокруг него бережно, взволнованно трепетала полупрозрачная зеленоватая дробная тень листвы, и — странно — казался почему-то тихим костерком, вокруг которого присели, притомившись, собаки и люди, и к которому, отдыхая, невольно обращались их взоры, становившиеся вдруг задумчивыми.

Ему было пять с чем-то лет, но он умел уже считать до девяти.

...Ему снилось, что он мальчик из мультфильма, и его усыновила стая. Он, маленький, устал и спит, а старая добрая собака лижет ему лицо и говорит: «Спи, маленький...» Она лижет ему лицо и рассказывает, что лучшая жизнь — это собачья жизнь, и в подтверждение этого в золотой пыли улицы появляется велосипед дяди Славы, сам по себе. Крутит плавные восьмерки, круги и зигзаги, катит на заднем колесе — на седле у него серебристый колокольчик играет музыку, и велосипед сам под свою музыку танцует, никто ему не нужен... Потом музыка кончается, колокольчик кашляет и утробным голосом говорит: «Раз-два-три-четыре-пять. Вышел зайчик погулять. Проверка...» А потом голосом Ванюшки-грузина начинает вскрикивать: — Правильно говоришь! К дяде Самсону поезду! Все расскажу!

Какая Фенька замечательная расскажу!

Мальчик открыл глаза. Старая добрая собака спала вместе с ним, дышала в лицо.

Взрослые сидели уже обнявшись, драться не собирались. Скоро, наверное, будут песни петь, успокоенно подумал мальчик.

— Самсон, точно, поможет! Самсон — эт-то с большой буквы! — раскачивался, как на ветру, Пепеляев.

— На русской тоже женат, — подсказал Ванюшка и клонул носом.

— На русской, — согласился Пепеляев. — С большой буквы. И поэтому! Чтобы у тебя, Ваня, все было тип-топ! Я делаю тебе царский подарок! Как русский человек... Сейчас, Ванька, я иду и (только без паники!) — сам, безо всякой милиции — бреюсь наго-ло!! Чтобы у тебя с Феней все было в полном порядке. Обычай такой. Исполком веков. Понял?

Ванюшка понял, кивнул, но после этого головы поднять не сумел. Пепеляев ему помог.

— Пей посошок, Ванюшка, и пойдём! Посошок — это тоже такой обычай. Чтоб короче к могиле был путь.

И вдруг запел на пронзительной ноте: «Быстры, как волны, дни нашей жизни!»

От посошка (но, может, и от песни) Ванюшка упал, но Пепеляев этого не заметил.

— Теперь требуется — что? — продолжал он. — Теперь — стремянная. Это, когда тебя, Ванюшка, демобилизуют из общественной жизни на бой с кровавой гидрой, а Фенька тебя, к примеру, провожает... Ты, конечно, на лихом коне, свежевывытый в бане, с огнестрельным ружьем. И тут Фенька должна тебе поднести стремянную, понял? А без этого и война не война.

Однако приятель Василия уже окончательно выпал из седла. Пришлось Пепеляеву все проделывать самому. Глотнул, тронул шпорами ретивого коня, потихоньку поехал воевать кровавую гидру...

Отъехав, однако, не шибко много, он лошадь вдруг притор-мозил:

— А теперь — забугорная! Это, Ванька, когда за бугром тебя неучтенная жена дожидается, тоже со стаканом. Ты — молодо-жен, я тебе не позволю адюльтерами заниматься, ну а мне — можно. Мне сам Бог велел. Велю, говорит, раб Божий Вася,

веки веков пить забуторную! Я говорю: слушаюсь! Но только местность у нас не шибко бугристая, как бы не надорваться? А он: ничего, Вася, не будет, окромя всемирного тип-топа. Бугры сровняем, леса раскорчует, пустыни деревьями засадим! Не жизнь будет, а рай в шалаше! Ура, товарищи! Так и сказал...—
и тут Вася вдруг тоже покосился и упал наповал.

Мальчик очень надеялся, что Пепеляев, проснувшись, не вспомнит о своем решении. Он даже молился,— правда, без слов,— чтоб, когда они проснутся, все оставалось как было. Что-то страшное, непоправимое, вроде усекновения главы, мерещилось ему в акте пострижения, который спяну задумал его кумир.

Но неумолим был Пепеляев, беспощаден и жестокосерд, ежели дело касалось епитимий, принародно на себя возложенных. Полчасика отдохнувши, он к жизни воспрял еще более энергичен и весел.

— Кончай ночевать! — заорал он.— Начинаем утреннюю гимнастику для детей и инвалидов! Правый глаз — о-открыли! Снова закрыли. Левый глаз — о-открыли! Снова закрыли. Начали под музыку! «Сегодня мы не на параде!..»

Мальчик счастливо засмеялся.

— Следующее упражнение — потряхивание ушами. Нервные могут отвернуться. Делая круговые движения ушами, слегка потрясываем ими, товарищи! И — раз-два-три! И — раз-два-три! Тот и вовсе опрокинулся в смех.

Смеялся он, бедняга, неумело, со взвизгами, с басовитыми не к месту прихрюкиваниями, некрасиво, словно бы насильственно щеря рот. Однако было от чего этак-то заливаться: у Пепеляева и в самом деле уши буйно шевелились.

Грузин-Ванюшка, Фенькин хахаль, под предлогом вечного сна идти в парикмахерскую отказался. Мальчик возликовал, но ненадолго — принципиален был Василий Степанович.

— Пойдешь со мной,— сказал он Николаю Николаевичу.— Будешь свидетель, как русский богатырь Василий Пепеляев за ради российско-грузинской дружбы кудрей своих не пожалел. Внукам своим рассказывать будешь. Внуки есть?

Внуков не было. Они пошли.

Пепеляев — с горделивой повадкой Николая Коперника — впереди. Чуть отставая, терзаемый самыми страшными предчув-

ствиями мальчик Коля. А позади еще не вполне пробудившаяся от сна — собачья свита.

В парикмахёрскую — фанерную, ядовито-синюю будку — Коля зайти побоялся. Сел неподалеку, в пыли, и с поминутно обмирающим сердцем стал ждать.

Сначала из будки доносилось только гудение пепеляевского бархатного баритона и наждачные дамские взвизги. Затем что-то принялось жужжать, стихло, зашипело. Снова взвизгнуло. Банно покрякивая, зазвучал вдруг совсем близко обновленный голос Пепеляева, и — дверь распахнулась.

О, Боги!

Собаки с испуганным лаем шарахнулись врассыпную!

Коля глянул, зажмурился и уронил голову в колени. Разве мог он своим крохотным воображением представить, что это будет столь ужасно?

Идолище поганое с костяной головой, в тельняшке и галифе! Идолище поганое из самой страшной сказки стояло на пороге и сладко жмурилось на солнце!

Облако тройного одеколона, испаряясь, шевелилось над головой, как сизый нимб. От этого было еще страшнее.

Не в силах еще раз поднять голову, страхась ненароком открыть глаза и снова увидеть э т о, — мальчик Коля толчками развернулся на попке в пыли, вскочил и с горестным скорбным воплем бросился наутек! Прочь! Навсегда!

Новая голова — новые мысли.

«А не приобрести ли для Алины за всю ее доброту драгоценный какой-нибудь подарочек?» — подумал Пепеляев. Тут же очень себе удивился, но потом согласился — приобрести!

Духи покупать не стал. «Что за дикий обычай дамам алкоголь дарить?»

На телевизор шестисот с чем-то рублей не хватило. «Да и нельзя ей телевизор! Совсем от общественной жизни отобьется, на танцы ходить перестанет, замуж не выйдет...»

Отрез на платье? «Вообще-то, можно — отрез на платье. Да вот только беда: есть у ней уже платье!»

Раскладушку, может?.. Взамен поломанной? «Хрен-два! Чтоб хахалей на постой пускала?!»

Может, тачку? «А что? Зарплату домой возить...» А может, сачок? «Тоже неплохо: пусть гербарии собирает».

Диван-кровать, мотопомпу, унитаз и кадку для солений, маникюрный лак, резиновые бродни, панцирную сетку для кровати и хомут, канделябр без свечей, значок «Сорок лет комсомолу», электробритву, керогаз и ложки... — все пересмотрел Пепеляев в качестве предполагаемого подарка, и все, с присущим ему тонким вкусом, отверг.

Купил он деревянную резную скульптуру из жизни, на которой два лопухих медведя уродовались, здоровенную плаху перепиливая. Пепеляев аж матюкнулся, до того прелестна вещь оказалась! Даже полотно у пилы было совсем как настоящее — из нержавстали. И во рту у одного медведя — самокрутка!

Дождаясь, когда Алина придет с работы, ни минуты покоя не позволял себе Вася. То к зеркалу подходил, новой личностью любясь. То игрушкой баловался, восхищаясь работой неизвестных мастеров. То к окошку вскакивал, выглядывая подругу свою.

Наконец углядел и — застрял у окошка.

Разнесчастной деревянной ковчег-походочкой пылила бедолага его... Нет, чтоб босиком, как люди, — на каблуки влезла! А и ходить-то, дурочка, толком не умеет... Другая фря идет — что ты! — здесь шевелится, там трясется! Спешит в булочную какую-нибудь, а кажется, что на веселейший праздник торопится: морду ли коту своему бить за измену или, наоборот, в конкурсе плясать «А ну-ка, девки, кто кого?»

Алинка же, перепелочка, каторжаночка серая, идет — будто груженую тележку пузом толкает. Будто не ждет ее в доме мил друг Пепеляев с объятиями, как у Христа на кресте распростертыми, с нежностями, как в индийском кино!

Живет Алина — как с поклажей в гору идет. Глаза в землю, а мысли — водовозные. Оно, конечно, чего ж не понять?.. Ни родни, ни семьи, ни огорода. Да и зарплата-то — смех говорить! А для воскресения души отпуск-то, Господи, всего восемнадцать дён! И конца горке этой никак не видать...

И только во тьме крошечной, когда Пепеляева и в упор не видно, она словно бы просыпается. Так дышит весело! И слова-то тогда у нее — библиотечные, дивные! Завидно слушать, «Завидно» — потому что, конечно, не здешнему Васе говорит она такие слова и с другим каким-то, потусторонним Пепеляевым неземную ту любовь пылко работает, а жаль... Вчера, к примеру,

в его ухо — но, конечно, т о м у — прошептала: «Эдельвейс ты мой проклятый!» А он, выходит, что же, будто бы уже и не эдельвейс?

...В комнату вошла, как входила всегда, — будто в место до рвоты обрыдлое. И на Пепеляева глянула соответственно — как на мебель в месте том.

— Денег накопил — медведей купил! — эстрадным голосом объявил Вася и сунул ей подарок. — Носи на здоровье!

Она игрушку взяла странно — сразу же словно бы зачоченев от страха, — ничего не понимая, но страшась. Вася глядел триумфально.

Одну туфлю скинувши, на свободную ногу припадая, она доковыляла до табуретки. Села, глаз не поднимая.

Медведи весело пилили свою чурку у нее на коленях.

*Ой, милка моя!
У меня каверна.
Через года полтора
Я помру, наверно! —*

грянули вдруг в «Свежем воздухе». Должно быть, «Ай-люли» репетировал.

Она поглядела на Пепеляева. Жалоба, страх и ничегонепонимание были во взгляде том.

«Что ей, никогда ничего не дарили, что ли?» — испуганно подумал Василий.

Медведи пиликали свои кубометры. Один из них вовсю пыхтел самокруткой. Алина почесала пальцем у него за ухом и вдруг взорвалась! — заголосила, лоб в столешницу ударивши!

Завопила без слов — одно сплошное «ой-ей-ещеньки!» да «ой ты, Господи!»

Чтобы удобнее было кричать, она переметнулась с табуретки на постель. Тут-то уж, на мяконецком, в пуховых подушках колотясь, вовсю разошлась девка!

Кричала, гудела, ногтями с ненавистью простыни скубала, кулачками колотила в мягкое, будто до чего-то достучаться хотела! И — дергало ее, и возило беспрестанно — словно под напряжение ненароком попала подруга его!

Не скоро она успокоилась. Большой, видать, запас был в ней

этой черной, как деготь, тоски-тощищи. И давно, видать, уже нарывало...

— Господи! — взвыла вдруг с таким горем, что холодные мурашки зашевелились у Васи между лопаток.— Кто таков, сказал бы! Дурак не дурак! Умный не умный!

Пепеляев тотчас призадумался. Вопрос был, если вникнуть, не из простых. Когда оказалось, что произнести — Алина уже намертво спала, вздыхая время от времени легко и горестно, как обиженный и всем простивший ребенок.

Вот так, большущими слезами завершилось пострижение Пепеляева. Но кто же мог предположить, что слезы — несравненно более проливные — еще впереди?

И вот, наступил день, когда Пепеляев вспомнил ненароком о гражданском своем застарелом долге.

— А какое нынче число, интересно? — спросил он как-то утром. Алина не ответила, потому как была еще на работе. Он, понятно, тут же об этом своем интересе забыл.

Но на следующее утро тот же отравный вопрос посетил его. И на следующее...

Так что ничего удивительного, что через какое-то время Василий неназойливо принялся пытаться оказавшихся рядом соратников:

— А любопытно, вообще-то... Какое бы нынче могло быть число?

Очень не хотелось ему знать ответа. Но ответы посыпались.

Один сказал, что поскольку у него бюллетень до восемнадцатого, а соседка ездила вчера в Чертовец за комбикормом, то сегодня или воскресенье, или вторник, то есть двадцать второе августа — День торфобрикетчика, а потому не грех и выпить.

Другой сказал: ерунда. В этом месяце — сколько? Если тридцать, то сегодня, точно, шестнадцатое. Виталька послевчера брал рубль, обещал отдать шестнадцатого, так? А получка у них сегодня: сам видел, что Виталькина жена в бурьяне у гаража караулит.

Третий всех успокоил, сказав, что до Нового года дня два-три еще есть и не надо бояться: план все равно выполним, несмотря ни на какие злодейские условия.

Четвертый молчал, но улыбался так тонко и иронически, что было ясно: ни плана никому не выполнить, ни рубля от Витальки

не дожидаться, а число нынче никак не меньше, чем двадцать девятое, но вот какого месяца — пока не известно.

И только проходящая старушка календарь бугаевской жизни привела в полный порядок. Нынче пятое, охотно доложила она. Потому что аккурат завтра — Преображение. Уж ей ли не знать свой престольный праздник!

— Какое может быть Преображение?! — возорал тут нетерпимый к исторической неправде Василий. — День победы над Японией я уже две недели как справил! На этом вот самом месте! Ты еще, старая, целый день об меня спотыкалась. Иль уж не помнишь?!

— Ты мене склерозом не грози! — обиделась ясная старушка. — И день Японии, может, был. И с собаками ты аккурат в этом месте спал, все правда. А вот лучше отгадай, босая голова, загадку: почему октябрьские праздники вы в ноябре справляете?.. — и торжествуя хихикая, удалилась, старая, батарейки к транзистору покупать.

Начал считать Василий, и оказалось, что никак не меньше десяти дней нарушает трудовую дисциплину рулевой матрос с «Теодора Лифшица» Василий Степанович Пепеляев.

В ужас он, конечно, не пришел. Окромя всемирного тип-топа, как известно, ничего произойти не могло, а безработицы он тем более не боялся. Но — грустно ему сделалось и очень нехорошо.

Когда Алина пришла с работы, Пепеляев сидел за столом и что-то писал, поминутно грызя карандаш и грозно взглядывая на лампочку.

Наконец поставил точку. Перечитал. Удовлетворенно хмыкнул. Не без торжественности протянул подруге голубоватый клочок бумаги:

— На добрую память!

Алина тихо взяла подарок. Это была квитанция КБО на пять фотографий 3х4.

— Уплочено, — сказал Вася. — Послезавтра получишь.

На обороте квитанции красовался стих:

АЛАЯ РОЗА УПАЛА НА ГРУДЬ
АЛИНА МЕНЯ НЕ ЗАБУДЬ
ВАСЯ.

Она растерянно держала бумажку и смотрела на Василия, не поймешь, то ли понимая, то ли не понимая.

— Дешевизна из паромства, — объяснил Пепеляев. — «Срочно умоляем!» Зашиваются они там без меня. Завтра еду Восстанавливать разрушенное моим отсутствием хозяйство

Алина глядела сонно. Потом сказала в никуда.

— Галинка на холодец звала на завтра. Значит, не пойдем? Села на табурет и стала, как встарь, глядеть в окно

Наутро в деловитой бестолочи автовокзала он увидел ее случайно, покупая пирожок.

Алина стояла возле дымящейся мусорной урны. Никого не искала, никуда не торопилась. Была — будто сонная. Рассеянно-каменная.

— Они жили долго и счастливо, — заорал Пепеляев, подходя, — и умерли в один день, скушав пирожок! Хочешь откусить?

Она поглядела на него без удивления, покачала головой.

— Ты чё? — забеспокоился Василий. — Может, встречаешь кого?

Она опять поглядела на него так, будто старалась вспомнить, кто он.

Тут Пепеляев заметил, что в руках она держит медведей, подарок-игрушку. Вернуть, что ли, решила? (Очень было бы нехорошо, если бы она вернула...)

— Ну тебя клешему, девка! — сказал Пепеляев, отводя глаза. — Прямо как на гражданскую войну провожаешь! Еще шестьдесят четыре раза приеду, гадом быть!

Она усмехнулась медленной горькой усмешкой из какого-то кино, которое они тут глядели. Потом что-то сказала. Пепеляев не расслышал. Она повторила — с трудом, присохшим голосом: «Автобус...» — и вдруг глаза ее вмиг намокли.

Пепеляев испугался.

— Ты... это! — сказал он торопясь. — В общем, адрес..

И тут случилось с ним позорное: он забыл свой адрес! Напрочь! Город Чертовец — помнил. А вот имя этого, зверски замученного то ли африканца, то ли австралийца — напрочь забыл!..

— В общем, напишу чего-нибудь! Не капляй! —

и прыгнул в автобус, стрекозел коварный, донжуан столичный! Глаза бы Алинины на него не глядели, на верххвоста этого

лукавого, надругателя надмѣнного, водогреба полосатого!

Уехал, в общем, ягодиночка, только пыль на колесе. Алину, горькую, оставил, паразит, как польнь на полосе.

На работу она больше не пошла в тот день: заранее отпросилась повопить маленько.

Прибрела домой. Пала грудью на кровать, на мягкую периночку. Попробовала: «Как теперь буду жить?! Уехал, ягодиночка!»

Только что-то неладно у нее в тот день кричалось. Будто закорузло все в грудях.

* * *

А ягодиночку ее тем временем безжалостно трясли и взбалтывали в предсмертно дребезжащем чудо-автобусе рейса «Бугаевск — Чертовец».

Он припадочно колотился в исполосованном любознательной молодежи дерматиновом кресле под табличкой «Для детей и инвалидов» (которую юморная молодежь, конечно же, переделала: «Для делей и инваидов») — и от нечего делать крепко спал, не менее крепко зажав под мышками — во избежание мало ли чего — ссохшиеся от долгого забвения ботинки.

Сон ему снился скучный: какой-то скандал, устроенный гуманоидами в очереди за конской колбасой. Но он по привычке светло улыбался и сладко царапал слоновьими ногтями ног черный от машинного масла и грязи пол.

Не будем криводушны: без большого энтузиазма возвращался в свой родимый Чертовец наш Василий Степанович Пепеляев.

Как рыжий, густейший, сладчайший обморок души вспоминалось ему времечко, прожитое в Бугаевске.

Словно одно-единое — величаво-ленивое, медленным медом златотекущее, уповательно-лоботрясное В о с к р е с е н ь е были эти незабвенные двадцать с чем-то денечков.

Ну а теперь — как вполне законное возмездие — надвигался **Понедельник**.

Разве мог он предполагать, что и в будний понедельник не оставит его своими слепоусердными забавами рукодельница-судьба? Разве мог он представить, даже в самом кучерявом из своих снов, что в то время, когда он бестрепетной рукой срывал

в Бугаевске пыльные эдельвейсы удовольствий — он тогда... его тогда?.. Нет! Страшно и слово-то вымолвить!

Впрочем, куда ж нам торопиться? Вперед автобуса не приедешь. Скоро все само собой узнается.

Пусть себе почивает пока наш герой-горемыка, подзуживает смеха ради колбасную очередь: «Пра-ально! Пусть на Альфу Центавру ездют! Ишь! Не ндравится им здесь у нас!» Отдыхайте покудова, Василий Степанович!

Гуманоиды, не дождавшись-таки жалобной книги (больше того — облаянные с ног до головы так, как их нигде еще, ни в одной галактике не облаивали), залезли в свою летательную тарелку и отчалили, раздосадованные, без колбасы.

Василий, веселый, открыл глаза и через некоторое время проснулся.

Автобус уже дребезжал по улицам Чертовца. «Может, пока меня тут не было, пиво завезли?» — подумал он спросонья и взволновался.

— Стой! — заорал он шоферу таким блажным голосом, что тот вмиг ударил по тормозам. — Люльку с ребенком потерял! Открой! — и автобус ошалело распахнул ему двери аккурат возле пивного зала «Юность».

Пивом здесь по-прежнему не пахло.

Три богатыря, давась, давили в углу шестую бутылку «Агдама».

Один из отдыхающих, вроде знакомый, как увидел Пепеляева, так и закоченел со стаканом в руке, скрытно следя каждое движение Василия. Вид у него был не то чтоб испуганный, а несколько озадаченный и обалделый.

Люська-продавщица тоже воззрилась странно. Взгляд ее мечтательно затуманился, а на губах заиграла порочная улыбочка, будто ей невзাপравду показывали по хорошему знакомству что-то страшненькое.

«Эк их моя новая личность поражает...» — удовлетворенно подумал Василий и, выйдя из пивной, не удержался — остановился еще разок полюбоваться перед витриной.

С той стороны опять возник давешний полузнакомец С буйным любопытством во взоре прилип он к стеклу выглядывать ушедшего Василия. (Не ожидал, дурак, что Пепеляев никуда еще не ушел, а вот он, тучочки, смотрит на него!) Ткнулся взглядом

и — предсмертная, право слово, паника нарисовалась на глупой его роже!

В руке он все еще держал недопитый стакан. Вася сделал приветный жест: выпей, мол, чего уж... Тот разинул слюнявую варежку еще шире и стакан выронил.

Пепеляев удивился, но даже и тогда еще не почувал ничего неладного.

Правда, следующая встреча уже могла бы и насторожить.

Митька Китаец — стокиловый, потный, пыхтящий, страшно торопливый и вечно куда-то опаздывающий слесарь-домушник — вылетел на него, как грузовик, из-за угла Инессы Арманд.

Пепеляев распахнул объятия:

— Мытька! Отдавай рупь, собака!

Не тут-то было. Китаец, вместо того чтобы отдать рубль, одолженный еще в прошлой пятилетке, сиганул вдруг в сторону, как шилом в задницу ужаленный, и тихим загробным голосом недоверчиво просмеялся: «Га-га-га».

— Во-о китаец! — удивился Пепеляев. — Он же еще надомной и смеется! Отдашь или нет?

— У-у-уйди! — припадочно загудел Митька, отмахнулся от кого-то гаечным ключом и носорожьим галопом припустил дальше, затравленно оглядываясь.

«Да... — решил Вася, — ослепительно-белая горячка вырвала из наших рядов еще одного...»

Вообще — производил явное впечатление.

Бабы, завидев его, такого красивого, жадно распахивали глаза, включали дальний свет. И наверняка в спину глядели — судя по зуду вдоль позвоночного столба.

Мужики — тушевались, норовили не замечать, посрамленно отводили взоры.

Вася купался в прижизненном восхищении, как Фернандель на бугаевском пляжу. С ложной скромностью тихонько помахи-вал полуботинками, не выпячивая своего «я», упаси Боже! Напротив — всем своим видом говорил: «Да чего уж... Я же совсем такой же, как даже вы. Видите — простой-простой, обычный-демократичный. Даже вот босиком иду...»

Если бы он оглянулся, то увидел, как вслед за ним на расстоянии, продиктованном и страхом и любопытством одновременно, пылит небольшая толпа. Каждый в этом сбродном коллективе вел себя странно: не глядел на рядом пылящих (да и

на Пепеляева будто бы не глядел), всей своей повадкой назойливо кому-то показывал: «Ну и что ж?.. Я вышел ножкам проминаж сделать. Никаким-таким Васькой вовсе даже и не интересуюсь. Я вообще, может быть, даже к соседу иду — о прочитанной книжке поболтать, по душам, а заодно и пассатижи забрать».

На крыльце мамаша его, ветхая, как гнилушка, вся понищенски в черном, творила в чугуне пойло для поросенка.

Что-то ласковое собрался он ей было сказать: «Совсем ты у меня, маманя, как шкилет стала...» — но она как раз с многосложной болью в спине разогнулась от чугуна и малоудивленно стала смотреть на него, идущего от калитки.

Печать послушания и старой печали лежала на лице ее, морщинистом, как старая кожа.

Глаза светились еще голубенько, но уже блекло и были словно бы подернуты сумеречной водой; свет их шел уже не вовне, а больше внутрь себя.

Однако и некая остренькая, укоризненная ирония понапрасну обижаемого и уже привыкшего к этому человека слегка воспалена была где-то в уголках ее безгубо прищлепнутого рта. И чуть приметная ехидинка эта казалась неуместной и не по чину задорной на этом, в общем-то, робеньком и всепокорнейшем личике.

Она спокойно глядела на Василия и вдруг — словно бы чем-то многокрасочно, разом, мазнули по лицу матери!

К примеру, жирно-черным — страх, а тут же, на той же мазилке — ясно-синяя радость.

Тут тебе и «Господи, неужели?!», а рядышком «Господи, почто мучаешь?». Тут и «Не может того быть, Господи!», и «Неужто спятила?!». И «Васенька, родненький!», и «Бес играет...», и «Я же говорила!», и «Изыди, не мучай, нечистая сила!».

Василий, понятно, слегка удивился этакой встрече.

Хотел было, как всегда, прошагнуть мимо, но она легонько цапнула куриной своей лапкой лацкан его пиджака, боднула головкой ему в бок и затряслась в непонятном Василию бесслезном плаче.

Он стоял, нелепо разогнувшись, как у врача на облущивании, дышал вбок и корягами своими задубельми боязливо, боясь попортить, придерживал сухонький стручок материнского тела, слабо приткнувшийся к нему.

Она все норовила сползти куда-нибудь вниз, к ногам, чуть не на колени ли встать.

— Грех-то какой! Грех...— шелестела старушка, наощупь ощупывая, торопливо и робко, складки его одежды.— Мы ведь тебя, Вася...— она подняла светлокипящие слезами, жалко-отважные глаза на него, но тут же при виде полужнакомой одичалой рожи сыночка в панике зажмурилась, снова упряталась в пиджаке и договорила: — Мы ведь тебя похоронили, Вася... Прости!

— Во дают! — гоготнул Вася, вмиг повеселевши.— И чё? поминки были?

— А как же...— с достоинством подтвердила мать, оторвавшись, но глядя теперь куда-то мимо.— Не хуже других. Иль нехристи?

— И гроб был? — продолжал весело изумляться Пепеляев.

— Да ты что? — нахмурилась старушка и хотела было строго глянуть на сына, но, едва коснувшись, шарахнулась взором куда попало, еле сумела досказать: — На поминках, какой-такой гроб?

— Не-е, не на поминках. На похоронах. Гроб-то был? — не отставал Вася.

— Ну а как же? — ослабевшим голосом, совсем, видно, заплутавшись и мучаясь в создавшейся сумятице, ответила мать.— Штофный... богатый гроб. Пароходство бесплатно выдало. И веночек бесплатно...

— Пароходство, значит? — вдруг начал сердиться Василий.— А в гробе кто был?

— Да Васятка же! Сыночек мой единственный! В огне сгоревший! — она с облегчением было запричитала, но тут же, не почуяв должного толку от привычных слов, пораженно сникла, умолкла.

— Ну и где же он теперь, сыночек твой единственный? — сварливо и без жалости продолжал допрос Василий.

Она пошатнулась вдруг, задумчиво взялась ручкой за голову, повернулась идти в дом. Другой ручкой слабо пошевелила что-то в воздухе.

— Сгорел он, единственный мой. И все товарищи его — тоже. Ай не слышали? Возле Синельникова баржа его с другой стукнулась. Та керосим везла...

— Та-ак! — не очень-то весело хохотнул Василий. Что-то он

уже начал соображать, и какая-то муторность воцарялась в душе его.

Когда он вслед за матерью зашел в дом, та молилась на полу, на коленях — молилась, видать, бестолково: то благодарственное бубнила что-то, то небесную канцелярию корила за какие-то недоработки, то вдруг тихонечко взывала в безутешной муке...

Отмолвившись, все еще стоя на коленях перед иконами, она боязливо, но и с надеждой, исподтишка оглянулась назад.

Василий сидел за столом, нога на ногу, пошевеливал большими пальцами.

— Тута я! — живо перехватил он ее взгляд. — Никуда не подевался, не надейся, старая!.. Может, по старой памяти пожрать дашь? Все ж таки как-никак сыном тебе приходился...

Мать охнула, всхлипнула, перекрестилась, но все же пошла греть посудой за печку.

На улице, возле заборчика, смиренно кипела любопытствующая толпа. Среди непонятно чего ждущих граждан ходил туда-сюда участковый Загрязняц, поддерживал общественную тишину и порядок, сам то и дело с опаской поглядывая на дом Пепеляевых.

Мать накрывала на стол.

— Девять дней вчера справили, — боязливо объяснила она. — Вон сколько всего еще наоставалось...

— И чем помянуть найдется?

— А как же? — не без гордости откликнулась старуха и с готовностью пошла к шкапчику. Початую бутылку неся, как грудного младенца, вдруг посреди дороги остановилась, пораженная внезапной мыслью.

— А кого ж ты поминать будешь? — с суеверным ужасом спросила она.

— Не бойсь, мать! Тапши! Кого похоронили, того и помянем. Набуровал стакан, звякнул им об бутылку:

— Будь здоров, Василий Степанович!

Мать перекрестилась.

— Это, что ли, тоже? — он повел вилкой по столу. — Из пароходства бесплатно?

— Из пароходства, из пароходства... — как больному, объяснила мать. — За деньги только. И колбаски отпустили, и маслица, и консерву... Как сороковой день справлять, сказывали, еще выдадут. Только... как же теперь сороковой день?

— Да-а... — хохотнул Василий. — Не повезло тебе! Другим выдавать будут — колбаски, маслица — а тебе-то, пожалуй, хрен без маслица? Кого на поминки-то звала?

Мать перечислила. Василий, вновь наливая, заметил:

— Сереньку — зря. Этому только бы нажраться на халяву. Ему что поминки, что день рождения Моцарта — один праздник.

Разговаривая с Василием, мать боялась лишний раз взглянуть на него — так ее тут же всю и о х в а т ы в а л о. Будто с быстрой горки на салазках слетала.

И верилось ей, и не верилось, что сын живой объявился. Больше — не верилось, что такой-то лысый, со страхоподобной такой бородой (похожим, правда, голосом говорящий) — действительно сын ее, Вася... Но уж больно по-хозяйски вел-то себя!

И, конечно же, Господи, не чуяло материнское нутро никакой подмены — он это был, он! Но не хотела этого чуда душа! Ломало, коверкало ее всю в сомнениях...

«Так ведь и народ-то, — рассуждала старуха, — что уж, много глупее меня? Похороны зря ли устраивали? И музыка, и начальство вон какое большое речи говорило, и пенсию сулились платить... Да ведь вот еще главное! ОН-то всемогущий, всеведущий, кому молитвы обращала, чтобы душу Васькину как следует успокоил, — ОН-то неужели не дал бы знака никакого?! Неужели допустил бы, чтоб живого отпевали?! Да ведь и мне самой, когда на могилке убивалась, разве не сказало бы сердце, что над пустым местом кричу?!»

Грех сказать, не чересчур уж обожала она Васятку своего, когда даже еще и жив был.

Шестерых рожала. Никто до возраста не дожил. Один только Васька — угрюмый, нелобый, украдкой какой-то вырос. Ни тебе ласки от него, ни куска сладкого на старости лет! Одни надсмешки пьяные да бестолочь в доме. Иной раз и раньше сомнение брало — когда заявлялся поутру с опухшей рожой, сивухой за версту разит! — брало и раньше сомнение: «Неужели я этакое страшило рожала?» Вот и сейчас — и похоронили вроде, и помянули как следует, а и сейчас покою не дает! Явился, расселся, морда каторжная, zenки налил (он, Господи, Васька это!) — все порушил, идол окаянный!

И, опять вспомнив, как все жалели ее; как начальник габардиновый под локоточек держал; как богато музыка играла; как сладко на виду у народа плакалось; как полноправно Богу

жалилась, милости прося; как ладно, по чину поминали; как смирно и хорошо на могилке все эти дни было — убирать, прихорашивать (а на могилке той цветочки, словно молитвы ее услышав, так живо, так славно принялись), — вспомнив все это, она вновь зарыдала с мучительной горловой слезой.

Слушая этот плач, Василий серчал. То и дело бутылку заставлял кланяться. Не нравилась ему этакая встреча.

На комод в обрамлении розового и голубого ковья, парафиновых розочек и бумажных чересчур синеньких незабудок красовалась большая, как небольшая картина, фотка с черной лентой набекрень. На картине той изображен был до того бравый, до того глазастый, бровастый и ушастый парнишка, что Вася даже не совсем сразу признал в нем себя.

Фотографию увеличивали раз в двадцать с удостоверки, так что ретушеру было где разгуляться. На том месте, где у фотки полагался белый уголок, нарисовали кусок штурвала, а за плечом вроде бы пальму. И выходило, что это, значит, несет Пепеляев нестигаемую трудовую вахту наперекор всем и всяческому ураганам, циклонам и вообще прогнозам погоды, да видно, что не на глупой ленивой Шепеньге, а по меньшей мере в штормогремящем Баб-эль-Мандебском проливе или, того пуще, в коварных волнах какого-нибудь вероломного озера Рица..

— И-ишь, красавец! — сварливо сказал Пепеляев и кинул в него куском огурца. Потом не поленился — встал, сдернул черную тряпку с картины. Сам портрет тронуть — рука не поднялась. Да и хорош он был, портрет, со вкусом-смаком, чего уж говорить.

— Гроба, конечно, уже заколочены были? — спросил он, не сомневаясь в ответе.

— Ага.

Старуха мгновенно кончила плакать, живо и шумно высморкалась, ловко, одним всеобъемлющим жестом, утерлась.

— ...Потому как все они, как есть, пожарились. Шепеньга, сказывали, от берега до берега горела. Вот, чтобы народ-то не пугать, их в заколоченные-то и поклали. И только фуражечки одни сверху, беленькие.

Тут Пепеляев чуть ли не взвыл от возмущения.

— И фуражки тоже? тоже закопали?

— Должно так... Не видела я, плакала очень... Выходит,

закопали, однако, вместе с имья.

— «С имья!» — брюзгливо передразнил Василий, прямо-таки смертельно раненный этой новостью.

Белая мичманочка набекрень — с лаковым, в палец, козыречком, да не с речным невзрачным якорьком, а с золотым свирепым океанским крабом — это была надрывная мечта его. Может, из-за нее, из-за мечты этой, он и завербовался на баржу.

— Эх ты! — сказал он горько. — Другие-то небось не растерялись. Трудно ли дотумкать было? На память, дескать! Об сыночке единственном. Отдай, не грехи!.. У-у, старуха бестолковая!

И он надолго замолк, страдая чуть ли не до слез.

Сердитый, пугливо подумала мать. Может, нервно-психический? Ишь, кричал-то как, аж в животе заолодело... Даже Васька такого себе не позволял... А ведь похож-то! Где они только такого сыскали? И сидит эвон как, по-хозяйски — ни дать ни взять Васька...

И тут ее вдруг вновь о х в а т и л о, окатило черным, пугающим, как на качелях, мороком.

«Грех! Вот он и есть грех! Сына ить родного не признаю! Это все нечистый путает. Все он, черный, с толку сбивает! Вижу ведь: он сидит, Васька проклятуший!»

Но в этот момент, словно нарочно, Васька вдруг так сатанински визгливо хохотнул:

— Х-х-ха! — такую ухмылочку соорил мерзопакостную, что бедную старуху вновь качнуло сомнение.

Неуместно веселясь, с превеликим любопытством полез в душу, бесстыжий...

— Похоронила, значит? Ну-ну... И веночек — бесплатно! Ха-ха! Ну, а я тогда кто, к примеру? От-твечай!

— Господи! — вскричала тут мать совсем уж с припадочными колокольцами в голосе. — Оставь! Не мучь меня, мил человек! Не знаю я, Господи! Старая я! Попуталось все в башке моей дурной! — и снова бросилась в душеспасительные слезы, но на удивление мало покричала.

Внезапно вдруг смолкла. Строго успокоилась. Утерлась и произнесла что-то, глядя себе под ноги.

Василий не расслышал.

— Чё? Погромче давай!

Она вновь повторила и вновь невнятно.

Тогда сын вместе с табуреткой подъехал к ней поближе.

— Ну? Так кто же я тебе, старая? От-твечай! — все еще веселился он.

— Облик принял... — сказала старушка тихо, стыдливо и убежденно.

Пепеляев чуть со стула не упал, так огорчился.

— Опиум ты неочищенный для народа, вот кто...

— Облик принял, — повторила мать и, обрета опору, глянула на него теперь уже бесстрашными и словно бы даже любопытствующими глазами.

Вася, разоблаченный, сник и умолк.

На улице, за забором, все еще толклись кучками глупые граждане. Василий, выйдя до ветру, сжалился над ними.

— Угу-гу-у-у-у!! — загудел что было силы загорбным, как ему казалось, голосом, ситанул по-козлиному с крыльца и плавно поплыл, семена, в сортир, делая руками, как Одетта-Одиллия из недавнего телеспектакля «Лебединое озеро».

...Ночью сквозь сон ему то ли слышалось, то ли мерещилось, что мать, швыряя носом, щупает ему голову, копошится в бороде — словно бы ищет что-то.

Хотел было, шутки ради, гаркнуть что-нибудь этакое, сатанинское, но, слава Богу, ума хватило — молча перевернулся на другой бок.

А наутро его, можно сказать, обидели, фигурально плонули в его честные трудовые глаза — не пустили на любимую работу!

Раньше, бывало, сами по утрам под окнами ходили, взывали сладкими голосами: «Василь Степаныч! Будь человеком, выйди на смену!» — страждеделегатов с четвертинками подсылали, один раз даже ведро лечебного рассола принесли, а сейчас...

Страшно и вспомнить-то.

Вахтер на проходной Матфей Давидович — по кличке, а может, и по фамилии Сороконожка, — завидев бредущего на работу Пепеляева, вдруг с необыкновенной суетливостью выкарабкался из своей одноместной будки, где вседневно сладко почивал в две смены (за себя и за жену), — визжа протезом, выхромал в середину распахнутых ворот, никогда не закрывавшихся, потому как три года назад одну половину от них, когда горел план по утилю, свезли на городскую свалку, — так вот,

одноногая Сороконожка эта выскочил на дорогу и, расплав руки, закричал ликующим предсмертным голосом:

— Не пуцу!

Впервые увидев Матфея при исполнении служебных обязанностей, Василий, честно говоря, испугался. Потом попытался было обойти сторожа стороной, но тот побелел вдруг, задрожал-задребезжал от ужаса и смелости и стал делать вид, что расстегивает огромную, как портфель, дерматиновую кобуру, привязанную на животе. В кобуре той, кроме бутерброда, конечно, без масла, ничего и не было, но Василий уважил столь шустрюю старость и столь беззаветное рвение по службе. Сказал, поднимая руки:

— Сдаюсь, Матфей! Уговорил! Не пущаешь? Не пойду.

После чего обогнул Сороконожку будку и вошел на территорию через трехметровую дыру в заборе, заколоченную двумя трухлявыми штакетинками.

Матфей Давидович проследил его взглядом, облегченно вздохнул и похромал на свою огневую точку, где уже закипал чайник. Задание, данное Спиридоном Савельичем, он с честью выполнил: лысого, с бородой, похожего на кого-то из пароходских, он через вверенные ему ворота, рискуя жизнью, не пропустил.

Между тем Пепеляев стоял шагах в десяти от проходной и предавался чтению.

На фанерном — метр на метр — в красное крашенном ящике было написано: «Здесь будет сооружен бюст-памятник о героическом экипаже «Красный партизан Теодор Лифшиц».

За ящиком коротким рядом были натканы в землю хворые, уже начавшие загибаться саженцы. Чтобы их Василий ни с чем другим не перепутал, в землю был вколочен капитальный кол с дощечкой: «А л л е я г е р о е в».

Чуть сбоку, рядом с пароходской Доской трудовой славы, затмевая ее изобилием позолоты и новизной не успевшего еще выльпнуть кумача, красовалась другая Доска — «Героический экипаж «Теодор Лифшиц», с портретами и стихом, склоченным из фанерных буквочек.

Портреты делали, видать, в одной артели: у каждого на фото были и штурвал и пальма. Только для Валерки-моториста сделали

почему-то скидку — пририсовали на переднем плане кусок токарного станка.

Стихи были тоже качественные.

*В звонкую бронзу отлившись,
Плывет через года
Самоходка «Красный Лифшиц»!
Не забудем никогда!*

— Парень, подмогни! — раздался вдруг за спиной Василия погибающий голос.

Человек погибал на полусогнутых под тяжестью еще одного раззолоченного сооружения из фанеры и кумача. Пепеляев подмогнул.

— Подержи! А я сейчас живо ямку оформлю! — И человек быстро, на четвереньках, не жалея утюженных брюк и довольно чистых рук, стал откапывать осыпавшуюся яму для столба.

Человечек этот был незнакомый, но известный. Сколько Василий его ни видел, он всегда шустрил где-то возле начальства и никогда — без галстука, чем вызывал у Пепеляева неподдельный интерес и даже уважение. С виду совсем пацанчик, он напоминал до последнего гвоздика точную модельку человека: все у него было раза в полтора меньше, чем у людей, за исключением огромной, заскорузлой от помады волны волос, вознесенной над его блеклым личиком порочного младенца.

Всегда в костюмчике, всегда, как сказано, в галстучке, в начищенных штиблетиках, он с утра до вечера сновал туда-сюда по непонятным своим делишкам — напоминал какого-то неопасного зверька, кормящегося при людях.

Василий от нечего делать читал, чего держал. Было чего почитать.

«...Развернуть среди экипажей пароходства всенародный поход за звание Экипажа имени экипажа «Теодора Лифшица»... Навеки зачислить героический экипаж в личный состав, отчислять часть заработанных средств... Работать так, как будто «Красный партизан Теодор Лифшиц» и сегодня в нашем кильватерном строю борцов за выполнение плана гордо бороздит волны Шепеньги под флагом медали Трудовое отличие III степени Чертовецкого пароходства... Единогласно. Из протокола, принятого на общем собрании представителей трудящихся».

— Кипит, как погляжу, работа-то? — заметил Пепеляев.

— Не то слово! — копавший повернул к Василию счастливое лицо. — Это мы еще только разворачиваемся!

— Ну а про тех, которые с другой баржи сгоревши, чего про них-то ни полслова? — поинтересовался Василий.

— Те — не наши, — просто объяснил человек. — Тех в Бабашкине подымают. Ну, давай... остороженько... взяли... опустили... Сейчас земелькой забросаю, и — гора с плеч! А то придет не сегодня-завтра комиссия по проверке...

— По проверке чего?

— ... По проверке развертывания... А у меня трудовая инициатива наглядно не отражена. По головке-то ведь не погладят?

— Это точно, — согласился Василий. — Не погладят. Погодь! Я там видел кирпич битый! Вокруг столба сыпануть надо, чтоб не качался. Щас принесу!

Он сделал все, как надо. Столб с инициативой встал как вкопанный. Навеки, проще сказать. И, премного довольный, побрел Пепеляев потихонечку дальше.

В порту лениво кипела жизнь. На втором причале сгружали карибскую картошку — в ожидании, когда развяжется очередной мешок, сидели поодаль мальчишки и старухи с ведрами. На третьем и четвертом — ввиду поломки крана, случившейся полгода назад, уродовались вручную: взламывали контейнеры с валенками, и продукцию прославленной чертовецкой пимокатной фабрики сыпали в трюмы варварским навалом.

Первый причал был пуст, хотя в ожидании погрузки-разгрузки болтались на якорях посреди реки еще две посудины.

Кнехты на первом причале были покрашены красно-пожарной краской, а сам причал обнесен веревочкой. Была и надпись. Василий, уже без всякого удивления, прочитал:

«Здесь швартовался прославленный сухогруз «Красный партизан Теодор Лифшиц».

Место швартовки только для судов, удостоенных звания «Экипаж имени экипажа «Теодора Лифшица»!!»

— Ура, товарищи! — сказал Вася и сплюнул. Жарко ему было и скучно.

Возле конторы, в тенечке, как всегда с утра, обедали.

Опоздал нынче Пепеляев, занимаясь наглядной агатацией. Закусывали, правда, арбузами.

Василий выбрал себе обломок побольше, тоже занялся делом.

Ни тебе криков ликования, ни подбрасывания тела в воздух, ни радостных хлопаний по плечу, объятий, лобызаний и предложений выпить по такому поводу... И к а к не встретили возвращение Василия Пепеляева в родной трудовой коллектив!

Он не то что обиделся. Он злобно заскучал.

Среди амбалов шел деловой заинтересованный разговор о том, сколько получают за выступление в телевизоре наши фигуристы.

— И не два шестьдесят, а рубль восемьдесят,— недолго послушав, раздраженно заметил Василий.— И не за каждый прыжок, а только за тройной ёксель-моксель.

На него оглянулись как на встрявшего в чужой разговор. Тут же торопливо переключили внимание на нового оратора, который в развитие предыдущей темы стал рассказывать о каком-то малохольном из Кемпендяя, который хариуса прикармливает на халву и удочкой таскает во-о-от таких рыбин!

— И не в Кемпендяевом это, а в Бугаевске,— с унылой сварливостью снова вмешался Пепеляев,— и не удочкой, а граблями. И не на халву, а динамитом.

— Ну что, орелики? Пошабашили и — будя! — Бригадир грузчиков дядя Кузя поднялся, собрал инструмент: рукавицы заткнул за пояс, стакан сунул в карман.

Пепеляева они словно бы и не видели, и не слышали. Двинулись потихоньку к причалам, разговаривая на сугубо производственные темы.

Пепеляев осерчал.

— Кузя! — крикнул он грубо.

Тот остановился. Остальные пошли дальше — слегка даже вприпрыжку.

— Ты, смотри, червонец-то и не собираешься отдавать? А, Кузя?

Кузя осмотрел Пепеляева спокойным расчетливым взглядом.

Был он мужик тертый, битый и жадный. Червонец взял месяц назад на п я т ь м и н у т — разойтись в сдаче с покупателем, которому он пригнал из порта грузовик асбестовых плит.

— Вася! — сказал наконец дядя Кузя и улыбнулся нагло,

чисто. — Как же я могу отдать тот червонец, если я тебя не узнаю, а т о г о Васю (тут он горько вздохнул) похоронили мы... похоронили бедолагу... Ясно? И не шурши, покойник!

Куда уж яснее. Прощай, червонец, навеки!

Одним только и осталось утешаться, что, кроме Китайца и Кузи, никто ему вроде бы не был должен, а вот он — многим. В случае чего, решил он весело, я их буду прямиком на кладбище адресовать, к т о м у Пепеляеву!

Но все же — не будем кривить — расстроили Василия Степановича люди. И, понятно, не в презренном червонце дело (о нем он и вспомнил-то, только увидев Кузьму) — совсем в другом было дело, товарищи, совсем в другом...

«Мать родная не признала, ну это ладно... — обиженно размышлял Пепеляев, направляясь к начальству. — Для этого ей и склероз, и религиозный дурман, и общая темнота... Но вот когда родной производственный коллектив отворачивается, как от чужого! Когда он выпихивает тебя, как пустяковую пробку из воды! — вот тогда, действительно, незаслуженно обидно на душе становится...»

Секретарша Люся починяла колготки, приспособив для этого телефонную трубку.

— Ну ты даешь! — восхитился Василий. — Я битый час до Спиридона дозваниваюсь, у него жена тройню родила, а это ты, оказывается, трубку не кладешь!

— Ври больше, — спокойно посоветовала Люська. — По телефону-то небось ни разу в жизни не звонил... (Это, между прочим, была неправда. Один раз Вася звонил: шутки ради вызвал пожарную команду к соседу.) Зря торопишься...

— Это почему же?

— Про тебя уже было с утра заседание. — Люська перекусила нитку, поглядела колготки на свет и наконец положила трубку на место. Телефон тотчас зазвонил. — Аферист ты и самозванец, если чего не похуже, понял? — процитировала она резолюцию и с отвращением взяла телефон:

— Кого?

— Ты это... все ж таки пропусти к нему... — растерянно попросил Пепеляев.

Спиридон Метастазис, большое начальство, больше некуда,

встретил его с развеселым любопытством. С удовольствием отодвинул в сторону бумаги, даже уселся поудобнее.

— Ну-ка, ну-ка... — заговорил он, доброжелательно улыбаясь. — Уже доложили. Ходит, дескать, такой. Дай-ка и мне поглядеть... — с минуту разглядывал Пепеляева дотошно, как неодушевленный предмет, от лысой головы до рваных штиблет и обратно. Наконец вынес суждение одобрительное: — Молодец! Похож! Но только вот здесь... — показал около головы, — что-то не очень... А вообще-то похож! Ну, а что врать будешь? — с искренним любопытством спросил он, готовясь слушать.

— Зачем врать? — с неохотой спросил Пепеляев, почувствовав вдруг, что все, что бы он ни сказал, ни в чем и никого не убедит. — В Бугаевске на берег отпросился... отгулы у меня были, Елизарыч и отпустил.

— Ишь ты! — удивился Метастазис. — И Елизарыча даже знает. Ну-ну, давай дальше!

— А чего «дальше»? Спросите в Бугаевске, каждый скажет, что я там месяц почти околачивался.

— Спрашивал! — согласно воскликнул начальник. — Вот сию минуту, вот по этому самому телефону... спрашивал! И мне ответили, что никакого-такого Пепеляева у них не было. Ни в этом месяце, ни в прошлом месяце, ни в позапрошлом. Что же делать?

Он был само издевательское участие, эта моложавая, гладко выбритая, бодрая сволочь. Телефон-то не меньше часа Люська в колготках держала...

— Документиками запаса? — спросил Метастазис.

— Так сгорело же, наверное, все... — лениво объяснил Василий. — Все на «Лифшице» осталось.

— Вот! — возликовал неведомо от чего начальник и перстом в Пепеляева уперся. — Вот именно! Документов у тебя нет. Никто тебя не знает. Но ты являешься и заявляешь: «Здрасьте!» — а я должен тебе верить? Кто знает, а может, ты чем-то воспользоваться хочешь?

— Чем это? — тупо спросил Василий. — Воспользоваться?

— Не знаю чем, а хочешь! Обязательно хочешь! Иначе не заявился бы! — вдохновившись, продолжал глаголить начальник.

— Так на работу куда-то надо... — сказал Пепеляев. — «Лифшиц»-то, говорят, сгорел.

— «Говорят!» — сардонически засмеялся тот. — Вся область, вся, без преувеличения, страна говорит о подвиге «Теодора Лифшица», а он говорит «говорят»!.. Стыдно! — и тут начальственный перст опять уперся в Пепеляева. — Преступно! Примазывать к подвигу...

— Чего-то я не пойму, — понесло вдруг и Васю. — Ну, сгорели и сгорели, а откуда «подвиг»? И чем я виноват?

— Сгорели, спасая! И тем более преступно, гражданин незнаю-как-звать, примазываясь, пытаться умалить светлую память... — и он принялся перечислять со слезой во взоре: — Елифана Елизарыча Акиньшина, Валерия Ивановича Жукова, Василия Степановича Пепеляева...

— Так Пепеляев Василий Степанович — это я и есть! Разуй глаза, Спиридон Савельич!

Метастазис потух на глазах. Пошевелил бумажки на столе. Поднял утомленные глазки.

— Да... — будто бы с усилием вспомнил. — По поводу работы... Есть, дорогой товарищ, единые правила, нарушать которые никому не дозволено: без документов мы вас никуда принять не можем. Все! Вы свободны.

Пепеляев вышел из кабинета, словно промокашки объевшись.

— Ну что, покойничек? — посочувствовала ему Люська. — Говорила тебе, не ходи.

Василий ошалело помотал головой.

— Я — кто? — деревянным голосом спросил он. — Ты хоть удостоверь, Люськ... Ничо не соображаю!

Та весело расхохоталась.

— Маленько на Ваську похож. Был у нас тут такой.

— «Был»... — нервно хохотнул Пепеляев. — С печек вы тут попадали, что ли? Если я «маленько» только похож на того Ваську, то откуда, скажи, мне знать, что у тебя на правой титьке, ажурат вот это место, вроде как бородавка черная?

— А вот и нет! Никакой бородавки! — еще пуще развеселилась Люська. — Приходи вечерком, сам увидишь. Тетка Платонида, Сереньки Андреичева мать, бормотаньем в один вечер свела! Где живу-то, не позабыл еще на том своем свете?

• Пепеляева передернуло.

— «Маленько» помню. Приду как ни то, бесов из тебя изгонять буду.

Вышел на крыльцо. Оступившись, чуть не посыпался со ступенек. Ну, тут уж, конечно, разверзлись хляби словесные!

Всем тут досталось. Даже империализму. Но в особенности пострадали Метастазисы. Вне всякого сомнения, вся многочисленная родня Спиридона, где бы она ни находилась, дружно билась в ту минуту в судорожной икоте, а те, кому по уважительным причинам не икалось, припадочно колотились и переворачивались в истлевших своих гробах.

...Старичок в пионерской панамке, с черным бантиком на глотке, в белом жеваном пиджаке и сандалях на босу ногу — очень похожий почему-то на запятую — в продолжение всего пепеляевского монолога тихонько сидел на ступеньке и, млея, слушал.

Долго все же не выдержал молчать, соскочил на землю и забегал взад-вперед, делая руками суматошные семафорные движения.

— Нет! Вы только полбуйтесь! Какой темперамент! Какой жест! Какая искренность переживания! Вот именно таким, молодой человек, я и вижу Елизарыча — страстоборца! нетерпимца! На сцену!! — и старичок простер руку в направлении двух деревянных будочек «М» и «Ж», нежно склонивших друг к другу обветшалые крышки свои. — Ваше место на сцене, молодой человек! Ни о чем не беспокойтесь. У меня от начальства карт-бланш (он вынул из кармана грязный платок и показал): мобилизовывать в самодеятельность любого, кого захочу! Первая репетиция завтра. Восемнадцать ноль-ноль. Народная трагедия «Лифшиц» уходит в бессмертие!» Через две недели — премьера. С блеском. Двадцать шестого — смотр в Великом Бабашкине. Триумф. А там — чем черт не шутит? — и Череповец, и Кемпендйя, и — ого-го! — заграница!.. Вы где, как это говорится, трудитесь?

— В комиссии по разворачиванию, — сказал Пепеляев. — Так что несогласный я. И без вас дел по горло: разворачивай, свертывай, перевертывай. А Елизарыч, между нами, был во-от такого росточка (он показал себе на пуп), хромой на обе ноги, с детства поддатый и к тому же то ли баптист, то ли адвентист вчерашнего дня. Так что не согласный я. Вот Пепеляева бы...

Старичок быстренько подбежал на своих полусогнутых, ласково погладил Васю по спинке.

— Голубчик! — нежно проговорил он. — Каждый хотел бы

сыграть Пепеляева. Но, поверьте старому актеру, Пепеляева вам не потянуть. Вот здесь... — (он показал Васе на живот) — многое накопить надо, чтобы сыграть Пепеляева! Да и внешние данные у вас — того... Василий Пепеляев — это, в моем понимании, воплощение, можно сказать, русской былинной силы. Размахнись, как это говорится, рука, раззудись, плечо! Ты пахни в лицо, ветер с полудня!.. Вот каков Пепеляев! Этакий современный Васька Буслаев...

— ...Из мастерских, что ль, Буслаев? — привередливо морщился Пепеляев. — Тоже мне, воплощение. Он мать родную живьем в уют отдал. Ну, в общем, договорились, отец! Ваську Пепеляева я согласен воплотить (и то, учти, только для тебя скидку делаю), а сейчас, извини, на открытие триумфального столба тороплюсь! —

и он пошел в бухгалтерию.

Там у него прогрессивка на депоненте лежала, да еще за последний месяц получка неполученная. Но вот только было у него тухлое предчувствие, что большую куку с макой получит он в бухгалтерии, а не деньги. Тем не менее пошел.

Какая-то ехидная услада была уже с том, что вот сейчас его еще раз, вопреки смыслу, вдарят фэйсом об тэйбл и, глядя прямо в глаза, будут талдычить ему, что он — это вовсе не он, а он — тот самый, который на самом деле он, — героически спасаясь, сгорел вместе с баржой, которую Елизарыч, наверняка спьяну, врезал возле Синельникова во встречную нефтеналивалку...

— Здорово, Маняша! — Пепеляев сунул в окошко кассы каторжную свою рожу и улыбнулся, как мог улыбаться только он — на тридцать четыре с лишним зуба.

— Здравствуйте... — застенчиво сказала Маняша-кассир и брякнулась со стула в обморок.

Василий поскреб лысину.

— Однако витамина Пе-Пе один не хватает... — поставил он диагноз. — Да и какой тут поможет витамин, если загнали здоровенную девку нерожалую в шкафчик — поневоле падать начнешь!

И он пошел в комнату, где сидели арифмометры поглавнее.

— Здорово, бабоньки! — тем же манером гаркнул он и оскалился, невольно ожидая, что и эти сейчас начнут осыпаться со стульев.

Но тут народ собрался поядренее. Глазки спрятали, дышать, правда, перестали, затаились, но каждая на своем шесточке усидела. Только одна, за шкафчиком, вдруг принялась хихикать шепотом — будто ей по юбку какой озорник мохнатый забрался...

— Тебе чего? Тебе чего надо, черт окаянный?!

Это, конечно, Ариадна Зуевна встала на всеобщую защиту. Руки в боки, пузо вперед — такую и броненосец, пожалуй, не устрасит.

— Деньги надо. Неужто не видно?

— Де-еньги?! — Зуевна драматически задохнулась от возмущения. — А милицию вызову, не хочешь? Пош-шел отсюда, фармазон ленивый, не пугай народ! — и она двинулась врукопашную.

— Ариадна, не бузи! Где Цифирь Наумовна?

Цифирь Наумовна не замедлила отворить дверь своего чуланчика.

— В чем дело? Почему не работаете, товарищи?

Главный бухгалтер вид имела жирного хищного индюка. Во всеуслышание врала, что по отцу происходит из цыган, и потому ходила раззолоченная, как народная артистка цирка. Золото у ней блестело везде: и во рту, и в ушах, и на шее, и в грудях, не говоря уж о пальцах, которые от колец и перстней торчали враслопырку. Таких, говорил Василий, сажать надо с первого взгляда, без всякой ревизии, нипочем не ошибешься.

Телеграф тут у них работал справно. Цифирь первым делом протянула ладошку:

— Документ!

Василий заулыбался.

— Зачем тебе документ, дуся? Неужели на мне не написано, что я — Василий Степанович Пепеляев — пришел получить свою кровную прогрессивку и еще жалованье за протекший месяц?.. А ты грубишь, как, прости Господи, милиционер: «Документ»!

Цифирь Наумовна необидчиво улыбнулась:

— Ничем не могу... — и двинулась восвояси. Уже в дверях повернулась: — Кстати, прогрессивка и зарплата за месяц вперед выплачена матери погибшего Пепеляева. По личному распоряжению Спиридона Савельича. Любочка, покажи товарищу, если он интересуется.

Товарищ, конечно, интересовался, но не настолько, чтобы копаться в бухгалтерских промокашках. И так все было ясно:

сплошное вредительство и широко разветвленный заговор.

— Запиши, Любочка,— сказал он гордо.— Деньги эти я жертвую на осушение града Китежа, из них пять (прописью: пять) на строительство наклонной пизанской башни в городе Бугаевске... Да, кстати, там у вас кассиршу застрелили, так вы беспокойтесь, что ли... Все ж таки девушка.

И он ушел интеллигентно, даже дверью не шарахнув.

Теперь надо было все, не торопясь, под хорошую закуску, в хорошем месте обдумать.

И уже часа через два его, многодумного, видели на окраине Чертовца, на улице с романтическим названием «Улица Второй Линии Рыбинско-Бологоевской железной дороги» — громогласно пьяного, победоносно вещающего на все стороны света:

— Я — есть — кто? Я — Воплощение есмь! Ибо поелику возможно во веки веков — ду-ду!! Расступись, народ! «Красный партизан Теодор Пепеляев» в землю обетованную плывет!

Плыл он на кладбище, посетить могилку свою.

— Во-от устроился, паразит! — не сдержал восхищения Пепеляев, когда отыскал, наконец, место своего успокоения.

Местечко и в самом деле было хоть куда. Как на даче.

Молоденькая, но уже плакучая березка застенчиво шелестела листвой. Ее, видать, привезли из леса вместе с дерном, и она славненько принялась, только на одной ветке листья слегка пожухли.

Вообще все было сработано без халтуры: цементом аккуратно обделанный цветничок, песочком вокруг посыпано, оградка из хорошего штакетничка (правда, некрашенная), цветочки. Да и на место, надо сказать, не поскупились. Хорошее выделили место: и просторное, и на приглядном взгорочке, с которого и речку видно, и лес за рекой, а если захочешь, то и городом можно полюбоваться.

Главное, что тихо было, бесплодно, и ветерком обдувало. Скамеечку очень кстати поставили — можно было посидеть, подумать что-нибудь, закусить.

Василий даже вздремнул маленько, утомленный событиями прошедшего дня.

Нельзя сказать, что его очень уж беспокоило новое его положение. Денег, конечно, жалковато было, а в остальном:

«Клизьма все это от катаклизьма! — определил Василий.—
Балуется начальство...

У них-то положение — тоже не позавидуешь. Только было обрадовались, что «Лифшиц» сгорел, можно, стало быть, кучерявую клюкву устроить на зависть другим пароходствам, а тут, вот он, явился не запылится, герой-погорелец! — всю спектаклю им попортил. Одно ведь дело, когда все сгорели, дружным коллективом, воодушевленные пятилетним планом, с пением «Ай-дули-ду!», и совсем, конечно, другой дермантин, когда, оказывается, один из героев в это время с Алинкой в перине кувыркался. А там, глядишь, еще кто-нибудь объявится, скажет, что в Котельникове в очереди за маргарином стоял... Да, начальству тоже нелегко, ничего не скажешь, с них ведь тоже, бывает, спрашивают.

Главное, однако, что вот он, Василий Степанович Пепеляев — руки, ноги и пупок, — сидит себе на скамеечке, животрепещущий, как проблема борьбы с окружающей средой, внутри три стакана гулькают-перекликаются, лысинку ветерочком обдувает, по спине муравей ползет-щекотит... И в общем, можно сказать, наплевать ему на человеческое глупство, которое объявило его как бы несуществующим на этом белом свете.

Х-ха!! Это он-то не существует?!»

Тут его, нечаянно толкнув, разбудили.

— Чего расселся? — ревниво заворчала маманя. — Другого места не нашел? Иди-иди, черт пьяный... нечего тебе тут.

— Грубишь, мать! — недовольно отозвался Василий. — Смотри, лопнет пузырь моего терпения!

— Иди, мил человек, — уже тоном ниже заговорила та, любовно раскладывая на скамейке свой огородный инвентарь. — Прибраться мне нужно, ай нет? А то, вишь, и листочков уж сколь много нападало... и земелька, гляди, почерствела...

Все у нее было словно бы игрушечное — и грабельки, и лопаточка, и щеточка, и леечка. Да и сама она — совсем уже усохшая, величиной с пальчик, в опрятненьком светлом балахончике, в черном платочке, когда хлопотала над могилкой, что-то грабельками разравнивая, что-то, ей одной видимое, выщипывая и обирая, из леечки по капельке поливая, — больше всего маленькую девочку напоминала, которая увлеченно и с наслаждением играет во взрослую какую-то игру.

И когда она, закончив охорашивать цветничок на могилке,

протерла лоскутком Васькину физиономию, упрятанную под начавшим уже мутнеть оргстеклом, и села на скамейку, ручки сложив на коленях, — смешно отчего-то, но и по осеннему грустно стало Василию. Такая она сидела, донельзя довольная, со всем миром примиренная, тихая, скромно-важная...

— Стекло на фотке другое надо, — сказал он. — Это за зиму-то потрескается, ничего не увидишь. Да и оградку покрасить надо. У меня в сарае хорошая эмаль где-то валяется, голубенькая, так я тебе покрашу.

— Вот и славно... — все еще пребывая в каких-то нездешних сферах, размягченно откликнулась мать. — Вот и сделай, чем ругаться-то. А я тебе бутылку куплю. Вот и славно будет.

На следующее утро он, к собственному удивлению, опять побрел на работу, и на следующее — тоже, и даже в выходной день пошел, сам на себя плюясь от презрения.

Ладно бы там друзья-приятели ждали с рублем в кармане или разговоры какие душевные — ничего похожего!

Друзья-приятели, если и не шарахались теперь от него, то сторонились, уж это точно. Жертвы атеизма, они, конечно, не верили в потустороннее происхождение сегодняшнего Пепеляева. Но, с другой стороны, чем объяснять им было этот удивительный феномен появления в обществе принародно закопанного человека?

В общем, чепуха и недопонимание воцарились в отношениях Васи Пепеляева с окружающим обществом.

Правда, отдельные наиболее отважные граждане все ж таки вступали с ним иной раз в разговоры. Но делали это, так неприлично ужасаясь собственному нахальству, такую белиберду с перепугу несли, что Василию — сначала смешно, а потом, довольно скоро, раздражительно-скучно стало.

Неприменно двух вопросов не могли избежать его собеседники. Первый: «Как тебе удалось?!»

— Чего «удалось»?

— Ну... это... Опять сюда?

— А-а! Там брат, то же самое. Ты — мене, я — тебе. А у меня как раз новые кирзовые сапоги были. Ну, я кому надо и сунул... Сам теперь видишь, в чем хожу? — и для убедительности шевелил сквозь дырку в сандалете пальцами ног.

Второй вопрос проистекал из первого. Задавали его тоже —

словно бы и шутейно, но ответа почему-то ожидая с напряженностью:

— Ну и как там? — и пальцем в небо.

— Отлично! Знал бы, что так встречать будете, ни за что бы не убег. Там — что ты! — каждый день на пятнадцать минут по водопроводу пиво пускают! Веришь?

Кто их знает... Может, и верили, обалдуи.

Но, как сказано, очень скоро надоела Василию эта темнота, эта неразвитость, кемпендяйство это дремучее. У него даже характер — он заметил — портиться начал.

Шутки стал себе позволять иной раз очень невыдержанные. Кузе, например, брякнул ни с того ни с сего: «Скоро помрешь! Вижу! Сарделькой подавишься!» И сам себе огорчился: при виде вмиг окоченевшего от страха Кузьмы очень уж сладкое удовольствие в себе почуял.

Ну, конечно, один раз и отметелить его попробовали, но без этого. Возле пакгауза три каких-то бича набросились. Все норовили сначала мешок на голову нахлобучить, а потом уже бить. Должно быть, или Кузей, или начальством были подосланные. Один успел пригрозить: «Еще раз в порту появишься!..» — но не договорил, сердечный, потому как Вася не вполне корректным приемом, ногой по требухе, его угомонил. А остальные и так, от простого загробного улюлюкания чесанули, как чечеточники.

Вообще какая-то сварливость в душе Васи завелась. Особенно стал донимать лилипутика, который с наглядной агитацией хлопотал. И карточки, видите ли, криво висят, и на позолоту поскупились, и вообще — неграмотно.

— Что значит «отлившись», Бутылка может стоять «отлившись»! Ты, к примеру, из нее стакан отлил, вот она и — «отлившись». Другой надо стих. Переделай:

*В том пожаре отличившись,
Вдруг поплыл через года,
Самоходка «Красный Лифшиц»
Не забудем никогда!*

Ну а когда он однажды в музей проник, то чуть не до слез ли карапуза-активиста довел! Мелкая правда факта была ему,

малообразованному, куда важнее, нежели крупная Правда-истина.

Орал:

— Подумай, куриная голова! Ежели все сгорели, то как патефон мог в живых остаться, да еще с пластинкой «Сегодня мы не на параде»?! Тебя же засмеют!

— А они, может, в ремонт его как раз отдали?

— Тебя, вместе с начальством твоим, в ремонт надо! А это что? «Любил в редкую минуту отдыха надеть Епифан Елизарович Акиньшин валенки с галошами чертовецкой пимокатной фабрики «Борец»... Во-первых, размер не его — у Елизарыча тридцать восьмой был, на портянку. А во-вторых, где это видано, обалдуй, чтоб пимокатная фабрика галоши выпускала? Все переделать к чертовой матери!

— Кто вы такой? — попытался было протестовать человек. — Почему вы экспонат в карманложите?

— Я-те покажу экспонат! — совсем тут взъерепенился Пепеляев. — Это моя собственноручная расческа. Под суд отдам! Грабите мать-старушку, а я из-за вас нечесаный ходи? Ж-жу-ль! Все переделать! Не конструировал в период отпуска Валерка-моторист эту бандуру! Он в отпуске самогонный аппарат сварганил. Он — золотые руки был! А ты про него что написал: «...нежный отец!» Он не нежный отец, он — герой! Он по трем исполнительным листам платил! И не думал Василий Пепеляев в последнюю минуту о том, как спасти ценный груз: «Лифшиц» порожняком шел! А вот в эту, последнюю минуту я, Пепеляев, вот что думаю (тут он заговорил тихо и доходчиво): схожу-ка я сейчас за своим любимым огнеметом и пожгу тут у вас все к чертовой матери! Чтобы вы людям головы не дурили!

При этих словах человек жалобно пискнул, пригнулся и выбежал прочь — наверняка жаловаться.

Очень осерчал Пепеляев. Кто знает, действительно, оказался у него в ту минуту подрукой огнемет, пожар бы закатил похлеще, чем на «Лифшице». Но поскольку огнемета не было, а висел на стене, наоборот, огнетушитель, он прибором тем жажнул по полу, струи, конечно, не дождался, плюнул с чувством и ушел просто так.

Возле ворот его ждали двое. Стояли, подпирая будку Матфея, и беседовали с вахтером.

Увидав Пепеляева, Матфей Давидович сказал:

— Вот он! — для точности ткнул пальцем и быстренько на всякий случай ухромал к себе.

«Похоже, опять драться...» — миг заскучав, подумал Василий и деловито огляделся. Но ни кирпичка качественного, ни дрына сучковатого, приличного случаю, не обнаружил.

Впрочем, друзья-соперники были так себе. Один — в клеенчатой, но вроде как кожаной, курточке, совсем еще щеночек, хоть и в беретке.

Другой — с виду никакой. И одет — никак, и морда — никакая. Разве вот только усики рыжеватоенькие... И росту — какого-то совсем среднего. И вроде бы даже тень не отбрасывал. Такой вот он был весь из себя скромный.

— Добрый день! — вежливо и культурно сказал щеночек, когда Пепеляев поравнялся в ним. — А мы вас ждем.

— Жди дальше. Это не я.

— Нет-нет. Я — серьезно... — тот пристроился к Пепеляеву и пошел рядом. — Понимаете, какое дело... Я из молодежной газеты «Чертовецкое племя», мы готовим очерк об экипаже «Теодор Лифшиц». Мне сказали, что никто, кроме вас, лучше не расскажет.

— Документ! — строго сказал Пепеляев и вдруг остановился.

Тот торопливо добыл корочки и показал. Все было в порядке: и печать, и «действительно до...»

Столь же вахтерски Пепеляев протянул руку и к серенькому:

— Ваш документ!

Тот развел руками. Дескать, якобы забыл.

— Это — просто так, мой знакомый... — поторопился объяснить щеночек в береточке.

— Ничем не могу, — сухо сказал Пепеляев. — Документов нет, а он говорит: «Здрасьте!» Я должен верить? А может, он чем-нибудь воспользоваться хочет?

— Чем воспользоваться? — не поняла береточка.

— Не знаю чем, а хочет! Есть, дорогой товарищ, единые правила, нарушать которые никому не дозволено.

Серенький улыбался, как глухонемой. Дружелюбно, ясно, ничего будто бы не понимая. От него к тому же пахло тройным одеколоном — не изнутри, а снаружи, — что окончательно уж не понравилось Василию.

— Пусть он отвалит отседова,— сказал он,— а мы с вами побеседуем на интересующие нас темы.

Все так же продолжая улыбаться, sereneкий послушно отстал.

Мальчонка оказался шустрый. С ходу вывалил на Василия десятка полтора вопросов и даже карандашик наострил. Пепеляев не замедлил.

— В бытность мою матросом на прославленном «Красном партизане Теодоре Лифшиц»,— начал он плавно,— любил я в редкую минуту отдыха посещать планетарии...— (Щеночек торопливо шпарил в книжечку прямо на ходу.) — И вот именно там, в одной из лекций, довелось мне услышать, что даром только отдельные птички отряда воробьиных поют, понял?

Мальчонка дописал и поднял на Василия умненькие глаза:

— Понял. Гонорар меня не волнует, меня волнует публикация, поскольку я на практике.

— Поскольку я не на практике, а в теории, то меня, наоборот, волнует этот самый... который гонорар. Делаем так! (Тебя как звать-то? забыл...) Так вот, Мишка, гони бумагу, карандаш давай, и я сам тебе все в лучшем виде опишу. Может, даже в стихах. Ты там мягкие знаки, где надо, расставишь. Слава — тебе, деньги — мене. Но если государственную премию дадут, премию тоже мене! Согласный?

— Согласный. Только в стихах не надо, ладно?

Василий ухмыльнулся:

— Сомневается... Думает, что я стихами не могу. Вот послушай, чудак, что недавно вышло из-под моего автоматического пера...

Он остановился, принял позу и — вдруг пионерским звонким голосом продекламировал:

«Закончили сенокос!» —

Приветливо объяснил

Иисус Христос...

— Ну как?

— Очень! — искренно сказал пишущий мальчик.

— Тогда заметано! Через два дня. На этом самом месте. В три часа по Цельсию. Будешь плакать и рыдать — та-а-а-а-а-а-а-а-а я тебе напишу!

С вечера, падая в кроватку, Василий порешил железнее

железного: завтра, хоть под автоматом, хоть по велению души, но он в порт — ни ногой! Хватит! От этих экскурсий по местам трудовой славы одна только изжога нервов.

Однако и на следующее утро, часам к девяти, Пепеляев опять вдруг обнаружил себя бодро пылящим по той же дороге.

Хотел было повернуть вспять, но не тут-то было. Какая-то ласковая сила отечески взяла за шиворот и повлекла дальше. Он дернулся пару раз, но вынужден был насилию опять подчиниться.

И если бы хоть какое-то подобие дела было у него в порту! Никакого! Все там было ясно, как в психофазатроне: не желал его до слез родной коллектив!

...Как и в самый первый день, навстречу Пепеляеву выскочил, повизгивая протезом, Матфей-охранитель. За кобуру на сей раз не хватался, другим перепугал: встал в хромой фронт, руку к воображаемому козырьку поднес, просипел почтительнейшим шепотом:

— Вас Спиридон Савельич к себе звали-с. В одиннадцать часиков ждут.

— Я сегодня не принимаю, — вельможно отмахнулся Василий. — Если что-то срочное, пусть обращается в письменной форме. Не то осерчаю.

Не иначе как музейный лилипут пожаловался, подумал Василий, и к Метастазису, конечно, решил не ходить. Однако около полудня его, загорающего в тенечке, разыскала Люська.

— Эй, — кликнула, — Васька! Или как тебя там... Иди. Спиридон Савельич зовет.

— Нужен он мне... — пренебрег Василий и перевернулся на другой бок. — У меня ответственное сновидение.

— Иди-иди, не бойся. Не обидят, совсем даже наоборот. Василий сел.

— Покажь бородавку, тогда пойду.

— Вечером приходи, — торопила Люська, — часиков в десять. У меня маманя как раз в деревню уезжает гостить. Ну идем же, черт лысый!

— Не обманешь? Насчет вечера-то?

— Не обману, не обману. Пойдем скорей! Где живу-то, помнишь?

— Помню. А что за народ собрался? По какому случаю?

— Увидишь-узнаешь...

На улице было солнышко, а эти сидели, как разбойная шайка в пещере. Окна зашторены, на столе — лампа горит. И Метастазис тут был, и Цифирь Наумовна, и наглядный гном-лилипут, и еще то ли двое, то ли трое, не совсем известных Василию. Судя по носам, Спиридонова родня.

— Тэк-с! — со всегдашней своей улыбочкой сказал Спиридон и оживился. — Вот и наш герой. Прошу любить и жаловать. Ишь, какой... — с нескрываемым любованием оглядел его Метастазис.

— Характерец!

— Прямо Васька Пепеляев, вылитый!

— Чего звали? — грубо сказал Василий.

— Ишь ты, ишь ты... — ласково усмехнулся Метастазис.

— А то ведь я и уйти могу! — продолжал свою линию Василий. — У меня дел вагон! — Он только сейчас понял, как с ними надо.

— Это каких же таких дел? — засмеялась Цифирь. — В музее безобразничать? Или зверски избивать людей, ни в чем не повинных?

— Да, — грустно подтвердил Спиридон. — Цифирь Наумовна права. Докладывают мне, понимаешь, что шатаешься, понимаешь, по территории порта, что безусловно запрещено посторонним... Какие-то пьяные драки устраиваешь; намеки какие-то... Ты, брат, это прекрати. Мы с тобой ведь — по-хорошему пока. Парень ты молодой, зачем, скажи, биографию тебе портить каким-нибудь ЛТП или, того хуже, ИТК?

— Все? — нахально спросил Вася. — Тогда я пошел. На работе восстанавливать не хотите? Не хотите! Вам же хуже!

— Насчет работы — постой! — ты помнишь, мы обсуждали этот вопрос. Без документов, брат, при всем моем распрекрасном отношении, на работу мы взять тебя не можем. Как вы думаете, Анастасий Савельич?

— Непременно, — грустно согласился Спирькин брат.

— А я не согласен! — сказал другой брат. — Чего с ним возиться? Он народ колготит! Мои уже вторую неделю не работают — о загробной жизни рассуждают. Предлагаю: материалы на него — в общественную комиссию исполкома, и пусть они его — в ЛТП, а лучше бы — в ИТК, годика на два!

— Ну, вы это, кхм, очень уж чересчур, Одиссей Савельич. Парень-то молодой.

— Экспонат украл, огнетушитель уронил! — плаксивым

голосом сказал гном-лилипут.

Все у них было расписано как по нотам: один добрый, а все остальные — нехорошие, черствые люди.

— Я думаю,— сказал строго и даже недовольно Спиридон Савельич,— что торопиться не будем. Наказать не долго, а вот помочь человеку...

— Вникнуть,— подсказал Вася.

— ...Вникнуть...— повторил Метастазис, не расслышав, откуда идет подсказка,— в его, прямо скажем, бедственное положение, эт-то...

Метастазис в ту минуту представлял собой прямо-таки самую озабоченность судьбой ближнего, попавшего в беду, приятно было посмотреть.

Наконец решение созрело. Деловито, голосом совещательным, но исключаящим возражения, он произнес:

— Как вы полагаете, Цифирь Наумовна, сможем мы временно изыскать рублей сорок в месяц, учитывая, что у товарища такие, кхм, обстоятельства?

— Пятьдесят,— быстро сказал Вася.— Как инвалиду второй группы.

Цифирь Наумовна кисло поморщилась — такая у ней была ампула:

— О пятидесяти и речи быть не может. Хоть какую-то сумму, исключительно временно, изыскать мы, конечно, Спиридон Савельич, сможем, но...

— Сорок пять,— сказал Вася.

— Сорок пять, а? — просящим голосом повторил Метастазис.— Жалко ведь парня-то, Цифирь Наумовна!

— О-ох, Спиридон Савельич...— кокетливо поддалась бухгалтер.— Сорок пять, пропадай моя душа!

— Ну вот и ладушки! — втрое больше Пепеляева обрадовался начальник. И обратился к Василию:

— Ну, вот, видишь? Иди сейчас с нашим бухгалтером и получай свою,хе-хе, стипендию. Потом, когда все утрясется, как-нибудь задокументируем это дело.

— Премного вам благодарны! — с напугавшем всех воплем переломился вдруг в поклоне Василий.— Прям слов нету, как благодарны мы вашей милости! — тут он размазал по щекам предполагаемые слезы.— Внукам рассказывать буду.

— Да! — уже у двери остановил его Матастазис.— Ты, конечно, можешь ходить сюда, никто не запрещает, но все же... Ты, брат, все же пореже. Лучше бы и вовсе дорогу забыл. Не то мы можем и поссориться. Раз в месяц — к Цифире Наумовне за стипендией, и больше не надо, Вася, не советую, понял? — тут у Спиридона Савельича присущий ему железный с заусеницами тембр прорезался. Кончилось кино.

Расписавшись у Цифири на пустом бланке: «Мерси! Шапиро» и трижды пересчитав деньги, Василий вышел на улицу.

Он все еще никак не мог понять, нравится ему все это или не нравится. То, что в кармане шуршит, безусловно, нравилось. А вот то, что вокруг пальца обвели, к явно нехорошему делу подшили — это вызывало сложные чувства. Которые он, впрочем, путем алгебраических упрощений быстренько свел к одной-единственной мысли, но мудрой: «А и хрен со всем этим! Потом разберемся...»

Тут поваяло откуда-то тройным одеколоном.

Пепеляев огляделся и обнаружил неподалеку от себя серенького, который стоял, индифферентно облокотившись об заборчик, и обдавал Василия взглядом, сияющим от неожиданной радости.

— Чего надо? — грубо спросил Василий.

— Да вот... Нечаянно, можно сказать, встретились, — хихикнул серенький. — А я сегодня и документик принес! Ей-богу! Можете проверить! — и протянул Пепеляеву картонные какие-то корки.

Фамилия у него оказалась точная — Серомышкин, и был он, оказывается, членом областного общества «Рыболов-спортсмен».

— Почему за сентябрь не упрочено? — строго спросил Василий.

— У них марок не было, честное слово! А вы чего в бухгалтерии подписывали?

— Ишь ты... — усмехнулся Пепеляев. — Мышкин-Шаромышкин. Интересуешься?

Тот покорно пожал плечами.

— Бумагу я, брат, подписал. Совсекретную. Дескать, обязуюсь. В противном случае. Поверь, Мышкин, — вдруг заорал Пепеляев, — под пытками заставили! Сюда — электрод, сюда — плоскогубцы, внутрь — химию (безо всякой закуски!). Завербовали!! Должен я им теперь расписание автобусов сообщить

«Чертовец — Бугаевск». Не иначе как диверсию хотят организовать с человеческими жертвами. Кличку присвоили (какую, сказать не могу, секрет...) Ну и оклад жалованья, как полагается. Сорок пять карбованцев в греческих долларах. Теперь понял, физкультурник-рыболов?

— Понял, — сказал Серомышкин, который правильно ничего не понял, кроме слов «сорок пять».

— Ну, если поняли, тогда чеши отседа! Клев начался. А мне в филармонию уже пора, заждались.

Насчет филармонии Пепеляев не соврал. Еще до посещения Бугаевска несказанно вдруг повезло Василию в жизни: выиграл он в «сику» немалую по чертовецким понятиям драгоценность — замурзанный листок из прошлогоднего календаря с волшебными клинописными каракулями на нем: «Алферов, пропусти» — контрамарку, проще сказать, на право посещения одного, не более, филармонического концерта.

... Не было в Чертовце учреждения более любимого народом, чем филармония. Она была не только любима народом, не только артистами, успешно или безуспешно выступавшими на ее сцене, но и, в особенности, начальством самого разнообразного калибра, которое на совещаниях самого различного профиля на самых разновысоких инстанциях любило козырять чертовецкой филармонией как примером истинно рентабельного подхода чертовчан к ведению хозяйства, как образцом творческого поиска внешних и внутренних резервов производства, как торжеством морально-материального стимула, как тонкого рычага-инструмента в деле успешного претворения в жизнь цифр плановых и сверхплановых заданий.

Вот уже третий год филармония захоластного Чертовца, которой по традиции полагалось с хрипом дышать на ладан и, на коленях елозя, вымаливать дотации, с изумляющим треском перевыполняла все, даже самые бредовые планы сборов, которые спускало на нее республиканское начальство.

Аншлаг в вестибюле над окошечком был уже до неприличия желт и изрядно засижен мухами, но, по специальному распоряжению директора, его не меняли. Это была уже своего рода реликвия, иначе выражаясь, регалия, характерная, можно сказать, черта облика этого очень культурного учреждения. Не случайно на первомайских демонстрациях колонна филармони-

ческих работников всегда теперь шла, неся не только свой обязательно любимый транспарант «Искусство принадлежит народу!», не только эмблему — березу в виде балалайки, но и этот знаменитый, всем чертовчанам знакомый текст «Все билеты проданы!», что неизменно вызывало на трибунах добрые улыбки и ласковый смех.

А обязана была своим расцветом-ренессансом чертовецкая филармония неказистому, скромненькому человеку по фамилии Тщетнов, своему администратору.

Он появился в Чертовце за три года до описываемых событий, в тот черный период в жизни города, когда было объявлено, что чертовецкий пивзавод ввиду своей малой мощности и нерентабельности ставится на реконструкцию. И хотя средства массовой информации определенно заявляли, что через год-другой чертовецкий «Красный солод» станет одним из гигантов пивной индустрии страны, будет оснащен новейшим оборудованием на уровне мировых стандартов, и выпускаемой им продукцией можно будет вскоре заливать, по меньшей мере раз в год, всю Прикаспийскую низменность, — несмотря на это, уныние и пессимизм овладели чертовчанами. Поползли слухи, что из-за нехватки запчастей к бульдозеру срок ввода в эксплуатацию пивного гиганта перенесен ориентировочно на конец столетия; как нетрудно понять, это было равносильно сообщению о том, что «Красный солод» по причине ремонта закрывают навсегда.

И вот в этот самый момент в филармоническом буфете, который испокон веков, если и торговал, то исключительно лишь теплыми ополосками с консервных банок «Кофе сгущенный с молоком» и бутербродами «Три сестры» (кильками, проще сказать, на ломтике черного хлеба), — так вот, в зачуханном том буфете, не поверите, появилось пиво!

Через два часа весть эта облетела весь Чертовец. Через три часа был продан весь запас билетов на ближайшую неделю. На счастливых, успевших рвануть абонемент на циклы лекций о Глюке или на фортепианные вечера для юношества, смотрели уважительно-враждебно, как на людей, незаслуженно выигравших в лотерею.

Какими путями и откуда умудрялся этот скромный, почти что бескорыстный хозяйственник завозить в Чертовец пиво (ближайший пивной ларек был от него на расстоянии полета ракеты

«Минитмен»), это так и осталось тайной, которую в прошлом году Тщетнов благополучно унес с собой в глинозем великобашкинского погоста. Но факт, как говорится, был фактом: пиво в буфете наличествовало! Больше того, оно не кончалось, и отныне каждый чертовчанин, сумевший приобрести билет в филармонию, мог планировать свою личную жизнь с учетом этого отрадного, греющего душу явления.

Разумеется, обнаружилась и ретрограды. В основном, общепитовского толка. С пеной у рта попытались они повернуть пивное русло в направлении своих тихо прогорающих торговых точек. Выдавая себя за якобы ревнителей искусства, они демагогически оперировали, сталкивая на самых различных совещаниях такие, к примеру, на первый взгляд действительно малосовместимые понятия, как «очаг культуры» и «распивочное заведение», «шедевры музыкальной классики» и «зеленый змий»

Но очень скоро и они вынуждены были умолкнуть, убедившись, что — во-первых, вход в филармонию строжайшим образом разрешен только в галстуках, что, согласитесь, уже само по себе не могло резко не повлиять на культурный уровень чертовчан; что, во-вторых, неукоснительно соблюдается правило, на котором особенно настаивал Тщетнов и которое во множестве было развешено на стенках в фойе филармонии: «Вход в зал с пивными кружками и закуской воспрещен!» — и что, в-третьих, больше двадцати кружек одному лицу категорически не отпускается.

В-четвертых, и, может быть, в самых главных: комиссия, организованная по настоянию общепитовцев, не могла не засвидетельствовать и того, что — цитируем: «...в помещение буфета музыка доносится отчетливо и, напротив, в зале не ощущается никакого шума, производимого буфетом. Многие из посетителей буфета сознательно заходят в зрительный зал. Из десяти опрошенных комиссией лишь двое находились там в поисках туалета, остальные, как объяснили, пришли добровольно, посидеть на мяконецком (двое), поглядеть на артисток (шестеро)». Иначе говоря, довольно отчетливо обрисовывалась и немалая культуртрегерская миссия тщетновского заведения.

Вот почему жадный до всякой культуры Вася Пепеляев был так неподдельно счастлив, выиграв в картишки эту бумажку с тщетновским повелением какому-то всемогущему Алферову пропустить еще одного поклонника прекрасного.

«Василий Пепеляев сидел, по обыкновению, в ложе бенуара и изо всех сил предавался...» — так с удовольствием подумал о себе Василий Пепеляев, усевшись в ложе бенуара после того, как он выпил десять кружек пива, ознакомился со славным творческим путем чертовецкой филармонии, отраженной в диаграммах и фотографиях артистов, посидел на колченогих парчовых диванчиках в фойе, пострелял из духового ружья в тире, скушал зачем-то какую-то вафлю с кремом, которые продавал (должно быть, в обязательном порядке) какой-то мужик в зеленом форменном кафтане, заглянул в кабинет директора, туалет и за кулисы и купил с рук у въедливо-вежливой старушонки тощую программку за 25 копеек.

Поскольку как следует Василий не знал, чему следует предаваться в филармониях, он изо всех сил предался сладкой дремоте, полной благодарных прислушиваний к собственному чреву, в котором обрелось, как сказано, пять литров довольно божественного напитка.

Ему нравилось в филармонии.

Здесь было прохладновато, сумеречно и никто не мешал.

Те человек двадцать, которые пришли сюда, видать, не только за пивом, сидели, тесно и тихо сгрудившись возле самой сцены, шуршали, как мышки, бумажками, а если и вдаряли в ладоши, то очень прилично, — не как в каком-нибудь кабаке, а как, вот уж правильно, в филармонии.

Слова «браво» и «изумительно» они кричали шепотом, а чувства, одолевавшие их, больше выражали улыбками, печально-восхищенными, обращенными друг к дружке, и безмолвными воздеваниями рук где-то на уровне груди. Судя по всему, это была какая-то тихая, безобидная для общества секта — вроде любителей канареечного пения.

Музыканты тоже вели себя прилично. Не шумели и не кричали на весь зал — чутко учитывали, что в зале не только их слушают, но и отдыхают после тяжелой пивной повинности.

Вообще — хорошо было.

Больше всего в новой жизни беспокоило Василия не то, что его не признают за живого человека или, там, наоборот, признают, но не за Пепеляева. Больше всего его огорчало, что чересчур уж какая-то мятежная жизнь для него началась. Некогда, невозможно и негде стало что-нибудь хорошее подумать, как прежде, важное. Разбрестись привольно мыслию по

тупичкам и коридорчикам, по проулочкам и закоулочкам мирового здания, восхититься, даже напугаться огромностью всего сущего, смешной непостижимостью его! Пылинкой, соображающей букашкой почувствовать себя и, жалея, поуважать...

Хорошая мысль, известно, в пустую голову приходит. А уж какая хорошая могла посетить Василия, если башка его изо дня в день все бестолковее зарастала изнутри, как бурьяном, досадными какими-то мыслишками о людской глупости, копеечности, трусоватости, о несправедливости, устроенной людьми среди людей!

Очень ему обидно, и чем дальше, тем обиднее, было за человека! Он, конечно, не позавчера родился — знал прекрасно, что трудновато им в этой жизни в ангелах удерживаться, быстро стерженеют, с каким-то аж сладостным треском вырывают присущие им крылышки, а, достигнув возраста, как по гнусавой какой-то команде, к звероподобию устремляются — то есть, алгебраически выражаясь, всесторонне и всемерно упрощают себя, иной раз вплоть до нуля.

Знал все это Василий Степанович и раньше, но как-то издали, что ли. В прошедшей жизни ему не до этого было, и не касалось это его никак. Он рос, внимательный сам к себе, мужал с бабами, отдыхал в раздумьях о мировой катаклизме и на работе, страдал — исключительно лишь с похмелья, премного был всем и всеми доволен, поскольку всё и все никак его не касались и духовному его произрастанию ничем не вредили. Но тут случился, как назло, этот никому не нужный пожар, и все переменялось.

Вася, будто и взаправду в огне побывавший, чувствителен стал к жизни — как облупленный. Как будто взамен сгоревшей, заскорузлой, выросла на нем кожица нежненькая, до того тонюсенькая и раздражительная, что каждое идиотское слово, каждый перепуганный взгляд в его сторону, каждый даже глупый помысел о нем — отпечатывались теперь в душе Пепеляева, как розга на трепетной ягодице.

И еще потому чересчур уж прокурорски стал относиться Пепеляев к людским отдельным недостаткам, что носители этих темных родимых пятен фактически Васю-то самого за Васю высокомерно не принимали. Отказывали ему в этом высоком заслуженном праве! И недвусмысленно получалось: живой Вася, вот этот, сидящий в ложе бенуара, со всеми потрохами, достоинствами и превосходными недостатками, был людям, оказыва-

ется, как до задницы дворца! Плевать им было и на него, и на его существование! И сегодня плевать, и вчера! Им зачем-то другой, видите ли, оказался нужен — чтоб похоронен был непременно под казенный оркестр, на народные деньги, чтоб бодро штурвовал на фоне пальм, чтобы обожал в минуты отдыха валенки надеть чертовецкой пимокатной фабрики, поставив предварительно на патефон пластинку «Сегодня мы не на параде»... (С этаким-то Васей, признаться, Пепеляев поостерегся бы не только в разведку идти, но и в пункт приема стеклопосуды.)

Однако, несмотря на все пепеляевское жалостное презрение, тот, похороненный, всюю торжествовал сегодня, жил в почете и уважении, а Вася — самый что ни на есть неподдельный Вася, с уже прилепившейся к нему кличкой Покойник, вынужден был мыкаться среди дюдей, как пьяненькая сиротинушка, неизвестного и даже подозрительного происхождения, — черт-те кто, а не человек, — не имеющий права не только жить Василием Степановичем Пепеляевым, но и, если бы приспела нужда, умереть не мог бы под этими дорогими сердцу ФИО, поскольку и на кладбище, и в жизни место его капитально занял какой-то неведомый нахал-самозванец, воплощение, прости Господи!

В ложе бенуара повеяло тройным одеколоном. Не оборачиваясь, Пепеляев прошипел:

— Уйди, Серомышкин, убью! — и, кто знает, мог бы убить, не исчезни тот сразу же, потому что очень уж великолепно-обидная мысль зашипела, забрызгала, как бенгальский огонь искрами, в его голове.

Он вдруг подумал: «А люди-то, может, и правы, ежели им высочайшим образом наплевать, жив ли я, помер ли?»

Кто он им? Никто. Пустое пространство, занятое телом. До четвертого десятка, считай, дожил, а если посмотреть, как дожил, то и сказать нечего. Придурялся всю жизнь да бормотуху глушил. Ни зла никому не натворил, ни добра особого.

Случись, взаправду умереть, чем люди вспомянули бы?... Тот — хоть сгорел, хотя ужасными обстоятельствами своей погибели, а поразил до самого нутра людское воображение. Большую радость людям доставил тем, что он вот сгоревший дотла, а они — ни в коем разе, даже не закоптившись...

Они, люди то есть, каждый по отдельности ничем Пепеляева не лучше, если хуже не сказать, но когда они сплюсованы в кучу, тут же какой-то другой дерьмантин начинается, удивился Васи-

лий. Тут они — мир, общественность, по-научному выражаясь, перед которыми почему-то, будь любезен, держи ответы на вопросы. А ответов-то и нет...

Очень пригож взгляду Пепеляева был вот этот Пепеляев, культурно возлежащий в филармонии в очень укладистых креслах бенуарской ложи и вновь, как в былые времена, размышляющий о высоком!

В этом свободном парении духа он был настолько пронзительен мыслию, что, как мы видели, даже покусился на самокритику себя за плоховатое исполнение им своего человеческого предначертания.

Больше того, он в одном из моментов до того допарился, что вдруг завосклил, как девушка, с непомерно-восторженной принципиальностью: «И правильно! И правильно, что паспорт выдавать решили погодить! Это еще заслужить надо. Шутка ли? Паспорт на имя Василия Степановича Пепеляева! Исключительно мудро поступили товарищи паспортисты! Ура им!!» — напроочь забыв, увлекающаяся натура, как еще позавчера чуть не до самого ли дна вычерпал всю свою сокровищницу матерных слов и неизящных выражений, расписывая паспортистов, отказавших ему в виде на существование.

Первой на допрос вызвали тогда маманю его.

Она, бедная, от непривычки к казенным учреждениям и так уж вся трепетала, как свечечка на сквозняке, а когда увидела мундирного начальника (который хоть и был похож на своего симпатичного двоюродника Спиридона Савельича, но жирен безобразно), то и вовсе сомлела. Ножки ее в пустых складках старушечьих чулок заметно заподгибались, она что-то, предсмертное, видно, пришептывать стала. И, если бы табуретку не подставили, тут же и померла бы, как пить дать! Тут не то что любой протокол — царский манифест об отмене крепостного права подпишешь...

На все вопросы, сын ли ейный сидит напротив, она взглядывала на начальство жалобно, снизу вверх, с боязнью не иначе как побоев, и отвечала внятно, но одно и то же:

— Так уж как вам благовиднее, мил человек. Он-то, что ж... пришел, живет, пусть. Вы уж не трогайте его, а? — и все разглаживала негнуцимися своими пальцами какую-то складочку на коленях.

Потом соседней вызывали. Здесь-то уж вредительством разило, как в колбасном цехе: самых идиотов подобрали.

Входили одинаковые, как лапти. Шапки в руках теребили. Прямо как в кино про времена царского прижима.

Взгляд у всех был одинаковый — косвенный, будто курей воровали. И бормотали они одно и то же, невнятно и уклончиво: «Да, вроде Васька. А там кто его знает?.. Да нет, Васька это, как вылитый. То есть сказать, очень вообще-то похожий. Тот, правда, будто бы повыше был...»

Пока их в протоколы записывали, они переминались рядом с пепеляевским стулом, впрямую глядеть на него словно бы даже опасаясь.

Василий назло не давал им покоя.

— Чего ж ты, Игнат? Или взаправду не признаешь?

Тот мучительно потел, зря в сторону. Потом все ж таки не выдержал:

— А-а, иди ты! Может, ты — шпион какой заброшенный...

Другой на ехидный вопрос Пепеляева: «Да ты что, сдурел? Не видишь, что это я?» — ответил и вовсе неведомо:

— Да вижу! Только толку-то.

Особенно вывел Пепеляева из себя один, самый среди них дурной дурак, даром что школьный учитель в младших классах.

— ...Но, вообще-то говоря, и двойники бывают! — начал он вещать и даже заходил, как перед первоклашками. — Такие случаи в истории имеются. Взять, к примеру, Гитлера...

Тут Пепеляев окончательно не выдержал.

— Ко-ого? Я тебе «возьму»! Я тебя шас за одну ногу возьму, а на другую наступлю, да и дерну! Чистописатель, трах-тарарах-тах!

После оскорбительного-то слова «чистописатель» Василия и вывели на крылечко. Велели, ежели он такой нервный, здесь дожидаться. Здесь, в течение получаса поливая окрестности высокохудожественным матом, он и дождался высокоумного решения, которым сейчас восхищался: паспорт выдавать решено погодить, до выяснения.

В зале деликатно захлопали ладошками, и Вася отвлекся. Кто-то раскланивался, ручку к животу прикладывая. Как официант. Разве что «Премного благодарен» не говорил. А за кулисой, за

занавесочкой, уже стоял с разнесчастливым лицом наготове Ленька Христарadis в обнимку со своей бандурой. Во житуха, пожалел кореша Пепеляев, хочешь не хочешь, нравится не нравится, а, будь любезен, выходи пилить. Может, мне к его балалайке колесики приделать? Чтоб ему удобнее таскать ее было?

Наконец и дружка объявили. Громыхая виолончелью, Христарadis вышел. «Ох, не хочется бедолаге вкалывать!» — с пониманием подумал Пепеляев и, чтоб поддержать, заорал:

— Ленька! Бис! — чуть не вывалился из своего бенуара.

— Шарль Заразян. Прелюдия си-бемоль-мажор, — строгим жестяным голосом объявила какая-то бабка, должно, начальница. Потом помолчала и с отвлечением добавила: — Произведение посвящается краснопартизанцу Василию Степановичу Пепеляеву.

Все хорошо, но зря она сказала «посвящается». Они сразу догадались, кто их посетил. Одна девица подкралась среди рядов и, как покойнику, положила букет. Пришлось понюхать, встать, поклониться.

Тем временем Христарadis наладил свою музыку и — вдарил по струнам!

Василий с ходу догадался, что лучше на него не смотреть. Чересчур уж сердечное сострадание возникало при виде того, как уродуется на работе человек, как выматывает из него все до единой жилы это пресловутое искусство, как мучается он, кряхтит и щерится в непосильном борении со струнами.

Зато в самомучительстве этом музыку он добывал качественную! Закрывай глаза и, будьте любезны, добро пожаловать в красавец райцентр Бугаевск! Слева — помойка, справа — магазин. Прямо по курсу — «Свежий воздух» для чахоточных, сзади — опять же, снова магазин... Ступай, куда хочешь, Василий Степанович, хоть направо, хоть налево! Обмакни многомозольные стопы свои в пуховую пыль бугаевских улиц! Вновь стань тем безмятежно-ленивым Васей, полуюнным счастливым красавцем, который и ведать не ведаст, что буйно отпыхал уже «Красный партизан Теодор Лифшиц», и кропотливые люди уже копают для него могилку, норовя схоронить от людей навеки!

Вот что слышал Василий Пепеляев в вопиющих звуках виолончели на этот раз.

Но больше всего там было про Алину. И чего там, Господи Боже, только не было про Алину! Василий даже начал не на шутку

серчать: чересчур уж нежные подробности знал про нее этот Ш. Заразян-зараза и Христарадис, тоже друг называется...

А когда на мохнатых басах представили они ему Алину спросонья, еще не напустившую на себя вид — мягкую, квелую, сдобную, с руками, лениво норовящими снова обнять, — окончательно не выдержал Пепеляев! До того ему — хоть ногами топай! — захотелось в Бугаевск, к Алине, что он тут же твердо решил: сейчас — в буфет, еще пивка, сколько залезет, выпить, а к вечеру — к Люське! Обещал ведь девушке, а девушек обманывать — нехороший грех.

И Василий Степанович, не дождавшись даже обещанного старухой си-бемоль-мажора, покинул ложу бенуара.

Засады на него устраивали.

Возле самого родного забора вдруг выскочила с дитем под мышкой баба не баба, старуха не старуха, сразу под платками и не разглядишь. Встала поперек дороги на колени, сверток с дитем Пепеляеву протянула. Бери, дескать.

— На кой он мне? — удивился Василий. Баба незнакомая, и дите, значит, к нему касательства не имеет. А просто так взять — стипендия не позволяет.

— Голубчик, отец родной! — без всякой подготовки ударилась в плач женщина. — Не откажи! Век буду за тебя молиться! В Бабашкин ездила, в Кемпендяевом была, всех профессоров, всех фершалов объездила, на тебя одна надежда! Один ты, говорят, и можешь помочь! Не откажи, отец родной! Измучалась я вся!

— Ты, баба, погоди! Расскажи толком.

— Заходится он у меня, родимый! Как титьку пожует, так весь и заходится. И пупок краснеет, и ручками вот так делает... (Она показала.)

— Пупок краснеет — это хорошо, — с ученым видом сказал Василий. — Значит, гемоглобин есть. А я-то при чем?

— Ну, как же! — вдруг уважительно, как на икону, посмотрела на него баба. — Эвон где был-то... Не каждому так. На тебе благодать Божья. На добрые дела вернул тебя Господь.

Пепеляев захряхтел многосмысленно и почесал в арестантской голове.

— Мда... Кал на яйцеглист сдавала?

— Все сдавала! — обрадовалась баба. — Вот они все со мной, бумажки те! — и полезла за пазуху.

— Ладно, — отмахнулся от бумажек Пепеляев. — Верю. Э-эх, бабы! До чего же в вас атеизм непрочный! Значит, так. Титьку суй реже, больше на кефир нажимай: в нем градус есть. Давай сюда своего раба Божьего. Как звать?

— Кирюшей, голубчик...

— Грешила?

— Ну как же, батюшка! Жизнь ить! Оберегаешься-оберегаешься...

— Больше не греши. Отойти к забору и спиной повернись. «Отче наш» знаешь? Читай наизусть.

Баба отошла к забору и встала спиной. Пепеляев отвернул одеяло.

Игрушечный человечек с важным выражением распаренного скопческого лица посмотрел на него ничуть не удивленным сереньким взглядом.

— Ты что же это, симулянт? — сказал ему Пепеляев. — Ты это, брат, кончай. Припадочных тут и без тебя хватает. Тут и без тебя жизнь припадочная. Понял?

Тот, возможно, понял — вздохнул.

— Ну, вот... А сейчас я тебя враз вылечу всеми новейшими достижениями науки и техники.

Тут Василий маленько задумался, а затем таинственным шепотом продекламировал человеку:

*Тебя Бог наказал,
К ж... палку привязал.
Ну, а я поворожу
И эту палку отвязу...*

Понял?

Тот наверняка понял — прикрыл глаза, заснул.

— На, баба, бери своего льщаря. И — помни про кефир.

Та вдруг засуетилась, одной рукой принимая сверток с младенцем, другой — суя Пепеляеву узелок:

— Вот уж спасибо! Вот уж облагодетельствовал, голубчик, милый! Не побрезгуй уж, ради Христа! От чистого сердца ить!

— Не побрезгую. Ладно. Иди с Богом.

В узелочке оказалась бутылка портвейна «Кавказ», пяток вареных яиц и мармеладу две штучки.

«Ну что ж! — взбодрился при виде даров Василий. — В минуту

жизни трудную с голоду не сдохну. Опять же можно еще и с лекцией выступать: «Преисподняя. Правда и вымысел. Свидетельства очевидца».

Удивительное дело: после сеанса чудесного исцеления Кирюхи Пепеляев и сам себя почувствовал несколько херувимски — как из парной баньки вышедши. Легкость, благодать и умиление воцарились в его душе. Будто бы и не придурился он только что, а с полным умением и правом благое дело совершил, одно из тех, на которые, как совершенно справедливо заметила баба, вернул его Господь на эту грешную обетованную землю.

В доме чуть слышно подванивало тройным одеколоном. Пепеляев поморщился.

— За каким чертом этот приходил? — спросил он у мамыши и обрисовал Серомышкина одним неопределенным, но почему-то очень похожим шевелением пальцев.

Маманя была нынче странная. Затаенно-торжественная, понапрасну старалась она спрятать ликующую улыбку. Очень напоминала выражением лица девочку-дурочку, которая пальчиком чертит по клсенке квадратики, — перед тем как обрадовать маменьку новостью о том, что она — на четвертом месяце.

— Зачем, спрашиваю, Подмышкин приходил? — повторил Пепеляев.

— А про тебя спрашивал. Чего, дескать, делать собираешься. Ну и еще... — тут она сделала совсем смущенный вид. — Ну и еще проздравил.

— С чем это «проздравил»? — невнимательно поинтересовался сын, вдруг задумавшийся о шпионском этом рыболове-спортсмене.

— А он-то аккурат здесь сидел, когда почтальонша пришла, Любки Куриловой дочь... — и тут она все притворство свое с эффектом отбросила, в открытую посмотрела на сына дивно голубеющими от радости глазками, аж расплылась вдруг всеми морщинками от счастья, чудесно, видать, ее посетившего, и легонечко выдохнула, выложила козырь свой бесценный:

— ... ПЕНЗИЮ принесла!

Пепеляев смотрел на нее, не узнавая.

«Ох ты ж, курица моя вареная, старая! — подумал он и вдруг позорно заслабел: на миг прикрылся ладонями, так уж нестерпимо заломило лицо. — Это же какая тебе радость, милая, аж

светишься вся, как лампадочка ясная! И морщины, глянь, вроде бы поубавилось... И какая, смотри, девка-то сквозь тебя глянула! К миру доверчивая, синеглазенькая, ласковая. Вон ты какая, оказывается была, мать моя старуха! Прямо Джильда Лолобриджильда. Ох, небось и мордобою было из-за тебя, красавица! Ох, и повыдернуто кольев из плетней!.. Стрекотала ведь молодухой когда-то по тепленькой земле — махонькая, грудастенькая, ясными глазками помаргивала... И такая небось неопиcуемая жизнь впереди тебя бластилась! И мужик-красавец, в рот не берет, и детки — умненькие, ласковые, и дом — полная чашка. А потом стала пенять тебя эта жизнь золотушная — этак скучно, без злобы, нудно пенять — превращать за какие-такие грехи в старуху сушеную! Бошку к земле все пригнетала и пригнетала, спину работой в три погибели ломала, руки ревматизмом крутила. Это ж прямо вредительский какой-то интерес у жизни, удивился Василий, чтоб не девки веселенькие по земле перепархивали, а бабки-старухи больными ногами шаркали!.. Сколь помню тебя — все старуха уже была! Все под ноги зрила, будто потерянное искала. И это ж, оказывается, вон сколь мало радости видала ты в жизни своей, мыша моя кроткая, если в этакое-то, прямо слово, счастье повергла тебя эта «пензия» копейчатая! К тому же ведь, глупая ты старуха, п о о ш и б к е выписанная...

А ведь точно! Как мышка тихонькая, шебуршилась всю жизнь в сереньких своих потемках, тихонько, недосыта, и вдруг — вот те раз! почтальон пришел! — будто прогрызлась нечаянно из тесноты мышьиной в огромную волю, в закрома пшеничные, светлые...» — и еще что-то такое же, нежно ноющее, нестерпимо жалостливое, невнятно слушал в себе Василий, глядя на бойко замолодевшую старушонку свою.

—... И этого числа каждого месяца,— докладывала ему тем временем мать,— она , сказывала, будет сама приносить! А мне (всего-то делов-то!) фамилие свое проставить. Иль, скажи, плохо?

«Чужие люди,— подумал он вдруг,— чужие люди радость тебе, старой, подстроили. А сын? А сын твой, паскудник позорный, он-то тебя хоть раз в жизни порадовал?! Куска сладкого к чаю принес? Да и обнял ли хоть раз? Нет ему, гаду ползучему, никакого прощенья ни сегодня, ни завтра, ни в какой будущей пятилетке! Из-за него, антипода подзаборного, вся твоя

жизнь в этот убогий перекосяк пошла! Только когда подох он, сгорел к чертовой матери, — только тогда ведь хоть малость разогнулась, старая, засветились огонечки хоть какие-то тепленькие! И на могилке повозиться, и в церковь сходить по делу, и со старухами повсхлипывать. А теперь, вишь, и «пенсия»... И поэтому вот что... — сказал себе Вася, и ему вдруг стало холодно и весело, — и поэтому постановляю. Считать Пепеляева действительно безвременно сдохшим. И ныне, и во веки веков. Аминь! Точка! Принято единогласно. На общем собрании представителей трудящихся».

— За что пенсию-то дали? — спросил он невесело, хотя и ежу было понятно, за что.

— Так за кормильца же! За Васятку, за сынка моего... — та даже удивилась.

Тут Пепеляев странным голосом спросил, полусуровым-полурастерянным:

— Ну, а я, к примеру?.. — и тут же обляял себя за этот интерес. Так уж жалко засуетилась вдруг маманя, так уж позорно забегали глазки ее, так уж беспомощно обмякла она вдруг вся, за миг до этого такая веселенькая!

— Ну а ты, что ж... — потухшим голосом сказала мать, опять старая. — Живи сколь живется — А потом, подумав о чем-то, маленько снова воспряла. — Живи сколь живется. Да хоть всю жизнь! У меня теперь и угостить тебя есть чем. Вот сейчас пирогов поставлю! Ты-то знаешь аль нет? — очень Васятка мой пироги обожал. С луком-яйцами. Небось тоже любишь, а?

— Я тебе не Васятка, — сказал Василий и поднялся уходить. — От лука с яйцами у меня радикулит. Иль забыла?

Уже в дверях добавил:

— И еще вот чего. Ты у меня, старая, в бороде по ночам не копайся. Не люблю я этого. Укушу спросонья.

На крыльце он столкнулся с бабой. В потемках не сразу и признал, что это — ненаглядная Лидка его, стерва рыжая, бывшая в употреблении жена.

— Здорово, любимая! — сказал он ехидно.

Та даже не дернулась.

— Вы не подскажите, — спросила она вежливо, как в кино, — Агриппина Тихоновна дома будут?

— Это кака така Агриппина Тихоновна? Заблудилась, что ль?

— Пепеляева Агриппина Тихоновна. Пустите, не то кричать начну.

Пепеляев поспешно дал дорогу. С одной стороны, от растерянности: «Действительно, вот урод уродился! Как мать зовут, напрочь забыл...» С другой стороны, из опаски. Лидка-стерва, если надо, не только заорать могла, но и рожу в кровь себе расцарапать, чтобы в милиции яркое вещественное доказательство предъявить.

Под дверью подслушал.

Все ясно: «Как вдова вашего погибшего сына... давайте похорошему, по-человеческому... я не претендую... все ж таки по закону полагается и отказываться я не собираюсь, не надейтесь...»

«Во, зараза!» — удивился Пепеляев и ворвался.

— Ты ее, Агриппина Тихоновна, не слушай! — объяснил он матери и осторожно, чтобы не повредить каких-нибудь членов, сгреб Лидку в охапку. — Гражданочка домом ошиблась!

— Какое вы имеете право! Вы — человек посторонний! — визжала стерва, норовя добраться когтями до задумчивых пепеляевских глаз. — Я в милицию пойду!

— Хоть в филармонию! — ответил Василий, вынося эту буйно шевелящуюся охапку дерьма на улицу.

Кое-как утвердил он ее на земле, прицелился в мягкое (чтоб без преступных следов) и — с превеликим удовольствием по этой мягкости ей засандалил!

С воплем та улетела в темноту.

Пепеляев посидел еще с пяток минут на ступеньках, отдыхая, затем грустно признал:

— Не-е... Пора с этим делом завязывать. Чересчур уж нервная стала моя система.

Но, в общем-то, надо ведь признаться, все в Васиной жизни было равномерно-справедливо. Сначала, к примеру, кнутом по заднице. Зато затем — пряником по зубам.

Сначала устроили ему незаслуженно райскую жизнь в Бугаевске. Ну а потом, справедливости ради, — будь любезен, попребывай заслуженным покойником в Чертовце! Все обязано быть, как на детских качелях, такой закон: вверх — вниз, катаклизма — клизма, из огня — в прорубь, из плюса — в минус, из грязи — в князи.

За живого человека Васю не признают, это, конечно, минус, что и говорить. Зато — стипендию дали. Как какому-нибудь члену корреспондентов. Плюс? Плюс.

Ему, к примеру сказать, невесело, зато мамане — что? Правильно, праздник. Пенсия поселкового значения.

Или вот этот вечер взять. Сначала Лидка-стерва огорчать приперлась. Решила, гиена огненная, у матери дома да огорода кусок оттяпать. Душе противно. Зато потом — Люся, мильйй человек, не дала в женском поле разочароваться, с большим тактом и умением опять равновесие навела в жизни.

— В общем,— вслух подвел черту своим размышлениям Пепеляев.— В общем, диалектизм жизни. Так бы я это назвал.

— Ты чего? — откликнулась Люська.— Не спишь? Или чаю хочешь?

— Ничего я не хочу. Даже спать. До большого равновесия довели меня. Вот спроси меня сейчас, хочу ли я увидеть небо в алмазах. Что я тебе отвечу?

— Знамо, «не хочу».

— Правильно! А почему? Потому что ошибался великий товарищ писатель Чехов! Алмаз — это во-от такусенький дрянь-камешек, тьфу, а не камешек! Вроде серенького уголочка. А он, паразит, хотел нам все небо такой гадостью оформить! А почему? А по кочану! Вредительство потому что и широко разветвленный заговор.

— Ишь,— усмехнулась Люська.— Писатели ему поперек встали. Пусти-ка, я все ж таки чай поставлю. Может, подобреешь?

— А что писатели? — Пепеляев устроился поудобнее на матраце.— Хе! Кинь мне штаны, и я тебе сейчас такого писателя прочту! Плакать будешь и рыдать.

Он извлек из брюк порядком замурзанные листочки, разгладил их об коленку, принялся с большим выражением читать.

«Трасса мужества. Рассказ-быль из серии походов легендарной баржи «Теодор Лифшиц». Продолжение в следующем номере. Когда зашумел камыш и деревья загнулись под порывами свирепого мордодуя, стало ясно, что погода никуда не лётная. Но, несмотря на эту трудность, связанную с погодными условиями, ровно часов около пяти нуль нуль по Фаренгейту мы, то есть белокрылый, свежепокрашенный в краску цвета беж красавец лайнер «Красный партизан Теодор Лифшиц», решил

отчалить. Кто бы мог подумать, что это есть наш предпоследний рейс! Один только Почечуй, собака по этой кличке, отказалась подняться на борт, ссылаясь на участие в собачьей свадьбе. У него было, конечно, предчувствие. Рейсом мира и дружбы мы бодршли в Кемпендйя с грузом сельдь дальневосточная иваси, мыло хозяйственное пятипроцентное и консерва «Мясо китовое с горохом». Везя такой жгучий дефицит, мы должны были, используя в основном темное время суток (вечер — ночь) втихаря пробраться в порт назначения и сдать там груз в целости по возможности. Большого отваги и мужества требовалось от этого задания. На случай наглого abordажa со стороны близлежащих жителей мы заранее приготовили дрыны и багры. «Стоять до последнего!» — отечески напутствовал нас капитан Елизарыч, отправляясь в каюту на заслуженный отдых. Непредвидимые обстоятельства все ж таки заставили нас очень вскоре бросить якорь на траверзе села Нюксеницы, где проживала известная среди плавсостава тетя Даша. Подпольная кличка «Бормотуха». Валерка-моторист сказал, что в бытность его в бане города Чертовец довелось ему слышать, что Бормотухе прислали из города Елабуга Татарской Автономной Социалистической Республики три кило дрожжей. По старому суровому морскому обычаю кинули на пальцах, кому плыть к тете Даше. Жребий пал на любимца экипажа Васю Пепеляева, то есть меня...»

— Ну как? — весьма довольный своим сочинением спросил Пепеляев. — Эта штучка, мне кажется, посильнее «Дамы с каштанкой»?

— А дальше чего было?

— А дальше у тети Даши я слегка упал поспать. Ребята подождали маленько и часа через два, конечно, тоже подребли. Так мы все вместе и заночевали. Она, Бормотуха-то, для сытности в самогонку, оказывается, суперфосфат добавляет! Вычитала, говорит, в журнале «Техника — молодежи». А он, ядохимикат этот, по ногам шибко уж шибает... Ну, на следующий день прямо с борта торговлю устроили (все равно до Кемпендйя бы не дошлепали) и в результате с большим опережением графика вернулись домой. Заодно родили мировой рекорд скорости (о нем теперь в музее есть): «Чертовец — Кемпендйя — Чертовец. Менее чем за сутки!»

— Не напечатают, — сказала Люська. — Из вас героев-то, что ль, зазря понаделали?

— А и пусть не напечатают,— зевнул Пепеляев.— У меня от славы изжога.

— То-то и видно, что изжога! — неведомо отчего рассердилась Люська.— Давно бы уж бороду сбрил, придуряться перестал — признали бы, даже если и не хотят, что ты и есть Васька Пепеляев! И жил бы по-человечески!

— А с чего это ты, любезная Люси, решила, что я и есть (как ты сказала?) Васска Пэпэлаэфф? Я не есть Пепеляев. Я есть грустный отшельник одинокий монах, который бредет по миру под дырявым зонтиком с початой бутылкой кефира в авоське. И никакого такого Ваську я знать не знаю и ведать не ведаю. Меня и звать-то, может быть, совсем по-другому! Джузеппе Спиртуозо, бенедектин-монах.

— Вот так монах! — застенчиво рассмеялась Люська.

— Ну... возможно, согрешивший монах. А насчет бороды... У нас, дорогой товарищ Люся, слава Богу, не петровские времена! Ни в одной энциклопедии не написано, чтоб человек, чтоб его человеком признали, должен бороду сбривать. Но вообще-то говоря, я уже и так, без энциклопедии постановил: сбрить! Во-первых, морда зудит невозможно. А во-вторых, боюсь, как бы гражданская война не началась из-за меня. Одни — за, другие — не за. Одни орут: «Васька!», другие: «Не Васька!» Ну ее к черту! Сбрею! Пусть люди увидят, наконец, мое истинное лицо! Пусть каждый житель доброй воли скажет мне как один: «Руки прочь, кровавая гидра, от светлой памяти нашего Васи Пепеляева! Ударно ответим по морде каждому самозванцу, припершемуся в наш славный Чертовец!»

— Послушали бы люди, какие болты болтаешь, враз перестали бы сомневаться. У кого ж еще така молотилка во рту?

— Люськ? — вдруг оживился Василий.— Только честно! А ты сомневалась?

Та будто бы даже обиделась.

— Что я — лучше других, что ли? То, смотришь, будто бы Васька... А то — вроде бы и похож, да не он! Да вот даже и нынче-то (она кивнула на постель) — ладно уж, скажу... Поплыла я маленько да вдруг и спохватилась, как дура: «Кто ж это?! Васька-то ведь сгоревший!»

— Ну и что же, страшно стало?

— Все-то тебе расскажи... Пей вот чай лучше. Не страшно, а даже наоборот.

Она пересела к нему, по-матерински стала поскребывать ему в голове.

— Я те вот что скажу... Мы, которые попроще, может, и сомневаемся. Но вот начальство — ни вот столечки! Я-то возле сижу, слышу-вижу. Х и м и ч а т они чтой-то! Когда ты заявился, у них такая беготня началась! Потом Одиссей в Бугаевск ездил про тебя разузнавать. Три раза про тебя заседали! Очень ты им почему-то поперек горла встал.

— А то я не знаю,— грустно сказал Пепеляев.— Все ж таки не позавчера родился... Это только они думают, что вокруг них дураки: молчат — значит, ничего не понимают. Только не с этого бока они меня уели! Сразили меня, товарищ Люся, пирожки с луком-яйцами! Против такого варварского оружия даже мне было не устоять.

— Непонятное что-то говоришь...— вздохнула Люська.— Только я тебя предупредила. Делай как знаешь.

— Э-эх, мать честная! — вдруг весело выдохнул Вася.— Чем дольше живу, тем непонятнее! Вот на вас, баб, не перестаю, например, удивляться. Вроде вы все одинаковые, так? И для одного рожалого дела приспособленные, и кудряшки на голове одинаковые, и титьки на одном месте, и между ног одинаково ничего нет, а до чего же вы, едрены-матрены, разные! Просто-таки, диаметрально противоположные! Сегодня вечером Лидка-стерва к матери приходила. Знает распрекрасно, что я не помер, а зачем пришла? — дом и огород делить! Как вдова безвременно испепеленного Пепеляева... И — одновременно же — ты, вроде как посторонний человек, страшные государственные тайны мне выдаешь...

— Э-э, парень,— жалеющим голосом сказала вдруг Люська, услышав в словах Василия что-то свое.— Крепко, видать, тебя жизнь обложила,— и нехарактерно поцеловала его, в голову.

— Ниче! — отвечивал Пепеляев, бодро залезая в штаны.— Ниче, девушка, не будет, окромя всемирного тип-топа! Прорвемся! Десять гранат не пустяк!

— Ты это... Приходи когда ни то. Деваться будет некуда, а ты — ко мне.

— Большое гран-мерси, Люси! — заорал вдруг Вася по-французски, подтянул штаны, сделал ручкой и канул в ночь. Оставил девушку одну-одинешеньку в разоренной постели. Всегда он вот так, искуститель коварный...

На сей раз даже возле сортира разило тройным одесолоном.

— Ты бы дерьмом, что ли, мазался... Для маскировки-то, — сказал Пепеляев в темноту.

Темнота на грубость не ответила, а произнесла шепотом:

— Я тебя чего жду, Пепеляев? З р я н а д у м а л.

— Чего «зря»? И кто ты такой, чтобы мне указывать?

— Да Серомышкин я, знаешь. Из внутренних органов. Или опять документ будешь требовать? — Во мраке хихикнули.

— Темно, а то бы потребовал, — хмуро сказал Пепеляев. — И чего тебе, Мормышкин, надо?

— А поговорить мне с тобой велено, Пепеляев. Видишь, как называю? Не то что Метастазисы — «Пепеляев»!

— Говори, если дело есть, а не то пойду я.

— Вот именно, что дело есть. И по этому делу, Пепеляев, важным свидетелем ты будешь у нас проходить, поверь.

— Ишь ты. Без меня меня женили.

— Скажи, Пепеляев, за что они тебе стипендию определили в сорок пять целковых? Ты не задумывался?

— Да полюбился я им, Покрышкин! Не поверишь, я им прямо как сын родной! Только увидят: «Сыночек! Сыночек!» — и все норовят на ручки взять!

— Плотют они тебе, — поучала меж тем темнота, — чтобы ты не мельтешил. Не мешал чтобы своим фактом им делишки преступные обделывать, понял?

— Да уж где мне? Глуп я, Кочерыжкин, так уж глуп, что иной раз сам на себя удивляюсь...

— Про почин, конечно, слышал? «Лифшиц» и ныне в строю!» Так вот, Пепеляев, он у них и на самом деле в строю! По всей отчетности плавает, как и допреж плавал. И грузы возит, и на ремонт встает, и план выполняет на 102 процента, и премии получает, и фонд заработной платы... Плохо ли, скажи, цельная баржа лично на них работает?

— Тьфу! — сказал Пепеляев и уже не смог остановиться. — Тьфу! Тьфу! Тьфу на вас! Тьфу!

— Чего это с тобой? — удивились из темноты.

— Пустяки. Бурбонная чума.

— Да? Так вот, начальство велело передать, что на тебя в этой игре возлагаются большие надежды. Инструкции будешь получать через меня.

— Револьвер дадите? — оживился Пепеляев. — А то поку-

пенья боюсь. И еще интересуюсь насчет оклада жалования... в противном случае — не играю! Ишь, начальнички, чего придумали! Они бешеные деньги будут получать за свои игры, а бедный грустный Спиртуозо подставляй лоб под греческую пулю?! Доколе?

— Чего «доколе»?

— Доколе вы с ними играть будете?

— Пока материал накопим, пока что...

— Пока что, меня уже здесь не будет,— про себя сказал Пепеляев.

Однако чуткое тренированное ухо Серомышкина все услышало.

— Я и говорю: зря надумал. Далеко без документов не уйдешь, Пепеляев! Живо привлечешься за бродяжничество. Между прочим (я не хотел говорить), начальство предупредило: в случае чего по делу пойдешь как сообщник. Деньги от Спиридона получаешь? Получаешь? То-то.

Пепеляев, ручки на груди сложа, во тьму обратился молитвенно:

— Простите великодушно! Слабость минутная! Я больше не буду, вот вам истинный крест! — И вдруг ужасно нагло переменял тон. — Но вообще-то, Худышкин, пора тебя, как бесполезный аппендицит, из внутренних органов уволить. Ты меня в темноте за кого-то другого принял, Никудышкин! Не Пепеляев я. И уже давно. Начальству кланяйся. Метастазиса в ж... поцелуй, не забудь. Передай ему, пусть не волнуется очень уж... Не пропаду я без его стипендии, не студент. До слез, ей-богу, до слез жаль мне с тобой расставаться, Отрыжкин, но ничего не поделаешь! Обещал, понимаешь, старушке одной оградку на могилке покрасить, святое дело! А она мне за это (у ней теперь, не шути, брат, пензия!) бутылец портвейного вина купит, плохо ли?.. Так что — до новых встреч в эфире!

Спать ложиться было поздно, просыпаться — рано. Василий сел на ступеньку крыльца и стал сидеть просто так.

Вопреки ожиданиям, никакой торжественности не было в том, что он вот сидит на родном крылечке и прощается на веки вечные с окружающей его средой.

Темень вокруг была — хоть и серенькая, но плотная. В небесах

тоже — ни торжественно не было, ни чудно. Какая-то скучная переменная облачность.

Даже собаки не брехали — до того все спали.

Нет, конечно, какие-то чувства и ощущения были, не без этого. Жрать, например, не ко времени захотелось. И вообще, грустно было. Не ожидал он, что такое всемирно-историческое событие в его жизни будет проходить столь скучно и скромно.

«Чертовец, может, поджечь?» — подумал он было, но тут же передумал. Не в его это привычках было. Да и за спичками пришлось бы в дом идти. Да и чем уж таким особенным провинился перед ним Чертовец?

Возник из темноты кот Мурло, по-ночному надменный и таинственный. Сделал вид, что Пепеляева не узнал. Посидел с полминуты рядом, уклоняясь от поглаживания. Потом, так же неспешно и неслышно, исчез.

«Ну что? Пора собираться», — подумал Пепеляев и, несколько подумав, ухмыльнулся. Кроме расчески, изъятой им из музея, брать-то вроде было и нечего.

...Добравшись до своей персональной могилки, он поставил на скамейку банку с краской и огляделся. Красивый отсюда открывался вид: ни хрена не было видно. И город, и река, и лес за рекой — все словно ушло под темно-серую туманную воду. Один только Пепеляев торчал над.

Вася неохотно вынул из-за пазухи початую бутылку — подарок Кирюхиной мамы — и кинул вниз. Она канула в тумане, даже не булькнув.

*«Кавказ» подо мною,
Один в вышине...*

— сказал он. Но дальше сочинять не стал, настроения не было. Взялся за кисть.

Даже вблизи не было понятно, что за колером кроет он оградку — может, голубеньким, а может, красно-пожарным. Все было — как сквозь серое пенсне. Но, когда он уже заканчивал, стало видно: из-под пепла, которым будто бы все вокруг было присыпано, тоненько, как писк, засквозило голубеньким.

Красивая должна была получиться оградка, ничего не скажешь. Одно удовольствие, наверное, полежать за такой решеточкой. Но Пепеляев подавил в себе эту нездоровую зависть.

«Ладно, отдыхай,— сказал он портрету, привинченному к могильной тумбе.— Хотя, конечно, не шибко-то и заслужил. Если разобратся.

Тоже ведь: гораздо ниже среднего ты человек! Стыдно сказать, сколько людей бьются, чтобы что-то путное о твоей прошлой жизни сочинить, и все — без толку! Пустое место и под тумбочкой зарыто. Все правильно.

Твое счастье, паразит, что от пожара не уберется, а то бы и музыки на тебя пожалели, и хрен-два веночков от людей дождался, пусть и за казенный счет! Да и я бы,— честно говорю,— такую эмаль импортную для тебя бы не пожертвовал. Нет, ни за что бы не пожертвовал...

Ну уж коли так все случилось, лежи тут, счастливчик, разбейся, кто в чем не прав, а кто виноват. А я — пойду! Пора мне пожить маленько».

Близилось солнце, и туманная вода, покрывавшая все окрест, быстро убывала. Стал виден лес, еще глухо, сумрачно зеленеющий, нелюдимый, недовольный.

Глянула сквозь белесую муть черным свинцом отливающая река.

Нехотя зачернели городские домишки у подножья кладбищенского холма...

Отлив продолжался, и покойницы белые, мертвые и злые, вдруг обнажились на свалке ЖБИ искалеченные бетонные плиты, сваленные наплевательской грудой.

Осторожненько закричал на Рыбинско-Бологоевской железной дороге маневровый паровозик, требуя работу. Выглянуло солнце.

Пепеляев повернулся лицом к югу и — с левой ноги, марш! — взял да и пошел.

Апрель — октябрь 1982 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Джек, Братишка и другие. <i>Повесть</i>	5
Покой и воля. <i>Повесть</i>	98
Чужая сторона. <i>Повесть</i>	190
Анна Петровна. <i>Повесть</i>	317
Антон Павлович. <i>Повесть</i>	395
Хельсинки — город контрастов. <i>Рассказ</i>	465
Лёнька Абраамов из Красной книги дураков. <i>Рассказ</i>	483
Чудо в Кемпендяе. <i>Рассказ</i>	491
День рождения покойника. <i>Повесть</i>	498

Геннадий Головин

«ЧУЖАЯ СТОРОНА»

Книга печатается в авторской редакции

Художник М. ФОКИН

Художественный редактор Т. Младшева

Технический редактор Т. Ильина

Корректор О. Назаренко

**Совместное российско-германское предприятие «КВАДРАТ»
111024, Москва, Е-24, СП «КВАДРАТ» ЛР № 090016 от
16.09.91.**

Сдано в набор 20.04.1994. Подписано в печать 8.11.1994.

Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс».

Бумага типографская. Печать высокая.

Узд. печ. л. 31,92. Тираж 25 000 экз. Заказ № 56. «С» 088.

Отпечатано на бумаге Сыктывкарского ЛПК

Отпечатано с готовых диапозитивов на Тверском ордена Трудового
Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия
СССР Комитета Российской Федерации по печати.
170040, Тверь, проспект им. 50-летия Октября, 46.



По вопросам оптовых закупок книги

Геннадия Головина
«ЧУЖАЯ СТОРОНА»

из серии

«Современная российская проза»

звоните

МП «АСПЕКТ»

тел. 903-12-28

Торговый дом «ЛОКИД»

тел. 265-36-71, 207-68-40